АРКАДИЙ

СТРУГАЦКИЙ

БОРИС

СТРУГАЦКИЙ

Annotation

В третий том собрания сочинений включены произведения, написанные в период с 1961 по 1963 годы: «Попытка к бегству», «Далекая Радуга», «Трудно быть богом», «Понедельник начинается в субботу», а также рассказы: «Первые люди на первом плоту», «Бедные злые люди».

Том дополняют комментарии Б. Стругацкого и отрывки из критики того времени.

Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ОДИННАДЦАТИ ТОМАХ

ТОМ ТРЕТИЙ

1961-1963

ПОПЫТКА К БЕГСТВУ

I

— Хороший сегодня будет день! — сказал вслух Вадим.

Он стоял перед распахнутой стеной, похлопывая себя по голым плечам, и глядел в сад. Ночью шел дождь, и трава была мокрая, кусты были мокрые, и крыша соседнего коттеджа тоже была мокрая. Небо было серое, а на тропинке блестели лужи. Вадим подтянул трусы, спрыгнул в траву и побежал по тропинке. Глубоко, с шумом вдыхая сырой утренний воздух, он бежал мимо отсыревших шезлонгов, мимо мокрых ящиков и тюков, мимо соседского палисадника, где, выставив напоказ внутренности, красовался полуразобранный «колибри», через мокрые, пышно разросшиеся кусты, между стволами мокрых сосен; не останавливаясь, прыгнул в озерцо, выбрался на противоположный берег, поросший осокой, а оттуда, разгоряченный, очень довольный собой, все наращивая темп, помчался обратно, перепрыгивая через огромные спокойные лужи, распугивая маленьких серых лягушек, прямо к лужайке перед Антоновым коттеджем, где стоял «Корабль».

«Корабль» был совсем молодой, ему не исполнилось и двух лет. Черные матовые его бока были абсолютно сухи и едва заметно колыхались, а острая вершина была сильно наклонена и направлена в ту точку серого неба, где за тучами находилось солнце: «Корабль» по привычке набирал энергию. Высокая трава вокруг «Корабля» была покрыта инеем, поникла и пожелтела. Впрочем, это был приличный, тихого нрава звездолет типа «турист». Рейсовый рабочий звездолет за ночь выморозил бы весь лес на десять километров вокруг.

Вадим, оскальзываясь на поворотах, обежал «Корабль» и направился домой. Пока он, стеная от наслаждения, растирался мохнатым полотенцем, из дачи напротив вышел сосед дядя Саша со скальпелем в руке. Вадим помахал ему полотенцем. Соседу было полтораста лет, и он день-деньской возился со своим вертолетом, но все было втуне — «колибри» летал неохотно. Сосед задумчиво поглядел на Вадима.

— У тебя нет запасных биоэлементов? — спросил он.

— Что, сгорели?

— Не знаю. У них ненормальная характеристика.

— Можно связаться с Антоном, дядя Саша, — предложил Вадим. — Он сейчас в городе. Пусть привезет вам парочку.

Сосед подошел к вертолету и стукнул его скальпелем по носу.

— Что же ты не летаешь, дурачок? — сказал он сердито.

Вадим принялся одеваться.

— Биоэлементы... — ворчал дядя Саша, запуская скальпель во внутренности «колибри». — Кому это надо? Живые механизмы... Полуживые механизмы... Почти неживые механизмы... Ни монтажа, ни электроники... Одни нервы! Простите, но я не хирург. — Вертолет дернулся. — Тихо ты, животное! Стой смирно! — Он извлек скальпель и повернулся к Вадиму. — Это негуманно наконец! — объявил он. — Бедная испорченная машина превращается в сплошной больной зуб! Может быть, я слишком старомоден? Мне ее жалко, ты понимаешь?

— Мне тоже, — пробормотал Вадим, натягивая рубашку.

— Что?

— Я говорю: может быть, вам помочь?

Дядя Саша некоторое время переводил взгляд с вертолета на скальпель и обратно.

— Нет, — сказал он решительно. — Я не желаю применяться к обстоятельствам. Он у меня будет летать.

Вадим сел завтракать. Он включил стереовизор и положил перед собой «Новейшие приемы выслеживания тахоргов». Книга была старинная, бумажная, читаная-перечитаная еще дедом Вадима. На обложке был изображен пейзаж планеты-заповедника Пандоры с двумя чудовищами на первом плане.

Вадим ел, листая книжку, и с удовольствием поглядывал на хорошенькую дикторшу, рассказывавшую что-то о боях критиков по поводу эмоциолизма. Дикторша была новая, и она нравилась Вадиму уже целую неделю.

— Эмоциолизм! — со вздохом сказал Вадим и откусил от бутерброда с козьим сыром. — Милая девочка, ведь это слово отвратительно даже фонетически. Поедем лучше с нами! А оно пусть остается на Земле. Оно наверняка умрет к нашему возвращению — можешь быть уверена.

— Эмоциолизм как направление обещает многое, — невозмутимо говорила дикторша. — Потому что только он сейчас дает по-настоящему глубокую перспективу существенного уменьшения энтропии эмоциональной информации в искусстве. Потому что только он сейчас...

Вадим встал и с бутербродом в руке подошел к распахнутой стене.

— Дядя Саша, — позвал он, — вам ничего не слышится в слове «эмоциолизм»?

Сосед, заложив руки за спину, стоял перед развороченным вертолетом. «Колибри» трясся, как дерево под ветром.

— Что? — сказал дядя Саша, не оборачиваясь.

— Слово «эмоциолизм», — повторил Вадим. — Я уверен, что в нем слышится похоронный звон, видится нарядное здание крематория, чувствуется запах увядших цветов.

— Ты всегда был тактичным мальчиком, Вадим, — сказал старик со вздохом. — А слово действительно скверное.

— Совершенно безграмотное, — подтвердил Вадим, жуя. — Я рад, что вы это тоже чувствуете... Послушайте, а где ваш скальпель?

— Я уронил его внутрь, — сказал дядя Саша.

Некоторое время Вадим разглядывал мучительно трепещущий вертолет.

— Вы знаете, что вы сделали, дядя Саша? — сказал он. — Вы замкнули скальпелем дигестальную систему. Я сейчас свяжусь с Антоном, пусть он привезет вам другой скальпель.

— А этот?

Вадим с грустной улыбкой махнул рукой.

— Смотрите, — сказал он, показывая остаток бутерброда. — Видите? — Он положил бутерброд в рот, прожевал и проглотил.

— Ну? — с интересом спросил дядя Саша.

— Такова в наглядных образах судьба вашего инструмента.

Дядя Саша посмотрел на вертолет. Вертолет перестал вибрировать.

— Все, — сказал Вадим. — Нет больше вашего скальпеля. Зато «колибри» у вас теперь заряжен. Часов на тридцать непрерывного хода.

Сосед пошел вокруг вертолета, бесцельно трогая его за разные части. Вадим засмеялся и вернулся к столу. Он доедал второй бутерброд и допивал второй стакан простокваши, когда щелкнул замок информатора и тихий, спокойный голос сказал:

— Вызовов и посещений не было. Антон, уходя в город, желает доброго утра и предлагает немедленно после завтрака начать отрешение от всего земного. В институт поступило девять новых задач...

— Не надо подробностей, — попросил Вадим.

— ...Задача номер девятнадцать пока не решена. Пэл Минчин доказала теорему о существовании полиномиальной операции над Ку-полем структур Симоняна. Адрес: Ричмонд, семнадцать-семнадцать-семь. Все.

Информатор щелкнул, помолчал и добавил поучающе:

— Завидовать дурно. Завидовать дурно.

— Балбес! — сказал Вадим. — Я совершенно не завидую. Я радуюсь! Молодчина, Пэл! — Он задумался, глядя в сад. — Нет, — сказал он. — Сейчас все это долой. Надо отрешаться от земного.

Он швырнул грязную посуду в мусоропровод и вскричал:

— На тахоргов! Украсим кабинет Пэл Минчин — Ричмонд, семнадцать-семнадцать-семь — черепом тахорга!

И он спел:

Пусть тахорги в страхе воют,
Издавая визг и писк!
Ведь на них идет войною
Структуральнейший лингвист!

— Теперь так, — сказал Вадим. — Где радиофон? — Он набрал номер. — Антон? Как дела?

— Стою в очереди, — ответил Антон.

— Что ты говоришь? И все на Пандору?

— Многие. И кто-то распространяет слух, что охота на тахоргов скоро будет запрещена.

— Но мы-то успеем?

Антон некоторое время молчал.

— Успеем, — сказал он.

— А девушки там рядом есть?

— Как не быть...

— А они тоже успеют?

— Сейчас спрошу... Они говорят, что успеют.

— Передай им привет от знакомого структурального лингвиста шести футов росту, с благородной осанкой... Слушай, Антон, что я хотел тебе сказать? Да! Привези, пожалуйста, дяде Саше скальпель. И пару «БЭ-6». И заодно «БЭ-7».

— И заодно новый вертолет, — сказал Антон. — Что этот старец сделал со своим скальпелем?

— Ну как ты думаешь, что можно сделать со скальпелем?

— Не знаю, — сказал Антон, подумав. — Скальпель — это вещь на века. Как Баальбекская платформа.

— Он уронил его в желудок своему «колибри».

В радиофоне захихикало несколько голосов. Очередь развлекалась.

— Ладно уж, — сказал Антон. — Жди, я скоро буду. Будь моим суперкарго и начинай погрузку.

Вадим сунул радиофон в карман и прикинул через три комнаты расстояние до выхода.

— Дух ног слаб, — процитировал он, — рук мощь зла!

Он встал на руки и живо побежал к выходу. На крыльце он сделал сальто и с криком «У-ух!» упал на четвереньки в траву перед крыльцом. Поднявшись и почистив руки, он произнес с выражением:

На войне и на дуэли
Получает первый приз —
Символ счастья и веселья —
Структуральнейший лингвист.

Затем он неторопливо отправился в аллею, где были свалены тюки и ящики. Груза было довольно много. Надо было везти с собой оружие, боеприпасы, запас пищи, одежду — отдельно для охоты и отдельно, чтобы посетить знаменитое кафе «Охотник» на плоской вершине Эверины, где между столиками вольно гуляет пряный ветер, а под обрывом на трехсотметровой глубине громоздятся, подобно грозовым тучам, непроходимые черные заросли; где исполосованные колючками охотники с хохотом осушают пузатые фляги «Крови тахорга» и вывихивают себе плечи в тщетных попытках показать, какой череп они могли бы добыть, если бы знали, с какой стороны у карабина приклад; где в темно-зеленых сумерках пары скользят на усталых ногах в «Светлом ритме», а над хребтом Смелых поднимаются в беззвездное небо зыбкие сплющенные луны.

Вадим присел на корточки спиной к самому тяжелому ящику, приладился и рывком поднял ящик на плечи. В ящике было оружие — три автоматических карабина с прицелами для стрельбы в тумане и шесть сотен патронов в плоских пластмассовых обоймах. Пружиня при каждом шаге, Вадим понес ящик через сад к «Кораблю». Он зашел со стороны приемника и пнул ногой в борт. Мембрана, затягивавшая овальный люк, лопнула, и Вадим свалил ящик в темноту, из которой пахнуло холодом.

Вадим пошел обратно, обрывая на ходу с кустов громадные ягоды какого-то гибрида. И каждый куст сбрасывал на него заряд холодного крупного дождя.

Надо взять не меньше пяти тахоргов, думал он. Один череп для Пэл Минчин Ричмондской. Пусть знает, что я хороший парень. Один череп маме. Мама череп не возьмет, она человек серьезный, и тогда я подарю этот череп первой девушке, которая пройдет мимо меня на углу Невского и Садовой после десяти утра. Третьим черепом я брошу в Самсона, чтобы умерить его скепсис: он странно вел себя у Нели, когда я рассказывал ей о

последнем походе на Пандору. Четвертый череп — Нели, чтобы она верила мне, а не Самсону. А пятый череп я повешу над стереовизором. Он с наслаждением представил себе, как отлично будет выглядеть хорошенькая дикторша под оскаленным черепом чудовища.

Он перенес на «Корабль» четыре больших ящика с живым мясом, восемь ящиков с овощами и фруктами, два мягких тюка с одеждой и еще один большой ящик с подарками для старожилов и с корявой надписью: «Шкатулка для Пандоры».

Где-то за тучами солнце поднималось все выше и выше, становилось жарко. Все вокруг высыхало. Лягушки попрятались в траву. В пустых коттеджах с шелестом распахивались стены. Дядя Саша повесил гамак и разлегся возле своего «колибри» с газетой. Вадим кончил перетаскивать груз и пристроился к кусту крыжовника.

— Итак, вы улетаете, — сказал дядя Саша.

— Угу.

— На Пандору улетаете?

— Ага.

— Вот тут пишут, что заповедник собираются закрыть. На несколько лет.

— Ничего, дядя Саша, — сказал Вадим. — Успеем.

Дядя Саша помолчал и сказал негромко:

— Мне здесь очень скучно будет одному.

Вадим перестал жевать.

— Так мы же вернемся, дядя Саша! Через месяц.

— Все равно. Я на этот месяц вернусь в город. Что я здесь один буду делать в пяти коттеджах? — Он посмотрел на вертолет. — С этим дурачком. Полуживым.

В небе послышалось негромкое фырканье.

— Вон еще один летит, — сказал дядя Саша.

Вадим задрал голову. Невысоко над поселком медленно выписывал восьмерку ярко-красный «рамфоринх». На тощем брюхе четко выделялся белый номер.

— Так-то я тоже могу, — сказал дядя Саша. — А вот вы, голубчик, спикируйте винтом, и чтобы не боком и не в пруд, а рядом...

«Рамфоринх» улетел. На бетонной дорожке за садом послышалось сопение машины.

— В нашем поселке становится оживленно, — сказал дядя Саша. — Движение как на Невском.

— Это Антон! — Вадим вскочил и побежал к «Кораблю».

Антон загонял машину в гараж. Выйдя из гаража, он рассеянно сказал:

— Все в порядке, Димка. Штурманскую книгу я зарегистрировал, «добро» получил...

— Но? — спросил проницательный Вадим.

— Что — но?

— Я отчетливо слышу в твоей речи «но».

Антон сказал неохотно:

— Я заезжал к Галке. Она не поедет.

— Из-за меня?

— Нет. — Антон помолчал. — Из-за меня.

— М-да, — глубокомысленно сказал Вадим.

Антон спросил:

— А как у нас с погрузкой, суперкарго?

— Все в порядке, шкип. Можно стартовать.

— А как у нас в доме? Прибрано ли?

— В чьем доме?

— Например, в моем?

— Нет, шкип. Виноват, шкип. Я только что кончил грузить, шкип.

Низко над крышами снова пролетел красный «рамфоринх». Антон поглядел.

— Что за притча? — удивился он. — Опять ЦЩ-268. По-моему, я стал объектом пристального внимания. Этот красный «рамфоринх» с бортовым номером ЦЩ-268 гонится за мной с Дворцовой площади.

— Не замешана ли здесь женщина? — осведомился Вадим.

— Не думаю. Никогда еще женщины не гонялись за мной.

— Они могли бы и начать... — сказал Вадим, но тут его осенила новая мысль. — А может быть, это член тайного общества покровителей тахоргов?

«Рамфоринх» снова пролетел над головами и вдруг затих.

— Э, да это к дяде Саше, — сказал Вадим. — Пойдет на запасные органы. Бедный «рамфоринх»! Кстати, ты привез?

— Привез, — сказал Антон, глядя мимо него. — Нет, структуральный суперкарго. Это не к дяде Саше...

Из-за кустов появился высокий костлявый человек в широкой белой блузе и белых брюках. У него было очень смуглое худое лицо с мохнатыми бровями и большие коричневые уши. В руке он держал объемистый портфель.

— Он, — сказал Антон.

— Кто?

— Человек в белом. Он все время бродил около очереди. И смотрел всем в глаза.

— Сейчас я ему объясню, что такое тахорги, — проговорил Вадим, — и он поймет.

Человек в белом подошел вплотную и внимательно осмотрел обоих охотников.

— Вы знаете, что тахорги нападают на людей и иногда серьезно калечат их? — сказал Вадим. — Наносят им серьезные увечья.

— Вот как? — сказал человек в белом. — Тахорги? В первый раз слышу. Впрочем, это не по моей части. Я пришел к вам с просьбой. Здравствуйте. — Он коснулся двумя пальцами виска.

— Здравствуйте, — сказал Антон. — Вы ко мне?

Незнакомец бросил портфель под ноги и вытер со лба пот. В портфеле что-то глухо брякнуло. Это было огромное, битком набитое вместилище, сильно потертое, с огромным количеством ремней и медных застежек. «Портфель» по-японски — «кабан», — подумал Вадим. Японцы правы.

Незнакомец медленно проговорил:

— Да. Я к вам. — Он зажмурился и снова с силой провел ладонью по лицу. — Только, пожалуйста, не спрашивайте, почему именно к вам. Совершенно случайно к вам... Мог к кому-нибудь другому...

— Нам необыкновенно повезло, — весело сказал Вадим. — Просто удивительно, как нам сегодня везет.

Незнакомец поглядел на него без улыбки.

— Капитан вы? — спросил он.

— Я капитан потенциально, — ответил Вадим. — А кинетически я суперкарго и старший специалист по тахоргам... Если угодно, зверовед-аматёр...

Вадима понесло, он уже не мог удержаться. Он должен был во что бы то ни стало вызвать на лице незнакомца улыбку, хотя бы вежливую.

— Кроме того, я второй пилот-аматёр, — говорил он. — Это на тот случай, если у капитана вдруг случится отложение солей или колено горничной...

Незнакомец молча слушал. Антон сказал негромко:

— Очень смешно.

Наступила тишина.

— Как я понял, вы летите на Пандору, — сказал незнакомец. Он смотрел на Антона.

— Да, мы идем на Пандору. — Антон покосился на портфель. — Вы хотите что-нибудь переслать с нами?

— Нет, — сказал незнакомец. — Пересылать мне нечего. У меня совсем другое... У меня есть к вам предложение. Ведь вы едете развлекаться?

— Да, — сказал Антон.

— Если опасную охоту можно считать развлечением, — значительно добавил Вадим.

— Это славный отдых, — сказал Антон. — Турперелет и охота.

— Турперелет... — медленно, словно удивляясь, проговорил незнакомец. — Туристы... Послушайте, молодые люди, вы совсем не похожи на туристов. Вы молодые, здоровые ребята-открыватели... Зачем это вам — обжитые планеты, электрифицированные джунгли, автоматы с газировкой в пустынях? Да что говорить! Почему вам не взять неизвестную планету?

Ребята переглянулись.

— Какую именно планету? — спросил Антон.

— Не все ли равно? Любую. На которой человека еще не было... — Незнакомец вдруг широко раскрыл глаза. — Или таких уже нет?

Он не шутил. Это было совершенно очевидно, и ребята снова переглянулись.

— Почему же? — сказал Антон. — Таких планет сколько угодно. Но мы всю зиму собирались поохотиться на Пандоре.

— Лично я, — подхватил Вадим, — уже раздарил знакомым черепа своих неубитых тахоргов.

— И потом — что мы будем делать на новой планете? — мягко сказал Антон. — Мы не научная экспедиция, мы не специалисты. Вот Вадим лингвист, я звездолетчик, пилот... Мы не сумеем даже составить первичного описания... Впрочем, может быть, у вас есть какая-нибудь идея?

Незнакомец сдвинул мохнатые брови.

— Нет у меня никаких идей, — резко сказал он. — Просто мне нужно на неизвестную планету. И вопрос стоит так: можете вы мне помочь или нет?

Вадим стал застегивать и расстегивать «молнию» на куртке. Тон незнакомца его покоробил: это был не тот тон, к которому Вадим привык. И тем не менее положение было тяжелое. Человеку, который едет развлекаться, трудно спорить с человеком, которому нужно ехать по делу. Аргументов у Вадима не было, и поэтому он совсем было решил придраться к манерам, но тут случилось странное происшествие.

За деревьями залаяла собака. Это был дяди Сашин эрдель Трофим,

дряхлый глупый пес с признаками аристократического вырождения и необыкновенно густым голосом. Залаял он скорее всего потому, что на нос ему села оса и он не знал, что с ней делать, но лицо незнакомца вдруг страшно исказилось. Он пригнулся и прыгнул далеко в сторону. Вадим даже не понял, что произошло. Прыгнув, незнакомец выпрямился и нарочито медленными шагами вернулся на место. На лбу у него блестела испарина. Вадим оглянулся на Антона. Лицо Антона было задумчиво-спокойным.

— Ну что ж, — сказал он рассудительно. — Во второй окрестности много желтых карликов с приличными планетами земного типа. Давайте слетаем. Возьмем хотя бы ЕН 7031. Туда уже собирались лететь, да отложили. Показалось неинтересно. Добровольцы не любят желтых карликов — им подавай гиганта, лучше красного... Устроит вас ЕН 7031?

— Да, вполне, — сказал незнакомец. Он уже пришел в себя. — Если только это действительно необитаемая планета.

— Это не планета, — вежливо поправил Антон. — Это звезда. Солнце. Но там есть и планеты. По всей видимости, необитаемые. А как вас зовут?

— Меня зовут Саул, — сказал незнакомец и впервые улыбнулся. — Саул Репнин. Я историк. Двадцатый век. Но я постараюсь быть полезным. Я умею готовить, водить наземные машины, шить, чинить обувь, стрелять... — Он помолчал. — И кроме того, я знаю, как все это делалось раньше. И еще я знаю несколько языков — польский, словацкий, немецкий, немного французский и английский...

— Жалко, что вы не умеете водить звездолет, — вздохнул Вадим.

— Да, жалко, — сказал Саул. — Но это ничего, звездолет умеете водить вы.

— Не вздыхай, Димка, — сказал Антон. — Пора и тебе посмотреть на странные пейзажи безымянных планет. Танцевать в кафе можно и на Земле. Покажи себя там, где нет девушек, воздыхатель...

— Я вздыхаю от восторга, — отозвался Вадим. — В конце концов, что такое тахорги? Громоздкие и всем известные животные...

Саул любезно осведомился:

— Надеюсь, я не вырвал согласие силой? Надеюсь, ваше согласие является в достаточной степени добровольным и свободным?

— А как же, — сказал Вадим. — Ведь что такое свобода? Осознанная необходимость. А все остальное — нюансы.

— Пассажир Саул Репнин, — сказал Антон. — Старт в двенадцать ноль-ноль. Ваша каюта третья, если вы не захотите занять каюту четвертую, пятую, шестую или седьмую. Пойдемте, я вам покажу.

Саул нагнулся за портфелем, и у него из-за пазухи выскользнул и тяжело шлепнулся на траву большой черный предмет. Антон поднял брови. Вадим пригляделся и тоже поднял брови. Это был скорчер — тяжелый длинноствольный пистолет-дезинтегратор, стреляющий миллионовольтными разрядами. Такие предметы Вадим видел только в кино. На всей Планете было не больше сотни экземпляров этого страшного оружия, и оно выдавалось только капитанам сверхдальних десантных звездолетов.

— Какой я неуклюжий, — пробормотал Саул, подобрал скорчер и сунул его под мышку. Затем он поднял портфель и объявил: — Я готов.

Некоторое время Антон смотрел на него, словно собираясь спросить о чем-то. Затем он сказал:

— Пойдемте, Саул. А ты, Вадим, прибери дома и отнеси старику инструмент. Он в багажнике. Я имею в виду, конечно, инструмент.

— Слушаю, шкип, — сказал Вадим и пошел в гараж.

Трудно быть оптимистом, размышлял он. Ведь что есть оптимист? Помнится, в каком-то старинном вокабулярии сказано, что оптимист суть человек, полный оптимизма. Там же, статьей выше, сказано, что оптимизм суть бодрое, жизнерадостное мироощущение, при котором человек верит в будущее, в успех. Хорошо быть лингвистом — сразу все становится на свои места. Остается только совместить бодрое, а равно и жизнерадостное мироощущение с пребыванием на борту тяжело вооруженного лунатика...

Он забрал из багажника скальпель и биоэлементы и направился к дяде Саше. Старик сидел на корточках под красным «рамфоринхом».

— Дядя Саша, — сказал Вадим. — Вот вам новый скальпель и...

— Не надо, — сказал дядя Саша. Он вылез из-под «рамфоринха». — Спасибо. Мне подарили вот это. — Он похлопал «рамфоринха» по полированному боку. — Говорят, он очень живуч, а?

— Подарили?

— Да, один молодой человек, весь в белом.

— Ах, вот как, — сказал Вадим. — Значит, он был уверен, что улетит с нами. Или, может быть, он намеревался прорваться в «Корабль» с боем?

— Что? — спросил дядя Саша.

— Дядя Саша, — сказал Вадим, — вы знаете, что такое скорчер?

— Скорчер? Да, знаю, конечно. Это микроразрядное устройство на ткацких автоматах. Правда, теперь их нет, но, помню, лет семьдесят назад... А что, этот человек в белом тоже старый ткач?

— Может быть, он и ткач тоже, но скорчер у него, дядя Саша, не микроразрядный.

Вадим задумчиво пошел к своему коттеджу. Дома он бросил постельное белье в мусоропровод, переключил хозяйственную автоматику на режим отсутствия и, выйдя на крыльцо, написал карандашом на двери: «Уехал в отпуск. Прошу не занимать». Затем он отправился к Антону. Прибирая Антонов коттедж, он продолжал размышлять. В конце концов, не все потеряно. Тахорги, надо признаться, уже основательно приелись. Пандора, если говорить честно, — это всего-навсего очень модный курорт. Можно только удивляться, как я там высидел три сезона. Какой стыд, подумал он вдруг с энтузиазмом. Ведь было время, когда я хвастался ожерельем из зубов тахорга и разводил несусветную пандориану! Швырять в Самсона черепом тахорга — какая банальность! Самсон достоин большего, и Самсон будет увековечен. Неизвестная планета — это неизвестная планета. По неизвестной планете бродят неизвестные звери. Они, бедняги, еще не знают, как их зовут. А я уже знаю. Там я добуду первого в истории «самсона непарноногого перепончатоухого» или, скажем, «самсона неполнозубого гребенчатозадого»... Запустить в Самсона черепом самсона — такого еще не было.

Когда он вернулся на лужайку, «Корабль» был готов к старту. Верхушка его больше не следила за солнцем, иней на траве вокруг исчез.

Вадим удобно устроился в люке, свесив ногу. Он смотрел на Антонов коттедж с распахнутой стеной, на зеленые кроны сосен, на низкие облака, в которых то появлялись, то исчезали голубые проталины. Да, друг Самсон, непарноногий брат мой, мстительно подумал он. Может быть, ты и не плох против какого-нибудь библейского льва, но где тебе тягаться со структуральным лингвистом... Но что забавно: мне бы и в голову не пришло тащиться отдыхать на неизвестную планету, если бы не этот старик в белом. До чего же мы косный народ, даже лучшие из структуральных лингвистов! Вечно нас тянет на обжитые планеты...

На лужайку вышел эрдель Трофим. Он помигал на Вадима добрыми слезящимися глазами, зевнул, сел и принялся чесать задней ногой у себя за ухом. Жизнь была прекрасна и многообразна. Вот Трофим, подумал Вадим. Стар, глуп, добр, но — смотрите-ка! — может еще напугать... А может быть, все лунатики боятся собачьего лая. Вадим уставился на Трофима. А почему я, собственно, решил, что Саул Репнин лунатик или как это там называлось?.. Зачем такое искусственное предположение? Проще предположить, что историк Саул никакой не историк, а просто соглядатай какой-нибудь гуманоидной расы у нас на планете. Как Бенни Дуров на Тагоре... Это было бы славно — целый месяц неизвестных планет и таинственных незнакомцев... И как все отлично объясняется!

Самостоятельно с Земли он выбраться не может, собак он боится, а на неизвестную планету ему нужно, чтобы за ним туда прислали корабль — на нейтральную, так сказать, почву. Вернется он к себе и расскажет: так, мол, и так, люди они хорошие, полны оптимизма, и завяжутся у нас с ними нормальные гуманоидные отношения...

Вадим спохватился и крикнул в коридор:

— Антон, я на борту!

— Наконец-то, — откликнулся Антон. — Я было решил, что ты дезертировал.

Из-за деревьев, безобразно крутя хвостом, появился тощий красный «рамфоринх» и, неестественно завывая, начал описывать вокруг «Корабля» круг почета. Дядя Саша, откинув дверцу, махал чем-то белым. Вадим помахал в ответ.

— Старт! — предупредил Антон.

«Корабль» пошевелился и, мягко подпрыгнув — Вадим успел оттолкнуться от земли ногой, — стал подниматься в небо.

— Димка! — крикнул Антон. — Закрой-ка люк! Сквозняк.

Вадим в последний раз помахал дяде Саше, поднялся и зарастил люк.

II

Антон передал управление на киберштурман и, сложив руки на животе, задумчиво глядел на обзорный экран. «Корабль» шел на север по меридиану. Вокруг было густо-фиолетовое небо стратосферы, а глубоко внизу белела мутная пелена облаков. Пелена эта казалась гладкой и ровной, и только кое-где угадывались провалы исполинских воронок над макропогодными станциями — синоптики, пролив над Северной Европой дождь, загоняли облака в ловушки.

Антон размышлял над странностями человеческими. Он вспоминал странных людей, с которыми встречался. Яков Осиновский, капитан «Геркулеса», терпеть не мог лысых. Он их просто презирал. «А вы меня не убеждайте, — говорил он. — Вы мне лучше покажите лысого, чтобы он был настоящим человеком». Наверное, с лысыми у него были связаны какие-то нехорошие ассоциации, и он никогда никому не говорил, какие. Он не переменился даже после того, как начисто облысел сам во время сарандакской катастрофы. Он только восклицал с заметной горечью: «Единственный! Заметьте, единственный среди них!»

Вальтер Шмидт с базы «Гаттерия» так же странно относился к врачам. «Врачи... — цедил он с неприличным презрением. — Знахарями они были, знахарями и останутся. Раньше была пыльная паутина и гнилая змеиная кровь, а теперь психодинамическое поле, о котором никто ничего не знает. Кому какое дело до того, что у меня внутри? Головоногие живут по тысяче лет безо всяких врачей и до сих пор благополучно остаются владыками глубин...»

Волкова звали Дредноут, и он был этим очень доволен: Дредноут Адамович Волков. Канэко никогда не ел горячего. Ралф Пинетти верил в левитацию и упорно тренировался... Историк Саул Репнин боится собак и не хочет жить с людьми. Я не удивлюсь, если окажется, что он не хочет жить с людьми именно потому, что боится собак. Странно, правда? Но он от этого не станет хуже.

Странности... Нет никаких странностей. Есть просто неровности. Внешние свидетельства непостижимой тектонической деятельности в глубинах человеческой натуры, где разум насмерть бьется с предрассудками, где будущее насмерть бьется с прошлым. А нам обязательно хочется, чтобы все вокруг были гладкие, такие, какими мы их выдумываем в меру нашей жиденькой фантазии... чтобы можно было

описать их в элементарных функциях детских представлений: добрый дядя, жадный дядя, скучный дядя. Страшный дядя. Дурак.

А вот Саулу нисколько не странно, что он боится собак. И Канэко не кажется странным, что он не терпит ничего горячего. Так же, как и Вадиму никогда в голову не придет, что его дурацкие стишки кое-кому кажутся не забавными, а странными. Галке, например.

Возьмем теперь меня. Вот я собрался было на Пандору. Если бы об этом узнал, скажем, капитан Малышев, он бы с изумлением на меня посмотрел и сказал: «Если ты собираешься отдыхать, то лучшего места, чем Земля, тебе не найти. А если ты решил поработать, то возьми черную систему ЕН 8742, которая стоит на очереди в плане, или возьми гиганта ЕН 6124 — им почему-то интересуются специалисты на Тагоре». И Малышев был бы прав. И чтобы Малышев меня понял и перестал смотреть с изумлением, пришлось бы сказать, что я соскучился по Димке и что Димка хочет стрелять тахоргов.

Антон усмехнулся. Зачем так сложно? Просто теперь все летают на Пандору, и однажды Галка сказала мне, что слетала бы туда. Так организуются в наше время перелеты. И так легко меняются планы. А мог бы я признаться Малышеву, что все дело в Галке? Почему человек никак не научится жить просто? Откуда-то из бездонных патриархальных глубин все время ползут тщеславие, самолюбие, уязвленная гордость. И почему-то всегда есть что скрывать. И всегда есть чего стесняться.

Антон посмотрел на букетик гвоздик, лежащий перед экраном. Эх, Галка, подумал он. Он подышал на пульт и написал пальцем на исчезающем матовом круге: «Эх ты, Галка...» Буквы быстро растаяли, он даже не успел поставить восклицательный знак. Тогда он еще раз подышал на пульт и поставил восклицательный знак отдельно. Потом он снова откинулся в кресле и в сто первый раз попытался логически решить задачу: «Я люблю девушку, девушка меня не любит, но относится хорошо. Что делать?»

Что, собственно, изменилось бы, если бы она меня полюбила? Можно было бы обнимать ее и целовать. Можно было бы быть все время вместе с ней. Я бы гордился. Все, кажется. Глупо, но все. Просто исполнилось бы еще одно желание. Как все это убого выглядит, когда рассуждаешь логически! А по-другому рассуждать я не умею. Пустой я человек, циник. Он увидел Галку, как она говорит, — немного через плечо, и глаза у нее прикрыты ресницами... Почему все устроено так глупо: можно спасти человека от любой неважной беды — от болезни, от равнодушия, от смерти, и только от настоящей беды — от любви — ему никто и ничем не

может помочь... Всегда найдется тысяча советчиков, и каждый будет советовать сам себе. Да и потерпевший-то, дурак, сам не хочет, чтобы ему помогали, вот что дико.

— Позвольте, однако же, куда вы? — громко спросил Саул.

— В рубку, — ответил Вадим.

— Подождите! Ведь мы, по существу, еще не познакомились...

Дверь в рубку была открыта. Антон все время краем уха слышал, как в кают-компании бубнят что-то о тахоргах, о зарослях и о теории исторических последовательностей. Теперь он стал слушать внимательней.

— Ведь вас, кажется, зовут Вадим? — сказал Саул.

— Как правило, — серьезно ответил Вадим. — Но иногда меня зовут Структуральнейшим, иногда Летающим Быком, а в специальных случаях — Димочкой.

— Стало быть, Вадим... И сколько же вам лет?

— Двадцать два локально-земных...

— Локально... Ну да, разумеется... Как вы сказали? Локально-земных?

— Да. В старых звездных я не участвовал.

— Совершенно верно. Я так и думал. А отец ваш, извините, кем будет?

— Кем будет? Наверное, так и останется мелиоратором.

— Э-э... Понимаю, понимаю... Я это, собственно, и имел в виду.

Наступила пауза.

— Очень изящный стол, — стесненно сказал Саул.

Снова пауза.

— Стол хороший. Прочный.

— А мамаша ваша?

— Мамаша? Она у меня... это... станционный смотритель. Работает на мезоядерной станции.

Было слышно, как Саул нервно забарабанил по столу пальцами.

— Не надо так, Вадим, — попросил он. — Вы не должны обращать на это внимания... Конечно, я странно говорю, и это, вероятно, смешно немножко... Здесь, видите ли, вот какое дело... Мой образ жизни... Мой, так сказать, модус вивенди... Я узкий специалист. Весь в двадцатом веке. Как говорилось когда-то, книжный червь. Вечно в музеях, вечно со старыми книгами...

— Влияние обстановки.

— Да-да, вот именно. Я редко бываю на людях, а теперь вот пришлось. Вы знаете профессора Арнаутова?

— Нет.

— Очень крупный специалист. Мой идейный противник. Он попросил меня проверить некоторые аспекты его новой теории. Ведь я не мог не согласиться, правда? Вот так мне и пришлось... покинуть пенаты. Вот... Но что это мы все обо мне да обо мне!.. Вы, кажется, структуральный лингвист?

— Да.

— Интересная работа?

— А разве бывает неинтересная работа?

— Да, конечно... И чем же вы занимаетесь?

— Я занимаюсь структурным анализом. Но учтите, Саул, я отрешился от земного. Давайте я расскажу вам еще что-нибудь про тахоргов.

— Да нет, благодарю вас, про тахоргов не надо. Лучше расскажите, как вы работаете.

— Саул, я же сказал, что отрешился.

— Ну как же это так — отрешился? Что же, вы теперь совсем не думаете о работе?

— Наоборот. Все время думаю. Я всегда думаю о той работе, которой занят в данный момент. Сейчас я суперкарго и второй пилот — это на тот случай, если у Антона вдруг случится отложение солей. Впрочем, об этом я, кажется, уже... Так вот, мне сейчас очень хочется пойти и немножко поводить «Корабль».

— Да вы еще успеете поводить! И потом я прошу рассказать не о сущности вашей работы, а о внешней форме, так сказать... Вот вы приходите на работу. Обычные трудовые будни...

— Хорошо. Будни. Я ложусь на вычислитель и думаю.

— Ну-ну... Постойте — на вычислитель? Ну да, понимаю. Вы лингвист, и вы ложитесь на... И что же дальше?

— Час думаю. Другой думаю. Третий думаю...

— И наконец?..

— Пять часов думаю, ничего у меня не получается. Тогда я слезаю с вычислителя и ухожу.

— Куда?!

— Например, в зоопарк.

— В зоопарк? Отчего же в зоопарк?

— Так. Люблю зверей.

— А как же работа?

— Что ж работа... Прихожу на другой день и опять начинаю думать.

— И опять думаете пять часов и уходите в зоопарк?

— Нет. Обычно ночью мне в голову приходят какие-нибудь идеи, и на

другой день я только додумываю. А потом сгорает вычислитель.

— Так. И вы уходите в зоопарк?

— При чем здесь зоопарк? Мы начинаем чинить вычислитель. Чиним до утра.

— Ну, а потом?

— А потом кончаются будни и начинается сплошной праздник. У всех глаза на лоб, и у всех одно на уме: вот сейчас все застопорится, и начинай думать сначала.

— Ну, ладно. Это будни. Однако же нельзя все время работать...

— Нельзя, — сказал Вадим с сожалением. — Я, например, не могу. В конце концов заходишь в тупик, и приходится развлекаться.

— Как?

— Как придется. Например, гоняю на буерах. Вы любите гонять на буерах?

— Э-э... Мне как-то не приходилось.

— Что же вы, Саул! Я вас обязательно покатаю. Какой у вас индекс здоровья?

— Индекс здоровья? Я вполне здоров. А над чем вы теперь работаете?

— Над свертками разобщенных структур.

— А зачем это нужно?

— Что значит — зачем?

— Ну, кому от этого будет польза?

— Каждому, кто этим заинтересуется. Вот сейчас проектируют универсальный транслятор. Универсальный транслятор должен уметь свертывать разобщенные структуры.

— Скажите, Вадим, а здесь, на «Корабле», можно послушать музыку?

— Конечно. Что бы вы хотели? Хотите «Трели» Шеера? Под эту музыку изумительно ведется «Корабль».

— А Бах?

— О, Бах! По-моему, у нас есть и Бах. Слушайте, Саул, а ведь с вами, наверное, слушать музыку будет очень приятно.

— Почему?

— Не знаю. Всегда приятно слушать музыку с человеком, который хорошо ее знает. Мендельсона вы любите?

— Вы знаете Мендельсона?

— Саул! Мендельсон — это лучший из старых! Я надеюсь, вы любите Мендельсона. Правда, его плохо слушать в «Корабле». Вы меня понимаете?

— Пожалуй... Я слушаю Мендельсона в своем уютном кабинете.

Разговорились наконец, подумал Антон. Он взглянул на часы.

«Корабль» входил в стартовую зону над Северным полюсом. На экране в фиолетовой глубине возникли темные точки звездолетов, ожидающих старта. Антон крикнул в дверь:

— Простите, что прерываю. Скоро старт. Димка, покажи Саулу, как пользоваться безынерционной камерой.

Антон послал на контрольную станцию запрос о программе предстоящего перелета и через тридцать минут, в течение которых «Корабль» плавал в стратосфере вместе с двумя десятками других больших и малых звездолетов, получил программу на переход, семь вариантов программы обратного пути и разрешение на выход в Подпространство. Тогда он попросил пассажиров укрыться в камерах, вошел в камеру сам, произвел перекличку и дал «Кораблю» команду на старт. Как всегда, Антона сильно затошнило. Через все тело прошла раскаленная волна, лицо и спина покрылись холодным потом.

Антон осоловелым взглядом следил, как красная стрелка рывками прыгает по шкале, отмечая стремительно меняющуюся кривизну пространства. Двести риманов... четыреста... восемьсот... тысяча шестьсот риманов на секунду... Пространство вокруг «Корабля» скручивалось все туже. Антон знал, как это выглядит со стороны. Четкий черный конус «Корабля» становится зыбким, медленно тает и вдруг исчезает совсем, а на его месте вспыхивает на солнце огромное облако твердого воздуха. Температура на сто километров вокруг резко падает на пять-десять градусов... Три тысячи риманов. Огненная стрелка остановилась. Эпсилон-деритринитация закончилась, и «Корабль» перешел в состояние Подпространства. С точки зрения земного наблюдателя он был сейчас «размазан» на протяжении всех полутораста парсеков от Солнца до ЕН 7031. Теперь предстоял обратный переход.

При выходе из Подпространства всегда существует опасность оказаться слишком близко к какой-нибудь тяготеющей массе, а может быть, даже и внутри нее. Правда, опасность эта является чисто теоретической. Вероятность ее гораздо меньше вероятности угодить точно в печную трубу Эрмитажа, вывалившись над Ленинградом из стратоплана. Во всяком случае, ни то, ни другое событие ни разу не имело места за всю историю человечества. «Корабль» Антона благополучно выскочил в нормальное пространство на расстоянии двух астрономических единиц от желтого карлика ЕН 7031.

Антон отдышался, вытер пот со лба и вышел из камеры. В рубке все было в порядке. Он прошелся вдоль пульта, скользнул взглядом по обзорному экрану, затем выключил автоматику перехода. На пульте перед

экраном по-прежнему лежал букетик гвоздик. Антон остановился. «Жалко», — пробормотал он. Он коснулся букетика пальцем, и цветы рассыпались в зеленоватую пыль. «Бедняги, — подумал Антон. — Не выдержали. Да и кто выдержит?» Он вспомнил о пассажирах и спустился в кают-компанию.

Зал кают-компании был круглый, сюда выходили двери всех восьми кают и люк в нижний этаж, где были кладовые, кухня-синтезатор, душ и прочее. Антон оглядел стол, кресла, поправил крышку мусоропровода и направился в каюту Вадима. Там он отодвинул заслонку камеры, и Вадим вывалился на него. Он был белый и мокрый, как мышь.

— Плохо? — участливо спросил Антон.

Вадим грудным голосом пропел:

Воет ветер дальних странствий,
Раздается жуткий свист —
Это вышел в Подпространство
Структуральнейший лингвист.

Впрочем, он сейчас же откинул диван и сел.

— Вот почему я не стал звездолетчиком, — сказал он немного хрипло и прилег.

— Каждый раз ты это говоришь, — сказал Антон. Вадим промолчал. — Пойду освобожу Саула, — сказал Антон.

— Ты слышал нашу беседу? — спросил Вадим, не открывая глаз.

— Да.

— Интересный человек, а?

— Не знаю, — сказал Антон. — По-моему, он человек в беде.

— Еще бы! Другого бы ты на «Корабль» не взял. Стоит нам собраться куда-нибудь вдвоем, как ты начинаешь альтруировать. Постой, не уходи...

Антон остановился в дверях.

— Ты несешь болезненную чепуху, — сказал он, — а Саулу там сейчас, наверное, плохо. Это трудно представить, но он, я думаю, еще более хилый межпланетник, чем ты.

Вадим неожиданно вскричал трагическим шепотом:

— Слепец! О слепец!.. Нет, не уходи — мне тоже плохо... Неужели ты еще не понимаешь, кто он?!

— Что ты имеешь в виду?

Вадим, наконец, сел.

— Он же ничего не смыслит в лингвистике, — сказал он. — Надеюсь, это ты заметил?

— А что ты понимаешь в истории?

— Ты мне еще скажи, что он книжный червь. Мы все знаем одного такого червя. Его зовут Бенни Дуров. Поговори о нем с тагорянами.

Антон нехотя улыбнулся.

— Ладно, — сказал он. — Только ты все-таки воздерживайся. Я-то тебя переношу в любых дозах, а вот на свежего человека ты иногда производишь совершенно удручающее впечатление. Поменьше жеребячьего оптимизма и побольше такта.

— Слушаю, шкип, — серьезно сказал Вадим. — Есть, шкип.

Антон вышел. Огибая стол, он опять улыбнулся: с Вадимом не соскучишься. В каюте номер три он прежде всего откинул диван и только тогда откатил заслонку, готовясь подхватить падающее тело. Вместо этого из камеры повалил синий дым. Антон отпрянул.

— Что, разве уже? — раздался из клубов дыма голос Саула.

Антон вгляделся. Саул сидел на своем портфеле, поставленном на попа, и курил длинную черную трубку. Вид у него был рассеянный и благодушный.

— Вас не тошнит? — спросил Антон, попятился и сел на диван.

— Отнюдь нет. Что, можно выходить?

— Прошу вас, — сказал Антон.

Саул поднялся, взял портфель и, наклонясь, вышел из камеры.

— Мы почти на месте, — сказал Антон. — Остается только выбрать планету и решить, где высадиться.

Саул сел рядом с ним.

— Мы далеко от Земли? — спросил он.

— Полтораста парсеков. Почти на пределе для нашего «Корабля».

Вадим заорал из своей каюты:

— Саул! Требуйте землеподобную планету! В скафандре вам не понравится, а кислородная маска — это еще туда-сюда...

Антон встал и плотно прикрыл дверь.

— Мне все равно, какую планету, — тихо сказал Саул. — Но, конечно, лучше такую, где можно дышать. — Он вдруг усмехнулся. — Это очень важно, чтобы можно было дышать. — Антон внимательно смотрел на него. — Но самое важное — чтобы там никого не было...

— Вот что, Саул, — сказал Антон. — Планету мы вам найдем. Это пустяки. У нас на борту есть жилой купол на шесть человек, есть глайдер, есть запас пищи для инициирования цикла, есть хорошая радиостанция.

Мы поможем вам устроиться и сейчас же уйдем. Хорошо?

Саул сидел, опустив голову.

— Да, — сказал он хрипло. — Так будет лучше всего. Наверное.

— Ну, вот и хорошо. — Антон толкнул дверь. — Я пойду в рубку, а вы... Если захотите, тоже приходите в рубку.

В рубке Антон включил бортовой каталог и просмотрел сведения о системе ЕН 7031. Сведения были неинтересные. Вокруг желтого карлика крутились четыре планеты и два пояса астероидов. Пожалуй, больше всего подходила вторая планета: она была землеподобна и находилась на расстоянии полутора астрономических единиц от своего солнца. Антон подал эфемериду на киберштурман.

Из кают-компании доносились голоса.

— Как вы перенесли переход, Саул?

— Какой переход? Я не заметил никакого перехода.

— Я так и думал.

— Что?

— Что вы не заметите. Хотите душ?

— Нет. Нам долго еще?

— Наверное, нет. Чувствуете? — «Корабль» шевельнулся, и пол поплыл из-под ног. — Это он ложится на курс. Пойдемте в рубку, а?

— А мы не помешаем?

— Конечно, нет. Мы же туристы. Вот в десантном или рейсовом звездолете нас бы не пустили... Зачем вы носите с собой портфель?

— Он мне дорог...

— Тогда не ставьте его на крышку мусоропровода.

Антон внимательно рассматривал изображение планеты на обзорном экране. Планета была голубая, как Земля, покрытая белой пеленой облаков, но очертания материков были незнакомые — один большой материк тянулся вдоль экватора, другой, поменьше, тяготел к полюсу.

— Вот ваша планета, Саул, — сказал Антон и взял листок, выпавший из вывода антенны-анализатора. — Прекрасная планета. Сжатия нет. Сутки — двадцать восемь часов, масса — один и одна десятая. Вредных газов тоже нет. Кислорода много. Маловато углекислоты, но пусть это вас не беспокоит.

Он поглядел на Саула. Саул смотрел на свою планету с каким-то странным выражением. Мохнатые брови его поднялись дугами, и Антону показалось даже, что он может заплакать. Антон был тронут.

— Товарищи! — сказал вдруг Вадим. — Давайте назовем эту планету

Саулой.

— Нарекается Саулой! — сказал Антон.

Он пригнул к себе раструб бортового дневника и продиктовал:

— Юлианский день двадцать пять сорок два девятьсот шестьдесят семь. Вторая планета системы ЕН 7031 нарекается Саулой, по имени члена экипажа историка Саула Репнина.

Все это не имело ровно никакого значения. Планеты нарекались по названиям кораблей и городов, по именам любимых литературных героев, названиями приборов и просто громкими звукосочетаниями. А у кого не хватало фантазии, тот брал какую-нибудь книгу, открывал на какой-нибудь странице, выбирал какое-нибудь слово и как-нибудь его переделывал. И тогда получалось что-нибудь вроде Смеховины, Подраки или Бровии.

Но Саул был растроган необычайно. Он бормотал: «Спасибо, спасибо, друзья», — и жал Вадиму руку. Это было очень трогательно.

А между тем планета росла. Когда на экране остался только материк, растопырившийся вдоль экватора, Антон спросил:

— Так где же мы будем высаживаться, Саул?

Саул ткнул пальцем почти в центр материка. Антону показалось, что он сделал это зажмурившись.

— Това-арищи, — протянул Вадим, — давайте поближе к побережью.

Было ясно, что ему хочется искупаться. Искупаться в океане Саулы, в волнах, которые не омывали еще ни одного землянина, которые не омывали, может быть, вообще ни одно разумное существо.

— Н-ну... К побережью так к побережью, — неуверенно сказал Саул. Он посмотрел на Антона. — Для моих целей, — он кашлянул, — выбор места не является существенным.

— Чудесно! — сказал Вадим. Он проворно уселся в кресло рядом с Антоном. — Хватит! — заявил он. — Капитана разбил паралич, и он в дурном состоянии отнесен в каюту. Широкоплечий и статный второй пилот взял управление на себя. — Он положил пальцы на контакты биоуправления, и «Корабль» сейчас же повалился в пропасть. Материк на экране стал тошнотворно поворачиваться. Вадим провозгласил:

Все от ужаса рыдает
И дрожит как банный лист!
Кораблем повелевает
Структуральнейший лингвист.

Саул с шумом уронил портфель и вцепился Антону в плечо.

— Димка, скажи хоть, куда ты целишься, — попросил Антон.

— Туда, — смутно ответил Вадим. — Где синие волны ласкают песок.

«Корабль» завалило на правый борт.

— Легче, легче, — сказал Антон. — Меньше эмоций. В материк не попадешь.

— Авось попаду.

— Тормоза! Ты же видишь — заносит!

— Я все вижу.

— Ох, и грохнет он нас сейчас, — сказал Антон в пространство.

— Небось, небось, — приговаривал Вадим.

Экран помутнел. «Корабль» вошел в атмосферу. Вспыхнула и пропала радуга на тучах твердого воздуха. Замелькали белые и черные пятна.

— Обдув, — посоветовал Антон.

— Знаю.

— Ох, и валит тебя и кривит!

Вадим быстро сказал:

— Перехватишь управление — я тебе не друг.

— Вы, Вадим, и в самом деле не промахнитесь, — сказал Саул осторожно.

Карусель на экране прекратилась. Быстро надвинулось белое поле, потом экран потемнел и погас. «Корабль» вздрогнул.

— Вот и все, — сказал Вадим. Он потянулся, хрустнув пальцами.

— Что все? — спросил Саул. — Сломали?

— Сели, — сказал Антон. — Добро пожаловать на Саулу.

— Однако же вы лихой пилот, — сказал Саул Вадиму.

— Весьма лихой, — согласился Антон. — Знаешь, на сколько ты промахнулся, Димка? Километров на двести. Но экран выключить успел, молодец.

— Привычка, — небрежно сказал Вадим.

Антон встал.

— Между прочим, что такое «банный лист»? — спросил он.

Вадим тоже встал.

— Это, Тошка, вопрос темный. Есть такая архаическая идиома: «дрожать как банный лист». Банный лист — это такая жаровня. — Он стал показывать руками. — Ее устанавливали в подах курных бань, и, когда поддавали пару, то есть обдавали жаровню водой, раскаленный лист начинал вибрировать.

Саул неожиданно захохотал. Он смеялся густо и с наслаждением,

вытирая слезы ладонью и топая башмаками. Никто ничего не понимал, но через минуту смеялись уже все.

— Забавный обычай, верно? — сказал Вадим, кашляя от смеха.

— Правда, Саул, отчего вы смеетесь? — спросил Антон.

— Ох! — сказал Саул. — Я так рад, что прибыл на свою планету...

Вадим перестал смеяться.

— В конце концов, я не славяновед, — сказал он с достоинством. — Моя специальность — структурный анализ.

— Ну ладно, — сказал Антон, — пойдемте наружу.

Все пошли из рубки. Вадим, придерживая Саула под локоть, говорил:

— Это не мой вывод. Это наиболее распространенная гипотеза.

— Неважно, неважно, — быстро отвечал Саул. Он стал серьезным. — Эта ваша гипотеза настолько далека от истины, что я не мог удержаться. Если я вас задел — простите...

— А вы как считаете? — спрашивал Вадим.

Саул раздраженно сказал:

— Нет такого выражения: «дрожать как банный лист». Есть выражения: «дрожать как осиновый лист» и «липнуть как банный лист».

— Но липнуть как лист — это примитивная метафора. Она восходит к липким листьям липы. Как может липнуть банный лист? Это же не лист растения. Чего ради листья каких-то растений попадут в баню? Это смешно!

Антон вскрыл мембрану люка. Крепкий морозный воздух хлынул в «Корабль». Саул оттолкнул Вадима и крикнул:

— Подождите! Пропустите меня, пожалуйста!

Антон, уже перенесший ногу через порог, остановился. Саул, держа над головой скорчер, протиснулся вперед.

— Хотите ступить первым? — спросил Антон улыбаясь.

— Да, — пробормотал Саул. — Лучше я.

Он пролез в узкий люк и остановился, загораживая дорогу. Антон, лезший следом, боднул его головой.

— Вперед, Саул, — сказал он.

Саул был как каменный. Сзади Вадим нетерпеливо постучал Антона по согнутой спине.

— Дайте же пройти, Саул, — попросил Антон.

Саул наконец посторонился, и Антон выбрался наружу. Вокруг был снег. И сверху падал снег большими ленивыми хлопьями. «Корабль» стоял среди однообразных круглых холмов, едва заметных на белой равнине. Под ногами из снега торчала короткая бледно-зеленая травка и много мелких

голубых и красных цветов. А в десяти шагах от люка, припорошенный снегом, лежал человек.

III

Вадим вылез из «Корабля» последним и сейчас же обратился к Саулу:

— Проще всего было бы проверить это по старинным словарям Даля и Ушакова. Но на борту...

Тут он заметил, что Саул его не слушает. Саул держал скорчер на изготовку — стволом на согнутом локте, — и лицо у него было обеспокоенное. Глаза его бегали. Вадим быстро огляделся и тоже увидел человека.

— Вот тебе на, — растерянно сказал он.

Антон подошел к лежащему, а Саул остался на месте. Неужели я сбил его «Кораблем» при посадке? — с ужасом подумал Вадим. Внутри у него все сжалось от этой мысли. Он бросился вслед за Антоном и тоже наклонился над телом. Он только взглянул, затем сейчас же выпрямился и стал смотреть в сторону. Вокруг тянулись унылые холмы, заснеженные и одинаковые, небо было затянуто низкими облаками, а на горизонте угадывались бледные очертания горного хребта. Какая печальная планета, подумал он.

И поля и горы —
Снег тихонько все украл...
Сразу стало пусто.

Антон опустился на колени и осторожно потрогал руку лежащего. Рука была узкая, белая, с тонкими фарфоровыми пальцами, длинные ногти отливали золотом.

— Ну? — сказал Вадим и глотнул.

Антон поднялся и тщательно стер снег с голых колен.

— Замерз. Несколько дней назад. И он очень истощен.

— Безнадежно?

Антон кивнул.

— Это уже камень.

— Камень... — повторил Вадим. — Как же так? Смотри, он совсем мальчишка... — Он заставил себя смотреть на лицо мертвого. — Смотри, он похож на Валерку! Помнишь Валерку?

Антон положил ему руку на плечо.

— Да, похож.

— Я так испугался. Я думал, что сбил его при посадке.

— Нет, он лежит уже несколько дней. Он упал от слабости и замерз.

— Слушай, Антон, а почему он в рубашке?

— Не знаю. Пойдем на «Корабль».

Вадим не двинулся.

— Я не понимаю. Значит, мы не первые?

Он огляделся, ища взглядом Саула. Саула не было.

— Антон, может быть, ты ошибся? Может быть, еще можно что-нибудь сделать?

— Пойдем, пойдем, Димка.

— А как же... он?

— Откуда я знаю? Пойдем.

Они увидели Саула. Саул медленно спускался по склону холма, скользя по сыроватому снегу. Они стояли и ждали, пока он не подошел. Лицо у него было грустное, на щеках таяли большие снежинки. Колени были в снегу. Он подошел, вынул изо рта погасшую трубку и сказал:

— Плохо дело, молодые люди. Там еще четверо. — Он посмотрел на мертвого. — Тоже раздеты. Что вы намерены предпринять?

— Идемте в «Корабль», — сказал Антон, — там все тщательно обдумаем.

В кают-компании они сели в кресла и некоторое время молчали. Вадима бил озноб. И почему-то очень хотелось говорить.

— Ну и планета! — сказал он, напрягая челюсти. — Никогда о таком не слыхал. Ничего не понять. Что? Откуда? Почему? Ведь говорили, что никто здесь раньше не бывал. И главное — мальчик. Мальчик-то как сюда попал? — Он замолчал и закрыл глаза, стараясь прогнать видение припорошенного снегом лица.

Антон поднялся и стал ходить вокруг стола, опустив голову. Саул набил трубку.

— Разрешите мне закурить, — попросил он.

— Да, пожалуйста, — сказал Антон рассеянно. Он остановился. — Сейчас мы сделаем вот что, — решительно заговорил он. — У нас есть глайдер. Возьмем продовольствие и одежду и проведем спиральный поиск вокруг «Корабля». На холмах могут оставаться живые.

В голосе его звучали твердые, незнакомые Вадиму нотки. Вадим с любопытством поглядел на него, и Антон заметил его взгляд.

— Видите ли, товарищи, — сказал он мягче, — турпохода у нас не вышло. Обстоятельства, по-моему, чрезвычайные. Мне, наверное, придется

приказывать, а вам придется подчиняться. — Он поглядел на Саула и виновато развел руками. — Вы видите, Саул, ничего не поделаешь.

— Да, — сказал Саул. — Да. Конечно. Я готов, капитан. Приказывайте.

— А ты что, уже все понял? — спросил Вадим.

— Потом поговорим, — сказал Антон. — Сначала надо вырастить глайдер. Пойдем, Вадим.

Саул положил трубку и тоже поднялся, поправляя на плече ремень скорчера.

— Спасибо, Саул, мы сами справимся, — сказал Антон.

— Я хотел бы с вами, — сказал Саул. — Я вам не помешаю, капитан.

Они вынесли Яйцо и уложили его на вершине холма поодаль. Снег пошел гуще, снежинки щекотали щеки, и Вадим раздраженно размазывал их по лицу. Дул ветер, и было холодно стоять и смотреть, как Антон неторопливо и аккуратно укрепляет активаторы на гладкой поверхности механозародыша. Ветер обжигал голые руки и ноги, и Вадим вдруг подумал, что, может быть, где-то за холмами бредут сейчас, проваливаясь в сугробы, босые люди в длинных серых рубахах.

Антон выпрямился и подышал на покрасневшие руки.

— Кажется, так, — сказал он. — Проверь, Дима.

Вадим осмотрел расположение активаторов. Все было в порядке. Они пошли обратно к «Кораблю». Саул шел следом — он все время держался у них за спиной. «Корабль» уже набирал энергию, он черной горой возвышался на белом, изогнутая верхушка его следила за невидимой ЕН 7031. По дороге Вадим сорвал несколько цветков и пожалел их — какие они жалкие и бледные.

> И живых и мертвых —
> Снег тихонько все украл...
> Сразу стало пусто.

Снег валил все сильнее и сильнее, и, когда они подошли к «Кораблю», Саул сказал:

— Скоро все заметет. Неплохо бы произвести вскрытие.

— Зачем? — сказал Антон. — Он безнадежно мертв.

— Вот именно. Надо бы выяснить, почему они умерли.

— Они замерзли, — сказал Антон. — И не нужно нам никакого вскрытия.

— Мне казалось... — начал Саул, но тут же замолчал и полез в люк.

В кают-компании Антон сказал:

— Поймите, я не настоящий врач. Мне... не хочется.

— Я понимаю, — сказал Саул.

— Вадим, — сказал Антон, — упакуй продовольствие. Все наличные запасы. Саул, вы говорили, что умеете шить. Надо подогнать костюмы. А я соберу медикаменты.

Комбинезоны были безразмерные, но разница в росте между Саулом и Антоном была слишком велика. Комбинезон для Антона надо было сжимать, а для Саула — растягивать. И сразу же выяснилось, что шить Саул не умеет. Он растерянно вертел в руках ультразвуковую насадку, мял и разглаживал костюмы и смущенно поглядывал на Антона. По-видимому, историки, сидя в своих уютных кабинетах, понятия не имели о таких простых вещах. Вероятно, их главным образом интересовало, как это делалось раньше. Вадиму пришлось отобрать у Саула насадку и показать, как это делается сейчас. К его изумлению, историк оказался понятлив, и через несколько минут каждый уже занимался своим делом.

Саул сказал, не поднимая головы от работы:

— Почему вы думаете, капитан, что остались еще живые?

— Я не думаю, — ответил Антон. — Я надеюсь.

Вадим кончил укладывать мешок, застегнул его и присел к столу.

— А те остальные четверо тоже молодые? — спросил он.

— Да, — сказал Саул. — Совсем мальчики. Почти подростки. Гораздо моложе вас.

— Лет пять назад, — проговорил Вадим, — мы с ребятами хотели взять корабль и слетать на Тагору. Нам, конечно, не дали... Может быть, _этим_ повезло?

— Непонятно, — сказал Антон. — Корабль может получить только пилот со стажем. А какой у этих стаж... Мальчишки! Вообще все непонятно. Золоченые ногти. Какие-то дикие рубахи на голое тело... И главное, как они попали сюда?

— Очень просто, — сказал Вадим. — Кто-нибудь собирался лететь, оставил звездолет перед домом, они ночью забрались и стартовали. Играли в Румату-Искателя. А здесь вылезли и заблудились. Ударил мороз. Вот и все.

— То, что ты говоришь, — холодно сказал Антон, — совершенно невозможно. — Если бы даже все было так, то я бы об этом знал. Они погибли несколько дней назад. На Земле был бы объявлен глобальный поиск.

— А если они здесь с кем-нибудь из старших?

Антон помолчал.

— Тогда поищем старших, — сказал он наконец.

— Меня смущает одно, — сказал Вадим. — Эти невообразимые рубахи...

— Это не рубахи, — сказал Саул неожиданно.

Ребята повернулись к нему.

— Это мешки. С дырками для головы и рук. Грубые джутовые мешки. Теперь таких не бывает. — Он невесело усмехнулся. — Понимаете, Вадим, мальчикам было бы легче раздобыть скорчер или батисферу, чем один такой вот мешок. Это было очень, очень давно. И мне очень не нравится, что они голые и что вместо одежды на них мешки.

Вадим почувствовал, что у него перестало биться сердце. Странным и жутким показалось ему это — джутовые мешки, которые были очень, очень давно. Это было ощущение не опасного, а именно жуткого. Как будто на твоих глазах человек вдруг стал стареть, стареть, стареть и превратился в дряхлого, морщинистого старика. Он встряхнулся, и ощущение пропало. Саул развернул комбинезон, поднял его на вытянутых руках и осмотрел.

— И поэтому я не согласен с вами, — продолжал он. — Я думаю, это местные жители. И... не знаю, поймете ли вы меня... Во времена джутовых мешков происходили странные вещи. Мне представляется, что этих юношей раздели до нитки. И бросили здесь, в пустыне. Примерьте, Антон.

Антон взял комбинезон.

— Значит, по-вашему, на Сауле существует своя цивилизация? — недоверчиво спросил он. — И здесь времена джутовых мешков?

— Ну, откуда я могу это знать, капитан? Я говорю только то, что вижу. Я вижу джутовые мешки, я знаю, что джутовых мешков на Земле в наше время нет. Значит, это не земляне. Может быть, это ограбленные. А может быть, это паломники. Фанатики. Шли на поклонение святым мощам, шли, по обету одетые в мешковину, сбились с дороги, попали в метель... Не знаю.

До Вадима все это плохо доходило. Все эти слова — «паломник», «мощи», «обет» — они были знакомы ему, это было что-то связанное с религиозной обрядностью, но они не имели для него никакого реального содержания. Мельком он подумал с уважением, что Саул, по-видимому, настоящий специалист. Но не это поразило его.

— Позвольте, — сказал он. — Значит, цивилизация? Вот так так... Отправились на прогулку и между делом открыли цивилизацию! Не верю, — заявил он.

— Между делом, — сказал Антон задумчиво. — Между делом ли? ЕН

7031 значится в плане исследований...

— Да, ты говорил об этом. Экспедиция не состоялась.

— Экспедиция не состоялась. А между тем ЕН 7031 находится в списке звезд, лежащих на гипотетическом пути Странников.

— Никогда не слыхал о таком списке, — сказал Вадим.

— Такой список есть. Список Горбовского — Бадера. Так что шансы найти цивилизацию были, Вадим. И может быть, Саул прав, это местные мальчики. А вот какое они имеют отношение к Странникам — это уже другой вопрос...

Вадим сидел, поставив локти на стол и обхватив голову руками. Вот так цивилизация! Хорошо, думал он, пусть это жертвы грабителей. Но это же чушь: здоровые шестнадцатилетние мальчишки дали себя раздеть без сопротивления и покорно замерзли. Но не фанатики же они! Он представил себе фанатика. Это был изможденный плешивый старик с безумными глазами, с огромной ржавой цепью через плечо. Нет, подумал он. Какие это фанатики!.. Может быть, это сами Странники? Да. В джутовых мешках. Он вспомнил циклопические сооружения, оставленные Странниками на Владиславе, и его охватила тоска. Такая тоска наваливалась на него каждый раз, когда он брался за непосильную задачу.

— Антон, — сказал он. — Как там глайдер?

Антон взглянул на часы.

— Пора, — сказал он. — Пойдемте. Одевайтесь и берите по мешку.

— Позвольте, однако же, уточнить, — сказал Саул. — Что мы будем искать?

Вадиму показалось, что Антон колеблется.

— Мы будем искать терпящих бедствие.

Саул застегнул комбинезон.

— А если, по счастью, здесь больше никто не терпит бедствие? Я имею в виду вариант с грабителями.

— При этом варианте я бы не стал стесняться, — пробормотал Вадим.

— При любом другом варианте, — раздельно сказал Антон, — прошу не делать ни одного движения без моего приказа.

Он пошел к двери.

— Вы не берете оружия? — спросил Саул.

— Нам не понадобится оружие, — ответил Антон.

— Хватит здесь мертвецов, — сказал Вадим.

Они вышли из «Корабля» и сразу провалились в глубокий снег. Глайдер был еле виден за белой завесой. Это был глайдер-антиграв «кузнечик», надежная шестиместная машина, очень популярная у

десантников и следопытов. Он стоял на краю громадной ямы-проталины, откуда поднимался густой пар, и гладкие борта его были еще теплыми, а в кабине было даже жарко.

Они свалили мешки в багажник и забрались в машину под гладкий прозрачный фонарь.

— Ах, досада! — сказал Антон неожиданно. — Димка, прости, пожалуйста. Ведь тебе для перевода, наверное, понадобится анализатор.

— Для какого перевода? — спросил Саул.

Вадим потер подбородок.

— Анализатор — не анализатор, — сказал он медленно, — а без мнемокристаллов на первый случай не обойтись. Придется кому-то сходить в «Корабль».

— Эх, — сказал Антон и полез из глайдера. — Сколько тебе их нужно?

— Одной пары будет достаточно. Только бери с присосками, чтобы не держать в руках.

Антон побежал по снегу к «Кораблю».

— О чем здесь шла речь? — осведомился Саул.

— Надо же будет как-то общаться с людьми, если мы их найдем, — ответил Вадим.

Он включил двигатель, мягко поднял глайдер и снова опустил.

— И вы об этом так, — Саул пошевелил пальцами, — легко говорите?

Вадим посмотрел на него с удивлением.

— А как я должен говорить?

— Ну да, естественно, — сказал Саул.

«Вот странный человек, — подумал Вадим. — Неужели он действительно всю свою жизнь просидел в своем кабинете, слушая Мендельсона?»

— Саул, — сказал он. — После работ Сугимото общение с гуманоидами — задача чисто техническая. Вы что, не помните, как Сугимото договорился с тагорцами? Это же была большая победа, об этом много писали и говорили...

— Ну как же! — с энтузиазмом произнес Саул. — Как такое забудешь! Но я думал почему-то, что... э-э... на это способен только Сугимото.

— Нет, — сказал Вадим пренебрежительно. — Это может сделать любой структуральный лингвист.

Вернулся Антон, сунул Вадиму коробку с кристаллами и забрался на свое место.

— Вперед, — сказал он. Затем посмотрел на Саула. — Что тут у вас произошло?

— А в чем дело?

— Мне показалось... Ну, это неважно. Вперед.

— Слушай, — сказал Вадим, глядя на еле заметный снежный холмик возле «Корабля». — Нехорошо оставлять их так. Может, сначала похороним?

— Нет, — сказал Антон. — Честно говоря, даже на это мы не имеем права.

Вадим понял. Это не наши мертвые, и не нам хоронить их по нашим законам. Он взялся за рукоятку руля и включил двигатель. Глайдер плавно взмыл над сугробами и кинулся в белую мглу.

Вадим сидел, привычно ссутулившись, и только чуть шевелил руль, проверяя устойчивость. Навстречу мчался снег. Вадим видел только белую тысячехвостую звезду, центр которой медленно плавал перед его глазами. Он включил поисковые локаторы.

— Что это за экраны? — спросил позади Саул.

Вадим объяснил:

— Во-первых, я ничего не вижу, а во-вторых, их могло засыпать снегом.

— Спасибо, — сказал Саул. — Я понял.

Глайдер выскочил из метели. Он несся над заснеженной холмистой равниной. Вадим медленно наращивал скорость, и двигатель густо свистел, и бешено неслись под днищем округлые вершины холмов. Небо было совершенно белое, невысоко над горизонтом справа светилось слепящее пятно — ЕН 7031, а на севере отчетливо проступили очертания скалистых гор. Слепящее пятно медленно смещалось вправо и назад: глайдер шел по десятикилометровой дуге вокруг «Корабля». И впереди, и справа, и слева были только холмы, холмы, холмы. Антон вдруг сказал:

— Глядите, стадо!

Вадим затормозил и развернулся. Глайдер повис неподвижно. В ложбине между холмами быстро двигалась кучка каких-то животных. Это были некрупные четвероногие, похожие на безрогих оленей, и они, выбиваясь из сил, прыгали, проваливаясь в снег, закидывая назад длинные черноносые головы. Тонкие ноги их застревали в сугробах, и они падали, барахтались, поднимая тучи снежной пыли, и снова вскакивали, и снова бежали, изгибаясь при каждом прыжке. За ними оставалась борозда взрытого снега. А по этой борозде, низко пригнув длинные вытянутые шеи, мчались на голых голенастых ногах громадные, похожие на страусов птицы. Только клювы у этих птиц были не как у страусов — мощные, горбатые, с загнутым вниз страшным острием.

Вадим спикировал и пошел вдоль ложбины. Стадо пробежало под глайдером, даже не заметив его, а птицы — их было три — разом остановились, присели на согнутых ногах и, задрав головы, страшно разинули клювы. Какая охота, мельком подумал Вадим, какая могла бы быть охота! Он снова поднял глайдер и перевел его в джамп-режим. Совсем близко, едва не царапнув по спектролиту фонаря, щелкнули чудовищные клювы и сразу исчезли. Теперь глайдер мчался двухкилометровыми прыжками, взлетая к низкому небу, и каждый раз равнина словно распахивалась внизу, и было видно, что на десятки километров вокруг тянется бескрайняя снежная пустыня.

— Плохо дело, — пробормотал Саул.

— Почему?

— Птицы...

Ну и цивилизация, подумал Вадим. Не могли организовать поиск. Дали мальчишкам уйти голыми, безоружными. Здесь, наверное, и шагу нельзя пройти без оружия. А ведь смелые, наверное, были ребятишки...

Глайдер замкнул десятикилометровый виток и начал второй, в двадцать километров. И сейчас же Антон сказал:

— Вот они откуда, наверное. Тридцать градусов вправо по курсу!

На краю равнины под серо-синей массой хребта виднелись какие-то смутные, правильной формы темные пятна.

— Похоже на большой населенный пункт, — сказал Саул. — Здесь нет бинокля?

Спектролит фонаря рассеивал дымку, и Вадим, нагнувшись к окулярам, различил очертания зданий, зубчатых стен и куполов.

— Город, — сказал он. — Что будем делать?

— Город? — спросил Саул. — Любопытно. И сколько до него?

— Километров пятнадцать.

— Так. Значит, до «Корабля» от города километров тридцать... При известной выдержке это можно пройти даже босиком.

Вадима передернуло.

— В жизни не стал бы пробовать, — пробормотал он.

Глайдер, чуть подрагивая под порывами ветра, висел в двух десятках метров над землей. До чего же здесь все нелепо устроено, думал Вадим. Где поисковые партии? Где глайдеры и вертолеты с добровольцами? Люди замерзли рядом с городом, и здесь на десятки километров вокруг ни одной живой души, кроме этих птичек. А птичкам здесь как раз совершенно нечего делать. Надо было их выбить еще сто лет назад и не устраивать под боком заповедника хищников. И чего медлит Антон? Почему бы нам не

явиться в город и не наставить обитателей на путь истинный? Честное слово, формальностями первого контакта можно для такого случая пренебречь. Он поглядел на Антона.

Антон медлил. Он сидел, выпрямившись, сильно прищурив глаза и сжав губы. Такое лицо у него было, когда он решал в уме навигационную задачу.

— Итак, шкип? — сказал Вадим.

Лицо Антона приняло обычное выражение.

— Честно говоря, — проговорил он, — нам следует сейчас вернуться на «Корабль». Но... Вперед. Остановишься на окраине. Держись повыше.

Глайдер преодолел расстояние до города в три прыжка, и уже в конце второго Вадим понял, что это не город. Во всяком случае, он сразу понял, почему здесь никто не беспокоится о судьбе пропавших мальчиков.

— Здесь произошел ужасный взрыв, — пробормотал за спиной Саул.

Глайдер повис над краем исполинской воронки, похожей на жерло действующего вулкана. Воронка шириной в полкилометра была до краев наполнена тяжелым шевелящимся дымом. Дым был сизый, и он лениво слоился и покачивался и был, вероятно, намного тяжелее воздуха, потому что ни одной струйки не поднималось над воронкой. Со стороны казалось, что это не дым, а жидкость. К краям воронки лепились засыпанные снегом развалины. Из сугробов торчали обглоданные остатки разноцветных стен, покосившиеся башни, скрученные металлические конструкции, проломленные купола.

Вадим ошеломленно глядел вниз. Саул бормотал невнятно:

— Ну, это нам знакомо... Бомбежка... Взорвались склады... И совсем недавно — дым еще не рассеялся, что-то там горит...

Вадим помотал головой:

— В таком городе жить нельзя. Люди разбежались кто куда, конечно. Удивительно, что мы нашли только пятерых.

— Остальные там, — сказал Саул, глядя в воронку.

— Это не цивилизация, а безобразие, — проворчал Вадим. — Что за подлое легкомыслие? Кто же ставит такие опыты в городе? Нужно быть последним...

Антон сказал негромко:

— А вон там идут машины...

С севера к воронке подходила узкая, едва заметная отсюда лента дороги. По ней густо и неторопливо ползли темные точки. Ага, подумал Вадим, значит, еще не все потеряно. Он повернул глайдер, пересек воронку, и они увидели превосходное шоссе, уходящее прямо в дым, а на шоссе —

бесконечную колонну машин. Машины занимали все полотно шоссе. Они плотным строем шли с севера, только с севера, плоские зеленые машины, похожие на пассажирские атомокары, но без ветрового стекла; маленькие бело-синие машины, тащившие за собой длинный хвост пустых открытых платформ; оранжевые машины, похожие на полевые синтезаторы; огромные черные башни на гусеницах и маленькие машины с широкими раскинутыми крыльями — все они неодолимо, ряд за рядом, в полном порядке катились по шоссе, с отчетливой точностью сохраняя интервалы и дистанции, и ряд за рядом скрывались в сизом дыму воронки.

— Это всего лишь автоматы, — сказал Вадим.

— Да, — сказал Антон.

— Значит, их кто-то посылает. Скорее всего, на восстановительные работы. И мы найдем людей на другом конце шоссе... — Вадим запнулся. — Послушайте, Саул, — сказал он, — а были такие машины в эпоху джутовых мешков?

Саул не отвечал. Как завороженный он глядел вниз, и на лице его были восхищение и благоговение. Он поднял на Вадима вытаращенные глаза. Мохнатые брови его торчали дыбом.

— Какая техника! — проговорил он. — Какое гомерическое шествие! Какие грандиозные масштабы! Им конца нет!

Вадим удивился и тоже посмотрел вниз.

— А что такое? — спросил он. — А! Масштабы? Да, масштабы безобразные. На восстановление города хватило бы десятка киберов.

Он снова посмотрел на Саула. Саул быстро замигал.

— А мне вот нравится, — сказал он. — Это же очень красиво. Разве вы не видите, что это красиво?

— Вадим, — сказал Антон, — давай вдоль шоссе. Разбираться так разбираться.

Вадим пустил глайдер. Поток машин внизу слился в пеструю полосу.

— Вот теперь красиво, — сказал Вадим. — Но вы мне не ответили, Саул. Совмещаются джутовые мешки с этой техникой?

— А почему же нет? Из разрушенных городов люди убегали и вовсе без ничего. Дались вам эти джутовые мешки! Джутовые мешки существовали несколько веков. Дешевая удобная вещь. Дрова носить, например.

— Какие дрова?

— Деревянные. Баню топить.

Вадим вспомнил про банный лист и замолчал, глядя вперед. Ни конца шоссе, ни конца колонне машин видно не было. По обе стороны шоссе

уходила к горизонту нетронутая заснеженная равнина. Вадим прибавил скорость. Какое-то бессмысленное предприятие, размышлял он. Уходят в дым, как в пропасть. Он прикинул возможные размеры воронки и количество падающих в нее машин. Получалась нелепость. Впрочем, я не инженер. Рядовой гуманоид с Тагоры — они там все инженеры — решил бы, что это шоссе — просто довольно большой конвейер, несущий детали какой-то средних размеров машины, которую собирают под землей. А вот простой буколический леонидянин был бы убежден, что это стада животных, перегоняемых с пастбища на бойню.

— Антон, — позвал он. — Представляешь леонидян на нашем месте?

Антон ответил:

— Глупый леонидянин вообразил бы, что все ясно. А умный сказал бы, что информации недостаточно.

Да, информации недостаточно. Все машины идут на юг, и ни одна не возвращается. Если они действительно идут на восстановление города, то они восстанавливают его из самих себя. А почему бы, собственно, и нет?

— Вы знаете, — сказал вдруг Саул, — мне даже как-то страшно. Сколько мы уже прошли? Километров сорок? А они все идут и идут.

— Лучше бы они пустили эту технику, чтобы искать разбежавшихся, — сказал Вадим.

— Ну, это вы зря, — возразил Саул. — В такой каше не до отдельных людей.

— Как это так — не до людей? Для кого же они город восстанавливают? Тем мальчикам город уже не нужен...

Саул пренебрежительно махнул рукой.

— Во время взрыва погибло, наверное, тысяч десять таких мальчиков. Жалко, конечно, да не до них.

Вадим взбеленился. Глайдер рыскнул в сторону.

— Вы, Саул, извините меня, но ваш уютный кабинет и занятия историей повлияли на вас странно. Вы рассуждаете, как я не знаю кто. Вы еще нам тут скажете, что цель оправдывает средства.

— А что же, — согласился Саул хладнокровно, — бывает, что и оправдывает.

Вадим сдержался. Кабинетный реликт, подумал он. А вот оставь его без штанов в снегу, и он будет страшно обижен, почему вся техника Планеты не спешит к нему на помощь. Тут Вадим увидел проселок и резко затормозил.

Проселок уходил от шоссе на восток, петляя между холмами.

— Это первая дорога в сторону, — сообщил Вадим. — Будем

сворачивать?

— Да не стоит, — сказал Саул. — Ну, что там может быть интересного?

Антон колебался. Ну что он все время мямлит, с раздражением подумал Вадим. Словно подменили человека.

— Так как же? — сказал он. — Я за то, чтобы идти дальше по шоссе.

— Я тоже, — сказал Саул. — Вернуться мы всегда успеем. Ведь правда, Вадим?

— Хорошо, лети прямо, — нерешительно сказал Антон. — Лети прямо. Хотя... имейте в виду... Ладно, лети прямо.

Вадим снова погнал глайдер вдоль шоссе.

— Что с тобой сегодня, Тошка? — осведомился он. — Ты мямлишь, как витязь на распутье: пойдешь направо — глайдер потеряешь, пойдешь налево — голову потеряешь...

— Вперед, вперед смотри, — ответил Антон спокойно.

Вадим пожал плечами и стал демонстративно смотреть вперед. Через пять минут он увидел впереди серое пятно.

— Опять яма с дымом, — сказал он.

Это была точно такая же воронка. Края ее были запорошены снегом, в ней тяжело колыхался все тот же сизый дым, и из дыма непрерывным потоком поднимались машины.

— Нечто подобное я ожидал увидеть, — сказал Антон.

— Но здесь же нет людей, — растерянно сказал Вадим. — Мы опять ничего не узнаем.

Странная мысль поразила его. Он взглянул на компас и нагнулся к окулярам. Развалин по краям воронки не было. Это была другая воронка.

— Потрясающе, — сказал Саул. — Выходят из дыма и уходят в дым.

— Давайте поворачивать, — нетерпеливо сказал Вадим. Он уставился на Антона. На лице Антона была опять та же отвратительная нерешительность.

— Виноват, — сказал Саул. — Пройти мимо такого удивительного феномена!..

— Да какой там феномен! — вскричал Вадим. — Что вы всё восхищаетесь? Какой-то бездарный инженер перебрасывает машины через Подпространство... Нашел место для нуль-транспортировки! Развалил город, бесталанный дурак... Ну, что ты все размышляешь, Антон?

— Шумно у нас что-то стало, — сказал Антон, глядя в сторону.

— Ну, а в чем дело? Тебя что, интересуют местные производственные процессы?

— Да нет... — вяло сказал Антон. — Какое мне до них дело?

Вадим повернулся вместе с креслом кругом, упер руки в колени и принялся рассматривать по очереди Антона и Саула. У Антона был такой вид, словно он засыпает. Он даже руки сложил на животе и сцепил пальцы. А Саул смотрел на Вадима с выражением какого-то удивленного восхищения и умиления. Рот у него был полуоткрыт.

— В чем дело? — сказал Вадим. — Чего вы оба нанюхались?

Саул встрепенулся.

— Да, конечно! — воскликнул он. — Как я сразу не подумал! Все понятно: имеем две дыры на расстоянии восьмидесяти километров. Из одной дыры выходят машины, проходят по превосходной автостраде и безо всякого видимого эффекта уходят в другую дыру. Из другой дыры они по подземному ходу возвращаются в первую...

Вадим тяжко вздохнул.

— Они не возвращаются в первую, — сказал он. — Это нуль-транспортировка, понимаете? (После каждого слова Саул истово кивал.) Элементарная нуль-транспортировка. Кто-то использует это место, чтобы перегонять технику на большие расстояния кратчайшим путем. Может быть, на тысячи километров. Может быть, на тысячи парсеков. Неужели не понятно?

— Да нет, почему же, все понятно! — воскликнул Саул. Вид у него был несколько обалделый. — Чего тут не понять? Типичная нуль-транспортировка...

— Ну да, — сказал Вадим. — И нет нам до нее никакого дела. Людей надо искать!

— Хорошо, — сказал Антон. — Будем искать людей. Поворачивай на проселок.

Вадим развернул глайдер и погнал его по шоссе обратно.

— Антон, ты что, плохо себя чувствуешь? — спросил он, помолчав.

— Чувствую я себя неважно, — сказал Антон. — Потом не забудь подтвердить это, если тебя спросят...

— Кто спросит?

— Спросят, — сказал Антон. — Будут такие... интересующиеся...

Вадим не стал расспрашивать — было ясно, что это бессмысленно. Он посмотрел на машины внизу, затем на спидометр.

— Примитивные автоматы, — пробормотал он. — Постоянная скорость, постоянные интервалы... Стоило из-за них сворачивать пространство...

Показался проселок.

— Как лететь? — спросил Вадим. — Над проселком или срезать?

— Над проселком, — ответил Антон. — И спустись пониже.

Вадим с удовольствием опустился почти к самой земле и пошел точно над дорогой — он очень любил быструю езду с крутыми поворотами. Сбоку, прыгая на неровностях, неслась по снегу округлая тень глайдера.

— Ну вот, опять птицы, — сказал Саул сердито.

Впереди у самой дороги топталось несколько давешних голенастых чудовищ. Они разгребали когтистыми лапами сугробы и шарили в разрыхленном снегу. Когда глайдер приблизился, они разом присели на лапы, закинули шеи и распахнули черные клювы. С клювов свисали какие-то лохмотья.

— Что за мерзкие твари! — сказал Саул с отвращением. Он перегнулся на сиденье и поглядел назад. — Что они там выкапывают?

Вадим вдруг понял, _что_ они там выкапывают, но это было так страшно, что он не поверил.

— Вы не видели тахоргов, Саул, — сказал он с принужденной веселостью. — По сравнению с тахоргами это желтоносые цыплята. Надо будет подстрелить одну, Антон, а?

— Можно, — сказал Антон.

Саул сел прямо.

— Мне не нравится, что они там что-то выкапывают, — сказал он мрачно.

Никто не ответил. Так в молчании они летели еще минут десять. Снег на проселке был какого-то скверного навозного цвета. На нем виднелись следы не то гусениц, не то колес, а справа и слева по снежной целине местами тянулись цепочки человеческих следов. Круглые холмы по сторонам были пусты. Кое-где из сугробов торчали чахлые прутики да черные кривые корни, похожие на скрюченные руки.

— Еще одна, — сказал Саул.

На вершине холма стояла птица. Заметив глайдер, она стремительно ринулась наперерез. Она мчалась, высоко задирая ноги, растопырив маленькие крылья, вытянув жилистую шею и пригнув клюв к самому снегу. Маленький горящий глаз был устремлен на глайдер.

— Не успеет! — с сожалением проговорил Вадим.

Но птица успела. «Тэ-эк!» — крякнул Вадим с удовольствием. Глайдер содрогнулся. В воздухе мелькнула растопыренная когтистая лапа. Антон и Саул сейчас же обернулись.

— Еще катится! — сообщил Саул. — На редкость мерзкое животное... Ух ты! — изумленно воскликнул он.

Вадим сейчас же включил экран заднего вида. Взъерошенная птица была уже на ногах и, прихрамывая, мчалась следом за глайдером. Вид у нее был остервенелый. Скоро она отстала и скрылась за поворотом.

— Если мы встретим людей, — сказал Вадим, — я им предложу истребить эту мерзость на всей равнине. Раз у них у самих руки не доходят... Как ты полагаешь, Тошка?

— Там видно будет, — сказал Антон.

IV

Холмы стали ниже, и вдруг впереди открылся высокий снежный вал. Антон сразу заметил крошечные черные фигурки, копошившиеся на его гребне. Ну, начинается, подумал он и сказал:

— Останови.

— Зачем? — возразил Вадим. — Ты что, не видишь — там люди!

— Останови, говорят тебе!

— Ну вот, — недовольно сказал Вадим, но повиновался.

Сейчас он повернется и посмотрит на меня с неодобрением, подумал Антон. До чего же мне трудно...

Ему было трудно. Шанс столкнуться с неизвестной цивилизацией был чрезвычайно мал, но реален, и каждый звездолетчик знал инструкцию Комиссии по контактам, запрещавшую самодеятельные контакты с неизвестными цивилизациями. Теперь глупо отступать, думал он. Надо было покинуть Саулу сразу же, едва мы увидели трупы. Надо было... Только никто бы этого не сделал. И все же существует инструкция. И составлена она как раз на такой вот случай — когда у тебя в экипаже один так и горит от жажды деятельности, а другой вообще непонятно чего хочет. А самого тебя раздирают противоречия. Ведь почти наверняка где-то поблизости тысячи людей терпят бедствие. Во-он те самые человечки, которые бессмысленно бродят по гребню... И Димка смотрит с неодобрением... И Саул смотрит с совершенно неуместным любопытством. Историк со скорчером. Кстати, не забыть о скорчере... И инструкция, очень толковая и простая инструкция: «...никаких самодеятельных контактов с аборигенами...» Очень просто: вышел, осмотрелся, заметил признаки живой цивилизации и... «необходимо немедленно покинуть планету, тщательно уничтожив все следы своего пребывания». А у меня там огромная яма из-под глайдера, а рядом с ямой — пять трупов...

— Ну, в чем дело? — спросил Вадим. — Приступ меланхолии?

Разумеется, структуральные лингвисты и историки понятия не имеют об инструкции. Объяснить им — наверняка воспримут как личное оскорбление: «Мы не дети! Сами знаем, что хорошо, а что плохо!»

Тут Антон обнаружил, что глайдер медленно ползет по направлению к валу. И он решился.

— Поднимайся на гребень, — сказал он. — Сядь подальше от людей. И вот что, товарищи. Я вас очень прошу. Не устраивайте вы там братства

цивилизаций.

— Мы не дети, — с достоинством сказал Вадим, увеличивая скорость.

Глайдер рывком взлетел на гребень вала. Вадим откинул фонарь, высунулся и изумленно свистнул. Внизу за валом открылся гигантский котлован, и там было полно людей и машин. Но Антон не смотрел вниз.

Он с ужасом и жалостью смотрел на сгорбленного, синего от стужи человека в рваном джутовом мешке, который медленно, с трудом переставляя ноги, шел прямо на глайдер. Лицо его казалось пестрым от коросты, голые руки и ноги были покрыты цыпками, слипшиеся грязные волосы торчали во все стороны. Человек скользнул по глайдеру равнодушным взглядом и, обогнув его, пошел дальше по гребню. Оступаясь, он жалобно и привычно постанывал. Это же не человек, подумал Антон, это же только похоже на человека...

— Господи боже мой! — хрипло воскликнул Саул. — Что же там делается!

Тогда Антон посмотрел вниз. На дне котлована на грязном растоптанном снегу среди десятков разнообразных машин копошились, сидели и даже лежали, бродили и перебегали люди, босые люди в длинных серых рубахах. Вокруг на границе цельного снега люди стояли неровными, изломанными шеренгами. Их было много — сотни, а может быть, и тысячи. Они стояли понуро, глядя себе под ноги. Кое-где в шеренгах были видны лежащие, и на них никто не обращал внимания.

Машин в котловане было несколько десятков. Некоторые из них зарылись в землю, другие были скрыты под снегом, но Антон сразу увидел, что это такие же машины, как и те, что двигались по шоссе. Несколько машин судорожно дергались, разбрызгивая комья грязи и снега, безо всякого порядка и видимой цели.

Антон вдруг сообразил, что в котловане несоответственно тихо. Тысячи людей находились там, а слышно было только приглушенное ворчание механизмов да изредка пронзительные жалобные выкрики.

И кашель. Время от времени кто-то где-то начинал хрипло, надсадно кашлять, задыхаясь и сипя, так что начинало першить в горле. Этот кашель немедленно подхватывали десятки глоток, и через несколько секунд котлован наполнялся трескучими сухими звуками. На некоторое время движение людей останавливалось, затем раздавались жалобные выкрики, резкие, как выстрелы, щелчки, и кашель прекращался...

Антону было двадцать шесть лет, он давно уже работал звездолетчиком и повидал многое. Ему приходилось видеть, как становятся калеками, как теряют друзей, как теряют веру в себя, как умирают, он сам

терял друзей и сам умирал один на один с равнодушной тишиной, но здесь было что-то совсем другое. Здесь было темное горе, тоска и совершенная безысходность, здесь ощущалось равнодушное отчаяние, когда никто ни на что не надеется, когда падающий знает, что его не поднимут, когда впереди нет абсолютно ничего, кроме смерти один на один с безучастной толпой. Не может быть, подумал он. Просто очень большая беда. Просто я никогда еще не видел такого.

— Никогда мы не сможем им помочь, — пробормотал Вадим. — Тысячи людей, и у них ничего нет...

Антон пришел в себя. Два десятка грузовых звездолетов, подумал он. Одежда. Пять тысяч комплектов. Еда, десяток полевых синтезаторов. Госпиталь, штук шестьдесят домов. Или мало? Может быть, здесь не все? И может быть, не только здесь?..

Хорош бы я был, если бы приказал с шоссе вернуться на «Корабль», подумал он с удовлетворением.

Они стояли молча, не выходя из глайдера. Было непонятно, чем заняты люди на дне котлована. Они возились с машинами. Наверное, машины были их надеждой. Может быть, они хотели исправить их или использовать, чтобы выбраться из снежной пустыни.

Вадим сел и включил двигатель.

— Стой, — сказал Антон. — Ты куда?

— На Землю, — ответил Вадим. — Нам не справиться.

— Выключи двигатель. Начинаются нервы.

— При чем здесь нервы? Нашими семью хлебами ты их не накормишь.

Антон поднял мешок с медикаментами и перебросил через борт. Потом он поднял мешок с продовольствием.

— Возьмите, — сказал он Саулу. — Вадим, приготовь свой транслятор. Будешь переводить.

— Зачем это? — сказал Вадим. — Зачем так усложнять? Мы только потеряем время, а здесь умирают каждую минуту, наверное.

Антон перебросил через борт мешок с продовольствием.

— Узнаем, сколько их. Узнаем, что им нужно. Узнаем всё. С чем ты собираешься возвращаться на Землю?

Вадим, не говоря ни слова, спрыгнул в снег и взял на плечо мешок с медикаментами. Антон выжидательно посмотрел на Саула. Саул вынул изо рта трубку.

— Все это правильно, — проговорил он. — Но не берите еду.

— Почему? Самых слабых мы накормим сразу же.

— Не делайте глупостей. Они увидят еду. Они увидят одежду. Они вас растопчут вместе с вашими мешками.

— Это не для всех, — вразумляюще сказал Антон. — Мы объясним, что это для самых слабых.

Несколько секунд Саул с выражением странного сожаления глядел на него. Затем он спросил:

— Вы знаете, что такое толпа?

— Берите мешок, — тихо сказал Антон. — Что такое толпа, вы мне расскажете потом.

Саул со вздохом взвалил мешок на плечо и нагнулся за скорчером, валявшимся на сиденье.

— Нет, эту штуку вы оставьте, — попросил Антон.

— Нет, это я возьму, — возразил Саул. Он с сопением продел голову в ремень скорчера.

— Я вас прошу, Саул. Вы боитесь и можете выстрелить.

— Конечно, боюсь. Я боюсь за вас.

— Я понимаю, что не за себя, — сказал Антон терпеливо.

Саул, оскалившись, полез через борт.

— Саул Репнин, — железным голосом сказал Антон. — Дайте сюда оружие!

Саул сел на борт.

— Вы не умеете стрелять, — заявил он.

— Умею, — сказал Антон, глядя ему в глаза.

И каждый раз так, с досадой подумал он. Каждый раз в самый важный момент объявляется кто-нибудь с нервами. И приходится урезонивать, вместо того чтобы заниматься делом.

Саул отдал скорчер. Антон сунул оружие за пазуху и прыгнул в снег рядом с Вадимом. Вадим с мешком на плече стоял, наклонив голову, и, поправляя на виске мнемокристалл, с любопытством следил за действиями шкипа.

— Так я возьму третий мешок, — сказал Саул как ни в чем не бывало.

— Да, пожалуйста, — сказал Антон вежливо.

Они стали спускаться в котлован.

— В случае чего, — сказал Саул, — стреляйте в воздух. Все сразу разбегутся.

Антон не ответил. Он думал, как действовать дальше.

— Вадим, — окликнул он. — Ты сумеешь с ними договориться?

— Как-нибудь. Главное — ты. Будь ты настоящим врачом, я бы ни о чем не беспокоился.

Да, подумал Антон, если бы я был настоящим врачом... Конечно, они гуманоиды. И анатомия их, наверное, не очень отличается от нашей. Но вот физиология... Он вспомнил, какие ужасные последствия вызвало применение простого йода гуманоидами на Тагоре.

— Хорошо было бы разобраться в машинах, — озабоченно сказал Вадим. — Мы бы вывезли их отсюда. Может быть, им больше ничего и не нужно. Только почему им никто не помогает? Что за нелепая планета!.. Не удивлюсь, если у них взорвались сразу все города...

Они уже прошли половину склона, когда Саул попросил:

— Подождите минуточку.

Все остановились.

— Что случилось? — спросил Антон. — Устали?

— Нет, — сказал Саул. — Я никогда не устаю. — Он пристально всматривался во что-то внизу. — Видите такую уродливую машину с краю? Во-он ту, самую ближнюю. На крыле — человек в сером...

— Вижу, — неуверенно сказал Антон.

— Ну-ка, ну-ка... У вас глаза помоложе.

Антон напряг зрение.

— Сидит человек, — сказал он и вдруг замолчал. — Странно... — пробормотал он.

— Там сидит человек в меховой одежде, — объявил Вадим. — Вот что я вижу. Закутан в меха до глаз.

— Ничего не понимаю, — сказал Антон. — Может быть, это больной?

— Может быть, — сказал Саул. — А вон еще двое больных. Я давно на них смотрю. Далеко только очень...

На противоположной стороне вала на фоне белесого неба четко выделялись две черные мохнатые фигурки. Они стояли совершенно неподвижно, широко расставив ноги, держа в отставленной руке длинные тонкие шесты.

— Что это у них? — спросил Вадим. — Антенны?

— Антенны ли? — проговорил Саул, вглядываясь. — Кажется, я знаю, что это за антенны...

Резкий крик огласил котлован. Антон вздрогнул. Оглушительно взревел какой-то двигатель, раздался многоголосый жалобный вопль, и они увидели, как громоздкая, похожая на глубоководный танк машина со скрежетом закрутилась на месте и вдруг поползла, все увеличивая скорость и опрокидывая другие механизмы, прямо на шеренгу людей. Из ее недр выкарабкивались и кубарем скатывались в истоптанный снег человеческие фигурки. Шеренга не шелохнулась. Антон закрыл руками рот, чтобы не

вскрикнуть. Сквозь грохот и рев прозвучал высокий жалобный голос, и тогда шеренга вдруг сомкнулась в плотную толпу и двинулась навстречу танку. Антон не выдержал — он закрыл глаза. Ему казалось, что сквозь рев двигателя слышится жуткий мокрый хруст.

— Боже мой... — непонятно бормотал над ухом Саул. — Ох, боже мой...

Антон заставил себя открыть глаза. На месте танка громоздилась огромная шевелящаяся куча, которая медленно двигалась, все больше и больше кренясь набок. За ней на снегу расплывалась широкая ярко-красная полоса. Вокруг этой груды тел была пустота, только четверо людей в шубах неторопливо шли в этой пустоте, не отставая ни на шаг от облепленного людьми танка.

Антон машинально поглядел на людей с шестами. Они стояли там же, в прежней позе, совершенно неподвижные, только один из них вдруг медленным движением переложил шест в другую руку и снова застыл. Кажется, они даже не глядели вниз.

Рев двигателя смолк. Танк был повален на бок, и люди медленно сползали с него, отходя в сторону. Тогда Вадим, не говоря ни слова, швырнул свой мешок вниз и гигантскими прыжками кинулся вслед за ним. Антон тоже побежал вниз. Сквозь шум в ушах он слышал, как спешивший по пятам Саул выкрикивает задыхаясь: «Ах, мерзавцы!.. Ах, подлецы!..»

Когда Антон добежал до танка, люди в мешковине уже снова строились в шеренгу, а люди в шубах ходили среди них и кричали жалобными, стонущими голосами. Вадим, волоча за собой мешок, вымазанный в грязи и крови, ползал на четвереньках среди разбросанных под танком тел и был, по-видимому, в отчаянии. Он поднял к Антону бледное лицо и проговорил:

— Здесь одни мертвые... Здесь все уже умерли...

Антон осмотрелся. Задыхающиеся, мокрые от пота и тающего снега, едва прикрытые серой рваной мешковиной, люди глядели на него мутными неподвижными глазами. И люди в шубах, сбившись поодаль в кучку, тоже глядели на него. На секунду ему показалось, что перед ним старинное натуралистическое панно: все они были неподвижны и смотрели на него сотнями пар неподвижных глаз.

Он взял себя в руки. Те, кого искал Вадим, стояли в шеренге — высокий костлявый старик с ободранным влажно-красным лицом; юноша, прижимающий к груди неестественно вывернутую руку; совершенно голый человек с серым лицом, вцепившийся себе в живот растопыренными пальцами с золотыми ногтями; человек с закрытыми глазами, поджавший

одну ногу, из которой толчками била черная кровь... Все живые стояли в шеренгах.

— Спокойно, — сказал Антон вслух. Он нагнулся, раскрыл мешок с медикаментами и достал банку с коллоидом. Отвинчивая на ходу крышку, он направился к человеку с раздавленной ногой. Вадим с охапкой тампопластыря шел за ним по пятам.

...Скверная рана... Разворочены мускулы, кровь почти уже не идет. Почему он не сядет?.. Почему его никто не поддержит? Коллоид... Теперь пластырь... Клади ровнее, Вадим, не выдавливай коллоид... Почему так тихо? Вот это уже хуже — разорван живот... Он уже мертв. Как же он стоит?.. Вывернута рука — пустяк... Держи крепче, Вадим! Крепче! Почему он не кричит? Почему никто не кричит? А вон там уже кто-то упал... Да поднимите же вы его, вы там, здоровые!..

Кто-то тронул его за плечо, и он резко повернулся. Перед ним стоял человек в шубе. У него было румяное грязноватое лицо, скошенные вниз глаза, на кончике короткого носа висела мутная капля. Ладони в меховых рукавицах были сложены перед грудью.

— Здравствуйте, здравствуйте... — сказал Антон. — Потом... Вадим, разберись с ним.

Человек в шубе покачал головой и быстро заговорил, и сейчас же рядом заговорил Вадим с очень похожей интонацией. Человек в шубе замолчал, с изумлением поглядел на Вадима, затем снова на Антона и попятился. Антон досадливым движением поправил за пазухой тяжелый скорчер и повернулся к раненому. Раненый стоял, закрыв лицо руками. И все люди справа и слева от Антона стояли, закрыв лица руками, кроме того, мертвого, с серым лицом, который по-прежнему держался за живот.

— Ничего, ничего, — сказал Антон ласково. — Опустите руки, не бойтесь. Все будет хорошо...

Но в ту же минуту высокий жалобный голос что-то прокричал, и все люди в мешковине разом повернулись направо. Люди в шубах трусцой побежали вдоль шеренги. Снова прокричал жалобный голос, и колонна двинулась.

— Стойте! — крикнул Антон. — Не сходите с ума!

Никто даже не обернулся. Колонна проходила, и все, кто проходил возле Антона, закрывали лица руками. Только человек с распоротым животом остался стоять, потом кто-то задел его, и он мягко свалился в снег. Колонна ушла.

Антон растерянно провел мокрой ладонью по глазам и огляделся. Он увидел громадный поваленный танк, длинного черного Саула рядом,

Вадима, дико глядевшего вслед колонне, да несколько десятков тел на растоптанном снегу. И стало совсем уже тихо, слышались только редкие жалобные выкрики в отдалении.

— Почему? — спросил Вадим. — Чего они испугались?

— Они испугались нас, — сказал Антон. — А скорее всего, они испугались нашей медицины...

— Я догоню и постараюсь объяснить...

— Ни в коем случае. Это надо делать очень деликатно. Как ваше мнение, Саул?

Саул, повернувшись спиной к ветру, раскуривал трубку.

— Мое мнение... — проговорил он. — Мне здесь очень не нравится...

— Да, — подхватил Вадим. — Какое-то ужасное, болезненное неблагополучие...

— Почему обязательно неблагополучие? — сказал Саул. — Вот как, по-вашему, кто эти подлецы в шубах?

— Почему обязательно подлецы?

— А кто они, по-вашему?

Вадим молчал.

— Здоровенные, упитанные парни в шубах, — сказал Саул со странным выражением. — Они приказывают людям кидаться под танк. Они не работают, а только смотрят, как работают. Они фигурно торчат на валу с пиками наготове. Кто они, по-вашему, эти парни?

Вадим молчал.

— Вот подумайте, — сказал Саул. — Здесь есть о чем подумать...

Антон сказал, глядя на небо:

— Смеркается. Давайте осмотрим машину, раз уж мы здесь. Все равно этим придется заняться рано или поздно...

— Пойдемте, — сказал Саул.

Антон аккуратно закрыл мешок с медикаментами, и они пошли к танку. Вадим не двинулся. Он угрюмо смотрел на склон, по которому медленно полз черный пунктир — хвост уходящей через вал колонны.

Овальный панцирь танка был раскрыт. Корпус машины разгораживала перепончатая стенка. Антон включил фонарик, и они стали осматривать гофрированные борта кабины, матовые сочленения двигателя, какие-то кривые зеркала на коленчатых шестах, похожих на бамбук, и дно кабины — чашевидное, покрытое множеством маленьких отверстий, похожее на гигантскую шумовку.

— Да-а, — протянул Саул. — Любопытная машина. Где же управление?

— Возможно, это кибер, — рассеянно сказал Антон. — Впрочем, нет, вряд ли... Слишком много пустого места...

Он забрался в двигатель. Это был довольно примитивный квазиживой механизм с высокочастотным питанием.

— Мощная машина, — с уважением сказал Саул. — Только вот как она управляется?

Они снова вернулись к кабине.

— Дырочки какие-то, — бормотал Саул. — Где же здесь руль?

Антон попробовал просунуть в одно из отверстий указательный палец. Палец не влезал. Тогда Антон сунул мизинец. Он ощутил короткий болезненный укол, и в то же мгновение в двигателе что-то с рычанием провернулось.

— Ну, вот и все ясно, — сказал Антон, рассматривая мизинец.

— Что ясно?

— Мы не сможем управлять этой машиной... И они тоже не смогут.

— А кто сможет?

— Боюсь утверждать наверняка, но, по-видимому, это из хозяйства Странников. Видите?.. Это машина не для гуманоидов.

— Что вы говорите? — пробормотал Саул.

Некоторое время они молча стояли перед кабиной, пытаясь представить себе существо, которое чувствовало себя в этой шумовке так же удобно, как они сами в водительских креслах перед пультами и экранами.

— Я почему-то так и думал, — объявил Саул. — Слишком это парадоксально: джутовые мешки и нуль-транспортировка...

— Вадим, — позвал Антон.

— Что? — мрачно донеслось сверху. Вадим стоял на танке.

— Слышал?

— Слышал. Тем хуже для них... — Вадим тяжело спрыгнул в снег. — Пора возвращаться, — сказал он. — Темнеет...

Они взвалили на плечи мешки и стали подниматься на вал.

Какая каша, думал Антон. Машины, оставленные негуманоидами. Гуманоиды, потерявшие человеческий облик, отчаянно пытающиеся разобраться в этих машинах. Ведь они, несомненно, пытаются в них разобраться. Наверное, для них это единственное спасение... И у них, конечно, ничего не выходит. И еще какие-то странные люди в шубах...

— Саул, — сказал он. — Что такое пики?

— Копья, — ответил Саул, кряхтя.

— Копья...

— Длинный деревянный шест, — раздраженно сказал Саул. — На конце — острый железный наконечник, часто зазубренный. Используется для протыкания насквозь ближнего своего. — Саул помолчал, тяжело дыша. — Может быть, вам заодно объяснить, что такое меч?

— Знаем мы, что такое меч, — сказал Вадим, не оборачиваясь. Он лез первым.

— Так вот, у каждого из этих бандитов в шубах висел за спиной меч, — сказал Саул. — Слушайте, молодые люди, давайте передохнем...

Они уселись на мешки.

— Вы много курите, — сказал Антон. — Это очень вредно.

— Курить — здоровью вредить, — отозвался Саул.

Стало совсем темно. Котлован внизу наполнился сумеречными тенями. Небо очистилось от туч, появились звезды. Слева таяло зеленоватое сияние заката. У Антона замерзли уши, и он с содроганием подумал о несчастных, бредущих сейчас босиком по скрипучему снегу. А куда они бредут? Может быть, здесь поблизости есть какое-нибудь убежище?.. А ведь еще только вчера мы сидели с Димкой на крыльце, было тепло, изумительным запахом несло из сада, кричали цикады, и дядя Саша звал нас из своего коттеджа отведать самодельного морса... Почему это Саул настроен против людей в мехах?

Саул со вздохом поднялся и сказал:

— Пошли.

Они ввалились в глайдер, задвинули фонарь, и Вадим сразу же на полную мощность включил отопление. Антон расстегнул куртку, вытащил теплый скорчер и бросил его на сиденье рядом с Саулом. Саул сердито дышал в пригоршню. На мохнатых бровях его таял иней.

— Итак, Вадим, — сказал он, — что вы надумали?

Вадим сел в водительское кресло.

— Думать будем потом, — заявил он. — Сейчас надо действовать. Люди нуждаются в помощи и...

— Почему вы, собственно, решили, что люди нуждаются в помощи?

— Вы, надеюсь, не шутите? — спросил Вадим.

— Мне не до шуток, — сказал Саул. — Я удивляюсь, почему вы не хотите попытаться понять, что здесь происходит. Почему вы все время твердите одно и то же: «нуждаются в помощи, нуждаются в помощи»?

— А как по-вашему? Не нуждаются?

Саул вскочил, стукнулся головой о фонарь и снова сел. Несколько секунд он молчал.

— Я снова обращаю ваше внимание, — сказал он наконец, — на то

необычайно важное обстоятельство, что там, в котловане, вовсе не все люди нуждаются в одежде и прочем. Что там, в котловане, мы видели людей здоровых, сытых, вооруженных. И для этих людей положение дел не представляется таким уж безнадежным, как для вас. Вы хотите помочь страждущим. Это великолепно. Возлюби, так сказать, дальнего. Но не кажется ли вам, что этим самым вы вступите в конфликт с неким установившимся порядком? — Он замолчал, пристально глядя на Антона.

— Не кажется, — сказал Вадим. — Я не хочу думать о людях хуже, чем о самом себе. У меня нет никаких оснований считать себя лучше других. Да, там, в котловане, есть неравенство. И меховые шубы выглядят дико. Но я совершенно уверен, что всему этому есть вполне человечное объяснение. И помощь землян никогда не будет вредной. — Он перевел дух. — А что касается пик и мечей, то кто-то ведь должен охранять потерпевших? Надеюсь, вы не забыли приятных птичек на равнине?

Антон задумчиво покивал. Как это было на «Цветке», подумал он. Мы две недели сидели на половинном кислородном пайке и ничего не ели и не пили. Инженеры чинили синтезаторы, и мы отдали им все, что у нас было. И вид у нас в конце второй недели был, наверное, немногим лучше, чем у этих людей...

Саул нагнул голову и с тоской хрустнул пальцами.

— Плоскость, плоскость... — пробормотал он. — Все в одной плоскости, как всегда. Как тысячи лет назад.

Ребята молча ждали.

— Вы славные люди, — тихо сказал Саул. — Но сейчас я не знаю, плакать или радоваться, глядя на вас. Вы не замечаете того, что совершенно очевидно для меня. И я не могу вас винить за это. Но послушайте одну маленькую притчу. В незапамятные времена какие-то пришельцы — возможно, это были ваши Странники — забыли на Земле такой автоматический прибор. Он состоял из двух частей: из робота-автомата и из аппарата для управления этим роботом на расстоянии. Причем управлять роботом можно было при помощи мысли. Эти вещи провалялись в Аравии несколько тысячелетий. А потом аппарат для управления нашел арабский мальчик по имени Аладдин. Историю Аладдина вы, наверное, знаете. Мальчишка принял аппарат за лампу. Он тер ее, и со страшным грохотом прибегал неведомо откуда черный и, может быть, даже огнедышащий робот. Он улавливал несложные мысли, в которые были оформлены несложные желания Аладдина, и он разрушал города и строил дворцы. Вы представляете себе — нищий, грязный, невежественный арабский мальчишка. Его мир — это мир ифритов и волшебников, и робот для него

— это, конечно, джинн, раб аппарата, похожего на лампу. Если бы кто-нибудь попытался втолковать ему, что джинн — дело рук человеческих, мальчишка сражался бы до последнего издыхания, отстаивая свой мир, стремясь остаться в плоскости своих представлений. И вы поступаете так же. Отстаиваете целостность своего мировоззрения, стремитесь отстоять достоинство разума. И никак не хотите понять, что здесь мы имеем дело не с катастрофой, не с каким-то стихийным или техническим бедствием, а с определенным порядком вещей. С системой, молодые люди. И это так естественно. Всего два с половиной века назад половина человечества была уверена, что черного кобеля не отмоешь добела и что человек как зверем был, так зверем и останется, и было достаточно оснований думать именно так. — Он хрустнул зубами. — Не хочу, чтобы вы вмешивались в это дело. Вас здесь убьют. Вам нужно вернуться на Землю и забыть обо всем этом. — Он посмотрел на Антона. — А я останусь здесь.

— Зачем? — спросил Антон.

— Мне нужно, — медленно сказал Саул. — Я сделал одну глупость. За глупости платят.

Антон лихорадочно думал: что сказать этому странному человеку?

— Вы, конечно, можете остаться, — сказал он наконец. — Но дело уже не в вас. Не только в вас. Мы тоже останемся. И давайте-ка пока держаться вместе.

— Вас убьют, — безнадежно сказал Саул. — Ведь вы же не умеете стрелять в людей.

Вадим хлопнул себя по коленям и сказал прочувствованно:

— Мы же вас понимаем, Саул! Но в вас говорит историк, и вы тоже не можете выйти из плоскости своих представлений. Никто нас не убьет. Давайте попроще. Не нужны нам никакие остроумные усложнения. Мы люди, и давайте действовать как люди.

— Давайте, — устало сказал Саул. — И давайте поедим. Неизвестно, что будет дальше.

Антону не хотелось есть, но еще меньше ему хотелось спорить. И Саул был, наверное, прав, и Вадим был прав, и, как всегда, была права Комиссия по контактам, и вообще сейчас больше всего нужна была информация.

Вадим неохотно ковырял ложкой в банке с консервами. Саул ел с громадным аппетитом, невнятно приговаривая:

— Ешьте, ешьте. Основа каждого мероприятия — сытый желудок.

Антон обдумывал план действий. Стихийное бедствие или социальное бедствие — все равно это бедствие. И вмешательство неизбежно. Только не следует оголтело, без оглядки кидаться домой, на Землю, с воплем:

«Помогите!» — или так же оголтело вламываться в гущу событий, размахивая одиноким мешком с продовольствием... Саула жалко, но Саула пока придется отставить. Так что прежде всего информация... Антон сказал:

— Сейчас мы полетим по следам колонны. Думаю, что поблизости у них есть поселок.

Саул убежденно покивал.

— Найдем кого-нибудь посмышленей, — продолжал Антон, — и ты, Димка, у него все узнаешь. А там видно будет.

— Возьмем «языка», — заявил Саул, облизывая ложку, — правильно.

Несколько секунд Антон пытался понять: при чем здесь язык? Потом он вспомнил из какой-то книжки: «Идите, лейтенант, и без «языка» не возвращайтесь». Он покачал головой.

— Да нет, Саул, при чем тут «язык»? Все должно быть тихо, мирно. Но на всякий случай вы держитесь лучше позади. Оставайтесь в глайдере. Вы никогда не были в опасных ситуациях, и я просто боюсь, что вы растеряетесь.

Несколько секунд Саул смотрел на него запавшими глазами.

— Да, конечно, — медленно сказал он. — Книжный, так сказать, червь.

Была уже ночь, когда глайдер снялся с места, перепрыгнул через котлован и помчался вдоль утоптанной дороги, ведущей на восток. Над равниной поднималась маленькая яркая луна, а на западе над хребтом висел багровый узкий серп. Дорога свернула, огибая высокий холм, и они увидели несколько рядов занесенных снегом хижин.

— Здесь, — сказал Антон. — Снижайся, Вадим.

V

Вадим посадил глайдер на первой же улице. Он откинул фонарь, и в кабину ворвался гадкий запах — вонь испражнений на морозе, тоскливый запах большой беды. По сторонам улицы стояли покосившиеся, обшарпанные лачуги без окон, в лунном свете серебрились шапки чистого снега на плоских крышах и отвратительно чернели сугробы у входов. Улица была пуста, и можно было подумать, что поселок покинут, но тишина была полна хрипами, вздохами и заглушенным треском сухого кашля.

Вадим медленно повел глайдер вдоль улицы. Вонючий мороз обжигал лицо. Ни на улице, ни в темных боковых проулках не было видно ни души.

— Измотались, — сказал Вадим. — Спят. Придется будить. — Он снова остановил глайдер. — Вы здесь подождите, а я схожу посмотрю.

— Ну, хорошо, пойдем, — сказал Антон.

— Незачем вдвоем ходить, — возразил Вадим, выскакивая на дорогу. — Я только посмотрю и сейчас же вернусь. Если здесь ничего не получится, поедем дальше.

Антон сказал:

— Саул, посидите здесь. Мы сейчас вернемся.

— Не поднимайте шума, — предупредил Саул.

Вадим нерешительно остановился перед узкой загаженной тропинкой, ведущей к двери ближайшей лачуги. Страшно и гадко было идти туда. Он оглянулся. Антон уже стоял рядом.

— Ну, что ты? — сказал он. — Вперед.

Вадим решительно шагнул на тропинку, поскользнулся и чуть не упал. Его затошнило, и он зашагал, подняв голову, чтобы не видеть тропинки. Дверь с визгливым скрипом открылась ему навстречу, и из нее выпал совершенно голый, длинный, как палка, человек. Он повалился на обледенелый сугроб и мертво стукнулся о стену хижины. Вадим нагнулся над ним. Это был мертвец, уже давно закоченевший. Сколько же их я увидел за сегодняшний день, подумал Вадим. В хижине кашляли, и вдруг высокий скрипучий голос затянул песню. Это было похоже на вой. Голос выводил одни только тоскливые рулады без слов. А может быть, это был просто плач.

Вадим снова оглянулся. На дороге чернела округлая глыба глайдера, из нее неподвижно торчал черный силуэт Саула. Жутко блестел под яркой

луной снег на пустынной улице. И протяжно плакал и жаловался высокий голос за дверью. Антон тихонько толкнул Вадима в бок.

— Что, страшно? — спросил он вполголоса. Лицо у него было белое, словно замерзшее.

Вадим не ответил. Он распахнул дверь и включил фонарик. Скверный, душный воздух ударил ему в нос, и он задохнулся. Круг света упал на сырой земляной пол, покрытый бледной вытоптанной травой. Вадим увидел десятки скорченных тел, прижавшихся друг к другу, сплетение тощих голых ног с огромными ступнями, высохшие лица, искаженные резкими тенями, раскрытые черные рты — люди спали прямо на земле и друг на друге. Казалось, они лежат штабелями в несколько рядов, и они дрожали во сне. А вой тянулся без передышки, не прекращаясь, и Вадим не сразу заметил певца, а потом поймал его в круг света. Человек, обхватив острые колени, сидел на спинах спящих. Он глядел на свет фонарика остекленевшими глазами и пел, вытягивая растрескавшиеся губы.

— Товарищ, — сказал Вадим. — Послушай меня. Погоди петь. Скажи что-нибудь.

Человек не шевелился. Казалось, он не видит света и не слышит голоса.

— Товарищ, — повторил Вадим. — Послушай.

Певец вдруг закончил песню сиплым выкриком, повалился навзничь и замер. Он сразу же смешался со спящими, и Вадим уже не смог бы найти его. Он судорожно глотнул, сделал шаг вперед и похлопал кого-то по голой ноге. Нога была ледяная, мертвая. Вадим дотронулся до другой ноги. И эта нога тоже была ледяная, мертвая. Тогда он повернулся и, пошатнувшись, налетел на что-то широкое и теплое.

— Тихо, — сказал голос Антона.

Вадим мотнул головой, приходя в себя. Он совсем забыл про Антона.

— Не могу, — пробормотал он. — Это безнадежно.

Антон взял его за локоть и повел к выходу. Морозный воздух показался Вадиму чистым и сладким.

— Не могу, — повторил он. — Здесь не найти живых. Они все окоченевшие. Мертвые. — Он отстранился от Антона и осторожно пошел по тропинке к дороге. Саул по-прежнему неподвижно торчал из глайдера. Вадим заметил, что фонарик еще горит, выключил его, сунул в карман и полез в глайдер. Саул молча смотрел на него. Подошел Антон, облокотился на борт и тоже стал смотреть на Вадима. Вадим уткнулся лицом в дугу руля и сказал сквозь зубы: — Это не люди. Люди не могут так. — Он вдруг поднял голову. — Это киберы! Люди только те, которые в шубах! А это

киберы, безобразно похожие на людей!

Саул глубоко вздохнул.

— Вряд ли, Вадим, — сказал он. — Это люди, безобразно похожие на киберов.

Антон перелез через борт и сел на свое место.

— Ну-ка, возьмем себя в руки, — сказал он. — Не будем терять времени. Нужен «язык». — Он хлопнул Вадима по плечу. — Действуйте, лейтенант, и без «языка» не возвращайтесь.

Саул не то всхлипнул, не то рассмеялся.

— Хотите, я пойду в хижину и возьму любого на выбор? — предложил он. — Только, по-моему, нам не это нужно.

— Тогда они днем работают, а на ночь умирают, — упрямо сказал Вадим. — Какая уродливая затея!

— Правильно, — сказал Саул. — Затея уродливая, и надо взять одного из затейников. В шубах.

Вадим смотрел вдоль улицы.

— Оптимизм, — сказал он, — суть бодрое, жизнерадостное мироощущение, при котором человек...

В лунном свете он вдруг увидел, как вдали, пересекая улицу, цепочкой прошло несколько серых теней в рубахах.

— Смотрите, — сказал он.

Люди брели и брели через улицу, их было человек двадцать, а за ними прошли двое в мехах с длинными шестами.

— На ловца и зверь бежит, — зловеще сказал Саул. — Всего и дела-то — догнать и взять...

— Вы думаете, этих? — нерешительно сказал Антон.

— А вы собираетесь обшаривать лачугу за лачугой? Затейники в лачугах не живут, уверяю вас. Поехали, а то еще потеряем...

Вадим вздохнул и тронул глайдер. Он медленно ехал вдоль улицы. И пытался представить себе, как они берут испуганного, ничего не понимающего человека под руки, тащат его к глайдеру и впихивают в кабину, а он жалобно кричит и отбивается. Попробовали бы меня так, подумал он. Я бы все разнес... Он прислушался. Саул говорил:

— Не беспокойтесь. Я знаю, как это делается. У меня он не будет отбиваться.

— Вы меня неправильно поняли, — терпеливо сказал Антон. — Ни о каком насилии не может быть и речи.

— Слушайте, предоставьте вы это мне. Вы ведь только все испортите. Ткнут вас копьем, и начнется такая кровавая кутерьма...

Ай да кабинетный ученый! — подумал удивленно Вадим. Антон сказал:

— Вот что, Саул. Вы мне не нравитесь. Сидите в машине и ничего не смейте предпринимать.

— О господи, — вздохнул Саул и замолчал.

Вадим вывернул на поперечную улицу, и они увидели вдали приятного вида двухэтажный домик, возле которого толпились люди, освещенные красным огнем факелов. Сбившись в кучку, стояли люди в мешковине, а вокруг них сновали люди в шубах. Вадим поехал совсем медленно, прижимая глайдер к теневой стороне улицы. Он представления не имел, с чего начинать и что делать. Антон, судя по всему, тоже. Во всяком случае, он молчал.

— Вот здесь живут затейники, — сказал Саул. — Видите, какой уютный, теплый домик? А где-нибудь поблизости и уборная есть. Самое милое дело — брать «языка» возле уборной. Кстати, вы заметили, что здесь нет ни одной женщины?

Дверь домика раскрылась, оттуда вышли двое и остановились на крыльце. Раздался протяжный жалобный крик. Кучка людей в мешковине пришла в движение, построилась в ряды и вдруг двинулась прямо навстречу глайдеру. Около крыльца закричали в несколько голосов. Вадим поспешно затормозил и посадил глайдер.

Он глядел во все глаза и ничего не понимал. Над ухом тяжело дышал Антон. Люди в мешковине приблизились и быстрым шагом прошли мимо. Вадим ахнул. Два десятка босых людей были впряжены в неуклюжие тяжелые сани, в которых развалился закрытый по пояс шкурами человек в шубе и в меховой конической шапке. В руках он вертикально держал длинное копье с устрашающе зазубренным наконечником. Лица запряженных людей выражали радость, и они громко, ликующе вскрикивали. Вадим оглянулся на Саула. Саул провожал глазами странную упряжку, и рот его был широко раскрыт.

— Хватит с меня загадок, — сказал вдруг Антон. — Поезжай прямо к дому.

Вадим рванул руль на себя, и домик стремительно бросился навстречу глайдеру. Люди в шубах, стоявшие у крыльца, несколько секунд смотрели на приближающуюся машину, а затем с удивительной быстротой рассыпались полукругом и выставили вперед копья. На крыльце запрыгал, что-то жалобно выкрикивая, круглый мохнатый великан. Он размахивал над головой широким блестящим лезвием. Вадим посадил глайдер перед копьями и вылез из кабины. Люди в шубах пятились, теснее прижимаясь

друг к другу. Острия копий были направлены Вадиму прямо в грудь.

— Мир! — сказал Вадим и поднял руки.

Люди в шубах попятились еще немного. От них валил пар и несло козлом. Под капюшонами блестели испуганно вытаращенные глаза и ощеренные зубы. Толстый человек на крыльце разразился длинной речью. Он был неимоверно толст и огромен. У него была гигантская трясущаяся физиономия. Физиономия блестела от пота. Он приседал, и снова выпрямлялся, и даже становился на цыпочки, тыкал мечом то себе под ноги, то в небо и визжал неестественно высоким жалобным женским голосом. Вадим слушал, склонив голову. Мнемокристаллы на его висках фиксировали незнакомые слова и интонации, анализировали их и уже давали первые, еще неопределенные варианты перевода. Речь шла о какой-то угрозе, о чем-то громадном и сильном, о жестоких наказаниях... Толстяк вдруг замолчал, вытер потное лицо рукавом и, надсаживаясь, провизжал что-то короткое и резкое. В голосе его было страдание. Люди с копьями сейчас же нагнулись и очень медленно двинулись на Вадима.

— Ну, все ясно, — сказал Саул. — Начнем?

Он положил ствол скорчера на борт.

— Прекратите, Саул, — сказал Антон. — Вадим, в кабину!

— Ну, что вы раздумываете? — сказал Саул со злобой. — Это же дрянь, эсэсовцы! Жабы!

Люди в шубах все надвигались короткими медленными шажками. Когда широкие блестящие лезвия уперлись в грудь Вадима, он отступил и, повернувшись спиной, полез в глайдер.

— Типичный корнеизолирующий язык, — сообщил он, усаживаясь. — Очень ограниченный словарный запас, судя по всему. Мира они не хотят, это ясно.

— Давайте хоть страху нагоним, — попросил Саул. — Дать разок в воздух, чтобы они штаны потеряли!

Антон захлопнул фонарь. Люди в шубах вернулись к крыльцу и подняли копья. Все они смотрели на глайдер. На необъятной физиономии толстяка бродила презрительная ухмылка.

— Эх, вы! — сказал Саул. — Нужен вам «язык» или нет? Давайте возьмем этого жирного! Это же живой рапортфюрер!

— Да поймите же, — с отчаянием сказал Антон, — они не хотят с нами договариваться! И это их право! Ну, что мы можем сделать?

— Нужен вам «язык» или нет? — повторил Саул. — Преимущество внезапности мы уже потеряли. Здесь без боя не обойтись. Но есть еще этот гад, который уехал на упряжке.

Ох, и лексика же у него! — с уважением подумал Вадим. Настоящий двадцатый век. Какой великолепный специалист! Он посмотрел на Антона. Антон был бледен и растерян. Никогда Вадим еще не видел его таким.

— Одно из двух, — продолжал Саул. — Или мы хотим узнать, что здесь делается, или мы летим на Землю, и пусть сюда пришлют людей порешительнее. А нам надо решать поскорее, пока против нас только копья...

Мешкаем, подумал Вадим. Все время мешкаем. А в хижинах умирают.

— Тошка, — сказал он. — Давай догоним упряжку. Там только один с копьем, там будет проще. Отберем у него копье и пригласим на «Корабль».

— Ухмыляются, жабы, — проговорил Саул, глядя через спектролит.

Он выразительно погрозил кулаком толстяку на крыльце. Тот тряхнул щеками и не менее выразительно помахал мечом.

— Видали? — сказал Саул с веселым бешенством. — Как мы друг друга понимаем, а?

— Попробую еще раз, — сказал Антон и распахнул фонарь. Толстяк вскрикнул. Один из копейщиков широко развернулся, сдвигая рукав шубы к плечу, и с натугой метнул тяжелое копье. Железный наконечник с визгом полоснул по спектролиту. Саул даже присел.

— Ну, семь-восемь... — сказал он непонятно, но чрезвычайно энергично. Антон успел поймать его за руку. Глаза у Антона были как черные щелки.

— Понятно, — сказал он зловеще и задохнулся. — Вадим, разворачивайся!

Вадим повернул глайдер.

— За упряжкой! — приказал Антон и откинулся на спинку кресла. — Здесь мы ничего не узнаем, — проворчал он. — Какая-то непроходимая тупость.

— Дать разок в воздух, — пренебрежительно сказал Саул, — и бери их голыми руками.

Антон молчал. Глайдер пронесся по пустынной улице и через несколько минут вылетел в поле.

— Я скажу вам только одно, — проговорил вдруг Антон. — Всем нам потом будет очень стыдно.

— А что делать? — спросил Вадим. — Люди-то умирают!

— Если бы я знал, что делать, — сказал Антон. — Комиссии и не снились такие обстоятельства.

«Какой комиссии?» — хотел спросить Вадим, но тут Саул произнес:

— Да перестаньте вы стесняться. Раз вы хотите делать добро, пусть

оно будет активно. Добро должно быть более активно, чем зло, иначе все остановится.

— Добро, добро, — проворчал Антон. — Кому хочется быть услужливым дураком?

— Это уж точно, — сказал Саул. — Зато у вас совесть будет спокойна.

Они нагнали упряжку километрах в пяти от поселка. Люди бежали по целине, спотыкаясь и увязая в снегу, а человек в шубе, нахохлившийся в санях, то и дело лениво тыкал копьем отстающих.

— Я снижаюсь, — сказал Вадим.

— Сядь перед упряжкой, — приказал Антон, — и поговори с ним. Саул, дайте сюда скорчер. И сидите в машине, это не гад, а человек.

— Ладно, — сказал Саул. — Вот вам скорчер. А если он возьмет — и Вадима копьем? Вместо разговоров...

Вадим сказал:

— Копье я у него отберу. Постромки надо будет перерезать, а еду и одежду раздать этим беднягам.

— Правильно, — сказал Антон.

Глайдер рухнул в снег прямо перед упряжкой, и люди-лошади остановились как вкопанные. Вадим выскочил наружу. Люди в мешковине стояли, закрыв лица руками. Они тяжело, со всхлипом дышали. Пробегая мимо них, Вадим весело крикнул:

— Всё, друзья! Сейчас пойдете домой!

Он направился к саням, на ходу примериваясь, как лучше отбить копье. Человек в шубе стоял на коленях и с изумлением и страхом смотрел на него. Копье он держал наперевес.

— Пойдемте, — предложил Вадим и схватился за древко.

Человек в шубе сейчас же выпустил копье и выхватил откуда-то меч. Он был уже на ногах.

— Ну-ну, не надо, — сказал Вадим, отбрасывая копье.

Человек в шубе вдруг заорал, протяжно и жалобно. Вадим взял его за руку, держащую меч, и потянул за собой. Ему было очень неловко. Человек в шубе рванулся. Вадим ухватил его крепче.

— Ну, что вы, в самом деле, все будет хорошо. Все будет в порядке, — убеждающе говорил он, разжимая потный кулак с мечом. Меч упал в снег. Вадим обнял человека в шубе за плечи и повел к глайдеру. Он бормотал какие-то ласковые слова, стараясь придать голосу местные интонации. Тут раздался предупреждающий крик Саула, и он почувствовал, что его валят с ног. Чьи-то ладони схватили его за лицо, кто-то повис на шее, несколько рук вцепились в его ноги — слабые, дрожащие руки.

— Что вы, с ума посходили? — заорал Саул обиженно. — Антон, держи их!

Человек в шубе снова сильно рванулся. Вадиму накинули на голову какое-то вонючее тряпье, и он ничего не видел. Он едва стоял в куче копошащихся тел, изо всех сил прижимая к себе человека в шубе. Потом он почувствовал острый удар в бок и боль. Он выпустил «языка», двинул плечами и, освободившись, сорвал с лица вонючий мешок. Он увидел барахтающихся в снегу людей и Антона, который пробирался к нему, шагая через тела. Он повернулся. Голый человек с мечом стоял перед ним по колено в снегу.

— За что? — сказал Вадим.

Человек ударил наотмашь, но меч в руке у него повернулся и упал на плечо Вадима плашмя. Вадим толкнул человека в грудь. Тот упал в снег и замер. Вадим поднял меч и, размахнувшись, забросил его далеко в сторону. Он чувствовал, как по бедру ползет что-то горячее и мокрое. Он огляделся.

Люди в снегу лежали неподвижно, как мертвые. Человека в шубе среди них не было.

— Ты жив? — крикнул Антон задыхаясь.

— Вполне, — сказал Вадим. — А где «язык»?

Он увидел Саула. Саул, широко шагая, шел к ним, волоча за шиворот человека в шубе.

— Вздумал удрать, — объявил он. — Но каковы людишки!

— Пойдемте отсюда, — сказал Антон.

Они пошли к глайдеру, осторожно ступая среди неподвижных тел. Саул рывком поднял человека в шубе на ноги и повел, толкая его рукой между лопаток.

— Иди, подлец! — приговаривал он. — Иди, жирная морда! Воняет от него ужасно, — сообщил он. — Год, наверное, не мылся.

Когда они подошли к глайдеру, Антон взял «языка» за меховое плечо и показал на кабину. Тот отчаянно закрутил головой, так что у него свалилась шапка. Потом он сел в снег.

— Цацкаться тут с тобой! — заорал Саул.

Он поднял «языка» за шубу и перевалил через борт. «Язык» с шумом упал на дно кабины и затих.

— Фу, — сказал Антон, — ну и работа!

Он взял два мешка, стоявшие возле глайдера, и потащил их к упряжке. Он распаковал мешки, достал всю одежду и разложил на снегу. То же самое он сделал с продуктами. Люди казались мертвыми и только тихонько поджимали ноги, когда Антон проходил мимо.

Вадим стоял, устало прислонившись к теплому борту машины, и смотрел на взрытый снег, на опрокинутые сани, на тела, скорчившиеся под лунным светом. Он слышал, как Антон грустно сказал:

— Комиссия по контактам, где ты?

Вадим потрогал бок. Кровь еще шла. Он почувствовал дурноту и слабость и забрался в кабину. Все было не так, все получилось нехорошо. Пленник лежал ничком, закрыв голову руками. Судя по всему, он ждал смерти, а может быть, и пыток. Над ним, не сводя с него глаз, сидел свирепый Саул. Подошел Антон и тоже влез в кабину.

— Что же ты? — спросил он.

Вадим с трудом проговорил:

— Ты знаешь, Тошка, меня ранили. Я сейчас ничего не могу.

Антон секунду смотрел на него.

— А ну-ка, раздевайся, — потребовал он.

— Эх! — с досадой крякнул Саул.

Вадим стащил куртку. Его мутило, и в глазах было темно. Он увидел сосредоточенное лицо Антона и лицо Саула, сморщенное от жалости. Потом он почувствовал прохладные пальцы у себя на боку.

— Ножом, — сказал Саул. Голос его доносился словно из-за стены. — Как вы все это неумело! Я бы его одной рукой взял.

— Это не он, — пробормотал Вадим. — Это мечом... один голый...

— Голый? — сказал Саул. — Ну, товарищи, этого даже я не понимаю.

Антон что-то ответил, но тут перед глазами Вадима поплыли круги и звездочки, и он потерял сознание.

VI

— Смотрите, Антон, — заговорил Саул. — Антон! Он в обмороке, вы видите?

— Он спит, — сказал Антон. Он внимательно осматривал рану. Рана была рубленая и довольно глубокая. Удар пришелся под ребро, и меч расслоил мышцы. Антон облегченно вздохнул. Саул глядел через его плечо, встревоженно сопя.

— Плохо? — спросил он шепотом.

— Нет, вздор, — сказал Антон. — Через час все будет в порядке. — Он отстранил Саула. — Только вы сядьте, пожалуйста.

Саул откинулся в кресле и злобно уставился на неподвижного «языка». Антон неторопливо расстегнул мешок, вытащил банку с коллоидом и густо залил рану. Оранжевое желе сразу стало розовым, подернулось розовыми стрелочками — как пенка на молоке. Вот кровь, подумал Антон. Здоровенный парень Димка! Он посмотрел на лицо Вадима. Оно было немного бледнее обычного, но такое же спокойное и умиротворенное, как всегда, когда он спал. И дышал он, как всегда, носом — глубоко, бесшумно и просторно. Антон положил пальцы по сторонам раны и закрыл глаза.

Простейшие приемы психохирургии входили в подготовку звездолетчика. Практически каждый пилот умел вскрыть и срастить живую ткань, используя психодинамический резонанс. Это требовало большого напряжения и сосредоточенности. В стационарных условиях применялись нейрогенераторы, а в поле приходилось делать это по-знахарски, и каждый раз Антон жалел знахарей.

Словно сквозь сон, Антон слышал, как позади тяжело вздыхает и ворочается Саул и бормочет, всхлипывая, пленник. От пленника в кабине стоял неприятный кислый дух.

Антон открыл глаза. Рана затянулась, выдавив коллоид, — теперь это был просто розовый шрам. Пожалуй, хватит, подумал Антон. Иначе не смогу вести глайдер. Он был весь мокрый.

— Ну, вот и все, — сказал он, переводя дыхание.

Саул приподнялся и посмотрел на рану.

— Черт знает что, — проворчал он. — Как вы это делаете?

Антон огляделся и вздрогнул. Снаружи к фонарю прильнули страшные лица, тощие, с ввалившимися щеками, оскаленные. В этом была какая-то древняя исконная жуть: словно мертвецы заглядывали в твой дом. У

Антона мороз пошел по коже. Саул сдвинул мохнатые брови и погрозил пальцем. По спектролиту бесшумно застучали костлявые кулаки.

— Домой идите! Домой! — громко сказал Саул.

Антон стал одевать Вадима.

— Сейчас полетим, — сказал он.

— Вы их всех поубиваете.

Антон покачал головой и перебрался на место водителя. Глайдер дрогнул и начал медленно подниматься. Лица за фонарем пропали. Длинная костлявая рука с обломанными ногтями скользнула по спектролиту и тоже пропала.

Развернув глайдер на пеленг «Корабля», Антон дал полный ход. Он спешил — была уже полночь.

— Что они в нем нашли? — пробормотал Саул. — Эсэсовец, животное, я сам видел, как он колол их пикой — подгонял.

Антон промолчал.

— О господи! — сказал Саул. — Сколько на нем всякой гадости. Так и ползают...

— Что ползает?

— Что-то вроде вшей. Надо сначала его вымыть и все продезинфицировать...

Вот и еще одно дело, подумал Антон. Саул, словно угадав его мысли, добавил:

— Ничего, я сам этим займусь. Только бы он не издох с непривычки.

Антон вел глайдер на максимальной скорости, держась в ста метрах над землей. Маленькая яркая луна стояла почти в зените, красный серп давно зашел, а навстречу из-за белого горизонта поднималась третья луна, розовая и сплющенная. Вадим пошевелился, громко зевнул и, пробормотав: «Ты меня залечил?» — снова заснул.

— Что он делает? — спросил Антон. Он так устал, что ему не хотелось оборачиваться.

— Кто?

— «Язык».

— Лежит. Воняет. Давненько не слыхал этого запаха.

Давненько, подумал Антон. Я вообще никогда не слыхал. И не хотел бы... Саул прав: зря мы ввязались в эту историю. Саул умница. Это действительно система. Культура рабовладения. Рабы и господа. Правда, я думал, что верные рабы встречаются только в плохих книжках... Верный раб — какая это гадость! Ну ладно, дело сделано, отступать поздно и глупо. По крайней мере мы все узнаем наверняка. Да и не в этом суть... Если бы

даже я сразу понял, что здесь происходит, все равно я не смог бы повернуться спиной... К котловану, где машины давят людей... к загаженному поселку... Интересно, потерпит ли Мировой Совет существование планеты с рабовладельческим строем? Он вдруг ощутил всю громадность проблемы. Никогда еще не было такой альтернативы: вмешиваться или не вмешиваться в судьбу чужой планеты? Жители Леониды и Тагоры слишком далеки от людей. Психология леонидян до сих пор загадка, и никто не скажет, какой там общественный строй... А гуманоиды Тагоры хотят от природы так мало, что вообще непонятно, как они доросли до создания своей техники... Но здесь, на Сауле, совсем другое дело. Нигде больше общественные отношения не принимают такой уродливой и в то же время, по-видимому, такой необходимой формы... Родной брат человечества — очень юный, очень незрелый и очень жестокий... И вдобавок ко всему эти дурацкие машины пришельцев...

Далеко впереди на голубой равнине показалась маленькая черная точка. Вот и «Корабль», подумал Антон. А возле, под снегом, мертвые. Как странно, всего день прошел, а я уже привык. Точно всю жизнь ходил среди голых мертвецов в снегу. Легко привыкает человек. Психическая аккомодация. Странно. Может быть, дело в том, что они все-таки чужие. Может быть, на Земле я сошел бы от всего этого с ума. Нет, просто я отупел...

Снижая скорость, он сделал круг над «Кораблем». «Корабль» выглядел ободряюще — знакомый черный конус над голубыми холмами. И две резкие тени от него: короткая черная и длинная розоватая. Глайдер опустился перед входом. Снег смерзся вокруг «Корабля» в сплошное ледяное поле. Антон похлопал Вадима по колену.

— Ну что, что? — сонно спросил Вадим.

— Подъем.

— А ну тебя...

— Вставай, Димка. Пойдем на «Корабль».

— Сейчас, — сказал Вадим и зачмокал. — Еще минуточку...

— Пощекотать его? — деловито предложил Саул.

Вадим сразу открыл глаза и поднялся.

— Ага, это «Корабль»... Понимаю.

Они вылезли на твердый скользкий снег. От морозного воздуха захватило дух. Было слышно, как Вадим застучал зубами. Саул придерживал «языка» за шиворот. Что думает сейчас этот бедняга? — подумал Антон.

— Вы поднимайтесь, — сказал Саул, — а я его прямо в душевую.

Они вошли в «Корабль», зарастили люк, и Антон, подталкивая Вадима, стал подниматься в кают-компанию. Вадим, постукивая зубами, дремал. Внизу страшно заорал пленник. Вадим встрепенулся.

— Чего они там? — тревожно спросил он.

— Мыть повели, — объяснил Антон. — Он весь в паразитах.

Послышался голос Саула:

— Добром иди, небось не сдохнешь...

Дверь душевой хлопнула. Они вошли в кают-компанию и разом повалились в кресла.

— Милый, добрый «Корабль», — сказал Вадим. — Как хорошо, как чисто...

Антон лежал с закрытыми глазами.

— Болит? — спросил он.

— Чешется...

— Значит, все хорошо... Слушай, что тебе нужно для работы?

— Вычислитель, — сказал Вадим. — Половина памяти. Оба анализатора. Побольше кофе и какой-нибудь вкусной еды для «языка». Через два часа он будет сидеть здесь за столом и беседовать с тобой о смысле жизни.

Снизу опять донеслись вопль, возня и шлепанье босых ног.

— Куда? — взревел Саул. — На место... Дай сюда!

— Здорово он его моет, — сказал Вадим с уважением. — Наверное, мыло в глаза попало... А вот интонации у Саула не те. Весь этот рев бедняга «язык» воспринимает как умоляющий лепет. Тон приказа вот. — Вадим, вытянув шею, жалобно и нестерпимо завизжал.

— Котенку наступили на голову, — сказал Антон.

— Вот-вот!

— Ну ладно, рубку ты займешь... Я все принесу.

Вадим внимательно поглядел на него.

— А ведь ты, милый, выжат, как лимон, — сказал он.

— Есть немножко... Рана у тебя не очень серьезная, но я измотался. Знаешь, как это изматывает?

— Ложись спать, я справлюсь один. А Саул все принесет.

— Ладно, — сказал Антон. — Это моя забота. Иди. — Он махнул рукой. — Готовься.

Вадим поднялся.

— Советую все-таки поспать. — Он пошел в рубку и вдруг остановился. — А взяли они одежду?

Сначала Антон не понял, а потом сказал:

— Честно говоря, не знаю... Не помню. Но они нами очень недовольны.

— Ох, и каша, ну и каша! — сказал Вадим. — Ничего не понимаю. За что он меня ткнул мечом?

Он покачал головой и пошел в рубку. Антон сейчас же задремал. Ему приснилось, что он пошел на кухню, сварил очень много кофе, принес кофейник и консервы в рубку, а Вадим был занят и огрызнулся, и тогда он пошел в свою каюту, сел за стол, чтобы подобрать программу обратного перелета, но ему очень хотелось спать и все время попадались старые программы его прежних рейсов. Потом его разбудил Саул.

— Вот, — сказал Саул.

Перед Антоном стоял стройный светлолицый парень в трусах и тетраканэтиленовой куртке, черноглазый и испуганный.

— Хорош? — спросил Саул насмешливо.

Антон засмеялся.

— Красивая раса, — сказал он. — Здравствуй, младший брат.

Младший брат смотрел на него круглыми от страха глазами. Ну до чего славный парнишка, подумал Антон.

— А вот это было у него под шубой, — сказал Саул и положил на стол твердый пакет.

Пленник сделал движение к пакету.

— Н-но, — грозно сказал Саул. — Опять? Я тебя!

Пленник съежился. По-видимому, интонации Саула он уже усвоил хорошо. Антон взял пакет, осмотрел его и вскрыл. В конверте из отлично обработанной кожи лежали замысловато сложенный лист бумаги, какой-то чертеж и несколько кусков окровавленного тампопластыря.

— Понимаете? — сказал Саул. — Это они ободрали с раненых.

Антон вспомнил изуродованных людей в шеренге и стиснул зубы.

— Это, наверное, донесение, — сказал он, помолчав. — О нашем появлении. Вадим! — позвал он.

Пленник вдруг заговорил. Он говорил быстро, ударяя себя ладонями по груди, на лице его были ужас и отчаяние, и это странно не вязалось с резкими и даже как будто насмешливыми интонациями его голоса. В зал спустился Вадим и остановился позади пленника, прислушиваясь. Пленник замолчал и закрыл лицо руками.

— Посмотри-ка, Вадим, — сказал Антон, протягивая листок.

— О! — сказал Вадим. — Письмо! Это же просто прелесть! Вдвое меньше работы!

Он взял пленника за рукав и повел в рубку, на ходу рассматривая

листок. Пленник покорно плелся за ним. Саул внимательно изучал чертеж.

— Я не специалист, — сказал он, — но, по-моему, это точное изображение внутренности того танка. Помните, в котловане?

Он перебросил чертеж Антону. Чертеж был сделан синей краской, очень аккуратно, но на бумаге было много следов грязных пальцев. Это был план кабины-шумовки — по-видимому, очень точный план. Некоторые отверстия были отмечены грубо намалеванными крестиками, некоторые просто зачеркнуты. Антон зевнул и потер глаза. Ну вот, вяло подумал он. Отличные чертежи делают рабовладельцы.

— Слушайте, капитан, — сказал Саул, — идите спать. Все равно, пока наш лингвист не кончит, вы никому здесь не нужны.

— Вы думаете?

— Уверен.

Голос Вадима из рубки потребовал:

— Кофе и банку варенья.

— Сейчас! — крикнул Саул. — Идите, идите, Антон, — сказал он.

— Никуда я не пойду, — сказал Антон. — Я — здесь.

Он закрыл глаза и перестал сопротивляться. Он спал неспокойно, часто просыпался и открывал глаза. Он видел, как на цыпочках проходил Саул — в одной руке у него была пустая банка, в другой кофейник. В следующий раз Саул прошел в рубку с заставленным подносом, и в кают-компании пахло томатом. Потом Саул очутился за столом. Он задумчиво сосал пустую трубку и внимательно разглядывал Антона. Сверху из рубки доносились монотонные голоса. «Су-у... Му-у... Бу-у...» — говорил Вадим, и механический голос повторял: «Су-у... Му-у... Бу-у... Работать — ка-ро-су-у... Рабочий — каро-бу-у... Стать рабочим — карому-у...» Сон наплывал и уплывал снова. Голос Вадима непонятно вещал: «Блистающий... великий и могучий утес... идай-хикари... тика-удо...», и визгливый голос пленника поправлял: «Тико-о... удо-о...» Вадим кричал: «Саул! Кофе!» — «Третий кофейник!» — недовольно бормотал Саул.

Потом Антон проснулся и почувствовал, что больше не хочет спать. Саула в зале не было. Изрядно осипший голос Вадима старательно выговаривал наверху: «Соринака-бу... торунака-бу... сапонури-су...» Пленник что-то басовито ворковал в ответ. Антон взглянул на часы. Было три часа утра местного времени. Ай да структуральнейший, подумал Антон с уважением. Его вдруг охватило нетерпение. Надо было кончать.

— Димка! — крикнул он. — Как дела?

— Проснулся? — сипло отозвался Вадим. — Мы тебя ждем. Сейчас спускаемся.

Из каюты высунулась голова Саула.

— Уже? — осведомился он. Из приоткрытой двери валил дым.

— Входите, Саул, — сказал Антон. — Сейчас начнем.

Саул сел в кресло и бросил на стол чертеж. Из рубки спустился пленник, его покачивало. Щеки у него были вымазаны вареньем. Не обращая ни на кого внимания, он остановился и стал смотреть вверх с выражением собачьей почтительности в глазах. Сверху уже спускался Вадим, держа в обнимку большой блестящий ящик — приставку-анализатор. Он подошел к столу, поставил анализатор и рухнул в кресло. На лице у него было ликование.

— Я гений! — сообщил он сипло. — Я ум-ни-ца! Великий и могучий утес! Хикари-тико-удо!

При этих словах пленник перестал облизывать пальцы и сложил почтительно руки перед грудью.

— А? — вскричал Вадим, простирая к нему руку. Потом он заявил:

Есть на всякий, есть на случай
В «Корабле» специалист —
Ваш великий и могучий
Структуральнейший лингвист.

Антон с удовольствием посмотрел на него. На висках у Вадима торчали желтые рожки мнемокристаллов. У пленника тоже торчали желтые рожки мнемокристаллов. Было в них обоих что-то от добродушных молодых бесов. Впрочем, пленник был больше похож на теленка. Саул тоже улыбался, посасывая трубку.

— Предупреждаю, — заявил Вадим, — абстрактных вопросов ему задавать не надо. Дубина редкостная. Образование — два класса. — Он встал и роздал Антону и Саулу по паре мнемокристаллов. — Мыслит он исключительно конкретно. — Он повернулся к пленнику. — Ринга хосиму?

«Хочешь варенья?» — понял Антон.

«Язык» заискивающе улыбнулся и опять сложил руки перед грудью.

— Вот видите? — сказал Вадим. — Он опять хочет варенья. Но он подождет. Давайте приступать.

Антон замялся. Он вдруг обнаружил, что не имеет ни малейшего понятия о том, как это делается. Вадим и Саул выжидательно смотрели на него. Пленник тоскливо переступал с ноги на ногу.

— Как вас зовут? — спросил Антон очень мягко. Ему не нравилось, что пленник до сих пор чувствует себя неуверенно и, несомненно, испытывает страх.

Пленник посмотрел на него с недоумением.

— Хайра, — ответил он и перестал переминаться.

«Из рода холмов», — понял Антон.

— Очень приятно, — сказал он. — Меня зовут Антон.

Недоумение на физиономии Хайры возросло.

— Скажите, пожалуйста, Хайра, кем вы работаете?

— Я не работаю. Я воин.

— Видите ли, — сказал Антон, — вы, наверное, оскорблены насилием, которое мы были вынуждены применить по отношению к вам. Но вы не должны обижаться. Право, у нас не было иного выхода.

Пленник упер руку в бок, отвесил нижнюю губу и стал смотреть мимо Антона. Саул гулко кашлянул и принялся барабанить пальцами по столу.

— Вы не должны бояться, — продолжал Антон. — Мы не сделаем вам ничего дурного.

На лице пленника явственно проступила надменность. Он осмотрелся, отошел на два шага в сторону и сел на пол боком к Антону, скрестив ноги. Осваивается, подумал Антон. Это хорошо. Вадим, развалившись в кресле, взирал на все это с удовлетворением. Саул перестал барабанить пальцами и начал постукивать по столу трубкой.

— Мы только хотим задать вам несколько вопросов, — с подъемом продолжал Антон, — потому что нам необходимо знать, что здесь происходит.

— Варенья, — неприятным голосом произнес Хайра. — И быстро.

Вадим захохотал от удовольствия.

— Such a little pig!* — сказал он.

* Каков поросенок!

Антон покраснел и оглянулся на Саула. Саул медленно поднимался. Лицо у него было неподвижное и скучающее.

— Почему не несут варенья? — осведомился Хайра в пространство. — И пусть все молчат, пока я буду спрашивать. И пусть принесут варенья и одеяла, потому что мне жестко сидеть.

Воцарилось молчание. Вадим перестал улыбаться и с сомнением посмотрел на анализатор.

— Do you think, — растерянно спросил Антон, — we should better bring him some jam?*

* Как вы думаете, может быть, действительно принести ему варенья?

Саул, не отвечая, медленно приблизился к пленнику. Пленник сидел с каменным лицом. Саул повернулся к Антону.

— You have taken a wrong way, boys*, — проговорил он. — It won't pay with SS-men**. — Его рука мягко опустилась на шею Хайры. На лице Хайры мелькнуло беспокойство. — He is a pitekantropos, that's what he is, — нежно сказал Саул. — He mistakes your soft handling for a kind of weakness*.

* Вы избрали неправильный путь, мальчики.

** С эсэсовцами это не годится.

*** Это же питекантроп. Мягкое обращение он принимает за слабость.

— Саул, Саул! — сказал Антон встревоженно.

— Speak but English*, — быстро предупредил Саул.

* Говорите только по-английски.

— Где варенье? — неуверенно спросил пленник.

Саул мощным рывком поднял его на ноги. На каменном лице Хайры проступило смятение. Саул медленно пошел вокруг него, оглядывая его с головы до ног. Ну и зрелище, подумал Антон с невольным страхом и отвращением. У Саула был очень непривлекательный вид. Зато Хайра снова сложил на груди руки и заискивающе улыбался. Саул неторопливо вернулся к своему креслу и сел. Хайра смотрел теперь только на него. В кают-компании стояла мертвая тишина.

Саул стал набивать трубку, время от времени поглядывая на Хайру исподлобья.

— Now I interrogate*, — сказал он. — And you don't interfere. If you choose to talk to me, speak English**.

* Я сейчас буду вести допрос.

** А вы не мешайте. Если захотите что-нибудь сказать мне, говорите по-английски.

— Agreed*, — сказал Вадим и что-то переключил в анализаторе. Антон кивнул.

* Ясно.

— What did you do to that box?* — подозрительно спросил Саул.

* Что вы сделали с этим ящиком?

— Took measures, — ответил Вадим. — We don't need him to learn English as well, do we?*

* Принял меры. Ведь нам не нужно, чтобы он научился заодно и английскому?

— О'кей, — сказал Саул. Он раскурил трубку. Хайра с ужасом смотрел на него, отклоняясь от клубов дыма.

— Имя? — хмуро спросил Саул.

Пленник вздрогнул и согнулся.

— Хайра.

— Должность?

— Носитель копья. Стражник.

— Кто начальник?

— Кадайра. («Из рода вихрей», — понял Антон.)

— Должность начальника?

— Носитель отличного меча. Начальник охраны.

— Сколько стражников в лагере?

— Два десятка.

— Сколько людей в хижинах?

— В хижинах нет людей.

Антон и Вадим переглянулись. Саул бесстрастно продолжал:

— Кто живет в хижинах?

— Преступники.

— А преступники не люди?

На лице Хайры изобразилось искреннее недоумение. Вместо ответа он нерешительно улыбнулся.

— Ладно. Сколько преступников в лагере?

— Очень много. Никто не считает.

— Кто прислал сюда преступников?

Пленник говорил долго и вдохновенно, но Антон услышал только:

— Их прислал Великий и могучий Утес, сверкающий бой, с ногой на небе, живущий, пока не исчезнут машины.

— Ого, — сказал Саул, — они знают слово «машины»...

— Нет, — отозвался Вадим, — это я знаю слово «машины». Имеются в виду машины в котловане и на шоссе. А Великий и так далее — это, вероятно, местный царь.

Пленник слушал этот диалог с выражением тупого отчаяния.

— Ну ладно, — сказал Саул. — Продолжим. В чем вина преступников?

Пленный оживился и снова принялся говорить долго и много, и снова Антон понял далеко не все.

— Есть преступники, желавшие сменить Утес... Есть преступники, бравшие чужие вещи... Есть преступники, убивавшие людей... Есть преступники, желавшие странного...

— Понятно. Кто прислал сюда стражников?

— Великий и могучий Утес с ногой на земле.

— Зачем?

Пленник молчал.

— Я спрашиваю, что здесь делает стража?

Пленник молчал. Он даже закрыл глаза. Саул свирепо засопел.

— Так! Что здесь делают преступники?

Пленник, не открывая глаз, замотал головой.

— Говори! — рявкнул Саул так, что Антон вздрогнул. Комиссия по контактам, горестно подумал он, где ты?

Пленник жалобно застонал.

— Меня убьют, если расскажу.

— Тебя убьют, если ты не расскажешь, — пообещал Саул. Он достал из кармана перочинный нож и раскрыл его. Пленник затрепетал.

— Саул! — сказал Антон. — Stop it*.

* Прекратите.

Саул стал чистить ножом трубку.

— Stop what?* — осведомился он.

* Что прекратить?

— Преступники заставляют машины двигаться, — едва слышно произнес Хайра. — Стражники смотрят.

— На что смотрят?

— Как машины двигаются.

Саул взял чертеж и сунул пленнику под нос.

— Рассказывай все, — сказал он.

Хайра рассказывал долго и сбивчиво, Саул подгонял и подправлял его. Дело, по-видимому, сводилось к тому, что местные власти пытались овладеть способом управления машинами. Методы при этом использовались чисто варварские. Преступников заставляли тыкать пальцами в отверстия, кнопки, клавиши, запускать руки в двигатели и смотрели, что при этом происходит. Чаще всего не происходило ничего. Часто машины взрывались. Реже они начинали двигаться, давя и калеча всех вокруг. И совсем редко удавалось заставить машины двигаться упорядоченно. В процессе работы стражники садились подальше от испытываемой машины, а преступники бегали от них к машине и обратно, сообщая, в какую дыру или в какую кнопку будет сунут палец. Все это тщательно заносилось на чертежи.

— Кто делает чертежи?

— Не знаю.

— Верю. Кто привозит чертежи?

— Большие начальники на птицах.

— Имеются в виду наши знакомые птички, — пояснил Вадим. —

Наверное, здесь их приручают.

— Кому нужны машины?

— Великому и могучему Утесу, сверкающему бою, с ногой на небе, живущему, пока не исчезнут машины.

— Что он делает с машинами?

— Кто?

— Утес.

На лице пленника изобразилось смятение.

— Это же должность, Саул, — сказал Вадим. — Говорите полностью.

— Хорошо. Что делает с машинами Великий и могучий Утес, с ногой на небе... или на земле?.. Тьфу, черт, не помню... живущий, пока... это...

— Пока не исчезнут машины, — подсказал Вадим.

— Бессмыслица какая-то, — сказал сердито Саул. — При чем здесь машины?

— Это титулование, — пояснил Вадим. — Символ вечности.

— Слушайте, Вадим. Спросите его, что он делает с машинами.

— Кто?

— Да Утес же, черт бы его побрал!

— Говорите просто, — сказал Вадим. — Великий и могучий Утес.

Саул отдулся и положил трубку на стол.

— Итак, что делает с машинами Великий и могучий Утес?

— Никто не знает, что делает Великий и могучий Утес, — с достоинством сказал пленник.

Антон не выдержал и засмеялся. Вадим хохотал, держась за подлокотники. Пленник глядел на них со страхом.

— Откуда привозят чертежи?

— Из-за гор.

— Что за горами?

— Мир.

— Сколько в мире людей?

— Очень много. Сосчитать невозможно.

— Кто привозит машины?

— Преступники.

— Откуда?

— С твердой дороги. Там очень много машин. — Пленник подумал и добавил: — Сосчитать нельзя.

— Кто делает машины?

Хайра удивленно улыбнулся.

— Машины никто не делает. Машины есть.

— Откуда они взялись?

Хайра произнес речь. Он тер лицо, гладил себя по бокам и поглядывал на потолок. Он закатывал глаза и временами даже принимался петь. Получалось приблизительно следующее.

Давным-давно, когда еще никто не родился, с красной луны упали большие ящики. В ящиках была вода. Жирная и липкая, как варенье. И она была темно-красная, как варенье. Сначала вода сделала город. Потом она сделала в земле две дыры и наполнила эти дыры дымом смерти. Потом вода стала твердой дорогой между дырами, а из дыма родились машины. С тех пор один дым рождает машины, другой дым глотает машины, и так всегда будет.

— Ну, это мы и без тебя знаем, — сказал Саул. — А если преступники не захотят двигать машины?

— Их убивают.

— Кто?

— Стражники.

— И ты убивал?

— Я убил троих, — гордо сказал Хайра.

Антон закрыл глаза. Мальчишка, подумал он. Славный, симпатичный мальчишка. И он говорит об этом с гордостью...

— Как же ты их убивал? — спросил Саул.

— Одного я убил мечом. Я доказывал начальнику, что могу разрубить тело одним ударом. Теперь он знает, что я это могу. Другого я убил кулаком. А третьего я приказал сбросить мне на копье.

— Кому приказал?

— Другим преступникам.

Некоторое время Саул молчал.

— Скучно, — сказал пленник. — Служба гордая, но скучная. Нет женщины. Нет умных бесед. Скучно, — повторил он и вздохнул.

— Почему преступники не бегут?

— Они бегут. Пусть. На равнине снег и птицы. В горах стража. Умные не бегут. Все хотят жить.

— Почему у некоторых золотые ногти?

Пленник сказал шепотом:

— Это были люди большого богатства. Но они хотели странного, а некоторые даже пытались сменить Утес. Они отвратительны, как падаль, — сказал он громко. — Великий и могучий Утес, сверкающий бой присылает их сюда со всеми родными. Кроме женщин, — добавил он с сожалением.

— Вы знаете, — сказал Саул, — я испытываю огромное желание повесить сначала его, а потом всех остальных носителей мечей и копий на этой равнине. Но это, к сожалению, бесполезно. — Он снова набил трубку. — У меня больше нет вопросов. Спрашивайте вы, если хотите.

— Нас нельзя вешать, — быстро сказал побледневший Хайра. — Великий и могучий Утес с ногой на небе жестоко накажет вас.

— Плевать я хотел на твоего Великого и могучего, — сказал Саул, раскуривая трубку. Пальцы его дрожали. — Будете еще спрашивать или нет?

Антон помотал головой. Никогда в жизни он не испытывал такого отвращения. Вадим подошел к Хайре и сорвал с его висков мнемокристаллы.

— Что будем делать? — спросил он.

— Таков человек, — задумчиво проговорил Саул. — На пути к вам он должен пройти через все это и многое другое. Как долго он еще остается скотом, после того как поднимается на задние лапы и берет в руки орудия труда. Этих еще можно извинить, они понятия не имеют о свободе, равенстве и братстве. Впрочем, это им еще предстоит. Они еще будут спасать цивилизацию газовыми камерами. Им еще предстоит стать мещанами и поставить свой мир на край гибели. И все-таки я доволен. В мире этом царит средневековье, это совершенно очевидно. Все это титулование, пышные разглагольствования, золоченые ногти, невежество... Но уже теперь здесь есть люди, которые желают странного. Как это прекрасно — человек, который желает странного! И этого человека, конечно, боятся. Этому человеку тоже предстоит долгий путь. Его будут жечь на кострах, распинать, сажать за решетку, потом за колючую проволоку... Да. — Он помолчал. — А какова затея! — воскликнул он. — Овладеть машинами, не имея никакого понятия о машинах! Представляете? Какой это был дерзкий ум! Сейчас-то его, конечно, посадили бы в лагерь. Сейчас это все рутина, что-то вроде обряда в честь могучих предков... Сейчас, наверное, никто и не знает и знать не хочет, для чего все это нужно. Разве что как повод для создания лагеря смерти. А когда-то это была идея...

Он замолчал и стал усиленно сипеть трубкой. Антон сказал:

— Ну, зачем же так мрачно, Саул? Им вовсе не обязательно проходить через газовые камеры и прочее. Ведь мы уже здесь.

— Мы! — Саул усмехнулся. — Что мы можем сделать? Вот нас здесь трое, и все мы хотим творить добро активно. И что же мы можем? Да, конечно, мы можем пойти к Великому Утесу этакими парламентерами разума и попросить его, чтобы он отказался от рабовладения и дал народу

свободу. Нас возьмут за штаны и бросят в котлован. Можно напялить белые хламиды — и прямо в народ. Вы Антон, будете Христос, Вадим будет апостолом Павлом, а я, конечно, Фомой. И мы станем проповедовать социализм и даже, может быть, сотворим несколько чудес. Что-нибудь вроде нуль-транспортировки. Местные фарисеи посадят нас на кол, а люди, которых мы хотели спасти, будут с гиком кидать в нас калом... — Он поднялся и прошелся вокруг стола. — Правда, у нас есть скорчер. Мы можем, например, перебить стражу, построить голых в колонну и прорваться через горы, сжечь сюзеренов и вассалов вместе с их замками и пышными титулами, и тогда города фарисеев превратятся в головешки, а нас поднимут на копья или, скорее всего, зарежут из-за угла, а в стране воцарится хаос, из которого вынырнут какие-нибудь саддукеи. Вот что мы можем.

Он сел. Антон и Вадим улыбались.

— Нас не трое, — сказал Антон. — Нас, дорогой Саул, двадцать миллиардов. Наверное, раз в двадцать больше, чем на этой планете.

— Ну и что? — сказал Саул. — Вы понимаете, _что_ вы хотите сделать? Вы хотите нарушить законы общественного развития! Хотите изменить естественный ход истории! А знаете вы, что такое история? Это само человечество! И нельзя переломить хребет истории и не переломить хребет человечеству.

— Никто не собирается ломать хребты, — возразил Вадим. — Были времена, когда целые племена и государства по ходу истории перескакивали прямо из феодализма в социализм. И никакие хребты не ломались. Вы что, боитесь войны? Войны не будет. Два миллиона добровольцев, красивый, благоустроенный город, ворота настежь, просим! Вот вам врачи, вот вам учителя, вот вам инженеры, ученые, артисты... Хотите, как у нас? Конечно! И мы этого хотим! Кучка вонючих феодалов против коммунистической колонии — тьфу! Конечно, это случится не сразу. Придется поработать, лет пять потребуется...

— Пять! — сказал Саул, поднимая руки к потолку. — А пятьсот пятьдесят пять не хотите? Тоже мне просветители! Народники-передвижники! Это же планета, понимаете? Не племя, не народ, даже не страна — планета! Целая планета невежества, трясина! Артисты! Ученые! А что вы будете делать, когда придется стрелять? А вам придется стрелять, Вадим, когда вашу подругу-учительницу распнут грязные монахи... И вам придется стрелять, Антон, когда вашего друга-врача забьют насмерть палками молодчики в ржавых касках! И тогда вы озверееете и из колонистов превратитесь в колонизаторов...

— Пессимизм, — сказал Вадим, — есть мрачное мироощущение, при котором человек во всем склонен видеть дурное, неприятное.

Саул несколько секунд дико глядел на него.

— Вы не шут`ите, — сказал он наконец. — Это не шутки. Коммунизм — это прежде всего идея! И идея не простая. Ее выстрадали кровью! Ее не преподашь за пять лет на наглядных примерах. Вы обрушите изобилие на потомственного раба, на природного эгоиста. И знаете, что у вас получится? Либо ваша колония превратится в няньку при разжиревших бездельниках, у которых не будет ни малейшего стимула к деятельности, либо здесь найдется энергичный мерзавец, который с помощью ваших же глайдеров, скорчеров и всяких других средств вышибет вас вон с этой планеты, а все изобилие подгребет себе под седалище, и история все-таки двинется своим естественным путем.

Саул рывком откинул крышку мусоропровода и принялся яростно выбивать туда свою трубку.

— Нет, голубчики. Коммунизм надо выстрадать. За коммунизм надо драться вот с ним, — он ткнул трубкой в сторону Хайры, — с обыкновенным простаком-парнем. Драться, когда он с копьем, драться, когда он с мушкетом, драться, когда он со «шмайссером» и в каске с рожками. И это еще не все. Вот когда он бросит «шмайссер», упадет брюхом в грязь и будет ползать перед вами — вот когда начнется настоящая борьба! Не за кусок хлеба, а за коммунизм! Вы его из этой грязи поднимете, отмоете его...

Саул замолчал и откинулся в кресле.

Вадим задумчиво чесал затылок.

Антон сказал:

— Вам виднее, Саул, вы историк. Конечно, все это будет очень трудно. Вадим тут нес, как всегда, легкомысленную чушь. Мы вдвоем с Вадимом или втроем с вами никогда не решим эту задачу — даже теоретически. Но мы все знаем одно: не было еще такого случая, чтобы человечество поставило перед собой задачу и не смогло ее решить.

Саул что-то неразборчиво проворчал.

— Как это будет делаться конкретно... — Антон пожал плечами. — Что ж, если придется стрелять, вспомним, как это делалось, и будем стрелять. Только, по-моему, обойдется без стрельбы. Пригласим, например, этих желающих странного на Землю. Начнем с них. Они, наверное, захотят уехать отсюда...

Саул быстро вскинул и снова опустил глаза.

— Нет, — сказал он. — Только не так. Настоящий человек уехать не

захочет. А ненастоящий... — Он снова поднял глаза и посмотрел прямо в лицо Антону. — А ненастоящему на Земле делать нечего. Кому он нужен, дезертир в коммунизм?

Почему-то все замолчали. И почему-то Антону стало нестерпимо жалко Саула и страшно за него. У Саула, несомненно, была беда. И очень непростая беда, такая же, наверное, необычная, как он сам, как его слова и поступки.

Вадим с деланным оживлением вскричал:

— А вот, кстати... Мы же забыли! За что меня пырнули мечом эти угнетенные? Надо выяснить!

Он подбежал к Хайре, у которого ноги подламывались от усталости и плохих предчувствий, и снова прикрепил к его вискам рожки мнемокристаллов.

— Слушай-ка, питекантроп, — сказал он. — Почему преступники, которые везли тебя, напали на нас? Они что, тебя очень любят?

Хайра ответил:

— По велению Великого и могучего Утеса, сверкающего боя, с ногой на небе, живущего, пока не исчезнут машины, преступники заточаются здесь до тех пор, пока не исчезнут машины...

— То есть навсегда, — пояснил Вадим.

— ...но если преступник сделает, чтобы машина двигалась, он получает милость и возвращается за горы. Те, которые везли меня, шли домой. Они были почти уже люди. На заставе я должен был отпустить их и пересесть на птиц. Но они не сумели сохранить меня, хотя и хотели, потому что хотели жить. А теперь их заколют. — Он нервно зевнул и добавил: — Если солнце уже взошло, то их уже закололи.

Антон вскочил, опрокинув кресло.

— О господи! — сказал Саул и выронил трубку.

VII

Носителя копья из рода холмов посадили между Саулом и Антоном. Он снова был закутан в свою шубу, от которой теперь пахло дезинсекталем, и сидел смирно, беспокойно шевеля коротким носом: принюхивался. Было пять часов утра, занималась бледная ледяная заря. И было очень холодно.

Вадим молча вел глайдер на максимальной скорости и думал только одно: «Успеем или не успеем?» Хоть бы эти бедняги не решились сразу возвращаться в поселок. Но он понимал, что больше им деваться некуда. Это был их единственный шанс на спасение — попытаться смягчить начальника стражи рассказом о том, как они геройски защищали его посланника. Эта грубая скотина прикончит их сразу же, с горечью подумал Вадим. Если мы не успеем. Он представил себе, как они поставят Хайру перед толстым носителем отличного меча, и он, Вадим, скажет: «Кайра-мэ сорината-му каро-сика!» — «Вот ваш человек!» — и визгливо-жалобно завопит: «Татимата-нэ кори-су!» — «Не сметь убивать этих свободных!» Он все время твердил в уме эти фразы, и в конце концов они потеряли для него всякий смысл. Все это не так просто. Может быть, придется вести длинный разговор. А вряд ли носитель меча согласится добровольно прикрепить к своей немытой начальственной голове мнемокристаллы. Вадим покосился на блестящий ящик анализатора. Придется его скрутить. Не зря же я тащил эти двадцать четыре килограмма от кают-компании до глайдера.

Антон спросил:

— А что было в послании?

Вадим достал из кармана смятый листок и, не оборачиваясь, протянул через плечо.

— Я немного подредактировал, — сказал он. — Перевод карандашом между строчек.

Антон взял листок и стал читать вполголоса:

— «Лучезарному колесу в золотых мехах, носителю грозной стрелы, слуге под самым седалищем Великого и могучего Утеса, сверкающего боя, с ногой на небе, живущего, пока не исчезнут машины, к ступне повергает это донесение ничтожный стражник из рода вихрей, носитель отличного меча. Доношу первое: большая машина «воин-купол» пришла в движение от пальца в отверстии пятом и от пальца в отверстии сорок седьмом, и движение было неодолимое, быстрое и прямое. Доношу второе: явились на

небывалой машине трое, не знающие речи, не носящие оружия, не понимающие установления и желающие странного. Не зная их сущности, пребываю в ожидании высоких приказаний. Доношу третье: уголь кончается, а топить мертвецами по вашему милостивому слову мы за невежеством и недоумием не умеем. При сем прилагаю: первое — чертеж большой машины «воин-купол» и второе — образцы материи, приклеенные неизвестными людьми к ранам преступников». Да, здесь ничего нового, — сказал Антон.

— Феодализм чистейшей воды, — произнес Саул. — Не особенно церемоньтесь с ними, не то как раз сядете на копья.

Да, церемониться неохота, подумал Вадим. И, конечно, не из-за копий. Пленник вдруг заерзал на месте и грубым басом заискивающе попросил:

— Ринга...

— Сэнту! — визгливо крикнул Вадим.

Пленник замер.

— Опять варенья просит, — сказал Вадим.

— Потерпит, — сказал Саул. — «Жрать и пить, морду бить...»

— Ничего, — сказал Вадим. — Он у нас еще захочет странного.

— Вадим, — попросил Антон, — дай-ка пару кристаллов. Я хочу поговорить с ним.

— В кармашке справа, — сказал Вадим, не оборачиваясь.

— Слушай, Хайра, — сказал Антон. — Если мы тебя вернем в поселок, отпустит твой начальник освобожденных, которые защищали тебя?

— Да, — быстро сказал Хайра. — А вы меня вернете в поселок?

— Конечно, вернем, — сказал Антон. — Не убивать же тебя.

Вадим посмотрел через плечо. Хайра приосанился.

— Начальник строг, — произнес он. — Начальник, может быть, не отпустит их и пошлет обратно в котлован. Но вы можете надеяться на милость. Возможно, он даже отпустит вас, если вы дадите ему ценные подарки. У вас есть ценные подарки?

— Есть, — рассеянно сказал Антон. — У нас все есть.

— Что он говорит? — проворчал Саул. — Вадим, где мои кристаллы? А, вот они...

— Может быть, действительно придется выкупить их, — проговорил Антон задумчиво. — Не устраивать же драку... Мне этого совсем не хочется.

Хайра заговорил снова, и голос его был тверд и визглив.

— А мне вы дадите вот эту куртку. — Он ткнул пальцем в куртку

Саула. — И этот ящик. — Он показал на анализатор. — И все варенье. Все равно у вас все отберут перед тем, как отправить в хижины. Вы правильно решили — не устраивать драку. Наши копья остры и зазубрены, и при обратном движении они извлекают из врага внутренности. И еще я возьму вот эту обувь. И вот эту тоже. Ибо все между землей и небом принадлежит Великому и могучему... И это я тоже возьму.

Хайра замолчал озабоченно. Вадим, развлекаясь от души, оглянулся. Антон сосредоточенно смотрел в окно — видимо, он не слушал. Хайра сидел на полу, скрестив ноги, и осматривал его ботинки. Саул смотрел на Хайру, придерживая у виска один из кристаллов. На лице его было бешенство. Поймав взгляд Вадима, он нехорошо улыбнулся. Хайра наставительно сказал:

— Когда вас будут раздевать, не забудьте сказать, что это, — он показал пальцем, — это и это мое. Я первый.

— Молчать, — тихо сказал Саул.

— Молчи сам, — с достоинством сказал Хайра. — Или мы забьем тебя насмерть палками.

— Саул, — сказал Антон. — Перестаньте. Что вы как ребенок...

— Да, он не умен, — сказал Хайра. — Но куртка его хороша.

А ведь он действительно уверен, что мы в его власти, подумал Вадим. Он уже видит это — как нас раздевают и сталкивают в котлован, и мы спим на земляном полу, покрытом нечистотами, и всегда молчим, а он гонит нас босых по снегу, колет копьем, бьет по лицу, чтобы не отставали. А вокруг люди, которые думают только о себе, которые мечтают только о том, чтобы попасть пальцем именно в ту дырку, которая приведет машину в движение, и тогда их, радостных и ликующих, запрягут в сани и погонят по снегу навстречу свободе, босиком, через заснеженные холмы, под седалище Великого и могучего... У Вадима круги пошли перед глазами от боли — так крепко он закусил губу. Я бы им устроил праздничек, подумал он с ненавистью. Это было странное чувство — ненависть. От него холодело внутри и напрягались все мускулы. Он никогда раньше не испытывал ненависти к людям. Он услыхал, как Саул страшно сопит у него за спиной. Хайра мурлыкал песенку.

Внизу показался грязный котлован. На дне его в беспорядке сгрудились машины, нелепые и дикие орудия унижения и смерти. Эх вы, пришельцы, подумал Вадим. Впрочем, что с вас взять! Вы ведь даже не гуманоиды. Вода с неба... Варенье...

Он снизился и, тормозя, пошел вдоль улицы прямо к домику охраны. Хайра, узнав родные места, разразился радостными воплями, которые не

брал даже мощный анализатор.

Перед домиком было полно народу. В зеленоватом свете зари мерцал снег. На снегу, сбившись в кучку, жалкие, голые, стояли, опустив головы, два десятка бывших освобожденных. Вокруг них, опираясь на копья, расставив ноги, стояли стражники в шубах. На крыльце возвышался носитель отличного меча. Отличный меч он держал перед собой и, повернув оттопыренное ухо к мечу, водил по острию большим пальцем. Потом он заметил снижающийся глайдер и замер, раскрыв черную пасть.

Вадим посадил глайдер прямо перед крыльцом. Он распахнул фонарь и крикнул:

— Кайра-мэ сорината-му! Татимата-нэ кори-су!

Он выбрался из-за руля, сгреб носителя копья из рода холмов в охапку и поставил его на ступеньки крыльца. Начальник опустил меч и с отчетливым хрустом захлопнул рот. Хайра согнулся и мелкими шажками проворно подбежал к нему.

— Почему ты еще не убит? — изумленно спросил начальник.

Хайра, сложив руки перед грудью, быстро и басовито заворковал:

— Случилось, что должно было случиться! Я рассказал им о величии и мощи Великого и могучего Утеса, сверкающего боя, с одной ногой на небе, живущего, пока не исчезнут машины, и они в страхе пустили воду. Они накормили меня вкусной пищей и говорили со мной, как покорные. И они явились сюда, чтобы склониться перед тобой.

Копейщики почтительно сплотились у крыльца. Только два десятка голых стояли на месте, покорно ожидая своей участи. Начальник важно и медлительно вложил меч в ножны. Он больше не смотрел на глайдер. Он принялся равнодушно и неторопливо расспрашивать Хайру:

— Где они живут?

— У них большой дом на равнине. Очень теплый.

— Где они взяли эту машину?

— Не знаю. Наверное, на дороге.

— Ты должен был сказать им, что все небо и вся земля принадлежат Великому и могучему Утесу.

— Я сказал им. Но их обувь, и одна куртка, и блестящий ящик принадлежат мне. Не забудь этого потом, светлый и сильный.

— Ты дурак, — сказал начальник презрительно. — Все принадлежит Великому и могучему Утесу. А ты получишь то, что тебе достанется. Где послание?

— Они отобрали, — разочарованно сказал Хайра.

— Ты дурак еще раз. Это будет стоить тебе кожи.

Хайра увял. Начальник посмотрел куда-то в пространство между Вадимом и Антоном и произнес:

— Пусть они покажут свою обувь.

Саул зарычал и полез к борту.

— Тихо, тихо, — сказал Антон.

Начальник меланхолически высморкался на крыльцо.

— А какую еду ел ты? — спросил он.

— Варенье. Это не совсем варенье, но оно сладкое и радует язык.

Начальник слегка оживился.

— А у них много этого варенья?

— Очень много! — с энтузиазмом вскричал Хайра. — Но не приказывай бить меня.

— Я решил, — сказал начальник. — Пусть они отправляются домой и принесут к моим ногам все варенье. И всю другую еду. У них нет угля?

Хайра вопросительно посмотрел на Антона. Антон резко сказал:

— Потребуй у него свободы этим преступникам!

— Что он говорит? — спросил начальник.

— Он просит, чтобы ты не убивал этих преступников.

— А как ты понимаешь его речь?

Хайра указал обеими руками на рожки мнемокристаллов у себя на висках.

— Если приставить это к голове, то ты слышишь чужую речь, а понимаешь ее как свою.

— Дай сюда, — потребовал начальник. — Это тоже принадлежит Великому и могучему Утесу.

Он отобрал у Хайры мнемокристаллы и после нескольких неудачных попыток пристроил их у себя на лбу. Антон сейчас же сказал:

— Немедленно отпусти этих людей, заслуживших свободу.

Начальник с удивлением посмотрел на него.

— Ты не можешь говорить так, — сказал он. — Я прощаю тебя потому, что ты низкий и не знаешь слов. Ступай. И принеси также письмо и чертеж. — Он повернулся к копейщикам, которые почтительно ему внимали, и заорал: — Ну что вы тут стали, труполюбы? Нечего вам обнюхивать их штаны! Штаны всех людей, кто разговаривает со мной, воняют одинаково. За работу! Гоните эту падаль в котлован. Гей! Гей!

Копейщики загоготали и трусцой побежали по улице, гоня перед собой бывших освобожденных. Начальник дружелюбно хлопнул Хайру по уху и приказал ему убираться. Хайра, шатнувшись от удара, юркнул в дверь. Оставшись один, начальник посмотрел на небо, посмотрел на хижины,

протяжно, с прискуливанием зевнул, посмотрел на глайдер, лениво отхаркался и, глядя в сторону, сказал скучающим голосом:

— Делайте, как я указал. Возвращайтесь в свой дом, принесите мне сюда варенье и всю другую еду и идите в котлован, если хотите жить.

Вадим смотрел на эту громадную грязную фигуру и испытывал странную слабость во всех членах. У него было такое ощущение, как будто он во сне пытается взобраться на скользкую отвесную стену. Антон пробормотал рядом:

— Смотри, Димка, смотри хорошенько. Это тебе не мальчишка Хайра.

— Не могу, — странным бесцветным голосом сказал Саул. — Я его сейчас удавлю.

— Ни в коем случае, — сказал Антон.

Начальник гаркнул в открытую дверь:

— Зажарь мне мяса, Хайра, труполюб! И согрей ложе! Я сегодня весел. — Потом он встал к глайдеру боком и, глядя на горы, заговорил, подняв грязный указательный палец: — Сейчас вы еще неразумны и окаменели от страха. Но вам надлежит знать, что впредь, разговаривая со мной, вы должны согнуться в пояснице и прижать ладони к груди. И не смотреть на меня, потому что вы низкие и взор ваш нечист. Сегодня я вас прощаю, а завтра прикажу избить древками копий. И еще вы должны помнить, что самая высокая добродетель состоит в повиновении и молчании. — Он сунул указательный палец в пасть и стал копаться в зубах. Речь его стала невнятной. — Когда вы вернетесь сюда с вареньем, письмом и чертежом, вы разденетесь и оставите все на крыльце. Я не выйду к вам. Потом пойдите в хижины и обдерите там рубахи с мертвецов. Две рубахи брать нельзя. — Он вдруг заржал. — А то вы вспотеете на работе. Можете взять рубахи с живых, но только с тех, у кого золотые ногти...

В полуоткрытую дверь просунулся Хайра.

— Все готово, светлый и сильный, — сказал он.

Начальник продолжал:

— Ваша судьба будет легка. Великому и могучему Утесу нужны люди, умеющие двигать машины. Ибо будет же наконец война за земли, которые ему принадлежат! И тогда Великий и могучий Утес, — он поднял указательный палец, — сверкающий бой, с ногой на небе и с ногой на земле, живущий, пока не исчезнут машины...

— Гад! — оглушительно рявкнул Саул. Над ухом Вадима тускло блеснул вороненый ствол скорчера.

— Не надо! — крикнул Антон.

Саул оттолкнул Вадима и схватился за руль.

— Не надо? — закричал он. — А что же надо? Терпеть и ждать, пока не исчезнут машины? Хорошо!

Страшный рывок повалил Вадима между сидений. Не закрывая фонаря, Саул бросил глайдер в воздух. Раздался треск, над кабиной пролетело расщепленное бревно. Ледяной ветер завыл в ушах, глайдер круто накренился, и Вадим успел увидеть, что начальник стоит на четвереньках на крыльце, задрав необъятный зад, а крыша дома, вертясь и разваливаясь, падает на середину улицы. Вадим попытался закрыть фонарь. Фонарь не закрывался.

— Саул! — крикнул Вадим. — Сбросьте скорость!

Саул не ответил. Он гнал глайдер над улицей, по которой уже двигались цепочки заключенных, прямо к котловану. Он скрючился, скрывая лицо за маленьким козырьком. Скорчер лежал у него на коленях. Глайдер шел неровными толчками, встречный ветер стремился перевернуть его.

Вадим все пытался одной рукой закрыть фонарь. Другой он придерживал упавший ему на колени ящик анализатора. Саул говорил сквозь зубы:

— Мерзавцы... подлецы... мучители... Машины вам? Будут вам машины!.. Земли воевать? Будут вам земли!..

Вадиму, наконец, удалось вскарабкаться на сиденье, и он огляделся. Глайдер мчался прямо на котлован. Антон, вцепившись в подлокотники, щурясь от ветра, молча смотрел в спину Саула.

— Варенье тебе? — рычал Саул. — Я тебе покажу варенье!.. Сладкую еду... труполюбы...

Глайдер взлетел над котлованом. Саул замолчал и, перегнувшись через борт, выпалил из скорчера прямо вниз. Вадим отшатнулся. Ослепительное лиловое пламя выбросилось из котлована, громовой удар рванул уши, и все осталось позади.

Вадим, напрягаясь так, что все у него внутри захрустело, захлопнул, наконец, фонарь. Стало тихо.

— Я им внушу другие понятия о вечности, — сказал Саул и замолчал.

— А может быть, не надо? — робко предложил Вадим. Он еще не понимал, чего хочет Саул. Ну, что с них взять, думал он. Тупые, невежественные люди. Разве на них можно сердиться по-серьезному?

Глайдер с ревом несся над верхушками холмов, разбрасывая тучи снежной пыли. Саул был очень неважным водителем, он подавал на двигатель слишком много энергии, и двигатель работал наполовину вхолостую. Зато за глайдером тянулась плотная стена изморози. Несколько

птиц кинулись наперерез и сейчас же пропали в снежном вихре. А позади, над искрящейся мутью, поднимался в небо дымный столб.

— Одно жалко, одно... — снова заговорил Саул. — Как жаль, что нельзя уничтожить одним махом всю тупость и жестокость, не уничтожив при этом человека... Ну, одну-то глупость в этой безмерно глупой стране!..

— Вы летите к шоссе? — спокойно спросил Антон.

— Да. И не пытайтесь остановить меня.

— И не подумаю, — сказал Антон. — Только будьте осторожны.

Теперь Вадим понял и уставился на скорчер. Кажется, начинается такое, подумал он, чего я никогда в жизни не смогу описать... и не смогу понять.

На шоссе все было по-прежнему. Как и вчера, как и сто лет назад, бесшумно, ровными рядами шли машины. Из дыма выходили и уходили в дым. И так могло бы быть вечно. Но вот Саул посадил глайдер в двадцати метрах от полотна, откинул фонарь и положил ствол скорчера на борт.

— Я не терплю ничего вечного, — неожиданно спокойно сказал он и выстрелил.

Первый удар пришелся по громадной черепахообразной машине. Панцирь вспыхнул и разлетелся, как яичная скорлупа, а платформа на одной гусенице завертелась на месте, сшибая и опрокидывая идущие за нею маленькие зеленые кары.

— Нельзя изменить законы истории... — сказал Саул.

С громом запылала огромная черная башня на колесах, а другая такая же башня опрокинулась и загородила часть шоссе.

— ...но можно исправить некоторые исторические ошибки, — продолжал Саул, целясь.

Лиловая молния миллионовольтного разряда лопнула под днищем оранжевой машины, похожей на полевой синтезатор, и она, распадаясь на части, взлетела высоко в воздух.

— ...эти ошибки даже должно исправлять, — приговаривал Саул, непрерывно стреляя. — Феодализм... и без того достаточно... грязен.

Потом он замолчал. Справа росла груда раскаленных обломков, а слева шоссе опустело — впервые, вероятно, за тысячи лет, — там пробегали только отдельные машины, случайно прорвавшиеся через огненную завесу. Потом пылающая гора распалась с шипением и треском, поднялся высокий столб искр и пепла, и сквозь облака дыма на шоссе хлынули новые ряды машин. Саул зарычал и снова припал к скорчеру. Снова загремели разряды, запылали, взрываясь, машины, и снова начала расти груда раскаленных обломков. Черные тяжелые клубы, прорезаемые фонтанами искр, повисли в

небе. Из дыма мохнатыми хлопьями падал пепел, и снег вокруг почернел и дымился. У шоссе обнажилась земля.

Вадим сидел, упираясь ногами в ящик анализатора, вздрагивая и щурясь при каждой вспышке. Потом он привык и перестал щуриться. Снова и снова вырастала на шоссе пылающая гора, снова и снова она рассыпалась, разбрасывая горящие обломки, шумно вздыхая волнами нестерпимого жара, а машины все шли и шли неодолимым потоком, равнодушные ко всему этому уничтожению, и не было им конца.

— Наверное, хватит, Саул! — попросил Антон.

Это бесполезно, подумал Вадим. Саул перестал стрелять — кончились заряды — и уронил голову на руки. Горячее дуло скорчера задралось в небо. Вадим поглядел на покрытые копотью голову и руки Саула и ощутил огромную усталость. Не понимаю, подумал он. Все зря. Бедный Саул. Бедный Саул.

— История, — хрипло сказал Саул, не поднимая головы. — Ничего нельзя остановить.

Он выпрямился и посмотрел на ребят.

— Сердце не вытерпело, — сказал он. — Простите меня. Сердце не вытерпело. Я просто не смог. Надо было хоть что-нибудь сделать.

Они сидели и долго глядели на шоссе. Машины ряд за рядом катились своим путем, сталкивая обломки на обочины, сметая пепел, и скоро все стало по-прежнему, только поперек шоссе медленно остывало багровое пятно, чернел испачканный снег вокруг и долго не рассеивалась над головой дымная пелена, сквозь которую, вздрагивая, глядел красный искаженный диск — желтый карлик ЕН 7031.

Саул закрыл глаза и сказал непонятно:

— Это как печи... Если разрушить только печи — построят новые, и все.

Где-то неподалеку раздались знакомые до отвращения жалобные крики. Вадим неохотно повернул голову. На проселке возле шоссе стояла толпа измученных людей в мешковине, и стражники в шубах и с копьями суетились вокруг. Что им здесь надо? — равнодушно подумал Вадим. Стражники древками пик выгнали из толпы какого-то несчастного. Дрожа и оглядываясь, он прошел по черному снегу и вышел на шоссе. Громадная блестящая башня мягко катилась на него. Несчастный с отчаянием посмотрел на стражников. Те проорали что-то про руки. Преступник закрыл глаза и раскинул руки крестом. Машины сшибла его и покатилась дальше. Саул поднялся. Скорчер, глухо стукнув, упал на дно кабины.

— Хочу набить им морду, — сказал Саул. Пальцы у него сгибались и

разгибались.

Антон поймал его за куртку.

— Честное слово, Саул, — сказал он, — это тоже бесполезно.

— Знаю. — Саул сел. — Вы думаете, я не знаю? Ну почему я ничего не могу сделать? Почему я ни там, ни здесь ничего не могу сделать?

Стражники вытолкнули на дорогу другого заключенного. Первый так и остался лежать, плоский, как пустой мешок. Второй раскинул руки и встал на пути красной платформы с кубическим ящиком. Платформа снизила скорость и остановилась перед ним в двух шагах. Стражники закричали. Заключенный поднял руки и, пятясь, стал сходить с шоссе. Красная машина, как привязанная, поползла за ним. Она съехала на проселок и тяжело закачалась на колдобинах. Заключенный все пятился и пятился, уводя ее от шоссе к котловану. А по шоссе все шли, шли и шли машины.

— Чепуху я сделал, — горестно сказал Саул. — Ругайте меня. Но все равно начинать здесь нужно с чего-нибудь подобного. Вы сюда вернетесь, я знаю. Так помните, что начинать нужно всегда с того, что сеет сомнение... Ну, что же вы меня не ругаете?

Вадим только судорожно вздохнул, а Антон сказал ласково:

— За что же, Саул? Вы не сделали ничего плохого. Вы сделали только странное.

VIII

— Димка, — сказал Антон, — пойди посмотри, как там Саул.

Вадим поднялся и вышел из рубки. Он спустился в кают-компанию и заглянул к Саулу. На него пахнуло застоявшимся табачным дымом. Саул лежал на диване в той же позе, в которой они уложили его после перехода: вытянув ноги с огромными ступнями, закинувшись, выставив щетинистый кадык. Вадим присел рядом и потрогал его лоб. Лоб горел. Саул несвязно забормотал:

— Сухари... сухари нужны... Что вы ко мне с ножницами? В портняжной ножницы... не маникюрные же... Я вас о сухарях спрашиваю... а вы мне ножницы... — Он вдруг сильно вздрогнул и прохрипел: — Цум бефель, господин блоковый... Никак нет, бьем вшей...

Вадим погладил его по бессильной руке. На Саула было тяжело смотреть. Всегда тяжело видеть сильного, уверенного человека в таком беспомощном состоянии. Саул медленно открыл глаза.

— А... — проговорил он. — Вадим... Димочка... Ты ничего не думай... На допрос всегда противно смотреть... Ты не думай обо мне плохо... Я вернусь... Это была просто слабость... А теперь я отдохнул немножко и вернусь...

Глаза его снова стали закатываться. Вадим с жалостью глядел на него.

— Опять горим... — забормотал Саул. — Как дрова горим. Степанов горит! Да в рощу же, в рощу!..

Вадим вздохнул и поднялся. Он оглядел каюту. Беспорядок здесь был страшный. На полу валялся, вывернув внутренности, нелепый портфель. Содержимое было разбросано — странные серые картонные чехлы, набитые бумагой, украшенные стилизованным изображением какой-то птицы с раскинутыми крыльями. Один из чехлов раскрылся, и бумаги рассыпались по всей каюте. На столике тоже лежали бумаги. Вадим хотел было прибрать, но заметил, что Саул заснул. Тогда он на цыпочках вышел и прикрыл за собой дверь.

Антон сидел за пультом, положив пальцы на контакты, и задумчиво глядел на обзорный экран. По экрану медленно проползали вершины сосен, далекие сияющие этажи домов, красные огоньки энергоприемников.

— Плохо ему, — сказал Вадим. — Бредит. Сейчас, правда, заснул.

Он присел на подлокотник и уставился на стену, разрисованную изображениями человеческих фигурок и предметов.

— Вот стену я напрасно испачкал, — проговорил он. — Надо было у Саула попросить бумаги. У него, оказывается, полный портфель бумаги. Между прочим, Хайра до икоты испугался, когда я стал рисовать...

— Ты знаешь, Димка, — сказал Антон задумчиво. — Саул, конечно, человек странный. Но чтобы у взрослого дяди не было прививки биоблокады... — Он покачал головой.

— Ты хоть представляешь, чем он болен?

— Я тебе уже говорил — не представляю. Заразился чем-нибудь от Хайры...

Вадим представил себе, чем можно заразиться от Хайры, поморщился и сполз в кресло.

— Мне Саул нравится, — объявил он. — Он чудак с точкой зрения. И он восхитительно загадочен. Никогда в жизни я не слыхал такого загадочного бреда.

— А сколько раз ты вообще слыхал бред?

— Это несущественно. Я читал. Между прочим, он сказал, что его бегство с Земли было просто слабостью. Теперь, говорит, я отдохнул немного и вернусь. Я рад за него, Тошка.

— Это он тебе в бреду говорил?

— Нет. У него было прояснение. — Вадим посмотрел на экран. «Корабль» плыл над Хибинами. — Как ты думаешь, сколько времени прошло?

— Тысяча лет, — сказал Антон.

Вадим усмехнулся.

— На редкость содержательный отпуск. Здорово мы там, верно? — Блаженно улыбаясь, он стал вспоминать героические эпизоды, репетируя завтрашнее выступление перед Нели и Самсоном. Самсон зачахнет безо всяких черепов: я покажу ему шрам.

— Жаль, — сказал он вслух.

— Что?

— Жаль, что он ударил меня в бок. Надо было по лицу. Представляешь? Шрам от левого виска и через глаз до подбородка!

Антон посмотрел на него.

— Знаешь, Димка, — сказал он, — я к тебе, кажется, никогда не привыкну.

— А ты не беспокойся, Антон. Ты тоже был ничего. Мямлил, правда. Я расскажу Галке, что ты здорово командуешь.

Антон скривился.

— Нет уж, ты лучше ничего не рассказывай. — Он помолчал. —

Здорово мямлил?

— По-моему, да.

— Понимаешь, ничего не мог с собой поделать. Никогда мне еще не приходилось так туго. Всякое бывало, но вот такой ситуации, Димка, когда нужно что-то делать и абсолютно ничего нельзя сделать, когда вот так нужно что-то улучшить и знаешь, что сделать можно только хуже... Мямлил, конечно.

Вадим рассматривал Хибины.

— А командовал ты все-таки хорошо. Любопытно было видеть тебя в таком амплуа... Послушай, а Хайра-то лежит сейчас на своих вонючих шкурах и думает: какие были ботинки, ни у кого таких нет! Антон, дружище, а ты не можешь побыстрее?

— Не могу. Здесь нельзя быстрее.

— Мало ли чего нельзя... Давай я поведу.

— Нет уж, — сказал Антон. — И так вся эта эскапада будет стоить мне пилотского права.

— А что ты сделал?

— Да уж сделал... Уверяю тебя, второй раз на Саулу я полечу уже не классным звездолетчиком, а плохим врачом-энтузиастом.

Вадим удивился. А что мы сделали? Делали все, что могли, и все, что должны были делать. Как же иначе? Нас было-то всего трое. Будь нас человек двадцать, мы бы просто разоружили охрану, и конец делу. Во всяком случае, ругать нас не за что. Нехорошо, правда, получилось с теми ребятами, которые везли Хайру. Но откуда нам было знать? Да нет, что там говорить, разведку мы провели отлично. С честью. Теперь надо засучить рукава и собирать ребят. Сначала — комитет. Ну, я, Антон, несомненно. Саула я уломаю. Без Саула нельзя: нужен скептик. И человек он боевой и решительный, весь в двадцатом веке. Потом Самсон. Отличный инженер, при всей его ядовитости. Нели, артистка, пусть пленяет. Гриша Барабанов необходим: во-первых, он сам учитель; во-вторых, он знает бездну других учителей, судя по всему, людей настоящих... Врач! Врач нужен... Не может быть, чтобы в бездне учителей не нашлось ни одного врача. И охотников нужно. Вот что нужно так нужно. Выбить клювастых птичек-самсончиков. Вадим хихикнул. А потом мы всем комитетом выступим перед Землей, бросим клич...

У Вадима сладостно замерло сердце, когда он представил себе весь размах этой новой ослепительной затеи. Эскадры рейсовых Д-звездолетов, битком набитых удалыми добровольцами, синтезаторами, медикаментами... целые тонны эмбриомеханических яиц, из которых в полчаса вырастут

дома, глайдеры, синоптические установки... и двадцать тысяч, тридцать тысяч, сто тысяч новых знакомств!

— Весь космофлот в разгоне, — сказал Антон.

— Что?

— Я говорю, весь космофлот в разгоне. Я прикинул: для начала нужно по крайней мере десяток рейсовых «призраков», а их всего пятьдесят четыре, и все сейчас у ЕН 117 для броска за Слепое Пятно.

— Построим новые, — решил Вадим.

Антон покосился на него.

— Опять у тебя в голове сверкающая каша... Ты, Димка, имей в виду, что на Саулу тебя, скорее всего, больше не пустят.

— Как это так — не пустят?

— Очень просто. Там нужны не двадцатилетние рубаки, а профессионалы в самом серьезном смысле слова. Я вот представить себе не могу, чтобы столько настоящих профессионалов можно было оторвать от Планеты. И это еще полбеды.

— Ну-ну, — поощрил Вадим. — А вторая половина?

— А вторая половина, голубчик ты мой... — Антон вздохнул. — Существует уже два века такая незаметная организация — Комиссия по контактам. И что для нее характерно: во-первых, без ее разрешения ни один звездолетчик не сядет в кресло пилота, а во-вторых, в ее составе нет ни одного рубаки, а люди все, как на подбор, серьезные, умные и видящие последствия.

Антон говорил серьезно, но Вадим все-таки спросил его:

— Ты что, серьезно?

— Совершенно серьезно. — Антон пробежал пальцами по контактам и сказал: — Дать тебе, что ли, снизиться в утешение... Нет, не дам. Хватит с меня мертвецов.

«Корабль» мягко и бесшумно опустился на поляне почти на том же месте, откуда взлетел тридцать девять часов назад. Антон выключил двигатель и немного посидел, ласково гладя рукой пульт.

— Значит, так, — сказал он. — Сначала — Саул.

Вадим, надувшись, смотрел перед собой. Антон включил бортовой радиофон и настроился на волну скорой помощи.

— Пункт одиннадцать-одиннадцать, — сказал спокойный женский голос.

— Требуется врач-эпидемиолог, — попросил Антон. — Заболел человек, вернувшийся с новой планеты земного типа.

Некоторое время приемник молчал. Затем голос удивленно

переспросил:

— Простите, как вы сказали?

— Видите ли, — объяснил Антон, — у него не была привита биоблокада.

— Странно. Хорошо... Ваш пеленг?

— Даю.

— Благодарю, приняла. Ждите через десять минут.

Антон поглядел на Вадима.

— Не дуйся, структуральнейший, обойдется. Пойдем к Саулу.

Вадим медленно выбрался из кресла. Они сошли в зал и сразу увидели, что дверь в каюту Саула открыта. Саула в каюте не было. Не было и его портфеля и бумаг, а на столике лежал скорчер.

— Где же он? — спросил Антон.

Вадим бросился к выходу. Люк был вскрыт, снаружи стояла теплая звездная ночь. Громко кричали цикады.

— Саул! — позвал Вадим.

Никто не отозвался. Вадим в растерянности сделал несколько шагов по мягкой траве. «Куда же он ушел, больной?» — подумал он и снова крикнул:

— Саул!

И снова никто не отозвался. Налетел теплый ветерок и нежно погладил Вадима по лицу.

— Димка, — негромко позвал Антон, — поди сюда...

Вадим вернулся к освещенному люку. Антон протянул ему листок бумаги.

— Саул оставил записку, — сказал он. — Положил под скорчер.

Это был обрывок грубой серой бумаги, захватанный грязными пальцами. Вадим прочел:

> «Дорогие мальчики! Простите меня за обман. Я не историк. Я просто дезертир. Я сбежал к вам, потому что хотел спастись. Вы этого не поймете. У меня осталась всего одна обойма, и меня взяла тоска. А теперь мне стыдно, и я возвращаюсь. А вы возвращайтесь на Саулу и делайте свое дело, а я уж доделаю свое. У меня еще целая обойма. Иду... Прощайте.
>
> *Ваш С. Репнин».*

— Слушай, он совсем больной, — сказал Вадим растерянно. — Бежим его искать!

— Посмотри на обороте, — сказал Антон.

Вадим перевернул листок. На обороте большими корявыми буквами было написано:

> «Господину рапортфюреру обершарфюреру СС господину Вирту
>
> от блокфризера шестого блока заключенного № 658617
>
> ДОНЕСЕНИЕ
>
> Настоящим доношу, что по собранным мною наблюдениям заключенный № 819360 не является уголовным по кличке «Саул», а есть бывший бронетанковый командир Красной Армии Савел Петрович Репнин, взятый в плен немецкой армией еще под Ржевом в бессознательном состоянии. Указанный № 819360 есть скрытый коммунист и, безусловно, вредный для порядка человек. Он мною уличен, что готовит побег и участвует в той группе, про которую я Вам доносил в донесении от июля сего 1943. И еще настоящим доношу, что они готовятся...»

На этом текст обрывался. Вадим уставился на Антона.

— Не понимаю, — сказал он.

— Я тоже, — тихо сказал Антон.

Яркий свет упал на поляну. Над «Кораблем» медленно снижался санитарный «Огонек».

— Объясняйся с врачом, — сказал Антон с неопределенной усмешкой, — а я пойду и свяжусь с Советом.

— Что же я ему объясню? — пробормотал Вадим, глядя на клочок бумаги.

Заключенный № 819360 лежал ничком, уткнувшись лицом в липкую грязь, у обочины шоссе. Правая рука его еще цеплялась за рукоятку «шмайссера».

— Кажется, готов, — с сожалением сказал Эрнст Брандт. Он был еще бледен. — Мой бог, стекла так и брызнули мне в лицо...

— Этот мерзавец подстерегал нас, — сказал оберштурмфюрер Дейбель.

Они оглянулись на шоссе. Поперек шоссе стоял размалеванный

камуфляжной краской вездеход. Ветровое стекло его было разбито, с переднего сиденья, зацепившись шинелью, свисал убитый водитель. Двое солдат волокли под мышки раненого. Раненый громко вскрикивал.

— Это, наверное, один из тех, что убили Рудольфа, — сказал Эрнст. Он уперся сапогом в плечо трупа и перевернул его на спину.

— Крайцхагельдоннерветтернохайнмаль, — сказал он. — Это же портфель Рудольфа!

Дейбель, перекосив жирное лицо, нагнулся, оттопырив необъятный зад. Дряблые щеки его затряслись.

— Да, это его портфель, — пробормотал он. — Бедный Рудольф! Вырваться из-под Москвы и погибнуть от пули вшивого заключенного...

Он выпрямился и посмотрел на Эрнста. У Эрнста Брандта было румяное глупое лицо и блестящие черные глаза. Дейбель отвернулся.

— Возьми портфель, — буркнул он и горестно уставился вдаль, где над лесом торчали толстые трубы лагерных печей, из которых валил отвратительный жирный дым.

А заключенный № 819360 широко открытыми мертвыми глазами глядел в низкое серое небо.

ДАЛЕКАЯ РАДУГА

ГЛАВА 1

Танина ладонь, теплая и немного шершавая, лежала у него на глазах, и больше ему ни до чего не было дела. Он чувствовал горько-соленый запах пыли, скрипели спросонок степные птицы, и сухая трава колола и щекотала затылок. Лежать было жестко и неудобно, шея чесалась нестерпимо, но он не двигался, слушая тихое, ровное дыхание Тани. Он улыбался и радовался темноте, потому что улыбка была, наверное, до неприличия глупой и довольной.

Потом не к месту и не ко времени в лаборатории на вышке заверещал сигнал вызова. Пусть! Не первый раз. В этот вечер все вызовы не к месту и не ко времени.

– Робик, – шепотом сказала Таня. – Слышишь?

– Совершенно ничего не слышу, – пробормотал Роберт.

Он помигал, чтобы пощекотать Танину ладонь ресницами. Все было далеко-далеко и совершенно не нужно. Патрик, вечно обалделый от недосыпания, был далеко. Маляев со своими манерами Ледяного Сфинкса был далеко. Весь их мир постоянной спешки, постоянных заумных разговоров, вечного недовольства и озабоченности, весь этот внечувственный мир, где презирают ясное, где радуются только непонятному, где люди забыли, что они мужчины и женщины, – все это было далеко-далеко... Здесь была только ночная степь, на сотни километров одна только пустая степь, поглотившая жаркий день, теплая, полная темных, возбуждающих запахов.

Снова заверещал сигнал.

– Опять, – сказала Таня.

– Пускай. Меня нет. Я помер. Меня съели землеройки. Мне и так хорошо. Я тебя люблю. Никуда не хочу идти. С какой стати? А ты бы пошла?

– Не знаю.

– Это потому, что ты любишь недостаточно. Человек, который любит достаточно, никогда никуда не ходит.

– Теоретик, – сказала Таня.

– Я не теоретик. Я практик. И, как практик, я тебя спрашиваю: с какой стати я вдруг куда-то пойду? Любить надо уметь. А вы не умеете. Вы только рассуждаете о любви. Вы не любите любовь. Вы любите о ней рассуждать. Я много болтаю?

– Да. Ужасно!

Он снял ее руку с глаз и положил себе на губы. Теперь он видел небо, затянутое облаками, и красные опознавательные огоньки на фермах вышки на двадцатиметровой высоте. Сигнал верещал непрерывно, и Роберт представил себе сердитого Патрика, как он нажимает на клавишу вызова, обиженно выпятив добрые толстые губы.

– А вот я тебя сейчас выключу, – сказал Роберт невнятно. – Танек, хочешь, он у меня замолчит навеки? Пусть уж все будет навеки. У нас будет любовь навеки, а он замолчит навеки.

В темноте он видел ее лицо – светлое, с огромными блестящими глазами. Она отняла руку и сказала:

– Давай я с ним поговорю. Я скажу, что я галлюцинация. Ночью всегда бывают галлюцинации.

– У него никогда не бывает галлюцинаций. Такой уж это человек, Танечка. Он никогда себя не обманывает.

– Хочешь, я скажу тебе, какой он? Я очень люблю угадывать характеры по видеофонным звонкам. Он человек упрямый, злой и бестактный. И он ни за какие коврижки не станет сидеть с женщиной ночью в степи. Вот он какой – как на ладони. И про ночь он знает только, что ночью темно.

– Нет, – сказал справедливый Роберт. – Насчет коврижек верно. Но зато он добрый, мягкий и рохля.

– Не верю, – сказала Таня. – Ты только послушай. – Они послушали. – Разве это рохля? Это явный «tenacem propositi virum».[1]

– Правда? Я ему скажу.

– Скажи. Пойди и скажи.

– Сейчас?

– Немедленно.

Роберт встал, а она осталась сидеть, обхватив руками колени.

– Только поцелуй меня сначала, – попросила она.

В кабине лифта он прислонился лбом к холодной стене и некоторое время стоял так, с закрытыми глазами, смеясь и трогая языком губы. В голове не было ни единой мысли, только какой-то торжествующий голос бессвязно вопил: «Любит!.. Меня!.. Меня любит!.. Вот вам, вы!.. Меня!..» Потом он обнаружил, что кабина давно остановилась, и попытался открыть дверь. Дверь нашлась не сразу, а в лаборатории оказалось множество лишней мебели: он ронял стулья, сдвигал столы и ударялся о шкафы до тех пор, пока не сообразил, что забыл включить свет. Заливаясь смехом, он нащупал выключатель, поднял кресло и присел к видеофону.

Когда на экране появился сонный Патрик, Роберт приветствовал его

по-дружески:

– Добрый вечер, поросеночек! И чего это тебе не спится, синичка ты моя, трясогузочка?

Патрик озадаченно глядел на него, часто помаргивая воспаленными веками.

– Что же ты молчишь, песик? Верещал-верещал, оторвал меня от важных занятий, а теперь молчишь!

Патрик наконец открыл рот.

– У тебя... Ты... – Он постучал себя по лбу, и на лице его появилось вопросительное выражение. – А?..

– Еще как! – воскликнул Роберт. – Одиночество! Тоска! Предчувствия! И мало того – галлюцинации! Чуть не забыл!

– Ты не шутишь? – серьезно спросил Патрик.

– Нет! На посту не шутят. Но ты не обращай внимания и приступай.

Патрик неуверенно моргал.

– Не понимаю, – признался он.

– Да где уж тебе, – злорадно сказал Роберт. – Это эмоции, Патрик! Знаешь?.. Как бы это тебе попроще, попонятнее?.. Ну, не вполне алгоритмируемые возмущения в сверхсложных логических комплексах. Воспринял?

– Ага, – сказал Патрик. Он поскреб пальцами подбородок, сосредоточиваясь. – Почему я тебе звоню, Роб? Вот в чем дело: опять где-то утечка. Может быть, это и не утечка, но, может быть, утечка. На всякий случай проверь ульмотроны. Какая-то странная сегодня Волна...

Роберт растерянно посмотрел в распахнутое окно. Он совсем забыл про извержение. Оказывается, я сижу здесь ради извержений. Не потому, что здесь Таня, а потому что где-то там – Волна.

– Что ты молчишь? – терпеливо спросил Патрик.

– Смотрю, как там Волна, – сердито сказал Роберт.

Патрик вытаращил глаза.

– Ты видишь Волну?

– Я? С чего ты взял?

– Ты только что сказал, что смотришь.

– Да, смотрю!

– Ну?

– И все. Чего тебе от меня надо?

Глаза у Патрика опять посоловели.

– Я тебя не понял, – сказал он. – О чем это мы говорили? Да! Так ты непременно проверь ульмотроны.

– Ты понимаешь, что говоришь? Как я могу проверить ульмотроны?

– Как-нибудь, – сказал Патрик. – Хотя бы подключения... Мы совсем потерялись. Я тебе объясню сейчас. Сегодня в институте послали к Земле массу... Впрочем, это ты все знаешь. – Патрик помахал перед лицом растопыренными пальцами. – Мы ждали Волну большой мощности, а регистрируется какой-то жиденький фонтанчик. Понимаешь, в чем соль? Жиденький такой фонтанчик... Фонтанчик... – Он придвинулся к своему видеофону вплотную, так что на экране остался только огромный, тусклый от бессонницы глаз. Глаз часто мигал. – Понял? – оглушительно загремело в репродукторе. – Аппаратура у нас регистрирует квази-нуль-поле. Счетчик Юнга дает минимум... Можно пренебречь. Поля ульмотронов перекрываются так, что резонирующая поверхность лежит в фокальной гиперплоскости, представляешь? Квази-нуль-поле двенадцатикомпонентное, и приемник свертывает его по шести четным компонентам. Так что фокус шестикомпонентный.

Роберт подумал о Тане, как она терпеливо сидит внизу и ждет. Патрик все бубнил, придвигаясь и отодвигаясь, голос его то громыхал, то становился еле слышен, и Роберт, как всегда, очень скоро потерял нить его рассуждений. Он кивал, картинно морщил лоб, подымал и опускал брови, но он решительно ничего не понимал и с невыносимым стыдом думал, что Таня сидит там, внизу, уткнув подбородок в колени, и ждет, пока он закончит свой важный и непостижимый для непосвященных разговор с ведущими нуль-физиками планеты, пока он не выскажет ведущим нуль-физикам свою, совершенно оригинальную точку зрения по вопросу, из-за которого его беспокоят так поздно ночью, и пока ведущие нуль-физики, удивляясь и покачивая головами, не занесут эту точку зрения в свои блокноты.

Тут Патрик замолчал и поглядел на него со странным выражением. Роберт хорошо знал это выражение, оно преследовало его всю жизнь. Разные люди – и мужчины и женщины – смотрели на него так. Сначала смотрели равнодушно или ласково, затем выжидающе, потом с любопытством, но рано или поздно наступал момент, когда на него начинали смотреть вот т а к. И каждый раз он не знал, что ему делать, что говорить и как держать себя. И как жить дальше.

Он рискнул.

– Пожалуй, ты прав, – озабоченно заявил он. – Однако все это следует тщательно продумать.

Патрик опустил глаза.

– Продумай, – сказал он, неловко улыбаясь. – И не забудь, пожалуйста,

проверить ульмотроны.

Экран погас, и наступила тишина. Роберт сидел сгорбившись, вцепившись обеими руками в холодные шероховатые подлокотники. Кто-то когда-то сказал, что дурак, понимающий, что он дурак, уже тем самым не дурак. Может быть, когда-нибудь так оно и было. Но сказанная глупость – всегда глупость, а я никак по-другому не могу. Я очень интересный человек: все, что я говорю, старо, все, о чем я думаю, банально, все, что мне удалось сделать, сделано в позапрошлом веке. Я не просто дубина, я дубина редкостная, музейная, как гетманская булава. Он вспомнил, как старый Ничепоренко поглядел однажды с задумчивостью в его, Роберта, преданные глаза и промолвил: «Милый Скляров, вы сложены как античный бог. И, как всякий бог, простите меня, вы совершенно не совместимы с наукой...»

Что-то треснуло. Роберт перевел дух и с изумлением уставился на обломок подлокотника, зажатый в белом кулаке.

– Да, – сказал он вслух. – Это я могу. Патрик не может. Ничепоренко тоже не может. Один я могу.

Он положил обломок на стол, встал и подошел к окну. За окном было темно и жарко. Может быть, мне уйти, пока не выгнали? Да только как я буду без них? И без этого удивительного чувства по утрам, что, может быть, сегодня лопнет наконец эта невидимая и непроницаемая оболочка в мозгу, из-за которой я не такой, как они, и я тоже начну понимать их с полуслова и вдруг увижу в каше логико-математических символов нечто совершенно новое, и Патрик похлопает меня по плечу и скажет радостно: «Эт-то здорово! Как это ты?», а Маляев нехотя выдавит: «Умело, умело... Не лежит на поверхности...» И я начну уважать себя.

– Урод, – пробормотал он.

Надо было проверить ульмотроны, а Таня пусть посидит и посмотрит, как это делается. Хорошо еще, что она не видела моей физиономии, когда погас экран.

– Танюшка, – позвал он в окно.

– Ау?

– Танек, ты знаешь, что в прошлом году Роджер ваял с меня «Юность Мира»?

Таня, помолчав, негромко сказала:

– Подожди, я поднимусь к тебе.

Роберт знал, что ульмотроны в порядке, он это чувствовал. Но все же он решил проверить все, что можно было проверить в лабораторных

условиях, во-первых, для того, чтобы отдышаться после разговора с Патриком, а во-вторых, потому, что он умел и любил работать руками. Это всегда развлекало его и на какое-то время давало ему то радостное ощущение собственной значимости и полезности, без которого совершенно невозможно жить в наше время.

Таня – милый, деликатный человек – сначала молча сидела поодаль, а потом так же молча принялась помогать ему. В три часа ночи снова позвонил Патрик, и Роберт сказал ему, что никакой утечки нет. Патрик был обескуражен. Некоторое время он сопел перед экраном, подсчитывая что-то на клочке бумаги, потом скатал бумагу в трубочку и по обыкновению задал риторический вопрос. «И что мы по этому поводу должны думать, Роб?» – спросил он.

Роберт покосился на Таню, которая только что вышла из душевой и тихонько присела сбоку от видеофона, и осторожно ответил, что вообще не видит в этом ничего особенного. «Обычный очередной фонтан, – сказал он. – После вчерашней нуль-транспортировки был такой. И на той неделе такой же». Затем он подумал и добавил, что мощность фонтана соответствует примерно ста граммам транспортированной массы. Патрик все молчал, и Роберту показалось, что он колеблется. «Все дело в массе, – сказал Роберт. Он посмотрел на счетчик Юнга и совсем уже уверенно повторил: – Да, сто – сто пятьдесят граммов. Сколько сегодня запустили?..» – «Двадцать килограммов», – ответил Патрик. «Ах, двадцать кило... Да, тогда не получается. – И тут Роберта осенило: – А по какой формуле вы подсчитывали мощность?» – спросил он. «По Драмбе», – безразлично ответил Патрик. Роберт так и думал: формула Драмбы оценивала мощность с точностью до порядка, а у Роберта давно уже была припасена своя собственная, тщательно выверенная и выписанная и даже обведенная цветной рамочкой универсальная формула оценки мощности извержения вырожденной материи. И сейчас, кажется, наступил самый подходящий момент, чтобы продемонстрировать Патрику все ее преимущества.

Роберт уже взялся было за карандаш, но тут Патрик вдруг уплыл с экрана. Роберт ждал, закусив губу. Кто-то спросил: «Ты собираешься выключать?» Патрик не отзывался. К экрану подошел Карл Гофман, рассеянно-ласково кивнул Роберту и позвал в сторону: «Патрик, ты еще будешь говорить?» Голос Патрика пробубнил издалека: «Ничего не понимаю. Придется этим заняться обстоятельно». – «Я спрашиваю, ты разговаривать будешь еще?» – повторил Гофман. «Да нет же, нет...» – раздраженно откликнулся Патрик. Тогда Гофман, виновато улыбаясь,

сказал: «Прости, Роба, мы здесь спать укладываемся. Я выключу, а?»

Стиснув зубы так, что затрещало за ушами, Роберт нарочито медленным движением положил перед собой лист бумаги, несколько раз подряд написал заветную формулу, пожал плечами и бодро сказал:

– Я так и думал. Все ясно. Теперь будем пить кофе.

Он был отвратителен себе до последней степени и сидел перед шкафчиком с посудой до тех пор, пока снова не почувствовал себя в состоянии владеть лицом. Таня сказала:

– Кофе свари ты, ладно?

– Почему я?

– Ты вари, а я посмотрю.

– Что это ты?

– Люблю смотреть, как ты работаешь. Ты очень *совершенно* работаешь. Ты не делаешь ни одного лишнего движения.

– Как кибер, – сказал он, но ему было приятно.

– Нет. Не как кибер. Ты работаешь совершенно. А совершенное всегда радует.

– «Юность Мира», – пробормотал он. Он был красен от удовольствия.

Он расставил чашки и подкатил столик к окну. Они сели, и он разлил кофе. Таня сидела боком к нему, положив ногу на ногу. Она была замечательно красива, и его опять охватили какое-то щенячье изумление и растерянность.

– Таня, – сказал он. – Этого не может быть. Ты галлюцинация.

Она улыбалась.

– Можешь смеяться сколько угодно. Я и без тебя знаю, что у меня сейчас жалкий вид. Но я ничего не могу с собой поделать. Мне хочется сунуть голову тебе под мышку и вертеть хвостом. И чтобы ты похлопала меня по спине и сказала: «Фу, глупый, фу!..»

– Фу, глупый, фу! – сказала Таня.

– А по спине?

– А по спине потом. И голову под мышку потом.

– Хорошо, потом. А сейчас? Хочешь, я сделаю себе ошейник? Или намордник...

– Не надо намордник, – сказала Таня. – Зачем ты мне в наморднике?

– А зачем я тебе без намордника?

– Без намордника ты мне нравишься.

– Слуховая галлюцинация, – сказал Роберт. – Чем это я могу тебе нравиться?

– У тебя ноги красивые.

Ноги были слабым местом Роберта. У него они были мощные, но слишком толстые. Ноги «Юности Мира» были изваяны с Карла Гофмана.

– Я так и думал, – сказал Роберт. Он залпом выпил остывший кофе. – Тогда я скажу, за что я люблю тебя. Я эгоист. Может быть, я последний эгоист на земле. Я люблю тебя за то, что ты единственный человек, способный привести меня в хорошее настроение.

– Это моя специальность, – сказала Таня.

– Замечательная специальность! Плохо только, что от тебя приходят в хорошее настроение и стар и млад. Особенно млад. Какие-то совершенно посторонние люди. С нормальными ногами.

– Спасибо, Роби.

– В последний раз в Детском я заметил одного малька. Зовут его Валя... или Варя... Этакий белобрысый, конопатый, с зелеными глазами.

– Мальчик Варя, – сказала Таня.

– Не придирайся. Я обвиняю. Этот Варя своими зелеными глазами смел на тебя смотреть так, что у меня руки чесались.

– Ревность оголтелого эгоиста.

– Конечно, ревность.

– А теперь представь, как ревнует он.

– Что-о?

– И представь, какими глазами он смотрел на тебя. На двухметровую «Юность Мира». Атлет, красавец, физик-нулевик несет воспитательницу на плече, а воспитательница тает от любви...

Роберт счастливо засмеялся.

– Танюша, как же так? Мы же были тогда одни!

– Это вы были одни. Мы в Детском никогда не бываем одни.

– Да-а... – протянул Роберт. – Помню я эти времена, помню. Хорошенькие воспитательницы и мы, пятнадцатилетние балбесы... Я до того доходил, что бросал цветы в окно. Слушай, и часто это бывает?

– Очень, – задумчиво сказала Таня. – Особенно часто с девочками. Они развиваются раньше. А воспитатели у нас, знаешь, какие? Звездолетчики, герои... Это пока тупик в нашем деле.

Тупик, подумал Роберт. И она, конечно, очень рада этому тупику. Все они радуются тупикам. Для них это отличный предлог, чтобы ломать стены. Так и ломают всю жизнь одну стену за другой.

– Таня, – сказал он. – Что такое дурак?

– Ругательство, – ответила Таня.

– А еще что?

– Больной, которому не помогают никакие лекарства.

– Это не дурак, – возразил Роберт. – Это симулянт.

– Я не виновата. Это японская пословица: «Нет лекарства, которое излечивает дурака».

– Ага, – сказал Роберт. – Значит, влюбленный тоже дурак. «Влюбленный болен, он неисцелим». Ты меня утешила.

– А разве ты влюблен?

– Я неисцелим.

Тучи разошлись и открыли звездное небо. Близилось утро.

– Смотри, вон Солнце, – сказала Таня.

– Где? – спросил Роберт без особого энтузиазма.

Таня выключила свет, села к нему на колени и, прижавшись щекой к его щеке, стала показывать.

– Вот четыре яркие звезды – видишь? Это Коса Красавицы. Левее самой верхней сла-абенькая звездочка. Вот там мы с вами, девочки, родились. Я раньше, вы позже. Это наше Солнце. Оленька, правда, родилась здесь, на Радуге, но ее мама и папа родились тоже там. И через год в летние каникулы мы всей группой туда слетаем.

– Ой, Татьяна Александровна! – запищал Роберт. – Мы правда полетим? Ой! Ай! – Он поцеловал ее в щеку. – Ой, как мы все полетим! На Д-сигма-звездолете! А мы все полетим? Ой, а можно я возьму с собой куклу? Ай, а мальчик Варя целуется! – И он поцеловал ее еще раз.

Она обняла его за шею.

– Мои девочки не играют в куклы.

Роберт поднял ее на руки, встал, осторожно обогнул столик и только тогда в зеленоватом сумеречном свете приборов увидел длинную человеческую фигуру в кресле перед рабочим столом. Он вздрогнул и остановился.

– Я думаю, теперь можно включить свет, – сказал человек, и Роберт сразу понял, кто это.

– И появился третий, – сказала Таня. – Пусти-ка меня, Роб.

Она высвободилась и нагнулась, ища упавшую туфлю.

– Знаете что, Камилл, – раздраженно начал Роберт.

– Знаю, – сказал Камилл.

– Чудеса, – проговорила Таня, надевая туфлю. – Никогда не поверю, что у нас плотность населения один человек на миллион квадратных километров. Хотите кофе?

– Нет, благодарю вас, – сказал Камилл.

Роберт включил свет. Камилл, как всегда, сидел в очень неудобной, удивительно неприятной для глаз позе. Как всегда, на нем была белая

пластмассовая каска, закрывающая лоб и уши, и, как всегда, лицо его выражало снисходительную скуку, и ни любопытства, ни смущения не было в его круглых немигающих глазах. Роберт, жмурясь от света, спросил:

– Вы хоть недавно здесь?

– Недавно. Но я не смотрел на вас и не слушал, что вы говорите.

– Спасибо, Камилл, – весело сказала Таня. Она причесывалась. – Вы очень тактичны.

– Бестактны только бездельники, – сказал Камилл.

Роберт разозлился.

– Между прочим, Камилл, что вам здесь надо? И что это за надоевшая манера появляться как привидение?

– Отвечаю по порядку, – спокойно произнес Камилл. Это тоже была его манера – отвечать по порядку. – Я приехал сюда потому, что начинается извержение. Вы отлично знаете, Роби, – он даже глаза закрыл от скуки, – что я приезжаю сюда каждый раз, когда перед фронтом вашего поста начинается извержение. Кроме того... – Он открыл глаза и некоторое время молча смотрел на приборы. – Кроме того, вы мне симпатичны, Роби.

Роберт покосился на Таню. Таня слушала очень внимательно, замерев с поднятой расческой.

– Что касается моих манер, – продолжал Камилл монотонно, – то они странны. Манеры любого человека странны. Естественными кажутся только собственные манеры.

– Камилл, – сказала Таня неожиданно. – А сколько будет шестьсот восемьдесят пять умножить на три миллиона восемьсот тысяч пятьдесят три?

К своему огромному изумлению, Роберт увидел, как на лице Камилла проступило нечто похожее на улыбку. Зрелище было жутковатое. Так мог бы улыбаться счетчик Юнга.

– Много, – ответил Камилл. – Что-то около трех миллиардов.

– Странно, – вздохнула Таня.

– Что «странно»? – тупо спросил Роберт.

– Точность маленькая, – объяснила Таня. – Камилл, скажите, почему бы вам не выпить чашку кофе?

– Благодарю вас, я не люблю кофе.

– Тогда до свиданья. До Детского лететь четыре часа. Робик, ты меня проводишь вниз?

Роберт кивнул и с досадой посмотрел на Камилла. Камилл разглядывал счетчик Юнга. Словно в зеркало гляделся.

Как обычно на Радуге, солнце взошло на совершенно чистое небо – маленькое белое солнце, окруженное тройным галосом. Ночной ветер утих, и стало еще более душно. Желто-коричневая степь с проплешинами солончаков казалась мертвой. Над солончаками возникли зыбкие туманные холмики – пары летучих солей.

Роберт закрыл окно и включил кондиционирование, затем не торопясь и со вкусом починил подлокотник. Камилл мягко и бесшумно расхаживал по лаборатории, поглядывая в окно, выходившее на север. Видимо, ему совсем не было жарко, а Роберту жарко было даже смотреть на него – на его толстую белую куртку, на длинные белые брюки, на круглую блестящую каску. Такие каски надевали иногда во время экспериментов нуль-физики: они предохраняли от излучений.

Впереди был целый день дежурства, двенадцать часов палящего солнца над крышей, пока не рассосутся извержения и не исчезнут все последствия вчерашнего эксперимента. Роберт сбросил куртку и брюки и остался в одних трусах. Кондиционирование работало на пределе, и ничего нельзя было сделать.

Хорошо бы плеснуть на пол жидкого воздуха. Жидкий воздух есть, но его мало, и он нужен для генератора. Придется страдать, подумал Роберт покорно. Он снова уселся перед приборами. Как славно, что хотя бы в кресле прохладно и обшивка совсем не липнет к телу!

В конце концов, говорят, что главное – это быть на своем месте. Мое место здесь. И я не хуже других выполняю свои маленькие обязанности. И в конце концов, не моя вина, что я не способен на большее. И, между прочим, дело даже не в том, на месте я или нет. Просто я не могу уйти отсюда, если бы даже и захотел. Я просто прикован к этим людям, которые так меня раздражают, и к этой грандиозной затее, в которой я так мало понимаю.

Он вспомнил, как еще в школе поразила его эта задача: мгновенная переброска материальных тел через пропасти пространства. Эта задача была поставлена вопреки всему, вопреки всем сложившимся представлениям об абсолютном пространстве, о пространстве-времени, о каппа-пространстве... Тогда это называлось «проколом Римановой складки». Потом «гиперпросачиванием», «сигма-просачиванием», «нуль-сверткой». И, наконец, нуль-транспортировкой или, коротко, «нуль-Т». «Нуль-Т-установка». «Нуль-Т-проблематика». «Нуль-Т-испытатель». Нуль-физик. «Где вы работаете?» – «Я нуль-физик». Изумленно-восхищенный взгляд. «Слушайте, расскажите, пожалуйста, что это такое – нуль-физика? Я никак не могу понять». – «Я тоже». Н-да...

В общем-то кое-что рассказать было бы можно. И об этой поразительной метаморфозе элементарных законов сохранения, когда нуль-переброска маленького платинового кубика на экваторе Радуги вызывает на полюсах ее – почему-то именно на полюсах! – гигантские фонтаны вырожденной материи, огненные гейзеры, от которых слепнут, и страшную черную Волну, смертельно опасную для всего живого...

И о свирепых, пугающих своей непримиримостью схватках в среде самих нуль-физиков, об этом непостижимом расколе среди замечательных людей, которым, казалось бы, работать и работать плечом к плечу, но они таки раскололись (хотя знают об этом не многие), и если Этьен Ламондуа упрямо ведет нуль-физику в русле нуль-транспортировки, то школа молодых считает самым важным в нуль-проблеме Волну, этого нового джинна науки, рвущегося из бутылки.

И о том, что по неясным причинам до сих пор никак не удается осуществить нуль-транспортировку живой материи, и несчастные собаки, вечные мученицы, прибывают на финиш комьями органического шлака... И о нуль-перелетчиках, об этой «ревущей десятке» во главе с великолепным Габой, об этих здоровых, сверхтренированных ребятах, которые вот уже три года слоняются по Радуге в постоянной готовности войти в стартовую камеру вместо собаки...

– Скоро мы расстанемся, Роби, – сказал вдруг Камилл.

Задремавший было Роберт встрепенулся. Камилл стоял спиной к нему у северного окна. Роберт выпрямился и провел рукой по лицу. Ладонь стала мокрой.

– Почему? – спросил он.

– Наука. Как это безнадежно, Роби!

– Я это давно знаю, – проворчал Роберт.

– Для вас наука – это лабиринт. Тупики, темные закоулки, внезапные повороты. Вы ничего не видите, кроме стен. И вы ничего не знаете о конечной цели. Вы заявили, что ваша цель – дойти до конца бесконечности, то есть вы попросту заявили, что цели нет. Мера вашего успеха не путь до финиша, а путь от старта. Ваше счастье, что вы не способны реализовать абстракции. Цель, вечность, бесконечность – это только лишь слова для вас. Абстрактные философские категории. В вашей повседневной жизни они ничего не значат. А вот если бы вы увидели весь этот лабиринт сверху...

Камилл замолчал. Роберт подождал и спросил:

– А вы видели?

Камилл не ответил, и Роберт решил не настаивать. Он вздохнул,

положил подбородок на кулаки и закрыл глаза. Человек говорит и действует, думал он. И все это внешние проявления каких-то процессов в глубине его натуры. У большинства людей натура довольно мелкая, и поэтому любые ее движения немедленно проявляются внешне, как правило, в виде пустой болтовни и бессмысленного размахивания руками. А у таких людей, как Камилл, эти процессы должны быть очень мощными, иначе они не пробьются к поверхности. Заглянуть бы в него хоть одним глазком. Роберту представилась зияющая бездна, в глубине которой стремительно проносятся бесформенные фосфоресцирующие тени.

Его никто не любит. Его все знают – нет на Радуге человека, который не знал бы Камилла, – но его никто-никто не любит. В таком одиночестве я бы сошел с ума, а Камилла это, кажется, совершенно не интересует. Он всегда один. Неизвестно, где он живет. Он внезапно появляется и внезапно исчезает. Его белый колпак видят то в Столице, то в открытом море; и есть люди, которые утверждают, что его неоднократно видели одновременно и там и там. Это, разумеется, местный фольклор, но вообще все, что говорят о Камилле, звучит странным анекдотом. У него странная манера говорить «я» и «вы». Никто никогда не видел, как он работает, но время от времени он является в Совет и говорит там непонятные вещи. Иногда его удается понять, и в таких случаях никто не может возразить ему. Ламондуа как-то сказал, что рядом с Камиллом он чувствует себя глупым внуком умного деда. Вообще впечатление такое, будто все физики на планете от Этьена Ламондуа до Роберта Склярова пребывают на одном уровне...

Роберт почувствовал, что еще немного, и он сварится в собственном поту. Он поднялся и направился под душ. Он стоял под ледяными струями, пока кожа от холода не покрылась пупырышками и не пропало желание забраться в холодильник и заснуть.

Когда он вернулся в лабораторию, Камилл разговаривал с Патриком. Патрик морщил лоб, растерянно шевелил губами и смотрел на Камилла жалобно и заискивающе. Камилл скучно и терпеливо говорил:

– Постарайтесь учесть все три фактора. Все три фактора сразу. Здесь не нужна никакая теория, только немного пространственного воображения. Нуль-фактор в подпространстве и обеих временн`ых координатах. Не можете?

Патрик медленно помотал головой. Он был жалок. Камилл подождал минуту, затем пожал плечами и выключил видеофон. Роберт, растираясь грубым полотенцем, сказал решительно:

– Зачем же так, Камилл? Это же грубо. Это оскорбляет.

Камилл снова пожал плечами. Это получалось у него так, будто голова

его, придавленная каской, ныряла куда-то в грудь и снова выскакивала наружу.

– Оскорбляет? – сказал он. – А почему бы и нет?

Ответить на это было просто нечего. Роберт инстинктивно чувствовал, что спорить с Камиллом на моральные темы бесполезно. Камилл просто не поймет, о чем идет речь.

Он повесил полотенце и стал готовить завтрак. Они молча поели. Камилл удовольствовался кусочком хлеба с джемом и стаканом молока. Камилл всегда очень мало ел. Потом он сказал:

– Роби, вы не знаете, они отправили «Стрелу»?

– Позавчера, – сказал Роберт.

– Позавчера... Это плохо.

– А зачем вам «Стрела», Камилл?

Камилл сказал равнодушно:

– Мне «Стрела» не нужна.

ГЛАВА 2

На окраине Столицы Горбовский попросил остановиться. Он вылез из машины и сказал:

– Очень хочется прогуляться.

– Пойдемте, – сказал Марк Валькенштейн и тоже вылез.

На прямом блестящем шоссе было пусто, вокруг желтела и зеленела степь, а впереди сквозь сочную зелень земной растительности проглядывали разноцветными пятнами стены городских зданий.

– Слишком жарко, – возразил Перси Диксон. – Нагрузка на сердце.

Горбовский сорвал у обочины и поднес к лицу цветочек.

– Люблю, когда жарко, – сказал он. – Пойдемте с нами, Перси. Вы совсем обрюзгли.

Перси захлопнул дверцу.

– Как хотите. Если говорить честно, я ужасно устал от вас обоих за последние двадцать лет. Я старый человек, и мне хочется немножко отдохнуть от ваших парадоксов. И будьте любезны, не подходите ко мне на пляже.

– Перси, – сказал Горбовский, – поезжайте лучше в Детское. Я, правда, не знаю, где это, но там детишки, наивный смех, простота нравов... «Дядя! – закричат они. – Давай играть в мамонта!»

– Только берегите бороду, – добавил Марк, осклабясь. – Они на ней повиснут.

Перси что-то буркнул себе под нос и умчался. Марк и Горбовский перешли на тропинку и неторопливо двинулись вдоль шоссе.

– Стареет бородач, – сказал Марк. – Вот и мы ему уже надоели.

– Да ну что вы, Марк, – сказал Горбовский. Он вытащил из кармана проигрыватель. – Ничего мы ему не надоели. Просто он устал. И потом он разочарован. Шутка сказать – человек потратил на нас двадцать лет: уж так ему хотелось узнать, как влияет на нас космос. А он почему-то не влияет... Я хочу Африку. Где моя Африка? Почему у меня всегда все записи перепутаны?

Он брел по тропинке следом за Марком, с цветком в зубах, настраивая проигрыватель и поминутно спотыкаясь. Потом он нашел Африку, и желто-зеленая степь огласилась звуками тамтама. Марк поглядел через плечо.

– Выплюньте вы эту дрянь, – сказал он брезгливо.

– Почему же дрянь? Цветочек.

Тамтам гремел.

– Сделайте хотя бы потише, – сказал Марк.

Горбовский сделал потише.

– Еще тише, пожалуйста.

Горбовский сделал вид, что делает тише.

– Вот так? – спросил он.

– Не понимаю, почему я его до сих пор не испортил? – сказал Марк в пространство.

Горбовский поспешно сделал совсем тихо и положил проигрыватель в нагрудный карман.

Они шли мимо веселых разноцветных домиков, обсаженных сиренью, с одинаковыми решетчатыми конусами энергоприемников на крышах. Через тропинку, крадучись, прошла рыжая кошка. «Кис-кис-кис!» – обрадованно позвал Горбовский. Кошка опрометью бросилась в густую траву и оттуда поглядела дикими глазами. В знойном воздухе лениво гудели пчелы. Откуда-то доносился густой рыкающий храп.

– Ну и деревня, – сказал Марк. – Столица. Спят до девяти...

– Ну зачем вы так, Марк, – возразил Горбовский. – Я, например, нахожу, что здесь очень мило. Пчелки... Киска вон давеча пробежала... Что вам еще нужно? Хотите, я громче сделаю?

– Не хочу, – сказал Марк. – Не люблю я таких ленивых поселков. В ленивых поселках живут ленивые люди.

– Знаю я вас, знаю, – сказал Горбовский. – Вам бы все борьбу, чтобы никто ни с кем не соглашался, чтобы сверкали идеи, и драку бы неплохо, но это уже в идеале... Стойте, стойте! Тут что-то вроде крапивы. Красивая, и очень больно...

Он присел перед пышным кустом с крупными чернополосыми листьями. Марк сказал с досадой:

– Ну что вы тут расселись, Леонид Андреевич? Крапивы не видели?

– Никогда в жизни не видел. Но я читал. И знаете, Марк, давайте я спишу вас с корабля... Вы как-то испортились, избаловались. Разучились радоваться простой жизни.

– Я не знаю, что такое простая жизнь, – сказал Марк, – но все эти цветочки-крапивочки, все эти стежки-дорожки и разнообразные тропиночки – это, по-моему, Леонид Андреевич, только разлагает. В мире еще достаточно неустройства, рано еще перед всей этой буколикой ахать.

– Неустройства – да, есть, – согласился Горбовский. – Только они ведь всегда были и всегда будут. Какая же это жизнь без неустройства? А в общем-то все очень хорошо. Вот слышите, поет кто-то... Невзирая ни на

какие неустройства...

Навстречу им по шоссе вынесся гигантский грузовой атомокар. На ящиках в кузове сидели здоровенные полуголые парни. Один из них, самозабвенно изогнувшись, бешено бил рукой по струнам банджо, и все дружно ревели:

Мне нужна жена,
Лучше или хуже,
Лишь была бы женщиной,
Женщиной без мужа...[2]

Атомокар промчался мимо, и волна горячего воздуха на секунду пригнула траву. Горбовский сказал:

– Вам это должно нравиться, Марк. В девять часов люди уже на ногах и работают. А песня вам понравилась?

– Это тоже не то, – упрямо сказал Марк.

Тропинка свернула в сторону, огибая огромный бетонированный бассейн с темной водой. Они пошли через заросли высокой, по грудь, желтоватой травы. Стало прохладнее – сверху нависла густая листва черных акаций.

– Марк, – сказал Горбовский шепотом. – Девушка идет!

Марк остановился как вкопанный. Из травы вынырнула высокая полная брюнетка в белых шортах и коротенькой белой курточке с оторванными пуговицами. Брюнетка с заметным напряжением тянула за собой тяжелый кабель.

– Здравствуйте! – сказали хором Горбовский и Марк.

Брюнетка вздрогнула и остановилась. На лице ее изобразился испуг. Горбовский и Марк переглянулись.

– Здравствуйте, девушка! – рявкнул Марк.

Брюнетка выпустила кабель из рук и понурилась.

– Здравствуйте, – прошептала она.

– У меня такое ощущение, Марк, – сказал Горбовский, – что мы помешали.

– Может быть, вам помочь? – галантно спросил Марк.

Девушка смотрела на него исподлобья.

– Змеи, – сказала вдруг она.

– Где? – воскликнул Горбовский с ужасом и поднял одну ногу.

– Вообще змеи, – пояснила девушка. Она оглядела Горбовского. –

Видели сегодня восход? – вкрадчиво осведомилась она.

– Мы сегодня видели четыре восхода, – небрежно сказал Марк.

Девушка прищурилась и точно рассчитанным движением поправила волосы. Марк сейчас же представился:

– Валькенштейн. Марк.

– Д-звездолетчик, – добавил Горбовский.

– Ах, Д-звездолетчик, – сказала девушка со странной интонацией. Она подняла кабель, подмигнула Марку и скрылась в траве. Кабель зашуршал по тропинке. Горбовский посмотрел на Марка. Марк смотрел вслед девушке.

– Идите, Марк, идите, – сказал Горбовский. – Это будет вполне логично. Кабель тяжеленный, девушка слабая, красивая, а вы здоровенный звездолетчик.

Марк задумчиво наступил на кабель. Кабель задергался, и из травы донеслось:

– Вытравливай, Семен, вытравливай!..

Марк поспешно убрал ногу. Они пошли дальше.

– Странная девушка, – сказал Горбовский. – Но мила! Кстати, Марк, почему вы все-таки не женились?

– На ком? – спросил Марк.

– Ну-ну, Марк. Не надо так. Это же все знают. Очень славная и милая женщина. Тонкая очень и деликатная. Я всегда считал, что вы для нее несколько грубоваты. Но она, кажется, так не считала...

– Да так, не женился, – сказал Марк неохотно. – Не получилось.

Тропинка снова вывела их к шоссе. Теперь слева тянулись какие-то длинные белые цистерны, а впереди блестел на солнце серебристый шпиль над зданием Совета. Вокруг по-прежнему было пусто.

– Она слишком любила музыку, – сказал Марк. – Нельзя же в каждый полет брать с собой хориолу. Хватит с нас и вашего проигрывателя. Перси терпеть не может музыки.

– В каждый полет, – повторил Горбовский. – Все дело в том, Марк, что мы слишком стары. Двадцать лет назад мы не стали бы взвешивать, что ценнее – любовь или дружба. А теперь уже поздно. Теперь мы уже обречены. Впрочем, не теряйте надежды, Марк. Может быть, мы еще встретим женщин, которые станут для нас дороже всего остального.

– Только не Перси, – сказал Марк. – Он даже не дружит ни с кем, кроме нас с вами. А влюбленный Перси...

Горбовский представил себе влюбленного Перси Диксона.

– Перси был бы отличный отец, – неуверенно предположил он.

Марк поморщился.

– Это было бы нечестно. А ребенку не нужен хороший отец. Ему нужен хороший учитель. А человеку – хороший друг. А женщине – любимый человек. И вообще поговорим лучше о стежках-дорожках.

Площадь перед зданием Совета была пуста, только у подъезда стоял большой неуклюжий аэробус.

– Мне бы хотелось повидаться с Матвеем, – сказал Горбовский. – Пойдемте со мной, Марк.

– Кто это – Матвей?

– Я вас познакомлю. Матвей Вязаницын. Матвей Сергеевич. Он здешний директор. Старый мой приятель, звездолетчик. Еще из десантников. Да вы его должны помнить, Марк. Хотя нет, это было до.

– Ну что ж, – сказал Марк. – Пойдемте. Визит вежливости. Только выключите ваш звучок. Неудобно все-таки – Совет.

Директор им очень обрадовался.

– Великолепно! – басил он, усаживая их в кресла. – Это великолепно, что вы прилетели! Молодчина, Леонид! Ах, какой молодец! Валькенштейн? Марк? Ну как же, как же!.. Однако почему вы не лысый? Леонид определенно говорил мне, что вы лысый... Ах да, это он о Диксоне! Правда, Диксон прославлен бородой, но это ничего не значит – я знаю массу бородатых лысых людей! Впрочем, вздор, вздор! Жарко у нас, вы заметили? Леонид, ты плохо питаешься, у тебя лицо дистрофика! Обедаем вместе... А пока позвольте предложить вам напитки. Вот апельсиновый сок, вот томатный, вот гранатовый... Наши собственные! Да! Вино! Свое вино на Радуге, ты представляешь, Леонид? Ну как? Странно, мне нравится... Марк, а вы? Ну, никогда бы не подумал, что вы не пьете вина! Ах, вы не пьете местных вин? Леонид, у меня к тебе тысяча вопросов... Я не знаю, с чего начать, а через минуту я буду уже не человек, а взбесившийся администратор. Вы никогда не видели взбесившегося администратора? Сейчас увидите. Я буду судить, карать, распределять блага! Я буду властвовать, предварительно разделив! Теперь я представляю, как плохо жилось королям и всяким там императорам-диктаторам! Слушайте, друзья, вы только, пожалуйста, не уходите! Я буду гореть на работе, а вы сидите и сочувствуйте. Мне здесь никто не сочувствует... Ведь вам хорошо здесь, правда? Окно я отворю, пусть ветерок... Леонид, ты представить себе не можешь... Марк, вы можете отодвинуться в тень. Так вот, Леонид, ты понимаешь, что здесь происходит? Радуга взбесилась, и это тянется уже второй год.

Он рухнул в застонавшее кресло перед диспетчерским пультом – огромный, дочерна загорелый, косматый, с торчащими вперед, как у кота, усами, – распахнул до самого живота ворот сорочки и с удовольствием посмотрел через плечо на звездолетчиков, прилежно сосавших через соломинки ледяные соки. Усы его задвигались, и он раскрыл было рот, но тут на одном из шести экранов пульта появилась миловидная худенькая женщина с обиженными глазами.

– Товарищ директор, – сказала она очень серьезно. – Я Хаггертон, вы меня, возможно, не помните. Я обращалась к вам по поводу лучевого барьера на Алебастровой горе. Физики отказываются снимать барьер.

– Как так отказываются?

– Я говорила с Родригосом – он, кажется, там главный нулевик? Он заявил, что вы не имеете права вмешиваться в их работу.

– Они морочат вам голову, Элен! – сказал Матвей. – Родригос такой же главный нулевик, как я ромашка-одуванчик. Он сервомеханик и в нуль-проблемах понимает меньше вас. Я займусь им сейчас же.

– Пожалуйста, мы вас очень просим...

Директор, мотая головой, щелкнул переключателями.

– Алебастровая! – гаркнул он. – Дайте Пагаву!

– Слушаю, Матвей.

– Шота? Здравствуй, дорогой! Почему не снимаешь барьер?

– Снял барьер. Почему не снимаю?

– Ага, хорошо. Передай Родригосу, чтобы перестал морочить людям голову, а то я его вызову к себе! Передай, что я его хорошо помню. Как ваша Волна?

– Понимаешь... – Шота помолчал. – Интересная Волна. Так долго рассказывать, потом расскажу.

– Ну, желаю удачи! – Матвей, перевалившись через подлокотник, повернулся к звездолетчикам. – Вот кстати, Леонид! – вскричал он. – Вот кстати! Что у вас говорят о Волне?

– Где у нас? – хладнокровно спросил Горбовский и пососал через соломинку. – На «Тариэле»?

– Ну вот что ты думаешь о Волне?

Горбовский подумал.

– Ничего не думаю, – сказал он. – Может быть, Марк? – Он неуверенно посмотрел на штурмана.

Марк сидел очень прямо и официально, держа бокал в руке.

– Если не ошибаюсь, – сказал он, – Волна – это некий процесс, связанный с нуль-транспортировкой. Я знаю об этом немного. Нуль-

транспортировка, конечно, интересует меня, как и всякого звездолетчика, – он слегка поклонился директору, – но на Земле нуль-проблематике не придают особого значения. По-моему, для земных дискретников это слишком частная проблема, имеющая явно прикладное значение.

Директор желчно хохотнул.

– Как это тебе нравится, Леонид? – сказал он. – Частная проблема! Да, видно, слишком далеко от вас наша Радуга, и все, что у нас происходит, кажется вам слишком маленьким. Дорогой Марк, эта самая частная проблема битком набивает всю мою жизнь, а ведь я даже не нулевик! Я изнемогаю, друзья! Позавчера я вот в этом самом кабинете собственноручно разнимал Ламондуа и Аристотеля, и теперь я смотрю на свои руки, – он вытянул перед собой мощные загорелые ладони, – и, честное слово, я удивляюсь, как это на них нет укусов и царапин. А под окнами ревели две толпы, и одна гремела: «Волна! Волна!» – а другая вопила: «Нуль-Т!» И вы думаете, это был научный диспут? Нет! Это была средневековая квартирная склока из-за электроэнергии! Помните эту смешную, хотя, признаюсь, не совсем понятную книгу, где человека высекли за то, что он не гасил свет в уборной? «Золотой козел» или «Золотой осел»?.. Так вот, Аристотель и его банда пытались высечь Ламондуа и его банду за то, что те прибрали к своим рукам весь резерв энергии... Честная Радуга! Еще год назад Аристотель ходил с Ламондуа в обнимку! Нулевик нулевику был друг, товарищ и брат, и никому в голову не приходило, что увлечение Форстера Волной расколет планету пополам! В каком мире я живу! Ничего не хватает: энергии не хватает, аппаратуры не хватает, из-за каждого желторотого лаборанта идет бой! Люди Ламондуа воруют энергию, люди Аристотеля ловят и пытаются вербовать аутсайдеров – этих несчастных туристов, прилетевших отдохнуть или написать о Радуге что-нибудь хорошее! Совет – Совет!!! – превратился в конфликтный орган! Я попросил прислать мне «Римское право»... Последнее время я читаю одни исторические романы. Честная Радуга! Скоро я заведу здесь полицию и суд присяжных. Я привыкаю к новой, совершенно дикой терминологии. Позавчера я обозвал Ламондуа ответчиком, а Аристотеля истцом. Я без запинки произношу такие слова, как юриспруденция и полицейпрезидиум!..

Один из экранов засветился. Появились две круглолицые девочки лет десяти. Одна в розовом платьице, другая в голубом.

– Ну, ты говори! – сказала розовая полушепотом.

– Почему это я, когда договорились, что ты...

– Договорились, что ты!

– Вредная!.. Здравствуйте, Матвей Семенович.
– Сергеевич!..
– Матвей Сергеевич, здравствуйте!
– Здравствуйте, дети, – сказал директор. По лицу его было заметно, что он что-то забыл, а ему напомнили. – Здравствуйте, цыплята! Здравствуйте, мыши!
Розовая и голубая разом зарделись.
– Матвей Сергеевич, мы приглашаем вас в Детское на наш летний праздник.
– Сегодня, в двенадцать часов!..
– В одиннадцать!..
– Нет в двенадцать!
– Приеду! – закричал директор восторженно. – Обязательно приеду! И в одиннадцать приеду и в двенадцать!..
Горбовский допил бокал, налил себе еще, затем лег в кресле, вытянув ноги на середину комнаты, и поставил бокал себе на грудь. Ему было хорошо и уютно.
– Я тоже поеду в Детское, – заявил он. – Мне совершенно нечего делать. А там я скажу какую-нибудь речь. Я никогда в жизни не произносил речей, и мне ужасно хочется попробовать.
– Детское! – Директор снова перевалился через подлокотник. – Детское – это единственное место, где у нас сохраняется порядок. Дети – отличный народ! Они прекрасно понимают слово «нельзя»... О наших нулевиках этого не скажешь, нет! В прошлом году они съели два миллиона мегаватт-часов! В этом – уже пятнадцать и представили заявок еще на шестьдесят. Вся беда в том, что они абсолютно не желают знать слова «нельзя»...
– Мы тоже не знали этого слова, – заметил Марк.
– Дорогой Марк! Мы жили с вами в хорошее время. Это был период кризиса физики. Нам не нужно было больше, чем нам давали. Да и зачем? Ну что у нас было? Д-процессы, электронная структура... Сопряженными пространствами занимались единицы, да и то на бумаге. А сейчас? Сейчас эта безумная эпоха дискретной физики, теория просачивания, подпространство!.. Честная Радуга! Все эти нуль-проблемы! Безусому мальчишке, тонконогому лаборанту на каждый плюгавый эксперимент нужны тысячи мегаватт, уникальнейшее оборудование, которое на Радуге не создашь и которое, между прочим, выходит после эксперимента из строя... Вот вы привезли сотню ульмотронов. Спасибо вам. Но нужно-то их шесть сотен! И энергия... Энергия! Откуда я ее возьму? Вы же не привезли

нам энергию! Более того, вам самим нужна энергия. Мы с Канэко обращаемся к Машине: «Дай нам оптимальную стратегию!» Она, бедняга, только руками разводит...

Дверь распахнулась, и стремительно вошел невысокий, очень изящный и красиво одетый мужчина. В гладко зачесанных черных волосах его торчали какие-то репьи, неподвижное лицо выражало холодное, сдержанное бешенство.

– Легок на помине... – начал директор, простирая к нему руки.

– Прошу отставки, – звонким металлическим голосом сказал вошедший. – Я считаю, что не способен более работать с людьми, и поэтому прошу отставки. Извините, пожалуйста. – Он коротко поклонился звездолетчикам. – Канэко – план-энергетик Радуги. Бывший план-энергетик.

Горбовский торопливо заскреб ногами по скользкому полу, стараясь подняться и поклониться одновременно. Бокал с соком он при этом поднял над головой и стал похож на пьяного гостя в триклинии у Лукулла.

– Честная Радуга! – сказал директор озабоченно. – Что еще стряслось?

– Полчаса назад Симеон Галкин и Александра Постышева тайно подключились к зональной энергостанции и взяли всю энергию на двое суток вперед. – По лицу Канэко прошла судорога. – Машина рассчитана на честных людей. Мне неизвестна подпрограмма, учитывающая существование Галкина и Постышевой. Факт сам по себе недопустимый, хотя, к сожалению, и не новый для нас. Возможно, я справился бы с ними сам. Но я не дзюдотэ и не акробат. И я работаю не в детском саду. Я не могу допустить, чтобы мне устраивали ловушки... Они замаскировали подключение в густом кустарнике за оврагом, а поперек тропинки натянули проволоку. Они прекрасно знали, что я должен был бежать, чтобы предотвратить огромную утечку... – Он вдруг замолчал и принялся нервно вытаскивать репьи из волос.

– Где Постышева? – спросил директор, наливаясь венозной кровью.

Горбовский сел прямо и с некоторым испугом поджал ноги. На лице Марка был написан живой интерес к происходящему.

– Постышева сейчас будет здесь, – ответил Канэко. – Я тоже уверен, что именно она является инициатором этого безобразия. Я вызвал ее сюда от вашего имени.

Матвей подтянул к себе микрофон всеобщего оповещения и негромко пробасил:

– Внимание, Радуга! Говорит директор. Инцидент с утечкой энергии мне известен. Инцидент разбирается.

Он встал, боком подобрался к Канэко, положил руку ему на плечо и как-то виновато проговорил:

– Ну что же делать, дружище... Я же тебе говорил: Радуга сошла с ума. Терпи, дружище!.. Я тоже терплю. А Постышеву я сейчас взгрею. Она у меня не обрадуется, вот увидишь...

– Я понимаю, – сказал Канэко. – Прошу извинить меня: я был взбешен. С вашего разрешения я отправляюсь на космодром. Самое, пожалуй, неприятное дело сегодня – выдача ульмотронов. Вы знаете, пришел десантник с грузом ульмотронов.

– Да, – сказал директор с чувством. – Я знаю. Вот. – Он уставил квадратный подбородок на звездолетчиков. – Настоятельно рекомендую – мои друзья. Командир «Тариэля» Леонид Андреевич Горбовский и его штурман Марк Валькенштейн.

– Рад, – сказал Канэко, наклонив голову с репьями.

Марк и Горбовский тоже наклонили головы.

– Постараюсь свести повреждения корабля к минимуму, – сказал Канэко без улыбки, повернулся и пошел к двери.

Горбовский с беспокойством посмотрел ему вслед.

Дверь перед Канэко отворилась, и он вежливо шагнул в сторону, уступая дорогу. В дверях стояла давешняя брюнетка в белой курточке с оторванными пуговицами. Горбовский заметил, что шорты ее были прожжены сбоку, а левая рука испачкана копотью. Рядом с нею изящный и подтянутый Канэко казался пришельцем из далекого будущего.

– Извините, пожалуйста, – сказала брюнетка бархатным голоском. – Разрешите войти. Вы меня вызывали, Матвей Сергеевич?

Канэко, отвернув лицо, обошел ее стороной и скрылся за дверью. Матвей вернулся в кресло, сел и уперся руками в подлокотники. Лицо его вновь посинело.

– Ты что думаешь, Постышева, – едва слышно начал он, – я не знаю, чьи это затеи?..

На экране появился розовощекий юноша в кокетливо сдвинутом набок беретике.

– Простите, Матвей Сергеевич, – весело улыбаясь, сказал он. – Я хотел бы напомнить, что два комплекта ульмотронов наши.

– В порядке очереди, Карл, – буркнул Матвей.

– В порядке очереди мы первые, – сообщил юноша.

– Значит, вы получите первыми. – Матвей все время смотрел на Постышеву, сохраняя вид свирепый и неприступный.

– Простите еще раз, Матвей Сергеевич, но нас очень беспокоит

поведение группы Форстера. Я видел, что они уже выслали на космодром свой грузовик...

– Не беспокойтесь, Карл, – сказал Матвей. Он не удержался и расплылся в улыбке. – Ты только полюбуйся, Леонид! Пришел и ябедничает! Кто? Гофман! На кого? На учителя своего – Форстера! Ступайте, ступайте, Карл! Никто не получит вне очереди!

– Спасибо, Матвей Сергеевич, – сказал Гофман. – Мы с Маляевым очень на вас рассчитываем.

– Он с Маляевым! – сказал директор, поднимая глаза к потолку.

Экран погас и через мгновение вспыхнул снова. Пожилой угрюмый человек в темных очках с какими-то приспособлениями на оправе прогудел недовольно:

– Матвей, я хотел бы уточнить относительно ульмотронов...

– Ульмотроны в порядке очереди, – сказал Матвей.

Брюнетка томно вздохнула, зорко поглядела на Марка и с покорным видом присела на край кресла.

– Нам полагается вне очереди, – сказал человек в очках.

– Значит, вы получите вне очереди, – сказал Матвей. – Существует очередь внеочередников, и ты там восьмым...

Брюнетка, грациозно изогнувшись, принялась рассматривать дырку на шортах, затем, послюнив палец, стерла сажу с локтя.

– Одну минуточку, Постышева, – сказал Матвей и наклонился к микрофону. – Внимание, Радуга! Говорит директор. Распределение ульмотронов, прибывших на звездолете «Тариэль», будет производиться по спискам, утвержденным в Совете, и никаких исключений делаться не будет. Так вот, Постышева... Вызвал я тебя для того, чтобы сказать, что ты мне надоела. Я был мягок... Да, да, я был терпелив. Я сносил все. Ты не можешь упрекнуть меня в жестокости. Но честная Радуга! Есть же предел всему! Одним словом, передай Галкину, что я отстранил тебя от работы и с первым же звездолетом отправляю тебя на Землю.

Огромные прекрасные глаза Постышевой немедленно наполнились слезами. Марк скорбно покачал головой, Горбовский пригорюнился. Директор, выпятив челюсть, смотрел на Постышеву.

– И поздно теперь плакать, Александра, – сказал он. – Плакать надо было раньше. Вместе с нами.

В кабинет вошла хорошенькая женщина в плиссированной юбке и легкой кофточке. Она была подстрижена под мальчика, русая челка падала ей на глаза.

– Хэлло! – сказала она, приветливо улыбаясь. – Матвей, я не помешала

вам? О! – Она заметила Постышеву. – Что такое? Мы плачем? – Она обняла Постышеву за плечи и прижала ее голову к груди. – Матвей, это вы? Как не стыдно! Вероятно, вы были грубы. Иногда вы бываете невыносимы!

Директор пошевелил усами.

– Доброе утро, Джина, – сказал он. – Отпустите Постышеву, она наказана. Она тяжко оскорбила Канэко, и она украла энергию...

– Какой вздор! – воскликнула Джина. – Успокойся, девочка! Какие слова: «украла», «оскорбила», «энергия»! У кого она украла энергию? Ведь не у Детского же! Не все ли равно, кто из физиков тратит энергию – Аля Постышева или этот ужасный Ламондуа!

Директор величественно поднялся.

– Леонид, Марк, – сказал он. – Это Джина Пикбридж, старший биолог Радуги. Джина, это Леонид Горбовский и Марк Валькенштейн, звездолетчики.

Звездолетчики встали.

– Хэлло, – сказала Джина. – Нет, я не хочу с вами знакомиться... Почему вы – двое здоровых красивых мужчин – так равнодушны? Как вы можете сидеть и смотреть на плачущую девочку?

– Мы не равнодушны! – запротестовал Марк. Горбовский с изумлением посмотрел на него. – Мы как раз хотели вмешаться...

– Так вмешивайтесь же! Вмешивайтесь! – сказала Джина.

– Ну знаете, товарищи! – загремел директор. – Мне это совсем не нравится! Постышева, вы свободны. Идите, идите... В чем дело, Джина? Отпустите Постышеву и изложите ваше дело... Ну, вот видите, она вам всю кофту заревела. Постышева, идите, я вам сказал!

Постышева встала и, закрыв лицо ладонями, вышла. Марк вопросительно посмотрел на Джину.

– Ну, разумеется, – сказала она.

Марк одернул куртку, строго посмотрел на Матвея, поклонился Джине и тоже вышел. Матвей расслабленно махнул рукой.

– Отрекусь, – сказал он. – Никакой дисциплины. Вы понимаете, что вы делаете, Джина?

– Понимаю, – сказала Джина, подходя к столу. – Вся ваша физика и вся ваша энергия не стоят одной Алиной слезинки.

– Скажите это Ламондуа. Или Пагаве. Или Форстеру. Или, к примеру, Канэко. А что касается слезинок, то у каждого свое оружие. И хватит об этом, с вашего позволения! Я вас слушаю.

– Да, хватит, – сказала Джина. – Я знаю, что вы столь же упрямы, сколь и добры. А следовательно, упрямы бесконечно. Матвей, мне нужны

люди. Нет-нет... – Она подняла маленькую ладонь. – Дело предстоит очень рискованное и интересное. Мне стоит только поманить пальцем, и половина физиков сбежит от своих зловещих руководителей.

– Если поманите вы, – сказал Матвей, – то сбегут и сами руководители...

– Благодарю вас, но я имею в виду охоту на кальмаров. Мне нужно двадцать человек, чтобы отогнать кальмаров от Берега Пушкина.

Матвей вздохнул.

– Чем вам не понравились кальмары? – сказал он. – У меня нет людей.

– Хотя бы десять человек. Кальмары систематически грабят рыбозаводы. Чем у вас сейчас заняты испытатели?

Матвей оживился.

– Да, верно! – сказал он. – Габа! Где у меня сейчас Габа? Ага, помню... Все в порядке, Джина, у вас будут десять человек.

– Вот и хорошо. Я знала, что вы добры. Я пойду завтракать, и пусть они меня найдут. До свиданья, милый Леонид. Если захотите принять участие, мы будем только рады.

– Уф!.. – сказал Матвей, когда дверь закрылась. – Прелестная женщина, но работать я предпочитаю все-таки с Ламондуа... Но каков твой Марк!

Горбовский самодовольно ухмыльнулся и налил себе еще соку. Он снова блаженно вытянулся в кресле и, молвив тихо: «Можно?» – включил проигрыватель. Директор тоже откинулся на спинку кресла.

– Да! – мечтательно произнес он. – А помнишь, Леонид, – Слепое Пятно, Станислав Пишта кричит на весь эфир... Да, кстати! Ты знаешь...

– Матвей Сергеевич, – сказал голос из репродуктора. – Сообщение со «Стрелы».

– Читай, – сказал Матвей, наклоняясь вперед.

– «Выхожу на деритринитацию. Следующая связь через сорок часов. Все благополучно. А н т о н». Связь неважная, Матвей Сергеевич: магнитная буря...

– Спасибо, – сказал Матвей. Он озабоченно обернулся к Горбовскому. – Между прочим, Леонид, что ты знаешь о Камилле?

– Что он никогда не снимает шлема, – сказал Горбовский. – Я его однажды прямо об этом спросил, когда мы купались. И он мне прямо ответил.

– И что ты думаешь о нем?

Горбовский подумал.

– Я думаю, что это его право.

Горбовскому не хотелось говорить на эту тему. Некоторое время он слушал тамтам, затем сказал:

– Понимаешь, Матюша, как-то так получилось, что меня считают чуть ли не другом Камилла. И все меня спрашивают, что да как. А я этой темы не люблю. Если у тебя есть какие-нибудь конкретные вопросы, пожалуйста.

– Есть, – сказал Матвей. – Камилл не сумасшедший?

– Не-ет, ну что ты! Он просто обыкновенный гений.

– Ты понимаешь, я все время думаю: ну что он все предсказывает и предсказывает? Какая-то у него мания – предсказывать...

– И что же он предсказывает?

– Да так, пустяки, – сказал Матвей. – Конец света. Вся беда в том, что его, беднягу, никто-никто не может понять... Впрочем, не будем об этом. О чем это мы с тобой говорили?..

Экран снова осветился. Появился Канэко. Галстук у него съехал набок.

– Матвей Сергеевич, – сказал он, чуть задыхаясь. – Разрешите уточнить список. У вас должна быть копия.

– О, как мне все это надоело! – сказал Матвей. – Леонид, прости меня, пожалуйста. Мне придется уйти.

– Конечно, иди, – сказал Горбовский. – А я пока прогуляюсь обратно на космодром. Как там мой «Тариэль»...

– К двум часам ко мне обедать, – сказал Матвей.

Горбовский допил стакан, поднялся и с удовольствием увеличил громкость тамтама до предела.

ГЛАВА 3

К десяти часам жара стала невыносимой. Из раскаленной степи в щели закрытых окон сочились терпкие пары летучих солей. Над степью плясали миражи. Роберт установил у своего кресла два мощных вентилятора и полулежал, обмахиваясь старым журналом. Он утешал себя мыслью о том, что часам к трем будет гораздо тяжелее, а там, глядишь, и вечер. Камилл застыл у северного окна. Они больше не разговаривали.

Из регистратора тянулась бесконечная голубая лента, покрытая зубчатыми линиями автоматической записи, счетчик Юнга медленно, незаметно для глаза наливался густым сиреневым светом, тоненько пищали ульмотроны – за их зеркальными окошечками зловеще играли отблески ядерного пламени. Волна развивалась. Где-то за северным горизонтом, над необозримыми пустырями мертвой земли били в стратосферу исполинские фонтаны горячей ядовитой пыли...

Заверещал сигнал видеофона, и Роберт немедленно принял деловую позу. Он думал, что это Патрик или – что было бы страшно в такую жару – Маляев. Но это оказалась Таня, веселая и свежая; и было сразу видно, что там у нее нет сорокаградусной жары, нет вонючих испарений мертвой степи, воздух сладок и прохладен, а с близкого моря ветер приносит чистые запахи цветников, обнажившихся при отливе.

– Как ты там без меня, Робик? – спросила она.

– Плохо, – пожаловался Роберт. – Пахнет. Жарко. Потно. Тебя нет. Спать хочется невыносимо, и никак не заснуть.

– Бедный мальчик! А я славно вздремнула в вертолете. У меня тоже будет трудный день. Летний праздник – всеобщее столпотворение, столоверчение и светопреставление. Ребята носятся как ошалелые. Ты один?

– Нет. Вон стоит Камилл и не видит нас и не слышит. Танек, я сегодня жду тебя. Только где?

– А ты разве сменяешься? Жалко. Полетим на юг!

– Давай. Помнишь кафе в Рыбачьем? Будем есть миноги, пить молодое вино... ледяное! – Роберт застонал и закатил глаза. – Сейчас я буду ждать этого вечера. О, как я буду его ждать!

– Я тоже... – Она оглянулась. – Целую, Роби, – сказала она. – Жди звонка.

– Очень буду ждать, – успел сказать Роберт.

Камилл все смотрел в окно, сцепив руки за спиной. Пальцы его пребывали в непрерывном движении. У Камилла были необычайно длинные белые гибкие пальцы с коротко остриженными ногтями. Они причудливо сплетались и расплетались, и Роберт поймал себя на том, что пытается проделать то же самое с собственными пальцами.

– Началось, – сказал вдруг Камилл. – Советую посмотреть.

– Что началось? – спросил Роберт. Ему не хотелось подниматься.

– Пошла степь, – сказал Камилл.

Роберт неохотно встал и подошел к нему. Сначала он ничего не заметил. Затем ему показалось, что он видит мираж. Но, вглядевшись, он так стремительно подался вперед, что стукнулся лбом о стекло. Степь шевелилась. Степь быстро меняла цвет – жуткая красноватая каша ползла через желтое пространство. Внизу под вышкой можно было разглядеть, как копошатся среди высохших стеблей красные и рыжие точки.

– Мама моя!.. – ахнул Роберт. – Красная зерноедка! Что же вы стоите?! – Он метнулся к видеофону. – Пастухи! – крикнул он. – Дежурный!

– Дежурный слушает.

– Говорит пост Степной. С севера идет зерноедка! Вся степь покрыта зерноедкой!

– Что? Повторите... Кто говорит?

– Говорит пост Степной, наблюдатель Скляров! Красная зерноедка идет с севера! Хуже, чем в позапрошлом году! Поняли? Вся степь кишит зерноедкой!

– Есть... Ясно... Спасибо, Скляров... Вот беда! А у нас все на юге... Вот беда!.. Ну ладно...

– Дежурный! – крикнул Роберт. – Слушайте, свяжитесь с Алебастровой или с Гринфилдом, там полно нулевиков, они помогут!

– Все понял! Спасибо, Скляров. Когда зерноедка кончит идти, сообщите сразу, пожалуйста.

Роберт снова подскочил к окну. Зерноедка шла валом, травы уже не было видно.

– Вот несчастье! – бормотал Роберт, прижимаясь лицом к стеклу. – Вот уж действительно беда!

– Не обольщайтесь, Роби, – сказал Камилл. – Это еще не беда. Это просто интересно.

– А вот выжрет она посевы, – сказал Роберт со злостью, – останемся без хлеба, без скота.

– Не останемся, Роби. Она не успеет.

– Надеюсь. На это только и надеюсь. Вы только посмотрите, как она идет. Ведь вся степь красная.

– Катаклизм, – сказал Камилл.

Неожиданно наступили сумерки. Огромная тень упала на степь. Роберт оглянулся и перебежал к восточному окну. Широкая дрожащая туча закрыла солнце. И опять Роберт не сразу понял, что это. Сначала он просто удивился, потому что днем на Радуге никогда не бывало туч. Но потом он увидел, что это птицы. Тысячи тысяч птиц летели с севера, и даже сквозь закрытые окна слышались непрерывный шелестящий шум крыльев и пронзительные тонкие крики. Роберт попятился к столу.

– Откуда птицы? – проговорил он.

– Все спасается, – сказал Камилл. – Все бежит. На вашем месте, Роби, я бы тоже бежал. Идет Волна.

– Какая Волна? – Роберт нагнулся и посмотрел на приборы. – Нет же никакой Волны, Камилл...

– Нет? – сказал Камилл хладнокровно. – Тем лучше. Давайте останемся и посмотрим.

– Я и не собираюсь бежать. Меня просто удивляет все это. Надо, пожалуй, сообщить в Гринфилд. И главное, откуда эти птицы? Там же пустыня.

– Там очень много птиц, – сказал спокойно Камилл. – Там огромные синие озера, тростники... – Он замолчал.

Роберт недоверчиво смотрел на него. Десять лет он работал на Радуге и всегда был убежден, что к северу от Горячей параллели нет ничего: ни воды, ни травы, ни жизни. Взять флаер и слетать туда с Танюшкой, мельком подумал он. Озера, тростники...

Затрещал сигнал вызова, и Роберт повернулся к экрану. Это был сам Маляев.

– Скляров, – сказал он обычным неприязненным тоном, и Роберт по привычке почувствовал себя виноватым, виноватым за все, в том числе за зерноедок и птиц. – Скляров, слушайте приказ. Немедленно эвакуируйте пост. Забирайте оба ульмотрона.

– Федор Анатольевич, – сказал Роберт, – идет зерноедка, летят птицы. Я только что хотел сообщить вам...

– Не отвлекайтесь. Я повторяю. Заберите оба ульмотрона, садитесь в вертолет и немедленно в Гринфилд. Поняли меня?

– Да.

– Сейчас... – Маляев посмотрел куда-то вниз. – Сейчас десять сорок пять. В одиннадцать ноль-ноль вы должны быть в воздухе. Имейте в виду, я

выдвигаю «харибды», и на всякий случай держитесь выше. Если не успеете демонтировать ульмотроны – бросьте их.

– А что случилось?

– Идет Волна, – сказал Маляев и впервые посмотрел Роберту в глаза. – Она перешла Горячую параллель. Торопитесь.

Секунду Роберт стоял, собираясь с мыслями. Затем он снова осмотрел приборы. Судя по приборам, извержение шло на убыль.

– Ну, это не мое дело, – сказал Роберт вслух. – Камилл, вы мне поможете?

– Теперь я уже никому не могу помочь, – отозвался Камилл. – Впрочем, это не мое дело. Что нужно – тащить ульмотроны?

– Да. Только сначала их нужно демонтировать.

– Хотите добрый совет? – сказал Камилл. – Добрый совет за номером семь тысяч восемьсот тридцать два.

Роберт уже отключил ток и, обжигая пальцы, скручивал разъемы.

– Давайте ваш совет, – сказал он.

– Бросьте эти ульмотроны, садитесь в вертолет и летите к Тане.

– Хороший совет, – сказал Роберт, торопливо обрывая соединения. – Приятный. Помогите-ка мне его вытащить...

Ульмотрон весил около центнера, толстый гладкий цилиндр в полтора метра длиной. Они извлекли его из гнезда и внесли в кабину лифта. Завыл ветер, вышка начала вибрировать.

– Достаточно, – сказал Камилл. – Спустимся вместе.

– Надо взять второй.

– Роби, вам даже этот больше не понадобится. Послушайтесь моего совета.

Роберт посмотрел на часы.

– Время есть, – деловито сказал он. – Спускайтесь и выкатывайте его на землю.

Камилл закрыл дверцу. Роберт вернулся к установке. Снаружи стоял красный сумрак. Птиц больше не было, но небо затягивала мутная пелена, сквозь которую еле просвечивал маленький диск солнца. Вышка вздрагивала и раскачивалась под порывами ветра.

– Успеть бы! – вслух подумал Роберт.

Он, напрягаясь, вытянул второй ульмотрон, поднял на плечо и понес к лифту. Тут за его спиной с раздирающим хрустом вылетели оконные рамы, и в лабораторию ворвались облака колючей пыли пополам с раскаленным ветром. Что-то с силой ударило по ногам. Роберт поспешно присел, прислонил ульмотрон к стене и нажал кнопку вызова. Двигатель

подъемника взвыл вхолостую и сейчас же умолк.

– Ками-илл! – крикнул Роберт, прижавшись лицом к решетчатой двери.

Никто не отозвался. Ветер выл и свистел в разбитых окнах, вышка раскачивалась, и Роберт едва держался на ногах. Он снова нажал кнопку. Подъемник не действовал. Тогда, преодолевая ветер, он подобрался к окну и выглянул наружу. Степь была затянута клубами бешено несущейся пыли. Что-то блестящее мелькнуло внизу у подножия вышки, и Роберт похолодел, сообразив, что это бьется и мотается под ветром вывернутое и растерзанное крыло птерокара. Роберт закрыл глаза и облизал пересохшие губы. Рот наполнился едкой горечью. Хороша ловушка, подумал он. Патрика бы сюда...

– Ками-и-илл! – крикнул он изо всех сил.

Но он еле слышал собственный голос. Через окно... нельзя, сорвет ураганом. Стоит ли вообще барахтаться? Птерокар-то разбит... Тут она меня и накроет. Нет, надо слезть. Что там Камилл возится – я бы на его месте уже починил лифт... Лифт!

Перешагивая через обломки, он вернулся к решетчатой двери и вцепился в нее обеими руками. А ну-ка, «Юность Мира», подумал он. Дверь была сделана добротно. Если бы фермы вышки были сделаны так же, лифт нипочем не вышел бы из строя. Роберт лег спиной на дверь и согнутыми ногами уперся в стену тамбура. Ну-ка... Р-раз! В глазах у него потемнело. Что-то хрустело: не то дверь, не то мускулы. Еще р-раз! Дверь подалась. Сейчас она вылетит, подумал Роберт, и я свалюсь в шахту. Двадцать метров вниз головой, и сверху на меня упадет ульмотрон. Он перевернулся и уперся спиной в стену, а ногами в дверь. Тр-рах!.. У двери вылетела нижняя половина, и Роберт упал на спину, ударившись головой. Несколько секунд он лежал неподвижно. Он был весь мокрый от пота. Потом он заглянул в пролом. Далеко внизу виднелась крыша кабины. Лезть было очень страшно, но в это время вышка начала крениться, и Роберта потащило вниз. Он не сопротивлялся, потому что вышка все кренилась и кренилась, и не было этому конца.

Он спускался, цепляясь за фермы и распорки, и тугой, колючий от пыли ветер прижимал его к теплому металлу. Он успел заметить, что пыли стало гораздо меньше и что степь снова залита солнцем. Вышка все кренилась. Он так торопился узнать, что с птерокаром и куда девался Камилл, что выпрыгнул из шахты, когда до земли оставалось еще метра четыре. Он больно стукнулся ногами и потом руками. И первое, что он увидел, были пальцы Камилла, вонзившиеся в сухую землю.

Камилл лежал под опрокинутым птерокаром, широко раскрыв круглые стеклянные глаза, и тонкие длинные пальцы его вцепились в землю, словно он пытался вытащить себя из-под разбитой машины, а может быть, ему было очень больно перед смертью. Пыль покрывала его белую куртку, пыль лежала на щеках и открытых глазах.

– Камилл, – позвал Роберт.

Ветер бешено мотал над его головой обломок исковерканного крыла. Ветер нес струи желтой пыли. Ветер свистел и визжал в фермах покосившейся вышки. В мутноватом небе свирепо пылало маленькое солнце. Оно казалось косматым.

Роберт поднялся на ноги и, навалившись, попытался сдвинуть птерокар. На секунду ему удалось приподнять тяжелую машину, но только на секунду. Он снова взглянул на Камилла. Все лицо его было засыпано пылью, и белая куртка стала рыжей, и только к нелепой белой каске не пристало ни единой пылинки, и матовая пластмасса весело отсвечивала под солнцем.

У Роберта задрожали ноги, и он сел рядом с мертвым. Ему хотелось плакать. Прощайте, Камилл. Честное слово, я вас любил. Никто вас не любил, а я любил. Правда, я никогда не слушал вас, так же, как и другие, но, честное слово, я не слушал только потому, что не надеялся вас понять. Вы были на голову выше всех, а уж меня и подавно. А теперь я не могу столкнуть с вашей раздавленной груди эту кучу лома. По долгу дружбы мне следовало бы остаться рядом с вами. Но меня ждет Таня, меня, может быть, ждет даже Маляев, и потом я ужасно хочу жить. Тут не помогают никакие чувства и никакая логика. Я знаю, что мне не уйти. И все-таки я пойду. Я буду бежать, буду брести, может быть, даже ползти, но я буду уходить до последнего... Я дурак, мне нужно было послушаться вашего семитысячного совета, но я, как всегда, не понял вас, хотя, казалось бы, чего тут было понимать?..

Он был таким разбитым и усталым, что только с большим трудом заставил себя подняться и пойти. А когда он обернулся, чтобы последний раз поглядеть на Камилла, он увидел Волну.

Далеко-далеко над северным горизонтом за красноватой дымкой оседающей пыли сверкала в белесом небе ослепительная полоса, яркая, как солнце.

Ну, вот и все, вяло подумал Роберт. Далеко мне не уйти. Через полчаса она будет здесь и пойдет дальше, а здесь останется гладкая черная пустыня. Башня, конечно, останется, и ничего не случится с ульмотронами, и птерокар останется, и оторванное крыло повиснет в горячем безветрии. И,

может быть, от Камилла останется шлем. А уж от меня вообще ничего не останется. Он, словно прощаясь, осмотрел себя – похлопал по голой груди, пощупал бицепсы. Жалко, подумал он. И тут он заметил флаер.

Флаер стоял за вышкой – маленький двухместный флаер, похожий на пеструю черепашку, скоростной, экономичный, удивительно простой и удобный в управлении. Это был флаер Камилла. Конечно же, это был флаер Камилла!

Роберт сделал к нему несколько неуверенных шагов, а потом сломя голову помчался, огибая вышку. Он не спускал глаз с флаера, словно боясь, что он вдруг исчезнет, споткнулся обо что-то и плашмя проехал по колючей траве, ободрав грудь и живот. Вскочив на ноги, он обернулся. Тяжелый цилиндр ульмотрона с гладкими, досиня полированными боками еще тихонько покачивался от толчка. Роберт взглянул на север. Из-за горизонта уже поднималась черная стена. Роберт подбежал к флаеру, подняв тучу пыли, прыгнул на сиденье и, едва нащупав рукоятку управления, с места дал полный газ.

Степная зона тянулась до самого Гринфилда, и Роберт проскочил ее со средней скоростью пятьсот километров в час. Флаер несся над степью, как блоха, – огромными прыжками. Слепящая полоса скоро вновь скрылась за горизонтом. В степи все казалось обычным: и сухая щетинистая трава, и дрожащие марева над солончаками, и редкие полосы карликового кустарника. Солнце палило беспощадно. И почему-то нигде не было никаких следов ни зерноедки, ни птиц, ни урагана. Наверное, ураган разметал всю эту живность и сам затерялся в этих бесплодных, извечно пустынных просторах Северной Радуги, самой природой предназначенных для сумасшедших экспериментов нуль-физиков. Однажды, когда Роберт был еще новичком, когда Столицу называли еще просто станцией, а Гринфилда не было вообще, Волна уже проходила в этих местах, вызванная грандиозным опытом покойного Лю Фынчена, тогда все здесь было черно, но прошло всего семь лет, и цепкая неприхотливая трава вновь оттеснила пустыню далеко на север, к самым районам извержений.

Все вернется, думал Роберт. Все будет по-прежнему, только Камилла больше не будет. И если когда-нибудь кто-нибудь внезапно возникнет в кресле за моей спиной, я уже буду точно знать, что это всего-навсего привидение. А сейчас я приду к Маляеву и скажу ему прямо в лицо: «Ульмотроны ваши я бросил». А он процедит сквозь зубы: «Как вы смели, Скляров?..» И тогда я ему скажу: «Наплевать мне на ульмотроны, потому что погиб Камилл из-за ваших ульмотронов!» А он скажет: «Это, конечно,

очень жаль, но ульмотроны нужно было привезти». И тогда я, наконец, рассвирепею и скажу ему все. «Сосулька ты! – скажу я. – Снежная ты баба с электронным управлением. Как ты смеешь думать об ульмотронах, когда погиб Камилл?.. Равнодушный ты человек, ящерица!»

В двухстах километрах от Гринфилда он увидел «харибды» – гигантские телемеханические танки, несущие отверстые пасти энергопоглотителей. «Харибды» шли цепью от горизонта до горизонта, соблюдая правильные полукилометровые интервалы, с лязгом и громовым грохотом тысячесильных двигателей. За ними в желтой степи оставались широкие полосы развороченной коричневой земли, вспаханной до самого базальтового основания континента. Траки гусениц вспыхивали под солнцем. А далеко справа в тусклом небе моталась едва заметная точка – это был вертолет-наводчик, руководивший движением этих металлических чудовищ. «Харибды» шли на Волну.

Энергопоглотители, по-видимому, еще не работали, но Роберт на всякий случай круто набрал высоту и начал снижение, только когда навстречу ему из дымки вынырнул Гринфилд – несколько белых домиков и квадратная башня дальнего контроля, окруженные пышной земной зеленью. На северной окраине, подмяв под себя рощицу пальм, угрюмо чернела неподвижная «харибда», устремив прямо на Роберта бездонный раструб поглотителя, и еще две «харибды» стояли справа и слева от поселка. Два вертолета взмыли над башней и ушли на юг. На площади среди зеленых газонов блестели на солнце перепончатые крылья птерокаров. Вокруг птерокаров бегали и копошились люди.

Роберт подогнал флаер к самому входу в башню и выскочил на крыльцо. Кто-то отшатнулся, женский голос вскрикнул: «Кто это?» Роберт взялся за ручку стеклянной двери и на мгновение застыл, вглядываясь в свое отражение, – почти голый, весь в спекшейся пыли, глаза злые, через грудь и живот идет широкая черная царапина... Ладно, подумал он и рванул дверь. «Да ведь это Роберт!» – крикнули сзади. Он медленно поднялся по лестнице и наткнулся на Патрика. Патрик смотрел на него, открыв рот. «Патрик, – сказал Роберт. – Патрик, дружище, Камилл погиб...» Патрик замигал и вдруг зажал себе рот ладонью. Роберт прошел дальше. Дверь в диспетчерскую была открыта. Там были Маляев, глава северных нулевиков Шота Петрович Пагава, Карл Гофман и еще какие-то люди – кажется, биологи. Роберт остановился в дверях, держась за косяк. За спиной топали по ступенькам, и кто-то крикнул: «Откуда он знает?»

– Камилл... – сказал Роберт сипло и закашлялся.

Все с недоумением смотрели на него.

– В чем дело? – резко спросил Маляев. – Что с вами, Скляров, почему вы в таком виде?

Роберт подошел к столу и, уперев грязные кулаки в какие-то бумаги, сказал ему в лицо:

– Камилл погиб. Его раздавило.

Стало очень тихо. Глаза Маляева сузились.

– Как раздавило? Где?..

– Его раздавило птерокаром, – сказал Роберт. – Из-за ваших драгоценных ульмотронов. Он мог спокойно спастись, но он помогал мне таскать ваши драгоценные ульмотроны, и его раздавило. А ваши ульмотроны я бросил там. Подберете их, когда пройдет Волна. Понимаете? Бросил. Они там сейчас валяются...

Ему сунули стакан воды. Он взял стакан и жадно выпил. Маляев молчал. Его бледное лицо стало совсем белым. Карл Гофман бесцельно перебирал какие-то схемы и не поднимал глаз. Пагава поднялся и стоял с опущенной головой.

– Очень тяжело... – сказал, наконец, Маляев. – Это был большой человек. – Он потер лоб. – Очень большой человек. – Он снова поглядел на Роберта. – Вы очень устали, Скляров...

– Я не устал.

– Приведите себя в порядок и отдохните.

– И это все? – горько спросил Роберт.

Лицо Маляева стало прежним – равнодушным и жестким.

– Я задержу вас еще на одну минуту. Вы видели Волну?

– Видел. Волну я тоже видел.

– Какого типа Волна?

В мозгу Роберта что-то сдвинулось, и все стало на привычные места. Был властный и умный руководитель Маляев, и был его вечный лаборант-наблюдатель Роберт Скляров, он же «Юность Мира».

– Кажется, третьего, – покорно сказал он. – Лю-волна.

Пагава поднял голову.

– Хорош-шо! – неожиданно бодро сказал он. И сейчас же скис, облокотился на стол и вяло сел. – Ай, Камилл, ай, Камилл, – забормотал он. – Ай, бедняга!.. – Он схватил себя за большие, оттопыренные уши и принялся мотать головой над бумагами.

Один из биологов, опасливо косясь на Роберта, тронул Маляева за локоть.

– Виноват, – сказал он робко. – А чем это хорошо – Лю-волна?

Маляев перестал, наконец, сверлить Роберта жестким взглядом.

– Это значит, – сказал он, – что погибнет только северная полоса посевов. Но мы еще не уверены, что это Лю-волна. Наблюдатель мог ошибиться.

– Ну как же так? – заныл биолог. – Договаривались же... У вас есть эти... «харибды»... Неужели нельзя остановить? Какие же вы физики?

Карл Гофман сказал:

– Возможно, удастся погасить инерцию Волны на линии дискретного перепада.

– Что значит «возможно»? – воскликнула незнакомая женщина, стоявшая рядом с биологом. – Вы понимаете, что это безобразие? Где ваши гарантии? Где ваши прекрасные разговоры? Вы понимаете, что вы оставляете планету без хлеба и мяса?

– Я не принимаю таких претензий, – холодно сказал Маляев. – Я вам глубоко сочувствую, но ваши претензии должны быть адресованы Этьену Ламондуа. Мы не ставим нуль-экспериментов. Мы изучаем Волну...

Роберт повернулся и медленно пошел к двери. И нет им никакого дела до Камилла, думал он. Волна, посевы, мясо... За что они его так не любили? Потому что он был умнее их всех вместе взятых? Или они вообще никого не любят? В дверях стояли ребята, знакомые лица, встревоженные, печальные, озабоченные. Кто-то взял его под локоть. Он поглядел сверху вниз и встретился взглядом с маленькими грустными глазами Патрика.

– Пойдем, Роб, я помогу тебе отмыться...

– Патрик, – сказал Роберт и положил руку ему на плечо. – Патрик, уходи отсюда. Брось их, если хочешь остаться человеком...

Лицо Патрика страдальчески искривилось.

– Ну что ты, Роб, – пробормотал он. – Не надо. Это пройдет.

– Пройдет, – повторил Роберт. – Все пройдет. Волна пройдет. Жизнь пройдет. И все забудется. Не все ли равно, когда забудется? Сразу или потом...

За спиной уже совершенно откровенно ругались биологи. Маляев требовал: «Сводку!» Шота кричал: «Не прекращать замеры ни на секунду! Используйте всю автоматику! Прах с ней, потом бросите!»

– Пойдем, Роб, – попросил Патрик.

И в этот момент, перекрывая говор и крики, в диспетчерской загремел знакомый монотонный голос:

– Прошу внимания!

Роберт стремительно обернулся. У него ослабели колени. На большом экране диспетчерского видеофона он увидел уродливую матовую каску и круглые немигающие глаза Камилла.

– У меня мало времени, – говорил Камилл. Это был настоящий, живой Камилл – у него тряслась голова, шевелились тонкие губы и двигался в такт словам кончик длинного носа. – Я не могу связаться с директором. Немедленно вызывайте «Стрелу». Немедленно эвакуируйте весь север. Немедленно! – Он повернул голову и посмотрел куда-то вбок, и стала видна его щека, испачканная пылью. – За Лю-волной идет Волна нового типа. Вам ее...

Экран ослепительно вспыхнул, что-то треснуло, и экран померк. В диспетчерской стояла гробовая тишина, и вдруг Роберт увидел страшные, прищуренные на него глаза Маляева.

ГЛАВА 4

На Радуге был только один космодром, и на этом космодроме стоял только один звездолет, десантный сигма-Д-звездолет «Тариэль-Второй». Он был виден издалека – бело-голубой купол высотой в семьдесят метров сияющим облачком возвышался над плоскими темно-зелеными крышами заправочных станций. Горбовский сделал над ним два неуверенных круга. Сесть рядом со звездолетом было трудно: плотное кольцо разнообразных машин окружало корабль. Сверху были видны неуклюжие роботы-заправщики, присосавшиеся к шести баковым выступам, хлопотливые аварийные киберы, прощупывавшие каждый сантиметр обшивки, серый робот-матка, руководивший дюжиной маленьких юрких машин-анализаторов. Зрелище это было привычное, радующее хозяйственный глаз.

Однако возле грузового люка имело место явное нарушение всех установлений. Оттеснив в сторону безответных космодромных киберов, там сгрудилось множество транспортных машин всевозможных типов. Там были обычные грузовые «биндюги», туристские «дилижансы», легковые «тестудо» и «гепарды» и даже один «крот» – громоздкая землеройная машина для рудных разработок. Все они совершали какие-то сложные эволюции возле люка, теснясь и подталкивая друг друга. В стороне, на самом солнцепеке, стояли несколько вертолетов и валялись пустые ящики, в которых Горбовский без труда узнал упаковку ульмотронов. На ящиках грустно сидели какие-то люди.

В поисках места для посадки Горбовский начал третий круг и тут обнаружил, что за его флаером по пятам следует тяжелый птерокар, водитель которого, высунувшись по пояс из раскрытой дверцы, делает ему какие-то непонятные знаки. Горбовский посадил флаер между вертолетами и ящиками, и птерокар тотчас же очень неловко рухнул рядом.

– Я за вами, – деловито крикнул водитель птерокара, выскакивая из кабины.

– Не советую, – мягко сказал Горбовский. – Мне нет никакого дела до очереди. Я капитан этого звездолета.

На лице водителя изобразилось восхищение.

– Великолепно! – вполголоса воскликнул он, осторожно озираясь по сторонам. – Сейчас мы утрем нос нулевикам. Как зовут капитана этого корабля?

– Горбовский, – сказал Горбовский, слегка кланяясь.

– А штурмана?

– Валькенштейн.

– Превосходно, – деловито сказал водитель птерокара. – Итак, вы – Горбовский, а я – Валькенштейн. Пошли!

Он взял Горбовского под локоть. Горбовский уперся.

– Слушайте, Горбовский, мы ничем не рискуем. Эти корабли мне отлично знакомы. Я сам летел сюда на десантнике. Мы проберемся в склад, возьмем по ульмотрону и запремся в кают-компании. Когда все это кончится, – он небрежным жестом указал на машины, – мы спокойно выйдем.

– А вдруг придет настоящий штурман?

– Настоящему штурману придется долго доказывать, что он настоящий, – веско возразил самозваный штурман.

Горбовский хихикнул и сказал:

– Пошли.

Лжештурман пригладил волосы, сделал глубокий вдох и решительно двинулся вперед. Они стали протискиваться между машинами. Лжештурман говорил непрерывно – у него вдруг прорезался глубокий, внушительный бас.

– Я полагаю, – во всеуслышание вещал он, – что прочистка диффузоров только задержит нас. Предлагаю просто сменить половину комплектов, а основное внимание уделить осмотру обшивки. Товарищ, продвиньте немного вашу машину! Вы мешаете... Так вот, Валентин Петрович, при выходе на деритринитацию... Подайте ваш грузовик назад, товарищ. Не понимаю, зачем вы толпитесь? Существует очередь, существует список, закон, наконец... Вышлите представителей... Валентин Петрович, не знаю как вас, а меня поражает дикость аборигенов. Такого мы с вами не видели даже на Пандоре среди тахоргов.

– Вы совершенно правы, Марк, – сказал Горбовский, развлекаясь.

– Что? Ну да, само собой... Ужасные нравы!

Девушка в шелковой косынке, высунувшись из кабины «биндюга», осведомилась:

– Штурман и капитан, если не ошибаюсь?

– Да! – с вызовом сказал штурман. – И, как штурман, я рекомендовал бы вам еще раз прочитать инструкцию о порядке разгрузки.

– Вы думаете, это необходимо?

– Несомненно. Вы совершенно напрасно ввели ваш грузовик в двадцатиметровую зону...

– А знаете, друзья, – раздался веселый молодой голос, – у этого штурмана фантазия победнее, чем у первых двух.

– Что вы хотите этим сказать? – оскорбленно спросил лжештурман. В лице его было что-то от лже-Нерона.

– Понимаете, – проникновенно сказала девушка в косынке, – вон там, на пустых ящиках, уже сидят два штурмана и один капитан. А пустые ящики – это упаковка ульмотронов, которые увезла бортинженер – скромная такая молодая женщина. За нею сейчас гонится уполномоченный Совета...

– Как вам это нравится, Валентин Петрович? – вскричал лжештурман. – Самозванцы, а?

– У меня такое ощущение, – задумчиво сказал Горбовский, – что мне не попасть на собственный корабль.

– Верное рассуждение, – сказала девушка в косынке. – И уже не новое.

Штурман решительно было двинулся вперед, но тут «биндюг» справа немного передвинулся влево, черно-желтый «дилижанс» слева чуть-чуть подался вправо, а прямо на пути к заветному люку вдруг злобно заворочались, отбрасывая комья земли, оскаленные зубья «крота».

– Валентин Петрович! – с негодованием воскликнул лжештурман. – В таких условиях я не гарантирую готовность звездолета!

– Старо! – грустно сказал водитель «дилижанса».

Звонкий веселый голос проговорил:

– Какой это штурман! Скука зевотная. Вот помните второго штурмана – этот действительно развлек! Как он задирал на себе майку и показывал следы метеоритных ударов!

– Нет, первый был лучше, – сказал, обернувшись, водитель «крота».

– Да, он был хорош, – согласилась девушка в косынке. – Как это он шел среди машин, держа перед глазами фотографию, и жалобно так приговаривал: «Галю моя, Галю! Галю дорогая! Далеко ты, Галю, от ридного краю!»

Лжештурман, подавленно опустив голову, сковыривал комья земли с блестящих зубьев «крота».

– Ну, а вы что скажете? – обратился водитель «дилижанса» к Горбовскому. – Что же вы все молчите? Надо что-нибудь говорить... Что-нибудь убедительное.

Все с любопытством ждали.

– Вообще я мог бы войти через пассажирский люк, – задумчиво сказал Горбовский.

Лжештурман с надеждой вскинул голову и посмотрел на него.

– Не могли бы, – покачал головой водитель. – Он заперт изнутри.

В наступившей паузе был отчетливо слышен голос Канэко:

– Не могу я вам дать десять комплектов, поймите, товарищ Прозоровский!

– А вы поймите меня, товарищ Канэко! У нас заявка на десять комплектов. Как я вернусь с шестью?

Кто-то вмешался:

– Берите, Прозоровский, берите... Берите пока шесть. У нас четыре комплекта освободятся через неделю, и я вам пришлю.

– Вы обещаете?

Девушка в косынке сказала:

– Прозоровского просто жалко. У них шестнадцать схем на ульмотронах!

– Да, нищета, – вздохнул водитель «дилижанса».

– А у нас пять, – горестно сказал лжештурман. – Пять схем и всего один ульмотрон. Что, казалось бы, им стоило привезти штук двести.

– Мы могли бы привезти и двести, и триста, – сказал Горбовский. – Но ульмотроны нужны сейчас всем. На Земле заложили шесть новых У-конвейеров...

– У-конвейер! – сказала девушка в косынке. – Легко сказать!.. Вы представляете себе технологию ульмотрона?

– В самых общих чертах.

– Шестьдесят килограммов ультрамикроэлементов... Ручное управление сборкой, полумикронные допуски... А какой уважающий себя человек пойдет в сборщики? Вот вы бы пошли?

– Набирают добровольцев, – сказал Горбовский.

– А!.. – с отвращением сказал водитель «крота». – Неделя помощи физикам!..

– Ну что ж, Валентин Петрович, – сказал лжештурман, стыдливо улыбаясь. – Так нас, по-видимому, и не пустят...

– Меня зовут Леонид Андреевич, – сказал Горбовский.

– А меня Ганс, – уныло признался лжештурман. – Пошли посидим на ящиках. Вдруг что-нибудь случится...

Девушка в косынке помахала им рукой. Они выбрались из толпы машин и присели на ящиках рядом с другими лжезвездолетчиками. Их встретили сочувственно-насмешливым молчанием.

Горбовский ощупал ящик. Пластмасса была грубая и жесткая. На солнцепеке было жарко. Делать Горбовскому здесь было совершенно нечего, но, как всегда, ему страшно хотелось познакомиться с этими

людьми, узнать, кто они и как дошли до жизни такой, и вообще как идут дела. Он составил вместе несколько ящиков, спросил: «Можно я лягу?», лег, вытянувшись во всю длину, и с помощью струбцинки укрепил возле головы микрокондиционер. Потом он включил проигрыватель.

– Меня зовут Горбовский, – представился он. – Леонид. Я был капитаном этого звездолета.

– Я тоже был капитаном этого звездолета, – мрачно сообщил грузный темнолицый человек, сидевший справа. – Меня зовут Альпа.

– А меня зовут Банин, – заявил голый до пояса худощавый юноша в белой панаме. – Я был и остаюсь штурманом. Во всяком случае, пока не получу ульмотрон.

– Ганс, – коротко сказал лже-Валькенштейн, усевшись на траву поближе к микрокондиционеру.

Третий лжештурман, видимо, не слышал их. Он сидел к ним спиной и что-то писал, положив блокнот на колени.

Из толпы машин выехал длинный «гепард». Дверца приоткрылась, оттуда вылетели пустые коробки из-под ульмотронов, и «гепард» умчался в степь.

– Прозоровский, – сказал Банин с завистью.

– Да, – сказал Альпа горько. – Прозоровскому не приходится врать. Правая рука Ламондуа. – Он глубоко вздохнул. – Никогда не врал. Терпеть не могу врать. И теперь очень нехорошо на душе.

Банин сказал глубокомысленно:

– Если человек начинает врать помимо всякого желания, значит где-то что-то разладилось. Сложное последействие.

– Все дело в системе, – сказал Ганс. – Все дело в этой исходной установке: больше получает тот, у кого лучше выходит.

– А вы предложите другую установку, – сказал Горбовский. – Не получается у тебя ничего – на тебе ульмотрон. Получается – посиди на ящиках...

– Да, – сказал Альпа. – Какой-то страшный срыв. Кто когда-либо слыхал об очередях за оборудованием? Или за энергией? Ты давал заявку, и тебя обеспечивали... Тебя никогда даже не интересовало, откуда это берется. То есть интуитивно было ясно, что существует масса людей, с удовольствием работающих в сфере материального обеспечения науки. Между прочим, это действительно очень интересная работа. Помню, я сам после школы с большим удовольствием занимался рационализацией сборки нейтринных схем. Сейчас о них уже не помнят, но когда-то это был очень популярный метод – нейтринный анализ. – Он достал из кармана

почерневшую трубку и медленными уверенными движениями набил ее. Все с любопытством следили за ним. – Хорошо известно, что относительная численность потребителей оборудования и производителей оборудования с тех пор существенно не изменилась. Но, видимо, произошел какой-то чудовищный скачок в потребностях. Судя по всему – я просто смотрю вокруг, – среднему исследователю требуется сейчас раз в двадцать больше энергии и оборудования, чем в мое время. – Он глубоко затянулся, и трубка засипела и захрипела. – Такое положение объяснимо. Испокон веков считается, что наибольшего внимания заслуживает та проблема, которая дает максимальный ливень новых идей. Это естественно, иначе нельзя. Но если первичная проблема лежит на субэлектронном уровне и требует, скажем, единицы оборудования, то каждая из десяти дочерних проблем опускается в материю по крайней мере на этаж глубже и требует уже десяти единиц. Ливень проблем вызывает ливень потребностей. И я уже не говорю о том, что интересы производителей оборудования далеко не всегда совпадают с интересами потребителей.

– Заколдованный круг, – сказал Банин. – Прозевали наши экономисты.

– Экономисты тоже исследователи, – возразил Альпа. – Они тоже имеют дело с ливнями проблем. И раз уж мы заговорили об этом, то вот любопытный парадокс, который очень интересует меня последнее время. Возьмите нуль-Т. Молодая, плодотворная и очень перспективная проблема. Поскольку она плодотворная, Ламондуа по праву получает огромное материальное и энергетическое обеспечение. Чтобы сохранить за собой это материальное обеспечение, Ламондуа вынужден непрерывно гнать вперед – быстрее, глубже и... уже. А чем быстрее и глубже он забирается, тем больше ему нужно и тем сильнее он ощущает нехватку, пока, наконец, не начинает тормозить сам себя. Взгляните на эту очередь. Сорок человек ждут и тратят драгоценное время. Треть всех исследователей Радуги тратит время, нервную энергию и темп мысли! А остальные две трети сидят сложа руки по лабораториям и могут думать сейчас только об одном: привезут или не привезут? Это ли не самоторможение? Стремление сохранить приток материальных ресурсов порождает гонку, гонка вызывает непропорциональный рост потребностей, и в результате возникает самоторможение.

Альпа замолчал и стал выколачивать трубку. Из толпы машин, расталкивая их направо и налево, выбрался «крот». В окне нелепо высокой кабины торчала крышка новенького ульмотрона. Проезжая мимо, водитель помахал лжезвездолетчикам.

– Хотел бы я знать, зачем Следопытам ульмотрон, – пробормотал Ганс.

Никто не ответил. Все провожали взглядом «крота», на задней стенке которого красовался опознавательный знак Следопытов – черный семиугольник на красном щитке.

– По-моему, все-таки, – сказал Банин, – виноваты экономисты. Надо было предвидеть. Надо было двадцать лет назад повернуть школы так, чтобы сейчас хватало кадров для обеспечения науки.

– Не знаю, не знаю, – сказал Альпа. – Возможно ли вообще планировать такой процесс? Мы мало знаем об этом, но ведь может оказаться, что установить равновесие между духовным потенциалом исследователей и материальными возможностями человечества вообще нельзя. Грубо говоря, идей всегда будет гораздо больше, чем ульмотронов.

– Ну, это еще надо доказать, – сказал Банин.

– А я ведь не сказал, что это доказано. Я только предположил.

– Такое предположение порочно, – заявил Банин. Он начинал горячиться. – Оно утверждает кризис на вечные времена! Это же тупик!..

– Почему же тупик? – тихо сказал Горбовский. – Наоборот.

Банин не слушал.

– Надо выходить из кризиса! – говорил он. – Надо искать выходы! И выход уж, конечно, не в мрачных предположениях!

– Почему же в мрачных? – сказал Горбовский. Но на него опять не обратили внимания.

– Отказываться от основного принципа распределения нельзя, – говорил Банин. – Это будет просто нечестно по отношению к самым лучшим работникам. Вы будете двадцать лет жевать одну частную проблемку, а энергии, скажем, получать столько же, сколько Ламондуа. Это же нелепо! Значит, выход не здесь? Не здесь. Вы сами-то видите выход? Или вы ограничиваетесь холодной регистрацией?

– Я старый научный работник и старый человек, – сказал Альпа. – Всю свою жизнь занимаюсь физикой. Правда, сделал я мало, я рядовой исследователь, но не в этом дело. Вопреки всем этим новым теориям я убежден, что смысл человеческой жизни – это научное познание. И, право же, мне горько видеть, что миллиарды людей в наше время сторонятся науки, ищут свое призвание в сентиментальном общении с природой, которое они называют искусством, удовлетворяются скольжением по поверхности явлений, которое они называют эстетическим восприятием. А мне кажется, сама история предопределила разделение человечества на три группы: солдаты науки, воспитатели и врачи, которые, впрочем, тоже солдаты науки. Сейчас наука переживает период материальной

недостаточности, а в то же время миллиарды людей рисуют картинки, рифмуют слова... вообще создают в п е ч а т л е н и я. А ведь среди них много потенциально великолепных работников. Энергичных, остроумных, с невероятной трудоспособностью.

– Ну, ну! – сказал Банин.

Альпа промолчал и начал набивать трубку.

– Разрешите, я продолжу вашу мысль, – сказал Горбовский. – Я вижу, вы не решаетесь.

– Попробуйте, – сказал Альпа.

– Хорошо бы всех этих художников и поэтов согнать в учебные лагеря, отобрать у них кисти и гусиные перья, заставить пройти краткосрочные курсы и вынудить строить для солдат науки новые У-конвейеры, собирать тау-такторы, лить эргохронные призмы...

– Вот чепуха! – разочарованно сказал Банин.

– Да, это чепуха, – согласился Альпа. – Но наши мысли не зависят от наших симпатий и антипатий. Мысль эта глубоко мне неприятна, она даже пугает меня, но она возникла... и не только у меня.

– Это бесплодная мысль, – лениво сказал Горбовский, глядя в небо. – Попытка разрешить противоречие между общим духовным и материальным потенциалом человечества в целом. Она ведет к новому противоречию, старому и банальному, – между машинной логикой и системой морали и воспитания. В таком столкновении машинная логика всегда терпит поражение.

Альпа кивнул и окутался облаками дыма. Ганс задумчиво проговорил:

– Мысль страшненькая. Помните «проект десяти»? Когда Совету предложили перебросить в науку часть энергии из Фонда изобилия... Во имя чистой науки поприжать человечество в области элементарных потребностей. Помните этот лозунг: «Ученые готовы голодать»?

Банин подхватил:

– А Ямакава тогда встал и сказал: «А шесть миллиардов детей не готовы. Так же не готовы, как вы не готовы разрабатывать социальные проекты».

– Я тоже не люблю изуверов, – сказал Горбовский.

– Я вот недавно прочел книгу Лоренца, – сказал Ганс. – «Люди и проблемы»... Читали?

– Читали, – сказал Горбовский.

Альпа отрицательно помотал головой.

– Хорошая книга, правда? И поразила меня там одна мысль. Правда, Лоренц на ней не останавливается, говорит об этом мимоходом.

– Ну, ну? – сказал Банин.

– Я, помню, целую ночь об этом думал. Не хватало аппаратуры, ждали, пока подвезут, – знаете, обычная эта нервотрепка. И вот я пришел к такому выводу. Лоренц упоминает о естественном отборе в науке. Какие факторы определяют главенство научных направлений сейчас, когда наука не влияет или почти не влияет больше на материальное благосостояние?

– Ну, ну? – сказал Банин.

– И вот я пришел к такому выводу. Пройдет некоторое время, и те научные исследования, которые оказались наиболее успешными, впитают в себя все материальное обеспечение, непомерно углубятся, а остальные направления просто сами собой сойдут на нет. И вся наука будет состоять из двух-трех направлений, в которых никто, кроме корифеев, разбираться не будет. Понимаете меня?

– А, чушь! – сказал Банин.

– Ну почему же чушь? – спросил Ганс обиженно. – Вот факты. В науке существуют сотни тысяч направлений. В каждом работают тысячи людей. Лично я знаю четыре группы исследователей, которые из-за систематических неудач бросали работу и вливались в другие, более успешные группы. Я сам дважды так поступал...

Альпа сказал:

– Шутки шутками, а возьмите того же Ламондуа. Вот он рвется сломя голову к осуществлению нуль-Т. Нуль-Т, как и следовало ожидать, дает массу новых ответвлений. Но Ламондуа вынужден обрубать почти все эти ответвления, он просто вынужден игнорировать их. Потому что у него нет никакой возможности тщательно проработать каждое ответвление на перспективность. Мало того, он вынужден сознательно игнорировать заведомо поразительные и интересные вещи. Так, например, случилось с Волной. Неожиданное, удивительное и, на мой взгляд, грозное явление. Но, преследуя свою цель, Ламондуа пошел даже на раскол в своем лагере. Он поссорился с Аристотелем, он отказывается обеспечивать волновиков. Он идет вглубь, вглубь, вглубь, его проблема становится все уже. Волна осталась у него далеко в тылу. Она для него только помеха, он слышать о ней не хочет. А она, между прочим, сжигает посевы...

Над космодромом загремел громкоговоритель всеобщего оповещения:

– Внимание, Радуга! Говорит директор. Старшего бригады испытателей Габу вместе с бригадой прошу немедленно явиться ко мне.

– Счастливые люди, – сказал Ганс. – Никакие ульмотроны им не нужны.

– У них своих забот хватает, – сказал Банин. – Видел я однажды, как

они тренируются, – нет уж, я лучше буду лжештурманом... А потом два года сидеть без своего дела и каждый день слышать: «Потерпите еще чуть-чуть. Вот, может быть, завтра...»

– Я рад, что вы заговорили о том, что в тылу, – сказал Горбовский. – «Белые пятна» науки. Меня этот вопрос тоже занимает. По-моему, у нас в тылу нехорошо... Например, Массачусетская машина. – Альпа покивал. Горбовский обратился к нему. – Вы, конечно, должны помнить. Сейчас о ней вспоминают редко. Угар кибернетики прошел.

– Ничего не могу вспомнить о Массачусетской машине, – сказал Банин. – Ну, ну?

– Знаете, это древнее опасение: машина стала умнее человека и подмяла его под себя... Полсотни лет назад в Массачусетсе запустили самое сложное кибернетическое устройство, когда-либо существовавшее. С каким-то там феноменальным быстродействием, необозримой памятью и все такое... И проработала эта машина ровно четыре минуты. Ее выключили, зацементировали все входы и выходы, отвели от нее энергию, заминировали и обнесли колючей проволокой. Самой настоящей ржавой колючей проволокой – хотите верьте, хотите нет.

– А в чем, собственно, дело? – спросил Банин.

– Она начала в е с т и с е б я, – сказал Горбовский.

– Не понимаю.

– И я не понимаю, но ее едва успели выключить.

– А кто-нибудь понимает?

– Я говорил с одним из ее создателей. Он взял меня за плечо, посмотрел мне в глаза и произнес только: «Леонид, это было страшно».

– Вот это здорово, – сказал Ганс.

– А, – сказал Банин. – Чушь. Это меня не интересует.

– А меня интересует, – сказал Горбовский. – Ведь ее могут включить снова. Правда, она под запретом Совета, но почему бы не снять запрет?

Альпа проворчал:

– Каждому времени свои злые волшебники и привидения.

– Кстати, о злых волшебниках, – подхватил Горбовский. – Я немедленно вспоминаю о казусе Чертовой Дюжины.

У Ганса горели глаза.

– Казус Чертовой Дюжины – как же! – сказал Банин. – Тринадцать фанатиков... Кстати, где они сейчас?

– Позвольте, позвольте, – сказал Альпа. – Это те самые ученые, которые сращивали себя с машинами? Но ведь они же погибли.

– Говорят, да, – сказал Горбовский, – но ведь не в этом дело. Прецедент

создан.

– А что, – сказал Банин. – Их называют фанатиками, но в них, по-моему, есть что-то притягательное. Избавиться от всех этих слабостей, страстей, вспышек эмоций... Голый разум плюс неограниченные возможности совершенствования организма. Исследователь, которому не нужны приборы, который сам себе прибор и сам себе транспорт. И никаких очередей за ульмотронами... Я это себе прекрасно представляю. Человек-флаер, человек-реактор, человек-лаборатория. Неуязвимый, бессмертный...

– Прошу прощения, но это не человек, – проворчал Альпа. – Это Массачусетская машина.

– А как же они погибли, если они бессмертны? – спросил Ганс.

– Разрушили сами себя, – сказал Горбовский. – Видимо, не сладко быть человеком-лабораторией.

Из-за машин появился багровый от напряжения человек с цилиндром ульмотрона на плече. Банин соскочил с ящика и побежал помочь ему. Горбовский задумчиво наблюдал, как они грузят ульмотрон в вертолет. Багровый человек жаловался:

– Мало того, что дают один вместо трех. Мало того, что теряешь половину дня. Тебе еще приходится доказывать, что ты имеешь право! Тебе не верят! Вы можете себе это представить – тебе не верят! Не верят!!!

Когда Банин вернулся, Альпа сказал:

– Все это довольно фантастично. Если вас интересует тыл, обратите лучше пристальное внимание на Волну. Каждая неделя – очередная нуль-транспортировка. И каждая нуль-транспортировка вызывает Волну. Большое или маленькое извержение. А занимаются Волной дилетантски. Не получилось бы второй Массачусетской машины, только без выключателя. Камилл – вы знаете Камилла? – рассматривает ее как явление планетарного масштаба, но его аргументы неудобопонятны. С ним очень трудно работать.

– Кстати, – сказал Ганс, – знаете точку зрения Камилла на будущее? Он считает, что нынешняя увлеченность наукой – это своего рода благодарность за изобилие, инерция тех времен, когда способность к логическому восприятию мира была единственной надеждой человечества. Он говорил так: «Человечество накануне раскола. Эмоциолисты и логики – по-видимому, он имеет в виду людей искусства и людей науки – становятся чужими друг другу, перестают друг друга понимать и перестают друг в друге нуждаться. Человек рождается эмоциолистом или логиком. Это лежит в самой природе человека. И когда-нибудь человечество расколется на два общества, так же чуждых друг другу, как мы чужды леонидянам...»

– А, – сказал Банин. – Ну что за чепуха. Какой там раскол? Куда денется средний человек? Пагава, может быть, и смотрит на новую картину Сурда как баран на новые ворота, а Сурд, возможно, не понимает, зачем на свете существует Пагава, тут ничего не скажешь – вот тебе логик, а вот эмоциолист. А кто я? Да, я научный работник. Да, три четверти моего времени и три четверти моих нервов принадлежат науке. Но без искусства я тоже не могу! Вот у кого-то здесь играет проигрыватель, и мне очень хорошо. Я бы обошелся и без проигрывателя, но с ним мне гораздо лучше... Так вот, как же я, спрашивается, расколюсь?

– Я тоже так думаю, – сказал Ганс. – Но он говорил, что, во-первых, гений нашего времени – это средний человек будущего; а во-вторых, будто существует не один средний человек, а два – эмоциолист и логик. Во всяком случае, так я его понял.

– Я тобой восхищаюсь, – сказал Банин. – По-моему, когда слушаешь Камилла, понять нельзя ничего.

– А может быть, это был очередной парадокс Камилла? – сказал Горбовский задумчиво. – Он любит парадоксы. Впрочем, для парадокса это рассуждение, пожалуй, слишком прямолинейно.

– Ну, Леонид Андреевич, – сказал Ганс весело. – Вы все-таки учитывайте, что это не Камилловы рассуждения, а мои. Я вчера загорал на пляже, вдруг на камне возник Камилл – знаете его манеру? – и начал рассуждать вслух, обращаясь преимущественно к морским волнам. А я лежал и слушал, а потом заснул.

Все засмеялись.

– Камилл упражняется, – сказал Горбовский. – Я примерно представляю, зачем ему понадобился этот раскол. Видимо, его занимает вопрос об эволюции человека, и он строит модели. Синтез логика и эмоциолиста представляется ему, вероятно, как новый человек, который уже не будет человеком.

Альпа вздохнул и спрятал трубку.

– Проблемы, проблемы... – сказал он. – Противоречия, синтез, тыл, фронт... А вы заметили, кто здесь сидит? Вы, вы... он... я... Неудачники. Отверженные науки. Наука вон – получает ульмотроны.

Он хотел сказать еще что-то, но тут громкоговоритель заревел снова:

– Внимание, Радуга! Говорит директор. Капитан звездолета «Тариэль-Второй» Леонид Андреевич Горбовский. План-энергетик планеты товарищ Канэко. Прошу немедленно явиться ко мне.

Из машины сейчас же высунулись водители. На лицах их было написано неописуемое удовольствие. Все они смотрели на

лжезвездолетчиков. Банин, втянув голову в плечи, развел руками. Ганс весело крикнул: «Это не меня, я штурман!» Альпа закряхтел и закрыл лицо ладонью. Горбовский торопливо поднялся.

– Мне пора, – сказал он. – Очень не хочется уходить. Я так и не успел высказаться. Вот вкратце моя точка зрения. Не надо огорчаться и заламывать руки. Жизнь прекрасна. Между прочим, именно потому, что нет конца противоречиям и новым поворотам. А что касается неизбежных неприятностей, то я очень люблю Куприна, и у него есть один герой, человек вконец спившийся водкой и несчастный. Я помню наизусть, что он там говорит. – Он откашлялся. – «Если я попаду под поезд, и мне перережут живот, и мои внутренности смешаются с песком и намотаются на колеса, и если в этот последний миг меня спросят: «Ну что, и теперь жизнь прекрасна?» – я скажу с благодарным восторгом: «Ах, как она прекрасна!» – Горбовский смущенно улыбнулся и запихнул проигрыватель в карман. – Это было сказано три века назад, когда человечество еще стояло на четвереньках. Давайте не будем жаловаться!.. А кондиционер я вам оставлю – здесь очень жарко.

ГЛАВА 5

Матвей был не один. На его столе, подложив под себя руки и болтая ногами, сидел маленький черноволосый человек, черноглазый, живой, похожий на школьника-выпускника. Это был Этьен Ламондуа, глава современной нуль-физики, «быстрый физик», как его называли коллеги.

– Можно? – спросил Горбовский.

– А вот и он, – сказал Матвей. – Вы знакомы?

Ламондуа стремительно соскочил со стола и, подойдя вплотную, крепко пожал Горбовскому руку, глядя на него снизу вверх.

– Рад вас видеть, капитан, – сказал он, мило улыбаясь. – Мы как раз говорили о вас.

Горбовский попятился и сел в кресло.

– А мы – о вас, – сказал он.

Этьен живо поклонился и вернулся на стол к директору.

– Итак, я продолжаю. «Харибды» стоят насмерть. Надо отдать Маляеву справедливость: он создал отличные машины. Любопытно, что северная Волна совершенно нового типа. Эти мальчишки уже успели назвать ее. П-волна, каково? По имени носатого Шота. Черт возьми, я вынужден признаться, что рву на себе волосы! Как я раньше не обращал внимания на это великолепное явление? Придется извиниться перед Аристотелем. Он оказался прав. Он и Камилл. Я преклоняюсь перед Камиллом. Я преклонялся перед ним и раньше, но теперь я, кажется, понимаю, что он имел в виду. Кстати, вы знаете, что Камилл погиб?

Матвей дернул головой.

– Опять?

– А, вы уже знаете! Странная история. Погиб и снова воскрес. Я слыхал о таких вещах. На свете нет ничего нового. То же самое было с Христом. Между прочим, вы верите, что Скляров мог бросить его на съедение Волне? Я – нет. Итак, северная Волна достигла пояса контрольных станций. Первая, Лю-волна, рассеяна, вторая, П-волна, теснит «харибд» со скоростью до двадцати километров в час. Так что северные посевы, вероятно, все-таки погибнут. Биологов пришлось выслать на вертолетах...

– Знаю, – сказал директор. – Жаловались.

– Что поделаешь! Они вели себя хотя и понятным образом, но тем не менее недостойно. На океане движение Волны приостановлено. Там

наблюдается явление, за которое Лю отдал бы полжизни: деформация кольцевой Волны. Эта деформация удовлетворяет каппа-уравнению, а если Волна – это каппа-поле, то становится сразу ясно все, над чем бился наш бедный Маляев: и Д-проницаемость, и телегенность фонтанов, и «вторичные призраки»... Черт возьми, за эти три часа мы узнали о Волне больше, чем за десять лет! Матвей, учтите: как только все это кончится, нам понадобится У-регистратор, может быть, даже два. Считайте, что я дал заявку. Обычные вычислители не помогут. Только Лю-алгоритмы, только Лю-логика!

– Хорошо, хорошо, – сказал Матвей. – А что на юге?

– На юге – океан. За юг вы можете быть спокойны. Там Волна дошла до Берега Пушкина, сожгла Южный Архипелаг и остановилась. У меня такое впечатление, что она не пойдет дальше, и очень жаль, потому что наблюдатели удирали оттуда так поспешно, что бросили всю автоматику, и о южной Волне мы почти ничего не знаем. – Он с досадой щелкнул пальцами. – Я понимаю, вас интересует совсем другое. Но что делать, Матвей! Давайте смотреть на вещи реалистически. Радуга – это планета физиков. Это наша лаборатория. Энергостанции погибли, и их не вернешь. Когда закончится этот эксперимент, мы их отстроим заново, вместе. Нам ведь понадобится много энергии! А что касается рыбных промыслов, черт возьми... Нулевики морально готовы отказаться от ухи из кальмаров! Не сердись на нас, Матвей.

– Я не сержусь, – сказал директор с тяжелым вздохом. – Но есть, однако, в вас что-то от ребенка, Этьен. Вы как ребенок, играючи ломаете все, что так дорого взрослым. – Он снова вздохнул. – Постарайтесь сберечь хоть бы южные посевы. Очень мне не хочется терять автономию.

Ламондуа посмотрел на часы, кивнул и, не говоря ни слова, выскочил вон. Директор посмотрел на Горбовского.

– Как тебе это нравится, Леонид? – спросил он, невесело усмехаясь. – Да, дружище. Бедная Постышева! Она ангел по сравнению с этими вандалами. Когда я думаю, что ко всем моим болячкам прибавятся еще хлопоты по восстановлению системы снабжения и ассенизации, у меня волосы встают дыбом. – Он подергал себя за ус. – А с другой стороны, Ламондуа прав – Радуга действительно планета физиков. Но что скажет Канэко, что скажет Джина... – Он помотал головой и передернул плечами. – Да! Канэко! А где Канэко?

– Матвей, – сказал Горбовский, – а можно мне узнать, зачем ты меня вызвал?

Директор, повернувшись к нему спиной, возился с клавишами

селектора.

– Тебе удобно? – спросил он.

– Да, – сказал Горбовский. Он уже лежал.

– Может, тебе пить хочется?

– Хочется.

– Возьми в холодильнике. Может, тебе есть хочется?

– Еще нет, но скоро захочется.

– Вот тогда и поговорим. А пока не мешай мне работать.

Горбовский достал из холодильника соки и стакан, смешал себе коктейль и снова лег в кресло, откинув спинку. Кресло было мягкое, прохладное, коктейль был ледяной и вкусный. Он лежал, прихлебывая из стакана, с полузакрытыми от удовольствия глазами и слушал, как директор разговаривает с Канэко. Канэко сказал, что не может выбраться – его не пускают. Директор спросил: «Кто не пускает?» – «Здесь сорок человек, – ответил Канэко, – и каждый не пускает». – «Сейчас я пришлю к тебе Габу», – сказал директор. Канэко возразил, что здесь и так достаточно шумно. Тогда Матвей рассказал о Волне и напомнил извиняющимся тоном, что Канэко, помимо всего прочего, является начальником СИБ Радуги. Канэко сердито сказал, что он этого не помнит, и Горбовский ему посочувствовал.

Начальники Службы индивидуальной безопасности всегда вызывали у него чувство жалости и сострадания. На каждую освоенную, а иногда и не совсем еще освоенную планету рано или поздно начинали прибывать аутсайдеры – туристы, отпускники (всей семьей и с детьми), свободные художники, ищущие новых впечатлений, неудачники, ищущие одиночества или работы потруднее, разнообразные дилетанты, спортсмены-охотники и прочий люд, не числившийся ни в каких списках, никому на планете не известный, ни с кем не связанный и зачастую старательно уклонявшийся от каких-либо связей. Начальник СИБ был обязан лично знакомиться с каждым из аутсайдеров, инструктировать их и следить, чтобы каждый аутсайдер давал ежедневно о себе знать сигналом на регистрирующую машину. На зловещих планетах типа Яйлы или Пандоры, где новичка на каждом шагу подстерегали всевозможные опасности, команды СИБ спасли не одну человеческую жизнь. Но на плоской, как доска, Радуге, с ее ровным климатом, убогим животным миром и ласковым, всегда тихим морем, СИБ неизбежно должна была превратиться и, судя по всему, превратилась в пустую формальность. И вежливый, корректный Канэко, чувствуя двусмысленность своего положения, занимался, конечно, не инструктажем литераторов, приехавших поработать в одиночестве, и не

прослеживанием замысловатых маршрутов влюбленных и молодоженов, а своим планированием или каким-нибудь другим настоящим делом.

– Сколько сейчас на Радуге аутсайдеров? – спросил Матвей.

– Человек шестьдесят. Может быть, немного больше.

– Канэко, дружище, всех аутсайдеров надо немедленно разыскать и переправить в Столицу.

– Я не совсем понимаю, в чем смысл этого мероприятия, – вежливо сказал Канэко. – В угрожаемых районах аутсайдеры практически никогда не бывают. Там голая сухая степь, там дурно пахнет, очень жарко...

– Пожалуйста, не будем спорить, Канэко, – попросил Матвей. – Волна есть Волна. В такое время лучше, чтобы все незаинтересованные люди были под рукой. Сейчас сюда придет Габа со своими бездельниками, и я пошлю его к тебе. Организуй там.

Горбовский, отложив соломинку, отхлебнул прямо из стакана. Камилл погиб, подумал он. А погибнув, воскрес. Со мной такие вещи тоже бывали. Видно, эта пресловутая Волна вызвала порядочную панику. Во время паники всегда кто-нибудь гибнет, а потом ты очень удивляешься, встретив его в кафе в миллионе километров от места гибели. Физиономия у него поцарапана, голос хриплый и бодрый, он слушает анекдоты и убирает шестую порцию маринованных креветок с сычуаньской капустой.

– Матвей, – позвал он. – А где сейчас Камилл?

– Ах да, ты еще не знаешь, – сказал директор. Он подошел к столику и стал смешивать себе коктейль из гранатового сока и ананасного сиропа. – Со мной говорил Маляев из Гринфилда. Камилл каким-то образом оказался на передовом посту, задержался там и попал под Волну. Какая-то запутанная история. Этот Скляров – наблюдатель – примчался на Камилловом флаере, закатил истерику и заявил, что Камилл раздавлен, а через десять минут Камилл выходит на связь с Гринфилдом, по обыкновению пророчествует и снова исчезает. Ну разве можно после таких вот выходок принимать Камилла всерьез?

– Да, Камилл большой оригинал. А кто такой Скляров?

– Наблюдатель у Маляева, я же тебе говорю. Очень старательный, милый парень, очень недалекий... Предполагать, что он предал Камилла, – это же нелепо. Вечно Маляеву приходят в голову какие-то дикие мысли...

– Не обижай Маляева, – сказал Горбовский. – Он просто логичен. Впрочем, не будем об этом. Будем лучше о Волне.

– Будем, – рассеянно сказал директор.

– Это очень опасно?

– Что?

– Волна. Она опасна?

Матвей засопел.

– В общем-то Волна смертельно опасна, – сказал он. – Беда в том, что физики никогда не знают заранее, как она будет себя вести. Она, например, может в любой момент рассеяться. – Он помолчал. – А может и не рассеяться.

– И укрыться от нее нельзя?

– Не слыхал, чтобы кто-нибудь пробовал. Говорят, что это довольно страшное зрелище.

– Неужели ты не видел?

Усы Матвея грозно встопорщились.

– Ты мог бы заметить, – сказал он, – что у меня мало времени мотаться по планете. Я все время кого-нибудь жду, кого-нибудь умиротворяю, или кто-нибудь меня ждет... Уверяю тебя, если бы у меня было свободное время...

Горбовский осторожненько осведомился:

– Матвей, я, наверное, понадобился тебе, чтобы искать аутсайдеров, не так ли?

Директор сердито взглянул на него.

– Захотел есть?

– Н-нет.

Матвей прошелся по кабинету.

– Я скажу тебе, что меня расстраивает. Во-первых, Камилл предсказывал, что этот эксперимент окончится неблагополучно. Они не обратили на это никакого внимания. Я, следовательно, тоже. А теперь Ламондуа признает, что Камилл был прав...

Дверь распахнулась, и в кабинет, блестя великолепными зубами, ввалился молодой громадный негр в коротких белых штанах, в белой куртке и в белых туфлях на босу ногу.

– Я прибыл! – объявил он, взмахнув огромными руками. – Что ты хочешь, о господин мой директор? Хочешь, я разрушу город или построю дворец? Хотел я, угадав твои желания, прихватить для тебя красивейшую из женщин, по имени Джина Пикбридж, но чары ее оказались сильнее, и она осталась в Рыбачьем, откуда и шлет тебе нелестные приветы.

– Я абсолютно ни при чем, – сказал директор. – Пусть шлет свои приветы Ламондуа.

– Воистину, пусть! – воскликнул негр.

– Габа, – сказал директор, – ты знаешь о Волне?

– Разве это Волна? – презрительно сказал негр. – Вот когда в

стартовую камеру войду я и Ламондуа нажмет пусковой рычаг, вот тогда будет настоящая Волна! А это вздор, зыбь, рябь! Но я слушаю тебя и готов повиноваться.

– Ты с бригадой? – спросил директор терпеливо. Габа молча показал на окно. – Ступай с ними на космодром, ты поступаешь в распоряжение Канэко.

– На голове и на глазах, – сказал Габа. В тот же момент здоровенные глотки за окном грянули под банджо на мотив псалма «У стен Иерихонских»:

На веселой Радуге,
Радуге, Радуге...

Габа в один шаг очутился у окна и гаркнул:

– Ти-хо!

Песня смолкла. Тонкий чистый голос жалобно протянул:

Dig my grave both long and narrow,
Make my coffin neat and strong!..[3]

– Я иду, – с некоторым смущением сказал Габа и мощным прыжком перемахнул через подоконник. За окном взревели.

– Дети... – проворчал директор, ухмыляясь. Он опустил раму. – Застоялись младенцы. Не знаю, что я буду делать без них.

Он остался стоять у окна, и Горбовский, прикрыв глаза, смотрел ему в спину. Спина была широченная, но почему-то такая сгорбленная и несчастная, что Горбовский забеспокоился. У Матвея, звездолетчика и десантника, просто не могло быть такой спины.

– Матвей, – сказал Горбовский. – Я тебе правда нужен?

– Да, – сказал директор. – Очень. – Он все смотрел в окно.

– Матвей, – сказал Горбовский. – Расскажи мне, в чем дело.

– Тоска, предчувствия, заботы, – продекламировал Матвей и замолчал.

Горбовский поерзал, устраиваясь, тихонько включил проигрыватель и так же тихонько сказал:

– Ладно, дружок. Я посижу здесь с тобой просто так.

– Угу. Ты уж посиди, пожалуй.

Грустно и лениво звенела гитара, за окном пылало горячее пустое

небо, а в кабинете было прохладно и сумеречно.

– Ждать. Будем ждать, – громко сказал директор и вернулся в свое кресло.

Горбовский промолчал.

– Да! – сказал он. – Какой же я невежливый! Я совсем забыл. Что Женечка?

– Спасибо, хорошо.

– Она не вернулась?

– Нет. Так и не вернулась. По-моему, она теперь и думать об этом не хочет.

– Все Алешка?

– Конечно. Просто удивительно, как это оказалось для нее важно.

– А помнишь, как она клялась: «Вот пусть только родится!..»

– Я все помню. Я помню такое, чего ты и не знаешь. Она с ним сначала ужасно мучилась. Жаловалась. «Нет, – говорит, – у меня материнского чувства. Урод я. Дерево». А потом что-то случилось. Я даже не заметил как. Правда, он очень славный поросенок. Очень ласковый и умница. Гулял я с ним однажды вечером в парке. Вдруг он спрашивает: «Папа, что это приседает?» Я сначала не понял. Потом... Понимаешь, ветер, качается фонарь, и тени от него на стене. «Приседает». Очень точный образ, правда?

– Правда, – сказал Горбовский. – Писатель будет. Только хорошо бы отдать его все-таки в интернат.

Матвей махнул рукой.

– Не может быть и речи, – сказал он. – Она не отдаст. И ты знаешь, сначала я спорил, а потом подумал: «Зачем? Зачем отнимать у человека смысл жизни?» Это ее смысл жизни. Мне это недоступно, – признался он, – но я верю, потому что вижу. Может быть, дело в том, что я много старше ее. И слишком поздно для меня появился Алешка. Я иногда думаю, как бы я был одинок, если бы не знал, что каждый день могу его видеть. Женька говорит, что я люблю его не как отец, а как дед. Что ж, очень может быть. Ты понимаешь, о чем я говорю?

– Понимаю. Но мне это незнакомо. Я, Матвей, никогда не был одиноким.

– Да, – сказал Матвей. – Сколько я тебя знаю, вокруг тебя все время крутятся люди, которым ты позарез нужен. У тебя очень хороший характер, тебя все любят.

– Не так, – сказал Горбовский. – Это я всех люблю. Прожил я чуть не сотню лет и, представь себе, Матвей, не встретил ни одного неприятного человека.

– Ты очень богатый человек, – проговорил Матвей.

– Кстати, – вспомнил Горбовский. – Вышла в Москве книга. «Нет горше твоей радости», Сергея Волкового. Очередная бомба эмоциолистов. Генкин разразился желчной статьей. Очень остроумно, но неубедительно: литература, мол, должна быть такой, чтобы ее было приятно препарировать. Эмоциолисты ядовито смеялись. Наверное, все это продолжается до сих пор. Никогда я этого не пойму. Почему они не могут относиться друг к другу терпимо?

– Это очень просто, – сказал Матвей. – Каждый воображает, что делает историю.

– Но он делает историю! – возразил Горбовский. – Каждый действительно делает историю! Ведь мы, средние люди, все время так или иначе находимся под их влиянием.

– Не хочется мне об этом спорить, – сказал Матвей. – Некогда мне об этом думать, Леонид. Я под их влиянием не нахожусь.

– Ну, давай не будем спорить, – сказал Горбовский. – Давай выпьем сока. Если хочешь, я даже могу выпить местного вина. Но только если это действительно тебе поможет.

– Мне сейчас поможет одно. Ламондуа явится сюда и разочарованно скажет, что Волна рассеялась.

Некоторое время они молча пили сок, поглядывая друг на друга поверх бокалов.

– Что-то давно к тебе никто не звонит, – сказал Горбовский. – Даже как-то странно.

– Волна, – сказал Матвей. – Все заняты. Раздоры забыты. Все удирают.

Дверь в глубине кабинета отворилась, и на пороге появился Этьен Ламондуа. Лицо у него было задумчивое, и двигался он необычайно медленно и размеренно. Директор и Горбовский молча смотрели, как он идет, и Горбовский почувствовал какое-то неприятное тошное ощущение под ложечкой. Он еще представления не имел о том, что происходит или произошло, но уже знал, что уютно лежать больше не придется. Он выключил проигрыватель.

Подойдя к столу, Ламондуа остановился.

– Кажется, я огорчу вас, – медленно и ровно сказал он. – «Харибды» не выдержали. – Голова Матвея ушла в плечи. – Фронт прорван на севере и на юге. Волна распространяется с ускорением десять метров в секунду за секунду. Связь с контрольными станциями прервана. Я успел отдать приказ об эвакуации ценного оборудования и архивов. – Он повернулся к Горбовскому. – Капитан, мы надеемся на вас. Будьте добры, скажите, какая

у вас грузоподъемность?

Горбовский, не отвечая, смотрел на Матвея. Глаза директора были закрыты. Он бесцельно гладил поверхность стола огромными ладонями.

– Грузоподъемность? – повторил Горбовский и встал. Он подошел к директорскому пульту, нагнулся к микрофону всеобщего оповещения и сказал: – Внимание, Радуга! Штурману Валькенштейну и бортинженеру Диксону срочно явиться на борт звездолета.

Потом он вернулся к Матвею и положил руку ему на плечо.

– Ничего страшного, дружок, – сказал он. – Поместимся. Отдай приказ эвакуировать Детское. Я займусь яслями. – Он оглянулся на Ламондуа. – А грузоподъемность у меня маленькая, Этьен, – сказал он.

Глаза у Этьена Ламондуа были черные и спокойные – глаза человека, знающего, что он всегда прав.

ГЛАВА 6

Роберт видел, как все это произошло.

Он сидел на корточках на плоской крыше башни дальнего контроля и осторожно отсоединял антенны-приемники. Их было сорок восемь – тонких тяжелых стерженьков, вмонтированных в скользящую параболическую раму, и каждый нужно было аккуратно вывернуть и со всеми предосторожностями уложить в специальный футляр. Он очень торопился и то и дело поглядывал через плечо на север.

Над северным горизонтом стояла высокая черная стена. По гребню ее, там, где она упиралась в тропопаузу, шла ослепительная световая кайма, а еще выше в пустом небе вспыхивали и гасли бледные сиреневые разряды. Волна надвигалась неодолимо, но очень медленно. Не верилось, что ее сдерживает редкая цепь неуклюжих машин, казавшихся отсюда совсем маленькими. Было как-то особенно тихо и знойно, и солнце казалось особенно ярким, как в предгрозовые минуты на Земле, когда все затихает и солнце еще светит вовсю, но полнеба уже закрыто черно-синими тяжелыми тучами. В этой тишине было что-то особенно зловещее, непривычное, почти потустороннее, потому что обыкновенно наступающая Волна бросала впереди себя многобалльные ураганы и рев бесчисленных молний.

А сейчас было совсем тихо. До Роберта отчетливо доносились торопливые голоса с площади внизу, где в тяжелый вертолет навалом грузили особо ценное оборудование, дневники наблюдений, записи автоматических приборов. Было слышно, как Пагава гортанно бранит кого-то за то, что преждевременно сняли анализаторы, а Маляев неспешно обсуждает с Патриком сугубо теоретический вопрос о вероятном распределении зарядов в энергетическом барьере над Волной. Все население Гринфилда собралось сейчас в этой башне под ногами Роберта и на площади. Взбунтовавшиеся биологи и две компании туристов, остановившиеся накануне в поселке на ночлег, были отправлены за полосу посевов. Биологов отправили на птерокаре вместе с лаборантами, которым Пагава приказал оборудовать за полосой посевов новый наблюдательный пункт, а за туристами прибыл специальный аэробус из Столицы. И биологи, и туристы были очень недовольны; и когда они улетели, в Гринфилде остались только довольные.

Роберт работал почти машинально и, как всегда, работая руками, думал о самых разных вещах. Очень болит плечо. Странно: плечом нигде

не стукался. Живот саднит, ну, живот понятно – когда споткнулся об ульмотрон. Интересно, как сейчас выглядит этот ульмотрон. И как выглядит мой птерокар. И как выглядит... Интересно, что здесь будет через три часа. Цветники жалко... Детишки целое лето трудились, выдумывали самые фантастические сочетания цветов. И тогда мы познакомились с Таней. Та-ня, – тихонько позвал он. Как ты там сейчас? Он прикинул расстояние от фронта Волны до Детского. Безопасно, подумал он с удовлетворением. Они там, наверное, и не знают о том, что Волна, что взбунтовались биологи, что я чуть не погиб, что Камилл...

Он выпрямился, вытер лицо тыльной стороной ладони и посмотрел на юг, на бесконечные зеленые поля хлеба. Он пытался думать о гигантских стадах мясных коров, которых перегоняют сейчас в глубь континента; о том, как много придется работать над восстановлением Гринфилда, когда рассеется Волна; и как неприятно после двухлетнего изобилия снова возвращаться к синтепище, к искусственным бифштексам, к грушам с привкусом зубной пасты, к хлорелловым «супам сельским», к котлетам бараньим квазибиотическим и к прочим чудесам синтеза, будь они неладны... Он думал о чем попало, но он ничего не мог сделать.

Никуда не уйти от удивленных глаз Пагавы, от ледяного тона Маляева, от преувеличенно-участливого обращения Патрика. Самое страшное, что ничего нельзя сделать. Что со стороны это должно выглядеть, мягко выражаясь, странно. А зачем, собственно, выражаться мягко? Это выглядит попросту однозначно. Испуганный наблюдатель в растерзанном виде прилетает в чужом флаере и заявляет о гибели товарища. А товарищ, оказывается, был жив. Товарищ, оказывается, погиб уже после, когда испуганный наблюдатель удирал на его флаере. Но он же был раздавлен насмерть, в десятый раз повторял про себя Роберт. А может быть, это был просто бред? Может быть, я перепугался до бреда? Никогда не слыхал о таких вещах. Но ведь и о том, что случилось – если это случилось, – я тоже никогда не слышал. Ну и пусть, в отчаянии подумал он. Пусть не верят. Танюшка поверит. Только бы она поверила! А им все равно, они о Камилле забыли сразу. Они будут вспоминать о нем, только когда будут видеть меня. И будут смотреть на меня своими теоретическими глазами, и анализировать, и сопоставлять, и взвешивать. И строить наименее противоречивые гипотезы, и только правды они никогда не узнают... И я тоже никогда не узнаю правды.

Он вывернул последнюю антенну, уложил ее в футляр, затем собрал все футляры в плоский картонный ящик, и тут с севера донесся гулкий хлопок, словно в огромном пустом зале лопнул воздушный шарик.

Обернувшись, Роберт увидел, как на аспидно-черном фоне Волны встает длинный белый факел. Горела «харибда». Сейчас же внизу смолкли голоса, взвыл и заглох работавший вхолостую мотор вертолета. Наверное, все там прислушивались и смотрели на север. Роберт еще не понял, что произошло, когда затряслось, задребезжало и из-под башни, подминая уцелевшие пальмы, поползла резервная «харибда», задирая на ходу раструб поглотителя. На открытом месте она взревела так, что заложило уши, и покатилась на север затыкать прорыв, окутавшись облаком рыжей пыли.

Дело было довольно обычное: одна из «харибд» не успела отвести в базальт избыток энергии из емкостей, и Роберт уже нагнулся за картонным ящиком, но тут у подножия черной стены что-то ярко вспыхнуло, взлетел веер разноцветного пламени, и еще один столб белого дыма, наливаясь и густея на глазах, потянулся к небу. Докатился новый хлопок. Внизу дружно закричали, и Роберт сразу увидел далеко к востоку еще несколько факелов. «Харибды» вспыхивали одна за другой, и через минуту тысячекилометровая стена Волны, напоминавшая теперь классную доску, исчерченную мелом, качнулась и поползла вперед, выбрасывая перед собой в степь черные вспухающие кляксы. Роберт с трудом глотнул пересохшим горлом и, подхватив ящик, побежал вниз по лестнице.

По коридорам метались люди. Пробежала перепуганная Зиночка, прижимая к груди пачку коробок с пленкой. Гасан Али-заде и Карл Гофман со сверхъестественной скоростью волокли к выходу громоздкий саркофаг лабораторного хемостазера – их словно ветром несло. Кто-то звал: «Идите сюда! Не могу я один! Гасан!..» В вестибюле зазвенело разбитое стекло. Зафыркали моторы на площади. В диспетчерской, топча разбросанные карты и бумаги, прыгал перед экраном Пагава и нетерпеливо кричал: «Почему не слышишь? «Харибды» горят! Горят «харибды», говорю! Волна пошла! Ничего, понимаешь, не слышу!.. Этьен! Если понял, кивни!..»

Роберт, морщась от боли, взвалил коробку на плечо и стал спускаться в вестибюль. Позади кто-то, шумно дыша, грохотал по ступенькам. Вестибюль был усеян оберточной бумагой и обломками какого-то прибора. Дверь из небьющегося стекла была расколота вдоль. Роберт боком протиснулся на крыльцо и остановился. Он увидел, как один за другим уходят в небо битком набитые птерокары. Он увидел, как Маляев, молча, с каменным лицом, впихивает в последний птерокар девушек-лаборанток. Он увидел, как Гасан и Карл, разевая от натуги рты, пытаются закинуть свой саркофаг в дверцу вертолета, а кто-то изнутри старается им помочь, и каждый раз саркофаг бьет его по пальцам. Он увидел Патрика, совершенно спокойного, сонного Патрика, прислонившегося спиной к заднему фонарю

вертолета с видом сосредоточенным и задумчивым. А повернув голову, он увидел чуть ли не над собой угольно-черную стену Волны, бархатным занавесом закрывающую небо.

– Перестаньте же грузить! – закричал у него над ухом Пагава. – Опомнитесь! Немедленно бросьте этот гроб!

Хемостазер с тяжким звоном рухнул на бетон.

– Выбрасывайте все! – кричал Пагава, сбегая с крыльца. – Всем в вертолет немедленно! Не видите, да? Я кому говорю, Скляров! Патрик, заснул?!

Роберт не двигался с места. Патрик тоже. В это время Маляев, навалившись, захлопнул дверцу птерокара и замахал руками. Птерокар растопырил крылья, тяжело подпрыгнул и, перекосившись на борт, ушел за крыши. Из вертолета летели ящики. Кто-то вопил плачущим голосом: «Не дам, Шота Петрович! Это я им не дам!..» – «Дашь, голубчик! – ревел Пагава. – Еще как дашь!» К Пагаве подбежал Маляев, крича что-то и указывая на небо. Роберт поднял глаза. Маленький вертолет-наводчик, утыканный, как еж, антеннами, с ужасным воем перегретого двигателя пронесся над площадью и, быстро уменьшаясь, умчался на юг. Пагава воздел над головой стиснутые кулаки.

– Куда? – заорал он. – Назад! Назад, шени деда! Прекратить панику! Остановить его!

Все это время Роберт стоял на крыльце, удерживая на ноющем плече тяжелый картонный ящик. У него было такое впечатление, будто он в кино. Вот разгружают вертолет. То есть попросту вываливают из него все, что попадает под руку. Вертолет действительно перегружен – это видно по просевшим шасси. Рядом с вертолетом толкутся. Сначала толклись с криками, а теперь замолчали. Гасан сосет косточки на пальцах – наверное, ободрался. Патрик, кажется, совсем заснул. Нашел время и, главное, место!.. Карл Гофман, человек педантичный (то, что называется «вдумчивый и осторожный ученый»), подхватывает летящие из вертолета ящики и пытается складывать их аккуратно – вероятно, для самоутверждения. Пагава нетерпеливо прыгает возле вертолета и все время поглядывает то на Волну, то на башню контроля. Ему явно не хочется улетать, и он жалеет, что он здесь старший. Маляев стоит в стороне и тоже смотрит на Волну – не отрываясь и с холодной враждой. А в тени коттеджа, где жил Патрик, стоит мой флаер. Интересно, кто его туда отвел и зачем? На флаер никто не обращает внимания, да он и не нужен никому: осталось человек десять, не меньше. Вертолет хороший, мощный, класса «гриф», но при таком грузе он пойдет с половинной скоростью. Роберт поставил ящик

на ступеньку.

– Не успеем, – сказал Маляев.

В голосе его была такая тоска и горечь, что Роберт удивился. Но он уже знал, что все успеют. Он подошел к Маляеву.

– Есть еще резервная «харибда», – сказал он. – Четверть часа вам хватит?

Маляев смотрел на него, не понимая.

– Есть две резервные «харибды», – холодно сказал он и вдруг понял.

– Ладно, – сказал Роберт. – Не забудьте Патрика. Он с той стороны вертолета.

Роберт повернулся и побежал. Вслед ему закричали, но он не оглянулся. Он бежал изо всех сил, перепрыгивая через брошенные аппараты, через грядки с декоративными растениями, через аккуратно подстриженные кусты с пахучими белыми цветами. Он бежал к западной окраине. Справа над крышами стояла черная бархатная стена, упиравшаяся в зенит, а слева палило ослепительное белое солнце. Роберт обогнул последний дом и сразу наткнулся на необъятную корму «харибды». Он увидел клочья зелени, застрявшие в сочленениях исполинских гусениц, растерзанные лепестки яркого цвета, прилипшие к траку, ободранный ствол молодой пальмы, торчащий между ленивцами, и, не поднимая глаз, полез наверх по узкому трапу, обжигая руки о накаленные солнцем перекладины. Все так же не поднимая глаз, он съехал на спине в кабину ручного управления, уселся в кресло, откинул стальную заслонку перед лицом, и вновь его руки заработали привычно, автоматически. Правая рука протянулась вперед и врубила ток, левая одновременно включила сцепление, перевела управление на ручное, а правая уже тянулась назад, отыскивая клавишу стартера; и когда все вокруг заревело, загрохотало и затряслось, левая, уже совершенно ни к чему, включила систему кондиционирования. Затем – уже сознательно – он нашарил рычаг управления поглотителем, отвел его до отказа на себя и только тогда решился посмотреть вперед через отброшенную заслонку.

Прямо перед ним была Волна. Вероятно, ни один человек после Лю еще никогда не был так близко от Волны. Она была просто черная, без малейших прожилок, и залитая солнцем степь до самого горизонта отчетливо рисовалась на ее фоне. Была видна каждая травинка, каждый кустик. Роберт видел даже землероек, желтыми столбиками ошарашенно замерших перед своими норками.

Над головой возник и начал стремительно нарастать сухой звенящий вой – заработал поглотитель. «Харибда» плавно раскачивалась на ходу. В

зеркале заднего вида прыгали в пыли здания поселка. Вертолета видно не было. Еще метров сто, нет, еще метров пятьдесят – и довольно. Он покосился налево, и ему почудилось, что стена Волны уже немного выгнулась. Впрочем, судить об этом было очень трудно. А может быть, и не успею, подумал вдруг он. Он не сводил глаз с белых дымных столбов, поднимающихся из-за горизонта. Дым рассеивался быстро и был теперь едва виден. Интересно, что могло гореть в «харибдах»?

Хватит, подумал он, нажимая на тормоз. А то не убежать. Он снова поглядел в зеркало заднего вида. Долго, ох, долго возятся, подумал он. Степь перед «харибдой» медленно темнела огромным треугольником, в вершине которого находился поглотитель. Землеройки вдруг беспокойно запрыгали, одна из них шагах в двадцати вдруг упала на спину, судорожно дергая лапками.

– Убегайте, дурачки! – сказал вслух Роберт. – Вам можно...

И тут он увидел вторую «харибду». Она стояла в полукилометре к востоку, жадно задрав черный раструб поглотителя, и перед ней точно так же темнела трава, ежась от нестерпимого холода.

Роберт ужасно обрадовался. Молодец, подумал он. Умница! Смельчак! Неужели Маляев? А почему бы нет? Ведь он тоже человек, и все человеческое ему не чуждо... А может, сам Пагава? Впрочем, его просто не пустят. Свяжут и сунут под сиденье и еще ногами придавят, чтобы не брыкался. Нет, молодец, молодец! Он толкнул бортовой люк, высунулся и закричал:

– Эге-ге! Держись, дружище! Вдвоем мы тут с тобой год простоим!..

Он посмотрел на приборы и сразу забыл обо всем. Емкости были на исходе: светящаяся стрелка под запыленным стеклом упиралась в ограничитель. Он быстро взглянул в зеркало заднего вида, и у него немного отлегло от сердца. В белом небе над крышами поселка висело быстро уменьшающееся темное пятнышко. Еще минут десять, подумал он. Теперь ясно было видно, что фронт Волны перед поселком прогнулся. Волна обтекала зону действия «харибд» с востока и с запада.

Роберт посидел немного, стиснув зубы. Вся его энергия уходила на то, чтобы отогнать видение обгорелого трупа в водительском кресле. Хорошо бы научиться по желанию выключать воображение... Он встрепенулся и принялся открывать все люки, какие только мог вспомнить. Тяжелый круглый люк над головой. Люк слева – настежь его! Люк справа уже приоткрыт – тоже настежь... Дверцу за спиной, ведущую в машинное отделение... Нет, ее лучше закрыть – взрыв происходит, наверное, именно там, в емкостях... На засов ее, на засов... Как раз в этот момент соседняя

«харибда» взорвалась.

Роберт услышал короткий оглушительный гром, его толкнуло горячим воздухом, и, высунувшись из люка, он увидел, что на месте соседа стоит огромная туча желтой пыли, закрывающая степь, и небо, и Волну, а в глубине тучи что-то тлеет ярким вздрагивающим светом. Что-то прошелестело в воздухе и звонко стукнулось о броню. Роберт глянул на приборы и одним движением выбросился через левый люк.

Он упал ничком в горячую сухую траву, сейчас же вскочил и, пригибаясь, пустился бегом к поселку. Так он не бегал никогда в жизни. Его «харибда» взорвалась, когда он был уже в палисаднике крайнего дома. Он даже не оглянулся, только втянул голову в плечи, согнулся еще ниже и побежал еще быстрее. Вечная тебе слава, твердил он. Вечная тебе слава!.. Потом он сообразил, что повторяет эти слова с того момента, когда увидел на месте соседней «харибды» этот жуткий столб пыли.

Площадь была пуста, газоны вытоптаны, всюду валялись ценнейшая уникальная аппаратура, коробки с уникальными записями, и легкий ветерок лениво перелистывал уникальные дневники уникальных наблюдений.

Тяжело дыша, Роберт пересек площадь и подбежал к флаеру. Двигатель флаера работал, а на водительском месте с обычным своим сонным видом сидел Патрик.

– Ну, вот и ты, – сказал Патрик ласково. Роберт ошарашенно смотрел на него. – Я уж думал, ты там остался. Садись скорее, надо уносить ноги. У нее скорость сейчас – ой-ей-ей!..

Роберт повалился на сиденье рядом с ним.

– Погоди, – сказал он, задыхаясь. – Может быть, второй... тоже спасся? Кто это был? Маляев, Гофман?..

Патрик неуклюже завертел рукояткой, выводя флаер для разгона.

– Второй – это я, – сказал он застенчиво.

– Ты?

– Я, – повторил Патрик и нервно хихикнул. Он вырулил флаер на дорожку и наконец поднял его. – Я почувствовал, что взрываюсь, вылез и убежал. Здорово громыхнуло, верно? Меня до самого поселка катило...

Поселок медленно повернулся под ними и скользнул назад. Ай да Патрик, подумал Роберт с недоумением.

– А моя посильнее грохнула, – заявил Патрик. – Как тебе кажется, Роб, а?..

– Куда ты летишь? – спросил Роберт.

– В Холодные Ручьи, – сказал Патрик. – Новая база будет там.

ГЛАВА 7

Роберт посмотрел через плечо. Ничего уже не было видно, кроме белесого неба и зеленых полей. Два раза я уже сегодня от нее уходил, подумал он. Не миновать и третьего.

– Что теперь будет? – спросил он.

Патрик выпятил толстые губы.

– Плохо будет. У нее огромный запас инерции.

– Ты пробовал подсчитать?

– Да.

– Ну?

Патрик тяжко вздохнул и ничего не ответил. Роберт, сдвинув брови, смотрел прямо перед собой. Потом он включил рацию флаера и настроился на Детское. Он несколько раз нажал на клавишу вызова, но Детское не отзывалось. Не надо беспокоиться, думал он. Летний праздник и все такое. Как странно, они еще ничего не знают. И пусть ничего не знают. Буду знать только я. Он опять спросил:

– Куда мы летим?

– Ты уже спрашивал.

– Ах, да... Патрик, дружище, тебе очень нужно в эти Ручьи?

– Конечно. Куда же нам еще?

Роберт откинулся на сиденье.

– Да, – сказал он. – Зря ты остался.

– В каком смысле «зря»?

– Ты можешь побыстрее?

– Могу...

– А еще быстрее?

Патрик промолчал. Двигатель клокотал, захлебываясь воздухом.

– Мы всегда торопимся, – пробормотал Патрик. – Всегда нас что-то или кто-то подгоняет. Быстрее, еще быстрее... А нельзя ли еще быстрее? Можно, отвечаем мы. Пожалуйста!.. Нет времени осмотреться. Нет времени подумать. Нет времени разобраться – зачем и стоит ли? А потом появляется Волна. И мы опять торопимся.

– Подавай больше горючего, – сказал Роберт. Он думал совсем о другом. – И держи правее.

Патрик замолчал. Внизу проносились зеленые поля созревающего хлеба, редкие белые домики синоптических станций. Было видно, как

прямо через хлеба гнали на юг скот. Киберпастухи казались с этой высоты крошечными блестящими звездочками. Все это было уже не нужно.

– Ты не слыхал что-нибудь о «Стреле»? – спросил Роберт.

– Нет. «Стрела» далеко. Она не успеет. Брось об этом думать, Роб!

– О чем же мне еще думать? – пробормотал Роберт.

– А ни о чем. Сядь поудобнее и смотри вокруг. Не знаю, как ты, а я ничего этого раньше не замечал. По-моему, я никогда даже не видел эту зеленую волну на хлебах от ветра... Волну! Тьфу! А знаешь, когда я все это впервые увидел? Знаешь? Когда смотрел в степь через железную заслонку на «харибде». Я все смотрел на эту черноту и вдруг увидел степь и понял, что всему конец. И мне стало ужасно жалко этого. А землеройки смотрели на Волну и ничего не понимали... И знаешь, что я открыл, Роб? Где-то мы просчитались.

Роберт молчал. Поздно спохватился, думал он. Надо было смотреть раньше, хотя бы в окно.

Внизу проплывали белые прямоугольники зданий, бетонированные площади, полосатые башни энергоантенн – это была одна из многочисленных энергетических станций северного пояса.

– Снижайся, – сказал Роберт.

– Куда?

– Вон площадь – видишь? – где птерокары.

Патрик глянул через борт.

– Действительно, – сказал он. – А зачем?

– Возьмешь себе птерокар, а мне отдашь флаер.

– Что ты задумал? – спросил Патрик.

– Полетишь дальше один. Мне в Ручьи не надо. Снижайся.

Патрик послушно пошел на посадку. Флаер он все-таки водил отвратительно. Роберт разглядывал площадь.

– Превосходная организация, – пробормотал он насмешливо. – Мы там давимся, все бросаем, а здесь на двух дежурных три птерокара.

Флаер неуклюже сел между птерокарами. Роберт прикусил язык.

– Ох! – сказал он. – Ну, вылезай, вылезай.

Патрик очень медленно и неохотно слез с сиденья.

– Роб, – сказал он неуверенно, – может быть, это не мое дело, но что же ты все-таки задумал?

Роберт проворно передвинулся на его место.

– Не беспокойся, ничего страшного. Ты справишься с птерокаром?

Патрик стоял, опустив руки, и лицо его приняло жалостливое выражение.

– Роб, – сказал он. – Смотри на вещи трезво. Над Волной плазмовый барьер в сто километров. Тебе не перепрыгнуть.

Роберт с изумлением посмотрел на него.

– Он уже давно погиб, – сказал Патрик. – Первый раз ты мог ошибиться, но теперь там прошла Волна.

– О чем ты? – спросил Роберт. – Я не собираюсь прыгать через Волну, будь она проклята. У меня есть дело поважнее. Прощай. Передай Маляеву, я не вернусь. Прощай, Патрик.

– Прощай, – сказал Патрик.

– Ты мне так и не сказал, справишься ты с птерокаром или нет?

– Справлюсь, – печально сказал Патрик. – Птерокар я знаю хорошо. Эх, Роб!..

Роберт круто взял на себя ручку управления, и когда он через пять минут оглянулся, энергостанция уже скрылась за горизонтом. До Детского было два часа лету. Роберт проверил горючее, послушал двигатель, перевел его на самый экономичный режим и включил киберпилот. Потом он снова попробовал вызвать Детское. Детское молчало. Роберт хотел выключить рацию, но подумал и переключил приемник на самонастройку.

– ...девятого класса Асмодей Барро нашел во время экскурсии окаменевшие организмы, напоминающие морских ежей. Место находки отстоит довольно далеко от побережья...

– ...совещание у директора. Здесь ходят какие-то странные слухи. Говорят, Волна дошла до Гринфилда. Не вернуться ли мне на базу? Сейчас, по-моему, не до ульмотронов.

– ...поставить своими силами не удастся. У нас нет Отелло. Если говорить откровенно, идея ставить Шекспира представляется мне абсурдной. Не думаю, чтобы мы оказались способны на новую интерпретацию, а ждать, пока...

– ...Витя, как ты меня слышишь? Витя, изумительная новость! Буллит раскодировал этот ген. Возьми бумагу и пиши. Шесть... Одиннадцать... Одиннадцать, говорю...

– Внимание, Радуга! Начальникам всех поисковых партий. Начать эвакуацию. Обратить особое внимание на то, чтобы все летательные транспортные средства класса не ниже «медузы» были доставлены в Столицу.

– ...небольшой голубой коттеджик прямо на берегу. Здесь очень свежий воздух, превосходное солнце. Я никогда не любила Столицу и никогда не понимала, зачем ее построили на экваторе. Что? Ну конечно, ужасно душно...

– ...Сойер! Сойер! Я Канэко. Немедленно меняй курс. Художники уже нашлись. Иди на юг. Разыщи третий вертолет. Третий вертолет не прибыл...

– Внимание, испытатели! Сегодня в четырнадцать часов состоится внеплановый нуль-запуск человека к Земле. Просьба прибыть в Институт не позже тринадцати часов...

– ...Ничего не понимаю. Никак не могу связаться с директором. Все каналы заняты. Ты не знаешь, что происходит?

– Адольф! Адольф! Умоляю, откликнись! Умоляю, возвращайся немедленно! Еще есть шанс попасть на звездолет!.. (Голос стал уплывать, но Роберт придержал верньер.) Страшная катастрофа! Почему-то об этом ничего не сообщают, но мне сказали, что Радуга обречена! Возвращайся немедленно! Я хочу быть с тобой сейчас...

Роберт отпустил верньер.

– ...как всегда. У Веселовского. Нет, Синица читает новые стихи. По-моему, любопытные. Мне кажется, они должны тебе понравиться. Нет, это, конечно, не шедевр, однако...

– ...Почему же, я все прекрасно понимаю. Но посуди сам, «Тариэль-Второй» – это десантный звездолет. Ты пробовал прикинуть, сколько людей он может взять? Нет, я уж останусь здесь. Вера тоже решила остаться. Не все ли равно, где...

– Следопыты, Следопыты! Место сбора – Столица. Все в Столицу! Забирайте с собой «кроты», будем рыть убежище. Может быть, успеем...

– ...«Тариэль», говорите? Знаю, как же, Горбовский. Да, грузоподъемность у него, к сожалению, невелика. Ну что ж... Я предлагаю приблизительно такой список: от дискретников – Пагава, от волновиков – Аристотель, может быть Маляев, от барьерщиков я бы рекомендовал Форстера... Ну и что же, что он старый? Он велик! Вам, голубчик, сорок лет, и вы, я вижу, плохо представляете себе психологию старика. Всего-то навсего осталось жить лет пять-десять, и то не дают...

– Габа! Габа! Слышал о нуль-запуске? Что? Занят? Вот странный человек... Я лечу в Институт. Почему же я с ума сошел? Да знаю я все это, знаю... Именно сейчас! А если вдруг получится? Ну, прощай. Ищи то, что от меня останется, где-нибудь возле Проциона...

– Опять физики что-то взорвали на Северном полюсе. Надо бы слетать посмотреть, но тут прибыл какой-то вертолет, и нас всех приглашают в Столицу... Ах, вас тоже? Странно!.. Ну, там увидимся.

Роберт выключил рацию. «Тариэль-Второй», десантник... Он взял управление от киберпилота и до предела увеличил обороты двигателя. Хлеба внизу кончились, началась полоса тропических лесов. Ничего нельзя

было разглядеть в пестрой желто-зеленой путанице, но Роберт знал, что там, под сенью исполинских деревьев, проходят прямые шоссе и по этим шоссе, вероятно, уже мчатся на запад машины с беженцами. Несколько тяжелых грузовых вертолетов прошло на юго-запад где-то возле самого горизонта. Они скрылись из виду, и Роберт снова остался один. Он вытащил радиофон и набрал номер Патрика. Патрик долго не откликался. Наконец послышался его голос:

– Алло?

– Патрик, это я, Скляров. Патрик, что известно о Волне?

– Все то же, Роб. Берег Пушкина затоплен. Аодзора сгорела. Рыбачий горит сейчас. Несколько «харибд» уцелело, их оттаскивают на буксире к Столице. А ты где?

– Это неважно, – сказал Роберт. – Сколько от Волны до Детского?

– До Детского? Зачем тебе Детское? До Детского далеко. Слушай, Роб, если уцелеешь, срочно лети в Столицу. Мы все там будем через полчаса. – Он вдруг хихикнул. – Маляева пытались всадить в звездолет. Жалко, тебя не было. Он разбил Гасану нос. А Пагава куда-то спрятался.

– А тебя не пытались всадить?

– Ну зачем же ты так, Роб...

– Ладно, извини. Значит, от Детского Волна пока далеко?

– Не то чтобы очень далеко... Час-полтора...

– Спасибо, Патрик. До свидания.

Роберт снова попытался связаться с Таней, на этот раз по радиофону. Он ждал пять минут. Таня не отвечала...

Детское было пусто. Над стеклянными спальнями, над садами, над пестрыми коттеджами висела тишина. Здесь не было того панического беспорядка, который оставили после себя нулевики в Гринфилде. Песчаные дорожки были аккуратно подметены, парты в саду стояли, как всегда, ровными рядами, постели были старательно прибраны. Только на дорожке перед Таниным коттеджем валялась на песке забытая кукла. Возле куклы сидел большеглазый пушистый ручной калям. Он старательно обнюхивал ее, поглядывая на Роберта с добродушным любопытством.

Роберт вошел в Танину комнату. Здесь было, как всегда, чисто, светло и хорошо пахло. На столе лежала раскрытая тетрадь, через спинку стула свисало большое махровое полотенце. Роберт потрогал его – оно было еще влажное.

Роберт постоял у стола, потом рассеянно скользнул взглядом по тетради. Он дважды прочел свое имя, прежде чем это дошло до его

сознания. Имя было написано большими печатными буквами.

«РОБИК! Нас спешно эвакуировали в Столицу. Ищи меня в Столице. Непременно найди! Нам еще ничего не говорили, но, кажется, надвигается что-то страшное. Ты мне нужен, Робик. Найди меня. Твоя Т.»

Роберт вырвал листок из тетради, сложил вчетверо и спрятал в карман. Он последний раз окинул взглядом Танину комнату, открыл стенной шкаф, потрогал ее платья, снова закрыл шкаф и вышел из коттеджа.

От Таниного коттеджа было хорошо видно море – спокойное, похожее на застывшее зеленое масло. Десятки тропинок вели через траву к желтому пляжу, на котором были разбросаны шезлонги и топчаны. Несколько лодок лежали вверх килем у самой воды. А горизонт на севере горел нестерпимо яркими солнечными бликами. Роберт быстро пошел к флаеру. Он перешагнул через борт, остановился и снова оглянулся на море. И вдруг он понял: это было не солнце, это был гребень Волны.

Он устало опустился на сиденье и тронул флаер. То же самое и на юге, подумал он. Она теснит нас с севера и с юга. Мышеловка. Коридор между двух смертей. Флаер снова понесся над тропическим лесом. Сколько еще осталось, думал он. Два часа, три? Два места в звездолете, десять?

Лес под флаером вдруг кончился, и Роберт увидел на обширной лужайке большой пассажирский аэробус, окруженный толпой людей. Он машинально притормозил и стал снижаться. Видимо, аэробус потерпел аварию, и все эти люди рядом с ним – странно, какие они все маленькие! – ждали, пока пилот исправит повреждение. Он увидел пилота – огромного чернокожего человека, копавшегося в двигателе. Затем он понял, что это дети, и тут же увидел Таню. Она стояла возле пилота и принимала от него какие-то детали.

Флаер упал в десяти шагах от аэробуса, и все сейчас же обернулись к нему. Но Роберт видел только Таню, ее прекрасное измученное лицо, тонкие руки, прижимающие к груди испачканные железки, и удивленно расширившиеся глаза.

– Это я, – сказал Роберт. – Что случилось, Таня?

Таня молча смотрела на него, и тогда он поглядел на чернокожего пилота и узнал Габу. Габа широко заулыбался и крикнул:

– А, Роберт! Иди-ка сюда, помоги! Таня – чудесная девочка, но она никогда не имела дела с аэробусами! И я тоже! А у него все время глохнет двигатель!

Дети – семилетние мальчишки и девчонки – рассматривали Роберта с интересом. Роберт подошел к аэробусу и, мимоходом ласково коснувшись щекой Таниных волос, заглянул в двигатель. Габа похлопал его по спине.

Они хорошо знали друг друга. Они отлично сошлись – Роберт и десять отчаянно скучающих нуль-испытателей, которые уже два года сидели здесь без дела после неудачного опыта с собакой Фимкой.

То, что Роберт увидел в двигателе, заставило его на секунду задержать дыхание. Да, Габа, по-видимому, действительно не имел никогда раньше дела с аэробусами. Сделать ничего было нельзя – кончилось горючее. Габа совершенно напрасно почти разобрал двигатель. Это бывает. Такое бывает даже с самыми опытными водителями: в аэробусах не часто кончается горючее. Роберт украдкой поглядел на Таню. Она все прижимала к груди грязные от смазки взрывные цилиндры и ждала.

– Итак? – бодро спросил Габа. – Правильно мы грешили на вот этот рычаг, не знаю, как он там называется?

– Что ж, – сказал Роберт, – очень возможно. – Он взялся за рычаг и подергал его. – Кто-нибудь знает, что вы здесь засели?

– Я сообщал, – ответил Габа. – Но у них там не хватает машин. Ты знаешь историю с эмбриозародышами?

– Ну, ну, – сказал Роберт, бесцельно, но очень аккуратно очищая паз подающего рычага. Он нагнулся так, чтобы его лица не было видно.

– Понадобился транспорт. Канэко стал выращивать «медузы», а оказалось, что это не «медузы», а кибернетические кухни. Ошибка снабжения, а? – Габа захохотал. – Как тебе это нравится?

– Сплошной смех, – сказал Роберт сквозь зубы.

Он поднял голову и осмотрел небо. Он увидел пустую белесую синеву и на севере над верхушками далеких деревьев ослепительно яркий гребень Волны. Тогда он мягко опустил откинутый капот, пробормотал: «Та-ак... Посмотрим!» – и обошел аэробус с другой стороны, где никого не было. Там он сел на корточки, прижавшись лбом к блестящей полированной обшивке. По другую сторону аэробуса Габа нежным громыхающим голосом запел:

> One is none, two is some,
> Three is a many, four is a penny,
> Five is a little hundred...[4]

Открыв глаза, Роберт увидел его пляшущую тень на траве – тень от поднятых рук с растопыренными пальцами. Габа развлекал детей. Роберт выпрямился и, распахнув дверцу, влез в аэробус. В кресле водителя сидел мальчик, ожесточенно вцепившийся в рукояти управления. Он выделывал

рукоятями необычайные фигуры и при этом свистел и дудел.

– Смотри – оторвешь, – сказал Роберт.

Мальчик не обратил на него внимания.

Роберт хотел включить СОС-маяк, но увидел, что маяк уже включен. Тогда он снова оглядел небо. Через спектролит фонаря небо казалось нежно-голубым, и оно было совершенно пустое. Надо решаться, подумал он. Он покосился на мальчика. Мальчуган азартно изображал рев ветра.

– Выйди-ка сюда, Роб, – сказал Габа. Он стоял возле двери.

Роберт вышел.

– Прикрой дверь, – сказал Габа.

Было слышно, как Таня рассказывает что-то ребятишкам по ту сторону аэробуса и как свистит и дудит мальчик на сиденье пилота.

– Когда она будет здесь? – спросил Габа.

– Через полчаса.

– Что случилось с двигателем?

– Нет горючего.

Лицо Габы сделалось серым.

– Почему? – бессмысленно спросил он. Роберт промолчал. – А в твоем флаере?

– Такому сундуку этого не хватит и на пять минут.

Габа ударил себя кулаками по лбу и сел на траву.

– Ты механик, – сказал он хрипло. – Придумай что-нибудь.

Роберт прислонился к аэробусу.

– Помнишь сказочку про волка, козу и капусту? Здесь дюжина ребятишек, женщина и мы с тобой. Женщина, которую я люблю больше всех людей на свете. Женщина, которую я спасу во что бы то ни стало. Так вот. Флаер двухместный...

Габа покивал.

– Понимаю. Тут и говорить не о чем, конечно. Пусть Таня садится во флаер и берет с собой столько ребятишек, сколько туда влезет...

– Нет, – сказал Роберт.

– Почему нет? Через два часа они будут в Столице.

– Нет, – повторил Роберт. – Это не спасет ее. Волна будет в Столице через три часа. Там ждет звездолет. Таня должна улететь на нем. Не спорь со мной! – яростно прошептал он. – Возможны только два варианта: либо лечу я с Таней, либо с Таней летишь ты, но тогда ты поклянешься мне всем святым, что Таня улетит в этом звездолете! Выбирай.

– Ты сошел с ума! – сказал Габа. Он медленно поднимался с травы. – Это дети! Опомнись!..

– А те, кто останется здесь, они не дети? Кто выберет троих, которые полетят в Столицу и на Землю? Ты? Иди выбирай!

Габа беззвучно открывал и закрывал рот. Роберт посмотрел на север. Волна была видна уже хорошо. Сияющая полоса поднималась все выше, таща за собой тяжелый черный занавес.

– Ну? – сказал Роберт. – Ты клянешься?

Габа медленно покачал головой.

– Тогда прощай, – сказал Роберт.

Он сделал шаг вперед, но Габа преградил ему дорогу.

– Дети! – сказал он почти беззвучно.

Роберт обеими руками схватил его за отвороты куртки и приблизил лицо вплотную к его лицу.

– Таня! – сказал он.

Несколько секунд они молча смотрели друг другу в глаза.

– Она возненавидит тебя, – тихо сказал Габа.

Роберт отпустил его и засмеялся.

– Через три часа я тоже умру, – сказал он. – Мне будет все равно. Прощай, Габа.

Они разошлись.

– Она не полетит с тобой, – сказал Габа вдогонку.

Роберт не ответил. Я это и сам знаю, подумал он. Он обошел аэробус и длинными прыжками побежал к флаеру. Он видел лицо Тани, обращенное к нему, и смеющиеся лица детишек, окружавших Таню, и он весело помахал им рукой, чувствуя сильную боль в мускулах лица, судорожно свернутых в беззаботную улыбку. Он подбежал к флаеру, заглянул внутрь, затем выпрямился и крикнул:

– Танюшка, иди-ка помоги мне!

И в это же мгновение с другой стороны аэробуса появился Габа. Он скакал на четвереньках.

– А ну, что вы здесь скучаете? – заорал он. – Кто поймает Шер-Хана – великого тигра джунглей?!

Он испустил протяжный рык и, брыкнув ногами, помчался на четвереньках в лес. Несколько секунд ребятишки, открыв рты, смотрели на него, потом кто-то весело взвизгнул, кто-то воинственно завопил, и всей толпой они побежали за Габой, который уже выглядывал с рычанием из-за деревьев.

Таня, оглядываясь и удивленно улыбаясь, подошла к Роберту.

– Как странно, – сказала она. – Словно и нет никакой катастрофы.

Роберт все глядел вслед Габе. Никого уже не было видно, но смех и

визг, хруст кустарников и грозный рык Шер-Хана явственно доносились из чащи.

– Как ты странно улыбаешься, Робик, – сказала Таня.

– Чудак этот Габа! – сказал Роберт и сейчас же пожалел: надо было молчать. Голос не слушался его.

– Что случилось, Роб? – сразу спросила Таня.

Он невольно посмотрел поверх ее головы. Она тоже обернулась и тоже посмотрела и испуганно прижалась к нему.

– Что это? – спросила она.

Волна уже доходила до солнца.

– Надо спешить, – сказал Роберт. – Полезай в кабину и подними сиденье.

Она ловко прыгнула в кабину, и тогда он огромным прыжком вскочил вслед за нею, обхватил ее плечи правой рукой и стиснул так, чтобы она не смогла двинуться, и с места рванул флаер в небо.

– Роби! – прошептала Таня. – Что ты делаешь, Роби?!.

Он не смотрел на нее. Он выжимал из флаера все, что можно. И только краем глаза он увидел внизу поляну, одинокий аэробус и маленькое лицо, с любопытством выглядывающее из водительской кабины.

ГЛАВА 8

Дневная жара уже начала спадать, когда последние птерокары, переполненные и перегруженные, сели, ломая шасси, на улицах, прилегающих к площади перед зданием Совета. Теперь на эту обширную площадь собралось почти все население планеты.

С севера и с юга медленно втянулись в город гремящие колонны уродливых землеройных «кротов» с опознавательными знаками Следопытов и с желтыми молниями строителей-энергетиков. Они стали лагерем посередине площади и после стремительного совещания, на котором выступили только два человека – по три минуты вполголоса каждый, – принялись рыть глубокую шахту-убежище. «Кроты» оглушительно загрохотали, взламывая бетон покрытия, а затем один за другим, нелепо выгибаясь, стали уходить в землю. Вокруг шахты быстро выросла кольцевая гора измельченного грунта, и над площадью возник и повис душный кислотный запах денатурированного базальта.

Физики-нулевики заполнили пустующие этажи театра напротив здания Совета. Весь день они отступали, цепляясь аварийными отрядами «харибд» за каждый наблюдательный пункт, за каждую станцию дальнего контроля, спасая все, что успевали спасти из оборудования и научной документации, каждую секунду рискуя жизнью, пока категорический приказ Ламондуа и директора не созвал их в Столицу. Их узнавали по возбужденному, виновато-вызывающему виду, по неестественно оживленным голосам, по несмешным шуткам со ссылками на специальные обстоятельства и по нервному громкому смеху. Теперь они под руководством Аристотеля и Пагавы отбирали и переснимали на микропленку самые ценные материалы для эвакуации с планеты.

Большая группа механиков и метеорологов вышла на окраину города и принялась строить конвейерные цехи для производства небольших ракет. Предполагалось грузить эти ракеты важнейшей документацией и выбрасывать их за пределы атмосферы в качестве искусственных спутников, с тем чтобы позже их подобрали и доставили на Землю. К ракетчикам присоединилась часть аутсайдеров – тех, кто инстинктивно чувствовал, что не в силах ждать сложа руки, и тех, кто действительно мог и желал помочь, и тех, кто искренне верил в необходимость спасения важнейшей документации.

Но на площади, забитой «гепардами», «медузами», «биндюгами»,

«дилижансами», «кротами», «грифами», осталось еще очень много людей. Здесь были биологи и планетологи, потерявшие на оставшиеся часы смысл жизни, аутсайдеры – художники и артисты, – ошеломленные неожиданностью, рассерженные, потерявшиеся, не знающие, что делать, куда идти и кому предъявлять претензии. Какие-то очень выдержанные и спокойные люди неторопливо беседовали на разнообразные темы, собираясь кучками среди машин. И еще какие-то тихие люди, молча и понуро сидящие в кабинах или жмущиеся к стенам зданий.

Планета опустела. Все население – каждый человек был вызван, вывезен, выловлен из самых ее отдаленных и глухих уголков и доставлен в Столицу. Столица находилась на экваторе, и теперь на всех широтах планеты, северных и южных, было пусто. Лишь несколько человек осталось там, заявив, что им все равно, да где-то над тропическими лесами потерялся аэробус с детьми и воспитателем и тяжелый «гриф», высланный на его поиски.

Под серебристым шпилем в течение последних часов непрерывно заседал Совет Радуги. Время от времени репродуктор всеобщего оповещения голосом директора или Канэко вызывал по именам самых неожиданных людей. Они бежали к зданию Совета и скрывались за дверью, а затем выбегали, садились в птерокары или флаеры и улетали из города. Многие из тех, кто не был занят делом, провожали их завистливыми взглядами. Неизвестно было, какие вопросы обсуждаются на Совете, но репродукторы всеобщего оповещения уже проревели главное: угроза катастрофы является совершенно реальной; в распоряжении Совета имеется всего один десантный звездолет малой грузоподъемности; Детское эвакуировано, и дети размещены в городском парке под наблюдением воспитателей и врачей; лайнер-звездолет «Стрела» непрерывно поддерживает связь с Радугой и находится на пути к ней, но прибудет не ранее чем через десять часов. Трижды в час дежурный Совета информировал площадь о положении фронтов Волны. Репродуктор гремел: «Внимание, Радуга! Передаем информацию...» И тогда площадь замолкала, и все жадно слушали, досадливо оглядываясь на шахту, из которой доносился гулкий рокот «кротов». Волна двигалась странно. Ее ускорение то увеличивалось – и тогда люди мрачнели и опускали глаза, – то уменьшалось – и тогда лица светлели и появлялись неуверенные улыбки, – но Волна двигалась, горели посевы, вспыхивали леса, пылали оставленные поселки.

Официальной информации было очень мало – может быть, потому, что некому и некогда было ею заниматься, и, как всегда в таких случаях,

основным видом информации становились слухи.

Следопыты и строители все глубже врывались в землю, и поднимавшиеся из шахты измазанные усталые люди кричали, весело скаля зубы, что им нужно еще каких-нибудь два-три часа – и они закончат глубокое и достаточно просторное убежище для всех. На них смотрели с некоторой надеждой, и надежда эта подкреплялась упорными слухами о расчете, якобы произведенном Этьеном Ламондуа, Пагавой и каким-то Патриком. Согласно этому расчету северная и южная Волны, столкнувшись на экваторе, должны «взаимно энергетически свернуться и деритринитировать», поглотив большое количество энергии. Говорили, что после этого на Радуге должен выпасть слой снега толщиной в полтора метра.

Говорили также, что полчаса тому назад в Институте дискретного пространства, слепые белые стены которого мог увидеть с площади любой желающий, удалось, наконец, осуществить успешный нуль-запуск человека к Солнечной системе, и даже назвали имя пилота, первого в мире нуль-перелетчика, в настоящую минуту якобы благополучно пребывающего на Плутоне.

Рассказывали о сигналах, полученных из-за южной Волны. Сигналы были чрезвычайно сильно искажены помехами, но их удалось дешифровать, и тогда якобы выяснилось, что несколько человек, добровольно оставшихся на одной из энергостанций на пути Волны, выжили и чувствуют себя удовлетворительно, что и свидетельствует о том, что П-волна в отличие от Волн ранее известных типов не представляет реальной опасности для жизни. Называли даже имена счастливцев, и нашлись люди, знавшие их лично. В подтверждение передавали рассказ очевидца о том, как известный Камилл выскочил из Волны на горящем птерокаре и пронесся мимо чудовищной кометой, что-то крича и размахивая рукой.

Большое распространение получил слух о том, что один старый звездолетчик, работающий сейчас в шахте, сказал якобы примерно следующее: «Командира «Стрелы» я знаю сто лет. Если он говорит, что будет не раньше чем через десять часов, то это значит, что он будет не позже чем через три часа. И не надо кивать на Совет. Там сидят дилетанты, представления не имеющие о том, что такое современный звездолет и на что он способен в опытных руках».

Мир вдруг потерял простоту и ясность. Стало трудно отделять правду от неправды. Самый честный человек, знакомый вам с детства, мог с легким сердцем солгать только для того, чтобы вас поддержать и

успокоить, а через двадцать минут вы видели его уже согнувшимся в тоске под тяжестью нелепого слуха о том, что Волна, мол, хотя и не опасна для жизни, но необратимо уродует психику, отбрасывая ее на уровень пещерной.

Люди на площади видели, как в здание Совета вошла высокая большая женщина с заплаканным лицом, ведущая за руку мальчика лет пяти в красных штанишках. Многие узнали ее – это была Женя Вязаницына, жена директора Радуги. Она вышла очень скоро в сопровождении Канэко, который вежливо, но твердо вел ее под локоть. Она больше не плакала, но на лице ее была такая свирепая решимость, что люди испуганно сторонились, уступая ей дорогу. Мальчик спокойно грыз пряник.

Тем, кто был занят, было много лучше. Поэтому большая группа художников, писателей и артистов, проспорив до хрипоты, приняла, наконец, окончательное решение и двинулась к окраине города к ракетчикам. Вряд ли они могли чем-нибудь серьезно помочь, но они были уверены, что им найдут дело. Некоторые спустились в шахту, где велись уже горизонтальные выработки. А несколько опытных пилотов сели в птерокары и умчались к северу и к югу, чтобы присоединиться к наблюдателям Совета, уже несколько часов играющим в пятнашки со смертью.

Оставшиеся видели, как перед подъездом Совета опустился опаленный, ведь в пятнах и вмятинах флаер. Из него с трудом вылезли двое, постояли на трясущихся ногах и двинулись к дверям, поддерживая друг друга. Лица их были желтые и опухшие, и в них только с трудом признали молодого физика Карла Гофмана и испытателя-нулевика Тимоти Сойера, известного искусством игры на банджо. Сойер только мотал головой и мычал, а Гофман, некоторое время посипев горлом, невнятно рассказал, что они только что пытались перепрыгнуть через Волну, подошли к ней на расстояние двадцати километров, но тут у Тима стало плохо с глазами, и они были вынуждены вернуться. Оказалось, что в Совете была выдвинута идея переброски населения на ту сторону Волны. Сойер и Гофман были разведчиками. И сейчас же кто-то рассказал, что двое Следопытов пытались поднырнуть под Волну в открытом море на исследовательском батискафе, но пока еще не вернулись, и ничего о них не известно.

К этому времени на площади осталось человек двести – меньше половины взрослого населения Радуги. Люди старались держаться группами. Они неторопливо переговаривались между собой, не отрывая глаз от окон Совета. На площади становилось тихо: «кроты» ушли глубоко,

и рев их был едва слышен. Разговоры велись невеселые.

– Опять у меня испорчен отпуск. На этот раз, кажется, надолго.

– Убежище, подземелье... подполье... Снова наступает черная стена, и люди уходят в подполье.

– Жалко, что нет никакого настроения писать. Вы посмотрите, как красиво здание Совета. Какая цветовая глубина. Я бы с огромным удовольствием его написал... и передал бы это настроение напряженности и ожидания, но... Не могу. Тошно.

– Странно все-таки. Кажется, мы выбирали не тайный Совет. Типично жреческие замашки. Запереться в кабинете и обсуждать там судьбу планеты... Мне, в конце концов, не так уж и важно, о чем они там говорят, но это же неприлично...

– Мне очень не нравится Ананьев. Полюбуйтесь, вот уже два часа он сидит один, ни с кем не разговаривает и только все время точит ножичек... Пойду с ним поговорю. Пойдемте со мной, хотите?

– Аодзора сгорела... Моя Аодзора. Я ее строил. Теперь опять строить... А потом они ее опять сожгут.

– Мне их жалко. Вот мы с тобой сидим вдвоем, и, честное слово, ничего я не боюсь! А Матвей Сергеевич не может даже в последние часы побыть с женой. Нелепо все это. Зачем?

– Я сижу здесь и болтаю, потому что считаю: единственная возможность – это звездолет. А все остальное – это пшик, барахтанье, самодеятельность.

– Почему я сюда прилетел? Чем плохо мне было на Земле? Радуга, Радуга, как ты нас обидела...

В это время репродуктор всеобщего оповещения проревел:

– Внимание, Радуга! Говорит Совет! Созывается общее собрание населения планеты! Собрание состоится на площади Совета и начнется через пятнадцать минут. Повторяю...

Пробираясь через толпу к зданию Совета, Горбовский обнаружил, что пользуется необычайной популярностью. Перед ним расступались, на него показывали глазами и даже пальцами, с ним здоровались, его спрашивали: «Ну как там, Леонид Андреевич?» – и за его спиной вполголоса произносили его фамилию, названия звезд и планет, с которыми он имел дело, а также названия кораблей, которыми он командовал. Горбовский, давно уже отвыкший от такой популярности, раскланивался, делал рукой салют, улыбался, отвечал: «Да пока все в порядке», – и думал: «Пусть теперь мне кто-нибудь скажет, что широкие массы больше не интересуются

звездоплаванием». Одновременно он почти физически ощущал страшное нервное напряжение, царившее на площади. Это было чем-то похоже на последние минуты перед очень трудным и ответственным экзаменом. Напряжение это передалось и ему. Улыбаясь и отшучиваясь, он пытался определить настроение и коллективную мысль этой толпы и гадал, что они скажут, когда он объявит свое решение. Верю в вас, настойчиво думал он. Верю, верю во что бы то ни стало. Верю в вас, испуганные, настороженные, разочарованные, фанатики. Люди.

У самой двери его нагнал и остановил незнакомый человек в спецкостюме для шахтных работ.

– Леонид Андреевич, – сказал он, озабоченно улыбаясь. – Минуточку. Буквально одну минуточку.

– Пожалуйста, пожалуйста, – сказал Горбовский.

Человек торопливо рылся в карманах.

– Когда прибудете на Землю, – говорил он, – не откажите в любезности... Куда же оно запропастилось?.. Не думаю, чтобы это вас очень затруднило. Ага, вот оно... – Он вынул сложенный вдвое конверт. – Адрес тут есть, печатными буквами... Не откажитесь переслать.

Горбовский покивал.

– Я даже по-письменному могу, – сказал он ласково и взял конверт.

– Почерк отвратительный. Сам себя читать не могу, а сейчас писал в спешке... – Он помолчал, затем протянул руку. – Счастливого пути! Заранее спасибо вам.

– Как ваша шахта? – спросил Горбовский.

– Отлично, – ответил человек. – Не беспокойтесь за нас.

Горбовский вошел в здание Совета и стал подниматься по лестнице, обдумывая первую фразу своего обращения к Совету. Фраза никак не получалась. Он не успел подняться на второй этаж, когда увидел, что члены Совета спускаются ему навстречу. Впереди, ведя пальцем по перилам, легко ступал Ламондуа, совершенно спокойный и даже какой-то рассеянный. При виде Горбовского он улыбнулся странной, растерянной улыбкой и сейчас же отвел глаза. Горбовский посторонился. За Ламондуа шел директор, багровый и свирепый. Он буркнул: «Ты готов?» – и, не дожидаясь ответа, прошел мимо. Следом прошли остальные члены Совета, которых Горбовский не знал. Они громко и оживленно обсуждали вопрос об устройстве входа в подземное убежище, и в громкости этой и в их оживлении отчетливо чувствовалась фальшь, и было видно, что мысли их заняты совсем другим. А последним – на некотором расстоянии от всех – спускался Станислав Пишта, такой же широкий, дочерна загорелый и

пышноволосый, как двадцать пять лет назад, когда он командовал «Подсолнечником» и вместе с Горбовским штурмовал Слепое Пятно.

– Ба! – сказал Горбовский.

– О! – сказал Станислав Пишта.

– Ты что здесь делаешь?

– Ругаюсь с физиками.

– Молодец, – сказал Горбовский. – Я тоже буду. А пока скажи, кто здесь заведует детской колонией?

– Я, – ответил Пишта.

Горбовский недоверчиво посмотрел на него.

– Я, я! – Пишта усмехнулся. – Не похоже? Сейчас ты убедишься. На площади. Когда начнется свара. Уверяю тебя, это будет совершенно непедагогичное зрелище.

Они стали медленно спускаться к выходу.

– Свара пусть, – сказал Горбовский. – Это тебя не касается. Где дети?

– В парке.

– Очень хорошо. Отправляйся туда и немедленно – слышишь? – немедленно начинай погрузку детей на «Тариэль». Там тебя ждут Марк и Перси. Ясли мы уже погрузили. Ступай быстро.

– Ты молодец, – сказал Пишта.

– А как же, – сказал Горбовский. – А теперь беги.

Пишта хлопнул его по плечу и вперевалку побежал вниз. Горбовский вышел вслед за ним. Он увидел сотни лиц, обращенных к нему, и услышал грохочущий голос Матвея, говорившего в мегафон:

– ...и фактически мы решаем сейчас вопрос, что является самым ценным для человечества и для нас, как части человечества. Первым будет говорить заведующий детской колонией товарищ Станислав Пишта.

– Он ушел, – сказал Горбовский.

Директор оглянулся.

– Как ушел? – спросил он шепотом. – Куда?

На площади было очень тихо.

– Тогда разрешите мне, – сказал Ламондуа. Он взялся за мегафон.

Горбовский видел, как его тонкие белые пальцы плотно легли на судорожно стиснутые толстые пальцы Матвея. Директор отдал мегафон не сразу.

– Мы все знаем, что такое Радуга, – начал Ламондуа. – Радуга – это планета, колонизированная наукой и предназначенная для проведения физических экспериментов. Результата этих экспериментов ждет все человечество. Каждый, кто приезжает на Радугу и живет здесь, знает, куда

он приехал и где он живет. – Ламондуа говорил резко и уверенно, он был очень хорош сейчас – бледный, прямой, напряженный, как струна. – Мы все солдаты науки. Мы отдали науке всю свою жизнь. Мы отдали ей всю нашу любовь и все лучшее, что у нас есть. И то, что мы создали, принадлежит, по сути дела, уже не нам. Оно принадлежит науке и всем двадцати миллиардам землян, разбросанным по Вселенной. Разговоры на моральные темы всегда очень трудны и неприятны. И слишком часто разуму и логике мешает в этих разговорах наше чисто эмоциональное «хочу» и «не хочу», «нравится» и «не нравится». Но существует объективный закон, движущий человеческое общество. Он не зависит от наших эмоций. И он гласит: человечество должно познавать. Это самое главное для нас – борьба знания против незнания. И если мы хотим, чтобы наши действия не казались нелепыми в свете этого закона, мы должны следовать ему, даже если нам приходится для этого отступать от некоторых врожденных или заданных нам воспитанием идей. – Ламондуа помолчал и расстегнул воротник рубашки. – Самое ценное на Радуге – это наш труд. Мы тридцать лет изучали дискретное пространство. Мы собрали здесь лучших нуль-физиков Земли. Идеи, порожденные нашим трудом, до сих пор еще находятся в стадии освоения, настолько они глубоки, перспективны и, как правило, парадоксальны. Я не ошибусь, если скажу, что только здесь, на Радуге, существуют люди – носители нового понимания пространства и что только на Радуге есть экспериментальный материал, который послужит для теоретической разработки этого понимания. Но даже мы, специалисты, не способны сейчас сказать, какую гигантскую, необозримую власть над миром принесет человечеству наша новая теория. Не на тридцать лет – на сто, двести... триста лет будет отброшена наука.

Ламондуа остановился, лицо его пошло красными пятнами, плечи поникли. Мертвая тишина стояла над городом.

– Очень хочется жить, – сказал вдруг Ламондуа. – И дети... У меня их двое, мальчик и девочка; они там, в парке... Не знаю. Решайте.

Он опустил мегафон и остался стоять перед толпой весь обмякший, постаревший и жалкий.

Толпа молчала. Молчали нуль-физики, стоявшие в первых рядах, несчастные носители нового понимания пространства, единственные на всю Вселенную. Молчали художники, писатели и артисты, хорошо знавшие, что такое тридцатилетний труд, и слишком хорошо знавшие, что всякий шедевр неповторим. Молчали на грудах выброшенной породы строители, тридцать лет работавшие бок о бок с нулевиками и для

нулевиков. Молчали члены Совета – люди, которых считали самыми умными, самыми знающими, самыми добрыми и от которых в первую очередь зависело то, что должно было произойти.

Горбовский видел сотни лиц, молодых и старых, мужских и женских, и все они казались сейчас ему одинаковыми, необыкновенно похожими на лицо Ламондуа. Он отчетливо представлял себе, что они думают. Очень хочется жить: молодому – потому что он так мало прожил, старому – потому что так мало осталось жить. С этой мыслью еще можно справиться: усилие воли – и она загнана в глубину и убрана с дороги. Кто не может этого, тот больше ни о чем не думает, и вся его энергия направлена на то, чтобы не выдать смертельного ужаса. А остальные... Очень жалко труда. Очень жалко, невыносимо жалко детей. Даже не то чтобы жалко – здесь много людей, которые к детям равнодушны, но кажется подлым думать о чем-нибудь другом. И надо решать. Ох, до чего же это трудно – решать! Надо выбрать и сказать вслух, громко, что ты выбрал. И тем самым взять на себя гигантскую ответственность, совершенно непривычную по тяжести ответственность перед самим собой, чтобы оставшиеся три часа жизни чувствовать себя человеком, не корчиться от непереносимого стыда и не тратить последний вздох на выкрик «Дурак! Подлец!», обращенный к самому себе. Милосердие, подумал Горбовский.

Он подошел к Ламондуа и взял у него мегафон. Кажется, Ламондуа этого даже не заметил.

– Видите ли, – проникновенно сказал Горбовский в мегафон, – боюсь, что здесь какое-то недоразумение. Товарищ Ламондуа предлагает вам решать. Но понимаете ли, решать, собственно, нечего. Все уже решено. Ясли и матери с новорожденными уже на звездолете. (Толпа шумно вздохнула.) Остальные ребятишки грузятся сейчас. Я думаю, все поместятся. Даже не думаю, уверен. Вы уж простите меня, но я решил самостоятельно. У меня есть на это право. У меня есть даже право решительно пресекать все попытки помешать мне выполнить это решение. Но это право, по-моему, ни к чему. В общем-то товарищ Ламондуа высказал интересные мысли. Я бы с удовольствием с ним поспорил, но мне надо идти. Товарищи родители, вход на космодром совершенно свободный. Правда, простите, на борт звездолета подниматься не надо.

– Вот и все, – громко сказал кто-то в толпе. – И правильно. Шахтеры, за мной!

Толпа зашумела и задвигалась. Взлетело несколько птерокаров.

– Из чего надо исходить? – сказал Горбовский. – Самое ценное, что у нас есть, – это будущее...

– У нас его нет, – сказал в толпе суровый голос.

– Наоборот, есть! Наше будущее – это дети. Не правда ли, очень свежая мысль! И вообще нужно быть справедливыми. Жизнь прекрасна, и мы все уже знаем это. А детишки еще не знают. Одной любви им сколько предстоит! Я уж не говорю о нуль-проблемах. (В толпе зааплодировали.) А теперь я пошел.

Горбовский сунул мегафон одному из членов Совета и подошел к Матвею. Матвей несколько раз крепко ударил его по спине. Они смотрели на тающую толпу, на оживившиеся лица, сразу ставшие очень разными, и Горбовский пробормотал со вздохом:

– Забавно, однако. Вот мы совершенствуемся, совершенствуемся, становимся лучше, умнее, добрее, а до чего все-таки приятно, когда кто-нибудь принимает за тебя решение...

ГЛАВА 9

«Тариэль-Второй», десантный сигма-Д-звездолет, создавался для переброски на большие расстояния небольших групп исследователей с минимальным комплектом лабораторного оборудования. Он был очень хорош для высадки на планеты с бешеными атмосферами, обладал огромным запасом хода, был прочен, надежен и на девяносто пять процентов состоял из энергетических емкостей. Разумеется, на корабле был жилой отсек из пяти крошечных кают, крошечной кают-компании, миниатюрного камбуза и вместительной рубки, сплошь заставленной пультами приборов управления и контроля. Был на корабле и грузовой отсек – довольно обширное помещение с голыми стенами и низким потолком, лишенное принудительного кондиционирования, пригодное (в самом крайнем случае) для устройства походной лаборатории. Нормально «Тариэль-Второй» принимал на борт до десяти человек, считая с экипажем.

Детей грузили через оба люка: младших – через пассажирский, старших – через грузовой. Возле люков толпились люди, и их было гораздо больше, чем ожидал Горбовский. С первого же взгляда было видно, что здесь не только воспитатели и родители. Поодаль громоздились ящики с нерозданными ульмотронами и с оборудованием для Следопытов Ламанды. Взрослые были молчаливы, но у корабля стоял непривычный шум: писк, смех, тонкоголосое нестройное пение – тот гомон, который во все времена был так характерен для интернатов, детских площадок и амбулаторий. Знакомых лиц видно не было, только в стороне Горбовский узнал Алю Постышеву. Да и она была совсем другая – поникшая и грустная, одетая изящно и аккуратно. Она сидела на пустом ящике, положив руки на колени, и смотрела на корабль. Она ждала.

Горбовский вылез из птерокара и направился к звездолету. Когда он проходил мимо Али, она жалостно улыбнулась ему и сказала: «А я Марка жду». – «Да-да, он скоро выйдет», – ласково сказал Горбовский и пошел дальше. Но его сразу остановили, и он понял, что добраться до люка будет не так просто.

Крупный бородатый человек в панаме преградил ему дорогу.

– Товарищ Горбовский, – сказал он. – Я вас прошу, возьмите.

Он протянул Горбовскому длинный тяжелый сверток.

– Что это? – спросил Горбовский.

– Моя последняя картина. Я Иоганн Сурд.

– Иоганн Сурд, – повторил Горбовский. – Я не знал, что вы здесь.
– Возьмите. Она весит совсем немного. Это лучшее, что я сделал в жизни. Я привозил ее сюда на выставку. Это «Ветер»...
У Горбовского все сжалось внутри.
– Давайте, – сказал он и бережно принял сверток.
Сурд поклонился.
– Спасибо, Горбовский, – сказал он и исчез в толпе.
Кто-то крепко и больно схватил Горбовского за руку. Он обернулся и увидел молоденькую женщину. У нее дрожали губы и лицо было мокрое от слез.
– Вы капитан? – спросили она надорванным голосом.
– Да, да. Я капитан.
Она еще больнее стиснула его руку.
– Там мой мальчик... На корабле... – Губы начали кривиться. – Я боюсь...
Горбовский сделал удивленное лицо.
– Но чего же? Там он в полной безопасности.
– Вы уверены? Вы обещаете мне?..
– Он там в полной безопасности, – повторил Горбовский решительно. – Это очень хороший корабль!
– Столько детей, – сказала она, всхлипывая. – Столько детей!..
Она отпустила его руку и отвернулась. Горбовский, потоптавшись в нерешительности, пошел дальше, загораживая руками и боками шедевр Сурда, но его тут же схватили с обеих сторон под локти.
– Это весит всего три кило, – сказал бледный угловатый мужчина. – Я никогда никого ни о чем не просил...
– Вижу, – согласился Горбовский. Это действительно было заметно.
– Здесь отчет о наблюдениях Волны за десять лет. Шесть миллионов фотокопий.
– Это очень важно! – подтвердил второй человек, державший Горбовского за левый локоть. У него были толстые добрые губы, небритые щеки и маленькие умоляющие глазки. – Понимаете, это Маляев... – Он указал пальцем на первого. – Вы непременно должны взять эту папку...
– Помолчите, Патрик, – сказал Маляев. – Леонид Андреевич, поймите... Чтобы это больше не повторилось... Чтобы больше никогда, – он задохнулся, – чтобы больше никто и никогда не ставил перед нами этот позорный выбор...
– Несите за мной, – сказал Горбовский. – У меня заняты руки.
Они отпустили его, и он сделал шаг вперед, но ударился коленом о

большой, закутанный в брезент предмет, который с явным трудом держали на весу двое юношей в одинаковых синих беретах.

– Может, возьмете? – пропыхтел один.

– Если можно... – сказал другой.

– Мы два года ее строили...

– Пожалуйста.

Горбовский покачал головой и стал их осторожно обходить.

– Леонид Андреевич, – жалобно сказал первый. – Мы вас умоляем.

Горбовский снова покачал головой.

– Не унижайся, – сказал второй сердито. Он вдруг отпустил свой угол, и закутанный предмет с треском ударился о землю. – Ну что ты держишь?

Он с неожиданной яростью пнул свой аппарат ногой и, сильно прихрамывая, пошел прочь.

– Володька! – крикнул первый с тревогой ему вслед. – Не сходи с ума!

Горбовский отвернулся.

– Скульпторам, конечно, надеяться не на что, – сказал над его ухом вкрадчивый голос.

Горбовский только помотал головой: говорить он не мог. За его спиной, наступая ему на пятки, хрипло дышал Маляев.

Еще группа каких-то людей с рулонами, свертками и пакетами в руках разом стронулась с места и пошла рядом.

– Может быть, имеет смысл сделать так... – нервно и отрывисто заговорил один из них. – Может быть, все... Сложить все у грузового люка... Мы понимаем, что шансов мало... Но вдруг все-таки останутся места... В конце концов, это не люди, это вещи... Рассовать их где-нибудь... как-нибудь...

– Да... да... – сказал Горбовский. – Я вас прошу, займитесь этим. – Он приостановился и переложил шедевр на другое плечо. – Сообщите об этом всем. Пусть сложат у грузового люка. Шагах в десяти и в стороне. Хорошо?

В толпе произошло движение, стало не так тесно. Люди с рулонами и свертками стали расходиться, и Горбовский выбрался, наконец, на свободное пространство возле пассажирского люка, где малыши, выстроенные парами, ждали очереди попасть в руки Перси Диксона.

Карапузы в разноцветных курточках, штанишках и шапочках пребывали в состоянии радостного возбуждения, вызванного перспективой всамделишного звездного перелета. Они были очень заняты друг другом и голубоватой громадой корабля и одаривали толпившихся вокруг родителей разве что рассеянными взглядами. Им было не до родителей. В круглом отверстии люка стоял Перси Диксон, облаченный в стариннейшую, давно

забытую парадную форму звездолетчика, тяжелую и душную, с наспех посеребренными пуговицами, со значками и ослепительными позументами. Пот градом катился по его волосатому лицу, и время от времени он взревывал морским голосом: «По бим-бом-брамселям! По местам стоять, с якоря сниматься!» Это было очень весело, и восторженные мальки не спускали с него завороженных глаз. Тут же были двое воспитателей: мужчина держал в руке списки, а женщина очень весело пела с ребятишками песенку о храбром носороге. Ребятишки, не отрывая глаз от Диксона, подпевали с большим азартом, и каждый тянул свое.

Горбовский подумал, что если вот так стоять спиной к толпе, то можно подумать, будто действительно добрый дядя Перси организовал для дошкольников веселый облет Радуги на настоящем звездолете. Но тут Диксон поднял на руки очередного малыша и, обернувшись, передал его кому-то в тамбуре, и тогда за спиной Горбовского женский голос истерически закричал: «Толик мой! Толик...» И Горбовский оглянулся и увидел бледное лицо Маляева, и напряженные лица отцов, и лица матерей, улыбающиеся жалкими, кривыми улыбками, и слезы на глазах, и закушенные губы, и отчаяние, и бьющуюся в истерике женщину, которую поспешно уводил, обняв за плечи, человек в комбинезоне, испачканном землей. И кто-то отвернулся, и кто-то согнулся и торопливо побрел прочь, натыкаясь на встречных, а кто-то просто лег на бетон и стиснул голову руками.

Горбовский увидел Женю Вязаницыну, пополневшую и похорошевшую, с огромными сухими глазами и решительно сжатым ртом. Она держала за руку толстого спокойного мальчика в красных штанишках. Мальчик жевал яблоко и во все глаза глядел на блестящего Перси Диксона.

– Здравствуй, Леонид, – сказала она.

– Здравствуй, Женечка, – сказал Горбовский.

Маляев и Патрик отошли в сторону.

– Какой ты худой, – сказала она. – Все такой же худой. И даже еще больше высох.

– А ты похорошела.

– Я не очень отрываю тебя?

– Да нет, все идет, как должно идти. Мне только нужно осмотреть корабль. Я очень боюсь, что у нас все-таки не хватит места.

– Очень плохо одной. Матвей занят, занят, занят... Иногда мне кажется, что ему абсолютно все равно.

– Ему очень не все равно, – сказал Горбовский. – Я разговаривал с ним. Я знаю: ему очень не все равно... Но он ничего не может сделать. Все

дети на Радуге – это его дети. Он не может иначе.

Она слабо махнула свободной рукой.

– Я не знаю, что делать с Алешкой, – сказала она. – Он у нас совсем домашний. Он даже в детском саду никогда не был.

– Он привыкнет. Дети очень быстро ко всему привыкают, Женечка. И ты не бойся: ему будет хорошо.

– Я даже не знаю, к кому обратиться.

– Все воспитатели хороши. Ты же знаешь это. Все одинаковы. Алешке будет хорошо.

– Ты меня не понимаешь. Ведь его даже нет ни в каких списках.

– И чего же тут страшного? Есть он в списках или нет, ни один ребенок не останется на Радуге. Списки только для того, чтобы не растерять детей. Хочешь, я пойду и скажу, чтобы его записали?

– Да, – сказала она. – Нет... Подожди. Можно я поднимусь вместе с ним на корабль?

Горбовский печально покачал головой.

– Женечка, – мягко сказал он. – Не надо. Не надо беспокоить детей.

– Я никого не буду беспокоить. Я только хочу посмотреть, как ему там будет... Кто будет рядом...

– Такие же ребятишки. Веселые и добрые.

– Можно я поднимусь с ним?

– Не надо, Женечка.

– Надо. Очень надо. Он не сможет один. Как он будет жить без меня? Ты ничего не понимаешь. Все вы совершенно ничего не понимаете. Я буду делать все, что нужно. Любую работу. Я ведь все умею. Не будь таким бесчувственным...

– Женечка, посмотри вокруг. Это матери.

– Он не такой, как все. Он слабый. Капризный. Он привык к постоянному вниманию. Он не сможет без меня. Не сможет! Ведь я-то знаю это лучше всех! Неужели ты воспользуешься тем, что мне некому на тебя жаловаться?

– Неужели ты займешь место ребенка, который должен будет остаться здесь?

– Никто не останется, – сказала она страстно. – Я уверена, что никто! Все поместятся! А мне ведь совсем не надо места! Есть же у вас какие-нибудь машинные помещения, какие-нибудь камеры... Я должна быть с ним!

– Я ничего не могу сделать для тебя. Прости.

– Можешь! Ты капитан. Ты все можешь. Ты же всегда был добрым

человеком, Леня!

– Я и сейчас добрый. Ты себе представить не можешь, какой я добрый.

– Я не отойду от тебя, – сказала она и замолчала.

– Хорошо, – сказал Горбовский. – Только давай сделаем так. Сейчас я отведу в корабль Алешку, осмотрю помещения и вернусь к тебе. Хорошо?

Она пристально глядела ему в глаза.

– Ты не обманешь меня. Я знаю. Я верю. Ты никогда никого не обманывал.

– Я не обману. Когда корабль стартует, ты будешь рядом со мной. Давай мальчика.

Не отрывая глаз от его лица, она как во сне подтолкнула к нему Алешку.

– Иди, иди, Алик, – сказала она. – Иди с дядей Леней.

– Куда? – спросил мальчик.

– В корабль, – сказал Горбовский, беря его за руку. – Куда же еще? Вот в этот корабль. Вон к тому дяде. Хочешь?

– Хочу к тому дяде, – заявил мальчик. На мать он больше не смотрел.

Они вместе подошли к трапу, по которому поднимались последние ребятишки. Горбовский сказал воспитателю:

– Внесите в список. Алексей Матвеевич Вязаницын.

Воспитатель посмотрел на мальчика, затем на Горбовского и кивнул, записывая. Горбовский медленно поднялся по трапу, перетащил Алексея Матвеевича через высокий комингс, подняв за руку.

– Это называется тамбур, – сказал он.

Мальчик подергал руку, освободился и, подойдя вплотную к Перси Диксону, стал его рассматривать. Горбовский снял с плеча и поставил в угол картину Сурда. Что еще? – подумал он. Да! Он вернулся к люку и, высунувшись, принял от Маляева папку.

– Спасибо, – сказал Маляев, улыбаясь. – Не забыли... Спокойной плазмы.

Патрик тоже улыбался. Кивая, они попятились к толпе. Женя стояла под самым люком, и Горбовский помахал ей рукой. Потом он повернулся к Диксону.

– Жарко? – спросил он.

– Ужасно. Сейчас бы душ принять. А в душевых дети.

– Освободите душевые, – сказал Горбовский.

– Легко сказать. – Диксон тяжело вздохнул и, скривившись, оттянул тесный воротник мундира. – Борода лезет под воротник, – пробормотал он. – Колется невыносимо. Все тело зудит.

– Дядя, – сказал мальчик Алеша. – А у тебя борода настоящая?

– Можешь подергать, – сказал Перси со вздохом и нагнулся.

Мальчик подергал.

– Все равно ненастоящая, – заявил он.

Горбовский взял его за плечо, но Алеша вывернулся.

– Не хочу с тобой, – сказал он. – Хочу с капитаном.

– Вот и хорошо, – сказал Горбовский. – Перси, отведите его к воспитателю.

Он шагнул к двери в коридор.

– Не упадите в обморок, – сказал Диксон вслед.

Горбовский откатил дверь. Да, такого в корабле еще не бывало. Визг, смех, свист, щебет, воркование, воинственные клики, стук, звон, топот, скрип металла о металл, мяукающие вопли младенцев... Неповторимые запахи молока, меда, лекарств, разгоряченных детских тел, мыла – несмотря на кондиционирование, несмотря на непрерывную работу аварийных вентиляторов... Горбовский пошел по коридору, выбирая место, куда ступить, опасливо заглядывая в распахнутые двери, где прыгали, плясали, баюкали кукол, целились из ружей, набрасывали лассо, толклись в невообразимой тесноте, сидели и ползали на откинутых койках, на столах, под столами, под койками четыре десятка мальчиков и девочек в возрасте от двух до шести лет. Из каюты в каюту бегали озабоченные воспитатели. В кают-компании, из которой была выброшена почти вся мебель, молодые матери кормили и пеленали новорожденных, и тут же были ясли – пятеро ползунков, переговариваясь на птичьем языке, бродили на четвереньках в отгороженном углу. Горбовский представил себе все это в состоянии невесомости, зажмурился и прошел в рубку.

Горбовский не узнал рубки. Здесь было пусто. Исчез громадный контроль-комбайн, занимавший треть помещения. Исчез пульт управления, исчезло кресло пилота-дублера. Исчез пульт обзорного экрана. Исчезло кресло перед вычислителем. А сам вычислитель, наполовину разобранный, блестел обнажившимися блок-схемами. Корабль перестал быть звездолетом. Он превратился в самоходную межпланетную баржу, сохранившую хороший ход, но годную только для перелетов по инерционным траекториям.

Горбовский сунул руки в карманы. Диксон сопел у него над ухом.

– Так-так, – сказал Горбовский. – А где Валькенштейн?

– Здесь. – Валькенштейн высунулся из недр вычислителя. Он был мрачен и очень решителен.

– Молодец, Марк, – сказал Горбовский. – И вы молодец, Перси.

Спасибо!

– Вас уже три раза спрашивал Пишта, – сказал Марк и снова скрылся в вычислителе. – Он у грузового люка.

Горбовский пересек рубку и вышел в грузовой отсек. Ему стало жутко. Здесь в длинном и узком помещении, слабо освещенном двумя газосветными лампами, стояли, плотно прижавшись друг к другу, мальчики и девочки школьники – от первоклассников до старших классов. Они стояли молча, почти не шевелясь, только переступая с ноги на ногу, и смотрели в распахнутый люк, где виднелось голубое небо да плоская белая крыша далекого пакгауза. Несколько секунд Горбовский, покусывая губу, смотрел на детей.

– Первоклассников перевести в коридор, – сказал он. – Второй и третий классы – в рубку. Сейчас же.

– И это еще не все, – тихо сказал Диксон. – Десять человек застряли где-то на пути из Детского... Впрочем, кажется, они погибли. Группа старшеклассников отказывается грузиться. И есть еще группа детей аутсайдеров, которые только сейчас прибыли. Впрочем, сами увидите.

– Вы все-таки сделайте, как я сказал, – предложил Горбовский. – Первые три класса – в коридор и в рубку. А сюда – свет, экран, показывайте фильмы. Исторические фильмы. Пусть смотрят, как бывало раньше. Действуйте, Перси. И еще – составьте из ребят цепочку до Валькенштейна, пусть по конвейеру передают детали, это их немного займет.

Он с трудом протиснулся к люку и сбежал вниз. У подножия трапа, окруженная воспитателями, стояла большая группа ребятишек разного возраста. Слева беспорядочной грудой было свалено все самое драгоценное из предметов материальной культуры Радуги: связки документов, папки, машины и модели машин, закутанные в материю скульптуры, свертки холстов. А справа, шагах в двадцати, стояли угрюмые юноши и девушки пятнадцати-шестнадцати лет, и перед ними, заложив руки за спину, нагнув голову, расхаживал очень серьезный Станислав Пишта. Негромко, но внятно он говорил:

– ...Считайте, что это экзамен. Поменьше думайте о себе и побольше о других. Ну и что же, что вам стыдно? Возьмите себя в руки, пересильте это чувство!

Старшеклассники упрямо молчали. И подавленно молчали взрослые, сгрудившиеся перед грузовым люком. Некоторые ребята украдкой оглядывались, и было видно, что они не прочь удрать, но бежать было невозможно – вокруг стояли их отцы и матери. Горбовский посмотрел на люк. Даже отсюда было видно, что корабль набит битком. В широком, как

ворота, люке тесной шеренгой стояли дети. Лица у них были недетские – слишком серьезные и слишком печальные.

К Горбовскому как-то боком придвинулся огромный, очень красивый молодой человек с тоскливыми просящими глазами, безобразно не соответствующими всему его облику.

– Одно слово, капитан, – проговорил он дрожащим голосом. – Одно только слово...

– Минутку, – сказал Горбовский.

Он подошел к Пиште и обнял его за плечи.

– Места хватит всем, – говорил Пишта. – Пусть это вас не беспокоит...

– Станислав, – сказал Горбовский, – распорядись грузить оставшихся.

– Там нет мест, – очень непоследовательно возразил Пишта. – Мы ждали тебя. Хорошо бы очистить резервную Д-камеру.

– На «Тариэле» нет резервных Д-камер. Но место сейчас будет. Распоряжайся.

Горбовский остался лицом к лицу со старшеклассниками.

– Мы не хотим лететь, – сообщил один из них, белобрысый рослый парнишка с яркими зелеными глазами. – Лететь должны воспитатели.

– Правильно! – сказала маленькая девушка в спортивных брюках. Позади голос Перси Диксона крикнул:

– Бросайте! Прямо на землю!

Из люка посыпались звонкие пластины блок-схем. Конвейер заработал.

– Вот что, мальчики и девочки, – сказал Горбовский. – Во-первых, у вас еще нет права голоса, потому что вы еще не кончили школу. И во-вторых, нужно иметь совесть. Правда, вы еще молоды и рветесь на геройские подвиги, но дело-то в том, что здесь вы не нужны, а в корабле нужны. Мне страшно подумать, что там будет в инерционном полете. Нужно по два старших на каждую каюту к дошкольникам, по крайней мере три ловкие девочки для яслей и помогать женщинам с новорожденными. Короче говоря, вот где от вас потребуется подвиг.

– Простите, капитан, – насмешливо сказал зеленоглазый, – но все эти обязанности прекрасно могут выполнить воспитательницы.

– Простите, юноша, – сказал Горбовский, – но я полагаю, вам известны права капитана. Как капитан, я вам обещаю, что из воспитателей полетят только два человека. А главное – напрягитесь и попробуйте представить себе, как будут дальше жить ваши воспитатели, если они займут ваши места на корабле. Игры кончились, мальчики и девочки, перед вами жизнь, какой она бывает иногда, – к счастью, редко. А теперь

простите, я занят. В утешение могу сказать вам только одно: в корабль вы войдете последними. Все!

Он повернулся к ним спиной и с размаху наткнулся на молодого человека с тоскливыми глазами.

– Ох, простите, – сказал Горбовский. – Совсем забыл про вас.

– Вы сказали, полетят два воспитателя, – осипшим голосом сказал молодой человек. – Кто?

– Кто вы такой? – спросил Горбовский.

– Я Роберт Скляров. Я физик-нулевик. Но речь не обо мне. Я вам сейчас все расскажу. Но сначала скажите, кто из воспитателей летит?

Скляров... Скляров... Удивительно знакомое имя. Где я о нем слыхал?

– Камилл, – сказал Скляров, принужденно улыбаясь.

– А, – сказал Горбовский. – Так вас интересует, кто летит? – Он оглядел Склярова. – Хорошо, я вам скажу. Только вам. Летит заведующий и летит главный врач. Они еще этого не знают.

– Нет, – сказал Скляров, хватая Горбовского за руки. – Еще один... Еще одну. Турчина Татьяна. Она воспитатель. Ее очень любят. Она опытнейший воспитатель...

Горбовский освободил руки.

– Нельзя, – сказал он. – Нельзя, милый Роберт! Летят только дети и матери с новорожденными, понимаете? Только дети и матери с грудными младенцами.

– Она тоже! – сейчас же сказал Скляров. – Она тоже мать! У нее будет ребенок... Мой ребенок! Спросите у нее... Она тоже мать!

Горбовского сильно толкнули в плечо. Он пошатнулся и увидел, как Скляров испуганно пятится, отступая, а на него молча идет маленькая тонкая женщина, удивительно изящная и стройная, с сильной сединой в золотых волосах и прекрасным, но словно окаменевшим лицом. Горбовский провел ладонью по лбу и вернулся к трапу.

Теперь здесь оставались только старшеклассники и воспитатели. Остальные взрослые – отцы и матери, и те, кто принес сюда свои творения, и те, кто, видимо, в смутной, неосознанной надежде тянулся к звездолету, медленно пятились, расступаясь и разбиваясь на группы. В люке, расставив руки, стоял Станислав Пишта и кричал:

– Потеснитесь чуть-чуть, ребята! Майкл, крикни в рубку, чтобы потеснились! Еще немного!

Ему отвечали серьезные детские голоса:

– Некуда больше! Все очень плотно стоят!

И густой голос Перси Диксона прогудел:

– Как так некуда? А вот сюда за пульт? Не бойся, маленькая, током не ударит, проходи, проходи... И ты тоже... И ты, курносый... Больше жизни! И ты... Так... так...

И холодный, звякающий, как железо, голос Валькенштейна приговаривал:

– Потеснитесь, ребята... Дайте пройти... Подвинься, девочка... Пропусти, мальчик...

Пишта посторонился, и рядом с ним появился Валькенштейн с курткой через плечо.

– Я остаюсь на Радуге, – сказал он. – Вы уж без меня, Леонид Андреевич. – Глаза его шарили по толпе, отыскивая кого-то.

Горбовский кивнул.

– Врач на борту? – спросил он.

– Да, – ответил Марк. – Из взрослых там только врач и Диксон.

Из люка вдруг раздался смех.

– Эх вы! – с натугой говорил голос Диксона. – Вот как надо... Раз-два... раз-два...

В люке появился Диксон. Он появился над головой Пишты, перевернутое лицо его было потным и ярко-малиновым.

– Держите меня, Леонид, – прошипел он. – Я сейчас свалюсь.

Ребята хохотали. Это было действительно очень смешно: толстый бортинженер, как муха, висел на потолке, цепляясь руками и ногами за карабины для крепления груза. Он был тяжел и горяч; и когда Пишта с Горбовским вытянули его наружу и поставили на ноги, он сказал, тяжело дыша:

– Стар. Стар уже...

Виновато моргая, он поглядел на Горбовского.

– Не могу я там, Леонид. Тесно, душно, жарко... Костюм этот несчастный... Я остаюсь здесь, а вы уж с Марком летите. Да и надоели вы мне, по правде сказать.

– Прощайте, Перси, – сказал Горбовский.

– Прощай, дружок, – сказал Диксон растроганно.

Горбовский засмеялся и похлопал его по позументам.

– Ну что ж, Станислав, – сказал он. – Придется тебе обойтись без бортинженера. Думаю, обойдешься. Твоя задача: выйти на орбиту экваториального спутника и ждать «Стрелу». Остальное сделает командир «Стрелы».

Несколько секунд Пишта ошарашенно молчал. Потом он понял.

– Ты что это, а? – очень тихо сказал он, шаря взглядом по лицу

Горбовского. – Ты что это? Ты Десантник! Что это за жесты?

– Жесты? – сказал Горбовский. – Я не умею. А ты иди. Ты за всех них отвечаешь до конца. – Он повернулся к старшеклассникам. – Марш на борт! – крикнул он. – Иди вперед, а то не протиснешься, – сказал он Пиште.

Пишта посмотрел на понурых старшеклассников, медленно бредущих к трапу, посмотрел на люк, из которого высовывались лица детей, неловко клюнул Горбовского в щеку, кивнул Марку и Диксону и, поднявшись на цыпочки, взялся за карабины. Горбовский подтолкнул его. Старшеклассники один за другим с нарочитой важностью и неторопливостью начали протискиваться внутрь, мужественно покрикивая: «А ну, шевелись! Подбери губы, наступят! Кто это там ревет? Головы выше!» Последней вошла та самая девочка в спортивных брюках. На секунду она остановилась и с надеждой оглянулась на Горбовского, но тот сделал каменное лицо.

– Некуда ведь, – сказала она тихонько. – Видите? Я не помещаюсь.

– Ты похудеешь, – пообещал Горбовский и, взяв ее за плечи, осторожно втиснул в толпу. Потом он спросил Диксона: – А где кино?

– Все рассчитано, – важно ответил Перси. – Кино начнется в момент старта. Дети любят сюрпризы.

– Пишта! – крикнул Горбовский. – Готов?

– Готов! – гулко откликнулся Пишта.

– Стартуй, Пишта! Спокойной плазмы! Закрывай люки! Мальчики и девочки, спокойной плазмы!

Тяжелая плита люка бесшумно выдвинулась из паза в обшивке. Горбовский, прощально махая рукой, отступил от комингса. Вдруг он вспомнил.

– Ай! – закричал он. – А письмо?

В нагрудном кармане письма не было, в боковом тоже. Люк закрывался. Письмо почему-то оказалось во внутреннем кармане. Горбовский сунул его девочке в спортивных брюках и поспешно отдернул руку. Люк закрылся. Горбовский, сам не зная зачем, погладил голубоватый металл, ни на кого не глядя, спустился на землю, и Диксон с Марком оттащили трап. Вокруг корабля осталось совсем мало народу, зато над кораблем в небе кружились десятки вертолетов и флаеров.

Горбовский обогнул груду материальных ценностей, споткнулся о какой-то бюст и пошел вокруг корабля к пассажирскому люку, где его должна была ждать Женя Вязаницына. Хоть бы Матвей прилетел, с тоской подумал он. Он чувствовал себя выжатым и высушенным и очень обрадовался, когда увидел Матвея. Матвей шел ему навстречу. Но он был

один.

– А где Женя? – спросил Горбовский.

Матвей остановился и оглянулся по сторонам. Жени нигде не было.

– Она была здесь, – сказал он. – Я говорил с ней по радиофону. Что, люки уже закрыли? – Он все оглядывался.

– Да, сейчас старт, – сказал Горбовский. Он тоже озирался. Может быть, она на вертолете, подумал он. Но он знал, что это невозможно.

– Странно, что нет Жени, – проговорил Матвей.

– Возможно, она на вертолете, – сказал Горбовский. Он вдруг понял, где она. Ай да она, подумал он.

– Алешку так и не увидел, – сказал Матвей.

Странный широкий звук, похожий на судорожный вздох, пронесся над космодромом. Огромная голубая громада корабля бесшумно оторвалась от земли и медленно пошла вверх. Первый раз в жизни вижу старт своего корабля, подумал Горбовский. Матвей все провожал корабль глазами – и вдруг как ужаленный повернулся к Горбовскому и с изумлением уставился на него.

– Постой... – пробормотал он. – Как же это так?.. Почему ты здесь? А как же корабль?

– Там Пишта, – сказал Горбовский.

Глаза Матвея остановились.

– Вот она, – прошептал он.

Горбовский обернулся. Над горизонтом ослепительно сияла блестящая ровная полоса.

ГЛАВА 10

На окраине Столицы Горбовский попросил остановиться. Диксон затормозил и выжидательно посмотрел на него.

– Я пойду пешком, – сказал Горбовский.

Он вылез. Сейчас же вслед за ним вылез Марк и, протянув руку, помог выйти Але Постышевой. Всю дорогу от космодрома эта пара молчала на заднем сиденье. Они крепко, по-детски, держались за руки, и Аля, закрыв глаза, прижималась лицом к плечу Марка.

– Пойдемте с нами, Перси, – сказал Горбовский. – Будем собирать цветочки, и уже не жарко. И это будет очень полезно для вашего сердца.

Диксон покачал косматой головой.

– Нет, Леонид, – сказал он. – Давайте лучше попрощаемся. Я поеду.

Солнце висело над самым горизонтом. Было прохладно. Солнце светило словно в коридор с черными стенами: обе Волны – северная и южная – уже высоко поднялись над горизонтом.

– Вот по этому коридору, – сказал Диксон. – Куда глаза глядят. Прощайте, Леонид, прощай, Марк. И ты, девочка, прощай. Идите... Но сначала я попытаюсь последний раз предугадать ваши поступки. Сейчас это особенно просто.

– Да, это просто, – сказал Марк. – Прощайте, Перси. Пошли, малыш.

Коротко улыбнувшись, он взглянул на Горбовского, обнял Алю за плечи, и они пошли в степь. Горбовский и Диксон смотрели им вслед.

– Немножко поздно, – сказал Диксон.

– Да, – согласился Горбовский. – И все-таки я завидую.

– Вы любите завидовать. Вы всегда так аппетитно завидуете, Леонид. Я вот тоже завидую. Завидую, что кто-то будет думать о нем в его последние минуты, а обо мне... да и о вас тоже, Леонид, никто.

– Хотите, я буду думать о вас? – спросил серьезно Горбовский.

– Нет, не стоит. – Диксон, прищурясь, посмотрел на низкое солнце. – Да, – сказал он. – На этот раз нам, кажется, не выбраться. Прощайте, Леонид!

Он кивнул и уехал, а Горбовский неспешно зашагал по шоссе рядом с другими людьми, так же неторопливо бредущими в город. Ему было очень легко и покойно впервые за этот сумбурный, напряженный и страшный день. Больше не надо было ни о ком заботиться, не надо было принимать решений, все вокруг были самостоятельны, и он тоже стал совершенно

самостоятельным. Таким самостоятельным он еще не был никогда в жизни.

Вечер был красив, и если бы не черные стены справа и слева, медленно растущие в синее небо, он был бы просто прекрасен: тихий, прозрачный, в меру прохладный, пронизанный косыми розоватыми лучами солнца. Людей на шоссе оставалось все меньше; многие ушли в степь, как Валькенштейн с Алей, другие остались прямо у обочин.

В городе вдоль главной улицы многоцветными пятнами красовались картины, выставленные художниками в последний раз, – у деревьев, у стен домов, на волноводах поперек дороги, на столбах энергопередач. Перед картинами стояли люди, вспоминали, тихо радовались, кто-то – неугомонный – затеял спор, а миловидная худенькая женщина горько плакала, повторяя громко: «Обидно... Как обидно!» Горбовский подумал, что где-то видел ее, но так и не мог вспомнить – где.

Слышалась незнакомая музыка: в открытом кафе рядом со зданием Совета маленький, хилый человек с необычайной страстью и темпераментом играл на концертной хориоле, и люди за столиками слушали его, не шевелясь; и еще много людей сидели и слушали на ступеньках и прямо на газонах перед кафе, а к хориоле был прислонен большой лист картона, на котором кривоватыми буквами было написано: «Далекая Радуга». Песня. Не оконч.».

Вокруг шахты было много народу, и все были заняты. Матово поблескивал огромный, еще не достроенный купол входного кессона. Из здания театра тянулась цепочка нуль-физиков, тащивших папки, свертки, груды коробок. Горбовский сразу подумал о папке, которую ему передал Маляев. Он попытался вспомнить, куда дел ее. Кажется, оставил в рубке. Или в тамбуре? Не надо вспоминать. Неважно. Следует быть совершенно беззаботным. Странно, неужели физики еще надеются? Правда, всегда можно надеяться на чудо. Но забавно, что на чудо теперь надеются самые скептические и логические люди планеты.

У стены Совета, возле подъезда сидел, вытянув ноги, человек в изодранном пилотском комбинезоне, слепой, с забинтованным лицом. На коленях у него лежало блестящее никелированное банджо. Запрокинув голову, слепой слушал песню «Далекая Радуга».

Из-за купола появился лжештурман Ганс с огромным тюком на плече. Увидев Горбовского, он заулыбался и сказал на ходу: «А, капитан! Как ваши ульмотроны? Достали? А мы вот архивы хороним. Очень утомительно. День какой-то сумасшедший...» Кажется, это был единственный человек на Радуге, который так и не узнал, что Горбовский настоящий капитан «Тариэля».

Из окна Совета Горбовского окликнул Матвей.

– «Тариэль» уже на орбите! – крикнул он. – Сейчас прощались. Там все в порядке.

– Спускайся, – предложил Горбовский. – Пойдем вместе.

Матвей покачал головой.

– Нет, дружище, – сказал он. – У меня масса дел, а времени мало... – Он помолчал, затем добавил растерянно: – Женя нашлась, ты знаешь где?

– Догадываюсь, – сказал Горбовский.

– Зачем ты это сделал? – сказал Матвей.

– Честное слово, я ничего не делал, – сказал Горбовский.

Матвей укоризненно покачал головой и скрылся в глубине комнаты, а Горбовский пошел дальше.

...Он вышел на берег моря, на прекрасный желтый пляж с пестрыми тентами и удобными шезлонгами, с катерами и лодками, выстроившимися у невысокого причала. Он опустился в один из шезлонгов, с удовольствием вытянул ноги, сложил руки на животе и стал смотреть на запад, на багровое закатное солнце. Слева и справа нависали бархатно-черные стены, он старался не замечать их.

Сейчас я должен был бы стартовать к Лаланде, думал он сквозь дремоту. Мы сидели бы втроем в рубке, и я рассказывал бы им, какая славная планета Радуга, как я исколесил ее всю за день. Перси Диксон помалкивал бы, накручивая бороду на пальцы, а Марк бы брюзжал, что старо, скучно и везде одинаково. А завтра в это время мы бы вышли из деритринитации...

Мимо него прошла, опустив голову, та прекрасная девушка с сединой в золотых волосах, которая так вовремя прервала его неприятный разговор со Скляровым на космодроме. Она шла по самой кромке воды, и лицо ее уже не казалось каменным, оно было просто бесконечно усталым. Шагах в пятидесяти она остановилась, постояла, глядя в море, и села на песок, уткнулась подбородком в колени. Сейчас же над ухом Горбовского кто-то тяжело вздохнул, и, скосив глаз, Горбовский увидел Склярова. Скляров тоже смотрел на девушку.

– Все бессмысленно, – сказал он негромко. – Скучно жил, ненужно! И все самое плохое приберeглось на последний день...

– Голубчик, – сказал Горбовский. – А что может быть хорошего в последнем дне?

– Вы еще не знаете...

– Знаю, – сказал Горбовский. – Все знаю...

– Не можете вы всего знать... Я же слышу, как вы со мной

разговариваете.

– Как?

– Как с обыкновенным человеком. А я трус и преступник.

– Ну, Роберт, – сказал Горбовский. – Ну какой вы трус и преступник?

– Я трус и преступник, – упрямо повторил Роберт. – Я даже, наверное, хуже, потому что считаю, что все делал правильно.

– Трусов и преступников не бывает, – сказал Горбовский. – Я скорее поверю в человека, который способен воскреснуть, чем в человека, который способен совершить преступление.

– Не надо меня утешать. Я же говорю, что вы не знаете всего.

Горбовский лениво повернул к нему голову.

– Роберт, – сказал он, – не тратьте вы зря время. Идите вы к ней. Сядьте рядом... Мне очень удобно лежать, но если хотите, я помогу вам...

– Все получается не так, как хочется, – тоскливо сказал Роберт. – Я был уверен, что спасу ее. Мне казалось, что я готов на все. Но оказалось, что на все я не готов... Пойду, – сказал вдруг он.

Горбовский следил за ним, как он шагает – сначала широко и уверенно, а потом все медленнее и медленнее, как он все-таки подошел к ней, и сел рядом, и она не отодвинулась.

Некоторое время Горбовский смотрел на них, стараясь разобраться, завидует он или нет, а потом задремал по-настоящему. Его разбудило прикосновение чего-то холодного. Он приоткрыл один глаз и увидел Камилла, его вечный нелепый шлем, его вечно постное и угрюмое лицо и круглые немигающие глаза.

– Я знал, что вы здесь, Леонид, – сообщил Камилл. – Я искал вас.

– Здравствуйте, Камилл, – пробормотал Горбовский. – Наверное, это очень скучно – все знать...

Камилл подтащил шезлонг и сел рядом в позе человека с переломленным позвоночником.

– Есть вещи поскучнее, – сказал он. – Мне все надоело. Это была огромная ошибка.

– Как дела на том свете? – спросил Горбовский.

– Там темно, – сказал Камилл. Он помолчал. – Сегодня я умирал и воскресал трижды. Каждый раз было очень больно.

– Трижды, – повторил Горбовский. – Рекорд. – Он посмотрел на Камилла. – Камилл, скажите мне правду. Я никак не могу понять. Вы человек? Не стесняйтесь. Я уже никому не успею рассказать.

Камилл подумал.

– Не знаю, – сказал он. – Я последний из Чертовой Дюжины. Опыт не

удался, Леонид. Вместо состояния «хочешь, но не можешь» состояние «можешь, но не хочешь». Это невыносимо тоскливо – мочь и не хотеть.

Горбовский слушал, закрыв глаза.

– Да, я понимаю, – проговорил он. – Мочь и не хотеть – это от машины. А тоскливо – это от человека.

– Вы ничего не понимаете, – сказал Камилл. – Вы любите мечтать иногда о мудрости патриархов, у которых нет ни желаний, ни чувств, ни даже ощущений. Бесплотный разум. Мозг-дальтоник. Великий Логик. Логические методы требуют абсолютной сосредоточенности. Для того чтобы что-нибудь сделать в науке, приходится днем и ночью думать об одном и том же, читать об одном и том же, говорить об одном и том же... А куда уйдешь от своей психической призмы? От врожденной способности чувствовать... Ведь нужно любить, нужно читать о любви, нужны зеленые холмы, музыка, картины, неудовлетворенность, страх, зависть... Вы пытаетесь ограничить себя – и теряете огромный кусок счастья. И вы прекрасно сознаете, что вы его теряете. И тогда, чтобы вытравить в себе это сознание и прекратить мучительную раздвоенность, вы оскопляете себя. Вы отрываете от себя всю эмоциональную половину человечьего и оставляете только одну реакцию на окружающий мир – сомнение. «Подвергай сомнению!» – Камилл помолчал. – И тогда вас ожидает одиночество. – Со страшной тоской он глядел на вечернее море, на холодеющий пляж, на пустые шезлонги, отбрасывающие странную тройную тень. – Одиночество... – повторил он. – Вы всегда уходили от меня, люди. Я всегда был лишним, назойливым и непонятным чудаком. И сейчас вы тоже уйдете. А я останусь один. Сегодня ночью я воскресну в четвертый раз, один, на мертвой планете, заваленной пеплом и снегом...

Вдруг на пляже стало шумно. Увязая в песке, к морю спускались испытатели – восемь испытателей, восемь несостоявшихся нуль-перелетчиков. Семеро несли на плечах восьмого, слепого, с лицом, обмотанным бинтами. Слепой, закинув голову, играл на банджо, и все пели:

Когда, как темная вода,
Лихая, лютая беда
Была тебе по грудь,
Ты, не склоняя головы,
Смотрела в прорезь синевы
И продолжала путь...[5]

Они, не оглядываясь, вошли с песней в море по пояс, по грудь, а затем поплыли вслед за заходящим солнцем, держа на спинах слепого товарища. Справа от них была черная, почти до зенита, стена, и слева была черная, почти до зенита, стена, и оставалась только узкая темно-синяя прорезь неба, да красное солнце, да дорожка расплавленного золота, по которой они плыли, и скоро их совсем не стало видно в дрожащих бликах, и только слышался звон банджо и песня:

...Ты, не склоняя головы,
Смотрела в прорезь синевы
И продолжала путь...

ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ

«То были дни, когда я познал, что значит: страдать; что значит: стыдиться; что значит: отчаяться».

Пьер _Абеляр_

«Должен вас предупредить вот о чем. Выполняя задание, вы будете при оружии для поднятия авторитета. Но пускать его в ход вам не разрешается ни при каких обстоятельствах. Ни при каких обстоятельствах. Вы меня поняли?»

Эрнест _Хемингуэй_

ПРОЛОГ

Ложа Анкиного арбалета была выточена из черной пластмассы, а тетива была из хромистой стали и натягивалась одним движением бесшумно скользящего рычага. Антон новшеств не признавал: у него было доброе боевое устройство в стиле маршала Тоца, короля Пица Первого, окованное черной медью, с колесиком, на которое наматывался шнур из воловьих жил. Что касается Пашки, то он взял пневматический карабин. Арбалеты он считал детством человечества, так как был ленив и неспособен к столярному ремеслу.

Они причалили к северному берегу, где из желтого песчаного обрыва торчали корявые корни мачтовых сосен. Анка бросила рулевое весло и оглянулась. Солнце уже поднялось над лесом, и все было голубое, зеленое и желтое — голубой туман над озером, темно-зеленые сосны и желтый берег на той стороне. И небо над всем этим было ясное, белесовато-синее.

— Ничего там нет, — сказал Пашка.

Ребята сидели, перегнувшись через борт, и глядели в воду.

— Громадная щука, — уверенно сказал Антон.

— С вот такими плавниками? — спросил Пашка.

Антон промолчал. Анка тоже посмотрела в воду, но увидела только собственное отражение.

— Искупаться бы, — сказал Пашка, запуская руку по локоть в воду. — Холодная, — сообщил он.

Антон перебрался на нос и спрыгнул на берег. Лодка закачалась. Антон взялся за борт и выжидательно посмотрел на Пашку. Тогда Пашка поднялся, заложил весло за шею, как коромысло, и, извиваясь нижней частью туловища, пропел:

Старый шкипер Вицлипуцли!
Ты, приятель, не заснул?
Берегись, к тебе несутся
Стаи жареных акул!

Антон молча рванул лодку.

— Эй-эй! — закричал Пашка, хватаясь за борта.

— Почему жареных? — спросила Анка.

— Не знаю, — ответил Пашка. Они выбрались из лодки. — А верно, здорово? Стаи жареных акул!

Они потащили лодку на берег. Ноги проваливались во влажный песок, где было полным-полно высохших иголок и сосновых шишек. Лодка была тяжелая и скользкая, но они выволокли ее до самой кормы и остановились, тяжело дыша.

— Ногу отдавил, — сказал Пашка и принялся поправлять красную повязку на голове. Он внимательно следил за тем, чтобы узел повязки был точно над правым ухом, как у носатых ируканских пиратов. — Жизнь не дорог`а, о-хэй! — заявил он.

Анка сосредоточенно сосала палец.

— Занозила? — спросил Антон.

— Нет. Содрала. У кого-то из вас такие когти...

— Ну-ка, покажи.

Она показала.

— Да, — сказал Антон. — Травма. Ну, что будем делать?

— На пле-чо — и вдоль берега, — предложил Пашка.

— Стоило тогда вылезать из лодки, — сказал Антон.

— На лодке и курица может, — объяснил Пашка. — А по берегу: тростники — раз, обрывы — два, омуты — три. С налимами. И сомы есть.

— Стаи жареных сомов, — сказал Антон.

— А ты в омут нырял?

— Ну, нырял.

— Я не видел. Не довелось как-то увидеть.

— Мало ли чего ты не видел.

Анка повернулась к ним спиной, подняла арбалет и выстрелила в сосну шагах в двадцати. Посыпалась кора.

— Здорово, — сказал Пашка и сейчас же выстрелил из карабина. Он целился в Анкину стрелу, но промазал. — Дыхание не задержал, — объяснил он.

— А если бы задержал? — спросил Антон. Он смотрел на Анку.

Анка сильным движением оттянула рычаг тетивы. Мускулы у нее были отличные — Антон с удовольствием смотрел, как прокатился под смуглой кожей твердый шарик бицепса.

Анка очень тщательно прицелилась и выстрелила еще раз. Вторая стрела с треском воткнулась в ствол немного ниже первой.

— Зря мы это делаем, — сказала Анка, опуская арбалет.

— Что? — спросил Антон.

— Дерево портим, вот что. Один малек вчера стрелял в дерево из лука,

так я его заставила зубами стрелы выдергивать.
— Пашка, — сказал Антон. — Сбегал бы, у тебя зубы хорошие.
— У меня зуб со свистом, — ответил Пашка.
— Ладно, — сказала Анка. — Давайте что-нибудь делать.
— Неохота мне лазить по обрывам, — сказал Антон.
— Мне тоже неохота. Пошли прямо.
— Куда? — спросил Пашка.
— Куда глаза глядят.
— Ну? — сказал Антон.
— Значит, в сайву, — сказал Пашка. — Тошка, пошли на Забытое Шоссе. Помнишь?
— Еще бы!
— Знаешь, Анечка... — начал Пашка.
— Я тебе не Анечка, — резко сказала Анка. Она терпеть не могла, когда ее называли не Анка, а как-нибудь еще.
Антон это хорошо запомнил. Он быстро сказал:
— Забытое Шоссе. По нему не ездят. И на карте его нет. И куда идет, совершенно неизвестно.
— А вы там были?
— Были. Но не успели исследовать.
— Дорога из ниоткуда в никуда, — изрек оправившийся Пашка.
— Это здорово! — сказала Анка. Глаза у нее стали как черные щелки. — Пошли. К вечеру дойдем?
— Ну что ты! До двенадцати дойдем.
Они полезли вверх по обрыву. На краю обрыва Пашка обернулся. Внизу было синее озеро с желтоватыми проплешинами отмелей, лодка на песке и большие расходящиеся круги на спокойной маслянистой воде у берега — вероятно, это плеснула та самая щука. И Пашка ощутил обычный неопределенный восторг, как всегда, когда они с Тошкой удирали из интерната и впереди был день полной независимости с неразведанными местами, с земляникой, с горячими безлюдными лугами, с серыми ящерицами, с ледяной водой в неожиданных родниках. И, как всегда, ему захотелось заорать и высоко подпрыгнуть, и он немедленно сделал это, и Антон, смеясь, поглядел на него, и он увидел в глазах Антона совершенное понимание. А Анка вложила два пальца в рот и лихо свистнула, и они вошли в лес.
Лес был сосновый и редкий, ноги скользили по опавшей хвое. Косые солнечные лучи падали между прямых стволов, и земля была вся в золотых пятнах. Пахло смолой, озером и земляникой; где-то в небе верещали

невидимые пичужки.

Анка шла впереди, держа арбалет под мышкой, и время от времени нагибалась за кровавыми, будто лакированными, ягодами земляники. Антон шел следом с добрым боевым устройством маршала Тоца на плече. Колчан с добрыми боевыми стрелами тяжко похлопывал его по заду. Он шел и поглядывал на Анкину шею — загорелую, почти черную, с выступающими позвонками. Иногда он озирался, ища Пашку, но Пашки не было видно, только по временам то справа, то слева вспыхивала на солнце его красная повязка. Антон представил себе, как Пашка бесшумно скользит между соснами с карабином наготове, вытянув вперед хищное худое лицо с облупленным носом. Пашка крался по сайве, а сайва не шутит. Сайва, приятель, спросит — и надо успеть ответить, подумал Антон и пригнулся было, но впереди была Анка, и она могла оглянуться. Получилось бы нелепо.

Анка оглянулась и спросила:

— Вы ушли тихо?

Антон пожал плечами.

— Кто же уходит громко?

— Я, кажется, все-таки нашумела, — озабоченно сказала Анка. — Я уронила таз — и вдруг в коридоре шаги. Наверное, Дева Катя — она сегодня в дежурных. Пришлось прыгать в клумбу. Как ты думаешь, Тошка, что за цветы растут на этой клумбе?

Антон сморщил лоб.

— У тебя под окном? Не знаю. А что?

— Очень упорные цветы. «Не гнет их ветер, не валит буря». В них прыгают несколько лет, а им хоть бы что.

— Интересно, — сказал Антон глубокомысленно. Он вспомнил, что под его окном тоже клумба с цветами, которые «не гнет ветер и не валит буря». Но он никогда не обращал на это внимания.

Анка остановилась, подождала его и протянула горсть земляники. Антон аккуратно взял три ягоды.

— Бери еще, — сказала Анка.

— Спасибо, — сказал Антон. — Я люблю собирать по одной. А Дева Катя вообще ничего, верно?

— Это кому как, — сказала Анка. — Когда человеку каждый вечер заявляют, что у него ноги то в грязи, то в пыли...

Она замолчала. Было удивительно хорошо идти с нею по лесу плечом к плечу вдвоем, касаясь голыми локтями, и поглядывать на нее — какая она красивая, ловкая и необычно доброжелательная и какие у нее большие

серые глаза с черными ресницами.

— Да, — сказал Антон, протягивая руку, чтобы снять блеснувшую на солнце паутину. — Уж у нее-то ноги не пыльные. Если тебя через лужи носят на руках, тогда, понимаешь, не запылишься...

— Кто это ее носит?

— Генрих с метеостанции. Знаешь, здоровый такой, с белыми волосами.

— Правда?

— А чего такого? Каждый малек знает, что они влюблены.

Они опять замолчали. Антон глянул на Анку. Глаза у Анки были как черные щелочки.

— А когда это было? — спросила она.

— Да было в одну лунную ночь, — ответил Антон без всякой охоты. — Только ты смотри не разболтай.

Анка усмехнулась.

— Никто тебя за язык не тянул, Тошка, — сказала она. — Хочешь земляники?

Антон машинально сгреб ягоды с испачканной ладошки и сунул в рот. Не люблю болтунов, подумал он. Терпеть не могу трепачей. Он вдруг нашел аргумент.

— Тебя тоже когда-нибудь будут таскать на руках. Тебе приятно будет, если начнут об этом болтать?

— Откуда ты взял, что я собираюсь болтать? — рассеянно сказала Анка. — Я вообще не люблю болтунов.

— Слушай, что ты задумала?

— Ничего особенного. — Анка пожала плечами. Немного погодя она доверительно сообщила: — Знаешь, мне ужасно надоело каждый божий вечер дважды мыть ноги.

Бедная Дева Катя, подумал Антон. Это тебе не сайва.

Они вышли на тропинку. Тропинка вела вниз, и лес становился все темнее и темнее. Здесь буйно росли папоротник и высокая сырая трава. Стволы сосен были покрыты мхом и белой пеной лишайников. Но сайва не шутит. Хриплый голос, в котором не было ничего человеческого, неожиданно проревел:

— Стой! Бросай оружие — ты, благородный дон, и ты, дона!

Когда сайва спрашивает, надо успеть ответить. Точным движением Антон сшиб Анку в папоротники налево, а сам прыгнул в папоротники направо, покатился и залег за гнилым пнем. Хриплое эхо еще отдавалось в стволах сосен, а тропинка была уже пуста. Наступила тишина.

Антон, завалившись на бок, вертел колесико, натягивая тетиву. Хлопнул выстрел, на Антона посыпался какой-то мусор. Хриплый нечеловеческий голос сообщил:

— Дон поражен в пятку!

Антон застонал и подтянул ногу.

— Да не в эту, в правую, — поправил голос.

Было слышно, как Пашка хихикает. Антон осторожно выглянул из-за пня, но ничего не было видно в сумеречной зеленой каше.

В этот момент раздался пронзительный свист и шум, как будто упало дерево.

— Уау!.. — сдавленно заорал Пашка. — Пощады! Пощады! Не убивайте меня!

Антон сразу вскочил. Навстречу ему из папоротников, пятясь, вылез Пашка. Руки его были подняты над головой. Голос Анки спросил:

— Тошка, ты видишь его?

— Как на ладони, — одобрительно отозвался Антон. — Не поворачиваться! — крикнул он Пашке. — Руки за голову!

Пашка покорно заложил руки за голову и объявил:

— Я ничего не скажу.

— Что полагается с ним делать, Тошка? — спросила Анка.

— Сейчас увидишь, — сказал Антон и удобно уселся на пень, положив арбалет на колени. — Имя! — рявкнул он голосом Гексы Ируканского.

Пашка изобразил спиной презрение и неповиновение. Антон выстрелил. Тяжелая стрела с треском вонзилась в ветку над Пашкиной головой.

— Ого! — сказал голос Анки.

— Меня зовут Бон Саранча, — неохотно признался Пашка. — «И здесь он, по-видимому, ляжет — один из тех, что были с ним».

— Известный насильник и убийца, — пояснил Антон. — Но он никогда ничего не делает даром. Кто послал тебя?

— Меня послал дон Сатарина Беспощадный, — соврал Пашка.

Антон презрительно сказал:

— Вот эта рука оборвала нить зловонной жизни дона Сатарины два года назад в Урочище Тяжелых Мечей.

— Давай я всажу в него стрелу? — предложила Анка.

— Я совершенно забыл, — поспешно сказал Пашка. — В действительности меня послал Арата Красивый. Он обещал мне сто золотых за ваши головы.

Антон хлопнул себя по коленям.

— Вот брехун! — вскричал он. — Да разве станет Арата связываться с таким негодяем, как ты!

— Можно, я все-таки всажу в него стрелу? — кровожадно спросила Анка.

Антон демонически захохотал.

— Между прочим, — сказал Пашка, — у тебя отстрелена правая пятка. Пора бы тебе истечь кровью.

— Дудки! — возразил Антон. — Во-первых, я все время жую кору белого дерева, а во-вторых, две прекрасные варварки уже перевязали мне раны.

Папоротники зашевелились, и Анка вышла на тропинку. На щеке ее была царапина, колени были вымазаны в земле и зелени.

— Пора бросить его в болото, — объявила она. — Когда враг не сдается, его уничтожают.

Пашка опустил руки.

— Вообще-то ты играешь не по правилам, — сказал он Антону. — У тебя все время получается, что Гекса хороший человек.

— Много ты знаешь! — сказал Антон и тоже вышел на тропинку. — Сайва не шутит, грязный наемник.

Анка вернула Пашке карабин.

— Вы что, всегда так палите друг в друга? — спросила она с завистью.

— А как же! — удивился Пашка. — Что, нам кричать: «Кх-кх! Пу-пу!» — что ли? В игре нужен элемент риска!

Антон небрежно сказал:

— Например, мы часто играем в Вильгельма Телля.

— По очереди, — подхватил Пашка. — Сегодня я стою с яблоком, а завтра он.

Анка оглядела их.

— Вот как? — медленно сказала она. — Интересно было бы посмотреть.

— Мы бы с удовольствием, — ехидно сказал Антон. — Яблока вот нет.

Пашка широко ухмылялся. Тогда Анка сорвала у него с головы пиратскую повязку и быстро свернула из нее длинный кулек.

— Яблоко — это условность, — сказала она. — Вот отличная мишень. Сыграем в Вильгельма Телля.

Антон взял красный кулек и внимательно осмотрел его. Он взглянул на Анку — глаза у нее были как щелочки. А Пашка развлекался — ему было весело. Антон протянул ему кулек.

— «В тридцати шагах промаха в карту не дам, — ровным голосом

сказал он. — Разумеется, из знакомых пистолетов».

— «Право? — сказала Анка и обратилась к Пашке: — А ты, мой друг, попадешь ли в карту на тридцати шагах?»

Пашка пристраивал колпак на голове.

— «Когда-нибудь мы попробуем, — сказал он, скаля зубы. — В свое время я стрелял не худо».

Антон повернулся и пошел по тропинке, вслух считая шаги:

— Пятнадцать... шестнадцать... семнадцать...

Пашка что-то сказал — Антон не расслышал, и Анка громко рассмеялась. Как-то слишком громко.

— Тридцать, — сказал Антон и повернулся.

На тридцати шагах Пашка выглядел совсем маленьким. Красный треугольник кулька торчал у него на голове, как шутовской колпак. Пашка ухмылялся. Он все еще играл. Антон нагнулся и стал неторопливо натягивать тетиву.

— Благословляю тебя, отец мой Вильгельм! — крикнул Пашка. — И благодарю тебя за все, что бы ни случилось.

Антон наложил стрелу и выпрямился. Пашка и Анка смотрели на него. Они стояли рядом. Тропинка была как темный сырой коридор между высоких зеленых стен. Антон поднял арбалет. Боевое устройство маршала Тоца стало необычайно тяжелым. Руки дрожат, подумал Антон. Плохо. Зря. Он вспомнил, как зимой они с Пашкой целый час кидали снежки в чугунную шишку на столбе ограды. Кидали с двадцати шагов, с пятнадцати и с десяти — и никак не могли попасть. А потом, когда уже надоело и они уходили, Пашка небрежно, не глядя бросил последний снежок и попал. Антон изо всех сил вдавил приклад в плечо. Анка стоит слишком близко, подумал он. Он хотел крикнуть ей, чтобы она отошла, но понял, что это было бы глупо. Выше. Еще выше... Еще... Его вдруг охватила уверенность, что, если он даже повернется к ним спиной, фунтовая стрела все равно вонзится точно в Пашкину переносицу, между веселыми зелеными глазами. Он открыл глаза и посмотрел на Пашку. Пашка больше не ухмылялся. А Анка медленно-медленно поднимала руку с растопыренными пальцами, и лицо у нее было напряженное и очень взрослое. Тогда Антон поднял арбалет еще выше и нажал на спусковой крючок. Он не видел, куда ушла стрела.

— Промазал, — сказал он очень громко.

Переступая на негнущихся ногах, он двинулся по тропинке. Пашка вытер красным кульком лицо, встряхнув, развернул его и стал повязывать голову. Анка нагнулась и подобрала свой арбалет. Если она этой штукой

трахнет меня по голове, подумал Антон, я ей скажу спасибо. Но Анка даже не взглянула на него.

Она повернулась к Пашке и спросила:

— Пошли?

— Сейчас, — сказал Пашка.

Он посмотрел на Антона и молча постучал себя согнутым пальцем по лбу.

— А ты уже испугался, — сказал Антон.

Пашка еще раз постучал себя пальцем по лбу и пошел за Анкой. Антон плелся следом и старался подавить в себе сомнения.

А что я, собственно, сделал, вяло думал он. Чего они надулись? Ну Пашка ладно, он испугался. Только еще неизвестно, кто больше трусил — Вильгельм-папа или Телль-сын. Но Анка-то чего? Надо думать, перепугалась за Пашку. А что мне было делать? Вот тащусь за ними, как родственник. Взять и уйти. Поверну сейчас налево, там хорошее болото. Может, сову поймаю. Но он даже не замедлил шага. Это значит навсегда, подумал он. Он читал, что так бывает очень часто.

Они вышли на заброшенную дорогу даже раньше, чем думали. Солнце стояло высоко, было жарко. За шиворотом кололись хвойные иголки. Дорога была бетонная, из двух рядов серо-рыжих растрескавшихся плит. В стыках между плитами росла густая сухая трава. На обочинах было полно пыльного репейника. Над дорогой с гудением пролетали бронзовки, и одна нахально стукнула Антона прямо в лоб. Было тихо и томно.

— Глядите! — сказал Пашка.

Над серединой дороги на ржавой проволоке, протянутой поперек, висел круглый жестяной диск, покрытый облупившейся краской. Судя по всему, там был изображен желтый прямоугольник на красном фоне.

— Что это? — без особого интереса спросила Анка.

— Автомобильный знак, — сказал Пашка. — «Въезд запрещен».

— «Кирпич», — пояснил Антон.

— А зачем он? — спросила Анка.

— Значит, вон туда ехать нельзя, — сказал Пашка.

— А зачем тогда дорога?

Пашка пожал плечами.

— Это же очень старое шоссе, — сказал он.

— Анизотропное шоссе, — заявил Антон. Анка стояла к нему спиной. — Движение только в одну сторону.

— Мудры были предки, — задумчиво сказал Пашка. — Этак едешь-едешь километров двести, вдруг — хлоп! — «кирпич». И ехать дальше

нельзя, и спросить не у кого.

— Представляешь, что там может быть за этим знаком! — сказала Анка. Она огляделась. Кругом на много километров был безлюдный лес, и не у кого было спросить, что там может быть за этим знаком. — А вдруг это вовсе и не «кирпич»? — сказала она. — Краска-то вся облупилась...

Тогда Антон тщательно прицелился и выстрелил. Было бы здорово, если бы стрела перебила проволоку и знак упал бы прямо к ногам Анки. Но стрела попала в верхнюю часть знака, пробила ржавую жесть, и вниз посыпалась только высохшая краска.

— Дурак, — сказала Анка, не оборачиваясь.

Это было первое слово, с которым она обратилась к Антону после игры в Вильгельма Телля. Антон криво улыбнулся.

— «And enterprises of great pitch and moment, — произнес он, — with this regard their currents turn awry and lose the name of action».[6]

Верный Пашка закричал:

— Ребята, здесь прошла машина! Уже после грозы! Вон трава примята! И вот...

Везет Пашке, подумал Антон. Он стал разглядывать следы на дороге и тоже увидел примятую траву и черную полосу от протекторов в том месте, где автомобиль затормозил перед выбоиной в бетоне.

— Ага! — сказал Пашка. — Он выскочил из-под знака!

Это было ясно каждому, но Антон возразил:

— Ничего подобного, он ехал с той стороны.

Пашка поднял на него изумленные глаза.

— Ты что, ослеп?

— Он ехал с той стороны, — упрямо повторил Антон. — Пошли по следу.

— Ерунду ты городишь! — возмутился Пашка. — Во-первых, никакой порядочный водитель не поедет под «кирпич». Во-вторых, смотри: вот выбоина, вот тормозной след... Так откуда он ехал?

— Что мне твои порядочные! Я сам непорядочный, и я пойду под знак.

Пашка взбеленился.

— Иди куда хочешь! — сказал он, слегка заикаясь. — Недоумок. Совсем обалдел от жары!

Антон повернулся и, глядя прямо перед собой, пошел под знак. Ему хотелось только одного: чтобы впереди оказался какой-нибудь взорванный мост и чтобы нужно было прорваться на ту сторону. Какое мне дело до этого порядочного! — думал он. Пусть идут, куда хотят... со своим Пашенькой. Он вспомнил, как Анка срезала Павла, когда тот назвал ее

Анечкой, и ему стало немного легче. Он оглянулся.

Пашку он увидел сразу: Бон Саранча, согнувшись в три погибели, шел по следу таинственной машины. Ржавый диск над дорогой тихонько покачивался, и сквозь дырку мелькало синее небо. А на обочине сидела Анка, уперев локти в голые колени и положив подбородок на сжатые кулаки.

...Они возвращались уже в сумерках. Ребята гребли, а Анка сидела на руле. Над черным лесом поднималась красная луна, неистово вопили лягушки.

— Так здорово все было задумано, — сказала Анка грустно. — Эх, вы!..

Ребята промолчали. Затем Пашка вполголоса спросил:

— Тошка, что там было, под знаком?

— Взорванный мост, — ответил Антон. — И скелет фашиста, прикованный цепями к пулемету. — Он подумал и добавил: — Пулемет весь врос в землю...

— Н-да, — сказал Пашка. — Бывает. А я там одному машину помог починить.

ГЛАВА 1

Когда Румата миновал могилу святого Мики — седьмую по счету и последнюю на этой дороге, было уже совсем темно. Хваленый хамахарский жеребец, взятый у дона Тамэо за карточный долг, оказался сущим барахлом. Он вспотел, сбил ноги и двигался скверной, вихляющейся рысью. Румата сжимал ему коленями бока, хлестал между ушами перчаткой, но он только уныло мотал головой, не ускоряя шага. Вдоль дороги тянулись кусты, похожие в сумраке на клубы застывшего дыма. Нестерпимо звенели комары. В мутном небе дрожали редкие тусклые звезды. Дул порывами несильный ветер, теплый и холодный одновременно, как всегда осенью в этой приморской стране с душными, пыльными днями и зябкими вечерами.

Румата плотнее закутался в плащ и бросил поводья. Торопиться не имело смысла. До полуночи оставался час, а Икающий лес уже выступил над горизонтом черной зубчатой кромкой. По сторонам тянулись распаханные поля, мерцали под звездами болота, воняющие неживой ржавчиной, темнели курганы и сгнившие частоколы времен Вторжения. Далеко слева вспыхивало и гасло угрюмое зарево: должно быть, горела деревушка, одна из бесчисленных однообразных Мертвожорок, Висельников, Ограбиловок, недавно переименованных по августейшему указу в Желанные, Благодатные и Ангельские. На сотни миль — от берегов Пролива и до сайвы Икающего леса — простиралась эта страна, накрытая одеялом комариных туч, раздираемая оврагами, затопляемая болотами, пораженная лихорадками, морами и зловонным насморком.

У поворота дороги от кустов отделилась темная фигура. Жеребец шарахнулся, задирая голову. Румата подхватил поводья, привычно поддернул на правой руке кружева и положил ладонь на рукоять меча, всматриваясь. Человек у дороги снял шляпу.

— Добрый вечер, благородный дон, — тихо сказал он. — Прошу извинения.

— В чем дело? — осведомился Румата, прислушиваясь.

Бесшумных засад не бывает. Разбойников выдает скрип тетивы, серые штурмовички неудержимо рыгают от скверного пива, баронские дружинники алчно сопят и гремят железом, а монахи — охотники за рабами — шумно чешутся. Но в кустах было тихо. Видимо, этот человек не был наводчиком. Да он и не был похож на наводчика — маленький

плотный горожанин в небогатом плаще.

— Разрешите мне бежать рядом с вами? — сказал он, кланяясь.

— Изволь, — сказал Румата, шевельнув поводьями. — Можешь взяться за стремя.

Горожанин пошел рядом. Он держал шляпу в руке, и на его темени светлела изрядная лысина. Приказчик, подумал Румата. Ходит по баронам и прасолам, скупает лен или пеньку. Смелый приказчик, однако... А может быть, и не приказчик. Может быть, книгочей. Беглец. Изгой. Сейчас их много на ночных дорогах, больше, чем приказчиков... А может быть, шпион.

— Кто ты такой и откуда? — спросил Румата.

— Меня зовут Киун, — печально сказал горожанин. — Я иду из Арканара.

— _Бежишь_ из Арканара, — сказал Румата, наклонившись.

— Бегу, — печально согласился горожанин.

Чудак какой-то, подумал Румата. Или все-таки шпион? Надо проверить... А почему, собственно, надо? Кому надо? Кто я такой, чтобы его проверять? Да не желаю я его проверять! Почему бы мне просто не поверить? Вот идет горожанин, явный книгочей, бежит, спасая жизнь... Ему одиноко, ему страшно, он слаб, он ищет защиты... Встретился ему аристократ. Аристократы по глупости и из спеси в политике не разбираются, а мечи у них длинные, и серых они не любят. Почему бы горожанину Киуну не найти бескорыстную защиту у глупого и спесивого аристократа? И все. Не буду я его проверять. Незачем мне его проверять. Поговорим, скоротаем время, расстанемся друзьями...

— Киун... — произнес он. — Я знавал одного Киуна. Продавец снадобий и алхимик с Жестяной улицы. Ты его родственник?

— Увы, да, — сказал Киун. — Правда, дальний родственник, но им все равно... до двенадцатого потомка.

— И куда же ты бежишь, Киун?

— Куда-нибудь... Подальше. Многие бегут в Ирукан. Попробую и я в Ирукан.

— Так-так, — произнес Румата. — И ты вообразил, что благородный дон проведет тебя через заставу?

Киун промолчал.

— Или, может быть, ты думаешь, что благородный дон не знает, кто такой алхимик Киун с Жестяной улицы?

Киун молчал. Что-то я не то говорю, подумал Румата. Он привстал на стременах и прокричал, подражая глашатаю на Королевской площади:

— Обвиняется и повинен в ужасных, непрощаемых преступлениях против бога, короны и спокойствия!

Киун молчал.

— А если благородный дон безумно обожает дона Рэбу? Если он всем сердцем предан серому слову и серому делу? Или ты считаешь, что это невозможно?

Киун молчал. Из темноты справа от дороги выдвинулась ломаная тень виселицы. Под перекладиной белело голое тело, подвешенное за ноги. Э-э, все равно ничего не выходит, подумал Румата. Он натянул повод, схватил Киуна за плечо и повернул лицом к себе.

— А если благородный дон вот прямо сейчас подвесит тебя рядом с этим бродягой? — сказал он, вглядываясь в белое лицо с темными ямами глаз. — Сам. Скоро и проворно. На крепкой арканарской веревке. Во имя идеалов. Что же ты молчишь, грамотей Киун?

Киун молчал. У него стучали зубы, и он слабо корчился под рукой Руматы, как придавленная ящерица. Вдруг что-то с плеском упало в придорожную канаву, и сейчас же, словно для того, чтобы заглушить этот плеск, он отчаянно крикнул:

— Ну, вешай! Вешай, предатель!

Румата перевел дыхание и отпустил Киуна.

— Я пошутил, — сказал он. — Не бойся.

— Ложь, ложь... — всхлипывая, бормотал Киун. — Всюду ложь!..

— Ладно, не сердись, — сказал Румата. — Лучше подбери, что ты там бросил, — промокнет...

Киун постоял, качаясь и всхлипывая, бесцельно похлопал ладонями по плащу и полез в канаву. Румата ждал, устало сгорбившись в седле. Значит, так и надо, думал он, значит, иначе просто нельзя... Киун вылез из канавы, пряча за пазуху сверток.

— Книги, конечно, — сказал Румата.

Киун помотал головой.

— Нет, — сказал он хрипло. — Всего одна книга. Моя книга.

— О чем же ты пишешь?

— Боюсь, вам это будет неинтересно, благородный дон.

Румата вздохнул.

— Берись за стремя, — сказал он. — Пойдем.

Долгое время они молчали.

— Послушай, Киун, — сказал Румата. — Я пошутил. Не бойся меня.

— Славный мир, — проговорил Киун. — Веселый мир. Все шутят. И все шутят одинаково. Даже благородный Румата.

Румата удивился.

— Ты знаешь мое имя?

— Знаю, — сказал Киун. — Я узнал вас по обручу на лбу. Я так обрадовался, встретив вас на дороге...

Ну, конечно, вот что он имел в виду, когда назвал меня предателем, подумал Румата. Он сказал:

— Видишь ли, я думал, что ты шпион. Я всегда убиваю шпионов.

— Шпион... — повторил Киун. — Да, конечно. В наше время так легко и сытно быть шпионом. Орел наш, благородный дон Рэба, озабочен знать, что говорят и думают подданные короля. Хотел бы я быть шпионом. Рядовым осведомителем в таверне «Серая Радость». Как хорошо, как почтенно! В шесть часов вечера я вхожу в распивочную и сажусь за свой столик. Хозяин спешит ко мне с моей первой кружкой. Пить я могу сколько влезет, за пиво платит дон Рэба — вернее, никто не платит. Я сижу, попиваю пиво и слушаю. Иногда я делаю вид, что записываю разговоры, и перепуганные людишки устремляются ко мне с предложениями дружбы и кошелька. В глазах у них я вижу только то, что мне хочется: собачью преданность, почтительный страх и восхитительную бессильную ненависть. Я могу безнаказанно трогать девушек и тискать жен на глазах у мужей, здоровенных дядек, и они будут только подобострастно хихикать... Какое прекрасное рассуждение, благородный дон, не правда ли? Я услышал его от пятнадцатилетнего мальчишки, студента Патриотической школы...

— И что же ты ему сказал? — с любопытством спросил Румата.

— А что я мог сказать? Он бы не понял. И я рассказал ему, что люди Ваги Колеса, изловив осведомителя, вспарывают ему живот и засыпают во внутренности перец... А пьяные солдаты засовывают осведомителя в мешок и топят в нужнике. И это истинная правда, но он не поверил. Он сказал, что в школе они это не проходили. Тогда я достал бумагу и записал наш разговор. Это нужно было мне для моей книги, а он, бедняга, решил, что для доноса, и обмочился от страха...

Впереди сквозь кустарник мелькнули огоньки корчмы Скелета Бако. Киун споткнулся и замолчал.

— Что случилось? — спросил Румата.

— Там серый патруль, — пробормотал Киун.

— Ну и что? — сказал Румата. — Послушай лучше еще одно рассуждение, почтенный Киун. Мы любим и ценим этих простых, грубых ребят, нашу серую боевую скотину. Они нам нужны. Отныне простолюдин должен держать язык за зубами, если не хочет вывешивать его на виселице! — Он захохотал, потому что сказано было отменно — в лучших традициях

серых казарм.

Киун съежился и втянул голову в плечи.

— Язык простолюдина должен знать свое место. Бог дал простолюдину язык вовсе не для разглагольствований, а для лизания сапог своего господина, каковой господин положен простолюдину от века...

У коновязи перед корчмой топтались оседланные кони серого патруля. Из открытого окна доносилась азартная хриплая брань. Стучали игральные кости. В дверях, загораживая проход чудовищным брюхом, стоял сам Скелет Бако в драной кожаной куртке с засученными рукавами. В мохнатой лапе он держал тесак — видно, только что рубил собачину для похлебки, вспотел и вышел отдышаться. На ступеньках сидел, пригорюнясь, серый штурмовик, поставив боевой топор между коленей. Рукоять топора стянула ему физиономию набок. Было видно, что ему томно с перепоя. Заметив всадника, он подобрал слюни и сипло взревел:

— С-стой! Как тебя там... Ты, бла-ародный!..

Румата, выпятив подбородок, проехал мимо, даже не покосившись.

— ...А если язык простолюдина лижет не тот сапог, — громко говорил он, — то язык этот надлежит удалить напрочь, ибо сказано: «Язык твой — враг мой»...

Киун, прячась за круп лошади, широко шагал рядом. Краем глаза Румата видел, как блестит от пота его лысина.

— Стой, говорят! — заорал штурмовик.

Было слышно, как он, гремя топором, катится по ступеням, поминая разом бога, черта и всякую благородную сволочь.

Человек пять, подумал Румата, поддергивая манжеты. Пьяные мясники. Вздор.

Они миновали корчму и свернули к лесу.

— Я мог бы идти быстрее, если надо, — сказал Киун неестественно твердым голосом.

— Вздор! — сказал Румата, осаживая жеребца. — Было бы скучно проехать столько миль и ни разу не подраться. Неужели тебе никогда не хочется подраться, Киун? Все разговоры, разговоры...

— Нет, — сказал Киун. — Мне никогда не хочется драться.

— В том-то и беда, — пробормотал Румата, поворачивая жеребца и неторопливо натягивая перчатки.

Из-за поворота выскочили два всадника и, увидев его, разом остановились.

— Эй ты, благородный дон! — закричал один. — А ну, предъяви подорожную!

— Хамье! — стеклянным голосом произнес Румата. — Вы же неграмотны, зачем вам подорожная?

Он толкнул жеребца коленом и рысью двинулся навстречу штурмовикам. Трусят, подумал он. Мнутся... Ну хоть пару оплеух! Нет... Ничего не выйдет. Так хочется разрядить ненависть, накопившуюся за сутки, и, кажется, ничего не выйдет. Останемся гуманными, всех простим и будем спокойны, как боги. Пусть они режут и оскверняют, мы будем спокойны, как боги. Богам спешить некуда, у них впереди вечность...

Он подъехал вплотную. Штурмовики неуверенно подняли топоры и попятились.

— Н-ну? — сказал Румата.

— Так это, значит, что? — растерянно сказал первый штурмовик. — Так это, значит, благородный дон Румата?

Второй штурмовик сейчас же повернул коня и галопом умчался прочь. Первый все пятился, опустив топор.

— Прощенья просим, благородный дон, — скороговоркой говорил он. — Обознались. Ошибочка произошла. Дело государственное, ошибочки всегда возможны. Ребята малость подпили, горят рвением... — Он стал отъезжать боком. — Сами понимаете, время тяжелое... Ловим беглых грамотеев. Нежелательно бы нам, чтобы жалобы у вас были, благородный дон...

Румата повернулся к нему спиной.

— Благородному дону счастливого пути! — с облегчением сказал вслед штурмовик.

Когда он уехал, Румата негромко позвал:

— Киун!

Никто не отозвался.

— Эй, Киун!

И опять никто не отозвался. Прислушавшись, Румата различил сквозь комариный звон шорох кустов. Киун торопливо пробирался через поле на запад, туда, где в двадцати милях проходила ируканская граница. Вот и все, подумал Румата. Вот и весь разговор. Всегда одно и то же. Проверка, настороженный обмен двусмысленными притчами... Целыми неделями тратишь душу на пошлую болтовню со всяким отребьем, а когда встречаешь настоящего человека, поговорить нет времени. Нужно прикрыть, спасти, отправить в безопасное место, и он уходит, так и не поняв, имел ли дело с другом или с капризным выродком. Да и сам ты ничего не узнаешь о нем. Чего он хочет, что может, зачем живет...

Он вспомнил вечерний Арканар. Добротные каменные дома на

главных улицах, приветливый фонарик над входом в таверну, благодушные, сытые лавочники пьют пиво за чистыми столами и рассуждают о том, что мир совсем не плох, цены на хлеб падают, цены на латы растут, заговоры раскрываются вовремя, колдунов и подозрительных книгочеев сажают на кол, король, по обыкновению, велик и светел, а дон Рэба безгранично умен и всегда начеку. «Выдумают, надо же!.. Мир круглый! По мне хоть квадратный, а умов не мути!..», «От грамоты, от грамоты все идет, братья! Не в деньгах, мол, счастье, мужик, мол, тоже человек, дальше — больше, оскорбительные стишки, а там и бунт...», «Всех их на кол, братья!.. Я бы делал что? Я бы прямо спрашивал: грамотный? На кол тебя! Стишки пишешь? На кол! Таблицы знаешь? На кол, слишком много знаешь!», «Бина, пышка, еще три кружечки и порцию тушеного кролика!» А по булыжной мостовой — гррриум, гррриум, гррриум — стучат коваными сапогами коренастые красномордые парни в серых рубахах, с тяжелыми топорами на правом плече. «Братья! Вот они, защитники! Разве эти допустят? Да ни в жисть! А мой-то, мой-то... На правом фланге! Вчера еще его порол! Да, братья, это вам не смутное время! Прочность престола, благосостояние, незыблемое спокойствие и справедливость. Ура, серые роты! Ура, дон Рэба! Слава королю нашему! Эх, братья, жизнь-то какая пошла чудесная!..»

А по темной равнине королевства Арканарского, озаряемой заревами пожаров и искрами лучин, по дорогам и тропкам, изъеденные комарами, со сбитыми в кровь ногами, покрытые потом и пылью, измученные, перепуганные, убитые отчаянием, но твердые как сталь в своем единственном убеждении, бегут, идут, бредут, обходя заставы, сотни несчастных, объявленных вне закона за то, что они умеют и хотят лечить и учить свой изнуренный болезнями и погрязший в невежестве народ; за то, что они, подобно богам, создают из глины и камня вторую природу для украшения жизни не знающего красоты народа; за то, что они проникают в тайны природы, надеясь поставить эти тайны на службу своему неумелому, запуганному старинной чертовщиной народу... Беззащитные, добрые, непрактичные, далеко обогнавшие свой век...

Румата стянул перчатку и с размаху треснул ею жеребца между ушами.

— Ну, мертвая! — сказал он по-русски.

Была уже полночь, когда он въехал в лес.

Теперь никто не может точно сказать, откуда взялось это странное название — Икающий лес. Существовало официальное предание о том, что триста лет назад железные роты имперского маршала Тоца, впоследствии

первого Арканарского короля, прорубались через сайву, преследуя отступающие орды меднокожих варваров, и здесь на привалах варили из коры белых деревьев брагу, вызывающую неудержимую икоту. Согласно преданию, маршал Тоц, обходя однажды утром лагерь, произнес, морща аристократический нос: «Поистине, это невыносимо! Весь лес икает и провонял брагой!» Отсюда якобы и пошло странное название.

Так или иначе, это был не совсем обыкновенный лес. В нем росли огромные деревья с твердыми белыми стволами, каких не сохранилось нигде больше в Империи — ни в герцогстве Ируканском, ни тем более в торговой республике Соан, давно уже пустившей все свои леса на корабли. Рассказывали, что таких лесов много за Красным Северным хребтом в стране варваров, но мало ли что рассказывают про страну варваров...

Через лес проходила дорога, прорубленная века два назад. Дорога эта вела к серебряным рудникам и по ленному праву принадлежала баронам Пампа, потомкам одного из сподвижников маршала Тоца. Ленное право баронов Пампа обходилось Арканарским королям в двенадцать пудов чистого серебра ежегодно, поэтому каждый очередной король, вступив на престол, собирал армию и шел воевать замок Бау, где гнездились бароны. Стены замка были крепки, бароны отважны, каждый поход обходился в тридцать пудов серебра, и после возвращения разбитой армии короли Арканарские вновь и вновь подтверждали ленное право баронов Пампа наряду с другими привилегиями, как-то: ковырять в носу за королевским столом, охотиться к западу от Арканара и называть принцев прямо по имени, без присовокупления титулов и званий.

Икающий лес был полон темных тайн. Днем по дороге на юг тянулись обозы с обогащенной рудой, а ночью дорога была пуста, потому что мало находилось смельчаков ходить по ней при свете звезд. Говорили, что по ночам с Отца-дерева кричит птица Сиу, которую никто не видел и которую видеть нельзя, поскольку это не простая птица. Говорили, что большие мохнатые пауки прыгают с ветвей на шеи лошадям и мигом прогрызают жилы, захлебываясь кровью. Говорили, что по лесу бродит огромный древний зверь Пэх, который покрыт чешуей, дает потомство раз в двенадцать лет и волочит за собой двенадцать хвостов, потеющих ядовитым потом. А кое-кто видел, как среди бела дня дорогу пересекал, бормоча свои жалобы, голый вепрь Ы, проклятый святым Микой, — свирепое животное, неуязвимое для железа, но легко пробиваемое костью.

Здесь можно было встретить и беглого раба со смоляным клеймом между лопаток — молчаливого и беспощадного, как мохнатый паук-кровосос. И скрюченного в три погибели колдуна, собирающего тайные

грибы для своих колдовских настоев, при помощи которых можно стать невидимым, превращаться в некоторых животных или приобрести вторую тень. Хаживали вдоль дороги и ночные молодцы грозного Ваги Колеса, и беглецы с серебряных рудников с черными ладонями и белыми, прозрачными лицами. Знахари собирались здесь для своих ночных бдений, а разухабистые егеря барона Пампы жарили на редких полянах ворованных быков, целиком насаженных на вертел.

Едва ли не в самой чаще леса, в миле от дороги, под громадным деревом, засохшим от старости, вросла в землю покосившаяся изба из громадных бревен, окруженная почерневшим частоколом. Стояла она здесь с незапамятных времен, дверь ее была всегда закрыта, а у сгнившего крыльца торчали покосившиеся идолы, вырезанные из цельных стволов. Эта изба была самое что ни на есть опасное место в Икающем лесу. Говорили, что именно сюда приходит раз в двенадцать лет древний Пэх, чтобы родить потомка, и тут же, заползши под избу, издыхает, так что весь подпол в избе залит черным ядом, а когда яд потечет наружу — вот тут-то и будет всему конец. Говорили, что в ненастные ночи идолы сами собой выкапываются из земли, выходят к дороге и подают знаки. И говорили еще, что изредка в мертвых окнах загорается нелюдской свет, раздаются звуки, и дым из трубы идет столбом до самого неба.

Не так давно непьющий деревенский дурачок Ирма Кукиш с хутора Благорастворение (по-простому — Смердуны) сдуру забрел вечером к избе и заглянул в окно. Домой он вернулся совсем уже глупым, а оклемавшись немного, рассказал, что в избе был яркий свет и за простым столом сидел с ногами на скамье человек и отхлебывал из бочки, которую держал одной рукой. Лицо человека свисало чуть не до пояса и все было в пятнах. Был это, ясно, сам святой Мика еще до приобщения к вере, многоженец, пьяница и сквернослов. Глядеть на него можно было, только побарывая страх. Из окошка тянуло сладким тоскливым запахом, и по деревьям вокруг ходили тени. Рассказ дурачка сходились слушать со всей округи. А кончилось дело тем, что приехали штурмовики и, загнув ему локти к лопаткам, угнали в город Арканар. Говорить об избе все равно не перестали и называли ее теперь не иначе, как Пьяной Берлогой...

Продравшись через заросли гигантского папоротника, Румата спешился у крыльца Пьяной Берлоги и обмотал повод вокруг одного из идолов. В избе горел свет, дверь была раскрыта и висела на одной петле. Отец Кабани сидел за столом в полной прострации. В комнате стоял могучий спиртной дух, на столе среди обглоданных костей и кусков вареной брюквы возвышалась огромная глиняная кружка.

— Добрый вечер, отец Кабани, — сказал Румата, перешагивая через порог.

— Я вас приветствую, — отозвался отец Кабани хриплым, как боевой рог, голосом.

Румата, звеня шпорами, подошел к столу, бросил на скамью перчатки и снова посмотрел на отца Кабани. Отец Кабани сидел неподвижно, положив обвисшее лицо на ладони. Мохнатые полуседые брови его свисали над щеками, как сухая трава над обрывом. Из ноздрей крупнопористого носа при каждом выдохе со свистом вылетал воздух, пропитанный неусвоенным алкоголем.

— Я сам выдумал его! — сказал он вдруг, с усилием задрав правую бровь и поведя на Румату заплывшим глазом. — Сам! Зачем?.. — Он высвободил из-под щеки правую руку и помотал волосатым пальцем. — А все-таки я ни при чем!.. Я его выдумал... и я же ни при чем, а?!. Точно — ни при чем... И вообще мы не выдумываем, а черт знает что!..

Румата расстегнул пояс и потащил через голову перевязи с мечами.

— Ну, ну! — сказал он.

— Ящик! — рявкнул отец Кабани и надолго замолчал, делая странные движения щеками.

Румата, не спуская с него глаз, перенес через скамью ноги в покрытых пылью ботфортах и уселся, положив мечи рядом.

— Ящик... — повторил отец Кабани упавшим голосом. — Это мы говорим, будто мы выдумываем. На самом деле все давным-давно выдумано. Кто-то давным-давно все выдумал, сложил все в ящик, провертел в крышке дыру и ушел... Ушел спать... Тогда что? Приходит отец Кабани, закрывает глаза, с-сует руку в дыру. — Отец Кабани посмотрел на свою руку. — Х-хвать! Выдумал! Я, говорит, это вот самое и выдумывал!.. А кто не верит, тот дурак... Сую руку — р-раз! Что? Проволока с колючками. Зачем? Скотный двор от волков... Молодец! Сую руку — дв-ва! Что? Умнейшая штука — мясокрутка называемая. Зачем? Нежный мясной фарш... Молодец! Сую руку — три! Что? Г-горючая вода... Зачем? С-сырые дрова разжигать... А?!

Отец Кабани замолк и стал клониться вперед, словно кто-то пригибал его, взяв за шею. Румата взял кружку, заглянул в нее, потом вылил несколько капель на тыльную сторону ладони. Капли были сиреневые и пахли сивушными маслами. Румата кружевным платком тщательно вытер руку. На платке остались маслянистые пятна. Нечесаная голова отца Кабани коснулась стола и тотчас вздернулась.

— Кто сложил все в ящик — он знал, для чего это выдумано...

Колючки от волков?! Это я, дурак, — от волков... Рудники, рудники оплетать этими колючками... Чтобы не бегали с рудников государственные преступники. А я не хочу!.. Я сам государственный преступник! А меня спросили? Спросили! Колючка, грят? Колючка. От волков, грят? От волков... Хорошо, грят, молодец! Оплетем рудники... Сам дон Рэба и оплел. И мясокрутку мою забрал. Молодец, грит! Голова, грит, у тебя!.. И теперь, значит, в Веселой Башне нежный фарш делает... Очень, говорят, способствует...

Знаю, думал Румата. Все знаю. И как кричал ты у дона Рэбы в кабинете, как в ногах у него ползал, молил: «Отдай, не надо!» Поздно было. Завертелась твоя мясокрутка...

Отец Кабани схватил кружку и приник к ней волосатой пастью. Глотая ядовитую смесь, он рычал, как вепрь Ы, потом сунул кружку на стол и принялся жевать кусок брюквы. По щекам его ползли слезы.

— Горючая вода! — провозгласил он, наконец, перехваченным голосом. — Для растопки костров и произведения веселых фокусов. Какая же она горючая, если ее можно пить? Ее в пиво подмешивать — цены пиву не будет! Не дам! Сам выпью... И пью. День пью. Ночь. Опух весь. Падаю все время. Давеча, дон Румата, не поверишь, к зеркалу подошел — испугался... Смотрю — помоги господи! — где же отец Кабани?! Морской зверь спрут — весь цветными пятнами иду. То красный. То синий. Выдумал, называется, воду для фокусов...

Отец Кабани сплюнул на стол и пошаркал ногой под лавкой, растирая. Затем вдруг спросил:

— Какой нынче день?

— Канун Каты Праведного, — сказал Румата.

— А почему нет солнца?

— Потому что ночь.

— Опять ночь... — с тоской сказал отец Кабани и упал лицом в объедки.

Некоторое время Румата, посвистывая сквозь зубы, смотрел на него. Потом выбрался из-за стола и прошел в кладовку. В кладовке между кучей брюквы и кучей опилок поблескивал стеклянными трубками громоздкий спиртогонный агрегат отца Кабани — удивительное творение прирожденного инженера, инстинктивного химика и мастера-стеклодува. Румата дважды обошел «адскую машину» кругом, затем нашарил в темноте лом и несколько раз наотмашь ударил, никуда специально не целясь. В кладовке залязгало, задребезжало, забулькало. Гнусный запах перекисшей барды ударил в нос.

Хрустя каблуками по битому стеклу, Румата пробрался в дальний угол и включил электрический фонарик. Там под грудой хлама стоял в прочном силикетовом сейфе малогабаритный полевой синтезатор «Мидас». Румата разбросал хлам, набрал на диске комбинацию цифр и поднял крышку сейфа. Даже в белом электрическом свете синтезатор выглядел странно среди развороченного мусора. Румата бросил в приемную воронку несколько лопат опилок, и синтезатор тихонько запел, автоматически включив индикаторную панель. Румата носком ботфорта придвинул к выходному желобу ржавое ведро. И сейчас же — дзинь, дзинь, дзинь! — посыпались на мятое жестяное дно золотые кружочки с аристократическим профилем Пица Шестого, короля Арканарского.

Румата перенес отца Кабани на скрипучие нары, стянул с него башмаки, повернул на правый бок и накрыл облысевшей шкурой какого-то давно вымершего животного. При этом отец Кабани на минуту проснулся. Двигаться он не мог, соображать тоже. Он ограничился тем, что пропел несколько стихов из запрещенного к распеванию светского романса «Я как цветочек аленький в твоей ладошке маленькой», после чего гулко захрапел.

Румата убрал со стола, подмел пол и протер стекло единственного окна, почерневшее от грязи и химических экспериментов, которые отец Кабани производил на подоконнике. За облупленной печкой он нашел бочку со спиртом и опорожнил ее в крысиную дыру. Затем он напоил хамахарского жеребца, засыпал ему овса из седельной сумки, умылся и сел ждать, глядя на коптящий огонек масляной лампы. Шестой год он жил этой странной, двойной жизнью и, казалось бы, совсем привык к ней, но время от времени, как, например, сейчас, ему вдруг приходило в голову, что нет на самом деле никакого организованного зверства и напирающей серости, а разыгрывается причудливое театральное представление с ним, Руматой, в главной роли. Что вот-вот после особенно удачной его реплики грянут аплодисменты и ценители из Института экспериментальной истории восхищенно закричат из лож: «Адекватно, Антон! Адекватно! Молодец, Тошка!» Он даже огляделся, но не было переполненного зала, были только почерневшие, замшелые стены из голых бревен, заляпанные наслоениями копоти.

Во дворе тихонько ржанул и переступил копытами хамахарский жеребец. Послышалось низкое ровное гудение, до слез знакомое и совершенно здесь невероятное. Румата вслушивался, приоткрыв рот. Гудение оборвалось, язычок пламени над светильником заколебался и вспыхнул ярче. Румата стал подниматься, и в ту же минуту из ночной

темноты в комнату шагнул дон Кондор, Генеральный судья и Хранитель больших государственных печатей торговой республики Соан, вице-президент Конференции двенадцати негоциантов и кавалер имперского Ордена Десницы Милосердной.

Румата вскочил, едва не опрокинув скамью. Он готов был броситься, обнять, расцеловать его в обе щеки, но ноги, следуя этикету, сами собой согнулись в коленях, шпоры торжественно звякнули, правая рука описала широкий полукруг от сердца и в сторону, а голова нагнулась так, что подбородок утонул в пенно-кружевных брыжах. Дон Кондор сорвал бархатный берет с простым дорожным пером, торопливо, как бы отгоняя комаров, махнул им в сторону Руматы, а затем, швырнув берет на стол, обеими руками расстегнул у шеи застежки плаща. Плащ еще медленно падал у него за спиной, а он уже сидел на скамье, раздвинув ноги, уперев левую руку в бок, а отставленной правой держась за эфес золоченого меча, вонзенного в гнилые доски пола. Был он маленький, худой, с большими выпуклыми глазами на узком бледном лице. Его черные волосы были схвачены таким же, как у Руматы, массивным золотым обручем с большим зеленым камнем над переносицей.

— Вы один, дон Румата? — спросил он отрывисто.

— Да, благородный дон, — грустно ответил Румата.

Отец Кабани вдруг громко и трезво сказал: «Благородный дон Рэба!.. Гиена вы, вот и все».

Дон Кондор не обернулся.

— Я прилетел, — сказал он.

— Будем надеяться, — сказал Румата, — что вас не видели.

— Легендой больше, легендой меньше, — раздраженно сказал дон Кондор. — У меня нет времени на путешествия верхом. Что случилось с Будахом? Куда он делся? Да сядьте же, дон Румата, прошу вас! У меня болит шея.

Румата послушно опустился на скамью.

— Будах исчез, — сказал он. — Я ждал его в Урочище Тяжелых Мечей. Но явился только одноглазый оборванец, назвал пароль и передал мне мешок с книгами. Я ждал еще два дня, затем связался с доном Гугом, и дон Гуг сообщил, что проводил Будаха до самой границы и что Будаха сопровождает некий благородный дон, которому можно доверять, потому что он вдребезги проигрался в карты и продался дону Гугу телом и душой. Следовательно, Будах исчез где-то здесь, в Арканаре. Вот и все, что мне известно.

— Не много же вы знаете, — сказал дон Кондор.

— Не в Будахе дело, — возразил Румата. — Если он жив, я его найду и вытащу. Это я умею. Не об этом я хотел с вами говорить. Я хочу еще и еще раз обратить ваше внимание на то, что положение в Арканаре выходит за пределы базисной теории... — На лице дона Кондора появилось кислое выражение. — Нет уж, вы меня выслушайте, — твердо сказал Румата. — Я чувствую, что по радио я с вами никогда не объяснюсь. А в Арканаре все переменилось! Возник какой-то новый, систематически действующий фактор. И выглядит это так, будто дон Рэба сознательно натравливает на ученых всю серость в королевстве. Все, что хоть немного поднимается над средним серым уровнем, оказывается под угрозой. Вы слушайте, дон Кондор, это не эмоции, это факты! Если ты умен, образован, сомневаешься, говоришь непривычное — просто не пьешь вина, наконец! — ты под угрозой. Любой лавочник вправе затравить тебя хоть насмерть. Сотни и тысячи людей объявлены вне закона. Их ловят штурмовики и развешивают вдоль дорог. Голых, вверх ногами... Вчера на моей улице забили сапогами старика, узнали, что он грамотный. Топтали, говорят, два часа, тупые, с потными звериными мордами... — Румата сдержался и закончил спокойно: — Одним словом, в Арканаре скоро не останется ни одного грамотного. Как в Области Святого Ордена после Барканской резни.

Дон Кондор пристально смотрел на него, поджав губы.

— Ты мне не нравишься, Антон, — сказал он по-русски.

— Мне тоже многое не нравится, Александр Васильевич, — сказал Румата. — Мне не нравится, что мы связали себя по рукам и ногам самой постановкой проблемы. Мне не нравится, что она называется Проблемой Бескровного Воздействия. Потому что в моих условиях это научно обоснованное бездействие... Я знаю все ваши возражения! И я знаю теорию. Но здесь нет никаких теорий, здесь типично фашистская практика, здесь звери ежеминутно убивают людей! Здесь все бесполезно. Знаний не хватает, а золото теряет цену, потому что опаздывает.

— Антон, — сказал дон Кондор. — Не горячись. Я верю, что положение в Арканаре совершенно исключительное, но я убежден, что у тебя нет ни одного конструктивного предложения.

— Да, — согласился Румата, — конструктивных предложений у меня нет. Но мне очень трудно держать себя в руках.

— Антон, — сказал дон Кондор. — Нас здесь двести пятьдесят на всей планете. Все держат себя в руках, и всем это очень трудно. Самые опытные живут здесь уже двадцать два года. Они прилетели сюда всего-навсего как наблюдатели. Им было запрещено вообще что бы то ни было предпринимать. Представь себе это на минуту: запрещено вообще. Они бы

не имели права даже спасти Будаха. Даже если бы Будаха топтали ногами у них на глазах.

— Не надо говорить со мной, как с ребенком, — сказал Румата.

— Вы нетерпеливы, как ребенок, — объявил дон Кондор. — А надо быть очень терпеливым.

Румата горестно усмехнулся.

— А пока мы будем выжидать, — сказал он, — примериваться да нацеливаться, звери ежедневно, ежеминутно будут уничтожать людей.

— Антон, — сказал дон Кондор. — Во Вселенной тысячи планет, куда мы еще не пришли и где история идет своим чередом.

— Но сюда-то мы уже пришли!

— Да, пришли. Но для того, чтобы помочь этому человечеству, а не для того, чтобы утолять свой справедливый гнев. Если ты слаб, уходи. Возвращайся домой. В конце концов, ты действительно не ребенок и знал, что здесь увидишь.

Румата молчал. Дон Кондор, какой-то обмякший и сразу постаревший, волоча меч за эфес, как палку, прошелся вдоль стола, печально кивая носом.

— Все понимаю, — сказал он. — Я же все это пережил. Было время — это чувство бессилия и собственной подлости казалось мне самым страшным. Некоторые, послабее, сходили от этого с ума, их отправляли на Землю и теперь лечат. Пятнадцать лет понадобилось мне, голубчик, чтобы понять, что же самое страшное. Человеческий облик потерять страшно, Антон. Запачкать душу, ожесточиться. Мы здесь боги, Антон, и должны быть умнее богов из легенд, которых здешний люд творит кое-как по своему образу и подобию. А ведь ходим по краешку трясины. Оступился — и в грязь, всю жизнь не отмоешься. ГоранИруканский в «Истории Пришествия» писал: «Когда бог, спустившись с неба, вышел к народу из Питанских болот, ноги его были в грязи».

— За что Горана и сожгли, — мрачно сказал Румата.

— Да, сожгли. А сказано это про нас. Я здесь пятнадцать лет. Я, голубчик, уж и сны про Землю видеть перестал. Как-то, роясь в бумагах, нашел фотографию одной женщины и долго не мог сообразить, кто же она такая. Иногда я вдруг со страхом осознаю, что я уже давно не сотрудник Института, я экспонат музея этого Института, генеральный судья торговой феодальной республики, и есть в музее зал, куда меня следует поместить. Вот что самое страшное — войти в роль. В каждом из нас благородный подонок борется с коммунаром. И все вокруг помогает подонку, а коммунар один-одинешенек — до Земли тысяча лет и тысяча парсеков. — Дон Кондор помолчал, гладя колени. — Вот так-то, Антон, — сказал он

твердеющим голосом. — Останемся коммунарами.

Он не понимает. Да и как ему понять? Ему повезло, он не знает, что такое серый террор, что такое дон Рэба. Все, чему он был свидетелем за пятнадцать лет работы на этой планете, так или иначе укладывается в рамки базисной теории. И когда я говорю ему о фашизме, о серых штурмовиках, об активизации мещанства, он воспринимает это как эмоциональные выражения. «Не шутите с терминологией, Антон! Терминологическая путаница влечет за собой опасные последствия». Он никак не может понять, что нормальный уровень средневекового зверства — это счастливый вчерашний день Арканара. Дон Рэба для него — это что-то вроде герцога Ришелье, умный и дальновидный политик, защищающий абсолютизм от феодальной вольницы. Один я на всей планете вижу страшную тень, наползающую на страну, но как раз я и не могу понять, чья это тень и зачем... И где уж мне убедить его, когда он вот-вот, по глазам видно, пошлет меня на Землю лечиться.

— Как поживает почтенный Синда? — спросил он.

Дон Кондор перестал сверлить его взглядом и буркнул: «Хорошо, благодарю вас». Потом он сказал:

— Нужно, наконец, твердо понять, что ни ты, ни я, никто из нас реально ощутимых плодов своей работы не увидим. Мы не физики, мы историки. У нас единица времени не секунда, а век, и дела наши — это даже не посев, мы только готовим почву для посева. А то прибывают порой с Земли... энтузиасты, черт бы их побрал... Спринтеры с коротким дыханием...

Румата криво усмехнулся и без особой надобности принялся подтягивать ботфорты. Спринтеры. Да, спринтеры были.

Десять лет назад Стефан Орловский, он же дон Капада, командир роты арбалетчиков его императорского величества, во время публичной пытки восемнадцати эсторских ведьм приказал своим солдатам открыть огонь по палачам, зарубил имперского судью и двух судебных приставов и был поднят на копья дворцовой охраной. Корчась в предсмертной муке, он кричал: «Вы же люди! Бейте их, бейте!» — но мало кто слышал его за ревом толпы: «Огня! Еще огня!..»

Примерно в то же время в другом полушарии Карл Розенблюм, один из крупнейших знатоков крестьянских войн в Германии и Франции, он же торговец шерстью Пани-Па, поднял восстание мурисских крестьян, штурмом взял два города и был убит стрелой в затылок, пытаясь прекратить грабежи. Он был еще жив, когда за ним прилетели на вертолете, но говорить не мог и только смотрел виновато и недоуменно большими

голубыми глазами, из которых непрерывно текли слезы...

А незадолго до прибытия Руматы великолепно законспирированный друг-конфидент кайсанского тирана (Джереми Тафнат, специалист по истории земельных реформ) вдруг ни с того ни с сего произвел дворцовый переворот, узурпировал власть, в течение двух месяцев пытался внедрить Золотой Век, упорно не отвечая на яростные запросы соседей и Земли, заслужил славу сумасшедшего, счастливо избежал восьми покушений, был, наконец, похищен аварийной командой сотрудников Института и на подводной лодке переправлен на островную базу у Южного полюса...

— Подумать только! — пробормотал Румата. — До сих пор вся Земля воображает, что самыми сложными проблемами занимается нуль-физика...

Дон Кондор поднял голову.

— О, наконец-то! — сказал он негромко.

Зацокали копыта, злобно и визгливо заржал хамахарский жеребец, послышалось энергичное проклятье с сильным ируканским акцентом. В дверях появился дон Гуг, старший постельничий его светлости герцога Ируканского, толстый, румяный, с лихо вздернутыми усами, с улыбкой до ушей, с маленькими веселыми глазками под буклями каштанового парика. И снова Румата сделал движение броситься и обнять, потому что это же был Пашка, но дон Гуг вдруг подобрался, на толстощекой физиономии появилась сладкая приторность, он слегка согнулся в поясе, прижал шляпу к груди и вытянул губы дудкой. Румата вскользь поглядел на Александра Васильевича. Александр Васильевич исчез. На скамье сидел Генеральный судья и Хранитель больших печатей — раздвинув ноги, уперев левую руку в бок, а правой держась за эфес золоченого меча.

— Вы сильно опоздали, дон Гуг, — сказал он неприятным голосом.

— Тысяча извинений! — вскричал дон Гуг, плавно приближаясь к столу. — Клянусь рахитом моего герцога, совершенно непредвиденные обстоятельства! Меня четырежды останавливал патруль его величества короля Арканарского, и я дважды дрался с какими-то хамами. — Он изящно поднял левую руку, обмотанную окровавленной тряпкой. — Кстати, благородные доны, чей это вертолет позади избы?

— Это мой вертолет, — сварливо сказал дон Кондор. — У меня нет времени для драк на дорогах.

Дон Гуг приятно улыбнулся и, усевшись верхом на скамью, сказал:

— Итак, благородные доны, мы вынуждены констатировать, что высокоученый доктор Будах таинственным образом исчез где-то между ируканской границей и Урочищем Тяжелых Мечей...

Отец Кабани вдруг заворочался на своем ложе.

— Дон Рэба, — густо сказал он, не просыпаясь.

— Оставьте Будаха мне, — с отчаянием сказал Румата, — и попытайтесь все-таки меня понять...

ГЛАВА 2

Румата вздрогнул и открыл глаза. Был уже день. Под окнами на улице скандалили. Кто-то, видимо военный, орал: «М-мэр-рзавец! Ты слижешь эту грязь языком! («С добрым утром!» — подумал Румата.) Ма-алчать!.. Клянусь спиной святого Мики, ты выведешь меня из себя!» Другой голос, грубый и хриплый, бубнил, что на этой улице надобно глядеть под ноги. «Под утро дождичек прошел, а мостили ее сами знаете когда...» — «Он мне еще указывает, куда смотреть!..» — «Вы меня лучше отпустите, благородный дон, не держите за рубаху». — «Он мне еще указывает!..» Послышался звонкий треск. Видимо, это была уже вторая пощечина — первая разбудила Румату. «Вы меня лучше не бейте, благородный дон...» — бубнили внизу.

Знакомый голос, кто бы это мог быть? Кажется, дон Тамэо. Надо будет сегодня проиграть ему хамахарскую клячу обратно. Интересно, научусь я когда-нибудь разбираться в лошадях? Правда, мы, Руматы Эсторские, спокон веков не разбираемся в лошадях. Мы знатоки боевых верблюдов. Хорошо, что в Арканаре почти нет верблюдов. Румата с хрустом потянулся, нащупал в изголовье витой шелковый шнур и несколько раз дернул. В недрах дома зазвякали колокольчики. Мальчишка, конечно, глазеет на скандал, подумал Румата. Можно было бы встать и одеться самому, но это — лишние слухи. Он прислушался к брани под окнами. До чего же могучий язык! Энтропия невероятная. Не зарубил бы его дон Тамэо... В последнее время в гвардии появились любители, которые объявили, что для благородного боя у них только один меч, а другой они употребляют специально для уличной погани — ее-де заботами дона Рэбы что-то слишком много развелось в славном Арканаре. Впрочем, дон Тамэо не из таких. Трусоват наш дон Тамэо, да и политик известный...

Мерзко, когда день начинается с дона Тамэо... Румата сел, обхватив колени под роскошным рваным одеялом. Появляется ощущение свинцовой беспросветности, хочется пригорюниться и размышлять о том, как мы слабы и ничтожны перед обстоятельствами... На Земле это нам и в голову не приходит. Там мы здоровые, уверенные ребята, прошедшие психологическое кондиционирование и готовые ко всему. У нас отличные нервы: мы умеем не отворачиваться, когда избивают и казнят. У нас неслыханная выдержка: мы способны выдерживать излияния безнадежнейших кретинов. Мы забыли брезгливость, нас устраивает

посуда, которую, по обычаю, дают вылизывать собакам и затем для красоты протирают грязным подолом. Мы великие имперсонаторы, даже во сне мы не говорим на языках Земли. У нас безотказное оружие — базисная теория феодализма, разработанная в тиши кабинетов и лабораторий, на пыльных раскопах, в солидных дискуссиях...

Жаль только, что дон Рэба понятия не имеет об этой теории. Жаль только, что психологическая подготовка слезает с нас, как загар, мы бросаемся в крайности, мы вынуждены заниматься непрерывной подзарядкой: «Стисни зубы и помни, что ты замаскированный бог, что они не ведают, что творят, и почти никто из них не виноват, и потому ты должен быть терпеливым и терпимым...» Оказывается, что колодцы гуманизма в наших душах, казавшиеся на Земле бездонными, иссякают с пугающей быстротой. Святой Мика, мы же были настоящими гуманистами там, на Земле, гуманизм был скелетом нашей натуры, в преклонении перед Человеком, в нашей любви к Человеку мы докатывались до антропоцентризма, а здесь вдруг с ужасом ловим себя на мысли, что любили не Человека, а только коммунара, землянина, равного нам... Мы все чаще ловим себя на мысли: «Да полно, люди ли это? Неужели они способны стать людьми, хотя бы со временем?» И тогда мы вспоминаем о таких, как Кира, Будах, Арата Горбатый, о великолепном бароне Пампа, и нам становится стыдно, а это тоже непривычно и неприятно и, что самое главное, не помогает...

Не надо об этом, подумал Румата. Только не утром. Провалился бы этот дон Тамэо!.. Накопилось в душе кислятины, и некуда ее выплеснуть в таком одиночестве. Вот именно, в одиночестве! Мы-то, здоровые, уверенные, думали ли мы, что окажемся здесь в одиночестве? Да ведь никто не поверит! Антон, дружище, что это ты? На запад от тебя, три часа лету, Александр Васильевич, добряк, умница, на востоке — Пашка, семь лет за одной партой, верный веселый друг. Ты просто раскис, Тошка. Жаль, конечно, мы думали, ты крепче, но с кем не бывает? Работа адова, понимаем. Возвращайся-ка ты на Землю, отдохни, подзаймись теорией, а там видно будет...

А Александр Васильевич, между прочим, чистой воды догматик. Раз базисная теория не предусматривает серых («Я, голубчик, за пятнадцать лет работы таких отклонений от теории что-то не замечал...»), значит, серые мне мерещатся. Раз мерещатся, значит, у меня сдали нервы и меня надо отправить на отдых. «Ну, хорошо, я обещаю, я посмотрю сам и сообщу свое мнение. Но пока, дон Румата, прошу вас, никаких эксцессов...» А Павел, друг детства, эрудит, видите ли, знаток, кладезь информации...

пустился напропалую по историям двух планет и легко доказал, что серое движение есть всего-навсего заурядное выступление горожан против баронов. «Впрочем, на днях заеду к тебе, посмотрю. Честно говоря, мне как-то неловко за Будаха...» И на том спасибо! И хватит! Займусь Будахом, раз больше ни на что не способен.

Высокоученый доктор Будах. Кореннойируканец, великий медик, которому герцогИруканский чуть было не пожаловал дворянство, но раздумал и решил посадить в башню. Крупнейший в Империи специалист по ядолечению. Автор широко известного трактата «О травах и иных злаках, таинственно могущих служить причиною скорби, радости и успокоения, а равно о слюне и соках гадов, пауков и голого вепря Ы, таковыми же и многими другими свойствами обладающих». Человек, несомненно, замечательный и настоящий интеллигент, убежденный гуманист и бессребреник: все имущество — мешок с книгами. Так кому же ты мог понадобиться, доктор Будах, в сумеречной невежественной стране, погрязшей в кровавой трясине заговоров и корыстолюбия?

Будем полагать, что ты жив и находишься в Арканаре. Не исключено, конечно, что тебя захватили налетчики-варвары, спустившиеся с отрогов Красного Северного хребта. На этот случай дон Кондор намерен связаться с нашим другом Шуштулетидоводусом, специалистом по истории первобытных культур, который работает сейчас шаманом-эпилептиком у вождя с сорокапятисложным именем. Если ты все-таки в Арканаре, то, прежде всего, тебя могли захватить ночные работнички Ваги Колеса. И даже не захватить, а прихватить, потому что для них главной добычей был бы твой сопровождающий, благородный проигравшийся дон. Но, так или иначе, они тебя не убьют: Вага Колесо слишком скуп для этого.

Тебя мог захватить и какой-нибудь дурак барон. Безо всякого злого умысла, просто от скуки и гипертрофированного гостеприимства. Захотелось попировать с благородным собеседником, выставил на дорогу дружинников и затащил к себе в замок твоего сопровождающего. И будешь ты сидеть в вонючей людской, пока доны не упьются до обалдения и не расстанутся. В этом случае тебе тоже ничто не грозит.

Но есть еще засевшие где-то в Гниловражье остатки разбитой недавно крестьянской армии дона Кси и Пэрты Позвоночника, которых тайком подкармливает сейчас сам орел наш дон Рэба на случай весьма возможных осложнений с баронами. Вот эти пощады не знают, и о них лучше не думать. Есть еще дон Сатарина, родовитейший имперский аристократ, ста двух лет от роду, совершенно выживший из ума. Он пребывает в родовой вражде с герцогамиИруканскими и время от времени, возбудившись к

активности, принимается хватать все, что пересекает ируканскую границу. Он очень опасен, ибо под действием приступов холецистита способен издавать такие приказы, что божедомы не успевают вывозить трупы из его темниц.

И, наконец, главное. Не потому главное, что самое опасное, а потому, что наиболее вероятное. Серые патрули дона Рэбы. Штурмовики на больших дорогах. Ты мог попасть в их руки случайно, и тогда следует рассчитывать на рассудительность и хладнокровие сопровождающего. Но что, если дон Рэба заинтересован в тебе? У дона Рэбы такие неожиданные интересы... Его шпионы могли донести, что ты будешь проезжать через Арканар, тебе навстречу выслали наряд под командой старательного серого офицера, дворянского ублюдка из мелкопоместных, и ты сидишь сейчас в каменном мешке под Веселой Башней...

Румата снова нетерпеливо подергал шнур. Дверь спальни отворилась с отвратительным визгом, вошел мальчик-слуга, тощенький и угрюмый. Имя его было Уно, и его судьба могла бы послужить темой для баллады. Он поклонился у порога, шаркая разбитыми башмаками, подошел к кровати и поставил на столик поднос с письмами, кофе и комком ароматической жевательной коры для укрепления зубов и чистки оных. Румата сердито посмотрел на него.

— Скажи, пожалуйста, ты когда-нибудь смажешь дверь?

Мальчик промолчал, глядя в пол. Румата отбросил одеяло, спустил голые ноги с постели и потянулся к подносу.

— Мылся сегодня? — спросил он.

Мальчик переступил с ноги на ногу и, ничего не ответив, пошел по комнате, собирая разбросанную одежду.

— Я, кажется, спросил тебя, мылся ты сегодня или нет? — сказал Румата, распечатывая первое письмо.

— Водой грехов не смоешь, — проворчал мальчик. — Что я, благородный что ли, мыться?

— Я тебе про микробов что рассказывал? — сказал Румата.

Мальчик положил зеленые штаны на спинку кресла и омахнулся большим пальцем, отгоняя нечистого.

— Три раза за ночь молился, — сказал он. — Чего же еще?

— Дурачина ты, — сказал Румата и стал читать письмо.

Писала дона Окана, фрейлина, новая фаворитка дона Рэбы. Предлагала нынче же вечером навестить ее, «томящуюся нежно». В постскриптуме простыми словами было написано, чего она, собственно, ждет от этой встречи. Румата не выдержал — покраснел. Воровато

оглянувшись на мальчишку, пробормотал: «Ну, в самом деле...» Об этом следовало подумать. Идти было противно, не идти было глупо — дона Окана много знала. Он залпом выпил кофе и положил в рот жевательную кору.

Следующий конверт был из плотной бумаги, сургучная печать смазана; видно было, что письмо вскрывали. Писал дон Рипат, решительный карьерист, лейтенант серой роты галантерейщиков. Справлялся о здоровье, выражал уверенность в победе серого дела и просил отсрочить должок, ссылаясь на вздорные обстоятельства. «Ладно, ладно...» — пробормотал Румата, отложил письмо, снова взял конверт и с интересом его оглядел. Да, тоньше стали работать. Заметно тоньше.

В третьем письме предлагали рубиться на мечах из-за доны Пифы, но соглашались снять предложение, если дону Румате благоугодно будет привести доказательства того, что он, благородный дон Румата, к доне Пифе касательства не имел и не имеет. Письмо было стандартным: основной текст писал каллиграф, а в оставленных промежутках были коряво, с грамматическими ошибками вписаны имена и сроки.

Румата отшвырнул письмо и почесал искусанную комарами левую руку.

— Ну, давай умываться, — приказал он.

Мальчик скрылся за дверью и скоро, пятясь задом, вернулся, волоча по полу деревянную лохань с водой. Потом сбегал еще раз за дверь и притащил пустую лохань и ковшик.

Румата спрыгнул на пол, содрал через голову ветхую, с искуснейшей ручной вышивкой ночную рубаху и с лязгом выхватил из ножен висевшие у изголовья мечи. Мальчик из осторожности встал за кресло. Поупражнявшись минут десять в выпадах и отражениях, Румата бросил мечи в стену, нагнулся над пустой лоханью и приказал: «Лей!» Без мыла было плохо, но Румата уже привык. Мальчик лил ковш за ковшом на спину, на шею, на голову и ворчал: «У всех как у людей, только у нас с выдумками. Где это видано — в двух сосудах мыться. В отхожем месте горшок какой-то придумали... Полотенце им каждый день чистое... А сами, не помолившись, голый с мечами скачут...»

Растираясь полотенцем, Румата сказал наставительно:

— Я при дворе, не какой-нибудь барон вшивый. Придворный должен быть чист и благоухать.

— Только у его величества и забот, что вас нюхать, — возразил мальчик. — Все знают, его величество день и ночь молятся за нас, грешных. А вот дон Рэба и вовсе никогда не моются. Сам слышал, их лакей

рассказывал.

— Ладно, не ворчи, — сказал Румата, натягивая нейлоновую майку.

Мальчик смотрел на эту майку с неодобрением. О ней давно уже ходили слухи среди арканарской прислуги. Но тут Румата ничего не мог поделать из естественной человеческой брезгливости. Когда он надевал трусы, мальчик отвернул голову и сделал губами движение, будто оплевывал нечистого.

Хорошо бы все-таки ввести в моду нижнее белье, подумал Румата. Однако естественным образом это можно было сделать только через женщин, а Румата и в этом отличался непозволительной для разведчика разборчивостью. Кавалеру и вертопраху, знающему столичное обращение и сосланному в провинцию за дуэль по любви, следовало иметь по крайней мере двадцать возлюбленных. Румата прилагал героические усилия, чтобы поддержать свое реноме. Половина его агентуры, вместо того чтобы заниматься делом, распространяла о нем отвратительные слухи, возбуждавшие зависть и восхищение у арканарской гвардейской молодежи. Десятки разочарованных дам, у которых Румата специально задерживался за чтением стихов до глубокой ночи (третья стража, братский поцелуй в щечку и прыжок с балкона в объятия командира ночного обхода, знакомого офицера), наперебой рассказывали друг другу о настоящем столичном стиле кавалера из метрополии. Румата держался только на тщеславии этих глупых и до отвращения развратных баб, но проблема нижнего белья оставалась открытой. Насколько было проще с носовыми платками! На первом же балу Румата извлек из-за обшлага изящный кружевной платочек и промокнул им губы. На следующем балу бравые гвардейцы уже вытирали потные лица большими и малыми кусками материи разных цветов, с вышивками и монограммами. А через месяц появились франты, носившие на согнутой руке целые простыни, концы которых элегантно волочились по полу.

Румата натянул зеленые штаны и белую батистовую рубашку с застиранным воротом.

— Кто-нибудь дожидается? — спросил он.

— Брадобрей ждет, — ответил мальчик. — Да еще два дона в гостиной сидят, дон Тамэо с доном Сэра. Вино приказали подать и режутся в кости. Ждут вас завтракать.

— Поди зови брадобрея. Благородным донам скажи, что скоро буду. Да не груби, разговаривай вежливо...

Завтрак был не очень обильный и оставлял место для скорого обеда.

Было подано жареное мясо, сильно сдобренное специями, и собачьи уши, отжатые в уксусе. Пили шипучее ируканское, густое коричневое эсторское, белое соанское. Ловко разделывая двумя кинжалами баранью ногу, дон Тамэо жаловался на наглость низших сословий. «Я намерен подать докладную на высочайшее имя, — объявил он. — Дворянство требует, чтобы мужикам и ремесленному сброду было запрещено показываться в публичных местах и на улицах. Пусть ходят через дворы и по задам. В тех же случаях, когда появление мужика на улице неизбежно, например, при подвозе им хлеба, мяса и вина в благородные дома, пусть имеет специальное разрешение министерства охраны короны». — «Светлая голова! — восхищенно сказал дон Сэра, брызгая слюнями и мясным соком. — А вот вчера при дворе...» И он рассказал последнюю новость. Пассия дона Рэбы, фрейлина Окана, неосторожно наступила королю на больную ногу. Его величество пришел в ярость и, обратившись к дону Рэбе, приказал примерно наказать преступницу. На что дон Рэба, не моргнув глазом, ответил: «Будет исполнено, ваше величество. Нынче же ночью!» — «Я так хохотал, — сказал дон Сэра, крутя головой, — что у меня на камзоле отскочили два крючка...»

Протоплазма, думал Румата. Просто жрущая и размножающаяся протоплазма.

— Да, благородные доны, — сказал он. — Дон Рэба — умнейший человек...

— Ого-го! — сказал дон Сэра. — Еще какой! Светлейшая голова!..

— Выдающийся деятель, — сказал дон Тамэо значительно и с чувством.

— Сейчас даже странно вспомнить, — продолжал Румата, приветливо улыбаясь, — что говорилось о нем всего год назад. Помните, дон Тамэо, как остроумно вы осмеяли его кривые ноги?

Дон Тамэо поперхнулся и залпом осушил стакан ируканского.

— Не припоминаю, — пробормотал он. — Да и какой из меня осмеятель...

— Было, было, — сказал дон Сэра, укоризненно качая головой.

— Действительно! — воскликнул Румата. — Вы же присутствовали при этой беседе, дон Сэра! Помню, вы еще так хохотали над остроумными пассажами дона Тамэо, что у вас что-то там отлетело в туалете...

Дон Сэра побагровел и стал длинно и косноязычно оправдываться, причем все время врал. Помрачневший дон Тамэо приналег на крепкое эсторское, а так как он, по его собственным словам, «как начал с позавчерашнего утра, так по сю пору не может остановиться», его, когда

они выбрались из дома, пришлось поддерживать с двух сторон.

День был солнечный, яркий. Простой народ толкался между домами, ища, на что бы поглазеть, визжали и свистели мальчишки, кидаясь грязью, из окон выглядывали хорошенькие горожанки в чепчиках, вертлявые служаночки застенчиво стреляли влажными глазками, и настроение стало понемногу подниматься. Дон Сэра очень ловко сшиб с ног какого-то мужика и чуть не помер от смеха, глядя, как мужик барахтается в луже. Дон Тамэо вдруг обнаружил, что надел перевязи с мечами задом наперед, закричал: «Стойте!» — и стал крутиться на месте, пытаясь перевернуться внутри перевязей. У дона Сэра опять что-то отлетело на камзоле. Румата поймал за розовое ушко пробегавшую служаночку и попросил ее помочь дону Тамэо привести себя в порядок. Вокруг благородных донов немедленно собралась толпа зевак, подававших служаночке советы, от которых та стала совсем пунцовой, а с камзола дона Сэра градом сыпались застежки, пуговки и пряжки. Когда они, наконец, двинулись дальше, дон Тамэо принялся во всеуслышание сочинять дополнение к своей докладной, в котором он указывал на необходимость «непричисления хорошеньких особ женского пола к мужикам и простолюдинам». Тут дорогу им преградил воз с горшками. Дон Сэра обнажил оба меча и заявил, что благородным донам не пристало обходить всякие там горшки и он проложит себе дорогу сквозь этот воз. Но пока он примеривался, пытаясь различить, где кончается стена дома и начинаются горшки, Румата взялся за колеса и развернул воз, освободив проход. Зеваки, восхищенно наблюдавшие за происходившим, прокричали Румате тройное «ура». Благородные доны двинулись было дальше, но из окна на третьем этаже высунулся толстый сивый лавочник и стал распространяться о бесчинствах придворных, на которых «орел наш дон Рэба скоро найдет управу». Пришлось задержаться и переправить в это окно весь груз горшков. В последний горшок Румата бросил две золотые монеты с профилем Пица Шестого и вручил остолбеневшему владельцу воза.

— Сколько вы ему дали? — спросил дон Тамэо, когда они пошли дальше.

— Пустяк, — небрежно ответил Румата. — Два золотых.

— Спина святого Мики! — воскликнул дон Тамэо. — Вы богаты! Хотите, я продам вам своего хамахарского жеребца?

— Я лучше выиграю его у вас в кости, — сказал Румата.

— Верно! — сказал дон Сэра и остановился. — Почему бы нам не сыграть в кости!

— Прямо здесь? — спросил Румата.

— А почему бы нет? — спросил дон Сэра. — Не вижу, почему бы трем благородным донам не сыграть в кости там, где им хочется!

Тут дон Тамэо вдруг упал. Дон Сэра зацепился за его ноги и тоже упал.

— Я совсем забыл, — сказал он. — Нам ведь пора в караул.

Румата поднял их и повел, держа за локти. У огромного мрачного дома дона Сатарины он остановился.

— А не зайти ли нам к старому дону? — спросил он.

— Совершенно не вижу, почему бы трем благородным донам не зайти к старому дону Сатарине, — сказал дон Сэра.

Дон Тамэо открыл глаза.

— Находясь на службе короля, — провозгласил он, — мы должны всемерно смотреть в будущее. Д-дон Сатарина — это пройденный этап. Вперед, благородные доны! Мне нужно на пост...

— Вперед, — согласился Румата.

Дон Тамэо снова уронил голову на грудь и больше уже не просыпался. Дон Сэра, загибая пальцы, рассказывал о своих любовных победах. Так они добрались до дворца. В караульном помещении Румата с облегчением положил дона Тамэо на скамью, а дон Сэра уселся за стол, небрежно отодвинул пачку ордеров, подписанных королем, и заявил, что пришла, наконец, пора выпить холодного ируканского. Пусть хозяин катит бочку, приказал он, а эти девочки (он указал на караульных гвардейцев, игравших в карты за другим столом) пусть идут сюда. Пришел начальник караула, лейтенант гвардейской роты. Он долго присматривался к дону Тамэо и приглядывался к дону Сэра; и когда дон Сэра осведомился у него, «зачем увяли все цветы в саду таинственном любви», решил, что посылать их сейчас на пост, пожалуй, не стоит. Пусть пока так полежат.

Румата проиграл лейтенанту золотой и поговорил с ним о новых форменных перевязях и о способах заточки мечей. Он заметил между прочим, что собирается зайти к дону Сатарине, у которого есть оружие старинной заточки, и был очень огорчен, узнав, что почтенный вельможа окончательно спятил: еще месяц назад выпустил своих пленников, распустил дружину, а богатейший пыточный арсенал безвозмездно передал в казну. Стодвухлетний старец заявил, что остаток жизни намеревается посвятить добрым делам, и теперь, наверное, долго не протянет.

Попрощавшись с лейтенантом, Румата вышел из дворца и направился в порт. Он шел, огибая лужи и перепрыгивая через рытвины, полные зацветшей водой, бесцеремонно расталкивая зазевавшихся простолюдинов, подмигивая девушкам, на которых внешность его производила, по-видимому, неотразимое впечатление, раскланивался с дамами, которых

несли в портшезах, дружески здоровался со знакомыми дворянами и нарочито не замечал серых штурмовиков.

Он сделал небольшой крюк, чтобы зайти в Патриотическую школу. Школа эта была учреждена иждивением дона Рэбы два года назад для подготовки из мелкопоместных и купеческих недорослей военных и административных кадров. Дом был каменный, современной постройки, без колонн и барельефов, с толстыми стенами, с узкими бойницеобразными окнами, с полукруглыми башнями по сторонам главного входа. В случае надобности в доме можно было продержаться.

По узким ступеням Румата поднялся на второй этаж и, звеня шпорами по камню, направился мимо классов к кабинету прокуратора школы. Из классов неслось жужжание голосов, хоровые выкрики. «Кто есть король? Светлое величество. Кто есть министры? Верные, не знающие сомнений...», «...И бог, наш создатель, сказал: «Прокляну». И проклял...», «...А ежели рожок дважды протрубит, рассыпаться по двое как бы цепью, опустив притом пики...», «...Когда же пытуемый впадает в беспамятство, испытание, не увлекаясь, прекратить...»

Школа, думал Румата. Гнездо мудрости. Опора культуры...

Он, не стучась, толкнул низкую сводчатую дверь и вошел в кабинет, темный и ледяной, как погреб. Навстречу из-за огромного стола, заваленного бумагой и тростями для наказаний, выскочил длинный угловатый человек, лысый, с провалившимися глазами, затянутый в узкий серый мундир с нашивками министерства охраны короны. Это и был прокуратор Патриотической школы высокоученый отец Кин — садист-убийца, постригшийся в монахи, автор «Трактата о доносе», обратившего на себя внимание дона Рэбы.

Небрежно кивнув в ответ на витиеватое приветствие, Румата сел в кресло и положил ногу на ногу. Отец Кин остался стоять, согнувшись в позе почтительного внимания.

— Ну, как дела? — спросил Румата благосклонно. — Одних грамотеев режем, других учим?

Отец Кин осклабился.

— Грамотей не есть враг короля, — сказал он. — Враг короля есть грамотей-мечтатель, грамотей усомнившийся, грамотей неверящий! Мы же здесь...

— Ладно, ладно, — сказал Румата. — Верю. Что пописываешь? Читал я твой трактат — полезная книга, но глупая. Как же это ты? Нехорошо. Прокуратор!..

— Не умом поразить тщился, — с достоинством ответил отец Кин. —

Единственно, чего добивался, — успеть в государственной пользе. Умные нам ненадобны. Надобны верные. И мы...

— Ладно, ладно, — сказал Румата. — Верю. Так пишешь что новое или нет?

— Собираюсь подать на рассмотрение министру рассуждение о новом государстве, образцом коего полагаю Область Святого Ордена.

— Это что же ты? — удивился Румата. — Всех нас в монахи хочешь?..

Отец Кин стиснул руки и подался вперед.

— Разрешите пояснить, благородный дон, — горячо сказал он, облизнув губы. — Суть совсем в ином! Суть в основных установлениях нового государства. Установления просты, и их всего три: слепая вера в непогрешимость законов, беспрекословное оным повиновение, а также неусыпное наблюдение каждого за всеми!

— Гм, — сказал Румата. — А зачем?

— Что «зачем»?

— Глуп ты все-таки, — сказал Румата. — Ну ладно, верю. Так о чем это я?.. Да! Завтра ты примешь двух новых наставников. Их зовут: отец Тарра, очень почтенный старец, занимается этой... космографией, и брат Нанин, тоже верный человек, силен в истории. Это мои люди, и прими их почтительно. Вот залог. — Он бросил на стол звякнувший мешочек. — Твоя доля здесь — пять золотых... Все понял?

— Да, благородный дон, — сказал отец Кин.

Румата зевнул и огляделся.

— Вот и хорошо, что понял, — сказал он. — Мой отец почему-то очень любил этих людей и завещал мне устроить их жизнь. Вот объясни мне, ученый человек, откуда в благороднейшем доне может быть такая привязанность к грамотею?

— Возможно, какие-нибудь особые заслуги? — предположил отец Кин.

— Это ты о чем? — подозрительно спросил Румата. — Хотя почему же? Да... Дочка там хорошенькая или сестра... Вина, конечно, у тебя здесь нет?

Отец Кин виновато развел руки. Румата взял со стола один из листков и некоторое время подержал перед глазами.

— «Споспешествование»... — прочел он. — Мудрецы! — Он уронил листок на пол и встал. — Смотри, чтобы твоя ученая свора их здесь не обижала. Я их как-нибудь навещу, и если узнаю... — Он поднес под нос отцу Кину кулак. — Ну ладно, ладно, не бойся, не буду...

Отец Кин почтительно хихикнул. Румата кивнул ему и направился к

двери, царапая пол шпорами.

На улице Премногоблагодарения он заглянул в оружейную лавку, купил новые кольца для ножен, попробовал пару кинжалов (покидал в стену, примерил к ладони — не понравились), затем, присев на прилавок, поговорил с хозяином, отцом Гауком. У отца Гаука были печальные добрые глаза и маленькие бледные руки в неотмытых чернильных пятнах. Румата немного поспорил с ним о достоинствах стихов Цурэна, выслушал интересный комментарий к строчке «Как лист увядший падает на душу...», попросил прочесть что-нибудь новенькое и, повздыхав вместе с автором над невыразимо грустными строфами, продекламировал перед уходом «Быть или не быть?» в своем переводе на ируканский.

— Святой Мика! — вскричал воспламененный отец Гаук. — Чьи это стихи?

— Мои, — сказал Румата и вышел.

Он зашел в «Серую Радость», выпил стакан арканарской кислятины, потрепал хозяйку по щеке, перевернул, ловко двинув мечом, столик штатного осведомителя, пялившего на него пустые глаза, затем прошел в дальний угол и отыскал там обтрепанного бородатого человечка с чернильницей на шее.

— Здравствуй, брат Нанин, — сказал он. — Сколько прошений написал сегодня?

Брат Нанин застенчиво улыбнулся, показав мелкие испорченные зубы.

— Сейчас пишут мало прошений, благородный дон, — сказал он. — Одни считают, что просить бесполезно, а другие рассчитывают в ближайшее время взять без спроса.

Румата наклонился к его уху и рассказал, что дело с Патриотической школой улажено.

— Вот тебе два золотых, — сказал он в заключение. — Оденься, приведи себя в порядок. И будь осторожнее... хотя бы в первые дни. Отец Кин опасный человек.

— Я прочитаю ему свой «Трактат о слухах», — весело сказал брат Нанин. — Спасибо, благородный дон.

— Чего не сделаешь в память о своем отце! — сказал Румата. — А теперь скажи, где мне найти отца Тарра?

Брат Нанин перестал улыбаться и растерянно замигал.

— Вчера здесь случилась драка, — сказал он. — А отец Тарра немного перепил. И потом, он же рыжий... Ему сломали ребро.

Румата крякнул от досады.

— Вот несчастье! — сказал он. — И почему вы так много пьете?

— Иногда бывает трудно удержаться, — грустно сказал брат Нанин.

— Это верно, — сказал Румата. — Ну что ж, вот еще два золотых, береги его.

Брат Нанин наклонился, ловя его руку. Румата отступил.

— Ну-ну, — сказал он. — Это не самая лучшая из твоих шуток, брат Нанин. Прощай.

В порту пахло, как нигде в Арканаре. Пахло соленой водой, тухлой тиной, пряностями, смолой, дымом, лежалой солониной, из таверн несло чадом, жареной рыбой, прокисшей брагой. В душном воздухе висела густая разноязыкая ругань. На пирсах, в тесных проходах между складами, вокруг таверн толпились тысячи людей диковинного вида: расхлюстанные матросы, надутые купцы, угрюмые рыбаки, торговцы рабами, торговцы женщинами, раскрашенные девки, пьяные солдаты, какие-то неясные личности, увешанные оружием, фантастические оборванцы с золотыми браслетами на грязных лапах. Все были возбуждены и обозлены. По приказу дона Рэбы вот уже третий день ни один корабль, ни один челнок не мог покинуть порта. У причалов поигрывали ржавыми мясницкими топорами серые штурмовики — поплевывали, нагло и злорадно поглядывая на толпу. На арестованных кораблях группами по пять-шесть человек сидели на корточках ширококостные меднокожие люди в шкурах шерстью наружу и медных колпаках — наемники-варвары, никудышные в рукопашном бою, но страшные вот так, на расстоянии, своими длиннющими духовыми трубками, стреляющими отравленной колючкой. А за лесом мачт, на открытом рейде чернели в мертвом штиле длинные боевые галеры королевского флота. Время от времени они испускали красные огненно-дымные струи, воспламеняющие море, — жгли нефть для устрашения.

Румата миновал таможенную канцелярию, где перед запертыми дверями сгрудились угрюмые морские волки, тщетно ожидающие разрешения на выход, протолкался через крикливую толпу, торгующую чем попало (от рабынь и черного жемчуга до наркотиков и дрессированных пауков), вышел к пирсам, покосился на выложенные в ряд для всеобщего обозрения на самом солнцепеке раздутые трупы в матросских куртках и, описав дугу по захламленному пустырю, проник в вонючие улочки портовой окраины. Здесь было тише. В дверях убогих притончиков дремали полуголые девки, на перекрестке валялся разбитой мордой вниз упившийся солдат с вывернутыми карманами, вдоль стен крались подозрительные фигуры с бледными ночными физиономиями.

Днем Румата был здесь впервые и сначала удивился, что не привлекает внимания: встречные заплывшими глазами глядели либо мимо, либо как бы сквозь него, хотя и сторонились, давая дорогу. Но, сворачивая за угол, он случайно обернулся и успел заметить, как десятка полтора разнокалиберных голов, мужских и женских, лохматых и лысых, мгновенно втянулись в двери, в окна, в подворотни. Тогда он ощутил странную атмосферу этого гнусного места, атмосферу не то чтобы вражды или опасности, а какого-то нехорошего, корыстного интереса.

Толкнув плечом дверь, он вошел в один из притонов, где в полутемной зальце дремал за стойкой длинноносый старичок с лицом мумии. За столами было пусто. Румата неслышно подошел к стойке и примерился уже щелкнуть старика в длинный нос, как вдруг заметил, что спящий старик вовсе не спит, а сквозь голые прижмуренные веки внимательно его разглядывает. Румата бросил на стойку серебряную монетку, и глаза старичка сейчас же широко раскрылись.

— Что будет угодно благородному дону? — деловито осведомился он. — Травку? Понюшку? Девочку?

— Не притворяйся, — сказал Румата. — Ты знаешь, зачем я сюда прихожу.

— Э-э, да никак это дон Румата! — с необычайным удивлением вскричал старик. — Я и то смотрю, что-то знакомое...

Сказавши это, он снова опустил веки. Все было ясно. Румата обошел стойку и пролез сквозь узкую дверь в соседнюю комнатушку. Здесь было тесно, темно и воняло душной кислятиной. Посредине за высокой конторкой стоял, согнувшись над бумагами, сморщенный пожилой человек в плоской черной шапочке. На конторке мигала коптилка, и в сумраке виднелись только лица людей, неподвижно сидевших у стен. Румата, придерживая мечи, тоже нашарил табурет у стены и сел. Здесь были свои законы и свой этикет. Внимания на вошедшего никто не обратил: раз пришел человек, значит, так надо, а если не надо, то мигнут — и не станет человека. Ищи его хоть по всему свету... Сморщенный старик прилежно скрипел пером, люди у стен были неподвижны. Время от времени то один из них, то другой протяжно вздыхал. По стенам, легонько топоча, бегали невидимые ящерицы-мухоловки.

Неподвижные люди у стен были главарями банд — некоторых Румата давно знал в лицо. Сами по себе эти тупые животные стоили немного. Их психология была не сложнее психологии среднего лавочника. Они были невежественны, беспощадны и хорошо владели ножами и короткими дубинками. А вот человек у конторки...

Его звали Вага Колесо, и он был всемогущим, не знающим конкурентов главою всех преступных сил Запроливья — от Питанских болот на западе Ирукана до морских границ торговой республики Соан. Он был проклят всеми тремя официальными церквами Империи за неумеренную гордыню, ибо называл себя младшим братом царствующих особ. Он располагал ночной армией общей численностью до десяти тысяч человек, богатством в несколько сотен тысяч золотых, а агентура его проникала в святая святых государственного аппарата. За последние двадцать лет его четырежды казнили, каждый раз при большом стечении народа; по официальной версии, он в настоящий момент томился сразу в трех самых мрачных застенках Империи, а дон Рэба неоднократно издавал указы «касательно возмутительного распространения государственными преступниками и иными злоумышленниками легенд о так называемом Ваге Колесе, на самом деле не существующем и, следовательно, легендарном». Тот же дон Рэба вызывал к себе, по слухам, некоторых баронов, располагающих сильными дружинами, и предлагал им вознаграждение: пятьсот золотых за Вагу мертвого и семь тысяч золотых за живого. Самому Румате пришлось в свое время потратить немало сил и золота, чтобы войти в контакт с этим человеком. Вага вызывал в нем сильнейшее отвращение, но иногда был чрезвычайно полезен — буквально незаменим. Кроме того, Вага сильно занимал Румату как ученого. Это был любопытнейший экспонат в его коллекции средневековых монстров, личность, не имеющая, по-видимому, совершенно никакого прошлого...

Вага, наконец, положил перо, распрямился и сказал скрипуче:

— Вот так, дети мои. Две с половиной тысячи золотых за три дня. А расходов всего одна тысяча девятьсот девяносто шесть. Пятьсот четыре маленьких кругленьких золотых за три дня. Неплохо, дети мои, неплохо...

Никто не пошевелился. Вага отошел от конторки, сел в углу и сильно потер сухие ладони.

— Есть чем порадовать вас, дети мои, — сказал он. — Времена настают хорошие, изобильные... Но придется потрудиться. Ох как придется! Мой старший брат, король Арканарский, решил извести всех ученых людей в нашем с ним королевстве. Ну что ж, ему виднее. Да и кто мы такие, чтобы обсуждать его высокие решения? Однако выгоду из этого его решения извлечь можно и должно. И поскольку мы его верные подданные, мы ему услужим. Но поскольку мы его ночные подданные, мы и свою малую толику не упустим. Он этого не заметит и не будет гневаться на нас. Что?

Никто не пошевелился.

— Мне показалось, что Пига вздохнул. Это правда, Пига, сынок?

В темноте заерзали и прокашлялись.

— Не вздыхал я, Вага, — сказал грубый голос. — Как можно...

— Нельзя, Пига, нельзя! Правильно! Все вы сейчас должны слушать меня, затаив дыхание. Все вы разъедетесь отсюда и возьметесь за тяжкий труд, и некому будет тогда посоветовать вам. Мой старший брат, его величество, устами министра своего дона Рэбы обещал за головы некоторых бежавших и скрывающихся ученых людей немалые деньги. Мы должны доставить ему эти головы и порадовать его, старика. А с другой стороны, некоторые ученые люди хотят скрыться от гнева моего старшего брата и не пожалеют для этого своих средств. Во имя милосердия и чтобы облегчить душу моего старшего брата от бремени лишних злодейств, мы поможем этим людям. Впрочем, впоследствии, если его величеству понадобятся и эти головы, он их получит. Дешево, совсем дешево...

Вага замолчал и опустил голову. По щекам его вдруг потекли старческие медленные слезы.

— А ведь я старею, дети мои, — сказал он, всхлипнув. — Руки мои дрожат, ноги подгибаются подо мною, и память начинает мне изменять. Забыл ведь, совсем забыл, что среди нас, в этой душной, тесной клетушке томится благородный дон, которому совершенно нет дела до наших грошовых расчетов. Уйду я. Уйду на покой. А пока, дети мои, давайте извинимся перед благородным доном...

Он встал и, кряхтя, согнулся в поклоне. Остальные тоже встали и тоже поклонились, но с явной нерешительностью и даже с испугом. Румата буквально слышал, как трещат их тупые, примитивные мозги в тщетном стремлении угнаться за смыслом слов и поступков этого согбенного старичка.

Дело было, конечно, ясное: разбойничек пользовался лишним шансом довести до сведения дона Рэбы, что ночная армия в происходящем погроме намерена действовать вместе с серыми. Теперь же, когда настало время давать конкретные указания, называть имена и сроки операций, присутствие благородного дона становилось, мягко выражаясь, обременительным, и ему, благородному дону, предлагалось быстренько изложить свое дело и выметаться вон. Темненький старичок. Страшненький. И почему он в городе? Вага терпеть не может города.

— Ты прав, почтенный Вага, — сказал Румата. — Мне недосуг. Однако извиниться должен я, потому что беспокою тебя по совершенно пустяковому делу. — Он продолжал сидеть, и все слушали его стоя. — Случилось так, что мне нужна твоя консультация... Ты можешь сесть.

Вага еще раз поклонился и сел.

— Дело вот в чем, — продолжал Румата. — Три дня назад я должен был встретиться в Урочище Тяжелых Мечей со своим другом, благородным доном из Ирукана. Но мы не встретились. Он исчез. Я знаю точно, что ируканскую границу он пересек благополучно. Может быть, тебе известна его дальнейшая судьба?

Вага долго не отвечал. Бандиты сопели и вздыхали. Потом Вага откашлялся.

— Нет, благородный дон, — сказал он. — Нам ничего не известно о таком деле.

Румата сейчас же встал.

— Благодарю тебя, почтенный, — сказал он. Он шагнул на середину комнаты и положил на конторку мешочек с десятком золотых. — Оставляю тебя с просьбой: если тебе станет что-нибудь известно, дай мне знать. — Он прикоснулся к шляпе. — Прощай.

Возле самой двери он остановился и небрежно сказал через плечо:

— Ты тут говорил что-то об ученых людях. Мне пришла сейчас в голову мысль. Я чувствую, трудами короля в Арканаре через месяц не отыщешь ни одного порядочного книгочея. А я должен основать в метрополии университет, потому что дал обет за излечение меня от черного мора. Будь добр, когда подналовишь книгочеев, извести сначала меня, а потом уже дона Рэбу. Может статься, я отберу себе парочку для университета.

— Недешево обойдется, — сладким голосом предупредил Вага. — Товар редкостный, не залеживается.

— Честь дороже, — высокомерно сказал Румата и вышел.

ГЛАВА 3

Этого Вагу, думал Румата, было бы очень интересно изловить и вывезти на Землю. Технически это не сложно. Можно было бы сделать это прямо сейчас. Что бы он стал делать на Земле? Румата попытался представить себе, что Вага стал бы делать на Земле. В светлую комнату с зеркальными стенами и кондиционированным воздухом, пахнущим хвоей или морем, бросили огромного мохнатого паука. Паук прижался к сверкающему полу, судорожно повел злобными глазками и — что делать? — боком, боком кинулся в самый темный угол, вжался, угрожающе выставив ядовитые челюсти. Конечно, прежде всего Вага стал бы искать обиженных. И, конечно, самый глупый обиженный показался бы ему слишком чистым и непригодным к использованию. А ведь захирел бы старичок. Пожалуй, даже и умер бы. А впрочем, кто его знает! В том-то все и дело, что психология этих монстров — совершенно темный лес. Святой Мика! Разобраться в ней гораздо сложнее, чем в психологии негуманоидных цивилизаций. Все их действия можно объяснить, но чертовски трудно эти действия предсказать. Да, может быть, и помер бы с тоски. А может быть, огляделся бы, приспособился, прикинул бы, что к чему, и поступил бы лесничим в какой-нибудь заповедник. Ведь не может же быть, чтобы не было у него мелкой, безобидной страстишки, которая здесь ему только мешает, а там могла бы стать сутью его жизни. Кажется, он кошек любит. В берлоге у него, говорят, целое стадо, и специальный человек к ним приставлен. И он этому человеку даже платит, хотя скуп и мог бы просто пригрозить. Но что бы он стал делать на Земле со своим чудовищным властолюбием — непонятно!

Румата остановился перед таверной и хотел было зайти, но обнаружил, что у него пропал кошелек. Он стоял перед входом в полной растерянности (он никак не мог привыкнуть к таким вещам, хотя это случилось с ним не впервые) и долго шарил по всем карманам. Всего было три мешочка, по десятку золотых в каждом. Один получил прокуратор, отец Кин, другой получил Вага. Третий исчез. В карманах было пусто, с левой штанины были аккуратно срезаны все золотые бляшки, а с пояса исчез кинжал.

Тут он заметил, что неподалеку остановились двое штурмовиков, глазеют на него и скалят зубы. Сотруднику Института было на это наплевать, но благородный дон Румата Эсторский осатанел. На секунду он потерял контроль над собой. Он шагнул к штурмовикам, рука его

непроизвольно поднялась, сжимаясь в кулак. Видимо, лицо его изменилось страшно, потому что насмешники шарахнулись и с застывшими, как у паралитиков, улыбками торопливо юркнули в таверну.

Тогда он испугался. Ему стало так страшно, как было только один раз в жизни, когда он — в то время еще сменный пилот рейсового звездолета — ощутил первый приступ малярии. Неизвестно, откуда взялась эта болезнь, и уже через два часа его с удивленными шутками и прибаутками вылечили, но он навсегда запомнил потрясение, испытанное им, совершенно здоровым, никогда не болевшим человеком, при мысли о том, что в нем что-то разладилось, что он стал ущербным и словно бы потерял единоличную власть над своим телом.

Я же не хотел, подумал он. У меня и в мыслях этого не было. Они же ничего особенного не делали — ну, стояли, ну, скалили зубы... Очень глупо скалили, но у меня, наверное, был ужасно нелепый вид, когда я шарил по карманам. Ведь я их чуть не зарубил, вдруг понял он. Если бы они не убрались, я бы их зарубил. Он вспомнил, как совсем недавно на пари разрубил одним ударом сверху донизу чучело, одетое в двойной соанский панцирь, и по спине у него побежали мурашки... Сейчас бы они валялись вот здесь, как свиные туши, а я бы стоял с мечом в руке и не знал что делать... Вот так бог! Озверел...

Он почувствовал вдруг, что у него болят все мышцы, как после тяжелой работы. Ну-ну, тихо, сказал он про себя. Ничего страшного. Все прошло. Просто вспышка. Мгновенная вспышка, и все уже прошло. Я же все-таки человек, и все животное мне не чуждо... Это просто нервы. Нервы и напряжение последних дней... А главное — это ощущение наползающей тени. Непонятно чья, непонятно откуда, но она наползает и наползает совершенно неотвратимо...

Эта неотвратимость чувствовалась во всем. И в том, что штурмовики, которые еще совсем недавно трусливо жались к казармам, теперь с топорами наголо свободно разгуливают прямо посередине улиц, где раньше разрешалось ходить только благородным донам. И в том, что исчезли из города уличные певцы, рассказчики, плясуны, акробаты. И в том, что горожане перестали распевать куплеты политического содержания, стали очень серьезными и совершенно точно знали, что необходимо для блага государства. И в том, что внезапно и необъяснимо был закрыт порт. И в том, что были разгромлены и сожжены «возмущенным народом» все лавочки, торгующие раритетами, — единственные места в королевстве, где можно было купить или взять на время книги и рукописи на всех языках Империи и на древних, ныне мертвых, языках аборигенов Запроливья. И в

том, что украшение города, сверкающая башня астрологической обсерватории, торчала теперь в синем небе черным гнилым зубом, спаленная «случайным пожаром». И в том, что потребление спиртного за два последних года выросло в четыре раза — в Арканаре-то, издревле славившемся безудержным пьянством! И в том, что привычно забитые, замордованные крестьяне окончательно зарылись под землю в своих Благорастворениях, Райских Кущах и Воздушных Лобзаниях, не решаясь выходить из землянок даже для необходимых полевых работ. И, наконец, в том, что старый стервятник Вага Колесо переселился в город, чуя большую поживу... Где-то в недрах дворца, в роскошных апартаментах, где подагрический король, двадцать лет не видевший солнца из страха перед всем на свете, сын собственного прадеда, слабоумно хихикая, подписывает один за другим жуткие приказы, обрекающие на мучительную смерть самых честных и бескорыстных людей, где-то там вызревал чудовищный гнойник, и прорыва этого гнойника надо было ждать не сегодня-завтра...

Румата поскользнулся на разбитой дыне и поднял голову. Он был на улице Премногоблагодарения, в царстве солидных купцов, менял и мастеров-ювелиров. По сторонам стояли добротные старинные дома с лавками и лабазами, тротуары здесь были широки, а мостовая выложена гранитными брусьями. Обычно здесь можно было встретить благородных да тех, кто побогаче, но сейчас навстречу Румате валила густая толпа возбужденных простолюдинов. Румату осторожно обходили, подобострастно поглядывая, многие на всякий случай кланялись. В окнах верхних этажей маячили толстые лица, на них остывало возбужденное любопытство. Где-то впереди начальственно покрикивали: «А ну проходи!.. Разойдись!.. А ну, быстро!..» В толпе переговаривались:

— В них-то самое зло и есть, их-то и опасайся больше всего. На вид-то они тихие, благонравные, почтенные, поглядишь — купец купцом, а внутри яд горький!..

— Как они его, черта... Я уж на что привычный, да, веришь, замутило смотреть...

— А им хоть что... Во ребята! Прямо сердце радуется. Такие не выдадут.

— А может, не надо бы так? Все-таки человек, живое дыхание... Ну, грешен — так накажите, поучите, а зачем вот так-то?..

— Ты, это, брось!.. Ты, это, потише: во-первых, люди кругом...

— Хозяин, а хозяин! Сукно есть хорошее, отдадут, не подорожатся, если нажать... Только быстрее надо, а то опять Пакиновы приказчики перехватят...

— Ты, сынок, главное, не сомневайся. Поверь, главное. Раз власти поступают — значит, знают, что делают...

Опять кого-то забили, подумал Румата. Ему захотелось свернуть и обойти стороной то место, откуда текла толпа и где кричали проходить и разойтись. Но он не свернул. Он только провел рукой по волосам, чтобы упавшая прядь не закрыла камень на золотом обруче. Камень был не камень, а объектив телепередатчика, и обруч был не обруч, а рация. Историки на Земле видели и слышали все, что видели и слышали двести пятьдесят разведчиков на девяти материках планеты. И потому разведчики были обязаны смотреть и слушать.

Задрав подбородок и растопырив в стороны мечи, чтобы задевать побольше народу, он пошел прямо на людей посередине мостовой, и встречные поспешно шарахались, освобождая дорогу. Четверо коренастых носильщиков с раскрашенными мордами пронесли через улицу серебристый портшез. Из-за занавесок выглянуло красивое холодное личико с подведенными ресницами. Румата сорвал шляпу и поклонился. Это была дона Окана, нынешняя фаворитка орла нашего, дона Рэбы. Увидя великолепного кавалера, она томно и значительно улыбнулась ему. Можно было, не задумываясь, назвать два десятка благородных донов, которые, удостоившись такой улыбки, кинулись бы к женам и любовницам с радостным известием: «Теперь все прочие пусть поберегутся, всех теперь куплю и продам, все им припомню!..» Такие улыбки — штука редкая и подчас неоценимо дорогая. Румата остановился, провожая взглядом портшез. Надо решаться, подумал он. Надо, наконец, решаться... Он поежился при мысли о том, чего это будет стоить. Но ведь надо! Надо... Решено, подумал он, все равно другого пути нет. Сегодня вечером. Он поравнялся с оружейной лавкой, куда заглядывал давеча прицениться к кинжалам и послушать стихи, и снова остановился. Вон оно что... Значит, это была твоя очередь, добрый отец Гаук...

Толпа уже рассосалась. Дверь лавки была сорвана с петель, окна выбиты. В дверном проеме стоял, упершись ногой в косяк, огромный штурмовик в серой рубахе. Другой штурмовик, пожиже, сидел на корточках у стены. Ветер катал по мостовой мятые исписанные листы.

Огромный штурмовик сунул палец в рот, пососал, потом вынул изо рта и оглядел внимательно. Палец был в крови. Штурмовик поймал взгляд Руматы и благодушно просипел:

— Кусается, стерва, что твой хорек...

Второй штурмовик торопливо хихикнул. Этакий жиденький, бледный парнишка, неуверенный, с прыщавой мордой, сразу видно: новичок,

гаденыш, щенок...

— Что здесь произошло? — спросил Румата.

— За скрытого книгочея подержались, — нервно сказал щенок.

Верзила опять принялся сосать палец, не меняя позы.

— Смир-рна! — негромко скомандовал Румата.

Щенок торопливо вскочил и подобрал топор. Верзила подумал, но все-таки опустил ногу и встал довольно прямо.

— Так что за книгочей? — осведомился Румата.

— Не могу знать, — сказал щенок. — По приказу отца Цупика...

— Ну и что же? Взяли?

— Так точно! Взяли!

— Это хорошо, — сказал Румата.

Это действительно было совсем не плохо. Время еще оставалось. Нет ничего дороже времени, подумал он. Час стоит жизни, день бесценен.

— И куда же вы его? В Башню?

— А? — растерянно спросил щенок.

— Я спрашиваю, он в Башне сейчас?

На прыщавой мордочке расплылась неуверенная улыбка. Верзила заржал. Румата стремительно обернулся. Там, на другой стороне улицы, мешком тряпья висел на перекладине ворот труп отца Гаука. Несколько оборванных мальчишек, раскрыв рты, глазели на него со двора.

— Нынче в Башню не всякого отправляют, — благодушно просипел за спиной верзила. — Нынче у нас быстро. Узел за ухо — и пошел прогуляться...

Щенок снова захихикал. Румата слепо оглянулся на него и медленно перешел улицу. Лицо печального поэта было черным и незнакомым. Румата опустил глаза. Только руки были знакомы, длинные слабые пальцы, запачканные чернилами...

Теперь не уходят из жизни,
Теперь из жизни уводят.
И если кто-нибудь даже
Захочет, чтоб было иначе,
Бессильный и неумелый,
Опустит слабые руки,
Не зная, где сердце спрута
И есть ли у спрута сердце...

Румата повернулся и пошел прочь. Добрый слабый Гаук... У спрута есть сердце. И мы знаем, где оно. И это всего страшнее, мой тихий, беспомощный друг. Мы знаем, где оно, но мы не можем разрубить его, не проливая крови тысяч запуганных, одурманенных, слепых, не знающих сомнения людей. А их так много, безнадежно много, темных, разъединенных, озлобленных вечным неблагодарным трудом, униженных, не способных еще подняться над мыслишкой о лишнем медяке... И их еще нельзя научить, объединить, направить, спасти от самих себя. Рано, слишком рано, на столетия раньше, чем можно, поднялась в Арканаре серая топь, она не встретит отпора, и остается одно: спасать тех немногих, кого можно успеть спасти. Будаха, Тарру, Нанина, ну еще десяток, ну еще два десятка...

Но одна только мысль о том, что тысячи других, пусть менее талантливых, но тоже честных, по-настоящему благородных людей фатально обречены, вызывала в груди ледяной холод и ощущение собственной подлости. Временами это ощущение становилось таким острым, что сознание помрачалось, и Румата словно наяву видел спины серой сволочи, озаряемые лиловыми вспышками выстрелов, и перекошенную животным ужасом всегда такую незаметную, бледненькую физиономию дона Рэбы, и медленно обрушивающуюся внутрь себя Веселую Башню... Да, это было бы сладостно. Это было бы настоящее дело. Настоящее макроскопическое воздействие. Но потом... Да, они в Институте правы. Потом неизбежное. Кровавый хаос в стране. Ночная армия Ваги, выходящая на поверхность, десять тысяч головорезов, отлученных всеми церквами, насильников, убийц, растлителей; орды меднокожих варваров, спускающиеся с гор и истребляющие все живое, от младенцев до стариков; громадные толпы слепых от ужаса крестьян и горожан, бегущих в леса, в горы, в пустыни; и твои сторонники — веселые люди, смелые люди! — вспарывающие друг другу животы в жесточайшей борьбе за власть и за право владеть пулеметом после твоей неизбежно насильственной смерти... И эта нелепая смерть — из чаши вина, поданной лучшим другом, или от арбалетной стрелы, свистнувшей в спину из-за портьеры. И окаменевшее лицо того, кто будет послан с Земли тебе на смену и найдет страну, обезлюдевшую, залитую кровью, догорающую пожарищами, в которой все, все, все придется начинать сначала...

Когда Румата пнул дверь своего дома и вошел в великолепную обветшалую прихожую, он был мрачен, как туча. Муга, седой, сгорбленный слуга с сорокалетним лакейским стажем, при виде его съежился и только смотрел, втянув голову в плечи, как свирепый молодой хозяин срывает с

себя шляпу, плащ и перчатки, швыряет на лавку перевязи с мечами и поднимается в свои покои. В гостиной Румату ждал мальчик Уно.

— Вели подать обедать, — прорычал Румата. — В кабинет.

Мальчик не двинулся с места.

— Вас там дожидаются, — угрюмо сообщил он.

— Кто еще?

— Девка какая-то. А может, дона. По обращению вроде девка — ласковая, а одета по-благородному... Красивая.

Кира, подумал Румата с нежностью и облегчением. Ох, как славно! Как чувствовала, маленькая моя... Он постоял, закрыв глаза, собираясь с мыслями.

— Прогнать, что ли? — деловито спросил мальчик.

— Балда ты, — сказал Румата. — Я тебе прогоню!.. Где она?

— Да в кабинете, — сказал мальчик, неумело улыбаясь.

Румата скорым шагом направился в кабинет.

— Вели обед на двоих, — приказал он на ходу. — И смотри: никого не пускать! Хоть король, хоть черт, хоть сам дон Рэба...

Она была в кабинете, сидела с ногами в кресле, подпершись кулачком, и рассеянно перелистывала «Трактат о слухах». Когда он вошел, она вскинулась, но он не дал ей подняться, подбежал, обнял и сунул нос в пышные душистые ее волосы, бормоча: «Как кстати, Кира!.. Как кстати!..»

Ничего в ней особенного не было. Девчонка как девчонка, восемнадцать лет, курносенькая, отец — помощник писца в суде, брат — сержант у штурмовиков. И замуж ее медлили брать, потому что была рыжая, а рыжих в Арканаре не жаловали. По той же причине была она на удивление тиха и застенчива, и ничего в ней не было от горластых, пышных мещанок, которые очень ценились во всех сословиях. Не была она похожа и на томных придворных красавиц, слишком рано и на всю жизнь познающих, в чем смысл женской доли. Но любить она умела, как любят сейчас на Земле, — спокойно и без оглядки...

— Почему ты плакала?

— Почему ты такой сердитый?

— Нет, ты скажи, почему ты плакала?

— Я тебе потом расскажу. У тебя глаза совсем-совсем усталые... Что случилось?

— Потом. Кто тебя обидел?

— Никто меня не обидел. Увези меня отсюда.

— Обязательно.

— Когда мы уедем?

— Я не знаю, маленькая. Но мы обязательно уедем.
— Далеко?
— Очень далеко.
— В метрополию?
— Да... в метрополию. Ко мне.
— Там хорошо?
— Там дивно хорошо. Там никто никогда не плачет.
— Так не бывает.
— Да, конечно. Так не бывает. Но ты там никогда не будешь плакать.
— А какие там люди?
— Как я.
— Все такие?
— Не все. Есть гораздо лучше.
— Вот это уж не бывает.
— Вот это уж как раз бывает!
— Почему тебе так легко верить? Отец никому не верит. Брат говорит, что все свиньи, только одни грязные, а другие нет. Но я им не верю, а тебе всегда верю...
— Я люблю тебя...
— Подожди... Румата... Сними обруч... Ты говорил — это грешно...
Румата счастливо засмеялся, стянул с головы обруч, положил его на стол и прикрыл книгой.
— Это глаз бога, — сказал он. — Пусть закроется... — Он поднял ее на руки. — Это очень грешно, но когда я с тобой, мне не нужен бог. Правда?
— Правда, — сказала она тихонько.

Когда они сели за стол, жаркое простыло, а вино, принесенное с ледника, степлилось. Пришел мальчик Уно и, неслышно ступая, как учил его старый Муга, пошел вдоль стен, зажигая светильники, хотя было еще светло.
— Это твой раб? — спросила Кира.
— Нет, это свободный мальчик. Очень славный мальчик, только очень скупой.
— Денежки счет любят, — заметил Уно, не оборачиваясь.
— Так и не купил новые простыни? — спросил Румата.
— Чего там, — сказал мальчик. — И старые сойдут...
— Слушай, Уно, — сказал Румата. — Я не могу месяц подряд спать на одних и тех же простынях.
— Хэ, — сказал мальчик. — Его величество по полгода спят и не

жалуются...

— А маслице, — сказал Румата, подмигивая Кире, — маслице в светильниках. Оно что — бесплатное?

Уно остановился.

— Так ведь гости у вас, — сказал он, наконец, решительно.

— Видишь, какой он! — сказал Румата.

— Он хороший, — серьезно сказала Кира. — Он тебя любит. Давай возьмем его с собой.

— Посмотрим, — сказал Румата.

Мальчик подозрительно спросил:

— Это куда еще? Никуда я не поеду.

— Мы поедем туда, — сказала Кира, — где все люди как дон Румата.

Мальчик подумал и презрительно сказал: «В рай, что ли, для благородных?..» Затем он насмешливо фыркнул и побрел из кабинета, шаркая разбитыми башмаками. Кира посмотрела ему вслед.

— Славный мальчик, — сказала она. — Угрюмый, как медвежонок. Хороший у тебя друг.

— У меня все друзья хорошие.

— А барон Пампа?

— Откуда ты его знаешь? — удивился Румата.

— А ты больше ни про кого и не рассказываешь. Я от тебя только и слышу — барон Пампа да барон Пампа.

— Барон Пампа — отличный товарищ.

— Как это так: барон — товарищ?

— Я хочу сказать, хороший человек. Очень добрый и веселый. И очень любит свою жену.

— Я хочу с ним познакомиться... Или ты стесняешься меня?

— Не-ет, я не стесняюсь. Только он хоть и хороший человек, а все-таки барон.

— А... — сказала она.

Румата отодвинул тарелку.

— Ты все-таки скажи мне, почему плакала. И прибежала одна. Разве сейчас можно одной по улицам бегать?

— Я не могла дома. Я больше не вернусь домой. Можно, я у тебя служанкой буду? Даром.

Румата просмеялся сквозь комок в горле.

— Отец каждый день доносы переписывает, — продолжала она с тихим отчаянием. — А бумаги, с которых переписывает, все в крови. Ему их в Веселой Башне дают. И зачем ты только меня читать научил? Каждый

вечер, каждый вечер... Перепишет пыточную запись — и пьет... Так страшно, так страшно!.. «Вот, — говорит, — Кира, наш сосед-каллиграф учил людей писать. Кто, ты думаешь, он есть? Под пыткой показал, что колдун и ируканский шпион. Кому же, — говорит, — теперь верить? Я, — говорит, — сам у него письму учился». А брат придет из патруля — пьяней пива, руки все в засохшей крови... «Всех, — говорит, — вырежем до двенадцатого потомка...» Отца допрашивает, почему, мол, грамотный... Сегодня с приятелями затащил в дом какого-то человека... Били его, все кровью забрызгали. Он уж и кричать перестал. Не могу я так, не вернусь, лучше убей меня!..

Румата встал возле нее, гладя по волосам. Она смотрела в одну точку блестящими сухими глазами. Что он мог ей сказать? Поднял на руки, отнес на диван, сел рядом и стал рассказывать про хрустальные храмы, про веселые сады на много миль без гнилья, комаров и нечисти, про скатерть-самобранку, про ковры-самолеты, про волшебный город Ленинград, про своих друзей — людей гордых, веселых и добрых, про дивную страну за морями, за горами, которая называется по-странному — Земля... Она слушала тихо и внимательно и только крепче прижималась к нему, когда под окнами на улице — грррум, грррум, грррум — протопывали подкованные сапоги.

Было в ней чудесное свойство: она свято и бескорыстно верила в хорошее. Расскажи такую сказку крепостному мужичку — хмыкнет с сомнением, утрет рукавом сопли да и пойдет, ни слова не говоря, только оглядываясь на доброго, трезвого, да только — эх, беда-то какая! — тронутого умом благородного дона. Начни такое рассказывать дону Тамэо с доном Сэра — не дослушают: один заснет, а другой, рыгнув, скажет: «Это, — скажет, — очень все бла-ародно, а вот как там насчет баб?..» А дон Рэба выслушал бы до конца внимательно, а выслушав, мигнул бы штурмовичкам, чтобы заломили благородному дону локти к лопаткам да выяснили бы точно, от кого благородный дон сих опасных сказок наслушался да кому уже успел их рассказать...

Когда она заснула, успокоившись, он поцеловал ее в спокойное спящее лицо, накрыл зимним плащом с меховой опушкой и на цыпочках вышел, притворив за собой противно скрипнувшую дверь. Пройдя по темному дому, спустился в людскую и сказал, глядя поверх склонившихся в поклоне голов:

— Я взял домоправительницу. Имя ей Кира. Жить будет наверху, при мне. Комнату, что за кабинетом, завтра же прибрать тщательно. Домоправительницу слушаться, как меня. — Он обвел слуг глазами: не

скалится ли кто. Никто не скалился, слушали с должной почтительностью. — А если кто болтать за воротами станет, язык вырву!

Окончив речь, он еще некоторое время постоял для внушительности, потом повернулся и снова поднялся к себе. В гостиной, увешанной ржавым оружием, заставленной причудливой, источенной жучками мебелью, он встал у окна и, глядя на улицу, прислонился лбом к холодному темному стеклу. Пробили первую стражу. В окнах напротив зажигали светильники и закрывали ставни, чтобы не привлекать злых людей и злых духов. Было тихо, только один раз где-то внизу ужасным голосом заорал пьяный — то ли его раздевали, то ли ломился в чужие двери.

Самым страшным были эти вечера, тошные, одинокие, беспросветные. Мы думали, что это будет вечный бой, яростный и победоносный. Мы считали, что всегда будем сохранять ясные представления о добре и зле, о враге и друге. И мы думали в общем правильно, только многого не учли. Например, этих вечеров не представляли себе, хотя точно знали, что они будут...

Внизу загремело железо — задвигали засовы, готовясь к ночи. Кухарка молилась святому Мике, чтобы послал какого ни на есть мужа, только был бы человек самостоятельный и с понятием. Старый Муга зевал, омахиваясь большим пальцем. Слуги на кухне допивали вечернее пиво и сплетничали, а Уно, поблескивая недобрыми глазами, говорил им по-взрослому: «Будет языки чесать, кобели вы...»

Румата отступил от окна и прошелся по гостиной. Это безнадежно, подумал он. Никаких сил не хватит, чтобы вырвать их из привычного круга забот и представлений. Можно дать им все. Можно поселить их в самых современных спектроглассовых домах и научить их ионным процедурам, и все равно по вечерам они будут собираться на кухне, резаться в карты и ржать над соседом, которого лупит жена. И не будет для них лучшего времяпрепровождения. В этом смысле дон Кондор прав: Рэба — чушь, мелочь в сравнении с громадой традиций, правил стадности, освященных веками, незыблемых, проверенных, доступных любому тупице из тупиц, освобождающих от необходимости думать и интересоваться. А дон Рэба не попадет, наверное, даже в школьную программу. «Мелкий авантюрист в эпоху укрепления абсолютизма».

Дон Рэба, дон Рэба! Не высокий, но и не низенький, не толстый и не очень тощий, не слишком густоволос, но и далеко не лыс. В движениях не резок, но и не медлителен, с лицом, которое не запоминается, которое похоже сразу на тысячи лиц. Вежливый, галантный с дамами, внимательный собеседник, не блещущий, впрочем, никакими особенными

мыслями...

Три года назад он вынырнул из каких-то заплесневелых подвалов дворцовой канцелярии, мелкий, незаметный чиновник, угодливый, бледненький, даже какой-то синеватый. Потом тогдашний первый министр был вдруг арестован и казнен, погибли под пытками несколько одуревших от ужаса, ничего не понимающих сановников, и словно на их трупах вырос исполинским бледным грибом этот цепкий, беспощадный гений посредственности. Он никто. Он ниоткуда. Это не могучий ум при слабом государе, каких знала история, не великий и страшный человек, отдающий всю жизнь идее борьбы за объединение страны во имя автократии. Это не златолюбец-временщик, думающий лишь о золоте и бабах, убивающий направо и налево ради власти и властвующий, чтобы убивать. Шепотом поговаривают даже, что он и не дон Рэба вовсе, что дон Рэба — совсем другой человек, а этот бог знает кто, оборотень, двойник, подменыш...

Что он ни задумывал, все проваливалось. Он натравил друг на друга два влиятельных рода в королевстве, чтобы ослабить их и начать широкое наступление на баронство. Но роды помирились, под звон кубков провозгласили вечный союз и отхватили у короля изрядный кусок земли, искони принадлежавший Тоцам Арканарским. Он объявил войну Ирукану, сам повел армию к границе, потопил ее в болотах и растерял в лесах, бросил все на произвол судьбы и сбежал обратно в Арканар. Благодаря стараниям дона Гуга, о котором он, конечно, и не подозревал, ему удалось добиться у герцога Ируканского мира — ценой двух пограничных городов, а затем королю пришлось выскрести до дна опустевшую казну, чтобы бороться с крестьянскими восстаниями, охватившими всю страну. За такие промахи любой министр был бы повешен за ноги на верхушке Веселой Башни, но дон Рэба каким-то образом остался в силе. Он упразднил министерства, ведающие образованием и благосостоянием, учредил министерство охраны короны, снял с правительственных постов родовую аристократию и немногих ученых, окончательно развалил экономику, написал трактат «О скотской сущности земледельца» и, наконец, год назад организовал «охранную гвардию» — «Серые роты». За Гитлером стояли монополии. За доном Рэбой не стоял никто, и было очевидно, что штурмовики в конце концов сожрут его, как муху. Но он продолжал крутить и вертеть, нагромождать нелепость на нелепость, выкручивался, словно старался обмануть самого себя, словно не знал ничего, кроме параноической задачи — истребить культуру. Подобно Ваге Колесу, он не имел никакого прошлого. Два года назад любой аристократический ублюдок с презрением говорил о «ничтожном хаме, обманувшем государя»,

зато теперь, какого аристократа ни спроси, всякий называет себя родственником министра охраны короны по материнской линии.

Теперь вот ему понадобился Будах. Снова нелепость. Снова какой-то дикий финт. Будах — книгочей. Книгочея — на кол. С шумом, с помпой, чтобы все знали. Но шума и помпы нет. Значит, нужен живой Будах. Зачем? Не настолько же Рэба глуп, чтобы надеяться заставить Будаха работать на себя? А может быть, глуп? А может быть, дон Рэба просто глупый и удачливый интриган, сам толком не знающий, чего он хочет, и с хитрым видом валяющий дурака у всех на виду? Смешно, я три года слежу за ним и так до сих пор и не понял, что он такое. Впрочем, если бы он следил за мной, он бы тоже не понял. Ведь все может быть, вот что забавно! Базисная теория конкретизирует лишь основные виды психологической целенаправленности, а на самом деле этих видов столько же, сколько людей, у власти может оказаться кто угодно! Например, человечек, всю жизнь занимавшийся уязвлением соседей. Плевал в чужие кастрюли с супом, подбрасывал толченое стекло в чужое сено. Его, конечно, сметут, но он успеет вдосталь наплеваться, нашкодить, натешиться... И ему нет дела, что в истории о нем не останется следа или что отдаленные потомки будут ломать голову, подгоняя его поведение под развитую теорию исторических последовательностей.

Мне теперь уже не до теории, подумал Румата. Я знаю только одно: человек есть объективный носитель разума, все, что мешает человеку развивать разум, — зло, и зло это надлежит устранять в кратчайшие сроки и любым путем. Любым? Любым ли?.. Нет, наверное, не любым. Или любым? Слюнтяй! — подумал он про себя. Надо решаться. Рано или поздно все равно придется решаться.

Он вдруг вспомнил про дону Окану. Вот и решайся, подумал он. Начни именно с этого. Если бог берется чистить нужник, пусть не думает, что у него будут чистые пальцы... Он ощутил дурноту при мысли о том, что ему предстоит. Но это лучше, чем убивать. Лучше грязь, чем кровь. Он на цыпочках, чтобы не разбудить Киру, прошел в кабинет и переоделся. Повертел в руках обруч с передатчиком, решительно сунул в ящик стола. Затем воткнул в волосы за правым ухом белое перо — символ любви страстной, прицепил мечи и накинул лучший плащ. Уже внизу, отодвигая засовы, подумал: а ведь если узнает дон Рэба — конец доне Окане. Но было уже поздно возвращаться.

ГЛАВА 4

Гости уже собрались, но дона Окана еще не выходила. У золоченого столика с закусками картинно выпивали, выгибая спины и отставляя поджарые зады, королевские гвардейцы, прославленные дуэлями и сексуальными похождениями. Возле камина хихикали худосочные дамочки в возрасте, ничем не примечательные и потому взятые доной Оканой в конфидентки. Они сидели рядышком на низких кушетках, а перед ними хлопотали трое старичков на тонких, непрерывно двигающихся ногах — знаменитые щеголи времен прошлого регентства, последние знатоки давно забытых анекдотов. Все знали, что без этих старичков салон не салон. Посередине зала стоял, расставив ноги в ботфортах, дон Рипат, верный и неглупый агент Руматы, лейтенант серой роты галантерейщиков, с великолепными усами и без каких бы то ни было принципов. Засунув большие красные руки за кожаный пояс, он слушал дона Тамэо, путано излагавшего новый проект ущемления мужиков в пользу торгового сословия, и время от времени поводил усом в сторону дона Сэра, который бродил от стены к стене, видимо, в поисках двери. В углу, бросая по сторонам предупредительные взгляды, доедали тушенного с черемшой крокодила двое знаменитых художников-портретистов, а рядом с ними сидела в оконной нише пожилая женщина в черном — нянька, приставленная доном Рэбой к доне Окане. Она строго смотрела перед собой неподвижным взглядом, иногда неожиданно ныряя всем телом вперед. В стороне от остальных развлекались картами особа королевской крови и секретарь соанского посольства. Особа передергивала, секретарь терпеливо улыбался. В гостиной это был единственный человек, занятый делом: он собирал материал для очередного посольского донесения.

Гвардейцы у столика приветствовали Румату бодрыми возгласами. Румата дружески подмигнул им и произвел обход гостей. Он раскланялся со старичками-щеголями, отпустил несколько комплиментов конфиденткам, которые немедленно уставились на белое перо у него за ухом, потрепал особу королевской крови по жирной спине и направился к дону Рипату и дону Тамэо. Когда он проходил мимо оконной ниши, нянька снова сделала падающее движение, и от нее пахнуло густым винным перегаром.

При виде Руматы дон Рипат выпростал руки из-под ремня и щелкнул каблуками, а дон Тамэо вскричал вполголоса:

— Вы ли это, мой друг? Как хорошо, что вы пришли, я уже потерял надежду... «Как лебедь с подбитым крылом взывает тоскливо к звезде...» Я так скучал... Если бы не милейший дон Рипат, я бы умер с тоски!

Чувствовалось, что дон Тамэо протрезвился было к обеду, но остановиться так и не смог.

— Вот как? — удивился Румата. — Мы цитируем мятежника Цурэна?

Дон Рипат сразу подобрался и хищно посмотрел на дона Тамэо.

— Э-э... — произнес дон Тамэо, потерявшись. — Цурэна? Почему, собственно?.. Ну да, я в ироническом смысле, уверяю вас, благородные доны! Ведь что есть Цурэн? Низкий, неблагодарный демагог. И я хотел лишь подчеркнуть...

— Что доны Оканы здесь нет, — подхватил Румата, — и вы заскучали без нее.

— Именно это я и хотел подчеркнуть.

— Кстати, где она?

— Ждем с минуты на минуту, — сказал дон Рипат и, поклонившись, отошел.

Конфидентки, одинаково раскрыв рты, не отрываясь смотрели на белое перо. Старички-щеголи жеманно хихикали. Дон Тамэо, наконец, тоже заметил перо и затрепетал.

— Мой друг! — зашептал он. — Зачем это вам? Не ровен час, войдет дон Рэба... Правда, его не ждут сегодня, но все равно...

— Не будем об этом, — сказал Румата, нетерпеливо озираясь. Ему хотелось, чтобы все скорее кончилось.

Гвардейцы уже приближались с чашами.

— Вы так бледны... — шептал дон Тамэо. — Я понимаю, любовь, страсть... Но, святой Мика! Государство превыше... И это опасно, наконец... Оскорбление чувств...

В лице его что-то изменилось, и он стал пятиться, отступать, отходить, непрерывно кланяясь. Румату обступили гвардейцы. Кто-то протянул ему полную чашу.

— За честь и короля! — заявил один гвардеец.

— И за любовь, — добавил другой.

— Покажите ей, что такое гвардия, благородный Румата, — сказал третий.

Румата взял чашу и вдруг увидел дону Окану. Она стояла в дверях, обмахиваясь веером и томно покачивая плечами. Да, она была хороша! На расстоянии она была даже прекрасна. Она была совсем не во вкусе Руматы, но она была несомненно хороша, эта глупая, похотливая курица. Огромные

синие глаза без тени мысли и теплоты, нежный многоопытный рот, роскошное, умело и старательно обнаженное тело... Гвардеец за спиной Руматы, видимо, не удержавшись, довольно громко чмокнул. Румата, не глядя, сунул ему кубок и длинными шагами направился к доне Окане. Все в гостиной отвели от них глаза и деятельно заговорили о пустяках.

— Вы ослепительны, — пробормотал Румата, глубоко кланяясь и лязгая мечами. — Позвольте мне быть у ваших ног... Подобно псу борзому лечь у ног красавицы нагой и равнодушной...

Дона Окана прикрылась веером и лукаво прищурилась.

— Вы очень смелы, благородный дон, — проговорила она. — Мы, бедные провинциалки, неспособны устоять против такого натиска... — У нее был низкий, с хрипотцой голос. — Увы, мне остается только открыть ворота крепости и впустить победителя...

Румата, скрипнув зубами от стыда и злости, поклонился еще глубже. Дона Окана опустила веер и крикнула:

— Благородные доны, развлекайтесь! Мы с доном Руматой сейчас вернемся! Я обещала ему показать мои новые ируканские ковры...

— Не покидайте нас надолго, очаровательница! — проблеял один из старичков.

— Прелестница! — сладко произнес другой старичок. — Фея!

Гвардейцы дружно громыхнули мечами. «Право, у него губа не дура...» — внятно сказала королевская особа. Дона Окана взяла Румату за рукав и потянула за собой. Уже в коридоре Румата услыхал, как дон Сэра с обидой в голосе провозгласил: «Не вижу, почему бы благородному дону не посмотреть на ируканские ковры...»

В конце коридора дона Окана внезапно остановилась, обхватила Румату за шею и с хриплым стоном, долженствующим означать прорвавшуюся страсть, впилась ему в губы. Румата перестал дышать. От феи остро несло смешанным ароматом немытого тела и эсторских духов. Губы у нее были горячие, мокрые и липкие от сладостей. Сделав над собой усилие, он попытался ответить на поцелуй, и это, по-видимому, ему удалось, так как дона Окана снова застонала и повисла у него на руках с закрытыми глазами. Это длилось целую вечность. Ну, я тебя, потаскуха, подумал Румата и сжал ее в объятиях. Что-то хрустнуло, не то корсаж, не то ребра, красавица жалобно пискнула, изумленно раскрыла глаза и забилась, стараясь освободиться. Румата поспешно разжал руки.

— Противный... — тяжело дыша, сказала она с восхищением. — Ты чуть не сломал меня...

— Я сгораю от любви, — виновато пробормотал он.

— Я тоже. Я так ждала тебя! Пойдем скорей...

Она потащила его за собой через какие-то холодные темные комнаты. Румата достал платок и украдкой вытер рот. Теперь эта затея казалась ему совершенно безнадежной. Надо, думал он. Мало ли что надо!.. Тут разговорами не отделаешься. Святой Мика, почему они здесь во дворце никогда не моются? Ну и темперамент. Хоть бы дон Рэба пришел... Она тащила его молча, напористо, как муравей дохлую гусеницу. Чувствуя себя последним идиотом, Румата понес какую-то куртуазную чепуху о быстрых ножках и алых губках — дона Окана только похохатывала. Она втолкнула его в жарко натопленный будуар, действительно весь завешанный коврами, бросилась на огромную кровать и, разметавшись на подушках, стала глядеть на него влажными гиперстеничными глазами. Румата стоял как столб. В будуаре отчетливо пахло клопами.

— Ты прекрасен, — прошептала она. — Иди же ко мне. Я так долго ждала!..

Румата завел глаза, его подташнивало. По лицу, гадко щекоча, покатились капли пота. Не могу, подумал он. К чертовой матери всю эту информацию... Лисица... Мартышка... Это же противоестественно, грязно... Грязь лучше крови, но _это_ гораздо хуже грязи!

— Что же вы медлите, благородный дон? — визгливым, срывающимся голосом закричала дона Окана. — Идите же сюда, я жду!

— К ч-черту... — хрипло сказал Румата.

Она вскочила и подбежала к нему.

— Что с тобой? Ты пьян?

— Не знаю, — выдавил он из себя. — Душно.

— Может быть, приказать тазик?

— Какой тазик?

— Ну ничего, ничего... Пройдет... — Трясущимися от нетерпения пальцами она принялась расстегивать его камзол. — Ты прекрасен... — задыхаясь, бормотала она. — Но ты робок, как новичок. Никогда бы не подумала... Это же прелестно: клянусь святой Барой!..

Ему пришлось схватить ее за руки. Он смотрел на нее сверху вниз и видел блестящие от лака неопрятные волосы, круглые голые плечи в шариках свалявшейся пудры, маленькие малиновые уши. Скверно, подумал он. Ничего не выйдет. А жаль, она должна кое-что знать... Дон Рэба болтает во сне... Он водит ее на допросы, она очень любит допросы... Не могу.

— Ну? — сказала она раздраженно.

— Ваши ковры прекрасны, — громко сказал он. — Но мне пора.

Сначала она не поняла, затем лицо ее исказилось.

— Как ты смеешь? — прошептала она, но он уже нащупал лопатками дверь, выскочил в коридор и быстро пошел прочь. С завтрашнего дня перестаю мыться, подумал он. Здесь нужно быть боровом, а не богом!

— Мерин! — крикнула она ему вслед. — Кастрат сопливый! Баба! На кол тебя!..

Румата распахнул какое-то окно и спрыгнул в сад. Некоторое время он стоял под деревом, жадно глотая холодный воздух. Потом вспомнил о дурацком белом пере, выдернул его, яростно смял и отбросил. У Пашки бы тоже ничего не вышло, подумал он. Ни у кого бы не вышло. «Ты уверен?» — «Да, уверен». — «Тогда грош вам всем цена!» — «Но меня тошнит от этого!» — «Эксперименту нет дела до твоих переживаний. Не можешь — не берись». — «Я не животное!» — «Если Эксперимент требует, надо стать животным». — «Эксперимент не может этого требовать». — «Как видишь, может». — «А тогда!..» — «Что «тогда»?» Он не знал, что тогда. «Тогда... Тогда... Хорошо, будем считать, что я плохой историк. — Он пожал плечами. — Постараемся стать лучше. Научимся превращаться в свиней...»

Было около полуночи, когда он вернулся домой. Не раздеваясь, только распустив пряжки перевязи, повалился в гостиной на диван и заснул как убитый.

Его разбудили негодующие крики Уно и благодушный басистый рев:

— Пошел, пошел, волчонок, отдавлю ухо!..

— Да спят они, говорят вам!

— Брысь, не путайся под ногами!..

— Не велено, говорят вам!

Дверь распахнулась, и в гостиную ввалился огромный, как зверь Пэх, барон Пампа дон Бау, краснощекий, белозубый, с торчащими вперед усами, в бархатном берете набекрень и в роскошном малиновом плаще, под которым тускло блестел медный панцирь. Следом волочился Уно, вцепившийся барону в правую штанину.

— Барон! — воскликнул Румата, спуская с дивана ноги. — Как вы очутились в городе, дружище? Уно, оставь барона в покое!

— На редкость въедливый мальчишка, — рокотал барон, приближаясь с распростертыми объятиями. — Из него выйдет толк. Сколько вы за него хотите? Впрочем, об этом потом... Дайте мне обнять вас!

Они обнялись. От барона вкусно пахло пыльной дорогой, конским потом и смешанным букетом разных вин.

— Я вижу, вы тоже совершенно трезвы, мой друг, — с огорчением сказал он. — Впрочем, вы всегда трезвы. Счастливец!

— Садитесь, мой друг, — сказал Румата. — Уно! Подай нам

эсторского, да побольше!

Барон поднял огромную ладонь.

— Ни капли!

— Ни капли эсторского? Уно, не надо эсторского, принеси ируканского!

— Не надо вообще вин! — с горечью сказал барон. — Я не пью.

Румата сел.

— Что случилось? — встревоженно спросил он. — Вы нездоровы?

— Я здоров как бык. Но эти проклятые семейные сцены... Короче говоря, я поссорился с баронессой — и вот я здесь.

— Поссорились с баронессой?! Вы?! Полно, барон, что за странные шутки!

— Представьте себе. Я сам как в тумане. Сто двадцать миль проскакал как в тумане!

— Мой друг, — сказал Румата. — Мы сейчас же садимся на коней и скачем в Бау.

— Но моя лошадь еще не отдохнула! — возразил барон. — И потом, я хочу наказать ее!

— Кого?

— Баронессу, черт подери! Мужчина я или нет, в конце концов?! Она, видите ли, недовольна Пампой пьяным, так пусть посмотрит, каков он трезвый! Я лучше сгнию здесь от воды, чем вернусь в замок...

Уно угрюмо сказал:

— Скажите ему, чтобы ухи не крутил...

— Па-шел, волчонок! — добродушно пророкотал барон. — Да принеси пива! Я вспотел, и мне нужно возместить потерю жидкости.

Барон возмещал потерю жидкости в течение получаса и слегка осоловел. В промежутках между глотками он поведал Румате свои неприятности. Он несколько раз проклял «этих пропойц соседей, которые повадились в замок. Приезжают с утра якобы на охоту, а потом охнуть не успеешь — уже все пьяны и рубят мебель. Они разбредаются по всему замку, везде пачкают, обижают прислугу, калечат собак и подают отвратительный пример юному баронету. Потом они разъезжаются по домам, а ты, пьяный до неподвижности, остаешься один на один с баронессой...».

В конце своего повествования барон совершенно расстроился и даже потребовал было эсторского, но спохватился и сказал:

— Румата, друг мой, пойдемте отсюда. У вас слишком богатые погреба!.. Уедемте!

— Но куда?

— Не все ли равно — куда! Ну, хотя бы в «Серую Радость»...

— Гм... — сказал Румата. — А что мы будем делать в «Серой Радости»?

Некоторое время барон молчал, ожесточенно дергая себя за ус.

— Ну как что? — сказал он наконец. — Странно даже... Просто посидим, поговорим...

— В «Серой Радости»? — спросил Румата с сомнением.

— Да. Я понимаю вас, — сказал барон. — Это ужасно... Но все-таки уйдем. Здесь мне все время хочется потребовать эсторского!..

— Коня мне, — сказал Румата и пошел в кабинет взять передатчик.

Через несколько минут они бок о бок ехали верхом по узкой улице, погруженной в кромешную тьму. Барон, несколько оживившийся, в полный голос рассказывал о том, какого позавчера затравили вепря, об удивительных качествах юного баронета, о чуде в монастыре святого Тукки, где отец настоятель родил из бедра шестипалого мальчика... При этом он не забывал развлекаться: время от времени испускал волчий вой, улюлюкал и колотил плеткой в запертые ставни.

Когда они подъехали к «Серой Радости», барон остановил коня и глубоко задумался. Румата ждал. Ярко светились грязноватые окна распивочной, топтались лошади у коновязи, лениво переругивались накрашенные девицы, сидевшие рядком на скамейке под окнами, двое слуг с натугой вкатили в распахнутые двери огромную бочку, покрытую пятнами селитры.

Барон грустно сказал:

— Один... Страшно подумать, целая ночь впереди и — один!.. И она там одна...

— Не огорчайтесь так, мой друг, — сказал Румата. — Ведь с нею баронет, а с вами я.

— Это совсем другое, — сказал барон. — Вы ничего не понимаете, мой друг. Вы слишком молоды и легкомысленны... Вам, наверное, даже доставляет удовольствие смотреть на этих шлюх...

— А почему бы и нет? — возразил Румата, с любопытством глядя на барона. — По-моему, очень приятные девочки.

Барон покачал головой и саркастически усмехнулся.

— Вон у той, что стоит, — сказал он громко, — отвислый зад. А у той, что сейчас причесывается, и вовсе нет зада... Это коровы, мой друг, в лучшем случае это коровы. Вспомните баронессу! Какие руки, какая грация!.. Какая осанка, мой друг!..

— Да, — согласился Румата. — Баронесса прекрасна. Поедемте отсюда.

— Куда? — с тоской сказал барон. — И зачем? — На лице его вдруг обозначилась решимость. — Нет, мой друг, я никуда не поеду отсюда. А вы как хотите. — Он стал слезать с лошади. — Хотя мне было бы очень обидно, если бы вы оставили меня здесь одного.

— Разумеется, я останусь с вами, — сказал Румата. — Но...

— Никаких «но», — сказал барон.

Они бросили поводья подбежавшему слуге, гордо прошли мимо девиц и вступили в зал. Здесь было не продохнуть. Огни светильников с трудом пробивались сквозь туман испарений, как в большой и очень грязной парной бане. На скамьях за длинными столами пили, ели, божились, смеялись, плакали, целовались, орали похабные песни потные солдаты в расстегнутых мундирах, морские бродяги в цветных кафтанах на голое тело, женщины с едва прикрытой грудью, серые штурмовики с топорами между колен, ремесленники в прожженных лохмотьях. Слева в тумане угадывалась стойка, где хозяин, сидя на особом возвышении среди гигантских бочек, управлял роем проворных жуликоватых слуг, а справа ярким прямоугольником светился вход в чистую половину — для благородных донов, почтенных купцов и серого офицерства.

— В конце концов, почему бы нам не выпить? — раздраженно спросил барон Пампа, схватил Румату за рукав и устремился к стойке в узкий проход между столами, царапая спины сидящих шипами поясной оторочки панциря. У стойки он выхватил из рук хозяина объемистый черпак, которым тот разливал вино по кружкам, молча осушил его до дна и объявил, что теперь все пропало и остается одно — как следует повеселиться. Затем он повернулся к хозяину и громогласно осведомился, есть ли в этом заведении место, где благородные люди могут прилично и скромно провести время, не стесняясь соседством всякой швали, рвани и ворья. Хозяин заверил его, что именно в этом заведении такое место существует.

— Отлично! — величественно сказал барон и бросил хозяину несколько золотых. — Подайте для меня и вот этого дона все самое лучшее, и пусть нам служит не какая-нибудь смазливая вертихвостка, а почтенная пожилая женщина!

Хозяин сам проводил благородных донов в чистую половину. Народу здесь было немного. В углу мрачно веселилась компания серых офицеров — четверо лейтенантов в тесных мундирчиках и двое капитанов в коротких плащах с нашивками министерства охраны короны. У окна за большим

узкогорлым кувшином скучала пара молодых аристократов с кислыми от общей разочарованности физиономиями. Неподалеку от них расположилась кучка безденежных донов в потертых колетах и штопаных плащах. Они маленькими глотками пили пиво и ежеминутно обводили помещение жаждущими взорами.

Барон рухнул за свободный стол, покосился на серых офицеров и проворчал: «Однако и здесь не без швали...» Но тут дородная тетка в переднике подала первую перемену. Барон крякнул, вытащил из-за пояса кинжал и принялся веселиться. Он молча пожирал увесистые ломти жареной оленины, груды маринованных моллюсков, горы морских раков, кадки салатов и майонезов, заливая все это водопадами вина, пива, браги и вина, смешанного с пивом и брагой. Безденежные доны по одному и по двое начали перебираться за его стол, и барон встречал их молодецким взмахом руки и утробным ворчанием.

Вдруг он перестал есть, уставился на Румату выпученными глазами и проревел лесным голосом:

— Я давно не был в Арканаре, мой благородный друг! И скажу вам по чести, мне что-то здесь не нравится.

— Что именно, барон? — с интересом спросил Румата, обсасывая крылышко цыпленка.

На лицах безденежных донов изобразилось почтительное внимание.

— Скажите мне, мой друг! — произнес барон, вытирая замасленные руки о край плаща. — Скажите, благородные доны! С каких пор в столице его величества короля нашего повелось так, что потомки древнейших родов Империи шагу не могут ступить, чтобы не натолкнуться на всяких там лавочников и мясников?!

Безденежные доны переглянулись и стали отодвигаться. Румата покосился в угол, где сидели серые. Там перестали пить и глядели на барона.

— Я вам скажу, в чем дело, благородные доны, — продолжал барон Пампа. — Это все потому, что вы здесь перетрусили. Вы их терпите потому, что боитесь. Вот ты боишься! — заорал он, уставясь на ближайшего безденежного дона. Тот сделал постное лицо и отошел с бледной улыбкой. — Трусы! — рявкнул барон. Усы его встали дыбом.

Но от безденежных донов толку было мало. Им явно не хотелось драться, им хотелось выпить и закусить.

Тогда барон перекинул ногу через лавку, забрал в кулак правый ус и, вперив взгляд в угол, где сидели серые офицеры, заявил:

— А вот я ни черта не боюсь! Я бью серую сволочь, как только она

мне попадается!

— Что там сипит эта пивная бочка? — громко осведомился серый капитан с длинным лицом.

Барон удовлетворенно улыбнулся. Он с грохотом выбрался из-за стола и взгромоздился на скамью. Румата, подняв брови, принялся за второе крылышко.

— Эй вы, серые подонки! — заорал барон, надсаживаясь, словно офицеры были за версту от него. — Знайте, что третьего дня я, барон Пампа дон Бау, задал вашим ха-ар-рошую трепку! Вы понимаете, мой друг, — обратился он к Румате из-под потолка, — пили это мы с отцом Кабани вечером у меня в замке. Вдруг прибегает мой конюх и сообщает, что шайка серых р-разносит корчму «Золотая Подкова». Мою корчму, на моей родовой земле! Я командую: «На коней!..» — и туда. Клянусь шпорой, их была там целая шайка, человек двадцать! Они захватили каких-то троих, перепились, как свиньи... Пить эти лавочники не умеют... и стали всех лупить и все ломать. Я схватил одного за ноги — и пошла потеха! Я гнал их до самых Тяжелых Мечей... Крови было — вы не поверите, мой друг, — по колено, а топоров осталось столько...

На этом рассказ барона был прерван. Капитан с длинным лицом взмахнул рукой, и тяжелый метательный нож лязгнул о нагрудную пластину баронского панциря.

— Давно бы так! — сказал барон и выволок из ножен огромный двуручный меч.

Он с неожиданной ловкостью соскочил на пол, меч сверкающей полосой прорезал воздух и перерубил потолочную балку. Барон выругался. Потолок просел, на головы посыпался мусор.

Теперь все были на ногах. Безденежные доны отшатнулись к стенам. Молодые аристократы взобрались на стол, чтобы лучше видеть. Серые, выставив перед собой клинки, построились полукругом и мелкими шажками двинулись на барона. Только Румата остался сидеть, прикидывая, с какой стороны от барона можно встать, чтобы не попасть под меч.

Широкое лезвие зловеще зашелестело, описывая сверкающие круги над головой барона. Барон поражал воображение. Было в нем что-то от грузового вертолета с винтом на холостом ходу.

Окружив его с трех сторон, серые были вынуждены остановиться. Один из них неудачно стал спиной к Румате, и Румата, перегнувшись через стол, схватил его за шиворот, опрокинул на спину в блюда с объедками и стукнул ребром ладони ниже уха. Серый закрыл глаза и замер. Барон вскричал:

— Прирежьте его, благородный Румата, а я прикончу остальных!

Он их всех поубивает, с неудовольствием подумал Румата.

— Слушайте, — сказал он серым. — Не будем портить друг другу веселую ночь. Вам не выстоять против нас. Бросайте оружие и уходите отсюда.

— Ну вот еще, — сердито возразил барон. — Я желаю драться! Пусть они дерутся! Деритесь же, черт вас подери!

С этими словами он двинулся на серых, все убыстряя вращение меча. Серые отступали, бледнея на глазах. Они явно никогда в жизни не видели грузового вертолета. Румата перепрыгнул через стол.

— Погодите, мой друг, — сказал он. — Нам совершенно незачем ссориться с этими людьми. Вам не нравится их присутствие здесь? Они уйдут.

— Без оружия мы не уйдем, — угрюмо сообщил один из лейтенантов. — Нам попадет. Я в патруле.

— Черт с вами, уходите с оружием, — разрешил Румата. — Клинки в ножны, руки за головы, проходить по одному! И никаких подлостей! Кости переломаю!

— Как же мы уйдем? — раздраженно осведомился длиннолицый капитан. — Этот дон загораживает нам дорогу!

— И буду загораживать! — упрямо сказал барон.

Молодые аристократы обидно захохотали.

— Ну хорошо, — сказал Румата. — Я буду держать барона, а вы пробегайте, да побыстрее, — долго я его не удержу! Эй, там, в дверях, освободите проход!.. Барон, — сказал он, обнимая Пампу за обширную талию. — Мне кажется, мой друг, что вы забыли одно важное обстоятельство. Ведь этот славный меч употреблялся вашими предками только для благородного боя, ибо сказано: «Не обнажай в тавернах».

На лице барона, продолжавшего вертеть мечом, появилась задумчивость.

— Но у меня же нет другого меча, — нерешительно сказал он.

— Тем более!.. — значительно сказал Румата.

— Вы так думаете? — Барон все еще колебался.

— Вы же знаете это лучше меня!..

— Да, — сказал барон. — Вы правы. — Он посмотрел вверх, на свою бешено работающую кисть. — Вы не поверите, дорогой Румата, но я могу вот так три-четыре часа подряд — и нисколько не устану... Ах, почему она не видит меня сейчас?!

— Я расскажу ей, — пообещал Румата.

Барон вздохнул и опустил меч. Серые, согнувшись, кинулись мимо него. Барон проводил их взглядом.

— Не знаю, не знаю... — нерешительно сказал он. — Как вы думаете, я правильно сделал, что не проводил их пинками в зад?

— Совершенно правильно, — заверил его Румата.

— Ну что ж, — сказал барон, втискивая меч в ножны. — Раз нам не удалось подраться, то уж теперь-то мы имеем право слегка выпить и закусить.

Он стащил со стола за ноги серого лейтенанта, все еще лежавшего без сознания, и зычным голосом гаркнул:

— Эй, хозяюшка! Вина и еды!

Подошли молодые аристократы и учтиво поздравили с победой.

— Пустяки, пустяки, — благодушно сказал барон. — Шесть плюгавых молодчиков, трусливых, как все лавочники. В «Золотой Подкове» я раскидал их два десятка... Как удачно, — обратился он к Румате, — что тогда при мне не было моего боевого меча! Я мог бы в забывчивости обнажить его. И хотя «Золотая Подкова» не таверна, а всего лишь корчма...

— Некоторые так и говорят, — сказал Румата. — «Не обнажай в корчме».

Хозяйка принесла новые блюда с мясом и новые кувшины вина. Барон засучил рукава и принялся за работу.

— Кстати, — сказал Румата. — Кто были те три пленника, которых вы освободили в «Золотой Подкове»?

— Освободил? — Барон перестал жевать и уставился на Румату. — Но, мой благородный друг, я, вероятно, недостаточно точно выразился! Я никого не освобождал. Ведь они были арестованы, это государственное дело... С какой стати я бы стал их освобождать? Какой-то дон, вероятно, большой трус, старик книгочей и слуга... — Он пожал плечами.

— Да, конечно, — грустно сказал Румата.

Барон вдруг налился кровью и страшно выкатил глаза.

— Что?! Опять?! — заревел он.

Румата оглянулся. В дверях стоял дон Рипат. Барон заворочался, опрокидывая скамьи и роняя блюда. Дон Рипат значительно посмотрел в глаза Руматы и вышел.

— Прошу прощенья, барон, — сказал Румата, вставая. — Королевская служба...

— А... — разочарованно произнес барон. — Сочувствую... Ни за что не пошел бы на службу!

Дон Рипат ждал сразу за дверью.

— Что нового? — спросил Румата.

— Два часа назад, — деловито сообщил дон Рипат, — по приказу министра охраны короны дона Рэбы я арестовал и препроводил в Веселую Башню дону Окану.

— Так, — сказал Румата.

— Час назад дона Окана умерла, не выдержав испытания огнем.

— Так, — сказал Румата.

— Официально ее обвинили в шпионаже. Но... — Дон Рипат замялся и опустил глаза. — Я думаю... Мне кажется...

— Я понимаю, — сказал Румата.

Дон Рипат поднял на него виноватые глаза.

— Я был бессилен... — начал он.

— Это не ваше дело, — хрипло сказал Румата.

Глаза дона Рипата снова стали оловянными. Румата кивнул ему и вернулся к столу. Барон доканчивал блюдо с фаршированными каракатицами.

— Эсторского! — сказал Румата. — И пусть принесут еще! — Он откашлялся. — Будем веселиться. Будем, черт побери, веселиться...

...Когда Румата пришел в себя, он обнаружил, что стоит посреди обширного пустыря. Занимался серый рассвет, вдали сиплыми голосами орали петухи-часомеры. Каркали вороны, густо кружившиеся над какой-то неприятной кучей неподалеку, пахло сыростью и тленом. Туман в голове быстро рассеивался, наступало знакомое состояние пронзительной ясности и четкости восприятий, на языке приятно таяла мятная горечь. Сильно саднили пальцы правой руки. Румата поднес к глазам сжатый кулак. Кожа на косточках была ободрана, а в кулаке была зажата пустая ампула из-под каспарамида, могучего средства против алкогольного отравления, которым Земля предусмотрительно снабжала своих разведчиков на отсталых планетах. Видимо, уже здесь, на пустыре, перед тем как впасть в окончательно свинское состояние, он бессознательно, почти инстинктивно высыпал в рот все содержимое ампулы.

Места были знакомые — прямо впереди чернела башня сожженной обсерватории, а левее проступали в сумраке тонкие, как минареты, сторожевые вышки королевского дворца. Румата глубоко вдохнул сырой холодный воздух и направился домой.

Барон Пампа повеселился в эту ночь на славу. В сопровождении кучи безденежных донов, быстро теряющих человеческий облик, он совершил гигантское турне по арканарским кабакам, пропив все, вплоть до

роскошного пояса, истребив неимоверное количество спиртного и закусок, учинив по дороге не менее восьми драк. Во всяком случае, Румата мог отчетливо вспомнить восемь драк, в которые он вмешивался, стараясь развести и не допустить смертоубийства. Дальнейшие его воспоминания тонули в тумане. Из этого тумана всплывали то хищные морды с ножами в зубах, то бессмысленно-горькое лицо последнего безденежного дона, которого барон Пампа пытался продать в рабство в порту, то разъяренный носатый ируканец, злобно требовавший, чтобы благородные доны отдали его лошадей...

Первое время он еще оставался разведчиком. Пил он наравне с бароном: ируканское, эсторское, соанское, арканарское, но перед каждой переменой вин украдкой клал под язык таблетку каспарамида. Он еще сохранял рассудительность и привычно отмечал скопления серых патрулей на перекрестках и у мостов, заставу конных варваров на соанской дороге, где барона наверняка бы пристрелили, если бы Румата не знал наречия варваров. Он отчетливо помнил, как поразила его мысль о том, что неподвижные ряды чудн`ых солдат в длинных черных плащах с капюшонами, выстроенные перед Патриотической школой, — это монастырская дружина. При чем здесь церковь? — подумал он тогда. С каких это пор церковь в Арканаре вмешивается в светские дела?

Он пьянел медленно, но все-таки опьянел, как-то сразу, скачком; и когда в минуту просветления увидел перед собой разрубленный дубовый стол в совершенно незнакомой комнате, обнаженный меч в своей руке и рукоплещущих безденежных донов вокруг, то подумал было, что пора идти домой. Но было поздно. Волна бешенства и отвратительной, непристойной радости освобождения от всего человеческого уже захватила его. Он еще оставался землянином, разведчиком, наследником людей огня и железа, не щадивших себя и не дававших пощады во имя великой цели. Он не мог стать Руматой Эсторским, плотью от плоти двадцати поколений воинственных предков, прославленных грабежами и пьянством. Но он больше не был и коммунаром. У него больше не было обязанностей перед Экспериментом. Его заботили только обязанности перед самим собой. У него больше не было сомнений. Ему было ясно все, абсолютно все. Он точно знал, кто во всем виноват, и он точно знал, чего хочет: рубить наотмашь, предавать огню, сбрасывать с дворцовых ступеней на копья и вилы ревущей толпы...

Румата встрепенулся и вытащил из ножен мечи. Клинки были зазубрены, но чисты. Он помнил, что рубился с кем-то, но с кем? И чем все кончилось?..

...Коней они пропили. Безденежные доны куда-то исчезли. Румата — это он тоже помнил — приволок барона к себе домой. Пампа дон Бау был бодр, совершенно трезв и полон готовности продолжать веселье — просто он больше не мог стоять на ногах. Кроме того, он почему-то считал, что только что распрощался с милой баронессой и находится теперь в боевом походе против своего исконного врага барона Каску, обнаглевшего до последней степени. («Посудите сами, друг мой, этот негодяй родил из бедра шестипалого мальчишку и назвал его Пампой...») «Солнце заходит, — объявил он, глядя на гобелен, изображающий восход солнца. — Мы могли бы провеселиться всю эту ночь, благородные доны, но ратные подвиги требуют сна. Ни капли вина в походе. К тому же баронесса была бы недовольна».

Что? Постель? Какие постели в чистом поле? Наша постель — попона боевого коня! С этими словами он содрал со стены несчастный гобелен, завернулся в него с головой и с грохотом рухнул в угол под светильником. Румата велел мальчику Уно поставить рядом с бароном ведро рассола и кадку с маринадами. У мальчишки было сердитое, заспанное лицо. «Во набрались-то, — ворчал он. — Глаза в разные стороны смотрят...» — «Молчи, дурак», — сказал тогда Румата и... Что-то случилось потом. Что-то очень скверное, что погнало его через весь город на пустырь. Что-то очень, очень скверное, непростительное, стыдное...

Он вспомнил, когда уже подходил к дому, и, вспомнив, остановился.

...Отшвырнув Уно, он полез вверх по лестнице, распахнул дверь и ввалился к ней, как хозяин, и при свете ночника увидел белое лицо, огромные глаза, полные ужаса и отвращения, и в этих глазах — самого себя, шатающегося, с отвисшей слюнявой губой, с ободранными кулаками, в одежде, заляпанной дрянью, наглого и подлого хама голубых кровей, и этот взгляд швырнул его назад, на лестницу, вниз, в прихожую, за дверь, на темную улицу и дальше, дальше, дальше, как можно дальше...

Стиснув зубы и чувствуя, что все внутри оледенело и смерзлось, он тихонько отворил дверь и на цыпочках вошел в прихожую. В углу, подобно гигантскому морскому млекопитающему, сопел в мирном сне барон. «Кто здесь?» — воскликнул Уно, дремавший на скамье с арбалетом на коленях. «Тихо, — шепотом сказал Румата. — Пошли на кухню. Бочку воды, уксусу, новое платье, живо!»

Он долго, яростно, с острым наслаждением обливался водой и обтирался уксусом, сдирая с себя ночную грязь. Уно, против обыкновения молчаливый, хлопотал вокруг него. И только потом, помогая дону застегивать идиотские сиреневые штаны с пряжками на заду, сообщил

угрюмо:

— Ночью, как вы укатили, Кира спускалась и спрашивала, был дон или нет, решила, видно, что приснилось. Сказал ей, что как с вечера ушли в караул, так и не возвращались...

Румата глубоко вздохнул, отвернувшись. Легче не стало. Хуже.

— ...А я всю ночь с арбалетом над бароном сидел: боялся, что спьяну наверх полезут.

— Спасибо, малыш, — с трудом сказал Румата.

Он натянул башмаки, вышел в прихожую, постоял немного перед темным металлическим зеркалом. Каспарамид работал безотказно. В зеркале виднелся изящный, благородный дон с лицом, несколько осунувшимся после утомительного ночного дежурства, но в высшей степени благопристойным. Влажные волосы, прихваченные золотым обручем, мягко и красиво спадали по сторонам лица. Румата машинально поправил объектив над переносицей. Хорошенькие сцены наблюдали сегодня на Земле, мрачно подумал он.

Тем временем рассвело. В пыльные окна заглянуло солнце. Захлопали ставни. На улице перекликались заспанные голоса. «Как спали, брат Кирис?» — «Благодарение господу, спокойно, брат Тика. Ночь прошла, и слава богу». — «А у нас кто-то в окна ломился. Благородный дон Румата, говорят, ночью гуляли». — «Сказывают, гость у них». — «Да нынче разве гуляют? При молодом короле, помню, гуляли — не заметили, как полгорода сожгли». — «Что я вам скажу, брат Тика. Благодарение богу, что у нас в соседях такой дон. Раз в год загуляет, и то много...»

Румата поднялся наверх, постучавшись, вошел в кабинет. Кира сидела в кресле, как и вчера. Она подняла глаза и со страхом и тревогой взглянула ему в лицо.

— Доброе утро, маленькая, — сказал он, подошел, поцеловал ее руки и сел в кресло напротив.

Она все испытующе смотрела на него, потом спросила:

— Устал?

— Да, немножко. И надо опять идти.

— Приготовить тебе что-нибудь?

— Не надо, спасибо. Уно приготовит. Вот разве воротник подуши...

Румата чувствовал, как между ними вырастает стена лжи. Сначала тоненькая, затем все толще и прочнее. На всю жизнь! — горько подумал он. Он сидел, прикрыв глаза, пока она осторожно смачивала разными духами его пышный воротник, щеки, лоб, волосы. Потом она сказала:

— Ты даже не спросишь, как мне спалось.

— Как, маленькая?

— Сон. Понимаешь, страшный-страшный сон.

Стена стала толстой, как крепостная.

— На новом месте всегда так, — сказал Румата фальшиво. — Да и барон, наверное, внизу шумел очень.

— Приказать завтрак? — спросила она.

— Прикажи.

— А вино какое ты любишь утром?

Румата открыл глаза.

— Прикажи воды, — сказал он. — По утрам я не пью.

Она вышла, и он услышал, как она спокойным звонким голосом разговаривает с Уно. Потом она вернулась, села на ручку его кресла и начала рассказывать свой сон, а он слушал, заламывая бровь и чувствуя, как с каждой минутой стена становится все толще и неколебимей и как она навсегда отделяет его от единственного по-настоящему родного человека в этом безобразном мире. И тогда он с размаху ударил в стену всем телом.

— Кира, — сказал он. — Это был не сон.

И ничего особенного не случилось.

— Бедный мой, — сказала Кира. — Погоди, я сейчас рассолу принесу...

ГЛАВА 5

Еще совсем недавно двор Арканарских королей был одним из самых просвещенных в Империи. При дворе содержались ученые, в большинстве, конечно, шарлатаны, но и такие, как Багир Киссэнский, открывший сферичность планеты; лейб-знахарь Тата, высказавший гениальную догадку о возникновении эпидемий от мелких, незаметных глазу червей, разносимых ветром и водой; алхимик Синда, искавший, как все алхимики, способ превращать глину в золото, а нашедший закон сохранения вещества. Были при Арканарском дворе и поэты, в большинстве блюдолизы и льстецы, но и такие, как Пэпин Славный, автор исторической трагедии «Поход на север»; Цурэн Правдивый, написавший более пятисот баллад и сонетов, положенных в народе на музыку; а также Гур Сочинитель, создавший первый в истории Империи светский роман — печальную историю принца, полюбившего прекрасную варварку. Были при дворе и великолепные артисты, танцоры, певцы. Замечательные художники покрывали стены нетускнеющими фресками, славные скульпторы украшали своими творениями дворцовые парки. Нельзя сказать, чтобы Арканарские короли были ревнителями просвещения или знатоками искусств. Просто это считалось приличным, как церемония утреннего одевания или пышные гвардейцы у главного входа. Аристократическая терпимость доходила порой до того, что некоторые ученые и поэты становились заметными винтиками государственного аппарата. Так, всего полстолетия назад высокоученый алхимик Ботса занимал ныне упраздненный за ненадобностью пост министра недр, заложил несколько рудников и прославил Арканар удивительными сплавами, секрет которых был утерян после его смерти. А Пэпин Славный вплоть до недавнего времени руководил государственным просвещением, пока министерство истории и словесности, возглавляемое им, не было признано вредным и растлевающим умы.

Бывало, конечно, и раньше, что художника или ученого, неугодного королевской фаворитке, тупой и сладострастной особе, продавали за границу или травили мышьяком, но только дон Рэба взялся за дело по-настоящему. За годы своего пребывания на посту всесильного министра охраны короны он произвел в мире арканарской культуры такие опустошения, что вызвал неудовольствие даже у некоторых благородных вельмож, заявлявших, что двор стал скучен и во время балов ничего не

слышишь, кроме глупых сплетен.

Багир Киссэнский, обвиненный в помешательстве, граничащем с государственным преступлением, был брошен в застенок и лишь с большим трудом вызволен Руматой и переправлен в метрополию. Обсерватория его сгорела, а уцелевшие ученики разбежались кто куда. Лейб-знахарь Тата вместе с пятью другими лейб-знахарями оказался вдруг отравителем, злоумышлявшим по наущению герцога Ируканского против особы короля, под пыткой признался во всем и был повешен на Королевской площади. Пытаясь спасти его, Румата роздал тридцать килограммов золота, потерял четырех агентов (благородных донов, не ведавших, что творят), едва не попался сам, раненный во время попытки отбить осужденных, но сделать ничего не смог. Это было его первое поражение, после которого он понял, наконец, что дон Рэба фигура не случайная. Узнав через неделю, что алхимика Синду намереваются обвинить в сокрытии от казны тайны философского камня, Румата, разъяренный поражением, устроил у дома алхимика засаду, сам, обернув лицо черной тряпкой, обезоружил штурмовиков, явившихся за алхимиком, побросал их, связанных, в подвал и в ту же ночь выпроводил так ничего и не понявшего Синду в пределы Соана, где тот, пожав плечами, и остался продолжать поиски философского камня под наблюдением дона Кондора. Поэт Пэпин Славный вдруг постригся в монахи и удалился в уединенный монастырь. Цурэн Правдивый, изобличенный в преступной двусмысленности и потакании вкусам низших сословий, был лишен чести и имущества, пытался спорить, читал в кабаках теперь уже откровенно разрушительные баллады, дважды был смертельно бит патриотическими личностями и только тогда поддался уговорам своего большого друга и ценителя дона Руматы и уехал в метрополию. Румата навсегда запомнил его, иссиня-бледного от пьянства, как он стоит, вцепившись тонкими руками в ванты, на палубе уходящего корабля и звонким, молодым голосом выкрикивает свой прощальный сонет «Как лист увядший падает на душу». Что же касается Гура Сочинителя, то после беседы в кабинете дона Рэбы он понял, что Арканарский принц не мог полюбить вражеское отродье, сам бросал на Королевской площади свои книги в огонь и теперь, сгорбленный, с мертвым лицом, стоял во время королевских выходов в толпе придворных и по чуть заметному жесту дона Рэбы выступал вперед со стихами ультрапатриотического содержания, вызывающими тоску и зевоту. Артисты ставили теперь одну и ту же пьесу — «Гибель варваров, или Маршал Тоц, король Пиц Первый Арканарский». А певцы предпочитали в основном концерты для голоса с оркестром. Оставшиеся в живых художники

малевали вывески. Впрочем, двое или трое ухитрились остаться при дворе и рисовали портреты короля с доном Рэбой, почтительно поддерживающим его под локоть (разнообразие не поощрялось: король изображался двадцатилетним красавцем в латах, а дон Рэба — зрелым мужчиной со значительным лицом).

Да, арканарский двор стал скучен. Тем не менее вельможи, благородные доны без занятий, гвардейские офицеры и легкомысленные красавицы доны — одни из тщеславия, другие по привычке, третьи из страха — по-прежнему каждое утро наполняли дворцовые приемные. Говоря по чести, многие вообще не заметили никаких перемен. В концертах и состязаниях поэтов прошлых времен они более всего ценили антракты, во время которых благородные доны обсуждали достоинства легавых, рассказывали анекдоты. Они еще были способны на не слишком продолжительный диспут о свойствах существ потустороннего мира, но уж вопросы о форме планеты и о причинах эпидемий полагали попросту неприличными. Некоторое уныние вызывало у гвардейских офицеров исчезновение художников, среди которых были мастера изображать обнаженную натуру...

Румата явился во дворец, слегка запоздав. Утренний прием уже начался. В залах толпился народ, слышался раздраженный голос короля и раздавались мелодичные команды министра церемоний, распоряжающегося одеванием его величества. Придворные в основном обсуждали ночное происшествие. Некий преступник с лицом ируканца проник ночью во дворец, вооруженный стилетом, убил часового и ворвался в опочивальню его величества, где якобы и был обезоружен лично доном Рэбой, схвачен и по дороге в Веселую Башню разорван в клочья обезумевшей от преданности толпой патриотов. Это было уже шестое покушение за последний месяц, и потому сам факт покушения интереса почти не вызвал. Обсуждались только детали. Румата узнал, что при виде убийцы его величество приподнялся на ложе, заслонив собою прекрасную дону Мидару, и произнес исторические слова: «Пшел вон, мерзавец!» Большинство охотно верило в исторические слова, полагая, что король принял убийцу за лакея. И все сходились во мнении, что дон Рэба, как всегда, начеку и несравненен в рукопашной схватке. Румата в приятных выражениях согласился с этим мнением и в ответ рассказал только что выдуманную историю о том, как на дона Рэбу напали двенадцать разбойников, троих он уложил на месте, а остальных обратил в бегство. История была выслушана с большим интересом и одобрением, после чего Румата как бы случайно заметил, что историю эту рассказал ему дон Сэра.

Выражение интереса немедленно исчезло с лиц присутствующих, ибо каждому было известно, что дон Сэра — знаменитый дурак и враль. О доне Окане никто не говорил ни слова. Об этом либо еще не знали, либо делали вид, что не знают.

Рассыпая любезности и пожимая ручки дамам, Румата мало-помалу продвигался в первые ряды разряженной, надушенной, обильно потеющей толпы. Благородное дворянство вполголоса беседовало. «Вот-вот, та самая кобыла. Она засекалась, но будь я проклят, если не проиграл ее тем же вечером дону Кэу...», «Что же касается бедер, благородный дон, то они необыкновенной формы. Как это сказано у Цурэна... М-м-м... Горы пены прохладной... м-м-м... нет, холмы прохладной пены... В общем, мощные бедра», «Тогда я тихонько открываю окно, беру кинжал в зубы и, представьте себе, мой друг, чувствую, что решетка подо мной прогибается...», «Я съездил ему по зубам эфесом меча, так что эта серая собака дважды перевернулась через голову. Вы можете полюбоваться на него, вон он стоит с таким видом, будто имеет на это право...», «А дон Тамэо наблевал на пол, поскользнулся и упал головой в камин...», «...Вот монах ей и говорит: «Расскажи-ка мне, красавица, твой сон...» га-га-га!..»

Ужасно обидно, думал Румата. Если меня сейчас убьют, эта колония простейших будет последним, что я вижу в своей жизни. Только внезапность. Меня спасет внезапность. Меня и Будаха. Улучить момент и внезапно напасть. Захватить врасплох, не дать ему раскрыть рта, не дать убить меня, мне совершенно незачем умирать.

Он пробрался к дверям опочивальни и, придерживая обеими руками мечи, слегка согнув по этикету ноги в коленях, приблизился к королевской постели. Королю натягивали чулки. Министр церемоний, затаив дыхание, внимательно следил за ловкими руками двух камердинеров. Справа от развороченного ложа стоял дон Рэба, неслышно беседуя с длинным костлявым человеком в военной форме серого бархата. Это был отец Цупик, один из вождей арканарских штурмовиков, полковник дворцовой охраны. Дон Рэба был опытным придворным. Судя по его лицу, речь шла не более чем о статях кобылы или о добродетельном поведении королевской племянницы. Отец же Цупик, как человек военный и бывший бакалейщик, лицом владеть не умел. Он мрачнел, кусал губу, пальцы его на рукояти меча сжимались и разжимались; и в конце концов он вдруг дернул щекой, резко повернулся и, нарушая все правила, пошел вон из опочивальни прямо на толпу оцепеневших от такой невоспитанности придворных. Дон Рэба, извинительно улыбаясь, поглядел ему вслед, а Румата, проводив глазами нескладную серую фигуру, подумал: «Вот и еще

один покойник». Ему было известно о трениях между доном Рэбой и серым руководством. История коричневого капитана Эрнста Рема готова была повториться.

Чулки были натянуты. Камердинеры, повинуясь мелодичному приказу министра церемоний, благоговейно, кончиками пальцев, взялись за королевские туфли. Тут король, отпихнув камердинеров ногами, так резко повернулся к дону Рэбе, что живот его, похожий на туго набитый мешок, перекатился на одно колено.

— Мне надоели ваши покушения! — истерически завизжал он. — Покушения! Покушения! Покушения!.. Ночью я хочу спать, а не сражаться с убийцами! Почему нельзя сделать, чтобы они покушались днем? Вы дрянной министр, Рэба! Еще одна такая ночь, и я прикажу вас удавить! (Дон Рэба поклонился, прижимая руку к сердцу.) После покушений у меня болит голова!

Он внезапно замолчал и тупо уставился на свой живот. Момент был подходящий. Камердинеры замешкались. Прежде всего следовало обратить на себя внимание. Румата вырвал у камердинера правую туфлю, опустился перед королем на колено и стал почтительно насаживать туфлю на жирную, обтянутую шелком ногу. Такова была древнейшая привилегия рода Руматы — собственноручно обувать правую ногу коронованных особ Империи. Король мутно смотрел на него. В глазах его вспыхнул огонек интереса.

— А, Румата! — сказал он. — Вы еще живы? А Рэба обещал мне удавить вас! — Он захихикал. — Он дрянной министр, этот Рэба. Он только и делает, что обещает. Обещал искоренить крамолу, а крамола растет. Каких-то серых мужланов понапихал во дворец... Я болен, а он всех лейб-знахарей поперевешал.

Румата кончил надевать туфлю и, поклонившись, отступил на два шага. Он поймал на себе внимательный взгляд дона Рэбы и поспешил придать лицу высокомерно-тупое выражение.

— Я совсем больной, — продолжал король, — у меня же все болит. Я хочу на покой. Я бы уже давно ушел на покой, так вы же все пропадете без меня, бараны...

Ему надели вторую туфлю. Он встал и сейчас же охнул, скривившись, и схватился за колено.

— Где знахари? — завопил он горестно. — Где мой добрый Тата? Вы повесили его, дурак! А мне от одного его голоса становилось легче! Молчите, я сам знаю, что он отравитель! И плевать я на это хотел! Что тут такого, что он отравитель? Он был зна-а-а-ахарь! Понимаете, убийца? Знахарь! Одного отравит, другого вылечит! А вы только травите! Лучше бы

вы сами повесились! (Дон Рэба поклонился, прижимая руку к сердцу, и остался в таком положении.) Ведь всех же повесили! Остались одни ваши шарлатаны! И попы, которые поят меня святой водой вместо лекарства... Кто составит микстуру? Кто разотрет мне ногу мазью?

— Государь! — во весь голос сказал Румата, и ему показалось, что во дворце все замерло. — Вам стоит приказать, и лучший лекарь Империи будет во дворце через полчаса!

Король оторопело уставился на него. Риск был страшный. Дону Рэбе стоило только мигнуть... Румата физически ощутил, сколько пристальных глаз смотрят сейчас на него поверх оперения стрел, — он-то знал, зачем идут под потолком спальни ряды круглых черных отдушин. Дон Рэба тоже смотрел на него с выражением вежливого и благожелательного любопытства.

— Что это значит? — брюзгливо осведомился король. — Ну, приказываю, ну, где ваш лекарь?

Румата весь напрягся. Ему казалось, что наконечники стрел уже колют его лопатки.

— Государь, — быстро сказал он, — прикажите дону Рэбе представить вам знаменитого доктора Будаха!

Видимо, дон Рэба все-таки растерялся. Главное было сказано, а Румата был жив. Король перекатил мутные глаза на министра охраны короны.

— Государь, — продолжал Румата, теперь уже не торопясь и надлежащим слогом. — Зная о ваших поистине невыносимых страданиях и памятуя о долге моего рода перед государями, я выписал из Ирукана знаменитого высокоученого лекаря доктора Будаха. К сожалению, однако, путь доктора Будаха был прерван. Серые солдаты уважаемого дона Рэбы захватили его на прошлой неделе, и дальнейшая его судьба известна одному только дону Рэбе. Я полагаю, что лекарь где-то поблизости, скорее всего в Веселой Башне, и я надеюсь, что странная неприязнь дона Рэбы к лекарям еще не отразилась роковым образом на судьбе доктора Будаха.

Румата замолчал, сдерживая дыхание. Кажется, все обошлось превосходно. Держись, дон Рэба! Он взглянул на министра — и похолодел. Министр охраны короны нисколько не растерялся. Он кивал Румате с ласковой отеческой укоризной. Этого Румата никак не ожидал. Да он в восторге, ошеломленно подумал Румата. Зато король вел себя, как ожидалось.

— Мошенник! — заорал он. — Удавлю! Где доктор? Где доктор, я вас спрашиваю! Молчать! Я вас спрашиваю, где доктор?

Дон Рэба выступил вперед, приятно улыбаясь.

— Ваше величество, — сказал он, — вы поистине счастливый государь, ибо у вас так много верных подданных, что они порой мешают друг другу в стремлении услужить вам. (Король тупо смотрел на него.) Не скрою, как и все, происходящее в вашей стране, был мне известен и благородный замысел пылкого дона Руматы. Не скрою, что я выслал навстречу доктору Будаху наших серых солдат — исключительно для того, чтобы уберечь почтенного пожилого человека от случайностей дальней дороги. Не буду я скрывать и того, что не торопился представить Будаха Итруканского вашему величеству...

— Как же это вы осмелились? — укоризненно спросил король.

— Ваше величество, дон Румата молод и столь же неискушен в политике, сколь многоопытен в благородной схватке. Ему и невдомек, на какую низость способен герцог Ируканский в своей бешеной злобе против вашего величества. Но мы-то с вами это знаем, государь, не правда ли? (Король покивал.) И поэтому я счел необходимым произвести предварительно небольшое расследование. Я бы не стал торопиться, но если вы, ваше величество (низкий поклон королю), и дон Румата (кивок в сторону Руматы) так настаиваете, то сегодня же после обеда доктор Будах, ваше величество, предстанет перед вами, чтобы начать курс лечения.

— А вы не дурак, дон Рэба, — сказал король, подумав. — Расследование — это хорошо. Это никогда не помешает. Проклятый ируканец... — Он взвыл и снова схватился за колено. — Проклятая нога! Так, значит, после обеда? Будем ждать, будем ждать.

И король, опираясь на плечо министра церемоний, медленно прошел в тронный зал мимо ошеломленного Руматы. Когда он погрузился в толпу расступающихся придворных, дон Рэба приветливо улыбнулся Румате и спросил:

— Сегодня ночью вы, кажется, дежурите при опочивальне принца? Я не ошибаюсь?

Румата молча поклонился.

Румата бесцельно брел по бесконечным коридорам и переходам дворца, темным, сырым, провонявшим аммиаком и гнилью, мимо роскошных, убранных коврами комнат, мимо запыленных кабинетов с узкими зарешеченными окнами, мимо кладовых, заваленных рухлядью с ободранной позолотой. Людей здесь почти не было. Редкий придворный рисковал посещать этот лабиринт в тыльной части дворца, где королевские апартаменты незаметно переходили в канцелярии министерства охраны короны. Здесь было легко заблудиться. Все помнили случай, когда

гвардейский патруль, обходивший дворец по периметру, был напуган истошными воплями человека, тянувшего к нему сквозь решетку амбразуры исцарапанные руки. «Спасите меня! — кричал человек. — Я камер-юнкер! Я не знаю, как выбраться! Я два дня ничего не ел! Возьмите меня отсюда!» (Десять дней между министром финансов и министром двора шла оживленная переписка, после чего решено было все-таки выломать решетку, и на протяжении этих десяти дней несчастного камер-юнкера кормили, подавая ему мясо и хлеб на кончике пики.) Кроме того, здесь было небезопасно. В тесных коридорах сталкивались подвыпившие гвардейцы, охранявшие особу короля, и подвыпившие штурмовики, охранявшие министерство. Резались отчаянно, а удовлетворившись, расходились, унося раненых. Наконец, здесь бродили и убиенные. За два века их накопилось во дворце порядочно.

Из глубокой ниши в стене выступил штурмовик-часовой с топором наготове.

— Не велено, — мрачно объявил он.

— Что ты понимаешь, дурак! — небрежно сказал Румата, отводя его рукой.

Он слышал, как штурмовик нерешительно топчется сзади, и вдруг поймал себя на мысли о том, что оскорбительные словечки и небрежные жесты получаются у него рефлекторно, что он уже не играет высокородного хама, а в значительной степени стал им. Он представил себя таким на Земле, и ему стало мерзко и стыдно. Почему? Что со мной произошло? Куда исчезло воспитанное и взлелеянное с детства уважение и доверие к себе подобным, к человеку, к замечательному существу, называемому «человек»? А ведь мне уже ничто не поможет, подумал он с ужасом. Ведь я же их по-настоящему ненавижу и презираю... Не жалею, нет — ненавижу и презираю. Я могу сколько угодно оправдывать тупость и зверство этого парня, мимо которого я сейчас проскочил, социальные условия, жуткое воспитание, все, что угодно, но я теперь отчетливо вижу, что это мой враг, враг всего, что я люблю, враг моих друзей, враг того, что я считаю самым святым. И ненавижу я его не теоретически, не как «типичного представителя», а его самого, его как личность. Ненавижу его слюнявую морду, вонь его немытого тела, его слепую веру, его злобу ко всему, что выходит за пределы половых отправлений и выпивки. Вот он топчется, этот недоросль, которого еще полгода назад толстопузый папаша порол, тщась приспособить к торговле лежалой мукой и засахарившимся вареньем, сопит, стоеросовая дубина, мучительно пытаясь вспомнить параграфы скверно вызубренного устава, и никак не может сообразить,

нужно ли рубить благородного дона топором, орать ли «караул!» или просто махнуть рукой — все равно никто не узнает. И он махнет на все рукой, вернется в свою нишу, сунет в пасть ком жевательной коры и будет чавкать, пуская слюни и причмокивая. И ничего на свете он не хочет знать, и ни о чем на свете он не хочет думать. Думать! А чем лучше орел наш дон Рэба? Да, конечно, его психология запутанней и рефлексы сложней, но мысли его подобны вот этим пропахшим аммиаком и преступлениями лабиринтам дворца, и он совершенно уже невыразимо гнусен — страшный преступник и бессовестный паук. Я пришел сюда любить людей, помочь им разогнуться, увидеть небо. Нет, я плохой разведчик, подумал он с раскаянием. Я никуда не годный историк. И когда это я успел провалиться в трясину, о которой говорил дон Кондор? Разве бог имеет право на какое-нибудь чувство, кроме жалости?

Позади раздалось торопливое бух-бух-бух сапогами по коридору. Румата повернулся и опустил руки крест-накрест на рукояти мечей. К нему бежал дон Рипат, придерживая на боку клинок.

— Дон Румата!.. Дон Румата!.. — закричал он еще издали хриплым шепотом.

Румата оставил мечи. Подбежав к нему, дон Рипат огляделся и проговорил едва слышно на ухо:

— Я вас ищу уже целый час. Во дворце Вага Колесо! Разговаривает с доном Рэбой в лиловых покоях.

Румата даже зажмурился на секунду. Затем, осторожно отстранившись, сказал с вежливым удивлением:

— Вы имеете в виду знаменитого разбойника? Но ведь он не то казнен, не то вообще выдуман.

Лейтенант облизнул сухие губы.

— Он существует. Он во дворце... Я думал, вам будет интересно.

— Милейший дон Рипат, — внушительно сказал Румата, — меня интересуют слухи. Сплетни. Анекдоты... Жизнь так скучна... Вы меня, очевидно, неправильно понимаете... (Лейтенант смотрел на него безумными глазами.) Посудите сами — какое мне дело до нечистоплотных связей доны Рэбы, которого, впрочем, я слишком уважаю, чтобы как-то судить?.. И потом, простите, я спешу... Меня ждет дама.

Дон Рипат снова облизнул губы, неловко поклонился и боком пошел прочь. Румату вдруг осенила счастливая мысль.

— Кстати, мой друг, — приветливо окликнул он. — Как вам понравилась небольшая интрига, которую мы провели сегодня утром с доном Рэбой?

Дон Рипат с готовностью остановился.

— Мы очень удовлетворены, — сказал он.

— Не правда ли, это было очень мило?

— Это было великолепно! Серое офицерство очень радо, что вы, наконец, открыто приняли нашу сторону. Такой умный человек, как вы, дон Румата, и якшается с баронами, с благородными выродками...

— Мой дорогой Рипат! — высокомерно сказал Румата, поворачиваясь, чтобы идти. — Вы забываете, что с высоты моего происхождения не видно никакой разницы даже между королем и вами. До свиданья.

Он широко зашагал по коридорам, уверенно сворачивая в поперечные проходы и молча отстраняя часовых. Он плохо представлял себе, что собирается сделать, но он понимал, что это удивительная, редкостная удача. Он должен слышать разговор между двумя пауками. Недаром дон Рэба обещал за живого Вагу в четырнадцать раз больше, чем за Вагу мертвого...

Из-за лиловых портьер ему навстречу выступили два серых лейтенанта с клинками наголо.

— Здравствуйте, друзья, — сказал дон Румата, останавливаясь между ними. — Министр у себя?

— Министр занят, дон Румата, — сказал один из лейтенантов.

— Я подожду, — сказал Румата и прошел под портьеры.

Здесь было непроглядно темно. Румата ощупью пробирался среди кресел, столов и чугунных подставок для светильников. Несколько раз он явственно слышал чье-то сопение над ухом, и его обдавало густым чесночно-пивным духом. Потом он увидел слабую полоску света, расслышал знакомый гнусавый тенорок почтенного Ваги и остановился. В ту же секунду острие копья осторожно уперлось ему между лопатками. «Тише, болван, — сказал он раздраженно, но негромко. — Это я, дон Румата». Копье отодвинулось. Румата подтащил кресло к полоске света, сел, вытянув ноги, и зевнул так, чтобы было слышно. Затем он стал смотреть.

Пауки встретились. Дон Рэба сидел в напряженной позе, положив локти на стол и сплетя пальцы. Справа от него лежал на куче бумаг тяжелый метательный нож с деревянной рукоятью. На лице министра была приятная, хотя и несколько оцепенелая улыбка. Почтенный Вага сидел на софе спиной к Румате. Он был похож на старого чудаковатого вельможу, проведшего последние тридцать лет безвыездно в своем загородном дворце.

— Выстребаны обстряхнутся, — говорил он, — и дутой чернушенькой объятно хлюпнут по маргазам. Это уже двадцать длинных хохарей. Марко

было бы тукнуть по пестрякам. Да хохари облыго ружуют. На том и покалим سростень. Это наш примар...

Дон Рэба пощупал бритый подбородок.

— Студно туково, — задумчиво сказал он.

Вага пожал плечами.

— Таков наш примар. С нами габузиться для вашего оглода не сростно. По габарям?

— По габарям, — решительно сказал министр охраны короны.

— И пей круг, — произнес Вага, поднимаясь.

Румата, оторопело слушавший эту галиматью, обнаружил на лице Ваги пушистые усы и острую седую бородку. Настоящий придворный времен прошлого регентства.

— Приятно было побеседовать, — сказал Вага.

Дон Рэба тоже встал.

— Беседа с вами доставила мне огромное удовольствие, — сказал он. — Я впервые вижу такого смелого человека, как вы, почтенный...

— Я тоже, — скучным голосом сказал Вага. — Я тоже поражаюсь и горжусь смелостью первого министра нашего королевства.

Он повернулся к дону Рэбе спиной и побрел к выходу, опираясь на жезл. Дон Рэба, не спуская с него задумчивого взгляда, рассеянно положил пальцы на рукоять ножа. Сейчас же за спиной Руматы кто-то страшно задышал, и длинный коричневый ствол духовой трубки просунулся мимо его уха к щели между портьерами. Секунду дон Рэба стоял, словно прислушиваясь, затем сел, выдвинул ящик стола, извлек кипу бумаг и погрузился в чтение. За спиной Руматы сплюнули, трубка убралась. Все было ясно. Пауки договорились. Румата встал и, наступая на чьи-то ноги, начал пробираться обратно к выходу из лиловых покоев.

Король обедал в огромной двусветной зале. Тридцатиметровый стол накрывался на сто персон: сам король, дон Рэба, особы королевской крови (два десятка полнокровных личностей, обжор и выпивох), министры двора и церемоний, группа родовитых аристократов, приглашаемых традиционно (в том числе и Румата), дюжина заезжих баронов с дубоподобными баронетами и на самом дальнем конце стола — всякая аристократическая мелочь, правдами и неправдами добившаяся приглашения за королевский стол. Этих последних, вручая им приглашение и номерок на кресло, предупреждали: «Сидите неподвижно, король не любит, когда вертятся. Руки держите на столе, король не любит, когда руки прячут под стол. Не оглядывайтесь, король не любит, когда оглядываются». За каждым таким

обедом пожиралось огромное количество тонкой пищи, выпивались озера старинных вин, разбивалась и портилась масса посуды знаменитого эсторского фарфора. Министр финансов в одном из своих докладов королю похвастался, что один-единственный обед его величества стоит столько же, сколько полугодовое содержание Соанской Академии наук.

В ожидании, когда министр церемоний под звуки труб трижды провозгласит «к столу!», Румата стоял в группе придворных и в десятый раз слушал рассказ дона Тамэо о королевском обеде, на котором он, дон Тамэо, имел честь присутствовать полгода назад.

— ...Я нахожу свое кресло, мы стоим, входит король, садится, садимся и мы. Обед идет своим чередом. И вдруг, представьте себе, дорогие доны, я чувствую, что подо мной мокро... Мокро! Ни повернуться, ни поерзать, ни пощупать рукой я не решаюсь. Однако, улучив момент, я запускаю руку под себя — и что же? Действительно мокро! Нюхаю пальцы — нет, ничем особенным не пахнет. Что за притча! Между тем обед кончается, все встают, а мне, представьте себе, благородные доны, встать как-то страшно... Я вижу, что ко мне идет король — король! — но продолжаю сидеть на месте, словно барон-деревенщина, не знающий этикета. Его величество подходит ко мне, милостиво улыбается и кладет руку мне на плечо. «Мой дорогой дон Тамэо, — говорит он, — мы уже встали и идем смотреть балет, а вы все еще сидите. Что с вами, уж не объелись ли вы?» — «Ваше величество, — говорю я, — отрубите мне голову, но подо мной мокро». Его величество изволил рассмеяться и приказал мне встать. Я встал — и что же? Кругом хохот! Благородные доны, я весь обед просидел на ромовом торте! Его величество изволил очень смеяться. «Рэба, Рэба, — сказал, наконец, он, — это все ваши шутки! Извольте почистить благородного дона, вы испачкали ему седалище!» Дон Рэба, заливаясь смехом, вынимает кинжал и принимается счищать торт с моих штанов. Вы представляете мое состояние, благородные доны? Не скрою, я трясся от страха при мысли о том, что дон Рэба, униженный при всех, отомстит мне. К счастью, все обошлось. Уверяю вас, благородные доны, это самое счастливое впечатление моей жизни! Как смеялся король! Как был доволен его величество!

Придворные хохотали. Впрочем, такие шутки были в обычае за королевским столом. Приглашенных сажали в паштеты, в кресла с подпиленными ножками, на гусиные яйца. Саживали и на отравленные иглы. Король любил, чтобы его забавляли. Румата вдруг подумал: любопытно, как бы я поступил на месте этого идиота? Боюсь, что королю пришлось бы искать себе другого министра охраны, а Институту пришлось

бы прислать в Арканар другого человека. В общем, надо быть начеку. Как наш орел дон Рэба...

Загремели трубы, мелодично взревел министр церемоний, вошел, прихрамывая, король, и все стали рассаживаться. По углам залы, опершись на двуручные мечи, неподвижно стояли дежурные гвардейцы. Румате достались молчаливые соседи. Справа заполняла кресло трясущаяся туша угрюмого обжоры дона Пифы, супруга известной красавицы, слева бессмысленно смотрел в пустую тарелку Гур Сочинитель. Гости замерли, глядя на короля. Король затолкал за ворот сероватую салфетку, окинул взглядом блюда и схватил куриную ножку. Едва он впился в нее зубами, как сотня ножей с лязгом опустилась на тарелки и сотня рук протянулась над блюдами. Зал наполнился чавканьем и сосущими звуками, забулькало вино. У неподвижных гвардейцев с двуручными мечами алчно зашевелились усы. Когда-то Румату тошнило на этих обедах. Сейчас он привык.

Разделывая кинжалом баранью лопатку, он покосился направо и сейчас же отвернулся: дон Пифа висел над целиком зажаренным кабаном и работал, как землеройный автомат. Костей после него не оставалось. Румата задержал дыхание и залпом осушил стакан ируканского. Затем он покосился налево. Гур Сочинитель вяло ковырял ложкой в блюдечке с салатом.

— Что нового пишете, отец Гур? — спросил Румата вполголоса.

Гур вздрогнул.

— Пишу?.. Я?.. Не знаю... Много.

— Стихи?

— Да... стихи...

— У вас отвратительные стихи, отец Гур. (Гур странно посмотрел на него.) Да-да, вы не поэт.

— Не поэт... Иногда я думаю, кто же я? И чего я боюсь? Не знаю.

— Глядите в тарелку и продолжайте кушать. Я вам скажу, кто вы. Вы гениальный сочинитель, открыватель новой и самой плодотворной дороги в литературе. (На щеках Гура медленно выступил румянец.) Через сто лет, а может быть, и раньше по вашим следам пойдут десятки сочинителей.

— Спаси их господь! — вырвалось у Гура.

— Теперь я скажу вам, чего вы боитесь.

— Я боюсь тьмы.

— Темноты?

— Темноты тоже. В темноте мы во власти призраков. Но больше всего я боюсь тьмы, потому что во тьме все становятся одинаково серыми.

— Отлично сказано, отец Гур. Между прочим, можно еще достать

ваше сочинение?

— Не знаю... И не хочу знать.

— На всякий случай знайте: один экземпляр находится в метрополии, в библиотеке императора. Другой хранится в Музее раритетов в Соане. Третий — у меня.

Гур трясущейся рукой положил себе ложку желе.

— Я... не знаю... — Он с тоской посмотрел на Румату огромными запавшими глазами. — Я хотел бы почитать... перечитать...

— Я с удовольствием ссужу вам...

— И потом?..

— Потом вы вернете.

— И потом вам вернут! — резко сказал Гур.

Румата покачал головой.

— Дон Рэба очень напугал вас, отец Гур.

— Напугал... Вам приходилось когда-нибудь жечь собственных детей? Что вы знаете о страхе, благородный дон!..

— Я склоняю голову перед тем, что вам пришлось пережить, отец Гур. Но я от души осуждаю вас за то, что вы сдались.

Гур Сочинитель вдруг принялся шептать так тихо, что Румата едва слышал его сквозь чавканье и гул голосов:

— А зачем все это?.. Что такое правда?.. Принц Хаар действительно любил прекрасную меднокожую Яиневнивору... У них были дети... Я знаю их внука... Ее действительно отравили... Но мне объяснили, что это ложь... Мне объяснили, что правда — это то, что сейчас во благо королю... Все остальное ложь и преступление. Всю жизнь я писал ложь... И только сейчас я пишу правду...

Он вдруг встал и громко нараспев выкрикнул:

Велик и славен, словно вечность,
Король, чье имя — Благородство!
И отступила бесконечность,
И уступило первородство!

Король перестал жевать и тупо уставился на него. Гости втянули головы в плечи. Только дон Рэба улыбнулся и несколько раз беззвучно хлопнул в ладоши. Король выплюнул на скатерть кости и сказал:

— Бесконечность?.. Верно. Правильно, уступила... Хвалю. Можешь кушать.

Чавканье и разговоры возобновились. Гур сел.

— Легко и сладостно говорить правду в лицо королю, — сипло проговорил он.

Румата промолчал.

— Я передам вам экземпляр вашей книги, отец Гур, — сказал он. — Но с одним условием. Вы немедленно начнете писать следующую книгу.

— Нет, — сказал Гур. — Поздно. Пусть Киун пишет. Я отравлен. И вообще все это меня больше не интересует. Сейчас я хочу только одного — научиться пить. И не могу... Болит желудок...

Еще одно поражение, подумал Румата. Опоздал.

— Послушайте, Рэба, — сказал вдруг король. — А где же лекарь? Вы обещали мне лекаря после обеда.

— Он здесь, ваше величество, — сказал дон Рэба. — Велите позвать?

— Велю? Еще бы! Если бы у вас так болело колено, вы бы визжали, как свинья!.. Давайте его сюда немедленно!

Румата откинулся на спинку кресла и приготовился смотреть. Дон Рэба поднял руку над головой и щелкнул пальцами. Дверь отворилась, и в залу, непрерывно кланяясь, вошел сгорбленный пожилой человек в долгополой мантии, украшенной изображениями серебряных пауков, звезд и змей. Под мышкой он держал плоскую продолговатую сумку. Румата был озадачен: он представлял себе Будаха совсем не таким. Не могло быть у мудреца и гуманиста, автора всеобъемлющего «Трактата о ядах» таких бегающих выцветших глазок, трясущихся от страха губ, жалкой, заискивающей улыбки. Но он вспомнил Гура Сочинителя. Вероятно, следствие над подозреваемым ируканским шпионом стоило литературной беседы в кабинете дона Рэбы. Взять Рэбу за ухо, подумал он сладостно. Притащить его в застенок. Сказать палачам: «Вот ируканский шпион, переодевшийся нашим славным министром, король велел выпытать у него, где настоящий министр, делайте свое дело, и горе вам, если он умрет раньше, чем через неделю...» Он даже прикрылся рукой, чтобы никто не видел его лица. Что за страшная штука ненависть...

— Ну-ка, ну-ка, пойди сюда, лекарь, — сказал король. — Экий ты, братец, мозгляк. А ну-ка приседай, приседай, говорят тебе!

Несчастный Будах начал приседать. Лицо его исказилось от ужаса.

— Еще, еще, — гнусавил король. — Еще разок! Еще! Коленки не болят, вылечил-таки свои коленки. А покажи зубы! Та-ак, ничего зубы. Мне бы такие... И руки ничего, крепкие. Здоровый, здоровый, хотя и мозгляк... Ну давай, голубчик, лечи, чего стоишь...

— Ва-ваше величество... со-соизволит показать ножку... Ножку... —

услыхал Румата. Он поднял глаза.

Лекарь стоял на коленях перед королем и осторожно мял его ногу.

— Э... Э! — сказал король. — Так что это? Ты не хватай! Взялся лечить, так лечи!

— Мне все по-понятно, ваше величество, — пробормотал лекарь и принялся торопливо копаться в своей сумке.

Гости перестали жевать. Аристократики на дальнем конце стола даже привстали и вытянули шеи, сгорая от любопытства.

Будах достал из сумки несколько каменных флаконов, откупорил их и, поочередно нюхая, расставил в ряд на столе. Затем он взял кубок короля и налил до половины вином. Произведя над кубком пассы обеими руками и прошептав заклинания, он быстро опорожнил в вино все флаконы. По залу распространился явственный запах нашатырного спирта. Король поджал губы, заглянул в кубок, и, скривив нос, посмотрел на дона Рэбу. Министр сочувственно улыбнулся. Придворные затаили дыхание.

Что он делает, удивленно подумал Румата, ведь у старика подагра! Что он там намешал? В трактате ясно сказано: растирать опухшие сочленения настоем на трехдневном яде белой змеи Ку. Может быть, это для растирания?

— Это что, растирать? — спросил король, опасливо кивая на кубок.

— Отнюдь нет, ваше величество, — сказал Будах. Он уже немного оправился. — Это внутрь.

— Вну-утрь? — Король надулся и откинулся в кресле. — Я не желаю внутрь. Растирай.

— Как угодно, ваше величество, — покорно сказал Будах. — Но осмелюсь предупредить, что от растирания пользы не будет никакой.

— Почему-то все растирают, — брюзгливо сказал король, — а тебе обязательно надо вливать в меня эту гадость.

— Ваше величество, — сказал Будах, гордо выпрямившись, — это лекарство известно одному мне! Я вылечил им дядю герцога Ируканского. Что же касается растирателей, то ведь они не вылечили вас, ваше величество...

Король посмотрел на дона Рэбу. Дон Рэба сочувственно улыбнулся.

— Мерзавец ты, — сказал король лекарю неприятным голосом. — Мужичонка. Мозгляк паршивый. — Он взял кубок. — Вот как тресну тебя кубком по зубам... — Он заглянул в кубок. — А если меня вытошнит?

— Придется повторить, ваше величество, — скорбно произнес Будах.

— Ну ладно, с нами бог! — сказал король и поднес было кубок ко рту, но вдруг так резко отстранил его, что плеснул на скатерть. — А ну, выпей

сначала сам! Знаю я вас, ируканцев, вы святого Мику варварам продали! Пей, говорят!

Будах с оскорбленным видом взял кубок и отпил несколько глотков.

— Ну как? — спросил король.

— Горько, ваше величество, — сдавленным голосом произнес Будах. — Но пить надо.

— На-адо, на-адо... — забрюзжал король. — Сам знаю, что надо. Дай сюда. Ну вот, полкубка вылакал, дорвался...

Он залпом опрокинул кубок. Вдоль стола понеслись сочувственные вздохи — и вдруг все затихло. Король застыл с разинутым ртом. Из глаз его градом посыпались слезы. Он медленно побагровел, затем посинел. Он протянул над столом руку, судорожно щелкая пальцами. Дон Рэба поспешно сунул ему соленый огурец. Король молча швырнул огурцом в дона Рэбу и опять протянул руку.

— Вина... — просипел он.

Кто-то кинулся, подал кувшин. Король, бешено вращая глазами, гулко глотал. Красные струи текли по его белому камзолу. Когда кувшин опустел, король бросил его в Будаха, но промахнулся.

— Стервец! — сказал он неожиданным басом. — Ты за что меня убил? Мало вас вешали! Чтоб ты лопнул!

Он замолчал и потрогал колено.

— Болит! — прогнусавил он прежним голосом. — Все равно болит!

— Ваше величество, — сказал Будах. — Для полного излечения надо пить микстуру ежедневно в течение по крайней мере недели...

В горле у короля что-то пискнуло.

— Вон! — взвизгнул он. — Все вон отсюда!

Придворные, опрокидывая кресла, гурьбой бросились к дверям.

— Во-о-он!.. — истошно вопил король, сметая со стола посуду.

Выскочив из зала, Румата нырнул за какую-то портьеру и стал хохотать. За соседней портьерой тоже хохотали — надрывно, задыхаясь, с повизгиванием.

ГЛАВА 6

На дежурство у опочивальни принца заступали в полночь, и Румата решил зайти домой, чтобы посмотреть, все ли в порядке, и переодеться. Вечерний город поразил его. Улицы были погружены в гробовую тишину, кабаки закрыты. На перекрестках стояли, позвякивая железом, группы штурмовиков с факелами в руках. Они молчали и словно ждали чего-то. Несколько раз к Румате подходили, вглядывались и, узнав, так же молча давали дорогу. Когда до дому оставалось шагов пятьдесят, за ним увязалась кучка подозрительных личностей. Румата остановился, погремел ножнами о ножны, и личности отстали, но сейчас же в темноте заскрипел заряжаемый арбалет. Румата поспешно пошел дальше, прижимаясь к стенам, нашарил дверь, повернул ключ в замке, все время чувствуя свою незащищенную спину, и с облегченным вздохом вскочил в прихожую.

В прихожей собрались все слуги, вооруженные кто чем. Оказалось, что дверь уже несколько раз пробовали. Румате это не понравилось. «Может, не ходить? — подумал он. — Черт с ним, с принцем».

— Где барон Пампа? — спросил он.

Уно, до крайности возбужденный, с арбалетом на плече, ответил, что «барон проснулись еще в полдень, выпили в доме весь рассол и опять ушли веселиться». Затем, понизив голос, он сообщил, что Кира сильно беспокоится и уже не раз спрашивала о хозяине.

— Ладно, — сказал Румата и приказал слугам построиться.

Слуг было шестеро, не считая кухарки, — народ все тертый, привычный к уличным потасовкам. С серыми они, конечно, связываться не станут, испугаются гнева всесильного министра, но против оборванцев ночной армии устоять смогут, тем более что разбойнички в эту ночь будут искать добычу легкую. Два арбалета, четыре секиры, тяжелые мясницкие ножи, железные шапки, двери добротные, окованы, по обычаю, железом... Или, может быть, все-таки не ходить?

Румата поднялся наверх и прошел на цыпочках в комнату Киры. Кира спала одетая, свернувшись калачиком на нераскрытой постели. Румата постоял над нею со светильником. Идти или не идти? Ужасно не хочется идти. Он накрыл ее пледом, поцеловал в щеку и вернулся в кабинет. Надо идти. Что бы там ни происходило, разведчику надлежит быть в центре событий. И историкам польза. Он усмехнулся, снял с головы обруч, тщательно протер мягкой замшей объектив и вновь надел обруч. Потом

позвал Уно и велел принести военный костюм и начищенную медную каску. Под камзол, прямо на майку, натянул, ежась от холода, металлопластовую рубашку, выполненную в виде кольчуги (здешние кольчуги неплохо защищали от меча и кинжала, но арбалетная стрела пробивала их насквозь). Затягивая форменный пояс с металлическими бляхами, сказал Уно:

— Слушай меня, малыш. Тебе я доверяю больше всех. Что бы здесь ни случилось, Кира должна остаться живой и невредимой. Пусть сгорит дом, пусть все деньги разграбят, но Киру ты мне сохрани. Уведи по крышам, по подвалам, как хочешь, но сохрани. Понял?

— Понял, — сказал Уно. — Не уходить бы вам сегодня...

— Ты слушай. Если я через три дня не вернусь, бери Киру и вези ее в сайву, в Икающий лес. Знаешь, где это? Так вот, в Икающем лесу найдешь Пьяную Берлогу, изба такая, стоит недалеко от дороги. Спросишь — покажут. Только смотри, у кого спрашивать. Там будет человек, зовут его отец Кабани. Расскажешь ему все. Понял?

— Понял. А только лучше вам не уходить...

— Рад бы. Не могу: служба... Ну, смотри.

Он легонько щелкнул мальчишку в нос и улыбнулся в ответ на его неумелую улыбку. Внизу он произнес короткую ободряющую речь перед слугами, вышел за дверь и снова очутился в темноте. За его спиной загремели засовы.

Покои принца во все времена охранялись плохо. Возможно, именно поэтому на Арканарских принцев никто никогда не покушался. И уж в особенности не интересовались нынешним принцем. Никому на свете не нужен был этот чахлый голубоглазый мальчик, похожий на кого угодно, только не на своего отца. Мальчишка нравился Румате. Воспитание его было поставлено из рук вон плохо, и потому он был сообразителен, не жесток, терпеть не мог — надо думать, инстинктивно — дона Рэбу, любил громко распевать разнообразные песенки на слова Цурэна и играть в кораблики. Румата выписывал для него из метрополии книжки с картинками, рассказывал про звездное небо и однажды навсегда покорил мальчика сказкой о летающих кораблях. Для Руматы, редко сталкивавшегося с детьми, десятилетний принц был антиподом всех сословий этой дикой страны. Именно из таких обыкновенных голубоглазых мальчишек, одинаковых во всех сословиях, вырастали потом и зверство, и невежество, и покорность, а ведь в них, в детях, не было никаких следов и задатков этой гадости. Иногда он думал, как здорово было бы, если бы с планеты исчезли все люди старше десяти лет.

Принц уже спал. Румата принял дежурство — постоял рядом со сменяющимся гвардейцем возле спящего мальчика, совершая сложные, требуемые этикетом движения обнаженными мечами, традиционно проверил, все ли окна заперты, все ли няньки на местах, во всех ли покоях горят светильники, вернулся в переднюю, сыграл со сменяющимся гвардейцем партию в кости и поинтересовался, как относится благородный дон к тому, что происходит в городе. Благородный дон, большого ума мужчина, глубоко задумался и высказал предположение, что простой народ готовится к празднованию дня святого Мики.

Оставшись один, Румата придвинул кресло к окну, сел поудобнее и стал смотреть на город. Дом принца стоял на холме, и днем город просматривался отсюда до самого моря. Но сейчас все тонуло во мраке, только виднелись разбросанные кучки огней — где на перекрестках стояли и ждали сигнала штурмовики с факелами. Город спал или притворялся спящим. Интересно, чувствовали ли жители, что сегодня ночью на них надвигается что-то ужасное? Или, как благородный дон большого ума, тоже считали, что кто-то готовится к празднованию дня святого Мики? Двести тысяч мужчин и женщин. Двести тысяч кузнецов, оружейников, мясников, галантерейщиков, ювелиров, домашних хозяек, проституток, монахов, менял, солдат, бродяг, уцелевших книгочеев ворочались сейчас в душных, провонявших клопами постелях: спали, любились, пересчитывали в уме барыши, плакали, скрипели зубами от злости или от обиды... Двести тысяч человек! Было в них что-то общее для пришельца с Земли. Наверное, то, что все они почти без исключений были еще не людьми в современном смысле слова, а заготовками, болванками, из которых только кровавые века истории выточат когда-нибудь настоящего гордого и свободного человека. Они были пассивны, жадны и невероятно, фантастически эгоистичны. Психологически почти все они были рабами — рабами веры, рабами себе подобных, рабами страстишек, рабами корыстолюбия. И если волею судеб кто-нибудь из них рождался или становился господином, он не знал, что делать со своей свободой. Он снова торопился стать рабом — рабом богатства, рабом противоестественных излишеств, рабом распутных друзей, рабом своих рабов. Огромное большинство из них ни в чем не было виновато. Они были слишком пассивны и слишком невежественны. Рабство их зиждилось на пассивности и невежестве, а пассивность и невежество вновь и вновь порождали рабство. Если бы они все были одинаковы, руки опустились бы и не на что было бы надеяться. Но все-таки они были людьми, носителями искры разума. И постоянно, то тут, то там вспыхивали и разгорались в их толще огоньки неимоверно далекого и неизбежного

будущего. Вспыхивали, несмотря ни на что. Несмотря на всю их кажущуюся никчемность. Несмотря на гнет. Несмотря на то, что их затаптывали сапогами. Несмотря на то, что они были не нужны никому на свете и все на свете были против них. Несмотря на то, что в самом лучшем случае они могли рассчитывать на презрительную недоуменную жалость...

Они не знали, что будущее за них, что будущее без них невозможно. Они не знали, что в этом мире страшных призраков прошлого они являются единственной реальностью будущего, что они — фермент, витамин в организме общества. Уничтожьте этот витамин, и общество загниет, начнется социальная цинга, ослабеют мышцы, глаза потеряют зоркость, вывалятся зубы. Никакое государство не может развиваться без науки — его уничтожат соседи. Без искусств и общей культуры государство теряет способность к самокритике, принимается поощрять ошибочные тенденции, начинает ежесекундно порождать лицемеров и подонков, развивает в гражданах потребительство и самонадеянность и в конце концов опять-таки становится жертвой более благоразумных соседей. Можно сколько угодно преследовать книгочеев, запрещать науки, уничтожать искусства, но рано или поздно приходится спохватываться и со скрежетом зубовным, но открывать дорогу всему, что так ненавистно властолюбивым тупицам и невеждам. И как бы ни презирали знание эти серые люди, стоящие у власти, они ничего не могут сделать против исторической объективности, они могут только притормозить, но не остановить. Презирая и боясь знания, они все-таки неизбежно приходят к поощрению его для того, чтобы удержаться. Рано или поздно им приходится разрешать университеты, научные общества, создавать исследовательские центры, обсерватории, лаборатории, создавать кадры людей мысли и знания, людей, им уже неподконтрольных, людей с совершенно иной психологией, с совершенно иными потребностями, а эти люди не могут существовать и тем более функционировать в прежней атмосфере низкого корыстолюбия, кухонных интересов, тупого самодовольства и сугубо плотских потребностей. Им нужна новая атмосфера — атмосфера всеобщего и всеобъемлющего познания, пронизанная творческим напряжением, им нужны писатели, художники, композиторы, и серые люди, стоящие у власти, вынуждены идти и на эту уступку. Тот, кто упрямится, будет сметен более хитрыми соперниками в борьбе за власть, но тот, кто делает эту уступку, неизбежно и парадоксально, против своей воли роет тем самым себе могилу. Ибо смертелен для невежественных эгоистов и фанатиков рост культуры народа во всем диапазоне — от естественнонаучных исследований до способности

восхищаться большой музыкой... А затем приходит эпоха гигантских социальных потрясений, сопровождающихся невиданным ранее развитием науки и связанным с этим широчайшим процессом интеллектуализации общества, эпоха, когда серость дает последние бои, по жестокости возвращающие человечество к средневековью, в этих боях терпит поражение и исчезает как реальная сила навсегда.

Румата все смотрел на замерший во мраке город. Где-то там, в вонючей каморке, скорчившись на жалком ложе, горел в лихорадке изувеченный отец Тарра, а брат Нанин сидел возле него за колченогим столиком, пьяный, веселый и злой, и заканчивал свой «Трактат о слухах», с наслаждением маскируя казенными периодами яростную насмешку над серой жизнью. Где-то там слепо бродил в пустых роскошных апартаментах Гур Сочинитель, с ужасом ощущая, как, несмотря ни на что, из глубин его растерзанной, растоптанной души возникают под напором чего-то неведомого и прорываются в сознание яркие миры, полные замечательных людей и потрясающих чувств. И где-то там неведомо как коротал ночь надломленный, поставленный на колени доктор Будах, затравленный, но живой... Братья мои, подумал Румата. Я ваш, мы плоть от плоти вашей! С огромной силой он вдруг почувствовал, что никакой он не бог, ограждающий в ладонях светлячков разума, а брат, помогающий брату, сын, спасающий отца. «Я убью дона Рэбу». — «За что?» — «Он убивает моих братьев». — «Он не ведает, что творит». — «Он убивает будущее». — «Он не виноват, он сын своего века». — «То есть он не знает, что он виноват? Но мало ли чего он не знает? Я, я знаю, что он виноват». — «А что ты сделаешь с отцом Цупиком? Отец Цупик многое бы дал, чтобы кто-нибудь убил дона Рэбу. Молчишь? Многих придется убивать, не так ли?» — «Не знаю, может быть, и многих. Одного за другим. Всех, кто поднимет руку на будущее». — «Это уже было. Травили ядом, бросали самодельные бомбы. И ничего не менялось». — «Нет, менялось. Так создавалась стратегия революции». — «Тебе не нужно создавать стратегию революции. Тебе ведь хочется просто убить». — «Да, хочется». — «А ты умеешь?» — «Вчера я убил дону Окану. Я знал, что убиваю, еще когда шел к ней с пером за ухом. И я жалею только, что убил без пользы. Так что меня уже почти научили». — «А ведь это плохо. Это опасно. Помнишь Сергея Кожина? А Джорджа Лэнни? А Сабину Крюгер?» Румата провел ладонью по влажному лбу. Вот так думаешь, думаешь, думаешь — и в конце концов выдумываешь порох...

Он вскочил и распахнул окно. Кучки огней в темном городе пришли в движение, распались и потянулись цепочками, появляясь и исчезая между невидимыми домами. Какой-то звук возник над городом — отдаленный

многоголосый вой. Вспыхнули два пожара и озарили соседние крыши. Что-то заполыхало в порту. События начались. Через несколько часов станет понятно, что означает союз серых и ночных армий, противоестественный союз лавочников и грабителей с большой дороги, станет ясно, чего добивается дон Рэба и какую новую провокацию он задумал. Говоря проще: кого сегодня режут. Скорее всего, началась ночь длинных ножей, уничтожение зарвавшегося серого руководства, попутное истребление находящихся в городе баронов и наиболее неудобных аристократов. Как там Пампа, подумал он. Только бы не спал — отобьется...

Додумать ему не удалось. В дверь с истошным криком: «Отворите! Дежурный, отворите!» — забарабанили кулаками. Румата откинул засов. Ворвался полуодетый, сизый от ужаса человек, схватил Румату за отвороты камзола и закричал трясясь:

— Где принц? Будах отравил короля! Ируканские шпионы подняли бунт в городе! Спасайте принца!

Это был министр двора, человек глупый и крайне преданный. Оттолкнув Румату, он кинулся в спальню принца. Завизжали женщины. А в двери уже лезли, выставив ржавые топоры, потные мордастые штурмовики в серых рубахах. Румата обнажил мечи.

— Назад! — холодно сказал он.

За спиной из спальни донесся короткий задавленный вопль. Плохо дело, подумал Румата. Ничего не понимаю. Он отскочил в угол и загородился столом. Штурмовики, тяжело дыша, заполняли комнату. Их набралось человек пятнадцать. Вперед протолкался лейтенант в серой тесной форме, клинок наголо.

— Дон Румата? — сказал он, задыхаясь. — Вы арестованы. Отдайте мечи.

Румата оскорбительно засмеялся.

— Возьмите, — сказал он, косясь на окно.

— Взять его! — рявкнул офицер.

Пятнадцать упитанных увальней с топорами — не слишком много для человека, владеющего приемами боя, которые станут известны здесь лишь три столетия спустя. Толпа накатилась и откатилась. На полу осталось несколько топоров, двое штурмовиков скрючились и, бережно прижимая к животам вывихнутые руки, пролезли в задние ряды. Румата в совершенстве владел веерной защитой, когда перед нападающими сплошным сверкающим занавесом крутится сталь и кажется невозможным прорваться через этот занавес. Штурмовики, отдуваясь, нерешительно переглядывались. От них остро тянуло пивом и луком.

Румата отодвинул стол и осторожно пошел к окну вдоль стены. Кто-то из задних рядов метнул нож, но промахнулся. Румата опять засмеялся, поставил ногу на подоконник и сказал:

— Сунетесь еще раз — буду отрубать руки. Вы меня знаете...

Они его знали. Они его очень хорошо знали, и ни один из них не двинулся с места, несмотря на ругань и понукания офицера, державшегося, впрочем, тоже очень осторожно. Румата встал на подоконник, продолжая угрожать мечами, и в ту же минуту из темноты, со двора, в спину ему ударило тяжелое копье. Удар был страшен. Он не пробил металлопластовую рубашку, но сшиб Румату с подоконника и бросил на пол. Мечей Румата не выпустил, но толку от них уже не было никакого. Вся свора разом насела на него. Вместе они весили, наверное, больше тонны, но мешали друг другу, и ему удалось подняться на ноги. Он ударил кулаком в чьи-то мокрые губы, кто-то по-заячьи заверещал у него под мышкой, он бил и бил локтями, кулаками, плечами (давно он не чувствовал себя так свободно), но он не мог стряхнуть их с себя. С огромным трудом, волоча за собой кучу тел, он пошел к двери, по дороге наклоняясь и отдирая вцепившихся в ноги штурмовиков. Потом он ощутил болезненный удар в плечо и повалился на спину, под ним бились задавленные, но снова встал, нанося короткие, в полную силу удары, от которых штурмовики, размахивая руками и ногами, тяжело шлепались в стены; уже мелькало перед ним перекошенное лицо лейтенанта, выставившего перед собой разряженный арбалет, но тут дверь распахнулась, и навстречу ему полезли новые потные морды. На него накинули сеть, затянули на ногах веревки и повалили.

Он сразу перестал отбиваться, экономя силы. Некоторое время его топтали сапогами — сосредоточенно, молча, сладострастно хакая. Затем схватили за ноги и поволокли. Когда его тащили мимо раскрытой двери спальни, он успел увидеть министра двора, приколотого к стене копьем, и ворох окровавленных простыней на кровати. «Так это переворот! — подумал он. — Бедный мальчик...» Его поволокли по ступенькам, и тут он потерял сознание.

ГЛАВА 7

Он лежал на травянистом пригорке и смотрел на облака, плывущие в глубоком синем небе. Ему было хорошо и покойно, но на соседнем пригорке сидела колючая костлявая боль. Она была вне его и в то же время внутри, особенно в правом боку и в затылке. Кто-то рявкнул: «Сдох он, что ли? Головы оторву!» И тогда с неба обрушилась масса ледяной воды. Он действительно лежал на спине и смотрел в небо, только не на пригорке, а в луже, и небо было не синее, а черно-свинцовое, подсвеченное красным. «Ничего, — сказал другой голос. — Они живые, глазами лупают». Это я живой, подумал он. Это обо мне. Это я лупаю глазами. Но зачем они кривляются? Говорить разучились по-человечески?

Рядом кто-то зашевелился и грузно зашлепал по воде. На небе появился черный силуэт головы в остроконечной шапке.

— Ну как, благородный дон, сами пойдете или волочь вас?

— Развяжите ноги, — сердито сказал Румата, ощущая острую боль в разбитых губах. Он попробовал их языком. Ну и губы, подумал он. Оладьи, а не губы.

Кто-то завозился над его ногами, бесцеремонно дергая и ворочая их. Вокруг переговаривались негромкими голосами:

— Здорово вы его отделали...

— Так как же, он чуть не ушел... Заговоренный, стрелы отскакивают...

— Я одного знал такого, хоть топором бей, все нипочем.

— Так то небось мужик был...

— Ну, мужик...

— То-то и оно. А это благородных кровей.

— А, хвостом тя по голове... Узлов навязали, не разберешься... Огня дайте сюда!

— Да ты ножом.

— Ай, братья, ай, не развязывайте. Как он опять пойдет нас махать... Мне мало что голову не раздавил.

— Ладно, небось не начнет...

— Вы, братья, как хотите, а копьем я его бил по-настоящему. Я же так кольчуги пробивал.

Властный голос из темноты крикнул:

— Эй, скоро вы там?

Румата почувствовал, что ноги его свободны, напрягся и сел.

Несколько приземистых штурмовиков молча смотрели, как он ворочается в луже. Румата стиснул челюсти от стыда и унижения. Он подергал лопатками: руки были скручены за спиной, да так, что он даже не понимал, где у него локти, а где кисти. Он собрал все силы, рывком поднялся на ноги, и его сейчас же перекосило от страшной боли в боку. Штурмовики засмеялись.

— Небось не убежит, — сказал один.

— Да, притомились, хвостом тя по голове...

— Что, дон, не сладко?

— Хватит болтать, — сказал из темноты властный голос. — Идите сюда, дон Румата.

Румата пошел на голос, чувствуя, как его мотает из стороны в сторону. Откуда-то вынырнул человечек с факелом, пошел впереди. Румата узнал это место: один из бесчисленных внутренних двориков министерства охраны короны, где-то возле королевских конюшен. Он быстро сообразил — если поведут направо, значит, в Башню, в застенок. Если налево — в канцелярию. Он потряс головой. Ничего, подумал он. Раз жив, еще поборемся. Они свернули налево. Не сразу, подумал Румата. Будет предварительное следствие. Странно. Если дело дошло до следствия, в чем меня могут обвинить? Пожалуй, ясно. Приглашение отравителя Будаха, отравление короля, заговор против короны... Возможно, убийство принца. И, разумеется, шпионаж в пользу Ирукана, Соана, варваров, баронов, Святого Ордена и прочее, и прочее... Просто удивительно, как я еще жив. Значит, еще что-то задумал этот бледный гриб.

— Сюда, — сказал человек с властным голосом.

Он распахнул низенькую дверь, и Румата, согнувшись, вошел в обширное, освещенное дюжиной светильников помещение. Посередине на потертом ковре сидели и лежали связанные, окровавленные люди. Некоторые из них были либо уже мертвы, либо без сознания. Почти все были босы, в рваных ночных рубашках. Вдоль стен, небрежно опираясь на топоры и секиры, стояли красномордые штурмовики, свирепые и самодовольные — победители. Перед ними прохаживался — руки за спину — офицер при мече, в сером мундире с сильно засаленным воротником. Спутник Руматы, высокий человек в черном плаще, подошел к офицеру и что-то шепнул на ухо. Офицер кивнул, с интересом взглянул на Румату и скрылся за цветастыми портьерами на противоположном конце комнаты.

Штурмовики тоже с интересом рассматривали Румату. Один из них, с заплывшим глазом, сказал:

— А хорош камушек у дона!

— Камушек будь здоров, — согласился другой. — Королю впору. И обруч литого золота.

— Нынче мы сами короли.

— Так что, снимем?

— Пр-рекратить, — негромко сказал человек в черном плаще.

Штурмовики с недоумением воззрились на него.

— Это еще кто на нашу голову? — сказал штурмовик с заплывшим глазом.

Человек в плаще, не отвечая, повернулся к нему спиной, подошел к Румате и встал рядом. Штурмовики недобро оглядывали его с головы до ног.

— Никак поп? — сказал штурмовик с заплывшим глазом. — Эй, поп, хошь в лоб?

Штурмовики загоготали. Штурмовик с заплывшим глазом поплевал на ладони, перебрасывая топор из руки в руку, и двинулся к Румате. Ох и дам я ему сейчас, подумал Румата, медленно отводя назад правую ногу.

— Кого я всегда бил, — продолжал штурмовик, останавливаясь перед ним и разглядывая человека в черном, — так это попов, грамотеев всяких и мастеровщину. Бывало...

Человек в плаще вскинул руку ладонью вверх. Что-то звонко щелкнуло под потолком. Ж-ж-ж! Штурмовик с заплывшим глазом выронил топор и опрокинулся на спину. Из середины лба у него торчала короткая толстая арбалетная стрела с густым оперением. Стало тихо. Штурмовики попятились, боязливо шаря глазами по отдушинам под потолком. Человек в плаще опустил руку и приказал:

— Убрать падаль, быстро!

Несколько штурмовиков кинулись, схватили убитого за ноги и за руки и поволокли прочь. Из-за портьеры вынырнул серый офицер и приглашающе помахал.

— Пойдемте, дон Румата, — сказал человек в плаще.

Румата пошел к портьерам, огибая кучу пленных. Ничего не понимаю, думал он. За портьерами в темноте его схватили, обшарили, сорвали с пояса пустые ножны и вытолкнули на свет.

Румата сразу понял, куда он попал. Это был знакомый кабинет дона Рэбы в лиловых покоях. Дон Рэба сидел на том же месте и в совершенно той же позе, напряженно выпрямившись, положив локти на стол и сплетя пальцы. А ведь у старика геморрой, ни с того ни с сего с жалостью подумал Румата. Справа от дона Рэбы восседал отец Цупик, важный, сосредоточенный, с поджатыми губами, слева — благодушно

улыбающийся толстяк с нашивками капитана на сером мундире. Больше в кабинете никого не было. Когда Румата вошел, дон Рэба тихо и ласково сказал:

— А вот, друзья, и благородный дон Румата.

Отец Цупик пренебрежительно скривился, а толстяк благосклонно закивал.

— Наш старый и весьма последовательный недруг, — сказал дон Рэба.

— Раз недруг — повесить, — хрипло сказал отец Цупик.

— А ваше мнение, брат Аба? — спросил дон Рэба, предупредительно наклоняясь к толстяку.

— Вы знаете... Я как-то даже... — Брат Аба растерянно, по-детски улыбнулся, разведя коротенькие ручки. — Как-то мне, знаете ли, все равно. Но, может быть, все-таки не вешать?.. Может быть, сжечь, как вы полагаете, дон Рэба?

— Да, пожалуй, — задумчиво сказал дон Рэба.

— Вы понимаете, — продолжал очаровательный брат Аба, ласково улыбаясь Румате, — вешают отребье, мелочь... А мы должны сохранять у народа уважительное отношение к сословиям. Все-таки отпрыск древнего рода, крупный ируканский шпион... Ируканский, кажется, я не ошибаюсь? — Он схватил со стола листок и близоруко всмотрелся. — Ах, еще и соанский... Тем более!

— Сжечь так сжечь, — согласился отец Цупик.

— Хорошо, — сказал дон Рэба. — Договорились. Сжечь.

— Впрочем, я думаю, дон Румата может облегчить свою участь, — сказал брат Аба. — Вы меня понимаете, дон Рэба?

— Признаться, не совсем...

— Имущество! Мой благородный дон, имущество! Руматы — сказочно богатый род!..

— Вы, как всегда, правы, — сказал дон Рэба.

Отец Цупик зевнул, прикрывая рот рукой, и покосился на лиловые портьеры справа от стола.

— Что ж, тогда начнем по всей форме, — со вздохом сказал дон Рэба.

Отец Цупик все косился на портьеры. Он явно чего-то ждал и совершенно не интересовался допросом. Что за комедия? — думал Румата. Что это значит?

— Итак, мой благородный дон, — сказал дон Рэба, обращаясь к Румате, — было бы чрезвычайно приятно услышать ваши ответы на некоторые интересующие нас вопросы.

— Развяжите мне руки, — сказал Румата.

Отец Цупик встрепенулся и с сомнением пожевал губами. Брат Аба отчаянно замотал головой.

— А? — сказал дон Рэба и посмотрел сначала на брата Аба, а потом на отца Цупика. — Я вас понимаю, друзья мои. Однако, принимая во внимание обстоятельства, о которых дон Румата, вероятно, догадывается... — Он выразительным взглядом обвел ряды отдушин под потолком. — Развяжите ему руки, — сказал он, не повышая голоса.

Кто-то неслышно подошел сзади. Румата почувствовал, как чьи-то странно мягкие, ловкие пальцы коснулись его рук, послышался скрип разрезаемых веревок. Брат Аба с неожиданной для его комплекции резвостью извлек из-под стола огромный боевой арбалет и положил перед собой прямо на бумаги. Руки Руматы, как плети, упали вдоль тела. Он почти не чувствовал их.

— Итак, начнем, — бодро сказал дон Рэба. — Ваше имя, род, звание?

— Румата, из рода Румат Эсторских. Благородный дворянин до двадцать второго предка.

Румата огляделся, сел на софу и стал массировать кисти рук. Брат Аба, взволнованно сопя, взял его на прицел.

— Ваш отец?

— Мой благородный отец — имперский советник, преданный слуга и личный друг императора.

— Он жив?

— Он умер.

— Давно?

— Одиннадцать лет назад.

— Сколько вам лет?

Румата не успел ответить. За лиловой портьерой послышался шум, брат Аба недовольно оглянулся. Отец Цупик, зловеще усмехаясь, медленно поднялся.

— Ну, вот и все, государи мои!.. — начал он весело и злорадно.

Из-за портьер выскочили трое людей, которых Румата меньше всего ожидал увидеть здесь. Отец Цупик, по-видимому, тоже. Это были здоровенные монахи в черных рясах с клобуками, надвинутыми на глаза. Они быстро и бесшумно подскочили к отцу Цупику и взяли его за локти.

— А... н-ня... — промямлил отец Цупик. Лицо его покрылось смертельной бледностью. Несомненно, он ожидал чего-то совсем другого.

— Как вы полагаете, брат Аба? — спокойно осведомился дон Рэба, наклоняясь к толстяку.

— Ну, разумеется! — решительно отозвался тот. — Несомненно!

Дон Рэба сделал слабое движение рукой. Монахи приподняли отца Цупика и, все так же бесшумно ступая, вынесли за портьеры. Румата гадливо поморщился. Брат Аба потер мягкие лапки и бодро сказал:

— Все обошлось превосходно, как вы думаете, дон Рэба?

— Да, неплохо, — согласился дон Рэба. — Однако продолжим. Итак, сколько же вам лет, дон Румата?

— Тридцать пять.

— Когда вы прибыли в Арканар?

— Пять лет назад.

— Откуда?

— До этого я жил в Эсторе, в родовом замке.

— А какова была цель этого перемещения?

— Обстоятельства вынудили меня покинуть Эстор. Я искал столицу, сравнимую по блеску со столицей метрополии...

По рукам побежали, наконец, огненные мурашки. Румата терпеливо и настойчиво продолжал массировать распухшие кисти.

— А все-таки, что же это были за обстоятельства? — спросил дон Рэба.

— Я убил на дуэли члена августейшей семьи.

— Вот как? Кого же именно?

— Молодого герцога Экину.

— В чем причина дуэли?

— Женщина, — коротко сказал Румата.

У него появилось ощущение, что все эти вопросы ничего не значат. Что это такая же игра, как и обсуждение способа казни. Все трое чего-то ждут. Я жду, когда у меня отойдут руки. Брат Аба — дурак — ждет, когда ему на колени посыплется золото из родовой сокровищницы дона Руматы. Дон Рэба тоже чего-то ждет... Но монахи, монахи! Откуда во дворце монахи? Да еще такие умелые бойкие ребята?..

— Имя женщины?

Ну и вопросы, подумал Румата. Глупее не придумаешь. Попробую-ка я их расшевелить...

— Дона Рита, — ответил он.

— Не ожидал, что вы ответите. Благодарю вас...

— Всегда готов к услугам.

Дон Рэба поклонился.

— Вам приходилось бывать в Ирукане?

— Нет.

— Вы уверены?

— Вы тоже.

— Мы хотим правды! — наставительно сказал дон Рэба. Брат Аба покивал. — Одной только правды!

— Ага, — сказал Румата. — А мне показалось... — Он замолчал.

— Что вам показалось?

— Мне показалось, что вы главным образом хотите прибрать к рукам мое родовое имущество. Решительно не представляю себе, дон Рэба, каким образом вы надеетесь его получить?

— А дарственная? А дарственная? — вскричал брат Аба.

Румата засмеялся как можно более нагло.

— Ты дурак, брат Аба, или как тебя там... Сразу видно, что ты лавочник. Тебе что, неизвестно, что майорат не подлежит передаче в чужие руки?

Было видно, что брат Аба здорово рассвирепел, но сдерживается.

— Вам не следует разговаривать в таком тоне, — мягко сказал дон Рэба.

— Вы хотите правды? — возразил Румата. — Вот вам правда, истинная правда и только правда: брат Аба — дурак и лавочник.

Однако брат Аба уже овладел собой.

— Мне кажется, мы отвлеклись, — сказал он с улыбкой. — Как вы полагаете, дон Рэба?

— Вы, как всегда, правы, — сказал дон Рэба. — Благородный дон, а не приходилось ли вам бывать в Соане?

— Я был в Соане.

— С какой целью?

— Посетить Академию наук.

— Странная цель для молодого человека вашего положения.

— Мой каприз.

— А знакомы ли вы с генеральным судьей Соана доном Кондором?

Румата насторожился.

— Это старинный друг нашей семьи.

— Благороднейший человек, не правда ли?

— Весьма почтенная личность.

— А вам известно, что дон Кондор — участник заговора против его величества?

Румата задрал подбородок.

— Зарубите себе на носу, дон Рэба, — сказал он высокомерно. — Для нас, коренного дворянства метрополии, все эти Соаны и Ируканы, да и Арканар, были и всегда останутся вассалами имперской короны. — Он

положил ногу на ногу и отвернулся.

Дон Рэба задумчиво глядел на него.

— Вы богаты?

— Я мог бы скупить весь Арканар, но меня не интересуют помойки...

Дон Рэба вздохнул.

— Мое сердце обливается кровью, — сказал он. — Обрубить столь славный росток столь славного рода!.. Это было бы преступлением, если бы не вызывалось государственной необходимостью.

— Поменьше думайте о государственной необходимости, — сказал Румата, — и побольше думайте о собственной шкуре.

— Вы правы, — сказал дон Рэба и щелкнул пальцами.

Румата быстро напряг и вновь распустил мышцы. Кажется, тело работало. Из-за портьеры снова выскочили трое монахов. Все с той же неуловимой быстротой и точностью, свидетельствующими об огромном опыте, они сомкнулись вокруг еще продолжавшего умильно улыбаться брата Аба, схватили его и завернули руки за спину.

— Ой-ей-ей-ей!.. — завопил брат Аба. Толстое лицо его исказилось от боли.

— Скорее, скорее, не задерживайтесь! — брезгливо сказал дон Рэба.

Толстяк бешено упирался, пока его тащили за портьеры. Слышно было, как он кричит и взвизгивает, затем он вдруг заорал жутким, неузнаваемым голосом и сразу затих. Дон Рэба встал и осторожно разрядил арбалет. Румата ошарашенно следил за ним.

Дон Рэба прохаживался по комнате, задумчиво почесывая спину арбалетной стрелой. «Хорошо, хорошо, — бормотал он почти нежно. — Прелестно!..» Он словно забыл про Румату. Шаги его все убыстрялись, он помахивал на ходу стрелой, как дирижерской палочкой. Потом он вдруг резко остановился за столом, отшвырнул стрелу, осторожно сел и сказал, улыбаясь во все лицо:

— Как я их, а?.. Никто и не пикнул!.. У вас, я думаю, так не могут...

Румата молчал.

— Да-а... — протянул дон Рэба мечтательно. — Хорошо! Ну что ж, а теперь поговорим, дон Румата... А может быть, не Румата?.. И, может быть, даже и не дон? А?..

Румата промолчал, с интересом его разглядывая. Бледненький, с красными жилками на носу, весь трясется от возбуждения, так и хочется ему закричать, хлопая в ладоши: «А я знаю! А я знаю!» А ведь ничего ты не знаешь, сукин сын. А узнаешь, так не поверишь. Ну, говори, говори, я слушаю.

— Я вас слушаю, — сказал он.

— Вы не дон Румата, — объявил дон Рэба. — Вы самозванец. — Он строго смотрел на Румату. — Румата Эсторский умер пять лет назад и лежит в фамильном склепе своего рода. И святые давно упокоили его мятежную и, прямо скажем, не очень чистую душу. Вы как, сами призн`аетесь, или вам помочь?

— Сам признаюсь, — сказал Румата. — Меня зовут Румата Эсторский, и я не привык, чтобы в моих словах сомневались.

Попробую-ка я тебя немножко рассердить, подумал он. Бок болит, а то бы я тебя поводил за салом.

— Я вижу, что нам придется продолжать разговор в другом месте, — зловеще сказал дон Рэба.

С лицом его происходили удивительные перемены. Исчезла приятная улыбка, губы сжались в прямую линию. Странно и жутковато задвигалась кожа на лбу. Да, подумал Румата, такого можно испугаться.

— У вас правда геморрой? — участливо спросил он.

В глазах у дона Рэбы что-то мигнуло, но выражения лица он не изменил. Он сделал вид, что не расслышал.

— Вы плохо использовали Будаха, — сказал Румата. — Это отличный специалист. Был... — добавил он значительно.

В выцветших глазах снова что-то мигнуло. Ага, подумал Румата, а ведь Будах-то еще жив... Он уселся поудобнее и обхватил руками колено.

— Итак, вы отказываетесь признаться, — произнес дон Рэба.

— В чем?

— В том, что вы самозванец.

— Почтенный Рэба, — сказал Румата наставительно, — такие вещи доказывают. Ведь вы меня оскорбляете!

На лице дона Рэбы появилась приторность.

— Мой дорогой дон Румата, — сказал он. — Простите, пока я буду называть вас этим именем. Так вот, обыкновенно я никогда ничего не доказываю. Доказывают там, в Веселой Башне. Для этого я содержу опытных, хорошо оплачиваемых специалистов, которые с помощью мясокрутки святого Мики, поножей господа бога, перчаток великомученицы Паты или, скажем, сиденья... э-э-э... виноват, кресла Тоца-воителя могут доказать все, что угодно. Что бог есть и бога нет. Что люди ходят на руках и люди ходят на боках. Вы понимаете меня? Вам, может быть, неизвестно, но существует целая наука о добывании доказательств. Посудите сами: зачем мне доказывать то, что я и сам знаю? И потом ведь признание вам ничем не грозит...

— Мне не грозит, — сказал Румата. — Оно грозит вам.

Некоторое время дон Рэба размышлял.

— Хорошо, — сказал он. — Видимо, начать придется все-таки мне. Давайте посмотрим, в чем замечен дон Румата Эсторский за пять лет своей загробной жизни в Арканарском королевстве. А вы потом объясните мне смысл всего этого. Согласны?

— Мне бы не хотелось давать опрометчивых обещаний, — сказал Румата, — но я с интересом вас выслушаю.

Дон Рэба, покопавшись в письменном столе, вытащил квадратик плотной бумаги и, подняв брови, просмотрел его.

— Да будет вам известно, — начал он, приветливо улыбаясь, — да будет вам известно, что мною, министром охраны арканарской короны, были предприняты некоторые действия против так называемых книгочеев, ученых и прочих бесполезных и вредных для государства людей. Эти акции встретили некое странное противодействие. В то время как весь народ в едином порыве, храня верность королю, а также арканарским традициям, всячески помогал мне: выдавал укрывшихся, расправлялся самосудно, указывал на подозрительных, ускользнувших от моего внимания, — в это время кто-то неведомый, но весьма энергичный выхватывал у нас из-под носа и переправлял за пределы королевства самых важных, самых отпетых и отвратительных преступников. Так ускользнули от нас: безбожный астролог Багир Киссэнский; преступный алхимик Синда, связанный, как доказано, с нечистой силой и с ируканскими властями; мерзкий памфлетист и нарушитель спокойствия Цурэн и ряд иных рангом поменьше. Куда-то скрылся сумасшедший колдун и механик Кабани. Кем-то была затрачена уйма золота, чтобы помешать свершиться гневу народному в отношении богомерзких шпионов и отравителей, бывших лейб-знахарей его величества. Кто-то при поистине фантастических обстоятельствах, заставляющих опять-таки вспомнить о враге рода человеческого, освободил из-под стражи чудовище разврата и растлителя народных душ, атамана крестьянского бунта Арату Горбатого... — Дон Рэба остановился и, двигая кожей на лбу, значительно посмотрел на Румату. Румата, подняв глаза к потолку, мечтательно улыбался. Арату Горбатого он похитил, прилетев за ним на вертолете. На стражников это произвело громадное впечатление. На Арату, впрочем, тоже. А все-таки я молодец, подумал он. Хорошо поработал.

— Да будет вам известно, — продолжал дон Рэба, — что указанный атаман Арата в настоящее время гуляет во главе взбунтовавшихся холопов по восточным областям метрополии, обильно проливая благородную кровь

и не испытывая недостатка ни в деньгах, ни в оружии.

— Верю, — сказал Румата. — Он сразу показался мне очень решительным человеком.

— Итак, вы признаетесь? — сейчас же сказал дон Рэба.

— В чем? — удивился Румата.

Некоторое время они смотрели друг другу в глаза.

— Я продолжаю, — сказал дон Рэба. — На спасение этих растлителей душ вы, дон Румата, по моим скромным и неполным подсчетам, потратили не менее трех пудов золота. Я не говорю о том, что при этом вы навеки осквернили себя общением с нечистой силой. Я не говорю также и о том, что за все время пребывания в пределах Арканарского королевства вы не получили из своих эсторских владений даже медного гроша, да и с какой стати? Зачем снабжать деньгами покойника, хотя бы даже и родного? Но ваше золото!

Он открыл шкатулку, погребенную под бумагами на столе, и извлек из нее горсть золотых монет с профилем Пица Шестого.

— Одного этого золота достаточно было бы для того, чтобы сжечь вас на костре! — завопил он. — Это дьявольское золото! Человеческие руки не в силах изготовить металл такой чистоты!

Он сверлил Румату взглядом. Да, великодушно подумал Румата, это он молодец. Этого мы, пожалуй, недодумали. И, пожалуй, он первый заметил. Это надо учесть... Рэба вдруг снова погас. В голосе его зазвучали участливые отеческие нотки:

— И вообще вы ведете себя очень неосторожно, дон Румата. Я все это время так волновался за вас... Вы такой дуэлянт, вы такой задира! Сто двадцать шесть дуэлей за пять лет! И ни одного убитого... В конце концов из этого могли сделать выводы. Я, например, сделал. И не только я. Этой ночью, например, брат Аба — нехорошо говорить дурно о покойниках, но это был очень жестокий человек, я его терпел с трудом, признаться... Так вот, брат Аба выделил для вашего ареста не самых умелых бойцов, а самых толстых и сильных. И он оказался прав. Несколько вывихнутых рук, несколько отдавленных шей, выбитые зубы не в счет... и вот вы здесь! А ведь вы не могли не знать, что деретесь за свою жизнь. Вы мастер. Вы, несомненно, лучший меч Империи. Вы, несомненно, продали душу дьяволу, ибо только в аду можно научиться этим невероятным, сказочным приемам боя. Я готов даже допустить, что это умение было дано вам с условием не убивать. Хотя трудно представить, зачем дьяволу понадобилось такое условие. Но пусть в этом разбираются наши схоласты...

Тонкий поросячий визг прервал его. Он недовольно посмотрел на лиловые портьеры. За портьерами дрались. Слышались глухие удары, визг: «Пустите! Пустите!» — и еще какие-то хриплые голоса, ругань, возгласы на непонятном наречии. Потом портьера с треском оборвалась и упала. В кабинет ввалился и рухнул на четвереньки какой-то человек, плешивый, с окровавленным подбородком, с дико вытаращенными глазами. Из-за портьеры высунулись огромные лапы, схватили человека за ноги и поволокли обратно. Румата узнал его: это был Будах. Он дико кричал:

— Обманули!.. Обманули!.. Это же был яд! За что?..

Его утащили в темноту. Кто-то в черном быстро подхватил и повесил портьеру. В наступившей тишине из-за портьер послышались отвратительные звуки — кого-то рвало. Румата понял.

— Где Будах? — спросил он резко.

— Как видите, с ним случилось какое-то несчастье, — ответил дон Рэба, но было заметно, что он растерялся.

— Не морочьте мне голову, — сказал Румата. — Где Будах?

— Ах, дон Румата, — сказал дон Рэба, качая головой. Он сразу оправился. — На что вам Будах? Он что, ваш родственник? Ведь вы его даже никогда не видели.

— Слушайте, Рэба! — сказал Румата бешено. — Я с вами не шучу! Если с Будахом что-нибудь случится, вы подохнете, как собака. Я раздавлю вас.

— Не успеете, — быстро сказал дон Рэба. Он был очень бледен.

— Вы дурак, Рэба. Вы опытный интриган, но вы ничего не понимаете. Никогда в жизни вы еще не брались за такую опасную игру, как сейчас. И вы даже не подозреваете об этом.

Дон Рэба сжался за столом, глазки его горели, как угольки. Румата чувствовал, что сам он тоже никогда еще не был так близок к гибели. Карты раскрывались. Решалось, кому быть хозяином в этой игре. Румата напрягся, готовясь прыгнуть. Никакое оружие — ни копье, ни стрела — не убивает мгновенно. Эта мысль отчетливо проступила на физиономии дона Рэбы. Геморроидальный старик хотел жить.

— Ну что вы, в самом деле, — сказал он плаксиво. — Сидели, разговаривали... Да жив ваш Будах, успокойтесь, жив и здоров. Он меня еще лечить будет. Не надо горячиться.

— Где Будах?

— В Веселой Башне.

— Он мне нужен.

— Мне он тоже нужен, дон Румата.

— Слушайте, Рэба, — сказал Румата, — не сердите меня. И перестаньте притворяться. Вы же меня боитесь. И правильно делаете. Будах принадлежит мне, понимаете? Мне!

Теперь они оба стояли. Рэба был страшен. Он посинел, губы его судорожно дергались, он что-то бормотал, брызгая слюной.

— Мальчишка! — прошипел он. — Я никого не боюсь! Это я могу раздавить тебя, как пиявку!

Он вдруг повернулся и рванул гобелен, висевший за его спиной. Открылось широкое окно.

— Смотри!

Румата подошел к окну. Оно выходило на площадь перед дворцом. Уже занималась заря. В серое небо поднимались дымы пожаров. На площади валялись трупы. А в центре ее чернел ровный неподвижный квадрат. Румата вгляделся. Это были всадники, стоящие в неправдоподобно точном строю, в длинных черных плащах, в черных клобуках, скрывающих глаза, с черными треугольными щитами на левой руке и с длинными пиками в правой.

— Пр-рошу! — сказал дон Рэба лязгающим голосом. Он весь трясся. — Смиренные дети господа нашего, конница Святого Ордена. Высадились сегодня ночью в Арканарском порту для подавления варварского бунта ночных оборванцев Ваги Колеса вкупе с возомнившими о себе лавочниками! Бунт подавлен. Святой Орден владеет городом и страной, отныне Арканарской областью Ордена...

Румата невольно почесал в затылке. Вот это да, подумал он. Так вот для кого мостили дорогу несчастные лавочники. Вот это провокация! Дон Рэба торжествующе скалил зубы.

— Мы еще не знакомы, — тем же лязгающим голосом продолжал он. — Позвольте представиться: наместник Святого Ордена в Арканарской области, епископ и боевой магистр раб божий Рэба!

А ведь можно было догадаться, думал Румата. Там, где торжествует серость, к власти всегда приходят черные. Эх, историки, хвостом вас по голове... Но он заложил руки за спину и покачался с носков на пятку.

— Сейчас я устал, — сказал он брезгливо. — Я хочу спать. Я хочу помыться в горячей воде и смыть с себя кровь и слюни ваших головорезов. Завтра... точнее, сегодня... скажем, через час после восхода, я зайду в вашу канцелярию. Приказ на освобождение Будаха должен быть готов к этому времени.

— Их двадцать тысяч! — крикнул дон Рэба, указывая рукой в окно.

Румата поморщился.

— Немножко тише, пожалуйста, — сказал он. — И запомните, Рэба: я отлично знаю, что никакой вы не епископ. Я вижу вас насквозь. Вы просто грязный предатель и неумелый дешевый интриган... — Дон Рэба облизнул губы, глаза его остекленели. Румата продолжал: — Я беспощаден. За каждую подлость по отношению ко мне или к моим друзьям вы ответите головой. Я вас ненавижу, учтите это. Я согласен вас терпеть, но вам придется научиться вовремя убираться с моей дороги. Вы поняли меня?

Дон Рэба торопливо сказал, просительно улыбаясь:

— Я хочу одного. Я хочу, чтобы вы были при мне, дон Румата. Я не могу вас убить. Не знаю почему, но не могу.

— Боитесь, — сказал Румата.

— Ну и боюсь, — согласился дон Рэба. — Может быть, вы дьявол. Может быть, сын бога. Кто вас знает? А может быть, вы человек из могущественных заморских стран: говорят, есть такие... Я даже не пытаюсь заглянуть в пропасть, которая вас извергла. У меня кружится голова, и я чувствую, что впадаю в ересь. Но я тоже могу убить вас. В любую минуту. Сейчас. Завтра. Вчера. Это вы понимаете?

— Это меня не интересует, — сказал Румата.

— А что же? Что вас интересует?

— А меня ничто не интересует, — сказал Румата. — Я развлекаюсь. Я не дьявол и не бог, я кавалер Румата Эсторский, веселый благородный дворянин, обремененный капризами и предрассудками и привыкший к свободе во всех отношениях. Запомнили?

Дон Рэба уже пришел в себя. Он утерся платочком и приятно улыбнулся.

— Я ценю ваше упорство, — сказал он. — В конце концов, вы тоже стремитесь к каким-то идеалам. И я уважаю эти идеалы, хотя и не понимаю их. Я очень рад, что мы объяснились. Возможно, вы когда-нибудь изложите мне свои взгляды, и совершенно не исключено, что вы заставите меня пересмотреть мои. Люди склонны совершать ошибки. Может быть, я ошибаюсь и стремлюсь не к той цели, ради которой стоило бы работать так усердно и бескорыстно, как работаю я. Я человек широких взглядов, и я вполне могу представить себе, что когда-нибудь стану работать с вами плечом к плечу...

— Там видно будет, — сказал Румата и пошел к двери. Ну и слизняк! — подумал он. Тоже мне сотрудничек. Плечом к плечу...

Город был поражен невыносимым ужасом. Красноватое утреннее солнце угрюмо озаряло пустынные улицы, дымящиеся развалины,

сорванные ставни, взломанные двери. В пыли кроваво сверкали осколки стекол. Неисчислимые полчища ворон спустились на город, как на чистое поле. На площадях и перекрестках по двое и по трое торчали всадники в черном — медленно поворачивались в седлах всем туловищем, поглядывая сквозь прорези в низко надвинутых клобуках. С наспех врытых столбов свисали на цепях обугленные тела над погасшими углями. Казалось, ничего живого не осталось в городе — только орущие вороны и деловитые убийцы в черном.

Половину дороги Румата прошел с закрытыми глазами. Он задыхался, мучительно болело избитое тело. Люди это или не люди? Что в них человеческого? Одних режут прямо на улицах, другие сидят по домам и покорно ждут своей очереди. И каждый думает: кого угодно, только не меня. Хладнокровное зверство тех, кто режет, и хладнокровная покорность тех, кого режут. Хладнокровие, вот что самое страшное. Десять человек стоят, замерев от ужаса, и покорно ждут, а один подходит, выбирает жертву и хладнокровно режет ее. Души этих людей полны нечистот, и каждый час покорного ожидания загрязняет их все больше и больше. Вот сейчас в этих затаившихся домах невидимо рождаются подлецы, доносчики, убийцы; тысячи людей, пораженных страхом на всю жизнь, будут беспощадно учить страху своих детей и детей своих детей. Я не могу больше, твердил про себя Румата. Еще немного, и я сойду с ума и стану таким же, еще немного, и я окончательно перестану понимать, зачем я здесь... Нужно отлежаться, отвернуться от всего этого, успокоиться...

«...В конце года Воды — такой-то год по новому летосчислению — центробежные процессы в древней Империи стали значимыми. Воспользовавшись этим, Святой Орден, представлявший, по сути, интересы наиболее реакционных групп феодального общества, которые любыми средствами стремились приостановить диссипацию...» А как пахли горящие трупы на столбах, вы знаете? А вы видели когда-нибудь голую женщину со вспоротым животом, лежащую в уличной пыли? А вы видели города, в которых люди молчат и кричат только вороны? Вы, еще не родившиеся мальчики и девочки перед учебным стереовизором в школах Арканарской Коммунистической Республики?

Он ударился грудью в твердое и острое. Перед ним был черный всадник. Длинное копье с широким, аккуратно зазубренным лезвием упиралось Румате в грудь. Всадник молча глядел на него черными щелями в капюшоне. Из-под капюшона виднелся только тонкогубый рот с маленьким подбородком. Надо что-то делать, подумал Румата. Только что? Сбить его с лошади? Нет. Всадник начал медленно отводить копье для

удара. Ах да!.. Румата вяло поднял левую руку и оттянул на ней рукав, открывая железный браслет, который ему дали при выходе из дворца. Всадник присмотрелся, поднял копье и проехал мимо. «Во имя господа», — глухо сказал он со странным акцентом. «Именем его», — пробормотал Румата и пошел дальше мимо другого всадника, который старался достать копьем искусно вырезанную деревянную фигурку веселого чертика, торчащую под карнизом крыши. За полуоторванной ставней на втором этаже мелькнуло помертвевшее от ужаса толстое лицо — должно быть, одного из тех лавочников, что еще три дня назад за кружкой пива восторженно орали: «Ура дону Рэбе!» и с наслаждением слушали гррум, гррум, гррум подкованных сапог по мостовым. Эх, серость, серость... Румата отвернулся.

А как у меня дома? — вспомнил вдруг он и ускорил шаги. Последний квартал он почти пробежал. Дом был цел. На ступеньках сидели двое монахов, капюшоны они откинули и подставили солнцу плохо выбритые головы. Увидев его, они встали. «Во имя господа», — сказали они хором. «Именем его, — отозвался Румата. — Что вам здесь надо?» Монахи поклонились, сложив руки на животе. «Вы пришли, и мы уходим», — сказал один. Они спустились со ступенек и неторопливо побрели прочь, ссутулившись и сунув руки в рукава. Румата поглядел им вслед и вспомнил, что тысячи раз он видел на улицах эти смиренные фигуры в долгополых черных рясах. Только раньше не волочились за ними в пыли ножны тяжеленных мечей. Проморгали, ах, как проморгали! — подумал он. Какое это было развлечение для благородных донов — пристроиться к одиноко бредущему монаху и рассказывать друг другу через его голову пикантные истории. А я, дурак, притворяясь пьяным, плелся позади, хохотал во все горло и так радовался, что Империя не поражена хоть религиозным фанатизмом... А что можно было сделать? Да, _что_ _можно_ _было_ _сделать_?

— Кто там? — спросил дребезжащий голос.

— Открой, Муга, это я, — сказал Румата негромко.

Загремели засовы, дверь приоткрылась, и Румата протиснулся в прихожую. Здесь все было, как обычно, и Румата облегченно вздохнул. Старый, седой Муга, тряся головой, с привычной почтительностью потянулся за каской и мечами.

— Что Кира? — спросил Румата.

— Кира наверху, — сказал Муга. — Она здорова.

— Отлично, — сказал Румата, вылезая из перевязей с мечами. — А где Уно? Почему он не встречает меня?

Муга принял меч.

— Уно убит, — сказал он спокойно. — Лежит в людской.

Румата закрыл глаза.

— Уно убит... — повторил он. — Кто его убил?

Не дождавшись ответа, он пошел в людскую. Уно лежал на столе, накрытый до пояса простыней, руки его были сложены на груди, глаза широко открыты, рот сведен гримасой. Понурые слуги стояли вокруг стола и слушали, как бормочет монах в углу. Всхлипывала кухарка. Румата, не спуская глаз с лица мальчика, стал отстегивать непослушными пальцами воротник камзола.

— Сволочи... — сказал он. — Какие все сволочи!..

Он качнулся, подошел к столу, всмотрелся в мертвые глаза, приподнял простыню и сейчас же снова опустил ее.

— Да, поздно, — сказал он. — Поздно... Безнадежно... Ах, сволочи! Кто его убил? Монахи?

Он повернулся к монаху, рывком поднял его и нагнулся над его лицом.

— Кто убил? — сказал он. — Ваши? Говори!

— Это не монахи, — тихо сказал за его спиной Муга. — Это серые солдаты...

Румата еще некоторое время вглядывался в худое лицо монаха, в его медленно расширяющиеся зрачки. «Во имя господа...» — просипел монах. Румата отпустил его, сел на скамью в ногах Уно и заплакал. Он плакал, закрыв лицо ладонями, и слушал дребезжащий равнодушный голос Муги. Муга рассказывал, как после второй стражи в дверь постучали именем короля и Уно кричал, чтобы не открывали, но открыть все-таки пришлось, потому что серые грозились поджечь дом. Они ворвались в прихожую, избили и повязали слуг, а затем полезли по лестнице наверх. Уно, стоявший у входа в покои, начал стрелять из арбалетов. У него было два арбалета, и он успел выстрелить дважды, но один раз промахнулся. Серые метнули ножи, и Уно упал. Они стащили его вниз и стали топтать ногами и бить топорами, но тут в дом вошли черные монахи. Они зарубили двух серых, а остальных обезоружили, накинули им петли на шеи и выволокли на улицу.

Голос Муги умолк, но Румата еще долго сидел, опершись локтями на стол в ногах у Уно. Потом он тяжело поднялся, стер рукавом слезы, застрявшие в двухдневной щетине, поцеловал мальчика в ледяной лоб и, с трудом переставляя ноги, побрел наверх.

Он был полумертв от усталости и потрясения. Кое-как вскарабкавшись по лестнице, он прошел через гостиную, добрался до кровати и со стоном повалился лицом в подушки. Прибежала Кира. Он был так измучен, что

даже не мог помочь ей раздеть себя. Она стащила с него ботфорты, потом, плача над его опухшим лицом, содрала с него рваный мундир, металлопластовую рубашку и еще поплакала над его избитым телом. Только теперь он почувствовал, что у него болят все кости, как после испытаний на перегрузку. Кира обтирала его губкой, смоченной в уксусе, а он, не открывая глаз, шипел сквозь стиснутые губы и бормотал: «А ведь мог его стукнуть... Рядом стоял... Двумя пальцами придавить... Разве это жизнь, Кира? Уедем отсюда... Это Эксперимент надо мной, а не над ними». Он даже не замечал, что говорит по-русски. Кира испуганно взглядывала на него стеклянными от слез глазами и только молча целовала его в щеки. Потом она накрыла его изношенными простынями — Уно так и не собрался купить новые — и побежала вниз приготовить ему горячего вина, а он сполз с постели и, охая от ломающей тело боли, пошлепал босыми ногами в кабинет, открыл в столе секретный ящичек, покопался в аптечке и принял несколько таблеток спорамина. Когда Кира вернулась с дымящимся котелком на тяжелом серебряном подносе, он лежал на спине и слушал, как уходит боль, унимается шум в голове и тело наливается новой силой и бодростью. Опростав котелок, он почувствовал себя совсем хорошо, позвал Мугу и велел приготовить одеться.

— Не ходи, Румата, — сказала Кира. — Не ходи. Оставайся дома.

— Надо, маленькая.

— Я боюсь, останься... Тебя убьют.

— Ну что ты? С какой стати меня убивать? Они меня все боятся.

Она снова заплакала. Она плакала тихо, робко, как будто боялась, что он рассердится. Румата усадил ее к себе на колени и стал гладить ее волосы.

— Самое страшное позади, — сказал он. — И потом ведь мы собирались уехать отсюда...

Она затихла, прижавшись к нему. Муга, тряся головой, равнодушно стоял рядом, держа наготове хозяйские штаны с золотыми бубенчиками.

— Но прежде нужно многое сделать здесь, — продолжал Румата. — Сегодня ночью многих убили. Нужно узнать, кто цел и кто убит. И нужно помочь спастись тем, кого собираются убить.

— А тебе кто поможет?

— Счастлив тот, кто думает о других... И потом нам с тобой помогают могущественные люди.

— Я не могу думать о других, — сказала она. — Ты вернулся чуть живой. Я же вижу: тебя били. Уно они убили совсем. Куда же смотрели твои могущественные люди? Почему они не помешали убивать? Не верю...

Не верю...

Она попыталась высвободиться, но он крепко держал ее.

— Что поделаешь, — сказал он. — На этот раз они немного запоздали. Но теперь они снова следят за нами и берегут нас. Почему ты не веришь мне сегодня? Ведь ты всегда верила. Ты сама видела: я вернулся чуть живой, а взгляни на меня сейчас!..

— Не хочу смотреть, — сказала она, пряча лицо. — Не хочу опять плакать.

— Ну вот! Несколько царапин! Пустяки... Самое страшное позади. По крайней мере для нас с тобой. Но есть люди очень хорошие, замечательные, для которых этот ужас еще не кончился. И я должен им помочь.

Она глубоко вздохнула, поцеловала его в шею и тихонько высвободилась.

— Приходи сегодня вечером, — попросила она. — Придешь?

— Обязательно! — горячо сказал он. — Я приду раньше и, наверное, не один. Жди меня к обеду.

Она отошла в сторону, села в кресло и, положив руки на колени, смотрела, как он одевается. Румата, бормоча русские слова, натянул штаны с бубенчиками (Муга сейчас же опустился перед ним на корточки и принялся застегивать многочисленные пряжки и пуговки), вновь надел поверх чистой майки благословенную кольчугу и, наконец, сказал с отчаянием:

— Маленькая, ну пойми, ну, надо мне идти — что я могу поделать?! Не могу я не идти!

Она вдруг сказала задумчиво:

— Иногда я не могу понять, почему ты не бьешь меня.

Румата, застегивавший рубашку с пышными брыжами, застыл.

— То есть как это, почему не бью? — растерянно спросил он. — Разве тебя можно бить?

— Ты не просто добрый, хороший человек, — продолжала она, не слушая. — Ты еще и очень странный человек. Ты словно архангел... Когда ты со мной, я делаюсь смелой. Сейчас вот я смелая... Когда-нибудь я тебя обязательно спрошу об одной вещи. Ты — не сейчас, а потом, когда все пройдет, — расскажешь мне о себе?

Румата долго молчал. Муга подал ему оранжевый камзол с краснополосыми бантиками. Румата с отвращением натянул его и туго подпоясался.

— Да, — сказал он наконец. — Когда-нибудь я расскажу тебе все, маленькая.

— Я буду ждать, — сказала она серьезно. — А сейчас иди и не обращай на меня внимания.

Румата подошел к ней, крепко поцеловал в губы разбитыми губами, затем снял с руки железный браслет и протянул ей.

— Надень на левую руку, — сказал он. — Сегодня к нам в дом больше не должны приходить, но если придут — покажешь это.

Она смотрела ему вслед, и он точно знал, что она думает. Она думает: «Я не знаю, может быть, ты дьявол, или сын бога, или человек из сказочных заморских стран, но если ты не вернешься, я умру». И оттого, что она молчала, он был ей бесконечно благодарен, так как уходить ему было необычайно трудно — словно с изумрудного солнечного берега он бросался вниз головой в зловонную лужу.

ГЛАВА 8

До канцелярии епископа Арканарского Румата добирался задами. Он крадучись проходил тесные дворики горожан, путаясь в развешенном для просушки тряпье, пролезал через дыры в заборах, оставляя на ржавых гвоздях роскошные банты и клочья драгоценных соанских кружев, на четвереньках пробегал между картофельными грядками. Все же ему не удалось ускользнуть от бдительного ока черного воинства. Выбравшись в узкий кривой переулок, ведущий к свалке, он столкнулся с двумя мрачными подвыпившими монахами.

Румата попытался обойти их — монахи вытащили мечи и заступили дорогу. Румата взялся за рукояти мечей — монахи засвистели в три пальца, созывая подмогу. Румата стал отступать к лазу, из которого только что выбрался, но навстречу ему в переулок вдруг выскочил маленький юркий человечек с неприметным лицом. Задев Румату плечом, он подбежал к монахам и что-то сказал им, после чего монахи, подобрав рясы над голенастыми, обтянутыми сиреневым ногами, пустились рысью прочь и скрылись за домами. Маленький человечек, не обернувшись, засеменил за ними.

Понятно, подумал Румата. Шпион-телохранитель. И даже не очень скрывается. Предусмотрителен епископ Арканарский. Интересно, чего он больше боится — меня или за меня? Проводив глазами шпиона, он повернул к свалке. Свалка выходила на зады канцелярии бывшего министерства охраны короны и, надо было надеяться, не патрулировалась.

Переулок был пуст. Но уже тихо поскрипывали ставни, хлопали двери, плакал младенец, слышалось опасливое перешептывание. Из-за полусгнившей изгороди осторожно высунулось изможденное, худое лицо, темное от въевшейся сажи. На Румату уставились испуганные, ввалившиеся глаза.

— Прощения прошу, благородный дон, и еще прошу прощения. Не скажет ли благородный дон, что в городе? Я кузнец Кикус, по прозвищу Хромач, мне в кузню идти, а я боюсь...

— Не ходи, — посоветовал Румата. — Монахи не шутят. Короля больше нет. Правит дон Рэба, епископ Святого Ордена. Так что сиди тихо.

После каждого слова кузнец торопливо кивал, глаза его наливались тоской и отчаянием.

— Орден, значит... — пробормотал он. — Ах, холера... Прошу

прощения, благородный дон. Орден, стало быть... Это что же, серые или как?

— Да нет, — сказал Румата, с любопытством его разглядывая. — Серых, пожалуй, перебили. Это монахи.

— Ух ты! — сказал кузнец. — И серых, значит, тоже... Ну и Орден! Серых перебили — это, само собой, хорошо. Но вот насчет нас, благородный дон, как вы полагаете? Приспособимся, а? Под Орденом-то, а?

— Отчего же? — сказал Румата. — Ордену тоже пить-есть надо. Приспособитесь.

Кузнец оживился.

— И я так полагаю, что приспособимся. Я полагаю, главное — никого не трогай, и тебя не тронут, а?

Румата покачал головой.

— Ну нет, — сказал он. — Кто не трогает, тех больше всего и режут.

— И то верно, — вздохнул кузнец. — Да только куда денешься... Один ведь как перст, да восемь сопляков за штаны держатся. Эх, мать честная, хоть бы моего мастера прирезали! Он у серых в офицерах был. Как вы полагаете, благородный дон, могли его прирезать? Я ему пять золотых задолжал.

— Не знаю, — сказал Румата. — Возможно, и прирезали. Ты лучше вот о чем подумай, кузнец. Ты один как перст, да таких перстов вас в городе тысяч десять.

— Ну? — сказал кузнец.

— Вот и думай, — сердито сказал Румата и пошел дальше.

Черта с два он чего-нибудь надумает. Рано ему еще думать. А казалось бы, чего проще: десять тысяч таких молотобойцев, да в ярости, кого хочешь раздавят в лепешку. Но ярости-то у них как раз еще нет. Один страх. Каждый за себя, один бог за всех.

Кусты бузины на окраине квартала вдруг зашевелились, и в переулок вполз дон Тамэо. Увидев Румату, он вскрикнул от радости, вскочил и, сильно пошатнувшись, двинулся навстречу, простирая к нему измазанные в земле руки.

— Мой благородный дон! — вскричал он. — Как я рад! Я вижу, вы тоже в канцелярию?

— Разумеется, мой благородный дон, — ответил Румата, ловко уклоняясь от объятий.

— Разрешите присоединиться к вам, благородный дон?

— Сочту за честь, благородный дон.

Они раскланялись. Очевидно было, что дон Тамэо как начал со вчерашнего дня, так по сю пору остановиться не может. Он извлек из широчайших желтых штанов стеклянную флягу тонкой работы.

— Не желаете ли, благородный дон? — учтиво предложил он.

— Благодарствуйте, — сказал Румата.

— Ром! — заявил дон Тамэо. — Настоящий ром из метрополии. Я заплатил за него золотой.

Они спустились к свалке и, зажимая носы, пошли шагать через кучи отбросов, трупы собак и зловонные лужи, кишащие белыми червями. В утреннем воздухе стоял непрерывный гул мириадов изумрудных мух.

— Вот странно, — сказал дон Тамэо, закрывая флягу, — я здесь никогда раньше не был.

Румата промолчал.

— Дон Рэба всегда восхищал меня, — сказал дон Тамэо. — Я был убежден, что он в конце концов свергнет ничтожного монарха, проложит нам новые пути и откроет сверкающие перспективы. — С этими словами он, сильно забрызгавшись, въехал ногой в желто-зеленую лужу и, чтобы не свалиться, ухватился за Румату. — Да! — продолжал он, когда они выбрались на твердую почву. — Мы, молодая аристократия, всегда будем с доном Рэбой! Наступило, наконец, желанное послабление. Посудите сами, дон Румата, я уже час хожу по переулкам и огородам, но не встретил ни одного серого. Мы смели серую нечисть с лица земли, и так сладко и вольно дышится теперь в возрожденном Арканаре! Вместо грубых лавочников, этих наглых хамов и мужиков, улицы полны слугами господними. Я видел: некоторые дворяне уже открыто прогуливаются перед своими домами. Теперь им нечего опасаться, что какой-нибудь невежа в навозном фартуке забрызгает их своей нечистой телегой. И уже не приходится прокладывать себе дорогу среди вчерашних мясников и галантерейщиков. Осененные благословением великого Святого Ордена, к которому я всегда питал величайшее уважение и, не буду скрывать, сердечную нежность, мы придем к неслыханному процветанию, когда ни один мужик не осмелится поднять глаза на дворянина без разрешения, подписанного окружным инспектором Ордена. Я несу сейчас докладную записку по этому поводу.

— Отвратительная вонь, — с чувством сказал Румата.

— Да, ужасная, — согласился дон Тамэо, закрывая флягу. — Но зато как вольно дышится в возрожденном Арканаре! И цены на вино упали вдвое...

К концу пути дон Тамэо осушил флягу до дна, швырнул ее в

пространство и пришел в необычайное возбуждение. Два раза он упал, причем во второй раз отказался чиститься, заявив, что многогрешен, грязен от природы и желает в таком виде предстать. Он снова и снова принимался во все горло цитировать свою докладную записку. «Крепко сказано! — восклицал он. — Возьмите, например, вот это место, благородные доны: дабы вонючие мужики... А? Какая мысль!» Когда они выбрались на задний двор канцелярии, он рухнул на первого же монаха и, заливаясь слезами, стал молить об отпущении грехов. Полузадохшийся монах яростно отбивался, пытался свистом звать на помощь, но дон Тамэо ухватил его за рясу, и они оба повалились на кучу отбросов. Румата их оставил и, удаляясь, еще долго слышал жалобный прерывистый свист и возгласы: «Дабы вонючие мужики!.. Бла-асловения!.. Всем сердцем!.. Нежность испытывал, нежность, понимаешь ты, мужицкая морда?»

На площади перед входом, в тени квадратной Веселой Башни, располагался отряд пеших монахов, вооруженных устрашающего вида узловатыми дубинками. Покойников убрали. От утреннего ветра на площади крутились желтые пыльные столбы. Под широкой конической крышей башни, как всегда, орали и ссорились вороны — там, с выступающих балок, свешивались вздернутые вниз головой. Башня была построена лет двести назад предком покойного короля исключительно для военных надобностей. Она стояла на прочном трехэтажном фундаменте, в котором хранились некогда запасы пищи на случай осады. Потом башню превратили в тюрьму. Но от землетрясения все перекрытия внутри обрушились, и тюрьму пришлось перенести в подвалы. В свое время одна из Арканарских королев пожаловалась своему повелителю, что ей мешают веселиться вопли пытаемых, оглашающие округу. Августейший супруг приказал, чтобы в башне с утра и до ночи играл военный оркестр. С тех пор башня получила свое нынешнее название. Давно она уже представляла собой пустой каменный каркас, давно уже следственные камеры переместились во вновь отрытые, самые нижние этажи фундамента, давно уже не играл там никакой оркестр, а горожане все еще называли эту башню Веселой.

Обычно вокруг Веселой Башни бывало пустынно. Но сегодня здесь царило большое оживление. К ней вели, тащили, волокли по земле штурмовиков в изодранных серых мундирах, вшивых бродяг в лохмотьях, полуодетых, пупырчатых от страха горожан, истошно вопящих девок, целыми бандами гнали угрюмо озирающихся оборванцев из ночной армии. И тут же из каких-то потайных выходов вытаскивали крючьями трупы, валили на телеги и увозили за город. Хвост длиннейшей очереди дворян и

зажиточных горожан, торчащий из отверстых дверей канцелярии, со страхом и смятением поглядывал на эту жуткую суету.

В канцелярию пускали всех, а некоторых даже приводили под конвоем. Румата протолкался внутрь. Там было душно, как на свалке. За широким столом, обложившись списками, сидел чиновник с желто-серым лицом, с большим гусиным пером за оттопыренным ухом. Очередной проситель, благородный дон Кэу, спесиво надувая усы, назвал свое имя.

— Снимите шляпу, — произнес бесцветным голосом чиновник, не отрывая глаз от бумаг.

— Род Кэу имеет привилегию носить шляпу в присутствии самого короля, — гордо провозгласил дон Кэу.

— Никто не имеет привилегий перед Орденом, — тем же бесцветным голосом произнес чиновник.

Дон Кэу запыхтел, багровея, но шляпу снял. Чиновник вел по списку длинным желтым ногтем.

— Дон Кэу... дон Кэу... — бормотал он, — дон Кэу... Королевская улица, дом двенадцать?

— Да, — жирным раздраженным голосом сказал дон Кэу.

— Номер четыреста восемьдесят пять, брат Тибак.

Брат Тибак, сидевший у соседнего стола, грузный, малиновый от духоты, поискал в бумагах, стер с лысины пот и монотонно прочел, поднявшись:

— «Номер четыреста восемьдесят пять, дон Кэу, Королевская, двенадцать, за поношение имени его преосвященства епископа Арканарского дона Рэбы, имевшее место на дворцовом балу в позапрошлом году, назначается три дюжины розог по обнаженным мягким частям с целованием ботинка его преосвященства».

Брат Тибак сел.

— Пройдите по этому коридору, — сказал чиновник бесцветным голосом, — розги направо, ботинок налево. Следующий...

К огромному изумлению Руматы, дон Кэу не протестовал. Видимо, он уже всякого насмотрелся в этой очереди. Он только крякнул, с достоинством поправил усы и удалился в коридор. Следующий, трясущийся от жира гигантский дон Пифа, уже стоял без шляпы.

— Дон Пифа... дон Пифа... — забубнил чиновник, ведя пальцем по списку. — Улица Молочников, дом два?

Дон Пифа издал горловой звук.

— Номер пятьсот четыре, брат Тибак.

Брат Тибак снова утерся и снова встал.

— Номер пятьсот четыре, дон Пифа, Молочников, два, ни в чем не замечен перед его преосвященством — следовательно, чист.

— Дон Пифа, — сказал чиновник, — получите знак очищения. — Он наклонился, достал из сундука, стоящего возле кресла, железный браслет и подал его благородному Пифе. — Носить на левой руке, предъявлять по первому требованию воинов Ордена. Следующий...

Дон Пифа издал горловой звук и отошел, разглядывая браслет. Чиновник уже бубнил следующее имя. Румата оглядел очередь. Тут было много знакомых лиц. Некоторые были одеты привычно богато, другие явно прибеднялись, но все были основательно измазаны в грязи. Где-то в середине очереди громко, так, чтобы все слышали, дон Сэра уже третий раз за последние пять минут провозглашал: «Не вижу, почему бы даже благородному дону не принять пару розог от имени его преосвященства!»

Румата подождал, пока следующего отправили в коридор (это был известный рыботорговец, ему назначили пять розог без целования за невосторженный образ мыслей), протолкался к столу и бесцеремонно положил ладонь на бумаги перед чиновником.

— Прошу прощения, — сказал он. — Мне нужен приказ на освобождение доктора Будаха. Я дон Румата.

Чиновник не поднял головы.

— Дон Румата... дон Румата... — забормотал он и, отпихнув руку Руматы, повел ногтем по списку.

— Что ты делаешь, старая чернильница? — сказал Румата. — Мне нужен приказ на освобождение!

— Дон Румата... дон Румата... — Остановить этот автомат было, видимо, невозможно. — Улица Котельщиков, дом восемь. Номер шестнадцать, брат Тибак.

Румата чувствовал, что за его спиной все затаили дыхание. Да и самому ему, если признаться, стало не по себе. Потный и малиновый брат Тибак встал.

— Номер шестнадцать, дон Румата, Котельщиков, восемь, за специальные заслуги перед Орденом удостоен особой благодарности его преосвященства и благоволит получить приказ об освобождении доктора Будаха, с каковым Будахом поступит по своему усмотрению — смотри лист шесть-семнадцать-одиннадцать.

Чиновник немедленно извлек этот лист из-под списков и протянул Румате.

— В желтую дверь, на второй этаж, комната шесть, прямо по коридору, направо и налево, — сказал он. — Следующий...

Румата просмотрел лист. Это не был приказ на освобождение Будаха. Это было основание для получения пропуска в пятый, специальный отдел канцелярии, где ему надлежало взять предписание в секретариат тайных дел.

— Что ты мне дал, дубина? — спросил Румата. — Где приказ?

— В желтую дверь, на второй этаж, комната шесть, прямо по коридору, направо и налево, — повторил чиновник.

— Я спрашиваю, где приказ? — рявкнул Румата.

— Не знаю... не знаю... Следующий!

Над ухом Руматы послышалось сопение, и что-то мягкое и жаркое навалилось ему на спину. Он отстранился. К столу снова протиснулся дон Пифа.

— Не лезет, — сказал он пискляво.

Чиновник мутно поглядел на него.

— Имя? Звание? — спросил он.

— Не лезет, — снова сказал дон Пифа, дергая браслет, едва налезающий на три жирных пальца.

— Не лезет... не лезет... — пробормотал чиновник и вдруг быстро притянул к себе толстую книгу, лежащую справа на столе. Книга была зловещего вида — в черном засаленном переплете. Несколько секунд дон Пифа оторопело смотрел на нее, потом вдруг отшатнулся и, не говоря ни слова, устремился к выходу. В очереди загомонили: «Не задерживайтесь, быстрее!» Румата тоже отошел от стола. Вот это трясина, подумал он. Ну, я вас... Чиновник принялся бубнить в пространство: «Если же указанный знак очищения не помещается на левом запястье очищенного или ежели очищенный не имеет левого запястья как такового...» Румата обошел стол, запустил обе руки в сундук с браслетами, захватил, сколько мог, и пошел прочь.

— Эй, эй, — без выражения окликнул его чиновник. — Основание!

— Во имя господа, — значительно сказал Румата, оглянувшись через плечо. Чиновник и брат Тибак дружно встали и нестройно ответили: «Именем его». Очередь глядела вслед Румате с завистью и восхищением.

Выйдя из канцелярии, Румата медленно направился к Веселой Башне, защелкивая по дороге браслеты на левой руке. Браслетов оказалось девять, и на левой руке уместилось только пять. Остальные четыре Румата нацепил на правую руку. На измор хотел меня взять епископ Арканарский, думал он. Не выйдет. Браслеты звякали на каждом шагу, в руке Румата держал на виду внушительную бумагу — лист шесть-семнадцать-одиннадцать, украшенный разноцветными печатями. Встречные монахи, пешие и

конные, торопливо сворачивали с дороги. В толпе на почтительном расстоянии то появлялся, то исчезал неприметный шпион-телохранитель. Румата, немилосердно колотя замешкавшихся ножнами мечей, пробрался к воротам, грозно рыкнул на сунувшегося было стражника и, миновав двор, стал спускаться по осклизлым, выщербленным ступеням в озаренный коптящими факелами полумрак. Здесь начиналась святая святых бывшего министерства охраны короны — королевская тюрьма и следственные камеры.

В сводчатых коридорах через каждые десять шагов торчал из ржавого гнезда в стене смердящий факел. Под каждым факелом в нише, похожей на пещеру, чернела дверца с зарешеченным окошечком. Это были входы в тюремные помещения, закрытые снаружи тяжелыми железными засовами. В коридорах было полно народу. Толкались, бегали, кричали, командовали... Скрипели засовы, хлопали двери, кого-то били, и он вопил, кого-то волокли, и он упирался, кого-то заталкивали в камеру, и без того набитую до отказа, кого-то пытались из камеры вытянуть и никак не могли, он истошно кричал: «Не я, не я!» — и цеплялся за соседей. Лица встречных монахов были деловиты до ожесточенности. Каждый спешил, каждый творил государственной важности дела. Румата, пытаясь разобраться, что к чему, неторопливо проходил коридор за коридором, спускаясь все ниже и ниже. В нижних этажах было поспокойнее. Здесь, судя по разговорам, экзаменовались выпускники Патриотической школы. Полуголые грудастые недоросли в кожаных передниках стояли кучками у дверей пыточных камер, листали засаленные руководства и время от времени подходили пить воду к большому баку с кружкой на цепи. Из камер доносились ужасные крики, звуки ударов, густо тянуло горелым. И разговоры, разговоры!..

— У костоломки есть такой винт сверху, так он сломался. А я виноват? Он меня выпер. «Дубина, — говорит, — стоеросовая, получи, — говорит, — пять по мягкому и опять приходи...»

— А вот узнать бы, кто сечет, может, наш же брат студент и сечет. Так договориться заранее, грошей по пять с носу собрать и сунуть...

— Когда жиру много, накалять зубец не след, все одно в жиру остынет. Ты щипчики возьми и сало слегка отдери...

— Так ведь поножи господа бога для ног, они пошире будут и на клиньях, а перчатки великомученицы — на винтах, это для руки специально, понял?

— Смехота, братья! Захожу, гляжу — в цепях-то кто? Фика Рыжий, мясник с нашей улицы, уши мне все пьяный рвал. Ну, держись, думаю, уж порадуюсь я...

— А Пэкора Губу как с утра монахи уволокли, так и не вернулся. И на экзамен не пришел.

— Эх, мне бы мясокрутку применить, а я его сдуру ломиком по бокам, ну, сломал ребро. Тут отец Кин меня за виски, сапогом под копчик, да так точно, братья, скажу вам — света я невзвидел, до се больно. «Ты что, — говорит, — мне матерьял портишь?»

Смотрите, смотрите, друзья мои, думал Румата, медленно поворачивая голову из стороны в сторону. Это не теория. Этого никто из людей еще не видел. Смотрите, слушайте, кинографируйте... и цените, и любите, черт вас возьми, свое время, и поклонитесь памяти тех, кто прошел через это! Вглядывайтесь в эти морды, молодые, тупые, равнодушные, привычные ко всякому зверству, да не воротите нос, ваши собственные предки были не лучше...

Его заметили. Десяток пар всякого повидавших глаз уставился на него.

— Во, дон стоят. Побелели весь.

— Хе... Так благородные, известно, не в привычку...

— Воды, говорят, в таких случаях дать, да цепь коротка, не дотянуть...

— Чего там, оклемаются...

— Мне бы такого... Такие про что спросишь, про то и ответят...

— Вы, братья, потише, не то как рубанет... Колец-то сколько... И бумага.

— Как-то они на нас уставились... Отойдем, братья, от греха.

Они группой стронулись с места, отошли в тень и оттуда поблескивали осторожными паучьими глазками. Ну, хватит с меня, подумал Румата. Он примерился было поймать за рясу пробегающего монаха, но тут заметил сразу трех, не суетящихся, а занятых делом на месте. Они лупили палками палача: видимо, за нерадивость. Румата подошел к ним.

— Во имя господа, — негромко сказал он, брякнув кольцами.

Монахи опустили палки, присмотрелись.

— Именем его, — сказал самый рослый.

— А ну, отцы, — сказал Румата, — проводите к коридорному смотрителю.

Монахи переглянулись. Палач проворно отполз и спрятался за баком.

— А он тебе зачем? — спросил рослый монах.

Румата молча поднял бумагу к его лицу, подержал и опустил.

— Ага, — сказал монах. — Ну, я нынче буду коридорный смотритель.

— Превосходно, — сказал Румата и свернул бумагу в трубку. — Я дон Румата. Его преосвященство подарил мне доктора Будаха. Ступай и приведи его.

Монах сунул руку под клобук и громко поскребся.

— Будах? — сказал он раздумчиво. — Это который же Будах? Растлитель, что ли?

— Не, — сказал другой монах. — Растлитель — тот Рудах. Его и выпустили еще ночью. Сам отец Кин его расковал и наружу вывел. А я...

— Вздор, вздор! — нетерпеливо сказал Румата, похлопывая себя бумагой по бедру. — Будах. Королевский отравитель.

— А-а... — сказал смотритель. — Знаю. Так он уже на колу, наверное... Брат Пакка, сходи в двенадцатую, посмотри. А ты что, выводить его будешь? — обратился он к Румате.

— Естественно, — сказал Румата. — Он мой.

— Тогда бумажечку позволь сюда. Бумажечка в дело пойдет. — Румата отдал бумагу.

Смотритель повертел ее в руках, разглядывая печати, затем сказал с восхищением:

— Ну и пишут же люди! Ты, дон, постой в сторонке, подожди, у нас тут пока дело... Э, а куда этот-то подевался?

Монахи стали озираться, ища провинившегося палача. Румата отошел. Палача вытащили из-за бака, снова разложили на полу и принялись деловито, без излишней жестокости пороть. Минут через пять из-за поворота появился посланный монах, таща за собой на веревке худого, совершенно седого старика в темной одежде.

— Вот он, Будах-то! — радостно закричал монах еще издали. — И ничего он не на колу, живой Будах-то, здоровый! Маленько ослабел, правда, давно, видать, голодный сидит...

Румата шагнул им навстречу, вырвал веревку из рук монаха и снял петлю с шеи старика.

— Вы Будах Ируканский? — спросил он.

— Да, — сказал старик, глядя исподлобья.

— Я Румата, идите за мной и не отставайте. — Румата повернулся к монахам. — Во имя господа, — сказал он.

Смотритель разогнул спину и, опустив палку, ответил, чуть задыхаясь: «Именем его».

Румата поглядел на Будаха и увидел, что старик держится за стену и еле стоит.

— Мне плохо, — сказал он, болезненно улыбаясь. — Извините, благородный дон.

Румата взял его под руку и повел. Когда монахи скрылись из виду, он остановился, достал из ампулы таблетку спорамина и протянул Будаху.

Будах вопросительно взглянул на него.

— Проглотите, — сказал Румата. — Вам сразу станет легче.

Будах, все еще опираясь на стену, взял таблетку, осмотрел, понюхал, поднял косматые брови, потом осторожно положил на язык и почмокал.

— Глотайте, глотайте, — с улыбкой сказал Румата.

Будах проглотил.

— М-м-м... — произнес он. — Я полагал, что знаю о лекарствах все. — Он замолчал, прислушиваясь к своим ощущениям. — М-м-м-м! — сказал он. — Любопытно! Сушеная селезенка вепря Ы? Хотя нет, вкус не гнилостный.

— Пойдемте, — сказал Румата.

Они пошли по коридору, поднялись по лестнице, миновали еще один коридор и поднялись еще по одной лестнице. И тут Румата остановился как вкопанный. Знакомый густой рев огласил тюремные своды. Где-то в недрах тюрьмы орал во всю мочь, сыпля чудовищными проклятиями, понося бога, святых, преисподнюю, Святой Орден, дона Рэбу и еще многое другое, душевный друг барон Пампа дон Бау-но-Суруга-но-Гатта-но-Арканара. Все-таки попался барон, подумал Румата с раскаянием. Я совсем забыл о нем. А он бы обо мне не забыл... Румата поспешно снял с руки два браслета, надел на худые запястья доктора Будаха и сказал:

— Поднимайтесь наверх, но за ворота не выходите. Ждите где-нибудь в сторонке. Если пристанут, покажите браслеты и держитесь нагло.

Барон Пампа ревел, как атомоход в полярном тумане. Гулкое эхо катилось под сводами. Люди в коридорах застыли, благоговейно прислушиваясь с раскрытыми ртами. Многие омахивались большим пальцем, отгоняя нечистого. Румата скатился по двум лестницам, сбивая с ног встречных монахов, ножнами мечей проложил себе дорогу сквозь толпу выпускников и пинком распахнул дверь камеры, прогибающуюся от рева. В мятущемся свете факелов он увидел друга Пампу: могучий барон был распят голый на стене вниз головой. Лицо его почернело от прилившей крови. За кривоватым столиком сидел, заткнув уши, сутулый чиновник, а лоснящийся от пота палач, чем-то похожий на дантиста, перебирал в железном тазу лязгающие инструменты.

Румата аккуратно закрыл за собой дверь, подошел сзади к палачу и ударил его рукоятью меча по затылку. Палач повернулся, охватил голову и сел в таз. Румата извлек из ножен меч и перерубил стол с бумагами, за которым сидел чиновник. Все было в порядке. Палач сидел в тазу, слабо икая, а чиновник очень проворно убежал на четвереньках в угол и прилег там. Румата подошел к барону, с радостным любопытством глядевшему на

него снизу вверх, взялся за цепи, державшие баронские ноги, и в два рывка вырвал их из стены. Затем он осторожно поставил ноги барона на пол. Барон замолчал, застыл в странной позе, затем рванулся и освободил руки.

— Могу ли я поверить, — снова загремел он, вращая налитыми кровью белками, — что это вы, мой благородный друг?! Наконец-то я нашел вас!

— Да, это я, — сказал Румата. — Пойдемте отсюда, мой друг, вам здесь не место.

— Пива! — сказал барон. — Где-то здесь было пиво. — Он пошел по камере, волоча обрывки цепей и не переставая громыхать. — Полночи я бегал по городу! Черт возьми, мне сказали, что вы арестованы, и я перебил массу народу! Я был уверен, что найду вас в этой тюрьме! А, вот оно!

Он подошел к палачу и смахнул его, как пыль, вместе с тазом. Под тазом обнаружился бочонок. Барон кулаком выбил дно, поднял бочонок и опрокинул его над собой, задрав голову. Струя пива с клокотанием устремилась в его глотку. Что за прелесть, думал Румата, с нежностью глядя на барона. Казалось бы, бык, безмозглый бык, но ведь искал же меня, хотел спасти, ведь пришел, наверное, сюда в тюрьму за мной, сам... Нет, есть люди и в этом мире, будь он проклят... Но до чего удачно получилось!

Барон осушил бочонок и швырнул в угол, где шумно дрожал чиновник. В углу пискнуло.

— Ну вот, — сказал барон, вытирая бороду ладонью. — Теперь я готов следовать за вами. Это ничего, что я голый?

Румата огляделся, подошел к палачу и вытряхнул его из фартука.

— Возьмите пока это, — сказал он.

— Вы правы, — сказал барон, обвязывая фартук вокруг чресел. — Было бы неудобно явиться к баронессе голым...

Они вышли из камеры. Ни один человек не решился заступить им дорогу, коридор пустел за двадцать шагов.

— Я их всех разнесу! — ревел барон. — Они заняли мой замок! И посадили там какого-то отца Ариму! Не знаю, чей он там отец, но дети его, клянусь господом, скоро осиротеют. Черт побери, мой друг, вы не находите, что здесь удивительно низкие потолки? Я исцарапал всю макушку...

Они вышли из башни. Мелькнул перед глазами и шарахнулся в толпу шпион-телохранитель. Румата дал Будаху знак следовать за ними. Толпа у ворот раздалась, как будто ее рассекли мечом. Было слышно, как одни кричат, что сбежал важный государственный преступник, а другие, что «вот он, Голый Дьявол, знаменитый эсторский палач-расчленитель».

Барон вышел на середину площади и остановился, морщась от

солнечного света. Следовало торопиться. Румата быстро огляделся.

— Где-то тут была моя лошадь, — сказал барон. — Эй, кто там! Коня!

У коновязи, где топтались лошади орденской кавалерии, возникла суета.

— Не ту! — рявкнул барон. — Вон ту — серую в яблоках!

— Во имя господа! — запоздало крикнул Румата и потащил через голову перевязь с правым мечом.

Испуганный монашек в замаранной рясе подвел барону лошадь.

— Дайте ему что-нибудь, дон Румата, — сказал барон, тяжело поднимаясь в седло.

— Стой, стой! — закричали у башни.

Через площадь, размахивая дубинками, бежали монахи. Румата сунул барону меч.

— Торопитесь, барон, — сказал он.

— Да, — сказал Пампа. — Надо спешить. Этот Арима разграбит мой погреб. Я жду вас у себя завтра или послезавтра, мой друг. Что передать баронессе?

— Поцелуйте ей руку, — сказал Румата. Монахи уже были совсем близко. — Скорее, скорее, барон!..

— Но вы-то в безопасности? — с беспокойством осведомился барон.

— Да, черт возьми, да! Вперед!

Барон бросил коня в галоп, прямо на толпу монахов. Кто-то упал и покатился, кто-то заверещал, поднялась пыль, простучали копыта по каменным плитам — и барон исчез. Румата смотрел в переулок, где сидели, ошалело тряся головами, сбитые с ног, когда вкрадчивый голос произнес над его ухом:

— Мой благородный дон, а не кажется ли вам, что вы слишком много себе позволяете?

Румата обернулся. В лицо ему с несколько напряженной улыбкой пристально глядел дон Рэба.

— Слишком много? — переспросил Румата. — Мне не знакомо это слово — «слишком». — Он вдруг вспомнил дона Сэра. — И вообще не вижу, почему бы одному благородному дону не помочь другому в беде.

Мимо, уставив пики, тяжко проскакали всадники — в погоню. В лице дона Рэбы что-то изменилось.

— Ну хорошо, — сказал он. — Не будем об этом... О, я вижу здесь высокоученого доктора Будаха... Вы прекрасно выглядите, доктор. Мне придется обревизовать свою тюрьму. Государственные преступники, даже отпущенные на свободу, не должны выходить из тюрьмы — их должны

выносить.

Доктор Будах, как слепой, двинулся на него. Румата быстро встал между ними.

— Между прочим, дон Рэба, — сказал он, — как вы относитесь к отцу Ариме?

— К отцу Ариме? — Дон Рэба высоко поднял брови. — Прекрасный военный. Занимает видный пост в моей епископии. А в чем дело?

— Как верный слуга вашего преосвященства, — кланяясь, с острым злорадством сказал Румата, — спешу сообщить вам, что этот видный пост вы можете считать вакантным.

— Но почему?

Румата посмотрел в переулок, где еще не рассеялась желтая пыль. Дон Рэба тоже посмотрел туда. На лице его появилось озабоченное выражение.

Было уже далеко за полдень, когда Кира пригласила благородного господина и его высокоученого друга к столу. Доктор Будах, отмывшийся, переодетый во все чистое, тщательно побритый, выглядел очень внушительно. Движения его оказались медлительны и исполнены достоинства, умные серые глаза смотрели благосклонно и даже снисходительно. Прежде всего он извинился перед Руматой за свою вспышку на площади. «Но вы должны меня понять, — говорил он. — Это страшный человек. Это оборотень, который явился на свет только упущением божьим. Я врач, но мне не стыдно признаться, что при случае я охотно умертвил бы его. Я слыхал, что король отравлен. И теперь понимаю, чем он отравлен. (Румата насторожился.) Этот Рэба явился ко мне в камеру и потребовал, чтобы я составил для него яд, действующий в течение нескольких часов. Разумеется, я отказался. Он пригрозил мне пытками — я засмеялся ему в лицо. Тогда этот негодяй крикнул палачей, и они привели ему с улицы дюжину мальчиков и девочек не старше десяти лет. Он поставил их передо мной, раскрыл мой мешок со снадобьями и объявил, что будет пробовать на этих детях все снадобья подряд, пока не найдет нужное. Вот как был отравлен король, дон Румата...» Губы Будаха начали подергиваться, но он взял себя в руки. Румата, деликатно отвернувшись, кивал. Понятно, думал он. Все понятно. Из рук своего министра король не взял бы и огурца. И мерзавец подсунул королю какого-то шарлатанчика, которому был обещан титул лейб-знахаря за излечение короля. И понятно, почему Рэба так возликовал, когда я обличал его в королевской опочивальне: трудно было придумать более удобный способ подсунуть королю лже-Будаха. Вся ответственность падала на Румату Эсторского,

ируканского шпиона и заговорщика. Щенки мы, подумал он. В Институте надо специально ввести курс феодальной интриги. И успеваемость оценивать в рэбах. Лучше, конечно, в децирэбах. Впрочем, куда там...

По-видимому, доктор Будах был очень голоден. Однако он мягко, но решительно отказался от животной пищи и почтил своим вниманием только салаты и пирожки с вареньем. Он выпил стакан эсторского, глаза его заблестели, на щеках появился здоровый румянец. Румата есть не мог. Перед глазами у него трещали и чадили багровые факелы, отовсюду несло горелым мясом, и в горле стоял клубок величиною с кулак. Поэтому, ожидая, пока гость насытится, он стоял у окна, ведя вежливую беседу, медлительную и спокойную, чтобы не мешать гостю жевать.

Город постепенно оживал. На улице появились люди, голоса становились все громче, слышался стук молотков и треск дерева — с крыш и со стен сбивали языческие изображения. Толстый лысый лавочник прокатил тележку с бочкой пива — продавать на площади по два гроша за кружку. Горожане приспосабливались. В подъезде напротив, ковыряя в носу, болтал с тощей хозяйкой маленький шпион-телохранитель. Потом под окном поехали подводы, нагруженные до второго этажа. Румата сначала не понял, что это за подводы, а потом увидел синие и черные руки и ноги, торчащие из-под рогож, и поспешно отошел к столу.

— Сущность человека, — неторопливо жуя, говорил Будах, — в удивительной способности привыкать ко всему. Нет в природе ничего такого, к чему бы человек не притерпелся. Ни лошадь, ни собака, ни мышь не обладают таким свойством. Вероятно, бог, создавая человека, догадывался, на какие муки его обрекает, и дал ему огромный запас сил и терпения. Затруднительно сказать, хорошо это или плохо. Не будь у человека такого терпения и выносливости, все добрые люди давно бы уже погибли, и на свете остались бы злые и бездушные. С другой стороны, привычка терпеть и приспосабливаться превращает людей в бессловесных скотов, кои ничем, кроме анатомии, от животных не отличаются и даже превосходят их в беззащитности. И каждый новый день порождает новый ужас зла и насилия...

Румата поглядел на Киру. Она сидела напротив Будаха и слушала, не отрываясь, подперев щеку кулачком. Глаза у нее были грустные: видно, ей было очень жалко людей.

— Вероятно, вы правы, почтенный Будах, — сказал Румата. — Но возьмите меня. Вот я — простой благородный дон (у Будаха высокий лоб пошел морщинами, глаза удивленно и весело округлились), я безмерно люблю ученых людей, это дворянство духа. И мне невдомек, почему вы,

хранители и единственные обладатели высокого знания, так безнадежно пассивны? Почему вы безропотно даете себя презирать, бросать в тюрьмы, сжигать на кострах? Почему вы отрываете смысл своей жизни — добывание знаний — от практических потребностей жизни — борьбы против зла?

Будах отодвинул от себя опустевшее блюдо из-под пирожков.

— Вы задаете странные вопросы, дон Румата, — сказал он. — Забавно, что те же вопросы задавал мне благородный дон Гуг, постельничий нашего герцога. Вы знакомы с ним? Я так и подумал... Борьба со злом! Но что есть зло? Всякому вольно понимать это по-своему. Для нас, ученых, зло в невежестве, но церковь учит, что невежество — благо, а все зло от знания. Для землепашца зло — налоги и засухи, а для хлеботорговца засухи — добро. Для рабов зло — это пьяный и жестокий хозяин, для ремесленника — алчный ростовщик. Так что же есть зло, против которого надо бороться, дон Румата? — Он грустно оглядел слушателей. — Зло неистребимо. Никакой человек не способен уменьшить его количество в мире. Он может несколько улучшить свою собственную судьбу, но всегда за счет ухудшения судьбы других. И всегда будут короли, более или менее жестокие, бароны, более или менее дикие, и всегда будет невежественный народ, питающий восхищение к своим угнетателям и ненависть к своему освободителю. И все потому, что раб гораздо лучше понимает своего господина, пусть даже самого жестокого, чем своего освободителя, ибо каждый раб отлично представляет себя на месте господина, но мало кто представляет себя на месте бескорыстного освободителя. Таковы люди, дон Румата, и таков наш мир.

— Мир все время меняется, доктор Будах, — сказал Румата. — Мы знаем время, когда королей не было...

— Мир не может меняться вечно, — возразил Будах, — ибо ничто не вечно, даже перемены... Мы не знаем законов совершенства, но совершенство рано или поздно достигается. Взгляните, например, как устроено наше общество. Как радует глаз эта четкая, геометрически правильная система! Внизу крестьяне и ремесленники, над ними дворянство, затем духовенство и, наконец, король. Как все продумано, какая устойчивость, какой гармонический порядок! Чему еще меняться в этом отточенном кристалле, вышедшем из рук небесного ювелира? Нет зданий прочнее пирамидальных, это вам скажет любой знающий архитектор. — Он поучающе поднял палец. — Зерно, высыпаемое из мешка, не ложится ровным слоем, но образует так называемую коническую пирамиду. Каждое зернышко цепляется за другое, стараясь не скатиться

вниз. Так же и человечество. Если оно хочет быть неким целым, люди должны цепляться друг за друга, неизбежно образуя пирамиду.

— Неужели вы серьезно считаете этот мир совершенным? — удивился Румата. — После встречи с доном Рэбой, после тюрьмы...

— Мой молодой друг, ну конечно же! Мне многое не нравится в мире, многое я хотел бы видеть другим... Но что делать? В глазах высших сил совершенство выглядит иначе, чем в моих. Какой смысл дереву сетовать, что оно не может двигаться, хотя оно и радо было бы, наверное, бежать со всех ног от топора дровосека.

— А что, если бы можно было изменить высшие предначертания?

— На это способны только высшие силы...

— Но все-таки, представьте себе, что вы бог...

Будах засмеялся.

— Если бы я мог представить себя богом, я бы стал им!

— Ну, а если бы вы имели возможность посоветовать богу?

— У вас богатое воображение, — с удовольствием сказал Будах. — Это хорошо. Вы грамотны? Прекрасно! Я бы с удовольствием позанимался с вами...

— Вы мне льстите... Но что же вы все-таки посоветовали бы всемогущему? Что, по-вашему, следовало бы сделать всемогущему, чтобы вы сказали: вот теперь мир добр и хорош?..

Будах, одобрительно улыбаясь, откинулся на спинку кресла и сложил руки на животе. Кира жадно смотрела на него.

— Что ж, — сказал он, — извольте. Я сказал бы всемогущему: «Создатель, я не знаю твоих планов, может быть, ты и не собираешься делать людей добрыми и счастливыми. Захоти этого! Так просто этого достигнуть! Дай людям вволю хлеба, мяса и вина, дай им кров и одежду. Пусть исчезнут голод и нужда, а вместе с тем и все, что разделяет людей».

— И это все? — спросил Румата.

— Вам кажется, что этого мало?

Румата покачал головой.

— Бог ответил бы вам: «Не пойдет это на пользу людям. Ибо сильные вашего мира отберут у слабых то, что я дал им, и слабые по-прежнему останутся нищими».

— Я бы попросил бога оградить слабых. «Вразуми жестоких правителей», — сказал бы я.

— Жестокость есть сила. Утратив жестокость, правители потеряют силу, и другие жестокие заменят их.

Будах перестал улыбаться.

— Накажи жестоких, — твердо сказал он, — чтобы неповадно было сильным проявлять жестокость к слабым.

— Человек рождается слабым. Сильным он становится, когда нет вокруг никого сильнее его. Когда будут наказаны жестокие из сильных, их место займут сильные из слабых. Тоже жестокие. Так придется карать всех, а я не хочу этого.

— Тебе виднее, всемогущий. Сделай тогда просто так, чтобы люди получили все и не отбирали друг у друга то, что ты дал им.

— И это не пойдет людям на пользу, — вздохнул Румата, — ибо когда получат они все даром, без труда, из рук моих, то забудут труд, потеряют вкус к жизни и обратятся в моих домашних животных, которых я вынужден буду впредь кормить и одевать вечно.

— Не давай им всего сразу! — горячо сказал Будах. — Давай понемногу, постепенно!

— Постепенно люди и сами возьмут все, что им понадобится.

Будах неловко засмеялся.

— Да, я вижу, это не так просто, — сказал он. — Я как-то не думал раньше о таких вещах... Кажется, мы с вами перебрали все. Впрочем, — он подался вперед, — есть еще одна возможность. Сделай так, чтобы больше всего люди любили труд и знание, чтобы труд и знание стали единственным смыслом их жизни!

Да, это мы тоже намеревались попробовать, подумал Румата. Массовая гипноиндукция, позитивная реморализация. Гипноизлучатели на трех экваториальных спутниках...

— Я мог бы сделать и это, — сказал он. — Но стоит ли лишать человечество его истории? Стоит ли подменять одно человечество другим? Не будет ли это то же самое, что стереть это человечество с лица земли и создать на его месте новое?

Будах, сморщив лоб, молчал обдумывая. Румата ждал. За окном снова тоскливо заскрипели подводы. Будах тихо проговорил:

— Тогда, господи, сотри нас с лица земли и создай заново более совершенными... или, еще лучше, оставь нас и дай нам идти своей дорогой.

— Сердце мое полно жалости, — медленно сказал Румата. — Я не могу этого сделать.

И тут он увидел глаза Киры. Кира глядела на него с ужасом и надеждой.

ГЛАВА 9

Уложив Будаха отдохнуть перед дальней дорогой, Румата направился к себе в кабинет. Действие спорамина кончалось, он снова чувствовал себя усталым и разбитым, снова заныли ушибы и стали вспухать изуродованные веревкой запястья. Надо поспать, думал он, надо обязательно поспать, и надо связаться с доном Кондором. И надо связаться с патрульным дирижаблем, пусть сообщат на Базу. И надо прикинуть, что мы теперь должны делать, и можем ли мы что-нибудь сделать, и как быть, если мы ничего больше не сможем сделать.

В кабинете за столом сидел, сгорбившись в кресле, положив руки на высокие подлокотники, черный монах в низко надвинутом капюшоне. Ловко, подумал Румата.

— Кто ты такой? — устало спросил он. — Кто тебя пустил?

— Добрый день, благородный дон Румата, — произнес монах, откидывая капюшон.

Румата покачал головой.

— Ловко! — сказал он. — Добрый день, славный Арата. Почему вы здесь? Что случилось?

— Все как обычно, — сказал Арата. — Армия разбрелась, все делят землю, на юг идти никто не хочет. Герцог собирает недорезанных и скоро развесит моих мужиков вверх ногами вдоль Эсторского тракта. Все как обычно, — повторил он.

— Понятно, — сказал Румата.

Он повалился на кушетку, заложил руки за голову и стал смотреть на Арату. Двадцать лет назад, когда Антон мастерил модельки и играл в Вильгельма Телля, этого человека звали Аратой Красивым, и был он тогда, вероятно, совсем не таким, как сейчас.

Не было у Араты Красивого на великолепном высоком лбу этого уродливого лилового клейма — оно появилось после мятежа соанских корабельщиков, когда три тысячи голых рабов-ремесленников, согнанных на соанские верфи со всех концов Империи и замордованных до потери инстинкта самосохранения, в одну ненастную ночь вырвались из порта, прокатились по Соану, оставляя за собой трупы и пожары, и были встречены на окраине закованной в латы имперской пехотой...

И были, конечно, у Араты Красивого целы оба глаза. Правый глаз выскочил из орбиты от молодецкого удара баронской булавы, когда

двадцатитысячная крестьянская армия, гоняясь по метрополии за баронскими дружинами, сшиблась в открытом поле с пятитысячной гвардией императора, была молниеносно разрезана, окружена и вытоптана шипастыми подковами боевых верблюдов...

И был, наверное, Арата Красивый строен как тополь. Горб и новое прозвище он получил после вилланской войны в герцогстве Убанском за два моря отсюда, когда после семи лет мора и засух четыреста тысяч живых скелетов вилами и оглоблями перебили дворян и осадили герцога Убанского в его резиденции; и герцог, слабый ум которого обострился от невыносимого ужаса, объявил подданным прощение, впятеро снизил цены на хмельные напитки и пообещал вольности; и Арата, уже видя, что все кончено, умолял, требовал, заклинал не поддаваться на обман, был взят атаманами, полагавшими, что от добра добра не ищут, избит железными палками и брошен умирать в выгребную яму...

А вот это массивное железное кольцо на правом запястье было у него, наверное, еще когда он назывался Красивым. Оно было приковано цепью к веслу пиратской галеры, и Арата расклепал цепь, ударил этим кольцом в висок капитана Эгу Любезника, захватил корабль, а потом и всю пиратскую армаду и попытался создать вольную республику на воде... И кончилась эта затея пьяным кровавым безобразием, потому что Арата тогда был молод, не умел ненавидеть и считал, что одной лишь свободы достаточно, чтобы уподобить раба богу...

Это был профессиональный бунтовщик, мститель божьей милостью, в средние века фигура довольно редкая. Таких щук рождает иногда историческая эволюция и запускает в социальные омуты, чтобы не дремали жирные караси, пожирающие придонный планктон... Арата был здесь единственным человеком, к которому Румата не испытывал ни ненависти, ни жалости, и в своих горячечных снах землянина, прожившего пять лет в крови и вони, он часто видел себя именно таким вот Аратой, прошедшим все ады Вселенной и получившим за это высокое право убивать убийц, пытать палачей и предавать предателей...

— Иногда мне кажется, — сказал Арата, — что все мы бессильны. Я вечный главарь мятежников, и я знаю, что вся моя сила в необыкновенной живучести. Но эта сила не помогает моему бессилию. Мои победы волшебным образом оборачиваются поражениями. Мои боевые друзья становятся врагами, самые храбрые бегут, самые верные предают или умирают. И нет у меня ничего, кроме голых рук, а голыми руками не достанешь раззолоченных идолов, сидящих за крепостными стенами...

— Как вы очутились в Арканаре? — спросил Румата.

— Приплыл с монахами.

— Вы с ума сошли. Вас же так легко опознать...

— Только не в толпе монахов. Среди офицеров Ордена половина юродивых и увечных, как я. Калеки угодны богу. — Он усмехнулся, глядя Румате в лицо.

— И что вы намерены делать? — спросил Румата, опуская глаза.

— Как обычно. Я знаю, что такое Святой Орден; не пройдет и года, как арканарский люд полезет из своих щелей с топорами — драться на улицах. И поведу их я, чтобы они били тех, кого надо, а не друг друга и всех подряд.

— Вам понадобятся деньги? — спросил Румата.

— Да, как обычно. И оружие... — Он помолчал, затем сказал вкрадчиво: — Дон Румата, вы помните, как я был огорчен, когда узнал, кто вы такой? Я ненавижу попов, и мне очень горько, что их лживые сказки оказались правдой. Но бедному мятежнику надлежит извлекать пользу из любых обстоятельств. Попы говорят, что боги владеют молниями... Дон Румата, мне очень нужны молнии, чтобы разбивать крепостные стены.

Румата глубоко вздохнул. После чудесного спасения на вертолете Арата настоятельно потребовал объяснений. Румата попытался рассказать о себе, он даже показал в ночном небе Солнце — крошечную, едва видную звездочку. Но мятежник понял только одно: проклятые попы правы, за небесной твердью действительно живут боги, всеблагие и всемогущие. И с тех пор каждый разговор с Руматой он сводил к одному: бог, раз уж ты существуешь, дай мне свою силу, ибо это лучшее, что ты можешь сделать.

И каждый раз Румата отмалчивался или переводил разговор на другое.

— Дон Румата, — сказал мятежник, — почему вы не хотите помочь нам?

— Одну минутку, — сказал Румата. — Прошу прощения, но я хотел бы знать, как вы проникли в дом.

— Это неважно. Никто, кроме меня, не знает этой дороги. Не уклоняйтесь, дон Румата. Почему вы не хотите дать нам вашу силу?

— Не будем говорить об этом.

— Нет, мы будем говорить об этом. Я не звал вас. Я никогда никому не молился. Вы пришли ко мне сами. Или вы просто решили позабавиться?

Трудно быть богом, подумал Румата. Он сказал терпеливо:

— Вы не поймете меня. Я вам двадцать раз пытался объяснить, что я не бог, — вы так и не поверили. И вы не поймете, почему я не могу помочь вам оружием...

— У вас есть молнии?

— Я не могу дать вам молнии.

— Я уже слышал это двадцать раз, — сказал Арата. — Теперь я хочу знать: почему?

— Я повторяю: вы не поймете.

— А вы попытайтесь.

— Что вы собираетесь делать с молниями?

— Я выжгу золоченую сволочь, как клопов, всех до одного, весь их проклятый род до двенадцатого потомка. Я сотру с лица земли их крепости. Я сожгу их армии и всех, кто будет защищать их и поддерживать. Можете не беспокоиться — ваши молнии будут служить только добру, и когда на земле останутся только освобожденные рабы и воцарится мир, я верну вам ваши молнии и никогда больше не попрошу их.

Арата замолчал, тяжело дыша. Лицо его потемнело от прилившей крови. Наверное, он уже видел охваченные пламенем герцогства и королевства, и груды обгорелых тел среди развалин, и огромные армии победителей, восторженно ревущих: «Свобода! Свобода!»

— Нет, — сказал Румата. — Я не дам вам молний. Это было бы ошибкой. Постарайтесь поверить мне, я вижу дальше вас... (Арата слушал, уронив голову на грудь.) — Румата стиснул пальцы. — Я приведу вам только один довод. Он ничтожен по сравнению с главным, но зато вы поймете его. Вы живучи, славный Арата, но вы тоже смертны; и если вы погибнете, если молнии перейдут в другие руки, уже не такие чистые, как ваши, тогда мне даже страшно подумать, чем это может кончиться...

Они долго молчали. Потом Румата достал из погребца кувшин эсторского и еду и поставил перед гостем. Арата, не поднимая глаз, стал ломать хлеб и запивать вином. Румата ощущал странное чувство болезненной раздвоенности. Он знал, что прав, и тем не менее эта правота странным образом унижала его перед Аратой. Арата явно превосходил его в чем-то, и не только его, а всех, кто незваным пришел на эту планету и полный бессильной жалости наблюдал страшное кипение ее жизни с разреженных высот бесстрастных гипотез и чужой здесь морали. И впервые Румата подумал: ничего нельзя приобрести, не утратив, — мы бесконечно сильнее Араты в нашем царстве добра и бесконечно слабее Араты в его царстве зла...

— Вам не следовало спускаться с неба, — сказал вдруг Арата. — Возвращайтесь к себе. Вы только вредите нам.

— Это не так, — мягко сказал Румата. — Во всяком случае, мы никому не вредим.

— Нет, вредите. Вы внушаете беспочвенные надежды...

— Кому?

— Мне. Вы ослабили мою волю, дон Румата. Раньше я надеялся только на себя, а теперь вы сделали так, что я чувствую вашу силу за своей спиной. Раньше я вел каждый бой так, словно это мой последний бой. А теперь я заметил, что берегу себя для других боев, которые будут решающими, потому что вы примете в них участие... Уходите отсюда, дон Румата, вернитесь к себе на небо и никогда больше не приходите. Либо дайте нам ваши молнии, или хотя бы вашу железную птицу, или хотя бы просто обнажите ваши мечи и встаньте во главе нас.

Арата замолчал и снова потянулся за хлебом. Румата глядел на его пальцы, лишенные ногтей. Ногти специальным приспособлением вырвал два года тому назад лично дон Рэба. Ты еще не знаешь всего, подумал Румата. Ты еще тешишь себя мыслью, что обречен на поражение только ты сам. Ты еще не знаешь, как безнадежно само твое дело. Ты еще не знаешь, что враг не столько вне твоих солдат, сколько внутри них. Ты еще, может быть, свалишь Орден, и волна крестьянского бунта забросит тебя на Арканарский трон, ты сровняешь с землей дворянские замки, утопишь баронов в Проливе, и восставший народ воздаст тебе все почести, как великому освободителю, и ты будешь добр и мудр — единственный добрый и мудрый человек в твоем королевстве. И по дороге ты станешь раздавать земли своим сподвижникам, а _на_ _что_ _сподвижникам_ _земли_ _без_ _крепостных_? И завертится колесо в обратную сторону. И хорошо еще будет, если ты успеешь умереть своей смертью и не увидишь появления новых графов и баронов из твоих вчерашних верных бойцов. Так уже бывало, мой славный Арата, и на Земле, и на твоей планете.

— Молчите? — сказал Арата. Он отодвинул от себя тарелку и смел рукавом рясы крошки со стола. — Когда-то у меня был друг, — сказал он. — Вы, наверное, слыхали — Вага Колесо. Мы начинали вместе. Потом он стал бандитом, ночным королем. Я не простил ему измены, и он знал это. Он много помогал мне — из страха и из корысти, — но так и не захотел никогда вернуться: у него были свои цели. Два года назад его люди выдали меня дону Рэбе... — Он посмотрел на свои пальцы и сжал их в кулак. — А сегодня утром я настиг его в Арканарском порту... В нашем деле не может быть друзей наполовину. Друг наполовину — это всегда наполовину враг. — Он поднялся и надвинул капюшон на глаза. — Золото на прежнем месте, дон Румата?

— Да, — сказал Румата медленно, — на прежнем.

— Тогда я пойду. Благодарю вас, дон Румата.

Он неслышно прошел по кабинету и скрылся за дверью. Внизу в

прихожей слабо лязгнул засов.

Вот и еще одна забота, подумал Румата. Как же он все-таки проник в дом?..

ГЛАВА 10

В Пьяной Берлоге было сравнительно чисто, пол тщательно подметен, стол выскоблен добела, в углах для благовония лежали охапки лесных трав и лапника. Отец Кабани чинно сидел в углу на лавочке, трезвый и тихий, сложив мытые руки на коленях. В ожидании, пока Будах заснет, говорили о пустяках. Будах, сидевший за столом возле Руматы, с благосклонной улыбкой слушал легкомысленную болтовню благородных донов и время от времени сильно вздрагивал, задремывая. Впалые щеки его горели от лошадиной дозы тетралюминала, незаметно подмешанной ему в питье. Старик был очень возбужден и засыпал трудно. Нетерпеливый дон Гуг сгибал и разгибал под столом верблюжью подкову, сохраняя, однако, на лице выражение веселой непринужденности. Румата крошил хлеб и с усталым интересом следил, как дон Кондор медленно наливается желчью: Хранитель больших печатей нервничал, опаздывая на чрезвычайное ночное заседание Конференции двенадцати негоциантов, посвященное перевороту в Арканаре, на котором ему надлежало председательствовать.

— Мои благородные друзья! — звучно сказал, наконец, доктор Будах, встал и упал на Румату.

Румата бережно обнял его за плечи.

— Готов? — спросил дон Кондор.

— До утра не проснется, — сказал Румата, поднял Будаха на руки и отнес на ложе отца Кабани.

Отец Кабани проговорил с завистью:

— Доктору, значит, можно закладывать, а отцу Кабани, значит, нельзя, вредно. Нехорошо получается!

— У меня четверть часа, — сказал дон Кондор по-русски.

— Мне хватит и пяти минут, — ответил Румата, с трудом сдерживая раздражение. — И я так много говорил вам об этом раньше, что хватит и минуты. В полном соответствии с базисной теорией феодализма, — он яростно поглядел прямо в глаза дону Кондору, — это самое заурядное выступление горожан против баронства, — он перевел взгляд на дона Гуга, — вылилось в провокационную интригу Святого Ордена и привело к превращению Арканара в базу феодально-фашистской агрессии. Мы здесь ломаем головы, тщетно пытаясь втиснуть сложную, противоречивую, загадочную фигуру орла нашего дона Рэбы в один ряд с Ришелье, Неккером, Токугавой Иэясу, Монком, а он оказался мелким хулиганом и

дураком! Он предал и продал все, что мог, запутался в собственных затеях, насмерть струсил и кинулся спасаться к Святому Ордену. Через полгода его зарежут, а Орден останется. Последствия этого для Запроливья, а затем и для всей Империи я просто боюсь себе представить. Во всяком случае, вся двадцатилетняя работа в пределах Империи пошла насмарку. Под Святым Орденом не развернешься. Вероятно, Будах — это последний человек, которого я спасаю. Больше спасать будет некого. Я кончил.

Дон Гуг сломал, наконец, подкову и швырнул половинки в угол.

— Да, проморгали, — сказал он. — А может быть, это не так уж страшно, Антон?

Румата только посмотрел на него.

— Тебе надо было убрать дона Рэбу, — сказал вдруг дон Кондор.

— То есть как это «убрать»?

На лице дона Кондора вспыхнули красные пятна.

— Физически! — резко сказал он.

Румата сел.

— То есть убить?

— Да. Да! Да!!! Убить! Похитить! Сместить! Заточить! Надо было действовать. Не советоваться с двумя дураками, которые ни черта не понимали в том, что происходит.

— Я тоже ни черта не понимал.

— Ты по крайней мере чувствовал.

Все помолчали.

— Что-нибудь вроде Барканской резни? — вполголоса осведомился дон Кондор, глядя в сторону.

— Да, примерно. Но более организованно.

Дон Кондор покусал губу.

— Теперь его убирать уже поздно? — сказал он.

— Бессмысленно, — сказал Румата. — Во-первых, его уберут без нас, а во-вторых, это вообще не нужно. Он по крайней мере у меня в руках.

— Каким образом?

— Он меня боится. Он догадывается, что за мною сила. Он уже даже предлагал сотрудничество.

— Да? — проворчал дон Кондор. — Тогда не имеет смысла.

Дон Гуг сказал, чуть заикаясь:

— Вы что, товарищи, серьезно все это?

— Что именно? — спросил дон Кондор.

— Ну все это... Убить, физически убрать... Вы что, с ума сошли?

— Благородный дон поражен в пятку, — тихонько сказал Румата.

Дон Кондор медленно отчеканил:

— При чрезвычайных обстоятельствах действенны только чрезвычайные меры.

Дон Гуг, шевеля губами, переводил взгляд с одного на другого.

— В-вы... Вы знаете, до чего так докатитесь? — проговорил он. — В-вы понимаете, до чего вы так докатитесь, а?

— Успокойся, пожалуйста, — сказал дон Кондор. — Ничего не случится. И хватит пока об этом. Что будем делать с Орденом? Я предлагаю блокаду Арканарской области. Ваше мнение, товарищи? И побыстрее, я тороплюсь.

— У меня никакого мнения еще нет, — возразил Румата. — А у Пашки тем более. Надо посоветоваться с Базой. Надо оглядеться. А через неделю встретимся и решим.

— Согласен, — сказал дон Кондор и встал. — Пошли.

Румата взвалил Будаха на плечо и вышел из избы. Дон Кондор светил ему фонариком. Они подошли к вертолету, и Румата уложил Будаха на заднее сиденье. Дон Кондор, гремя мечом и путаясь в плаще, забрался в водительское кресло.

— Вы не подбросите меня до дому? — спросил Румата. — Я хочу, наконец, выспаться.

— Подброшу, — буркнул дон Кондор. — Только быстрее, пожалуйста.

— Я сейчас вернусь, — сказал Румата и побежал в избу.

Дон Гуг все еще сидел за столом и, уставясь перед собой, тер подбородок. Отец Кабани стоял рядом с ним и говорил:

— Так оно всегда и получается, дружок. Стараешься, как лучше, а получается хуже...

Румата сгреб в охапку мечи и перевязи.

— Счастливо, Пашка, — сказал он. — Не огорчайся, просто мы все устали и раздражены.

Дон Гуг помотал головой.

— Смотри, Антон, — проговорил он. — Ох, смотри!.. О дяде Саше я не говорю, он здесь давно, не нам его переучивать. А вот ты...

— Спать я хочу, вот что, — сказал Румата. — Отец Кабани, будьте любезны, возьмите моих лошадей и отведите их к барону Пампе. На днях я у него буду.

Снаружи мягко взвыли винты. Румата махнул рукой и выскочил из избы. В ярком свете фар вертолета заросли гигантского папоротника и белые стволы деревьев выглядели причудливо и жутко. Румата вскарабкался в кабину и захлопнул дверцу.

В кабине пахло озоном, органической обшивкой и одеколоном. Дон Кондор поднял машину и уверенно повел ее над Арканарской дорогой. Я бы сейчас так не смог, с легкой завистью подумал Румата. Позади мирно причмокивал во сне старый Будах.

— Антон, — сказал дон Кондор, — я бы... э-э... не хотел быть бестактным, и не подумай, будто я... э-э... вмешиваюсь в твои личные дела.

— Я вас слушаю, — сказал Румата. Он сразу догадался, о чем пойдет речь.

— Все мы разведчики, — сказал дон Кондор. — И все дорогое, что у нас есть, должно быть либо далеко на Земле, либо внутри нас. Чтобы его нельзя было отобрать у нас и взять в качестве заложника.

— Вы говорите о Кире? — спросил Румата.

— Да, мой мальчик. Если все, что я знаю о доне Рэбе, — правда, то держать его в руках — занятие нелегкое и опасное. Ты понимаешь, что я хочу сказать...

— Да, понимаю, — сказал Румата. — Я постараюсь что-нибудь придумать.

Они лежали в темноте, держась за руки. В городе было тихо, только изредка где-то неподалеку злобно визжали и бились кони. Время от времени Румата погружался в дремоту и сразу просыпался, оттого что Кира затаивала дыхание — во сне он сильно стискивал ее руку.

— Ты, наверное, очень хочешь спать, — сказала Кира шепотом. — Ты спи.

— Нет-нет, рассказывай, я слушаю.

— Ты все время засыпаешь.

— Я все равно слушаю. Я, правда, очень устал, но еще больше я соскучился по тебе. Мне жалко спать. Ты рассказывай, мне очень интересно.

Она благодарно потерлась носом о его плечо и поцеловала в щеку и снова стала рассказывать, как нынче вечером пришел от отца соседский мальчик. Отец лежит. Его выгнали из канцелярии и на прощание сильно побили палками. Последнее время он вообще ничего не ест, только пьет — стал весь синий, дрожащий. Еще мальчик сказал, что объявился брат — раненый, но веселый и пьяный, в новой форме. Дал отцу денег, выпил с ним и опять грозился, что они всех раскатают. Он теперь в каком-то особом отряде лейтенантом, присягнул на верность Ордену и собирается принять сан. Отец просил, чтобы она домой пока ни в коем случае не приходила. Брат грозился с ней разделаться за то, что спуталась с благородным, рыжая

стерва...

Да, думал Румата, уж конечно, не домой. И здесь тоже оставаться ей ни в коем случае нельзя. Если с ней хоть что-нибудь случится... Он представил себе, что с ней случилось плохое, и сделался весь как каменный.

— Ты спишь? — спросила Кира.

Он очнулся и разжал ладонь.

— Нет-нет... А еще что ты делала?

— А еще я прибрала твои комнаты. Ужасный у тебя все-таки развал. Я нашла одну книгу, отца Гура сочинение. Там про то, как благородный принц полюбил прекрасную, но дикую девушку из-за гор. Она была совсем дикая и думала, что он бог, и все-таки очень любила его. Потом их разлучили, и она умерла от горя.

— Это замечательная книга, — сказал Румата.

— Я даже плакала. Мне все время казалось, что это про нас с тобой.

— Да, это про нас с тобой. И вообще про всех людей, которые любят друг друга. Только нас не разлучат.

Безопаснее всего было бы на Земле, подумал он. Но как ты там будешь без меня? И как я здесь буду один? Можно было бы попросить Анку, чтобы дружила с тобою там. Но как я буду здесь без тебя? Нет, на Землю мы полетим вместе. Я сам поведу корабль, а ты будешь сидеть рядом, и я буду все тебе объяснять. Чтобы ты ничего не боялась. Чтобы ты сразу полюбила Землю. Чтобы ты никогда не жалела о своей страшной родине. Потому что это не твоя родина. Потому что твоя родина отвергла тебя. Потому что ты родилась на тысячу лет раньше своего срока. Добрая, верная, самоотверженная, бескорыстная... Такие, как ты, рождались во все эпохи кровавой истории наших планет. Ясные, чистые души, не знающие ненависти, не приемлющие жестокость. Жертвы. Бесполезные жертвы. Гораздо более бесполезные, чем Гур Сочинитель или Галилей. Потому что такие, как ты, даже не борцы. Чтобы быть борцом, нужно уметь ненавидеть, а как раз этого вы не умеете. Так же, как и мы теперь...

...Румата опять задремал и сейчас же увидел Киру, как она стоит на краю плоской крыши Совета с деградитатором на поясе, и веселая насмешливая Анка нетерпеливо подталкивает ее к полуторакилометровой пропасти.

— Румата, — сказала Кира. — Я боюсь.

— Чего, маленькая?

— Ты все молчишь и молчишь. Мне страшно...

Румата притянул ее к себе.

— Хорошо, — сказал он. — Сейчас я буду говорить, а ты меня

внимательно слушай. Далеко-далеко за сайвой стоит грозный, неприступный замок. В нем живет веселый, добрый и смешной барон Пампа, самый добрый барон в Арканаре. У него есть жена, красивая, ласковая женщина, которая очень любит Пампу трезвого и терпеть не может Пампу пьяного...

Он замолчал, прислушиваясь. Он услышал цокот множества копыт на улице и шумное дыхание многих людей и лошадей. «Здесь, что ли?» — спросил грубый голос под окном. «Вроде здесь...» — «Сто-ой!» По ступенькам крыльца загремели каблуки, и сейчас же несколько кулаков обрушились на дверь. Кира, вздрогнув, прижалась к Румате.

— Подожди, маленькая, — сказал он, откидывая одеяло.

— Это за мной, — сказала Кира шепотом. — Я так и знала!

Румата с трудом высвободился из рук Киры и подбежал к окну. «Во имя господа! — ревели внизу. — Открывай! Взломаем — хуже будет!» Румата отдернул штору, и в комнату хлынул знакомый пляшущий свет факелов. Множество всадников топталось внизу — мрачных черных людей в остроконечных капюшонах. Румата несколько секунд глядел вниз, потом осмотрел оконную раму. По обычаю, рама была вделана в оконницу намертво. В дверь с треском били чем-то тяжелым. Румата нашарил в темноте меч и ударил рукоятью в стекло. Со звоном посыпались осколки.

— Эй, вы! — рявкнул он. — Вам что, жить надоело?

Удары в дверь стихли.

— И ведь всегда они напутают, — негромко сказали внизу. — Хозяин-то дома...

— А нам что за дело?

— А то дело, что он на мечах первый в мире.

— А еще говорили, что уехал и до утра не вернется.

— Испугались?

— Мы-то не испугались, а только про него ничего не велено. Не пришлось бы убить...

— Свяжем. Покалечим и свяжем! Эй, кто там с арбалетами?

— Как бы он нас не покалечил...

— Ничего, не покалечит. Всем известно: у него обет такой — не убивать.

— Перебью как собак, — сказал Румата страшным голосом.

Сзади к нему прижалась Кира. Он слышал, как бешено стучит ее сердце. Внизу скомандовали скрипуче: «Ломай, братья! Во имя господа!» Румата обернулся и взглянул Кире в лицо. Она смотрела на него, как давеча, с ужасом и надеждой. В сухих глазах плясали отблески факелов.

— Ну что ты, маленькая, — сказал он ласково. — Испугалась? Неужели этой швали испугалась? Иди одевайся. Делать нам здесь больше нечего... — Он торопливо натягивал металлопластовую кольчугу. — Сейчас я их прогоню, и мы уедем. Уедем к Пампе.

Она стояла у окна, глядя вниз. Красные блики бегали по ее лицу. Внизу трещало и ухало. У Руматы от жалости и нежности сжалось сердце. Погоню, как псов, подумал он. Он наклонился, отыскивая второй меч, а когда снова выпрямился, Кира уже не стояла у окна. Она медленно сползала на пол, цепляясь за портьеру.

— Кира! — крикнул он.

Одна арбалетная стрела пробила ей горло, другая торчала из груди. Он взял ее на руки и перенес на кровать. «Кира...» — позвал он. Она всхлипнула и вытянулась. «Кира...» — сказал он. Она не ответила. Он постоял немного над нею, потом подобрал мечи, медленно спустился по лестнице в прихожую и стал ждать, когда упадет дверь...

ЭПИЛОГ

— А потом? — спросила Анка.

Пашка отвел глаза, несколько раз хлопнул себя ладонью по колену, наклонился и потянулся за земляникой у себя под ногами. Анка ждала.

— Потом... — пробормотал он. — В общем-то никто не знает, что было потом, Анка. Передатчик он оставил дома, и когда дом загорелся, на патрульном дирижабле поняли, что дело плохо, и сразу пошли в Арканар. На всякий случай сбросили на город шашки с усыпляющим газом. Дом уже догорал. Сначала растерялись, не знали, где его искать, но потом увидели... — Он замялся. — Словом, видно было, где он шел.

Пашка замолчал и стал кидать ягоды в рот одну за другой.

— Ну? — тихонько сказала Анка.

— Пришли во дворец... Там его и нашли.

— Как?

— Ну... он спал. И все вокруг... тоже... лежали... Некоторые спали, а некоторые... так... Дона Рэбу тоже там нашли... — Пашка быстро взглянул на Анку и снова отвел глаза. — Забрали его, то есть Антона, доставили на Базу... Понимаешь, Анка, ведь он ничего не рассказывает. Он вообще теперь говорит мало.

Анка сидела очень бледная и прямая и смотрела поверх Пашкиной головы на лужайку перед домиком. Шумели, легонько раскачиваясь, сосны, в синем небе медленно двигались пухлые облака.

— А что стало с девушкой? — спросила она.

— Не знаю, — жестко сказал Пашка.

— Слушай, Паша, — сказала Анка. — Может быть, мне не стоило приезжать сюда?

— Нет, что ты! Я думаю, он тебе обрадуется...

— А мне все кажется, что он прячется где-нибудь в кустах, смотрит на нас и ждет, пока я уеду.

Пашка усмехнулся.

— Вот уж нет, — сказал он. — Антон в кустах сидеть не станет. Просто он не знает, что ты здесь. Ловит где-нибудь рыбу, как обычно.

— А с тобой как он?

— Никак. Терпит. Но ты-то другое дело...

Они помолчали.

— Анка, — сказал Пашка. — Помнишь анизотропное шоссе?

Анка наморщила лоб.

— Какое?

— Анизотропное. Там висел «кирпич». Помнишь, мы втроем?..

— Помню. Это Антон сказал, что оно анизотропное.

— Антон тогда пошел под «кирпич», а когда вернулся, то сказал, будто нашел там взорванный мост и скелет фашиста, прикованный к пулемету.

— Не помню, — сказала Анка. — Ну и что?

— Я теперь часто вспоминаю это шоссе, — сказал Пашка. — Будто есть какая-то связь... Шоссе было анизотропное, как история. Назад идти нельзя. А он пошел. И наткнулся на прикованный скелет.

— Я тебя не понимаю. При чем здесь прикованный скелет?

— Не знаю, — признался Пашка. — Мне так кажется.

Анка сказала:

— Ты не давай ему много думать. Ты с ним все время о чем-нибудь говори. Глупости какие-нибудь. Чтобы он спорил.

Пашка вздохнул.

— Это я и сам знаю. Да только что ему мои глупости?.. Послушает, улыбнется и скажет: «Ты, Паша, тут посиди, а я пойду поброжу». И пойдет. А я сижу... Первое время, как дурак, незаметно ходил за ним, а теперь просто сижу и жду. Вот если бы ты...

Анка вдруг поднялась. Пашка оглянулся и тоже встал. Анка не дыша смотрела, как через поляну к ним идет Антон — огромный, широкий, со светлым, не загорелым лицом. Ничего в нем не изменилось, он всегда был немного мрачный.

Она пошла ему навстречу.

— Анка, — сказал он ласково. — Анка, дружище...

Он протянул к ней огромные руки. Она робко потянулась к нему и тут же отпрянула. На пальцах у него... Но это была не кровь — просто сок земляники.

ПОНЕДЕЛЬНИК НАЧИНАЕТСЯ В СУББОТУ Сказка для научных работников младшего возраста

Но что страннее, что непонятнее всего, это то, как авторы могут брать подобные сюжеты, признаюсь, это уж совсем непостижимо, это точно... нет, нет, совсем не понимаю.

*_Н. В. Гоголь_*

История первая СУЕТА ВОКРУГ ДИВАНА

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Учитель: Дети, запишите предложение: «Рыба сидела на дереве».

Ученик: А разве рыбы сидят на деревьях?

Учитель: Ну... Это была сумасшедшая рыба.

*_Школьный_ _анекдот_*

Я приближался к месту моего назначения. Вокруг меня, прижимаясь к самой дороге, зеленел лес, изредка уступая место полянам, поросшим желтой осокою. Солнце садилось уже который час, все никак не могло сесть и висело низко над горизонтом. Машина катилась по узкой дороге, засыпанной хрустящим гравием. Крупные камни я пускал под колесо, и каждый раз в багажнике лязгали и громыхали пустые канистры.

Справа из леса вышли двое, ступили на обочину и остановились, глядя в мою сторону. Один из них поднял руку. Я сбросил газ, их рассматривая. Это были, как мне показалось, охотники, молодые люди, может быть, немного старше меня. Их лица понравились мне, и я остановился. Тот, что поднимал руку, просунул в машину смуглое горбоносое лицо и спросил, улыбаясь:

— Вы нас не подбросите до Соловца?

Второй, с рыжей бородой и без усов, тоже улыбался, выглядывая из-за его плеча. Положительно, это были приятные люди.

— Давайте садитесь, — сказал я. — Один вперед, другой назад, а то у меня там барахло, на заднем сиденье.

— Благодетель! — обрадованно произнес горбоносый, снял с плеча ружье и сел рядом со мной.

Бородатый, нерешительно заглядывая в заднюю дверцу, сказал:

— А можно я здесь немножко того?..

Я перегнулся через спинку и помог ему расчистить место, занятое спальным мешком и свернутой палаткой. Он деликатно уселся, поставив

ружье между колен.

— Дверцу прикройте получше, — сказал я.

Все шло, как обычно. Машина тронулась. Горбоносый повернулся назад и оживленно заговорил о том, что много приятнее ехать в легковой машине, чем идти пешком. Бородатый невнятно соглашался и все хлопал и хлопал дверцей. «Плащ подберите, — посоветовал я, глядя на него в зеркало заднего вида. — У вас плащ защемляется». Минут через пять все наконец устроилось. Я спросил: «До Соловца километров десять?» — «Да, — ответил горбоносый. — Или немножко больше. Дорога, правда, неважная — для грузовиков». — «Дорога вполне приличная, — возразил я. — Мне обещали, что я вообще не проеду». — «По этой дороге даже осенью можно проехать». — «Здесь — пожалуй, но вот от Коробца — грунтовая». — «В этом году лето сухое, все подсохло». — «Под Затонью, говорят, дожди», — заметил бородатый на заднем сиденье. «Кто это говорит?» — спросил горбоносый. «Мерлин говорит». Они почему-то засмеялись. Я вытащил сигареты, закурил и предложил им угощаться. «Фабрика Клары Цеткин, — сказал горбоносый, разглядывая пачку. — Вы из Ленинграда?» — «Да». — «Путешествуете?» — «Путешествую, — сказал я. — А вы здешние?» — «Коренные», — сказал горбоносый. «Я из Мурманска», — сообщил бородатый. «Для Ленинграда, наверное, что Соловец, что Мурманск — одно и то же: Север», — сказал горбоносый. «Нет, почему же», — сказал я вежливо. «В Соловце будете останавливаться?» — спросил горбоносый. «Конечно, — сказал я. — Я в Соловец и еду». — «У вас там родные или знакомые?» — «Нет, — сказал я. — Просто подожду ребят. Они идут берегом, а Соловец у нас — точка рандеву».

Впереди я увидел большую россыпь камней, притормозил и сказал: «Держитесь крепче». Машина затряслась и запрыгала. Горбоносый ушиб нос о ствол ружья. Мотор взревывал, камни били в днище. «Бедная машина», — сказал горбоносый. «Что делать...» — сказал я. «Не всякий поехал бы по такой дороге на своей машине». — «Я бы поехал», — сказал я. Россыпь кончилась. «А, так это не ваша машина», — догадался горбоносый. «Ну, откуда у меня машина! Это прокат». — «Понятно», — сказал горбоносый, как мне показалось, разочарованно. Я почувствовал себя задетым. «А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта». — «Да, конечно», — вежливо согласился горбоносый. «Глупо, по-моему, делать из машины идола», — заявил я. «Глупо, — сказал бородатый. — Но не все так думают». Мы поговорили о машинах и

пришли к выводу, что если уж покупать что-нибудь, так это «ГАЗ-69», вездеход, но их, к сожалению, не продают. Потом горбоносый спросил: «А где вы работаете?» Я ответил. «Колоссально! — воскликнул горбоносый. — Программист! Нам нужен именно программист. Слушайте, бросайте ваш институт и пошли к нам!» — «А что у вас есть?» — «Что у нас есть?» — спросил горбоносый поворачиваясь. «Алдан-3», — сказал бородатый. «Богатая машина, — сказал я. — И хорошо работает?» — «Да как вам сказать...» — «Понятно», — сказал я. «Собственно, ее еще не отладили, — сказал бородатый. — Оставайтесь у нас, отладите...» — «А перевод мы вам в два счета устроим», — добавил горбоносый. «А чем вы занимаетесь?» — спросил я. «Как и вся наука, — сказал горбоносый. — Счастьем человеческим». — «Понятно, — сказал я. — Что-нибудь с космосом?» — «И с космосом тоже», — сказал горбоносый. «От добра добра не ищут», — сказал я. «Столичный город и приличная зарплата», — сказал бородатый негромко, но я услышал. «Не надо, — сказал я. — Не надо мерять на деньги». — «Да нет, я пошутил», — сказал бородатый. «Это он так шутит, — сказал горбоносый. — Интереснее, чем у нас, вам нигде не будет». — «Почему вы так думаете?» — «Уверен». — «А я не уверен». Горбоносый усмехнулся. «Мы еще поговорим на эту тему, — сказал он. — Вы долго пробудете в Соловце?» — «Дня два максимум». — «Вот на второй день и поговорим». Бородатый заявил: «Лично я вижу в этом перст судьбы — шли по лесу и встретили программиста. Мне кажется, вы обречены». — «Вам действительно так нужен программист?» — спросил я. «Нам позарез нужен программист». — «Я поговорю с ребятами, — пообещал я. — Я знаю недовольных». — «Нам нужен не всякий программист, — сказал горбоносый. — Программисты — народ дефицитный, избаловались, а нам нужен небалованный». — «Да, это сложнее», — сказал я. Горбоносый стал загибать пальцы: «Нам нужен программист: а — небалованный, бэ — доброволец, цэ — чтобы согласился жить в общежитии...» — «Дэ, — подхватил бородатый, — на сто двадцать рублей». — «А как насчет крылышек? — спросил я. — Или, скажем, сияния вокруг головы? Один на тысячу!» — «А нам всего-то один и нужен», — сказал горбоносый. «А если их всего девятьсот?» — «Согласны на девять десятых».

Лес расступился, мы переехали через мост и покатили между картофельными полями. «Девять часов, — сказал горбоносый. — Где вы собираетесь ночевать?» — «В машине переночую. Магазины у вас до которого часа работают?» — «Магазины у нас уже закрыты», — сказал горбоносый. «Можно в общежитии, — сказал бородатый. — У меня в комнате свободная койка». — «К общежитию не подъедешь», — сказал

горбоносый задумчиво. «Да, пожалуй», — сказал бородатый и почему-то засмеялся. «Машину можно поставить возле милиции», — сказал горбоносый. «Да ерунда это, — сказал бородатый. — Я несу околесицу, а ты за мной вслед. Как он в общежитие-то пройдет?» — «Д-да, черт, — сказал горбоносый. — Действительно, день не поработаешь — забываешь про все эти штуки». — «А может быть, трансгрессировать его?» — «Ну-ну, — сказал горбоносый. — Это тебе не диван. А ты не Кристобаль Хунта, да и я тоже...»

— Да вы не беспокойтесь, — сказал я. — Переночую в машине, не первый раз.

Мне вдруг страшно захотелось поспать на простынях. Я уже четыре ночи спал в спальном мешке.

— Слушай, — сказал горбоносый, — хо-хо! Изнакурнож!

— Правильно! — воскликнул бородатый. — На Лукоморье его!

— Ей-богу, я переночую в машине, — сказал я.

— Вы переночуете в доме, — сказал горбоносый, — на относительно чистом белье. Должны же мы вас как-то отблагодарить...

— Не полтинник же вам совать, — сказал бородатый.

Мы въехали в город. Потянулись старинные крепкие заборы, мощные срубы из гигантских почерневших бревен, с неширокими окнами, с резными наличниками, с деревянными петушками на крышах. Попалось несколько грязных кирпичных строений с железными дверями, вид которых вынес у меня из памяти полузнакомое слово «лабаз». Улица была прямая и широкая и называлась проспектом Мира. Впереди, ближе к центру, виднелись двухэтажные шлакоблочные дома с открытыми сквериками.

— Следующий переулок направо, — сказал горбоносый.

Я включил указатель поворота, притормозил и свернул направо. Дорога здесь заросла травой, но у какой-то калитки стоял, приткнувшись, новенький «Запорожец». Номера домов висели над воротами, и цифры были едва заметны на ржавой жести вывесок. Переулок назывался изящно: «Ул. Лукоморье». Он был неширок и зажат между тяжелых старинных заборов, поставленных, наверное, еще в те времена, когда здесь шастали шведские и норвежские пираты.

— Стоп, — сказал горбоносый. Я тормознул, и он снова стукнулся носом о ствол ружья. — Теперь так, — сказал он, потирая нос. — Вы меня подождите, а я сейчас пойду и все устрою.

— Право, не стоит, — сказал я в последний раз.

— Никаких разговоров. Володя, держи его на мушке.

Горбоносый вылез из машины и, нагнувшись, протиснулся в низкую калитку. За высоченным серым забором дома видно не было. Ворота были совсем уже феноменальные, как в паровозном депо, на ржавых железных петлях в пуд весом. Я с изумлением читал вывески. Их было три. На левой воротине строго блестела толстым стеклом синяя солидная вывеска с серебряными буквами:

НИИЧАВО
изба на куриных ногах
памятник
соловецкой старины

На правой воротине сверху висела ржавая жестяная табличка: «Ул. Лукоморье, д. № 13, Н. К. Горыныч», а под нею красовался кусок фанеры с надписью чернилами вкривь и вкось:

КОТ НЕ РАБОТАЕТ
Администрация

— Какой КОТ? — спросил я. — Комитет Оборонной Техники?

Бородатый хихикнул.

— Вы, главное, не беспокойтесь, — сказал он. — Тут у нас забавно, но все будет в полном порядке.

Я вышел из машины и стал протирать ветровое стекло. Над головой у меня вдруг завозились. Я поглядел. На воротах умащивался, пристраиваясь поудобнее, гигантский — я таких никогда не видел — черно-серый, разводами, кот. Усевшись, он сыто и равнодушно посмотрел на меня желтыми глазами. «Кис-кис-кис», — сказал я машинально. Кот вежливо и холодно разинул зубастую пасть, издал сиплый горловой звук, а затем отвернулся и стал смотреть внутрь двора. Оттуда, из-за забора, голос горбоносого произнес:

— Василий, друг мой, разрешите вас побеспокоить.

Завизжал засов. Кот поднялся и бесшумно канул во двор. Ворота тяжело закачались, раздался ужасающий скрип и треск, и левая воротина медленно отворилась. Появилось красное от натуги лицо горбоносого.

— Благодетель! — позвал он. — Заезжайте!

Я вернулся в машину и медленно въехал во двор. Двор был обширный, в глубине стоял дом из толстых бревен, а перед домом красовался приземистый необъятный дуб, широкий, плотный, с густой кроной,

заслоняющей крышу. От ворот к дому, огибая дуб, шла дорожка, выложенная каменными плитами. Справа от дорожки был огород, а слева, посередине лужайки, возвышался колодезный сруб с воротом, черный от древности и покрытый мохом.

Я поставил машину в сторонке, выключил двигатель и вылез. Бородатый Володя тоже вылез и, прислонив ружье к борту, стал прилаживать рюкзак.

— Вот вы и дома, — сказал он.

Горбоносый со скрипом и треском затворял ворота, я же, чувствуя себя довольно неловко, озирался, не зная, что делать.

— А вот и хозяйка! — вскричал бородатый. — По здорову ли, баушка, Наина свет Киевна!

Хозяйке было, наверное, за сто. Она шла к нам медленно, опираясь на суковатую палку, волоча ноги в валенках с галошами. Лицо у нее было темно-коричневое; из сплошной массы морщин выдавался вперед и вниз нос, кривой и острый, как ятаган, а глаза были бледные, тусклые, словно бы закрытые бельмами.

— Здравствуй, здравствуй, внучек, — произнесла она неожиданно звучным басом. — Это, значит, и будет новый программист? Здравствуй, батюшка, добро пожаловать!..

Я поклонился, понимая, что нужно помалкивать. Голова бабки поверх черного пухового платка, завязанного под подбородком, была покрыта веселенькой капроновой косынкой с разноцветными изображениями Атомиума и с надписями на разных языках: «Международная выставка в Брюсселе». На подбородке и под носом торчала редкая седая щетина. Одета была бабка в ватную безрукавку и черное суконное платье.

— Таким вот образом, Наина Киевна! — сказал горбоносый, подходя и обтирая с ладоней ржавчину. — Надо нашего нового сотрудника устроить на две ночи. Позвольте вам представить... м-м-м...

— А не надо, — сказала старуха, пристально меня рассматривая. — Сама вижу. Привалов Александр Иванович, одна тысяча девятьсот тридцать восьмой, мужской, русский, член ВЛКСМ, нет, нет, не участвовал, не был, не имеет, а будет тебе, алмазный, дальняя дорога и интерес в казенном доме, а бояться тебе, бриллиантовый, надо человека рыжего, недоброго, а позолоти ручку, яхонтовый...

— Гхм! — громко сказал горбоносый, и бабка осеклась. Воцарилось неловкое молчание.

— Можно звать просто Сашей... — выдавил я из себя заранее приготовленную фразу.

— И где же я его положу? — осведомилась бабка.

— В запаснике, конечно, — несколько раздраженно сказал горбоносый.

— А отвечать кто будет?

— Наина Киевна!.. — раскатами провинциального трагика взревел горбоносый, схватил старуху под руку и поволок к дому. Было слышно, как они спорят: «Ведь мы же договорились!..» — «...А ежели он что-нибудь стибрит?..» — «Да тише вы! Это же программист, понимаете? Комсомолец! Ученый!..» — «А ежели он цыкать будет?..»

Я стесненно повернулся к Володе. Володя хихикал.

— Неловко как-то, — сказал я.

— Не беспокойтесь — все будет отлично...

Он хотел сказать еще что-то, но тут бабка дико заорала: «А диван-то, диван!..» Я вздрогнул и сказал:

— Знаете, я, пожалуй, поеду, а?

— Не может быть и речи! — решительно сказал Володя. — Все уладится. Просто бабке нужна мзда, а у нас с Романом нет наличных.

— Я заплачу, — сказал я. Теперь мне очень хотелось уехать: терпеть не могу этих так называемых житейских коллизий.

Володя замотал головой.

— Ничего подобного. Вон он уже идет. Все в порядке.

Горбоносый Роман подошел к нам, взял меня за руку и сказал:

— Ну, все устроилось. Пошли.

— Слушайте, неудобно как-то, — сказал я. — Она, в конце концов, не обязана...

Но мы уже шли к дому.

— Обязана, обязана, — приговаривал Роман.

Обогнув дуб, мы подошли к заднему крыльцу. Роман толкнул обитую дерматином дверь, и мы оказались в прихожей, просторной и чистой, но плохо освещенной. Старуха ждала нас, сложив руки на животе и поджав губы. При виде нас она мстительно пробасила:

— А расписочку чтобы сейчас же!.. Так, мол, и так: принял, мол, то-то и то-то от такой-то, каковая сдала вышеуказанное нижеподписавшемуся...

Роман тихонько взвыл, и мы вошли в отведенную мне комнату. Это было прохладное помещение с одним окном, завешенным ситцевой занавесочкой. Роман сказал напряженным голосом:

— Располагайтесь и будьте как дома.

Старуха из прихожей сейчас же ревниво осведомилась:

— А зубом оне не цыкают?

Роман, не оборачиваясь, рявкнул:

— Не цыкают! Говорят вам — зубов нет.

— Тогда пойдем, расписочку напишем...

Роман поднял брови, закатил глаза, оскалил зубы и потряс головой, но все-таки вышел. Я осмотрелся. Мебели в комнате было немного. У окна стоял массивный стол, накрытый ветхой серой скатертью с бахромой, перед столом — колченогий табурет. Возле голой бревенчатой стены помещался обширный диван, на другой стене, заклеенной разнокалиберными обоями, была вешалка с какой-то рухлядью (ватники, вылезшие шубы, драные кепки и ушанки). В комнату вдавалась большая русская печь, сияющая свежей побелкой, а напротив в углу висело большое мутное зеркало в облезлой раме. Пол был выскоблен и покрыт полосатыми половиками.

За стеной бубнили в два голоса: старуха басила на одной ноте, голос Романа повышался и понижался. «Скатерть, инвентарный номер двести сорок пять...» — «Вы еще каждую половицу запишите!..» — «Стол обеденный...» — «Печь вы тоже запишете?..» — «Порядок нужен... Диван...»

Я подошел к окну и отдернул занавеску. За окном был дуб, больше ничего не было видно. Я стал смотреть на дуб. Это было, видимо, очень древнее растение. Кора была на нем серая и какая-то мертвая, а чудовищные корни, вылезшие из земли, были покрыты красным и белым лишайником. «И еще дуб запишите!» — сказал за стеной Роман. На подоконнике лежала пухлая засаленная книга, я бездумно полистал ее, отошел от окна и сел на диван. И мне сейчас же захотелось спать. Я подумал, что вел сегодня машину четырнадцать часов, что не стоило, пожалуй, так торопиться, что спина у меня болит, а в голове все путается, что плевать мне, в конце концов, на эту нудную старуху, и скорей бы все кончилось и можно было бы лечь и заснуть...

— Ну вот, — сказал Роман, появляясь на пороге. — Формальности окончены. — Он помотал рукой с растопыренными пальцами, измазанными чернилами. — Наши пальчики устали: мы писали, мы писали... Ложитесь спать. Мы уходим, а вы спокойно ложитесь спать. Что вы завтра делаете?

— Жду, — вяло ответил я.

— Где?

— Здесь. И около почтамта.

— Завтра вы, наверное, не уедете?

— Завтра вряд ли... Скорее всего — послезавтра.

— Тогда мы еще увидимся. Наша любовь впереди. — Он улыбнулся,

махнул рукой и вышел. Я лениво подумал, что надо было бы его проводить и попрощаться с Володей, и лег. Сейчас же в комнату вошла старуха. Я встал. Старуха некоторое время пристально на меня глядела.

— Боюсь я, батюшка, что ты зубом цыкать станешь, — сказала она с беспокойством.

— Не стану я цыкать, — сказал я утомленно. — Я спать стану.

— И ложись, и спи... Денежки только вот заплати и спи...

Я полез в задний карман за бумажником.

— Сколько с меня?

Старуха подняла глаза к потолку.

— Рубль положим за помещение... Полтинничек за постельное белье — мое оно, не казенное. За две ночи выходит три рубли... А сколько от щедрот накинешь — за беспокойство, значит, — я уж и не знаю...

Я протянул ей пятерку.

— От щедрот пока рубль, — сказал я. — А там видно будет.

Старуха живо схватила деньги и удалилась, бормоча что-то про сдачу. Не было ее довольно долго, и я уже хотел махнуть рукой и на сдачу, и на белье, но она вернулась и выложила на стол пригоршню грязных медяков.

— Вот тебе и сдача, батюшка, — сказала она. — Ровно рублик, можешь не пересчитывать.

— Не буду пересчитывать, — сказал я. — Как насчет белья?

— Сейчас постелю. Ты выйди во двор, прогуляйся, а я постелю.

Я вышел, на ходу вытаскивая сигареты. Солнце наконец село, и наступила белая ночь. Где-то лаяли собаки. Я присел под дубом на вросшую в землю скамеечку, закурил и стал смотреть на бледное беззвездное небо. Откуда-то бесшумно появился кот, глянул на меня флюоресцирующими глазами, затем быстро вскарабкался на дуб и исчез в темной листве. Я сразу забыл о нем и вздрогнул, когда он завозился где-то наверху. На голову мне посыпался мусор. «Чтоб тебя...» — сказал я вслух и стал отряхиваться. Спать хотелось необычайно. Из дому вышла старуха, не замечая меня, побрела к колодцу. Я понял это так, что постель готова, и вернулся в комнату.

Вредная бабка постелила мне на полу. Ну уж нет, подумал я, запер дверь на щеколду, перетащил постель на диван и стал раздеваться. Сумрачный свет падал из окна, на дубе шумно возился кот. Я замотал головой, вытряхивая из волос мусор. Странный это был мусор, неожиданный: крупная сухая рыбья чешуя. Колко спать будет, подумал я, повалился на подушку и сразу заснул.

ГЛАВА ВТОРАЯ

...Опустевший дом превратился в логово лисиц и барсуков, и потому здесь могут появляться странные оборотни и призраки.

*_А. Уэда_*

Я проснулся посреди ночи оттого, что в комнате разговаривали. Разговаривали двое, едва слышным шепотом. Голоса были очень похожи, но один был немного сдавленный и хрипловатый, а другой выдавал крайнее раздражение.

— Не хрипи, — шептал раздраженный. — Ты можешь не хрипеть?

— Могу, — отозвался сдавленный и заперхал.

— Да тише ты... — прошипел раздраженный.

— Хрипунец, — объяснил сдавленный. — Утренний кашель курильщика... — Он снова заперхал.

— Удались отсюда, — сказал раздраженный.

— Да все равно он спит...

— Кто он такой? Откуда свалился?

— А я почем знаю?

— Вот досада... Ну просто феноменально не везет.

Опять соседям не спится, подумал я спросонья. Я вообразил, что я дома. Дома у меня в соседях два брата-физика, которые обожают работать ночью. К двум часам пополуночи у них кончаются сигареты, и тогда они забираются ко мне в комнату и начинают шарить, стуча мебелью и переругиваясь.

Я схватил подушку и швырнул в пустоту. Что-то с шумом обрушилось, и стало тихо.

— Подушку верните, — сказал я, — и убирайтесь вон. Сигареты на столе.

Звук собственного голоса разбудил меня окончательно. Я сел. Уныло лаяли собаки, за стеной грозно храпела старуха. Я наконец вспомнил, где нахожусь. В комнате никого не было. В сумеречном свете я увидел на полу свою подушку и барахло, рухнувшее с вешалки. Бабка голову оторвет, подумал я и вскочил. Пол был холодный, и я переступил на половики. Бабка перестала храпеть. Я замер. Потрескивали половицы, что-то хрустело и шелестело в углах. Бабка оглушительно свистнула и захрапела

снова. Я поднял подушку и бросил ее на диван. От рухляди пахло псиной. Вешалка сорвалась с гвоздя и висела боком. Я поправил ее и стал подбирать рухлядь. Едва я повесил последний салоп, как вешалка оборвалась и, шаркнув по обоям, снова повисла на одном гвозде. Бабка перестала храпеть, и я облился холодным потом. Где-то поблизости завопил петух. В суп тебя, подумал я с ненавистью. Старуха за стеной принялась вертеться, скрипели и щелкали пружины. Я ждал, стоя на одной ноге. Во дворе кто-то сказал тихонько: «Спать пора, засиделись мы сегодня с тобой». Голос был молодой, женский. «Спать так спать, — отозвался другой голос. Послышался протяжный зевок. — Плескаться больше не будешь сегодня?» — «Холодно что-то. Давай баиньки». Стало тихо. Бабка зарычала и заворчала, и я осторожно вернулся на диван. Утром встану пораньше и все поправлю как следует...

Я лег на правый бок, натянул одеяло на ухо, закрыл глаза и вдруг понял, что спать мне совершенно не хочется — хочется есть. Ай-яй-яй, подумал я. Надо было срочно принимать меры, и я их принял.

Вот, скажем, система двух интегральных уравнений типа уравнений звездной статистики; обе неизвестные функции находятся под интегралом. Решать, естественно, можно только численно, скажем, на БЭСМе... Я вспомнил нашу БЭСМ. Панель управления цвета заварного крема. Женя кладет на эту панель газетный сверток и неторопливо его разворачивает. «У тебя что?» — «У меня с сыром и колбасой». С польской полукопченой, кружочками. «Эх ты, жениться надо! У меня котлеты, с чесночком, домашние. И соленый огурчик». Нет, два огурчика... Четыре котлеты и для ровного счета четыре крепких соленых огурчика. И четыре куска хлеба с маслом...

Я откинул одеяло и сел. Может быть, в машине что-нибудь осталось? Нет, все, что там было, я съел. Осталась поваренная книга для Валькиной мамы, которая живет в Лежневе. Как это там... Соус пикан. Полстакана уксусу, две луковицы... и перчик. Подается к мясным блюдам... Как сейчас помню: к маленьким бифштексам. Вот подлость, подумал я, ведь не просто к бифштексам, а к ма-а-аленьким бифштексам. Я вскочил и подбежал к окну. В ночном воздухе отчетливо пахло ма-а-аленькими бифштексами. Откуда-то из недр подсознания всплыло: «Подавались ему обычные в трактирах блюда, как-то: кислые щи, мозги с горошком, огурец соленый (я глотнул) и вечный слоеный сладкий пирожок...» Отвлечься бы, подумал я и взял книгу с подоконника. Это был Алексей Толстой, «Хмурое утро». Я открыл наугад. «Махно, сломав сардиночный ключ, вытащил из кармана перламутровый ножик с полусотней лезвий и им продолжал орудовать,

открывая жестянки с ананасами (плохо дело, подумал я), французским паштетом, с омарами, от которых резко запахло по комнате». Я осторожно положил книгу и сел за стол на табурет. В комнате вдруг обнаружился вкусный резкий запах: должно быть, пахло омарами. Я стал размышлять, почему я до сих пор ни разу не пробовал омаров. Или, скажем, устриц. У Диккенса все едят устриц, орудуют складными ножами, отрезают толстые ломти хлеба, намазывают маслом... Я стал нервно разглаживать скатерть. На скатерти виднелись неотмытые пятна. На ней много и вкусно ели. Ели омаров и мозги с горошком. Ели маленькие бифштексы с соусом пикан. Большие и средние бифштексы тоже ели. Сыто отдувались, удовлетворенно цыкали зубом... Отдуваться мне было не с чего, и я принялся цыкать зубом.

Наверное, я делал это громко и голодно, потому что старуха за стеной заскрипела кроватью, сердито забормотала, загремела чем-то и вдруг вошла ко мне в комнату. На ней была длинная серая рубаха, а в руках она несла тарелку, и в комнате сейчас же распространился настоящий, а не фантастический аромат еды. Старуха улыбалась. Она поставила тарелку прямо передо мной и сладко пробасила:

— Откушай-ко, батюшка, Александр Иванович. Откушай, чем бог послал, со мной переслал...

— Что вы, что вы, Наина Киевна, — забормотал я, — зачем же было так беспокоить себя...

Но в руке у меня уже откуда-то оказалась вилка с костяной ручкой, и я стал есть, а бабка стояла рядом, кивала и приговаривала:

— Кушай, батюшка, кушай на здоровьице...

Я съел все. Это была горячая картошка с топленым маслом.

— Наина Киевна, — сказал я истово, — вы меня спасли от голодной смерти.

— Поел? — сказала Наина Киевна как-то неприветливо.

— Великолепно поел. Огромное вам спасибо! Вы себе представить не можете...

— Чего уж тут не представить, — перебила она уже совершенно раздраженно. — Поел, говорю? Ну и давай сюда тарелку... Тарелку, говорю, давай!

— По... пожалуйста, — проговорил я.

— «Пожалуйста, пожалуйста»... Корми тут вас за пожалуйста...

— Я могу заплатить, — сказал я, начиная сердиться.

— «Заплатить, заплатить»... — Она пошла к двери. — А ежели за это и не платят вовсе? И нечего врать было...

— То есть как это — врать?

— А так вот и врать! Сам говорил, что цыкать не будешь... — Она замолчала и скрылась за дверью.

Что это она? — подумал я. Странная какая-то бабка... Может быть, она вешалку заметила? Было слышно, как она скрипит пружинами, ворочаясь на кровати и недовольно ворча. Потом она запела негромко на какой-то варварский мотив: «Покатаюся, поваляюся, Ивашкиного мясца поевши...» Из окна потянуло ночным холодом. Я поежился, поднялся, чтобы вернуться на диван, и тут меня осенило, что дверь я перед сном запирал. В растерянности я подошел к двери и протянул руку, чтобы проверить щеколду, но едва пальцы мои коснулись холодного железа, как все поплыло у меня перед глазами. Оказалось, что я лежу на диване, уткнувшись носом в подушку, и пальцами ощупываю холодное бревно стены.

Некоторое время я лежал, обмирая, пока не осознал, что где-то рядом храпит старуха, а в комнате разговаривают. Кто-то наставительно вещал вполголоса:

— Слон есть самое большое животное из всех живущих на земле. У него на рыле есть большой кусок мяса, который называется хоботом потому, что он пуст и протянут, как труба. Он его вытягивает и сгибает всякими образами и употребляет его вместо руки...

Холодея от любопытства, я осторожно повернулся на правый бок. В комнате было по-прежнему пусто. Голос продолжал еще более наставительно:

— Вино, употребляемое умеренно, весьма хорошо для желудка; но когда пить его слишком много, то производит пары, унижающие человека до степени несмысленных скотов. Вы иногда видели пьяниц и помните еще то справедливое отвращение, которое вы к ним возымели...

Я рывком поднялся и спустил ноги с дивана. Голос умолк. Мне показалось, что говорили откуда-то из-за стены. В комнате все было по-прежнему, даже вешалка, к моему удивлению, висела на месте. И, к моему удивлению, мне опять очень хотелось есть.

— Тинктура экс витро антимонии, — провозгласил вдруг голос. Я вздрогнул. — Магифтериум антимон ангелий салаэ. Бафилии олеум витри антимонии алекситериум антимониалэ! — Послышалось явственное хихиканье. — Вот ведь бред какой! — сказал голос и продолжал с завыванием: — Вскоре очи сии, еще отверзаемые, не узрят более солнца, но не попусти закрыться оным без благоутробного извещения о моем прощении и блаженстве... Сие есть «Дух или Нравственныя Мысли Славнаго Юнга, извлеченныя из нощных его размышлений». Продается в Санкт-Петербурге и в Риге в книжных лавках Свешникова по два рубля в

папке. — Кто-то всхлипнул. — Тоже бредятина, — сказал голос и произнес с выражением:

Чины, краса, богатства,
Сей жизни все приятства,
Летят, слабеют, исчезают,
Се тлен, и щастье ложно!
Заразы сердце угрызают,
А славы удержать не можно...

Теперь я понял, где говорили. Голос раздавался в углу, где висело туманное зеркало.

— А теперь, — сказал голос, — следующее. «Все — единое Я, это Я — мировое Я. Единение с неведением, происходящее от затмения света Я, исчезает с развитием духовности».

— А эта бредятина откуда? — спросил я. Я не ждал ответа. Я был уверен, что сплю.

— Изречения из «Упанишад», — ответил с готовностью голос.

— А что такое «Упанишады»? — Я уже не был уверен, что сплю.

— Не знаю, — сказал голос.

Я встал и на цыпочках подошел к зеркалу. Я не увидел своего отражения. В мутном стекле отражалась занавеска, угол печи и вообще много вещей. Но меня в нем не было.

— В чем дело? — спросил голос. — Есть вопросы?

— Кто это говорит? — спросил я, заглядывая за зеркало. За зеркалом было много пыли и дохлых пауков. Тогда я указательным пальцем нажал на левый глаз. Это было старинное правило распознавания галлюцинаций, которое я вычитал в увлекательной книге В. В. Битнера «Верить или не верить?». Достаточно надавить пальцем на глазное яблоко, и все реальные предметы — в отличие от галлюцинаций — раздвоятся. Зеркало раздвоилось, и в нем появилось мое отражение — заспанная, встревоженная физиономия. По ногам дуло. Поджимая пальцы, я подошел к окну и выглянул.

За окном никого не было, не было даже дуба. Я протер глаза и снова посмотрел. Я отчетливо видел прямо перед собой замшелый колодезный сруб с воротом, ворота и свою машину у ворот. Все-таки сплю, успокоенно подумал я. Взгляд мой упал на подоконник, на растрепанную книгу. В прошлом сне это был третий том «Хождений по мукам», теперь на обложке

я прочитал: «П. И. Карпов. Творчество душевнобольных и его влияние на развитие науки, искусства и техники». Постукивая зубами от озноба, я перелистал книжку и просмотрел цветные вклейки. Потом я прочитал «Стих № 2»:

В кругу облаков высоко
Чернокрылый воробей
Трепеща и одиноко
Парит быстро над землей.
Он летит ночной порой,
Лунным светом освещенный,
И, ничем не удрученный,
Все он видит под собой.
Гордый, хищный, разъяренный
И летая, словно тень,
Глаза светятся как день.

Пол вдруг качнулся под моими ногами. Раздался пронзительный протяжный скрип, затем, подобно гулу далекого землетрясения, раздалось рокочущее: «Ко-о... Ко-о... Ко-о...» Изба заколебалась, как лодка на волнах. Двор за окном сдвинулся в сторону, а из-под окна вылезла и вонзилась когтями в землю исполинская куриная нога, провела в траве глубокие борозды и снова скрылась. Пол круто накренился, я почувствовал, что падаю, схватился руками за что-то мягкое, стукнулся боком и головой и свалился с дивана. Я лежал на половиках, вцепившись в подушку, упавшую вместе со мной. В комнате было совсем светло. За окном кто-то обстоятельно откашливался.

— Ну-с, так... — сказал хорошо поставленный мужской голос. — В некотором было царстве, в некотором государстве жил-был царь, по имени... мнэ-э... ну, в конце концов, неважно. Скажем, мнэ-э... Полуэкт... У него было три сына-царевича. Первый... мнэ-э-э... Третий был дурак, а вот первый?..

Пригибаясь, как солдат под обстрелом, я подобрался к окну и выглянул. Дуб был на месте. Спиною к нему стоял в глубокой задумчивости на задних лапах кот Василий. В зубах у него был зажат цветок кувшинки. Кот смотрел себе под ноги и тянул: «Мнэ-э-э...» Потом он тряхнул головой, заложил передние лапы за спину и, слегка сутулясь, как доцент Дубино-Княжицкий на лекции, плавным шагом пошел в

сторону от дуба.

— Хорошо... — говорил кот сквозь зубы. — Бывали-живали царь да царица. У царя, у царицы был один сын... Мнэ-э... Дурак, естественно...

Кот с досадой выплюнул цветок и, весь сморщившись, потер лоб.

— Отчаянное положение, — проговорил он. — Ведь кое-что помню! «Ха-ха-ха! Будет чем полакомиться: конь — на обед, молодец — на ужин...» Откуда бы это? А Иван, сами понимаете — дурак, отвечает: «Эх ты, поганое чудище, не уловивши бела лебедя, да кушаешь!» Потом, естественно — каленая стрела, все три головы долой, Иван вынимает три сердца и привозит, кретин, домой матери... Каков подарочек! — Кот сардонически засмеялся, потом вздохнул. — Есть еще такая болезнь — склероз, — сообщил он.

Он снова вздохнул, повернул обратно к дубу и запел: «Кря-кря, мои деточки! Кря-кря, голубяточки! Я... мнэ-э... я слезой вас отпаивала... вернее — выпаивала...» Он в третий раз вздохнул и некоторое время шел молча. Поравнявшись с дубом, он вдруг немузыкально заорал: «Сладок кус не доедала!..»

В лапах у него вдруг оказались массивные гусли — я даже не заметил, где он их взял. Он отчаянно ударил по ним лапой и, цепляясь когтями за струны, заорал еще громче, словно бы стараясь заглушить музыку:

Дасс им таннвальд финстер ист,
Дас махт дас хольтс,
Дас... мнэ-э... майн шатц... или катц?..

Он замолк и некоторое время шагал, молча стуча по струнам. Потом тихонько, неуверенно запел:

Ой, бував я в тим садочку,
Та скажу вам всю правдочку:
Ото так
Копають мак.

Он вернулся к дубу, прислонил к нему гусли и почесал задней ногой за ухом.

— Труд, труд и труд, — сказал он. — Только труд!

Он снова заложил лапы за спину и пошел влево от дуба, бормоча:

— Дошло до меня, о великий царь, что в славном городе Багдаде жил-был портной, по имени... — Он встал на четвереньки, выгнул спину и злобно зашипел. — Вот с этими именами у меня особенно отвратительно! Абу... Али... Кто-то ибн чей-то... Н-ну хорошо, скажем, Полуэкт. Полуэкт ибн... мнэ-э... Полуэктович... Все равно не помню, что было с этим портным. Ну и пес с ним, начнем другую...

Я лежал животом на подоконнике и, млея, смотрел, как злосчастный Василий бродит около дуба то вправо, то влево, бормочет, откашливается, подвывает, мычит, становится от напряжения на четвереньки — словом, мучается несказанно. Диапазон знаний его был грандиозен. Ни одной сказки и ни одной песни он не знал больше чем наполовину, но зато это были русские, украинские, западнославянские, немецкие, английские, по-моему, даже японские, китайские и африканские сказки, легенды, притчи, баллады, песни, романсы, частушки и припевки. Склероз приводил его в бешенство, несколько раз он бросался на ствол дуба и драл кору когтями, он шипел и плевался, и глаза его при этом горели, как у дьявола, а пушистый хвост, толстый, как полено, то смотрел в зенит, то судорожно подергивался, то хлестал его по бокам. Но единственной песенкой, которую он допел до конца, был «Чижик-пыжик», а единственной сказочкой, которую он связно рассказал, был «Дом, который построил Джек» в переводе Маршака, да и то с некоторыми купюрами. Постепенно — видимо, от утомления — речь его обретала все более явственный кошачий акцент. «А в поли, поли, — пел он, — сам плужок ходэ, а... мнэ-э... а... мнэ-а-а-у!.. а за тым плужком сам... мья-а-у-а-у!.. Сам господь ходэ... Или бродэ?..» В конце концов он совершенно изнемог, сел на хвост и некоторое время сидел так, понурив голову. Потом тихо, тоскливо мяукнул, взял гусли под мышку и на трех ногах медленно уковылял по росистой траве.

Я слез с подоконника и уронил книгу. Я отчетливо помнил, что в последний раз это было «Творчество душевнобольных», я был уверен, что на пол упала именно эта книга. Но подобрал я и положил на подоконник «Раскрытие преступлений» А. Свенсона и О. Венделя. Я тупо раскрыл ее, пробежал наудачу несколько абзацев, и мне сейчас же почудилось, что на дубе висит удавленник. Я опасливо поднял глаза. С нижней ветки дуба свешивался мокрый серебристо-зеленый акулий хвост. Хвост тяжело покачивался под порывами утреннего ветерка.

Я шарахнулся и стукнулся затылком о твердое. Громко зазвонил телефон. Я огляделся. Я лежал поперек дивана, одеяло сползло с меня на пол, в окно сквозь листву дуба било утреннее солнце.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Мне пришло в голову, что обычное интервью с дьяволом или волшебником можно с успехом заменить искусным использованием положений науки.

*_Г. Дж. Уэллс_*

Телефон звонил. Я протер глаза, посмотрел в окно (дуб был на месте), посмотрел на вешалку (вешалка тоже была на месте). Телефон звонил. За стеной в комнате у старухи было тихо. Тогда я соскочил на пол, отворил дверь (щеколда была на месте) и вышел в прихожую. Телефон звонил. Он стоял на полочке над большой кадушкой — очень современный аппарат белой пластмассы, такие я видел только в кино и в кабинете нашего директора. Я взял трубку.

— Алло...

— Это кто? — спросил пронзительный женский голос.

— А кого вам надо?

— Это Изнакурнож?

— Что?

— Я говорю, это изба на курногах или нет? Кто говорит?

— Да, — сказал я. — Изба. Кого вам нужно?

— О дьявол, — сказал женский голос. — Примите телефонограмму.

— Давайте.

— Записывайте.

— Одну минутку, — сказал я. — Возьму карандаш и бумагу.

— О дьявол, — сказал женский голос.

Я принес записную книжку и цанговый карандаш.

— Слушаю вас.

— Телефонограмма номер двести шесть, — сказал женский голос. — Гражданке Горыныч Наине Киевне...

— Не так быстро... Киевне... Дальше?

— «Настоящим... предлагается вам... прибыть сегодня... двадцать седьмого июля... сего года... в полночь... на ежегодный республиканский слет...» Записали?

— Записал.

— «Первая встреча... состоится... на Лысой Горе. Форма одежды

парадная. Пользование механическим транспортом... за свой счет. Подпись... начальник канцелярии... Ха... Эм... Вий».

— Кто?

— Вий! Ха Эм Вий.

— Не понимаю.

— Вий! Хрон Монадович! Вы что, начальника канцелярии не знаете?

— Не знаю, — сказал я. — Говорите по буквам.

— Дьявольщина! Хорошо, по буквам: Вервольф — Инкуб — Ибикус краткий... Записали?

— Кажется записал, — сказал я. — Получилось — Вий.

— Кто?

— Вий!

— У вас что, полипы? Не понимаю!

— Владимир! Иван! Иван краткий!

— Так. Повторите телефонограмму.

Я повторил.

— Правильно. Передала Онучкина. Кто принял?

— Привалов.

— С приветом, Привалов! Давно служишь?

— Собачки служат, — сердито сказал я. — Я работаю.

— Ну-ну, работай. На слете встретимся.

Раздались гудки. Я повесил трубку и вернулся в комнату. Утро было прохладное, я торопливо сделал зарядку и оделся. Происходящее казалось мне чрезвычайно любопытным. Телефонограмма странно ассоциировалась в моем сознании с ночными событиями, хотя я и представления не имел, каким образом. Впрочем, кое-какие идеи уже приходили мне в голову, и воображение мое было возбуждено.

Все, чему мне случилось быть здесь свидетелем, не было мне совершенно незнакомым, о подобных случаях я где-то что-то читал и теперь вспомнил, что поведение людей, попадавших в аналогичные обстоятельства, всегда представлялось мне необычайно, раздражающе нелепым. Вместо того чтобы полностью использовать увлекательные перспективы, открывшиеся для них счастливым случаем, они пугались, терялись, торопились вернуться в обыденное. Какой-то герой даже заклинал читателей держаться подальше от завесы, отделяющей наш мир от неведомого, пугая духовными и физическими увечьями. Я еще не знал, как развернутся события, но уже был готов с энтузиазмом окунуться в них.

Бродя по комнате в поисках ковша или кружки, я продолжал рассуждать. Эти пугливые люди, думал я, похожи на некоторых ученых-

экспериментаторов, очень упорных, очень трудолюбивых, но начисто лишенных воображения и поэтому очень осторожных. Получив нетривиальный результат, они шарахаются от него, поспешно объясняют его нечистотой эксперимента и фактически уходят от нового, потому что слишком сжились со старым, уютно уложенным в пределы авторитетной теории... Я уже обдумывал кое-какие эксперименты с книгой-перевертышем (она по-прежнему лежала на подоконнике и была теперь «Последним изгнанником» Олдриджа), с говорящим зеркалом и с цыканьем. У меня было несколько вопросов к коту Василию, да и русалка, живущая на дубе, представляла определенный интерес, хотя временами мне казалось, что она-то мне все-таки приснилась. Я ничего не имею против русалок, но не представляю себе, как они могут лазить по деревьям... хотя, с другой стороны, чешуя?..

Ковшик я нашел на кадушке под телефоном, но воды в кадушке не оказалось, и я направился к колодцу. Солнце поднялось уже довольно высоко. Где-то гудели машины, послышался милицейский свисток, в небе с солидным гулом проплыл вертолет. Я подошел к колодцу и, с удовлетворением обнаружив на цепи мятую жестяную бадью, стал раскручивать ворот. Бадья, постукивая о стены, пошла в черную глубину. Раздался плеск, цепь натянулась. Я крутил ворот и смотрел на свой «Москвич». У машины был усталый, запыленный вид, ветровое стекло было заляпано разбившейся о него вдребезги мошкарой. Надо будет воды долить в радиатор, подумал я. И вообще...

Бадья показалась мне очень тяжелой. Когда я поставил ее на сруб, из воды высунулась огромная щучья голова, зеленая и вся какая-то замшелая. Я отскочил.

— Опять на рынок поволочешь? — сильно окая, сказала щука. Я ошарашенно молчал. — Дай же ты мне покоя, ненасытная! Сколько можно?.. Чуть успокоюсь, приткнусь отдохнуть да подремать — ташшит! Я ведь не молодая уже, постарше тебя буду... жабры тоже не в порядке...

Было очень странно смотреть, как она говорит. Совершенно как щука в кукольном театре, она вовсю открывала и закрывала зубастую пасть в неприятном несоответствии с произносимыми звуками. Последнюю фразу она произнесла, судорожно сжав челюсти.

— И воздух мне вреден, — продолжала она. — Вот подохну, что будешь делать? Все скупость твоя, бабья да дурья... Все копишь, а для чего копишь — сама не знаешь... На последней реформе-та как погорела, а? То-то! А екатериновками? Сундуки оклеивала! А керенками-та, керенками! Ведь печку топила керенками...

— Видите ли, — сказал я, немного оправившись.

— Ой, кто это? — испугалась щука.

— Я... Я здесь случайно... Я намеревался слегка помыться.

— Помыться! А я думала — опять старуха. Не вижу я: старая. Да и коэффициент преломления в воздухе, говорят, совсем другой. Воздушные очки было себе заказала, да потеряла, не найду... А кто ж ты будешь?

— Турист, — коротко сказал я.

— Ах, турист... А я думала — опять бабка. Ведь что она со мной делает! Поймает меня, волочит на рынок и там продает, якобы на уху. Ну что мне остается? Конечно, говоришь покупателю: так и так, отпусти меня к малым детушкам — хотя какие у меня там малые детушки — не детушки уже, которые живы, а дедушки. Ты меня отпустишь, а я тебе послужу, скажи только «по щучьему велению, по моему, мол, хотению». Ну и отпускают. Одни со страху, другие по доброте, а которые и по жадности... Вот поплаваешь в реке, поплаваешь — холодно, ревматизм, заберешься обратно в колодезь, а старуха с бадьей опять тут как тут... — Щука спряталась в воду, побулькала и снова высунулась. — Ну что просить-то будешь, служивый? Только попроще чего, а то просят телевизоры какие-то, транзисторы... Один совсем обалдел: «Выполни, говорит, за меня годовой план на лесопилке». Года мои не те — дрова пилить...

— Ага, — сказал я. — А телевизор вы, значит, все-таки можете?

— Нет, — честно призналась щука. — Телевизор не могу. И этот... комбайн с проигрывателем тоже не могу. Не верю я в них. Ты чего-нибудь попроще. Сапоги, скажем, скороходы или шапку-невидимку... А?

Возникшая было у меня надежда отвертеться сегодня от смазки «Москвича» погасла.

— Да вы не беспокойтесь, — сказал я. — Мне ничего, в общем, не надо. Я вас сейчас отпущу.

— И хорошо, — спокойно сказала щука. — Люблю таких людей. Давеча вот тоже... Купил меня на рынке какой-то, пообещала я ему царскую дочь. Плыву по реке, стыдно, конечно, глаза девать некуда. Ну сослепу и въехала в сети. Ташшат. Опять, думаю, врать придется. А он что делает? Он меня хватает поперек зубов, так что рот не открыть. Ну, думаю, конец, сварят. Ан нет. Защемляет он мне чем-то плавник и бросает обратно в реку. Во! — Щука высунулась из бадьи и выставила плавник, схваченный у основания металлическим зажимом. На зажиме я прочитал: «Запущен сей экземпляр в Солове-реке 1854 года. Доставить в Е. И. В. Академию наук, СПБ». — Старухе не говори, — предупредила щука. — С плавником оторвет. Жадная она, скупая.

«Что бы у нее спросить?» — лихорадочно думал я.

— Как вы делаете ваши чудеса?

— Какие такие чудеса?

— Ну... исполнение желаний...

— Ах, это? Как делаю... Обучена сызмальства, вот и делаю. Откуда я знаю, как я делаю... Золотая Рыбка вот еще лучше делала, а все одно померла. От судьбы не уйдешь.

Мне показалось, что щука вздохнула.

— От старости? — спросил я.

— Какое там от старости! Молодая была, крепкая... Бросили в нее, служивый, глубинную бомбу. И ее вверх брюхом пустили, и корабль какой-то подводный рядом случился, тоже потонул. Она бы и откупилась, да ведь не спросили ее, увидели и сразу бомбой... Вот ведь как оно бывает. — Она помолчала. — Так отпускаешь меня или как? Душно что-то, гроза будет...

— Конечно, конечно, — сказал я, встрепенувшись. — Вас как — бросить или в бадье?..

— Бросай, служивый, бросай.

Я осторожно запустил руки в бадью и извлек щуку — было в ней килограммов восемь. Щука бормотала: «Ну, а ежели там скатерть-самобранку или, допустим, ковер-самолет, то я здесь буду... За мной не пропадет...» — «До свидания», — сказал я и разжал руки. Раздался шумный плеск.

Некоторое время я стоял, глядя на свои ладони, испачканные зеленью. У меня было какое-то странное ощущение. Временами, как порыв ветра, налетало сознание, что я сижу в комнате на диване, но стоило тряхнуть головой, и я снова оказывался у колодца. Потом это прошло. Я умылся отличной ледяной водой, залил радиатор и побрился. Старуха все не показывалась. Хотелось есть, и надо было идти в город к почтамту, где меня уже, может быть, ждали ребята. Я запер машину и вышел за ворота.

Я неторопливо шел по улице Лукоморье, засунув руки в карманы серой гэдээровской курточки и глядя себе под ноги. В заднем кармане моих любимых джинсов, исполосованных «молниями», брякали старухины медяки. Я размышлял. Тощие брошюрки общества «Знание» приучили меня к мысли, что разговаривать животные не способны. Сказки с детства убеждали в обратном. Согласен я был, конечно, с брошюрками, потому что никогда в жизни не видел говорящих животных. Даже попугаев. Я знавал одного попугая, который мог рычать, как тигр, но по-человечески он не умел. И вот теперь — щука, кот Василий и даже зеркало. Впрочем, неодушевленные предметы как раз разговаривают часто. И, между прочим,

это соображение никогда не пришло бы в голову, скажем, моему прадеду. С его, прадеда, точки зрения, говорящий кот — вещь куда менее фантастическая, нежели деревянный полированный ящик, который хрипит, воет, музицирует и говорит на многих языках. С котом тоже более или менее ясно. А вот как разговаривает щука? У щуки нет легких. Это верно. Правда, у нее должен быть плавательный пузырь, функция коего, как мне известно, ихтиологам еще не окончательно ясна. Мой знакомый ихтиолог Женька Скоромахов полагает даже, что эта функция неясна совершенно, и, когда я пытаюсь аргументировать доводами из брошюрок общества «Знание», Женька рычит и плюется. Совершенно утрачивает присущий ему дар человеческой речи... У меня такое впечатление, что о возможностях животных мы знаем пока еще очень мало. Только недавно выяснилось, что рыбы и морские животные обмениваются под водой сигналами. Очень интересно пишут о дельфинах. Или, скажем, обезьяна Рафаил. Это я сам видел. Разговаривать она, правда, не умеет, но зато у нее выработали рефлекс: зеленый свет — банан, красный свет — электрический шок. И все было хорошо до тех пор, пока не включили красный и зеленый свет одновременно. Тогда Рафаил повел себя так же, как Женька, например. Он страшно обиделся. Он кинулся к окошечку, за которым сидел экспериментатор, и принялся, визжа и рыча, плеваться в это окошечко. И вообще есть анекдот — одна обезьяна говорит другой: «Знаешь, что такое условный рефлекс? Это когда зазвонит звонок, и все эти квазиобезьяны в белых халатах побегут к нам с бананами и конфетами». Конечно, все это чрезвычайно непросто. Терминология не разработана. Когда в этих условиях пытаешься решать вопросы, связанные с психикой и потенциальными возможностями животных, чувствуешь себя совершенно бессильным. Но, с другой стороны, когда тебе дают, скажем, ту же систему интегральных уравнений типа звездной статистики с неизвестными функциями под интегралом, то самочувствие не лучше. А поэтому главное — думать. Как Паскаль: «Будем же учиться хорошо мыслить — вот основной принцип морали».

Я вышел на проспект Мира и остановился, привлеченный необычным зрелищем. По мостовой шел человек с детскими флажками в руках. За ним, шагах в десяти, с натужным ревом медленно полз большой белый «МАЗ» с гигантским дымящимся прицепом в виде серебристой цистерны. На цистерне было написано «огнеопасно», справа и слева от нее так же медленно катились красные пожарные «газики», ощетиненные огнетушителями. Время от времени в ровный рев двигателя вмешивался какой-то новый звук, неприятно леденивший сердце, и тогда из люков

цистерны вырывались желтые языки пламени. Лица пожарных под нахлобученными касками были мужественны и суровы. Вокруг кавалькады тучей носились ребятишки. Они пронзительно вопили: «Тилили-тилили, а дракона повезли!» Взрослые прохожие опасливо жались к заборам. На их лицах было написано явственное желание уберечь одежду от возможных повреждений.

— Повезли родимого, — произнес у меня над ухом знакомый скрипучий бас.

Я обернулся. Позади стояла, пригорюнившись, Наина Киевна с кошелкой, наполненной синими пакетами сахарного песку.

— Повезли, — повторила она. — Каждую пятницу возят...

— Куда? — спросил я.

— На полигон, батюшка. Все экспериментируют... Делать им больше нечего.

— А кого повезли, Наина Киевна?

— То есть как это — кого? Сам не видишь, что ли?..

Она повернулась и пошла прочь, но я догнал ее.

— Наина Киевна, вам тут телефонограмму передали.

— Это от кого же?

— От Ха Эм Вия.

— А насчет чего?

— У вас слет какой-то сегодня, — сказал я, пристально глядя на нее. — На Лысой Горе. Форма одежды — парадная.

Старуха явно обрадовалась.

— Вправду? — сказала она. — Вот хорошо-то!.. А где телефонограмма?

— В прихожей на телефоне.

— А насчет членских взносов там ничего не говорится? — спросила она, понизив голос.

— В каком смысле?

— Ну, что, мол, надлежит погасить задолженность с одна тысяча семьсот... — Она замолчала.

— Нет, — сказал я. — Ничего такого не говорилось.

— Ну и хорошо. А с транспортом как? Машину подадут или что?

— Дайте я вам кошелку поднесу, — предложил я.

Старуха отпрянула.

— Это тебе зачем? — спросила она подозрительно. — Ты это оставь — не люблю... Кошелку ему!.. Молодой, да, видно, из ранних...

Не люблю старух, подумал я.

— Так как же с транспортом? — повторила она.

— За свой счет, — сказал я злорадно.

— Ах, скопидомы! — застонала старуха. — Метлу в музей забрали, ступу не ремонтируют, взносы дерут по пять рубликов на ассигнации, а на Лысую Гору за свой счет! Счет-то не малый, батюшка, да пока такси ждет...

Бормоча и кашляя, она отвернулась от меня и пошла прочь. Я потер руки и тоже пошел своей дорогой. Мои предположения оправдывались. Узел удивительных происшествий затягивался все туже. И стыдно признаться, но это казалось мне сейчас более интересным, чем даже моделирование рефлекторной дуги.

На проспекте Мира было уже пусто. У перекрестка крутилась стая ребятишек — играли, по-моему, в чижа. Увидев меня, они бросили игру и стали приближаться. Предчувствуя недоброе, я торопливо миновал их и двинулся к центру. За моей спиной раздался сдавленный восторженный возглас: «Стиляга!» Я ускорил шаг. «Стиляга!» — завопили сразу несколько голосов. Я почти побежал. Позади визжали: «Стиля-ага! Тонконогий! Папина «Победа»!..» Прохожие смотрели на меня сочувственно. В таких ситуациях лучше всего куда-нибудь нырнуть. Я нырнул в ближайший магазин, оказавшийся гастрономом, походил вдоль прилавков, убедился в том, что сахар есть, выбор колбас и конфет не богат, но зато выбор так называемых рыбных изделий превосходит все ожидания. Там была такая семга и такой лосось!.. Я выпил стакан газированной воды и выглянул на улицу. Мальчишек не было. Тогда я вышел из магазина и двинулся дальше. Скоро лабазы и бревенчатые избы-редуты кончились, пошли современные двухэтажные дома с открытыми сквериками. В сквериках копошились младенцы, пожилые женщины вязали что-то теплое, а пожилые мужчины резались в домино.

В центре города оказалась обширная площадь, окруженная двух- и трехэтажными зданиями. Площадь была асфальтирована, посередине зеленел садик. Над зеленью возвышался большой красный щит с надписью «Доска почета» и несколько щитов поменьше со схемами и диаграммами. Почтамт я обнаружил здесь же, на площади. Мы договорились с ребятами, что первый, кто прибудет в город, оставит до востребования записку со своими координатами. Записки не было, и я оставил письмо, в котором сообщил свой адрес и объяснил, как дойти до избы на курногах. Затем я решил позавтракать.

Обойдя площадь, я обнаружил: кинотеатр, где шла «Козара»; книжный магазин, закрытый на переучет; горсовет, перед которым стояло несколько основательно пропыленных «газиков»; гостиницу «Студеное море» — как

обычно, без свободных мест; два киоска с газированной водой и мороженым; магазин (промтоварный) № 2 и магазин (хозтоваров) № 18; столовую № 11, открывающуюся с двенадцати часов, и буфет № 3, закрытый без объяснений. Потом я обнаружил городское отделение милиции, возле открытых дверей которого побеседовал с очень юным милиционером в чине сержанта, объяснившим мне, где находится бензоколонка и какова дорога до Лежнева. «А где же ваша машина?» — осведомился милиционер, озирая площадь. «У знакомых», — ответил я. «Ах, у знакомых...» — сказал милиционер значительно. По-моему, он взял меня на заметку. Я робко откланялся.

Рядом с трехэтажной громадой «Солрыбснабпромпотребсоюза ФЦУ» я, наконец, нашел маленькую опрятную чайную № 16/27. В чайной было хорошо. Народу было не очень много, пили действительно чай и разговаривали о вещах понятных: что под Коробцом завалился, наконец, мостик и ехать теперь приходится вброд; что пост ГАИ уже неделю как с пятнадцатого километра убрали; что «искра — зверь, слона убьет, а ни шиша не схватывает...» Пахло бензином и жареной рыбой. Не занятые разговорами люди пристально разглядывали мои джинсы, и я радовался, что на заду у меня имеет место профессиональное пятно — позавчера я очень удачно сел на шприц с солидолом.

Я взял себе полную тарелку жареной рыбы, три стакана чаю и три бутерброда с балыком, расплатился кучей старухиных медяков («На паперти стоял...» — проворчала буфетчица), устроился в укромном углу и принялся за еду, с удовольствием наблюдая за этими хриплоголосыми, прокуренными людьми. Приятно было смотреть, какие они загорелые, независимые, жилистые, все повидавшие, как они с аппетитом едят, с аппетитом курят, с аппетитом рассказывают. Они до последней капли использовали передышку перед долгими часами тряской скучной дороги, раскаленной духоты кабины, пыли и солнца. Если бы я не был программистом, я бы обязательно стал шофером и уж работал бы не на плюгавенькой легковушке, и не на автобусе даже, а на каком-нибудь грузовом чудовище, чтобы в кабину надо было забираться по лестнице, а колесо чтобы менять с помощью небольшого подъемного крана.

За соседним столиком сидели два молодых человека, не похожих на шоферов, и поэтому сначала я на них внимания не обратил. Так же, впрочем, как и они на меня. Но когда я допивал второй стакан чаю, до меня долетело слово «диван». Затем кто-то из них произнес: «...А тогда непонятно, зачем она вообще существует, эта Изнакурнож...» — и я стал слушать. К сожалению, говорили они негромко, да и сидел я к ним спиной,

так что слышно было плохо. Но голоса показались мне знакомыми: «...никаких тезисов... только диван...», «...такому волосатому?..», «...диван... шестнадцатая степень...», «...при трансгрессии только четырнадцать порядков...», «...легче смоделировать транслятор...», «...мало ли кто хихикает!..», «...бритву подарю...», «...не можем без дивана...». Тут один из них заперхал, да так знакомо, что я сразу вспомнил сегодняшнюю ночь и обернулся, но они уже шли к выходу — два здоровенных парня с крутыми плечами и спортивными затылками. Некоторое время я еще видел их в окно, они перешли площадь, обогнули садик и скрылись за диаграммами. Я допил чай, доел бутерброды и тоже вышел. Диван их, видите ли, волнует, думал я. Русалка их не волнует. Говорящий кот их не интересует. А без дивана они, видите ли, не могут... Я попытался вспомнить, какой же у меня там диван, но ничего особенного вспомнить не мог. Диван как диван. Хороший диван. Удобный. Только странная действительность на нем снится.

Теперь хорошо было бы вернуться домой и заняться всеми этими диванными делами вплотную. Поэкспериментировать с книгой-перевертышем, поговорить с котом Василием начистоту и посмотреть, нет ли в избе на куриных ногах еще чего-нибудь интересного. Но дома меня ждал мой «Москвич» и необходимость делать как ЕУ, так и ТО. С ЕУ еще можно было примириться, это всего-навсего Ежедневный Уход, всякое там вытряхивание ковриков и обмыв кузова струей воды под давлением, каковой обмыв, впрочем, можно заменить при нужде поливанием из садовой лейки или ведра. Но вот ТО... Чистоплотному человеку в жаркий день страшно подумать о ТО. Потому что ТО есть не что иное, как Техническое Обслуживание, а техническое обслуживание состоит в том, что я лежу под автомобилем с масляным шприцем в руках и постепенно переношу содержимое шприца как в колпачковые масленки, так и себе на физиономию. Под автомобилем жарко и душно, а днище его, покрытое толстым слоем засохшей грязи... Короче говоря, мне не очень хотелось домой.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Кто позволил себе эту дьявольскую шутку? Схватить его и сорвать с него маску, чтобы мы знали, кого нам поутру повесить на

крепостной стене!

*_Э. А. По_*

Я купил позавчерашнюю «Правду», выпил газированной воды и устроился на скамье в садике, в тени Доски почета. Было одиннадцать часов. Я внимательно просмотрел газету. На это ушло семь минут. Тогда я прочитал статью о гидропонике, фельетон о хапугах из Канска и большое письмо рабочих химического завода в редакцию. Это заняло всего-навсего двадцать две минуты. Не сходить ли в кино, подумал я. Но «Козару» я уже видел — один раз в кино и один раз по телевизору. Тогда я решил попить воды, сложил газету и встал. Из всей старухиной меди в кармане у меня остался всего один пятак. Пропью, решил я, выпил воды с сиропом, получил копейку сдачи и купил в соседнем ларьке коробок спичек. Больше делать мне в центре города было решительно нечего. И я пошел куда глаза глядят — в неширокую улицу между магазином № 2 и столовой № 11.

Прохожих на улице почти не было. Меня обогнал большой пыльный грузовик с грохочущим трейлером. Шофер, высунув в окно локоть и голову, устало смотрел на булыжную мостовую. Улица, понижаясь, круто заворачивала направо, у поворота рядом с тротуаром торчал из земли ствол старинной чугунной пушки, дуло ее было забито землей и окурками. Вскоре улица кончилась обрывом к реке. Я посидел на краю обрыва и полюбовался пейзажем, затем перешел на другую сторону и побрел обратно.

Интересно, куда девался тот грузовик? — подумал вдруг я. Спуска с обрыва не было. Я стал оглядываться, ища ворота по сторонам улицы, и тут обнаружил небольшой, но очень странный дом, стиснутый между двумя угрюмыми кирпичными лабазами. Окна нижнего этажа его были забраны железными прутьями и до половины замазаны мелом. Дверей же в доме вообще не было. Я заметил это сразу потому, что вывеска, которую обычно помещают рядом с воротами или рядом с подъездом, висела здесь прямо между двумя окнами. На вывеске было написано: «АН СССР НИИЧАВО». Я отошел на середину улицы: да, два этажа по десяти окон и ни одной двери. А справа и слева, вплотную, лабазы. НИИЧАВО, подумал я. Научно-исследовательский институт... Чаво? В смысле — чего? Чрезвычайно Автоматизированной Вооруженной Охраны? Черных Ассоциаций Восточной Океании? Изба на курногах, подумал я, — музей этого самого НИИЧАВО. Мои попутчики, наверное, тоже отсюда. И те, в чайной, тоже... С крыши здания поднялась стая ворон и с карканьем закружилась над

улицей. Я повернулся и пошел назад, на площадь.

Все мы наивные материалисты, думал я. И все мы рационалисты. Мы хотим, чтобы все было немедленно объяснено рационалистически, то есть сведено к горсточке уже известных фактов. И ни у кого из нас ни на грош диалектики. Никому в голову не приходит, что между известными фактами и каким-то новым явлением может лежать море неизвестного, и тогда мы объявляем новое явление сверхъестественным и, следовательно, невозможным. Вот, например, как бы мэтр Монтескье принял сообщение об оживлении мертвеца через сорок пять минут после зарегистрированной остановки сердца? В штыки бы, наверное, принял. Так сказать, в багинеты. Объявил бы это обскурантизмом и поповщиной. Если бы вообще не отмахнулся от такого сообщения. А если бы это случилось у него на глазах, то он оказался бы в необычайно затруднительном положении. Как я сейчас, только я привычнее. А ему пришлось бы либо счесть это воскрешение жульничеством, либо отречься от собственных ощущений, либо даже отречься от материализма. Скорее всего, он счел бы воскрешение жульничеством. Но до конца жизни воспоминание об этом ловком фокусе раздражало бы его мысль, подобно соринке в глазу... Но мы-то дети другого века. Мы всякое повидали: и живую голову собаки, пришитую к спине другой живой собаки; и искусственную почку величиной со шкаф; и мертвую железную руку, управляемую живыми нервами; и людей, которые могут небрежно заметить: «Это было уже после того, как я скончался в первый раз...» Да, в наше время у Монтескье было бы не много шансов остаться материалистом. А мы вот остаемся, и ничего! Правда, иногда бывает трудно — когда случайный ветер вдруг доносит до нас через океаны неизвестного странные лепестки с необозримых материков непознанного. И особенно часто так бывает, когда находишь не то, что ищешь. Вот скоро в зоологических музеях появятся удивительные животные, первые животные с Марса или Венеры. Да, конечно, мы будем глазеть на них и хлопать себя по бедрам, но ведь мы давно уже ждем этих животных, мы отлично подготовлены к их появлению. Гораздо более мы были бы поражены и разочарованы, если бы этих животных не оказалось или они оказались бы похожими на наших кошек и собак. Как правило, наука, в которую мы верим (и зачастую слепо), заранее и задолго готовит нас к грядущим чудесам, и психологический шок возникает у нас только тогда, когда мы сталкиваемся с непредсказанным, — какая-нибудь дыра в четвертое измерение, или биологическая радиосвязь, или живая планета... Или, скажем, изба на куриных ногах... А ведь прав был горбоносый Роман: здесь у них очень, очень и очень интересно...

Я вышел на площадь и остановился перед киоском с газированной водой. Я точно помнил, что мелочи у меня нет, и знал, что придется разменивать бумажку, и уже готовил заискивающую улыбку, потому что продавщицы газированной воды терпеть не могут менять бумажные деньги, как вдруг обнаружил в кармане джинсов пятак. Я удивился и обрадовался, но обрадовался больше. Я выпил газированной воды с сиропом, получил мокрую копейку сдачи и поговорил с продавщицей о погоде. Потом я решительно направился домой, чтобы скорее покончить с ЕУ и ТО и заняться рационал-диалектическими объяснениями. Копейку я сунул в карман и остановился, обнаружив, что в том же кармане имеется еще один пятак. Я вынул его и осмотрел. Пятак был слегка влажный, на нем было написано «5 копеек 1961», и цифра «6» была замята неглубокой выщерблинкой. Может быть, я даже тогда не обратил бы внимания на это маленькое происшествие, если бы не то самое мгновенное ощущение, уже знакомое мне, — будто я одновременно стою на проспекте Мира и сижу на диване, тупо разглядывая вешалку. И так же, как раньше, когда я тряхнул головой, ощущение исчезло.

Некоторое время я еще медленно шел, рассеянно подбрасывая и ловя пятак (он падал на ладонь все время «решкой»), и пытался сосредоточиться. Потом я увидел гастроном, в котором утром спасался от мальчишек, и вошел туда. Держа пятак двумя пальцами, я направился прямо к прилавку, где торговали соками и водой, и без всякого удовольствия выпил стакан без сиропа. Затем, зажав сдачу в кулаке, я отошел в сторонку и проверил карман.

Это был тот самый случай, когда психологического шока не происходит. Скорее я удивился бы, если бы пятака в кармане не оказалось. Но он был там — влажный, 1961 года, с выщерблинкой на цифре «6». Меня подтолкнули и спросили, не сплю ли я. Оказывается, я стоял в очереди в кассу. Я сказал, что не сплю, и выбил чек на три коробка спичек. Встав в очередь за спичками, я обнаружил, что пятак находится в кармане. Я был совершенно спокоен. Получив три коробка, я вышел из магазина, вернулся на площадь и принялся экспериментировать.

Эксперимент занял у меня около часа. За этот час я десять раз обошел площадь кругом, разбух от воды, спичечных коробков и газет, перезнакомился со всеми продавцами и продавщицами и пришел к ряду интересных выводов. Пятак возвращается, если им платить. Если его просто бросить, обронить, потерять, он останется там, где упал. Пятак возвращается в карман в тот момент, когда сдача из рук продавца переходит в руки покупателя. Если при этом держать руку в одном кармане, пятак

появляется в другом. В кармане, застегнутом на «молнию», он не появляется никогда. Если держать руки в обоих карманах и принимать сдачу локтем, то пятак может появиться где угодно на теле (в моем случае он обнаружился в ботинке). Исчезновение пятака из тарелочки с медью на прилавке заметить визуально не удается: среди прочей меди пятак сейчас же теряется, и никакого движения в тарелочке в момент перехода пятака в карман не происходит.

Итак, мы имели дело с так называемым неразменным пятаком в процессе его функционирования. Сам по себе факт неразменности не очень заинтересовал меня. Воображение мое было потрясено прежде всего возможностью внепространственного перемещения материального тела. Мне было совершенно ясно, что таинственный переход пятака от продавца к покупателю представляет собой не что иное, как частный случай пресловутой нуль-транспортировки, хорошо известной любителям научной фантастики также под псевдонимами: гиперпереход, репагулярный скачок, феномен Тарантоги... Открывающиеся перспективы были ослепительны.

У меня не было никаких приборов. Обыкновенный лабораторный минимальный термометр мог бы дать очень много, но у меня не было даже его. Я был вынужден ограничиваться чисто визуальными субъективными наблюдениями. Свой последний круг по площади я начал, поставив перед собой следующую задачу: «Кладя пятак рядом с тарелочкой для мелочи и по возможности препятствуя продавцу смешать его с остальными деньгами до вручения сдачи, проследить визуально процесс перемещения пятака в пространстве, одновременно пытаясь хотя бы качественно определить изменение температуры воздуха вблизи предполагаемой траектории перехода». Однако эксперимент был прерван в самом начале.

Когда я приблизился к продавщице Мане, меня уже ждал тот самый молоденький милиционер в чине сержанта.

— Так, — сказал он профессиональным голосом.

Я искательно посмотрел на него, предчувствуя недоброе.

— Попрошу документики, гражданин, — сказал милиционер, отдавая честь и глядя мимо меня.

— А в чем дело? — спросил я, доставая паспорт.

— И пятак попрошу, — сказал милиционер, принимая паспорт.

Я молча отдал ему пятак. Маня смотрела на меня сердитыми глазами. Милиционер оглядел пятак и, произнеся с удовлетворением: «Ага...», раскрыл паспорт. Паспорт он изучал, как библиофил изучает редкую инкунабулу. Я томительно ждал. Вокруг медленно росла толпа. В толпе высказывались разные мнения на мой счет.

— Придется пройти, — сказал наконец милиционер.

Мы прошли. Пока мы проходили, в толпе сопровождающих было создано несколько вариантов моей нелегкой биографии и был сформулирован ряд причин, вызвавших начинающееся у всех на глазах следствие.

В отделении сержант передал пятак и паспорт дежурному лейтенанту. Тот осмотрел пятак и предложил мне сесть. Я сел. Лейтенант небрежно произнес: «Сдайте мелочь», и тоже углубился в изучение паспорта. Я выгреб из кармана медяки. «Пересчитай, Ковалев», — сказал лейтенант и, отложив паспорт, стал смотреть мне в глаза.

— Много накупили? — спросил он.

— Много, — ответил я.

— Тоже сдайте, — сказал лейтенант.

Я выложил перед ним на стол четыре номера позавчерашней «Правды», три номера местной газеты «Рыбак», два номера «Литературной газеты», восемь коробков спичек, шесть штук ирисок «Золотой ключик» и уцененный ершик для чистки примуса.

— Воду сдать не могу, — сказал я сухо. — Пять стаканов с сиропом и четыре без сиропа.

Я начинал понимать, в чем дело, и мне было чрезвычайно неловко и муторно при мысли, что придется оправдываться.

— Семьдесят четыре копейки, товарищ лейтенант, — доложил юный Ковалев.

Лейтенант задумчиво созерцал кучу газет и спичечных коробков.

— Развлекались или как? — спросил он меня.

— Или как, — сказал я мрачно.

— Неосторожно, — сказал лейтенант. — Неосторожно, гражданин. Расскажите.

Я рассказал. В конце рассказа я убедительно попросил лейтенанта не рассматривать мои действия как попытку скопить денег на «Запорожец». Уши мои горели. Лейтенант усмехнулся.

— А почему бы и не рассматривать? — осведомился он. — Были случаи, когда накапливали.

Я пожал плечами.

— Уверяю вас, такая мысль не могла бы прийти мне в голову... То есть что я говорю — не могла бы, она действительно не приходила!..

Лейтенант долго молчал. Юный Ковалев взял мой паспорт и снова принялся его рассматривать.

— Даже как-то странно предположить... — сказал я растерянно. —

Совершенно бредовая затея... Копить по копейке... — Я снова пожал плечами. — Тогда уж лучше, как говорится, на паперти стоять...

— С нищенством мы боремся, — значительно сказал лейтенант.

— Ну правильно, ну естественно... Я только не понимаю, при чем тут я, и... — Я поймал себя на том, что очень много пожимаю плечами, и дал себе слово впредь этого не делать.

Лейтенант снова изнуряюще долго молчал, разглядывая пятак.

— Придется составить протокол, — сказал он наконец.

Я пожал плечами.

— Пожалуйста, конечно... хотя... — Я не знал, что, собственно, «хотя».

Некоторое время лейтенант смотрел на меня, ожидая продолжения. Но я как раз соображал, под какую статью уголовного кодекса подходят мои действия, и тогда он придвинул к себе лист бумаги и принялся писать.

Юный Ковалев вернулся на свой пост. Лейтенант скрипел пером и часто со стуком макал его в чернильницу. Я сидел, тупо рассматривая плакаты, развешанные на стенах, и вяло размышлял о том, что на моем месте Ломоносов, скажем, схватил бы паспорт и выскочил в окно. В чем, собственно, суть? — думал я. Суть в том, чтобы человек сам не считал себя виновным. В этом смысле я не виновен. Но виновность, кажется, бывает объективная и субъективная. И факт остается фактом: вся эта медь в количестве семидесяти четырех копеек юридически является результатом хищения, произведенного с помощью технических средств, в качестве каковых выступает неразменный пятак...

— Прочтите и подпишите, — сказал лейтенант.

Я прочел. Из протокола явствовало, что я, нижеподписавшийся Привалов А. И., неизвестным мне способом вступил в обладание действующей моделью неразменного пятака образца ГОСТ 718-62 и злоупотребил ею; что я, нижеподписавшийся Привалов А. И., утверждаю, будто действия свои производил с целью научного эксперимента без каких-либо корыстных намерений; что я готов возместить причиненные государству убытки в размере одного рубля пятидесяти пяти копеек; что я, наконец, в соответствии с постановлением Соловецкого горсовета от 22 марта 1959 года, передал указанную действующую модель неразменного пятака дежурному по отделению лейтенанту Сергиенко У. У. и получил взамен пять копеек в монетных знаках, имеющих хождение на территории Советского Союза. Я подписался.

Лейтенант сверил мою подпись с подписью в паспорте, еще раз тщательно пересчитал медяки, позвонил куда-то с целью уточнить стоимость ирисок и примусного ершика, выписал квитанцию и отдал ее

мне вместе с пятью копейками в монетных знаках, имеющих хождение. Возвращая газеты, спички, конфеты и ершик, он сказал:

— А воду вы, по собственному вашему признанию, выпили. Итого с вас восемьдесят одна копейка.

С гигантским облегчением я рассчитался. Лейтенант, еще раз внимательно пролистав, вернул мне паспорт.

— Можете идти, гражданин Привалов, — сказал он. — И впредь будьте осторожнее. Вы надолго в Соловец?

— Завтра уеду, — сказал я.

— Вот до завтра и будьте осторожнее.

— Ох, постараюсь, — сказал я, пряча паспорт. Затем, повинуясь импульсу, спросил, понизив голос: — А скажите мне, товарищ лейтенант, вам здесь, в Соловце, не странно?

Лейтенант уже смотрел в какие-то бумаги.

— Я здесь давно, — сказал он рассеянно. — Привык.

ГЛАВА ПЯТАЯ

— А вы сами-то верите в привидения? — спросил лектора один из слушателей.

— Конечно, нет, — ответил лектор и медленно растаял в воздухе.

*_Правдивая_ _история_*

До самого вечера я старался быть весьма осторожным. Прямо из отделения я отправился домой на Лукоморье и там сразу же залез под машину. Было очень жарко. С запада медленно ползла грозная черная туча. Пока я лежал под машиной и обливался маслом, старуха Наина Киевна, ставшая вдруг очень ласковой и любезной, дважды подъезжала ко мне с тем, чтобы я отвез ее на Лысую Гору. «Говорят, батюшка, машине вредно стоять, — скрипуче ворковала она, заглядывая под передний бампер. — Говорят, ей ездить полезно. А уж я бы заплатила, не сомневайся...» Ехать на Лысую Гору мне не хотелось. Во-первых, в любую минуту могли прибыть ребята. Во-вторых, старуха в своей воркующей модификации была мне еще неприятнее, нежели в сварливой. Далее, как выяснилось, до Лысой Горы было девяносто верст в одну сторону, а когда я спросил бабку насчет качества дороги, она радостно заявила, чтобы я не беспокоился, — дорога

гладкая, а в случае чего она, бабка, будет сама машину выталкивать. («Ты не смотри, батюшка, что я старая, я еще очень даже крепкая».) После первой неудачной атаки старуха временно отступилась и ушла в избу. Тогда ко мне под машину зашел кот Василий. С минуту он внимательно следил за моими руками, а потом произнес вполголоса, но явственно: «Не советую, гражданин... мнэ-э... не советую. Съедят», после чего сразу удалился, подрагивая хвостом. Мне хотелось быть очень осторожным, и поэтому, когда бабка вторично пошла на приступ, я, чтобы разом со всем покончить, запросил с нее пятьдесят рублей. Она тут же отстала, посмотрев на меня с уважением.

Я сделал ЕУ и ТО, с величайшей осторожностью съездил заправиться к бензоколонке, пообедал в столовой № 11 и еще раз подвергся проверке документов со стороны бдительного Ковалева. Для очистки совести я спросил у него, какова дорога до Лысой Горы. Юный сержант посмотрел на меня с большим недоверием и сказал: «Дорога? Что это вы говорите, гражданин? Какая же там дорога? Нет там никакой дороги». Домой я вернулся уже под проливным дождем.

Старуха отбыла. Кот Василий исчез. В колодце кто-то пел на два голоса, и это было жутко и тоскливо. Вскоре ливень сменился скучным мелким дождиком. Стало темно.

Я забрался в свою комнату и попытался экспериментировать с книгой-перевертышем. Однако в ней что-то застопорило. Может быть, я делал что-нибудь не так или влияла погода, но она как была, так и оставалась «Практическими занятиями по синтаксису и пунктуации» Ф. Ф. Кузьмина, сколько я ни ухищрялся. Читать такую книгу было совершенно невозможно, и я попытал счастья с зеркалом. Но зеркало отражало все, что угодно, и молчало. Тогда я лег на диван и стал лежать.

От скуки и шума дождя я уже начал было дремать, когда вдруг зазвонил телефон. Я вышел в прихожую и взял трубку.

— Алло...

В трубке молчало и потрескивало.

— Алло, — сказал я и подул в трубку. — Нажмите кнопку.

Ответа не было.

— Постучите по аппарату, — посоветовал я. Трубка молчала. Я еще раз подул, подергал шнур и сказал: — Перезвоните с другого автомата.

Тогда в трубке грубо осведомились:

— Это Александр?

— Да. — Я был удивлен.

— Ты почему не отвечаешь?

— Я отвечаю. Кто это?

— Это Петровский тебя беспокоит. Сходи в засольный цех и скажи мастеру, чтобы мне позвонил.

— Какому мастеру?

— Ну, кто там сегодня у тебя?

— Не знаю...

— Что значит — не знаю? Это Александр?

— Слушайте, гражданин, — сказал я. — По какому номеру вы звоните?

— По семьдесят второму... Это семьдесят второй?

Я не знал.

— По-видимому, нет, — сказал я.

— Что же вы говорите, что вы Александр?

— Я в самом деле Александр!

— Тьфу!.. Это комбинат?

— Нет, — сказал я. — Это музей.

— А... Тогда извиняюсь. Мастера, значит, позвать не можете...

Я повесил трубку. Некоторое время я стоял, оглядывая прихожую. В прихожей было пять дверей: в мою комнату, во двор, в бабкину комнату, в туалет и еще одна, обитая железом, с громадным висячим замком. Скучно, подумал я. Одиноко. И лампочка тусклая, пыльная... Волоча ноги, я вернулся в свою комнату и остановился на пороге.

Дивана _не_ _было_.

Все остальное было совершенно по-прежнему: стол, и печь, и зеркало, и вешалка, и табуретка. И книга лежала на подоконнике точно там, где я ее оставил. А на полу, где раньше был диван, остался только очень пыльный, замусоренный прямоугольник. Потом я увидел постельное белье, аккуратно сложенное под вешалкой.

— Только что здесь был диван, — вслух сказал я. — Я на нем лежал.

Что-то изменилось в доме. Комната наполнилась невнятным шумом. Кто-то разговаривал, слышалась музыка, где-то смеялись, кашляли, шаркали ногами. Смутная тень на мгновение заслонила свет лампочки, громко скрипнули половицы. Потом вдруг запахло аптекой, и в лицо мне пахнуло холодом. Я попятился. И тотчас же кто-то резко и отчетливо постучал в наружную дверь. Шумы мгновенно утихли. Оглядываясь на то место, где раньше был диван, я вновь вышел в сени и открыл дверь.

Передо мной под мелким дождем стоял невысокий изящный человек в коротком кремовом плаще идеальной чистоты с поднятым воротником. Он снял шляпу и с достоинством произнес:

— Прошу прощения, Александр Иванович. Не могли бы вы уделить мне пять минут для разговора?

— Конечно, — сказал я растерянно. — Заходите...

Этого человека я видел впервые в жизни, и у меня мелькнула мысль, не связан ли он с местной милицией. Незнакомец шагнул в прихожую и сделал движение пройти прямо в мою комнату. Я заступил ему дорогу. Не знаю, зачем я это сделал, — наверное, потому, что мне не хотелось расспросов насчет пыли и мусора на полу.

— Извините, — пролепетал я, — может быть, здесь?.. А то у меня беспорядок. И сесть негде...

Незнакомец резко вскинул голову.

— Как — негде? — сказал он негромко. — А диван?

С минуту мы молча смотрели друг другу в глаза.

— М-м-м... Что — диван? — спросил я почему-то шепотом.

Незнакомец опустил веки.

— Ах, вот как? — медленно произнес он. — Понимаю. Жаль. Ну что ж, извините...

Он вежливо кивнул, надел шляпу и решительно направился к дверям туалета.

— Куда вы? — закричал я. — Вы не туда!

Незнакомец, не оборачиваясь, пробормотал: «Ах, это безразлично», и скрылся за дверью. Я машинально зажег ему свет, постоял немного, прислушиваясь, затем рванул дверь. В туалете никого не было. Я осторожно вытащил сигарету и закурил. Диван, подумал я. При чем здесь диван? Никогда не слыхал никаких сказок о диванах. Был ковер-самолет. Была скатерть-самобранка. Были: шапка-невидимка, сапоги-скороходы, гусли-самогуды. Было чудо-зеркальце. А чудо-дивана не было. На диванах сидят или лежат, диван — это нечто прочное, очень обыкновенное... В самом деле, какая фантазия могла бы вдохновиться диваном?..

Вернувшись в комнату, я сразу увидел Маленького Человечка. Он сидел на печке под потолком, скорчившись в очень неудобной позе. У него было сморщенное небритое лицо и серые волосатые уши.

— Здравствуйте, — сказал я утомленно.

Маленький Человечек страдальчески скривил длинные губы.

— Добрый вечер, — сказал он. — Извините, пожалуйста, занесло меня сюда — сам не понимаю как... Я насчет дивана.

— Насчет дивана вы опоздали, — сказал я, садясь к столу.

— Вижу, — тихо сказал Человечек и неуклюже заворочался. Посыпалась известка.

Я курил, задумчиво его разглядывая. Маленький Человечек неуверенно заглядывал вниз.

— Вам помочь? — спросил я, делая движение.

— Нет, спасибо, — сказал Человечек уныло. — Я лучше сам...

Пачкаясь в мелу, он подобрался к краю лежанки и, неловко оттолкнувшись, нырнул головой вниз. У меня ёкнуло внутри, но он повис в воздухе и стал медленно опускаться, судорожно растопырив руки и ноги. Это было не очень эстетично, но забавно. Приземлившись на четвереньки, он сейчас же встал и вытер рукавом мокрое лицо.

— Совсем старик стал, — сообщил он хрипло. — Лет сто назад или, скажем, при Гонзасте за такой спуск меня лишили бы диплома, будьте уверены, Александр Иванович.

— А что вы кончали? — осведомился я, закуривая вторую сигарету.

Он не слушал меня. Присев на табурет напротив, он продолжал горестно:

— Раньше я левитировал, как Зекс. А теперь, простите, не могу вывести растительность на ушах. Это так неопрятно... Но если нет таланта? Огромное количество соблазнов вокруг, всевозможные степени, звания, лауреатские премии, а таланта нет! У нас многие обрастают к старости. Корифеев это, конечно, не касается. Жиан Жиакомо, Кристобаль Хунта, Джузеппе Бальзамо или, скажем, товарищ Киврин Федор Симеонович... Никаких следов растительности! — Он торжествующе посмотрел на меня. — Ни-ка-ких! Гладкая кожа, изящество, стройность...

— Позвольте, — сказал я. — Вы сказали — Джузеппе Бальзамо... Но это то же самое, что граф Калиостро! А по Толстому, граф был жирен и очень неприятен на вид...

Маленький Человечек с сожалением посмотрел на меня и снисходительно улыбнулся.

— Вы просто не в курсе дела, Александр Иванович, — сказал он. — Граф Калиостро — это совсем не то же самое, что великий Бальзамо. Это... как бы вам сказать... Это не очень удачная его копия. Бальзамо в юности сматрицировал себя. Он был необычайно, необычайно талантлив, но вы знаете, как это делается в молодости... Побыстрее, посмешнее — тяп-ляп, и так сойдет... Да-с... Никогда не говорите, что Бальзамо и Калиостро — это одно и то же. Может получиться неловко.

Мне стало неловко.

— Да, — сказал я. — Я, конечно, не специалист. Но... Простите за нескромный вопрос, но при чем здесь диван? Кому он понадобился?

Маленький Человечек вздрогнул.

— Непростительная самонадеянность, — сказал он громко и поднялся. — Я совершил ошибку и готов признаться со всей решительностью. Когда такие гиганты... А тут еще наглые мальчишки... — Он стал кланяться, прижимая к сердцу бледные лапки. — Прошу прощения, Александр Иванович, я вас так обеспокоил... Еще раз решительно извиняюсь и немедленно вас покидаю. — Он приблизился к печке и боязливо поглядел наверх. — Старый я, Александр Иванович, — сказал он, тяжело вздохнув. — Старенький...

— А может быть, вам было бы удобнее... через... э-э... Тут перед вами приходил один товарищ, так он воспользовался.

— И-и, батенька, так это же был Кристобаль Хунта! Что ему — просочиться через канализацию на десяток лье... — Маленький Человечек горестно махнул рукой. — Мы попроще... Диван он с собой взял или трансгрессировал?

— Н-не знаю, — сказал я. — Дело-то в том, что он тоже опоздал.

Маленький Человечек ошеломленно пощипал шерсть на правом ухе.

— Опоздал? Он? Невероятно... Впрочем, разве можем мы с вами об этом судить? До свидания, Александр Иванович, простите великодушно.

Он с видимым усилием прошел сквозь стену и исчез. Я бросил окурок в мусор на полу. Ай да диван! Это тебе не говорящая кошка. Это что-то посолиднее — какая-то драма. Может быть, даже драма идей. А ведь, пожалуй, придут еще... опоздавшие. Наверняка придут. Я посмотрел на мусор. Где это я видел веник?

Веник стоял рядом с кадкой под телефоном. Я принялся подметать пыль и мусор, и вдруг что-то тяжело зацепило за веник и выкатилось на середину комнаты. Я взглянул. Это был блестящий продолговатый цилиндрик величиной с указательный палец. Я потрогал его веником. Цилиндрик качнулся, что-то сухо затрещало, и в комнате запахло озоном. Я бросил веник и поднял цилиндр. Он был гладкий, отлично отполированный и теплый на ощупь. Я пощелкал по нему ногтем, и он снова затрещал. Я повернул его, чтобы осмотреть с торца, и в ту же секунду почувствовал, что пол уходит у меня из-под ног. Все перевернулось перед глазами. Я пребольно ударился обо что-то пятками, потом плечом и макушкой, выронил цилиндр и упал. Я был здорово ошарашен и не сразу понял, что лежу в узкой щели между печью и стеной. Лампочка над головой раскачивалась, и, подняв глаза, я с изумлением обнаружил на потолке рубчатые следы своих ботинок. Кряхтя, я выбрался из щели и осмотрел подошвы. На подошвах был мел.

— Однако, — подумал я вслух. — Не просочиться бы в канализацию!..

Я поискал глазами цилиндрик. Он стоял, касаясь пола краем торца, в положении, исключающем всякую возможность равновесия. Я осторожно приблизился и опустился возле него на корточки. Цилиндрик тихо потрескивал и раскачивался. Я долго смотрел на него, вытянув шею, потом подул на него. Цилиндрик качнулся сильнее, наклонился, и тут за моей спиной раздался хриплый клекот и пахнуло ветром. Я оглянулся и сел на пол. На печке аккуратно складывал крылья исполинский гриф с голой шеей и зловещим загнутым клювом.

— Здравствуйте, — сказал я. Я был убежден, что гриф говорящий.

Гриф, склонив голову, посмотрел на меня одним глазом и сразу стал похож на курицу. Я приветственно помахал рукой. Гриф открыл было клюв, но разговаривать не стал. Он поднял крыло и стал искаться у себя под мышкой, щелкая клювом. Цилиндрик все покачивался и трещал. Гриф перестал искаться, втянул голову в плечи и прикрыл глаза желтой пленкой. Стараясь не поворачиваться к нему спиной, я закончил уборку и выбросил мусор в дождливую тьму за дверью. Потом я вернулся в комнату.

Гриф спал, пахло озоном. Я посмотрел на часы: было двадцать минут первого. Я немного постоял над цилиндриком, размышляя над законом сохранения энергии, а заодно и вещества. Вряд ли грифы конденсируются из ничего. Если данный гриф возник здесь, в Соловце, значит, какой-то гриф (не обязательно данный) исчез на Кавказе или где они там водятся. Я прикинул энергию переноса и опасливо посмотрел на цилиндрик. Лучше его не трогать, подумал я. Лучше его чем-нибудь прикрыть и пусть стоит. Я принес из прихожей ковшик, старательно прицелился и, не дыша, накрыл им цилиндрик. Затем я сел на табурет, закурил и стал ждать еще чего-нибудь. Гриф отчетливо сопел. В свете лампы его перья отливали медью, огромные когти впились в известку. От него медленно распространялся запах гнили.

— Напрасно вы это сделали, Александр Иванович, — сказал приятный мужской голос.

— Что именно? — спросил я, оглянувшись на зеркало.

— Я имею в виду умклайдет...

Говорило не зеркало. Говорил кто-то другой.

— Не понимаю, о чем речь, — сказал я. В комнате никого не было, и я чувствовал раздражение.

— Я говорю про умклайдет, — произнес голос. — Вы совершенно напрасно накрыли его железным ковшом. Умклайдет, или как вы его называете — волшебная палочка, требует чрезвычайно осторожного обращения.

— Потому я и накрыл... Да вы заходите, товарищ, а то так очень неудобно разговаривать.

— Благодарю вас, — сказал голос.

Прямо передо мной неторопливо сконденсировался бледный, весьма корректный человек в превосходно сидящем сером костюме. Несколько склонив голову набок, он осведомился с изысканнейшей вежливостью:

— Смею ли надеяться, что не слишком обеспокоил вас?

— Отнюдь, — сказал я, поднимаясь. — Прошу вас, садитесь и будьте как дома. Угодно чайку?

— Благодарю вас, — сказал незнакомец и сел напротив меня, изящным жестом поддернув штанины. — Что же касается чаю, то прошу извинения, Александр Иванович, я только что отужинал.

Некоторое время он, светски улыбаясь, глядел мне в глаза. Я тоже улыбался.

— Вы, вероятно, насчет дивана? — сказал я. — Дивана, увы, нет. Мне очень жаль, и я даже не знаю...

Незнакомец всплеснул руками.

— Какие пустяки! — сказал он. — Как много шума из-за какого-то, простите, вздора, в который никто к тому же по-настоящему не верит... Посудите сами, Александр Иванович, устраивать склоки, безобразные кинопогони, беспокоить людей из-за мифического — я не боюсь этого слова, — именно мифического Белого Тезиса... Каждый трезво мыслящий человек рассматривает диван как универсальный транслятор, несколько громоздкий, но весьма добротный и устойчивый в работе. И тем более смешны старые невежды, болтающие о Белом Тезисе... Нет, я и говорить не желаю об этом диване.

— Как вам будет благоугодно, — сказал я, сосредоточив в этой фразе всю свою светскость. — Поговорим о чем-нибудь другом.

— Суеверия... Предрассудки... — рассеянно проговорил незнакомец. — Леность ума и зависть, зависть, поросшая волосами зависть... — Он прервал самого себя. — Простите, Александр Иванович, но я бы осмелился все-таки просить вашего разрешения убрать этот ковш. К сожалению, железо практически непрозрачно для гиперполя, а возрастание напряженности гиперполя в малом объеме...

Я поднял руки.

— Ради бога, все, что вам угодно! Убирайте ковшик... Убирайте даже этот самый... ум... ум... эту волшебную палочку... — Тут я остановился, с изумлением обнаружив, что ковшика больше нет. Цилиндрик стоял в луже жидкости, похожей на окрашенную ртуть. Жидкость быстро испарялась.

— Так будет лучше, уверяю вас, — сказал незнакомец. — Что же касается вашего великодушного предложения убрать умклайдет, то я, к сожалению, не могу им воспользоваться. Это уже вопрос морали и этики, вопрос чести, если угодно... Условности так сильны! Я позволю себе посоветовать вам больше не прикасаться к умклайдету. Я вижу, вы ушиблись, и этот орел... Я думаю, вы чувствуете... э-э... некоторое амбре...

— Да, — сказал я с чувством. — Воняет гадостно. Как в обезьяннике.

Мы посмотрели на орла. Гриф, нахохлившись, дремал.

— Искусство управлять умклайдетом, — сказал незнакомец, — это сложное и тонкое искусство. Вы ни в коем случае не должны огорчаться или упрекать себя. Курс управления умклайдетом занимает восемь семестров и требует основательного знания квантовой алхимии. Как программист вы, вероятно, без особого труда освоили бы умклайдет электронного уровня, так называемый УЭУ-17... Но квантовый умклайдет... гиперполя... трансгрессивные воплощения... обобщенный закон Ломоносова — Лавуазье... — Он виновато развел руками.

— О чем разговор! — поспешно сказал я. — Я ведь и не претендую... Конечно же, я абсолютно не подготовлен.

Тут я спохватился и предложил ему закурить.

— Благодарю вас, — сказал незнакомец. — Не употребляю, к великому моему сожалению.

Тогда, пошевелив от вежливости пальцами, я осведомился — не спросил, а именно осведомился:

— Не позволено ли мне будет узнать, чему я обязан приятностию нашей встречи?

Незнакомец опустил глаза.

— Боюсь показаться нескромным, — сказал он, — но, увы, я должен признаться, что уже довольно давно нахожусь здесь. Мне не хотелось бы называть имена, но, я думаю, даже вам, как вы ни далеки от всего этого, Александр Иванович, ясно, что вокруг дивана возникла некоторая нездоровая суета, назревает скандал, атмосфера накаляется, напряженность растет. В такой обстановке неизбежны ошибки, чрезвычайно нежелательные случайности... Не будем далеко ходить за примерами. Некто — повторяю, мне не хотелось бы называть имена, тем более что это сотрудник, достойный всяческого уважения, а говоря об уважении, я имею в виду если не манеры, то большой талант и самоотверженность, — так вот, некто, спеша и нервничая, теряет здесь умклайдет, и умклайдет становится центром сферы событий, в которые оказывается вовлеченным человек, совершенно к оным не причастный... — Он поклонился в мою

сторону. — А в таких случаях совершенно необходимо воздействие, как-то нейтрализующее вредные влияния... — Он значительно посмотрел на отпечатки ботинок на потолке. Затем он улыбнулся мне. — Но я не хотел бы показаться абстрактным альтруистом. Конечно, все эти события меня весьма интересуют как специалиста и как администратора... Впрочем, я не намерен более мешать вам, и поскольку вы сообщили мне уверенность в том, что больше не будете экспериментировать с умклайдетом, я попрошу у вас разрешения откланяться.

Он поднялся.

— Ну что вы! — вскричал я. — Не уходите! Мне так приятно беседовать с вами, у меня к вам тысяча вопросов!..

— Я чрезвычайно ценю вашу деликатность, Александр Иванович, но вы утомлены, вам необходимо отдохнуть...

— Нисколько! — горячо возразил я. — Наоборот!

— Александр Иванович, — произнес незнакомец, ласково улыбаясь и пристально глядя мне в глаза. — Но ведь вы _действительно_ утомлены. И вы _действительно_ хотите отдохнуть.

И тут я почувствовал, что действительно засыпаю. Глаза мои слипались. Говорить больше не хотелось. Ничего больше не хотелось. Страшно хотелось спать.

— Было исключительно приятно познакомиться с вами, — сказал незнакомец негромко.

Я видел, как он начал бледнеть, бледнеть и медленно растворился в воздухе, оставив после себя легкий запах дорогого одеколона. Я кое-как расстелил матрас на полу, ткнулся лицом в подушку и моментально заснул.

Разбудило меня хлопанье крыльев и неприятный клекот. В комнате стоял странный голубоватый полумрак. Орел на печке шуршал, гнусно орал и стучал крыльями по потолку. Я сел и огляделся. На середине комнаты парил в воздухе здоровенный детина в тренировочных брюках и в полосатой гавайке навыпуск. Он парил над цилиндриком и, не прикасаясь к нему, плавно помавал огромными костистыми лапами.

— В чем дело? — спросил я.

Детина мельком взглянул на меня из-под плеча и отвернулся.

— Не слышу ответа, — сказал я зло. Мне все еще очень хотелось спать.

— Тихо, ты, смертный, — сипло произнес детина. Он прекратил свои пассы и взял цилиндрик с пола. Голос его показался мне знакомым.

— Эй, приятель! — сказал я угрожающе. — Положи эту штуку на место и очисти помещение.

Детина смотрел на меня, выпячивая челюсть. Я откинул простыню и встал.

— А ну, положи умклайдет! — сказал я в полный голос.

Детина опустился на пол и, прочно упершись ногами, принял стойку. В комнате стало гораздо светлее, хотя лампочка не горела.

— Детка, — сказал детина, — ночью надо спать. Лучше ляг сам.

Парень был явно не дурак подраться. Я, впрочем, тоже.

— Может, выйдем во двор? — деловито предложил я, подтягивая трусы.

Кто-то вдруг произнес с выражением:

— «Устремив свои мысли на высшее Я, свободный от вожделения и себялюбия, исцелившись от душевной горячки, сражайся, Арджуна!»

Я вздрогнул. Парень тоже вздрогнул.

— «Бхагават-Гита»! — сказал голос. — Песнь третья, стих тридцатый.

— Это зеркало, — сказал я машинально.

— Сам знаю, — проворчал детина.

— Положи умклайдет, — потребовал я.

— Чего ты орешь, как больной слон? — сказал парень. — Твой он, что ли?

— А может быть, твой?

— Да, мой!

Тут меня осенило.

— Значит, диван тоже ты уволок?

— Не суйся не в свои дела, — посоветовал парень.

— Отдай диван, — сказал я. — На него расписка написана.

— Пошел к черту! — сказал детина, озираясь.

И тут в комнате появились еще двое: тощий и толстый, оба в полосатых пижамах, похожие на узников Синг-Синга.

— Корнеев! — завопил толстый. — Так это вы воруете диван?! Какое безобразие!

— Идите вы все... — сказал детина.

— Вы грубиян! — закричал толстый. — Вас гнать надо! Я на вас докладную подам!

— Ну и подавайте, — мрачно сказал Корнеев. — Займитесь любимым делом.

— Не смейте разговаривать со мной в таком тоне! Вы мальчишка! Вы дерзец! Вы забыли здесь умклайдет! Молодой человек мог пострадать!

— Я уже пострадал, — вмешался я. — Дивана нет, сплю как собака, каждую ночь разговоры... Орел этот вонючий...

Толстый немедленно повернулся ко мне.

— Неслыханное нарушение дисциплины, — заявил он. — Вы должны жаловаться... А вам должно быть стыдно! — Он снова повернулся к Корнееву.

Корнеев угрюмо запихивал умклайдет за щеку. Тощий вдруг спросил тихо и угрожающе:

— Вы сняли Тезис, Корнеев?

Детина мрачно ухмыльнулся.

— Да нет там никакого Тезиса, — сказал он. — Что вы все сепетите? Не хотите, чтобы мы диван воровали — дайте нам другой транслятор...

— Вы читали приказ о неизъятии предметов из запасника? — грозно осведомился тощий.

Корнеев сунул руки в карманы и стал смотреть в потолок.

— Вам известно постановление Ученого совета? — осведомился тощий.

— Мне, товарищ Демин, известно, что понедельник начинается в субботу, — угрюмо сказал Корнеев.

— Не разводите демагогию, — сказал тощий. — Немедленно верните диван и не смейте сюда больше возвращаться.

— Не верну я диван, — сказал Корнеев. — Эксперимент закончим — вернем.

Толстый устроил безобразную сцену. «Самоуправство!.. — визжал он. — Хулиганство!..» Гриф опять взволнованно заорал. Корнеев, не вынимая рук из карманов, повернулся спиной и шагнул сквозь стену. Толстяк устремился за ним с криком: «Нет, вы вернете диван!» Тощий сказал мне:

— Это недоразумение. Мы примем меры, чтобы оно не повторилось.

Он кивнул и тоже двинулся к стене.

— Погодите! — вскричал я. — Орла! Орла заберите! Вместе с запахом!

Тощий, уже наполовину войдя в стену, обернулся и поманил орла пальцем. Гриф шумно сорвался с печки и втянулся ему под ноготь. Тощий исчез. Голубой свет медленно померк, стало темно, в окно снова забарабанил дождь. Я включил свет и оглядел комнату. В комнате все было по-прежнему, только на печке зияли глубокие царапины от когтей грифа да на потолке дико и нелепо темнели рубчатые следы моих ботинок.

— Прозрачное масло, находящееся в корове, — с идиотским глубокомыслием произнесло зеркало, — не способствует ее питанию, но оно снабжает наилучшим питанием, будучи обработано надлежащим способом.

Я выключил свет и улегся. На полу было жестко, тянуло холодом. Будет мне завтра от старухи, подумал я.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

— Нет, — произнес он в ответ настойчивому вопросу моих глаз, — я не член клуба, я — призрак.

— Хорошо, но это не дает вам права расхаживать по клубу.

*_Г. Дж. Уэллс_*

Утром оказалось, что диван стоит на месте. Я не удивился. Я только подумал, что так или иначе старуха добилась своего: диван стоит в одном углу, а я лежу в другом. Собирая постель и делая зарядку, я размышлял о том, что существует, вероятно, некоторый предел способности к удивлению. По-видимому, я далеко шагнул за этот предел. Я даже испытывал некоторое утомление. Я пытался представить себе что-нибудь такое, что могло бы меня сейчас поразить, но фантазии у меня не хватало. Это мне очень не нравилось, потому что я терпеть не могу людей, неспособных удивляться. Правда, я был далек от психологии «подумаешьэканевидаль», скорее мое состояние напоминало состояние Алисы в Стране Чудес: я был словно во сне и принимал и готов был принять любое чудо за должное, требующее более развернутой реакции, нежели простое разевание рта и хлопанье глазами.

Я еще делал зарядку, когда в прихожей хлопнула дверь, зашаркали и застучали каблуки, кто-то закашлял, что-то загремело и упало, и начальственный голос позвал: «Товарищ Горыныч!» Старуха не отозвалась, и в прихожей начали разговаривать: «Что это за дверь?.. А, понятно. А это?» — «Тут вход в музей». — «А здесь?.. Что это — все заперто, замки...» — «Весьма хозяйственная женщина, Янус Полуэктович. А это телефон». — «А где же знаменитый диван? В музее?» — «Нет. Тут должен быть запасник».

— Это здесь, — сказал знакомый угрюмый голос.

Дверь моей комнаты распахнулась, и на пороге появился высокий худощавый старик с великолепной снежно-белой сединой, чернобровый и черноусый, с глубокими черными глазами. Увидев меня (я стоял в одних трусах, руки в стороны, ноги на ширине плеч), он приостановился и

звучным голосом произнес:

— Так.

Справа и слева от него заглядывали в комнату еще какие-то лица. Я сказал: «Прошу прощения», и побежал к своим джинсам. Впрочем, на меня не обратили внимания. В комнату вошли четверо и столпились вокруг дивана. Двоих я знал: угрюмого Корнеева, небритого, с красными глазами, все в той же легкомысленной гавайке, и смуглого, горбоносого Романа, который подмигнул мне, сделал непонятный знак рукой и сейчас же отвернулся. Седовласого я не знал. Не знал я и полного, рослого мужчину в черном, лоснящемся со спины костюме и с широкими хозяйскими движениями.

— Вот этот диван? — спросил лоснящийся мужчина.

— Это не диван, — угрюмо сказал Корнеев. — Это транслятор.

— Для меня это диван, — заявил лоснящийся, глядя в записную книжку. — Диван мягкий, полуторный, инвентарный номер одиннадцать двадцать три. — Он наклонился и пощупал. — Вот он у вас влажный, Корнеев, таскали под дождем. Теперь считайте: пружины проржавели, обшивка сгнила.

— Ценность данного предмета, — как мне показалось, издевательски произнес горбоносый Роман, — заключается отнюдь не в обшивке и даже не в пружинах, которых нет.

— Вы это прекратите, Роман Петрович, — предложил лоснящийся с достоинством. — Вы мне вашего Корнеева не выгораживайте. Диван проходит у меня по музею и должен там находиться...

— Это прибор, — сказал Корнеев безнадежно. — С ним работают...

— Этого я не знаю, — заявил лоснящийся. — Я не знаю, что это за работа с диваном. У меня вот дома тоже есть диван, и я знаю, как на нем работают.

— Мы это тоже знаем, — тихонько сказал Роман.

— Вы это прекратите, — сказал лоснящийся, поворачиваясь к нему. — Вы здесь не в пивной, вы здесь в учреждении. Что вы, собственно, имеете в виду?

— Я имею в виду, что это не есть диван, — сказал Роман. — Или, в доступной для вас форме, это есть не совсем диван. Это есть прибор, имеющий внешность дивана.

— Я попросил бы прекратить эти намеки, — решительно сказал лоснящийся. — Насчет доступной формы и все такое. Давайте каждый делать свое дело. Мое дело — прекратить разбазаривание, и я его прекращаю.

— Так, — звучно сказал седовласый. Сразу стало тихо. — Я беседовал с Кристобалем Хозевичем и с Федором Симеоновичем. Они полагают, что этот диван-транслятор представляет лишь музейную ценность. В свое время он принадлежал королю Рудольфу Второму, так что историческая ценность его неоспорима. Кроме того, года два назад, если память мне не изменяет, мы уже выписывали серийный транслятор... Кто его выписывал, вы не помните, Модест Матвеевич?

— Одну минутку, — сказал лоснящийся Модест Матвеевич и стал быстро листать записную книжку. — Одну минуточку... Транслятор двухходовой ТДХ-80Е Китежградского завода... По заявке товарища Бальзамо.

— Бальзамо работает на нем круглосуточно, — сказал Роман.

— И барахло этот ТДХ, — добавил Корнеев. — Избирательность на молекулярном уровне.

— Да-да, — сказал седовласый. — Я припоминаю. Был доклад об исследовании ТДХ. Действительно, кривая селективности не гладкая... Да. А этот... э... диван?

— Ручной труд, — быстро сказал Роман. — Безотказен. Конструкции Льва Бен Бецалеля. Бен Бецалель собирал и отлаживал его триста лет...

— Вот! — сказал лоснящийся Модест Матвеевич. — Вот как надо работать! Старик, а все делал сам.

Зеркало вдруг прокашлялось и сказало:

— Все оне помолодели, пробыв час в воде, и вышли из нея такими же красивыми, розовыми, молодыми и здоровыми, сильными и жизнерадостными, какими были в двадцать лет.

— Вот именно, — сказал Модест Матвеевич. Зеркало говорило голосом седовласого.

Седовласый досадливо поморщился.

— Не будем решать этот вопрос сейчас, — произнес он.

— А когда? — спросил грубый Корнеев.

— В пятницу на Ученом совете.

— Мы не можем разбазаривать реликвии, — вставил Модест Матвеевич.

— А мы что будем делать? — спросил грубый Корнеев.

Зеркало забубнило угрожающим замогильным голосом:

Видел я сам, как, подобравши черные платья,
Шла босая Канидия, простоволосая, с воем,
С ней и Сагана, постарше годами, и бледные обе.

Страшны были на вид. Тут начали землю ногтями
Обе рыть и черного рвать зубами ягненка...

Седовласый, весь сморщившись, подошел к зеркалу, запустил в него руку по плечо и чем-то щелкнул. Зеркало замолчало.

— Так, — сказал седовласый. — Вопрос о вашей группе мы тоже решим на совете. А вы... — По лицу его было видно, что он забыл имя-отчество Корнеева, — вы пока воздержитесь... э... от посещения музея.

С этими словами он вышел из комнаты. Через дверь.

— Добились своего, — сказал Корнеев сквозь зубы, глядя на Модеста Матвеевича.

— Разбазаривать не дам, — коротко ответил тот, засовывая во внутренний карман записную книжку.

— Разбазаривать! — сказал Корнеев. — Плевать вам на все это. Вас отчетность беспокоит. Лишнюю графу вводить неохота.

— Вы это прекратите, — сказал непреклонный Модест Матвеевич. — Мы еще назначим комиссию и посмотрим, не повреждена ли реликвия...

— Инвентарный номер одиннадцать двадцать три, — вполголоса добавил Роман.

— В таком вот _аксепте_, — величественно произнес Модест Матвеевич, повернулся и увидел меня. — А вы что здесь делаете? — осведомился он. — Почему это вы здесь спите?

— Я... — начал я.

— Вы спали на диване, — провозгласил ледяным тоном Модест, сверля меня взглядом контрразведчика. — Вам известно, что это прибор?

— Нет, — сказал я. — То есть теперь известно, конечно.

— Модест Матвеевич! — воскликнул горбоносый Роман. — Это же наш новый программист, Саша Привалов!

— А почему он здесь спит? Почему не в общежитии?

— Он еще не зачислен, — сказал Роман, обнимая меня за талию.

— Тем более!

— Значит, пусть спит на улице? — злобно спросил Корнеев.

— Вы это прекратите, — сказал Модест. — Есть общежитие, есть гостиница, а здесь музей, госучреждение. Если все будут спать в музеях... Вы откуда?

— Из Ленинграда, — сказал я мрачно.

— Вот если я приеду в Ленинград и пойду спать в Эрмитаж?

— Пожалуйста, — сказал я, пожимая плечами.

Роман все держал меня за талию.

— Модест Матвеевич, вы совершенно правы, непорядок, но сегодня он будет ночевать у меня.

— Это другое дело. Это пожалуйста, — великодушно разрешил Модест. Он хозяйским взглядом окинул комнату, увидел отпечатки на потолке и сразу же посмотрел на мои ноги. К счастью, я был босиком. — В таком вот аксепте, — сказал он, поправил рухлядь на вешалке и вышел.

— Д-дубина, — выдавил из себя Корнеев. — Пень. — Он сел на диван и взялся за голову. — Ну их всех к черту. Сегодня же ночью опять утащу.

— Спокойно, — ласково сказал Роман. — Ничего страшного. Нам просто немножко не повезло. Ты заметил, какой это Янус?

— Ну? — сказал Корнеев безнадежно.

— Это же А-Янус.

Корнеев поднял голову.

— Откуда ты знаешь?

— Огромный опыт, — сказал Роман и подмигнул. — А главное — У-Януса вызвал Келдыш. Он вчера улетел и еще не вернулся. Понял, расхититель музейных ценностей?

— Слушай, ты меня спасаешь, — сказал Корнеев, и я впервые увидел, как он улыбается.

— Дело в том, Саша, — сказал Роман, обращаясь ко мне, — что у нас идеальный директор. Он един в двух лицах. Есть А-Янус Полуэктович и У-Янус Полуэктович. У-Янус — это крупный ученый международного класса. Что же касается А-Януса, то это довольно обыкновенный администратор.

— Близнецы? — осторожно спросил я.

— Да нет, это один и тот же человек. Только он един в двух лицах.

— Ясно, — сказал я и стал надевать ботинки.

— Ничего, Саша, скоро все узнаешь, — сказал Роман ободряюще.

Я поднял голову.

— То есть?

— Нам нужен программист, — проникновенно сказал Роман.

— Мне очень нужен программист, — сказал Корнеев, оживляясь.

— Всем нужен программист, — сказал я, возвращаясь к ботинкам. — И прошу без гипноза и всяких там заколдованных мест.

— Он уже догадывается, — сказал Роман.

Корнеев хотел что-то сказать, но за окном грянули крики.

— Это не наш пятак! — кричал Модест.

— А чей же это пятак?

— Я не знаю, чей это пятак! Это не мое дело! Это ваше дело — ловить фальшивомонетчиков, товарищ сержант!..

— Пятак изъят у некоего Привалова, каковой проживает здесь у вас, в Изнакурноже!..

— Ах, у Привалова? Я сразу подумал, что он ворюга!

Укоризненный голос А-Януса произнес:

— Ну-ну, Модест Матвеевич!..

— Нет, извините, Янус Полуэктович! Этого нельзя так оставить! Товарищ сержант, пройдемте!.. Он в доме... Янус Полуэктович, встаньте у окна, чтобы он не выскочил! Я докажу! Я не позволю бросать тень на товарища Горыныч!..

У меня нехорошо похолодело внутри. Но Роман уже оценил положение. Он схватил с вешалки засаленный картуз и нахлобучил мне на уши.

Я исчез.

Это было очень странное ощущение. Все осталось на месте, все, кроме меня. Но Роман не дал мне насытиться новыми переживаниями.

— Это кепка-невидимка, — прошипел он. — Отойди в сторонку и помалкивай.

Я на цыпочках отбежал в угол и сел под зеркало. В ту же секунду в комнату ворвался возбужденный Модест, волоча за рукав юного сержанта Ковалева.

— Где он? — завопил Модест, озираясь.

— Вот, — сказал Роман, показывая на диван.

— Не беспокойтесь, стоит на месте, — добавил Корнеев.

— Я спрашиваю, где этот ваш... программист?

— Какой программист? — удивился Роман.

— Вы это прекратите, — сказал Модест. — Здесь был программист. Он стоял в брюках и без ботинок.

— Ах, вот что вы имеете в виду, — сказал Роман. — Но мы же пошутили, Модест Матвеевич. Не было здесь никакого программиста. Это было просто... — Он сделал какое-то движение руками, и посередине комнаты возник человек в майке и в джинсах. Я видел его со спины и ничего о нем сказать не могу, но юный Ковалев покачал головой и сказал:

— Нет, это не он.

Модест обошел призрак кругом, бормоча:

— Майка... штаны... без ботинок... Он! Это он.

Призрак исчез.

— Да нет же, это не тот, — сказал сержант Ковалев. — Тот был

молодой, без бороды...

— Без бороды? — переспросил Модест. Он был сильно сконфужен.

— Без бороды, — подтвердил Ковалев.

— М-да... — сказал Модест. — А по-моему, у него была борода...

— Так я вручаю вам повестку, — сказал юный Ковалев и протянул Модесту листок бумаги казенного вида. — А вы уж сами разбирайтесь со своим Приваловым и со своей Горыныч...

— А я вам говорю, что это не наш пятак! — заорал Модест. — Я про Привалова ничего не говорю, может быть, Привалова и вообще нет как такового... Но товарищ Горыныч наша сотрудница!..

Юный Ковалев, прижимая руки к груди, пытался что-то сказать.

— Я требую разобраться немедленно! — орал Модест. — Вы мне это прекратите, товарищи милиция! Данная повестка бросает тень на весь коллектив! Я требую, чтобы вы убедились!

— У меня приказ... — начал было Ковалев, но Модест с криком: «Вы это прекратите! Я настаиваю!» — бросился на него и поволок из комнаты.

— В музей повлек, — сказал Роман. — Саша, где ты? Снимай кепку, пойдем посмотрим...

— Может, лучше не снимать? — сказал я.

— Снимай, снимай, — сказал Роман. — Ты теперь фантом. В тебя теперь никто не верит — ни администрация, ни милиция...

Корнеев сказал:

— Ну, я пошел спать. Саша, ты приходи после обеда. Посмотришь наш парк машин и вообще...

Я снял кепку.

— Вы это прекратите, — сказал я. — Я в отпуске.

— Пойдем, пойдем, — сказал Роман.

В прихожей Модест, вцепившись одной рукой в сержанта, другой отпирал мощный висячий замок. «Сейчас я вам покажу наш пятак! — кричал он. — Все заприходовано... Все на месте». — «Да я ничего не говорю, — слабо защищался Ковалев. — Я только говорю, что пятаков может быть не один...» Модест распахнул дверь, и мы все вошли в обширное помещение.

Это был вполне приличный музей — со стендами, диаграммами, витринами, макетами и муляжами. Общий вид более всего напоминал музей криминалистики: много фотографий и неаппетитных экспонатов. Модест сразу уволок сержанта куда-то за стенды, и там они вдвоем загудели, как в бочку: «Вот наш пятак...» — «А я ничего и не говорю...» — «Товарищ Горыныч...» — «А у меня приказ!..» — «Вы мне это

прекратите!..»

— Полюбопытствуй, полюбопытствуй, Саша, — сказал Роман, сделал широкий жест и сел в кресло у входа.

Я пошел вдоль стены. Я ничему не удивлялся. Мне было просто очень интересно. «Вода живая. Эффективность 52%. Допустимый осадок 0,3» (старинная прямоугольная бутыль с водой, пробка залита цветным воском). «Схема промышленного добывания живой воды». «Макет живоводоперегонного куба». «Зелье приворотное Вешковского-Траубенбаха» (аптекарская баночка с ядовито-желтой мазью). «Кровь порченая обыкновенная» (запаянная ампула с черной жидкостью)... Над всем этим стендом висела табличка: «Активные химические средства. XII — XVIII вв.». Тут было еще много бутылочек, баночек, реторт, ампул, пробирок, действующих и недействующих моделей установок для возгонки, перегонки и сгущения, но я пошел дальше.

«Меч-кладенец» (очень ржавый двуручный меч с волнистым лезвием, прикован цепью к железной стойке, витрина тщательно опечатана). «Правый глазной (рабочий) зуб графа Дракулы Задунайского» (я не Кювье, но, судя по этому зубу, граф Дракула Задунайский был человеком весьма странным и неприятным). «След обыкновенный и след вынутый. Гипсовые отливки» (следы, по-моему, не отличались друг от друга, но одна отливка была с трещиной). «Ступа на стартовой площадке. IX век» (мощное сооружение из серого пористого чугуна)... «Змей Горыныч, скелет, 1/25 нат. вел.» (похоже на скелет диплодока с тремя шеями)... «Схема работы огнедышащей железы средней головы»... «Сапоги-скороходы гравигенные, действующая модель» (очень большие резиновые сапоги)... «Ковер-самолет гравизащитный. Действующая модель» (ковер примерно полтора на полтора с черкесом, обнимающим младую черкешенку на фоне соплеменных гор)...

Я дошел до стенда «Развитие идеи философского камня», когда в зале вновь появились сержант Ковалев и Модест Матвеевич. Судя по всему, им так и не удалось сдвинуться с мертвой точки. «Вы это прекратите», — вяло говорил Модест. «У меня приказ», — так же вяло ответствовал Ковалев. «Наш пятак на месте...» — «Вот пусть старуха явится и даст показания...» — «Что же мы, по-вашему, фальшивомонетчики?..» — «А я этого и не говорил...» — «Тень на весь коллектив...» — «Разберемся...» Ковалев меня не заметил, а Модест остановился, мутно осмотрел с головы до ног, а затем поднял глаза, вяло прочитал вслух: «Го-мунку-лус лабораторный, общий вид», — и пошел дальше.

Я двинулся за ним, предчувствуя нехорошее. Роман ждал нас у дверей.

— Ну как? — спросил он.

— Безобразие, — вяло сказал Модест. — Бюрократы.

— У меня приказ, — упрямо повторил сержант Ковалев уже из прихожей.

— Ну, выходите, Роман Петрович, выходите, — сказал Модест, позвякивая ключами.

Роман вышел. Я сунулся было за ним, но Модест остановил меня.

— Я извиняюсь, — сказал он. — А вы куда?

— Как — куда? — спросил я упавшим голосом.

— На место, на место идите.

— На какое место?

— Ну, где вы там стоите? Вы, извиняюсь, это... хам-мункулс? Ну и стойте, где положено...

Я понял, что погиб. И я бы, наверное, погиб, потому что Роман, по-видимому, тоже растерялся, но в эту минуту в прихожую с топотом и стуком ввалилась Наина Киевна, ведя на веревке здоровенного черного козла. При виде сержанта милиции козел взмемекнул дурным голосом и рванулся прочь. Наина Киевна упала. Модест кинулся в прихожую, и поднялся невообразимый шум. С грохотом покатилась пустая кадушка. Роман схватил меня за руку и, прошептав: «Ходу, ходу!..» — бросился в мою комнату. Мы захлопнули за собой дверь и навалились на нее, тяжело дыша. В прихожей кричали:

— Предъявите документы!

— Батюшки, да что же это!

— Почему козел?! Почему в помещении козел?!

— Мэ-э-э-э-э...

— Вы это прекратите, здесь не пивная!

— Не знаю я ваших пятаков и не ведаю!

— Мэ-э-э!..

— Гражданка, уберите козла!

— Прекратите, козел заприходован!

— Как заприходован?!

— Это не козел! Это наш сотрудник!

— Тогда пусть предъявит!..

— Через окно — и в машину! — приказал Роман.

Я схватил куртку и выпрыгнул в окно. Из-под ног моих с мявом шарахнулся кот Василий. Пригибаясь, я подбежал к машине, распахнул дверцу и вскочил за руль. Роман уже откатывал воротину. Мотор не заводился. Терзая стартер, я увидел, как дверь избы распахнулась, из

прихожей вылетел черный козел и гигантскими прыжками помчался прочь куда-то за угол. Мотор взревел. Я развернул машину и вылетел на улицу. Дубовая воротина с треском захлопнулась. Роман вынырнул из калитки и с размаху сел рядом со мной.

— Ходу! — сказал он бодро. — В центр!

Когда мы поворачивали на проспект Мира, он спросил:

— Ну, как тебе у нас?

— Нравится, — сказал я. — Только очень шумно.

— У Наины всегда шумно, — сказал Роман. — Вздорная старуха. Она тебя не обижала?

— Нет, — сказал я. — Мы почти и не общались.

— Подожди-ка, — сказал Роман. — Притормози.

— А что?

— А вон Володька идет. Помнишь Володю?

Я затормозил. Бородатый Володя влез на заднее сиденье и, радостно улыбаясь, пожал нам руки.

— Вот здорово! — сказал он. — А я как раз к вам иду!

— Только тебя там и не хватало, — сказал Роман.

— А чем все кончилось?

— Ничем, — сказал Роман.

— А куда вы теперь едете?

— В институт, — сказал Роман.

— Зачем? — спросил я.

— Работать, — сказал Роман.

— Я в отпуске.

— Это неважно, — сказал Роман. — Понедельник начинается в субботу, а август на этот раз начнется в июле!

— Меня ребята ждут, — сказал я умоляюще.

— Это мы берем на себя, — сказал Роман. — Ребята абсолютно ничего не заметят.

— С ума сойти, — сказал я.

Мы проехали между магазином № 2 и столовой № 11.

— Он уже знает, куда ехать, — заметил Володя.

— Отличный парень, — сказал Роман. — Гигант!

— Он мне сразу понравился, — сказал Володя.

— Видимо, вам позарез нужен программист, — сказал я.

— Нам нужен далеко не всякий программист, — возразил Роман.

Я затормозил возле странного здания с вывеской «НИИЧАВО» между окнами.

— Что это означает? — спросил я. — Могу я по крайней мере узнать, где меня вынуждают работать?

— Можешь, — сказал Роман. — Ты теперь все можешь. Это Научно-Исследовательский Институт Чародейства и Волшебства... Ну, что же ты стал? Загоняй машину!

— Куда? — спросил я.

— Ну неужели ты не видишь?

И я увидел.

Но это уже совсем другая история.

История вторая СУЕТА СУЕТ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Среди героев рассказа выделяются один-два главных героя, все остальные рассматриваются как второстепенные.

«Методика преподавания литературы»

Около двух часов дня, когда в «Алдане» снова перегорел предохранитель вводного устройства, раздался телефонный звонок. Звонил заместитель директора по административно-хозяйственной части Модест Матвеевич Камноедов.

— Привалов, — сурово сказал он, — почему вы опять не на месте?

— Как это не на месте? — обиделся я. День сегодня выдался хлопотливый, и я все позабыл.

— Вы это прекратите, — сказал Модест Матвеевич. — Вам уже пять минут назад надлежало явиться ко мне на инструктаж.

— Елки-палки, — сказал я и повесил трубку.

Я выключил машину, снял халат и велел девочкам не забыть вырубить ток. В большом коридоре было пусто, за полузамерзшими окнами мела пурга. Надевая на ходу куртку, я побежал в хозяйственный отдел.

Модест Матвеевич в лоснящемся костюме величественно ждал меня в собственной приемной. За его спиной маленький гном с волосатыми ушами уныло и старательно возил пальцами по обширной ведомости.

— Вы, Привалов, как какой-нибудь этот... хам-мункулс, — произнес Модест. — Никогда вас нет на месте.

С Модестом Матвеевичем все старались поддерживать только хорошие отношения, поскольку человек он был могучий, непреклонный и фантастически невежественный. Поэтому я рявкнул: «Слушаюсь!» — и щелкнул каблуками.

— Все должны быть на своих местах, — продолжал Модест Матвеевич. — Всегда. У вас вот высшее образование, и очки, и бороду вот отрастили, а понять такой простой теоремы не можете.

— Больше не повторится! — сказал я, выкатив глаза.

— Вы это прекратите, — сказал Модест Матвеевич, смягчаясь. Он извлек из кармана лист бумаги и некоторое время глядел в него. — Так вот, Привалов, — сказал он наконец, — сегодня вы заступаете дежурным. Дежурство по учреждению во время праздников — занятие ответственное. Это вам не кнопки нажимать. Во-первых — противопожарная безопасность. Это первое. Не допускать самовозгорания. Следить за обесточенностью вверенных вам производственных площадей. И следить лично, без этих ваших фокусов с раздваиваниями и растраиваниями. Без этих ваших дубелей. При обнаружении фактора горения немедленно звонить по телефону 01 и приступать к принятию мер. На этот случай получите сигнальную дудку для вызова авральной команды... — Он вручил мне платиновый свисток с инвентарным номером. — А также никого не пускать. Вот это список лиц, которым разрешено пользование лабораториями в ночной период, но все равно тоже не пускать, потому что праздник. Во всем институте чтобы ни одной живой души. Всякие там другие души — пусть, но живой души чтобы ни одной. Демонов на входе и выходе заговорить. Понимаете обстановку? Живые души не должны входить, а все прочие не должны выходить. Потому что уже был прен-цен-дент: сбежал черт и украл луну. Широко известный прен-цен-дент, даже в кино отражен. — Он значительно на меня посмотрел и вдруг спросил документы.

Я повиновался. Он внимательно исследовал мой пропуск, вернул его и произнес:

— Все верно. А то было у меня подозрение, что вы все-таки дубель. Вот так. Значит, в пятнадцать ноль-ноль в соответствии с трудовым законодательством рабочий день закончится, и все сдадут вам ключи от своих производственных помещений. После чего вы лично осмотрите территорию. В дальнейшем производите обходы каждые три часа на предмет самовозгорания. Не менее двух раз за период дежурства посетите виварий. Если надзиратель пьет чай — прекратите. Были сигналы: не чай он там пьет. В таком вот аксепте. Пост ваш в приемной у директора. На диване можете отдыхать. Завтра в шестнадцать ноль-ноль вас сменит Почкин Владимир из лаборатории товарища Ойры-Ойры. Доступно?

— Вполне, — сказал я.

— Я буду звонить вам ночью и завтра днем. Лично. Возможен контроль и со стороны товарища завкадрами.

— Вас понял, — сказал я и проглядел список.

Первым в списке значился директор института Янус Полуэктович

Невструев с карандашной пометкой «два экз.». Вторым шел лично Модест Матвеевич, третьим — товарищ завкадрами гражданин Демин Кербер Псоевич. А дальше шли фамилии, которых я никогда и нигде не встречал.

— Что-нибудь недоступно? — осведомился Модест Матвеевич, ревниво за мной следивший.

— Вот тут, — сказал я веско, тыча пальцем в список, — наличествуют товарищи в количестве... м-м-м... двадцати двух экземпляров, лично мне неизвестные. Эти фамилии я хотел бы с вами лично провентилировать. — Я посмотрел ему прямо в глаза и добавил твердо: — Во избежание.

Модест Матвеевич взял список и оглядел его на расстоянии вытянутой руки.

— Все верно, — сказал он снисходительно. — Просто вы, Привалов, не в курсе. Лица, поименованные с номера четвертого по номер двадцать пятый и последний включительно, занесены в списки лиц, допущенных к ночным работам посмертно. В порядке признания их заслуг в прошлом. Теперь вам доступно?

Я слегка обалдел, потому что привыкнуть ко всему этому было все-таки очень трудно.

— Занимайте свой пост, — величественно сказал Модест Матвеевич. — Я со своей стороны и от имени администрации поздравляю вас, товарищ Привалов, с наступающим Новым годом и желаю вам в новом году соответствующих успехов как в работе, так и в личной жизни.

Я тоже пожелал ему соответствующих успехов и вышел в коридор.

Узнавши вчера о том, что меня назначили дежурным, я обрадовался: я намеревался закончить один расчет для Романа Ойры-Ойры. Однако теперь я чувствовал, что дело обстоит не так просто. Перспектива провести ночь в институте представилась мне вдруг в совершенно новом свете. Я и раньше задерживался на работе допоздна, когда дежурные из экономии уже гасили четыре лампы из пяти в каждом коридоре и приходилось пробираться к выходу мимо каких-то шарахающихся мохнатых теней. Первое время это производило на меня сильнейшее впечатление, потом я привык, а потом снова отвык, когда, возвращаясь однажды по большому коридору, услышал сзади мерное цок-цок-цок когтей по паркету и, оглянувшись, обнаружил некое фосфоресцирующее животное, бегущее явно по моим следам. Правда, когда меня сняли с карниза, выяснилось, что это была обыкновенная живая собачка одного из сотрудников. Сотрудник приходил извиняться, Ойра-Ойра прочел мне издевательскую лекцию о вреде суеверий, но какой-то осадок у меня в душе все-таки остался. Первым делом заговорю демонов, подумал я.

У входа в приемную директора мне повстречался мрачный Витька Корнеев. Он хмуро кивнул и хотел пройти мимо, но я поймал его за рукав.

— Ну? — сказал грубый Корнеев, останавливаясь.

— Я сегодня дежурю, — сообщил я.

— Ну и дурак, — сказал Корнеев.

— Грубый ты все-таки, Витька, — сказал я. — Не буду я с тобой больше общаться.

Витька оттянул пальцем воротник свитера и с интересом посмотрел на меня.

— А что же ты будешь? — спросил он.

— Да уж найду что, — сказал я, несколько растерявшись.

Витька вдруг оживился.

— Постой-ка, — сказал он. — Ты что, в первый раз дежуришь?

— Да.

— Ага, — сказал Витька. — И как ты намерен действовать?

— Согласно инструкции, — ответил я. — Заговорю демонов и лягу спать. На предмет самовозгорания. А ты куда денешься?

— Да собирается там одна компания, — неопределенно сказал Витька. — У Верочки... А это у тебя что? — Он взял у меня список. — А, мертвые души...

— Никого не пущу, — сказал я. — Ни живых, ни мертвых.

— Правильное решение, — сказал Витька. — Архиверное. Только присмотри у меня в лаборатории. Там у меня будет работать дубль.

— Чей дубль?

— Мой дубль, естественно. Кто мне своего отдаст? Я его там запер, вот, возьми ключ, раз ты дежурный.

Я взял ключ.

— Слушай, Витька, часов до десяти пусть он поработает, но потом я все обесточу. В соответствии с законодательством.

— Ладно, там видно будет. Ты Эдика не встречал?

— Не встречал, — сказал я. — И не забивай мне баки. В десять часов я все обесточу.

— А я разве против? Обесточивай, пожалуйста. Хоть весь город.

Тут дверь приемной отворилась, и в коридор вышел Янус Полуэктович.

— Так, — произнес он, увидев нас.

Я почтительно поклонился. По лицу Януса Полуэктовича было видно, что он забыл, как меня зовут.

— Прошу, — сказал он, подавая мне ключи. — Вы ведь дежурный,

если я не ошибаюсь... Кстати... — Он поколебался. — Я с вами не беседовал вчера?

— Да, — сказал я, — вы заходили в электронный зал.

Он покивал.

— Да-да, действительно... Мы говорили о практикантах...

— Нет, — возразил я почтительно, — не совсем так. Это насчет нашего письма в Центракадемснаб. Про электронную приставку.

— Ах вот как, — сказал он. — Ну хорошо, желаю вам спокойного дежурства... Виктор Павлович, можно вас на минутку?

Он взял Витьку под руку и увел по коридору, а я вошел в приемную. В приемной второй Янус Полуэктович запирал сейфы. Увидев меня, он сказал: «Так», и снова принялся позвякивать ключами. Это был А-Янус, я уже немножко научился различать их. А-Янус выглядел несколько моложе, был неприветлив, всегда корректен и малоразговорчив. Рассказывали, что он много работает, и люди, знавшие его давно, утверждали, что этот посредственный администратор медленно, но верно превращается в выдающегося ученого. У-Янус, напротив, был всегда ласков, очень внимателен и обладал странной привычкой спрашивать: «Я с вами не беседовал вчера?» Поговаривали, что он сильно сдал в последнее время, хотя и оставался ученым с мировым именем. И все-таки А-Янус и У-Янус были одним и тем же человеком. Вот это у меня никак не укладывалось в голове. Была в этом какая-то условность. Я даже подозревал, что это просто метафора.

А-Янус замкнул последний замок, вручил мне часть ключей и, холодно попрощавшись, ушел. Я уселся за стол референта, положил перед собой список и позвонил к себе в электронный зал. Никто не отозвался — видимо, девочки уже разошлись. Было четырнадцать часов тридцать минут.

В четырнадцать часов тридцать одну минуту в приемную, шумно отдуваясь и треща паркетом, ввалился знаменитый Федор Симеонович Киврин, великий маг и кудесник, заведующий отделом Линейного Счастья. Федор Симеонович славился неисправимым оптимизмом и верой в прекрасное будущее. У него было очень бурное прошлое. При Иване Васильевиче — царе Грозном опричники тогдашнего министра государственной безопасности Малюты Скуратова с шутками и прибаутками сожгли его по доносу соседа-дьяка в деревянной бане как колдуна; при Алексее Михайловиче — царе Тишайшем его били батогами нещадно и спалили у него на голой спине полное рукописное собрание его сочинений; при Петре Алексеевиче — царе Великом он сначала возвысился было как знаток химии и рудного дела, но не потрафил чем-то князю-

кесарю Ромодановскому, попал в каторгу на тульский оружейный завод, бежал оттуда в Индию, долго путешествовал, кусан был ядовитыми змеями и крокодилами, нечувствительно превзошел йогу, вновь вернулся в Россию в разгар пугачевщины, был обвинен как врачеватель бунтовщиков, обезноздрен и сослан в Соловец навечно. В Соловце опять имел массу всяких неприятностей, пока не прибился к НИИЧАВО, где быстро занял пост заведующего отделом и последнее время много работал над проблемами человеческого счастья, беззаветно сражаясь с теми коллегами, которые базой счастья полагали довольство.

— П-приветствую вас! — пробасил он, кладя передо мною ключи от своих лабораторий. — Б-бедняга, к-как же вы это? В-вам веселиться надо в т-такую ночь, я п-позвоню Модесту, что за г-глупости, я сам п-подежурю...

Видно было, что мысль эта только что пришла ему в голову, и он страшно ею загорелся.

— Н-ну-ка, где здесь его т-телефон? П-проклятье, н-никогда не п-помню т-телефонов... Один-п-пятнадцать или п-пять-одиннадцать...

— Что вы, Федор Симеонович, спасибо! — вскричал я. — Не надо! Я тут как раз поработать собрался!

— Ах, п-поработать! Это д-другое дело! Эт' х-хорошо, эт' здорово, вы м-молодец!.. А я, ч-черт, электроники н-ни черта не знаю... Н-надо учиться, а т-то вся эта м-магия слова, с-старье, ф-фокусы-покусы с п-психополями, п-примитив... Д-дедовские п-приемчики...

Он тут же, не сходя с места, сотворил две большие антоновки, одну вручил мне, а от второй откусил сразу половину и принялся сочно хрустеть.

— П-проклятье, опять ч-червивое сделал... У вас как — х-хорошее? Эт' хорошо... Я к в-вам, Саша, п-попозже еще загляну, а то я н-не совсем п-понимаю все-таки систему к-команд... В-водки только выпью и з-зайду... Д-двадцать д-девятая к-команда у вас там в м-машине... Т-то ли машина врет, то ли я н-не понимаю... Д-детективчик вам п-принесу, Г-гарднера. В-вы ведь читаете по-аглицки? Х-хорошо, шельма, пишет, з-здорово! П-перри Мейсон у него там, з-зверюга-адвокат, з-знаете?.. А п-потом еще что-нибудь д-дам, с-сайнс-фикшн к-какую-нибудь... Аз-зимова там, или Б-брэдбери...

Он подошел к окну и сказал восхищенно:

— П-пурга, черт возьми, л-люблю!..

Вошел, кутаясь в норковую шубу, тонкий и изящный Кристобаль Хозевич Хунта. Федор Симеонович обернулся.

— А, К-кристо! — воскликнул он. — П-полюбуйся, Камноедов этот, д-дурак, засадил м-молодого п-парня дежурить н-на Новый год. Д-давай отпустим его, вдвоем останемся, в-вспомянем старину, в-выпьем, а? Ч-что

он тут будет мучиться?.. Ему п-плясать надо, с д-девушками...

Хунта положил на стол ключи и сказал небрежно:

— Общение с девушками доставляет удовольствие лишь в тех случаях, когда достигается через преодоление препятствий...

— Н-ну еще бы! — загремел Федор Симеонович. — М-много крови, много п-песней за п-прелестных льется дам... К-как это там у вас?.. Только тот д-достигнет цели, кто не знает с-слова «страх»...

— Именно, — сказал Хунта. — И потом — я не терплю благотворительности.

— Б-благотворительности он не терпит! А кто у меня выпросил Одихмантьева? П-переманил, п-понимаешь, такого лаборанта... Ставь теперь б-бутылку шампанского, н-не меньше... С-слушай, не надо шампанского! Амонтильядо! У т-тебя еще осталось от т-толедских запасов?

— Нас ждут, Теодор, — напомнил Хунта.

— Д-да, верно... Надо еще г-галстук найти... и валенки, такси же не д-достанешь... Мы пошли, Саша, н-не скучайте тут.

— В новогоднюю ночь в институте дежурные не скучают, — негромко сказал Хунта. — Особенно новички.

Они пошли к двери. Хунта пропустил Федора Симеоновича вперед и, прежде чем выйти, косо глянул на меня и стремительно вывел пальцем на стене Соломонову звезду. Звезда вспыхнула и стала медленно тускнеть, как след пучка электронов на экране осциллографа. Я трижды плюнул через левое плечо.

Кристобаль Хозевич Хунта, заведующий отделом Смысла Жизни, был человек замечательный, но, по-видимому, совершенно бессердечный. Некогда, в ранней молодости, он долго был Великим Инквизитором, но потом впал в ересь, хотя и по сию пору сохранил тогдашние замашки, весьма впрочем пригодившиеся ему, по слухам, во время борьбы против пятой колонны в Испании. Почти все свои неудобопонятные эксперименты он производил либо над собой, либо над своими сотрудниками, и об этом уже при мне возмущенно говорили на общем профсоюзном собрании. Занимался он изучением смысла жизни, но продвинулся пока не очень далеко, хотя и получил интересные результаты, доказав, например, теоретически, что смерть отнюдь не является непременным атрибутом жизни. По поводу этого последнего открытия тоже возмущались — на философском семинаре. В кабинет к себе он почти никого не пускал, и по институту ходили смутные слухи, что там масса интересных вещей. Рассказывали, что в углу кабинета стоит великолепно выполненное чучело одного старинного знакомого Кристобаля Хозевича, штандартенфюрера

СС, в полной парадной форме, с моноклем, кортиком, железным крестом, дубовыми листьями и прочими причиндалами. Хунта был великолепным таксидермистом. Штандартенфюрер, по словам Кристобаля Хозевича, — тоже. Но Кристобаль Хозевич успел раньше. Он любил успевать раньше — всегда и во всем. Не чужд ему был и некоторый скептицизм. В одной из его лабораторий висел огромный плакат: «Нужны ли мы нам?» Очень незаурядный человек.

Ровно в три часа, в соответствии с трудовым законодательством, принес ключи доктор наук Амвросий Амбруазович Выбегалло. Он был в валенках, подшитых кожей, в пахучем извозчицком тулупе, из поднятого воротника торчала вперед седоватая нечистая борода. Волосы он стриг под горшок, так что никто никогда не видел его ушей.

— Эта... — сказал он, приближаясь. — У меня там, может, сегодня кто вылупится. В лаборатории, значить. Надо бы, эта, присмотреть. Я ему там запасов наложил, эта, хлебца, значить, буханок пять, ну там отрубей пареных, два ведра обрату. Ну, а как все, эта, поест, кидаться начнет, значить. Так ты мне, мон шер, того, брякни, милый.

Он положил передо мной связку амбарных ключей и в каком-то затруднении открыл рот, уставясь на меня. Глаза у него были прозрачные, в бороде торчало пшено.

— Куда брякнуть-та? — спросил я.

Очень я его не любил. Был он циник, и был он дурак. Работу, которой он занимался за триста пятьдесят рублей в месяц, можно было бы смело назвать евгеникой, но никто ее так не называл — боялись связываться. Этот Выбегалло заявлял, что все беды, эта, от неудовольствия проистекают и ежели, значить, дать человеку все — хлебца, значить, отрубей пареных, — то и будет не человек, а ангел. Нехитрую эту идею он пробивал всячески, размахивая томами классиков, из которых с неописуемым простодушием выдирал с кровью цитаты, нещадно опуская и вымарывая все, что ему не подходило. В свое время Ученый совет дрогнул под натиском этой неудержимой, какой-то даже первобытной демагогии, и тема Выбегаллы была включена в план. Действуя строго по этому плану, старательно измеряя свои достижения в процентах выполнения и никогда не забывая о режиме экономии, увеличении оборачиваемости оборотных средств, а также о связи с жизнью, Выбегалло заложил три экспериментальные модели: модель Человека, неудовлетворенного полностью, модель Человека, неудовлетворенного желудочно, и модель Человека, полностью удовлетворенного. Полностью неудовлетворенный антропоид поспел первым — он вывелся две недели назад. Это жалкое существо, покрытое

язвами, как Иов, полуразложившееся, мучимое всеми известными и неизвестными болезнями, невероятно голодное, страдающее от холода и от жары одновременно, вывалилось в коридор, огласило институт серией нечленораздельных жалоб и издохло. Выбегалло торжествовал. Теперь можно было считать доказанным, что ежели человека не кормить, не поить, не лечить, то он, эта, будет, значить, несчастлив и даже, может, помрет. Как вот этот помер. Ученый совет ужаснулся. Затея Выбегаллы оборачивалась какой-то жуткой стороной. Была создана комиссия для проверки работы Выбегаллы. Но тот, не растерявшись, представил две справки, из коих следовало, во-первых, что трое лаборантов его лаборатории ежегодно выезжают работать в подшефный совхоз, и, во-вторых, что он, Выбегалло, некогда был узником царизма, а теперь регулярно читает популярные лекции в городском лектории и на периферии. И пока ошеломленная комиссия пыталась разобраться в логике происходящего, он неторопливо вывез с подшефного рыбозавода (в порядке связи с производством) четыре грузовика селедочных голов для созревающего антропоида, неудовлетворенного желудочно. Комиссия писала отчет, а институт в страхе ждал дальнейших событий. Соседи Выбегаллы по этажу брали отпуска за свой счет.

— Куда брякнуть-та? — спросил я.

— Брякнуть-та? А домой, куда же еще в Новый год-та. Мораль должна быть, милай. Новый год дома встречать надо. Так это выходит по-нашему, нес па?[7]

— Я знаю, что домой. По какому телефону?

— А ты, эта, в книжечку посмотри. Грамотный? Вот и посмотри, значить, в книжечку. У нас секретов нет, не то что у иных прочих. Ан масс.[8]

— Хорошо, — сказал я. — Брякну.

— Брякни, мон шер, брякни. А кусаться он начнет, так ты его по сусалам, не стесняйся. Се ля ви.[9]

Я набрался храбрости и буркнул:

— А ведь мы с вами на брудершафт не пили.

— Пардон?

— Ничего, это я так, — сказал я.

Некоторое время он смотрел на меня своими прозрачными глазами, в которых ничегошеньки не выражалось, потом проговорил:

— А ничего, так и хорошо, что ничего. С праздником тебя с наступающим. Бывай здоров. Аривуар[10], значить.

Он напялил ушанку и удалился. Я торопливо открыл форточку. Влетел

Роман Ойра-Ойра в зеленом пальто с барашковым воротником, пошевелил горбатым носом и осведомился:

— Выбегалло забегалло?

— Забегалло, — сказал я.

— Н-да, — сказал он. — Это селедка. Держи ключи. Знаешь, куда он один грузовик свалил? Под окнами у Жиана Жиакомо. Прямо под кабинетом. Новогодний подарочек. Выкурю-ка я у тебя здесь сигарету.

Он упал в огромное кожаное кресло, расстегнул пальто и закурил.

— А ну-ка, займись, — сказал он. — Дано: запах селедочного рассола, интенсивность шестнадцать микротопоров, кубатура... — Он оглядел комнату. — Ну, сам сообразишь, год на переломе, Сатурн в созвездии Весов... Удаляй!

Я почесал за ухом.

— Сатурн... Что ты мне про Сатурн... А вектор магистатум какой?

— Ну, брат, — сказал Ойра-Ойра, — это ты сам должен...

Я почесал за другим ухом, прикинул в уме вектор и произвел, запинаясь, акустическое воздействие (произнес заклинание). Ойра-Ойра зажал нос. Я выдрал из брови два волоска (ужасно больно и глупо) и поляризовал вектор. Запах опять усилился.

— Плохо, — с упреком сказал Ойра-Ойра. — Что ты делаешь, ученик чародея? Ты что, не видишь, что форточка открыта?

— А, — сказал я, — верно. — Я учел дивергенцию и ротор, попытался решить уравнение Стокса в уме, запутался, вырвал, дыша через рот, еще два волоска, принюхался, пробормотал заклинание Ауэрса и совсем уже собрался было вырвать еще волосок, но тут обнаружилось, что приемная проветрилась естественным путем, и Роман посоветовал мне экономить брови и закрыть форточку.

— Посредственно, — сказал он. — Займемся материализацией.

Некоторое время мы занимались материализацией. Я творил груши, а Роман требовал, чтобы я их ел. Я отказывался есть, и тогда он заставлял меня творить снова. «Будешь работать, пока не получится что-нибудь съедобное, — говорил он. — А это отдашь Модесту. Он у нас Камноедов». В конце концов я сотворил настоящую грушу — большую, желтую, мягкую, как масло, и горькую, как хина. Я ее съел, и Роман разрешил мне отдохнуть.

Тут принес ключи бакалавр черной магии Магнус Федорович Редькин, толстый, как всегда озабоченный и разобиженный. Бакалавра он получил триста лет назад за изобретение портков-невидимок. С тех пор он эти портки все совершенствовал и совершенствовал. Портки-невидимки

превратились у него сначала в кюлоты-невидимки, потом в штаны-невидимки, и наконец совсем недавно о них стали говорить как о брюках-невидимках. И никак он не мог их отладить. На последнем заседании семинара по черной магии, когда он делал очередной доклад «О некоторых новых свойствах брюк-невидимок Редькина», его опять постигла неудача. Во время демонстрации модернизированной модели что-то там заело в пуговично-подтяжечном механизме, и брюки, вместо того чтобы сделать невидимым изобретателя, вдруг со звонким щелчком сделались невидимы сами. Очень неловко получилось. Однако главным образом Магнус Федорович работал над диссертацией, тема которой звучала так: «Материализация и линейная натурализация Белого Тезиса как аргумента достаточно произвольной функции сигма не вполне представимого человеческого счастья».

Тут он достиг значительных и важных результатов, из коих следовало, что человечество буквально купалось бы в не вполне представимом счастье, если бы только удалось найти сам Белый Тезис, а главное — понять, что это такое и где его искать.

Упоминание о Белом Тезисе встречалось только в дневниках Бен Бецалеля. Бен Бецалель якобы выделил Белый Тезис как побочный продукт какой-то алхимической реакции и, не имея времени заниматься такой мелочью, вмонтировал его в качестве подсобного элемента в какой-то свой прибор. В одном из последних мемуаров, написанных уже в темнице, Бен Бецалель сообщал: «И можете вы себе представить? Тот Белый Тезис не оправдал-таки моих надежд, не оправдал. И когда я сообразил, какая от него могла быть польза — я говорю о счастье для всех людей, сколько их есть, — я уже забыл, куда же я его вмонтировал». За институтом числилось семь приборов, принадлежавших некогда Бен Бецалелю. Шесть из них Редькин разобрал до винтика и ничего особенного не нашел. Седьмым прибором был диван-транслятор. Но на диван наложил руку Витька Корнеев, и в простую душу Редькина закрались самые черные подозрения. Он стал следить за Витькой. Витька немедленно озверел. Они поссорились и стали заклятыми врагами, и оставались ими по сей день. Ко мне как к представителю точных наук Магнус Федорович относился благожелательно, хотя и осуждал мою дружбу с «этим плагиатором». В общем-то Редькин был неплохим человеком, очень трудолюбивым, очень упорным, начисто лишенным корыстолюбия. Он проделал громадную работу, собравши гигантскую коллекцию разнообразнейших определений счастья. Там были простейшие негативные определения («Не в деньгах счастье»), простейшие позитивные определения («Высшее удовлетворение,

полное довольство, успех, удача»), определения казуистические («Счастье есть отсутствие несчастья») и парадоксальные («Счастливей всех шуты, дураки, сущеглупые и нерадивые, ибо укоров совести они не знают, призраков и прочей нежити не страшатся, боязнью грядущих бедствий не терзаются, надеждой будущих благ не обольщаются»).

Магнус Федорович положил на стол коробочку с ключом и, недоверчиво глядя на нас исподлобья, сказал:

— Я еще одно определение нашел.

— Какое? — спросил я.

— Что-то вроде стихов. Только там нет рифмы. Хотите?

— Конечно, хотим, — сказал Роман.

Магнус Федорович вынул записную книжку и, запинаясь, прочел:

Вы спрашиваете:
Что считаю
Я наивысшим счастьем на земле?
Две вещи:
Менять вот так же состоянье духа,
Как пенни выменял бы я на шиллинг,
И
Юной девушки
Услышать пенье
Вне моего пути, но вслед за тем,
Как у меня дорогу разузнала.

— Ничего не понял, — сказал Роман. — Дайте я прочту глазами.

Редькин отдал ему записную книжку и пояснил:

— Это Кристофер Лог. С английского.

— Отличные стихи, — сказал Роман.

Магнус Федорович вздохнул.

— Одни одно говорят, другие — другое.

— Тяжело, — сказал я сочувственно.

— Правда ведь? Ну как тут все увяжешь? Девушки услышать пенье... И ведь не всякое пенье какое-нибудь, а чтобы девушка была юная, находилась вне его пути, да еще только после того, как у него про дорогу спросит... Разве же так можно? Разве такие вещи алгоритмизируются?

— Вряд ли, — сказал я. — Я бы не взялся.

— Вот видите! — подхватил Магнус Федорович. — А вы у нас

заведующий вычислительным центром! Кому же тогда?

— А может, его вообще нет? — сказал Роман голосом кинопровокатора.

— Чего?

— Счастья.

Магнус Федорович сразу обиделся.

— Как же его нет, — с достоинством сказал он, — когда я сам его неоднократно испытывал?

— Выменяв пенни на шиллинг? — спросил Роман.

Магнус Федорович обиделся еще больше и вырвал у него записную книжку.

— Вы еще молодой... — начал он.

Но тут раздался грохот, треск, сверкнуло пламя и запахло серой. Посередине приемной возник Мерлин. Магнус Федорович, шарахнувшийся от неожиданности к окну, сказал: «Тьфу на вас!» — и выбежал вон.

— Good God! — сказал Ойра-Ойра, протирая запорошенные глаза. — Canst thou not come in by usual way as decent people do?.. Sir[11], — добавил он.

— Beg thy pardon[12], — сказал Мерлин самодовольно и с удовлетворением посмотрел на меня. Наверное, я был бледен, потому что очень испугался самовозгорания.

Мерлин оправил на себе побитую молью мантию, швырнул на стол связку ключей и произнес:

— Вы заметили, сэры, какие стоят погоды?

— Предсказанные, — сказал Роман.

— Именно, сэр Ойра-Ойра! Именно предсказанные!

— Полезная вещь — радио, — сказал Роман.

— Я радио не слушаю, — сказал Мерлин. — У меня свои методы.

Он потряс подолом мантии и поднялся на метр над полом.

— Люстра, — сказал я, — осторожнее.

Мерлин посмотрел на люстру и ни с того ни с сего начал:

— О вы, пропитанные духом западного материализма, низкого меркантилизма и утилитаризма, чье спиритуальное убожество не способно подняться над мраком и хаосом мелких угрюмых забот... Не могу не вспомнить, дорогие сэры, как в прошлом году мы с сэром председателем райсовета товарищем Переяславльским...

Ойра-Ойра душераздирающе зевнул, мне тоже стало тоскливо. Мерлин был бы, вероятно, еще хуже, чем Выбегалло, если бы не был столь

архаичен и самонадеян. По чьей-то рассеянности ему удалось продвинуться в заведующие отделом Предсказаний и Пророчеств, потому что во всех анкетах он писал о своей непримиримой борьбе против империализма янки еще в раннем средневековье, прилагая к анкетам нотариально заверенные машинописные копии соответствующих страниц из Марка Твена. Впоследствии же, в связи с изменением внутренней обстановки и потеплением международного климата, он был вновь переведен на свое место заведующего бюро погоды и теперь, как и тысячу лет назад, занимался предсказаниями атмосферных явлений — и с помощью магических средств, и на основании поведения тарантулов, усиления ревматических болей и стремления соловецких свиней залечь в грязь или выйти из оной. Впрочем, основным поставщиком его прогнозов был самый вульгарный радиоперехват, осуществлявшийся детекторным приемником, по слухам, похищенным еще в двадцатые годы с соловецкой выставки юных техников. В институте его держали из уважения к старости. Он был в большой дружбе с Наиной Киевной Горыныч и вместе с ней занимался коллекционированием и распространением слухов о появлении в лесах гигантской волосатой женщины и о пленении одной студентки снежным человеком с Эльбруса. Говорили также, что время от времени он принимает участие в ночных бдениях на республиканской Лысой Горе с Ха Эм Вием, Хомой Брутом и другими хулиганами.

Мы с Романом молчали и ждали, когда он исчезнет. Но он, упаковавшись в мантию, удобно расположился под люстрой и затянул длинный, всем давно уже осточертевший рассказ о том, как он, Мерлин, и председатель соловецкого райсовета товарищ Переяславльский совершали инспекторский вояж по району. Вся эта история была чистейшим враньем, бездарным и конъюнктурным переложением Марка Твена. О себе он говорил в третьем лице, а председателя иногда, сбиваясь, называл королем Артуром.

— Итак, председатель райсовета и Мерлин отправились в путь и приехали к пасечнику, Герою Труда сэру Отшельниченко, который был добрым рыцарем и знатным медосборцем. И сэр Отшельниченко доложил о своих трудовых успехах и полечил сэра Артура от радикулита пчелиным ядом. И сэр председатель прожил там три дня, и радикулит его успокоился, и они двинулись в путь, и в пути сэр Ар... председатель сказал: «У меня нет меча». — «Не беда, — сказал ему Мерлин, — я добуду тебе меч». И они доехали до большого озера, и видит Артур: из озера поднялась рука, мозолистая и своя, и в той руке серп и молот. И сказал Мерлин: «Вот тот меч, о котором я говорил тебе...»

Тут раздался телефонный звонок, и я с радостью схватил трубку.

— Алло, — сказал я. — Алло, вас слушают.

В трубке что-то бормотали, и гнусаво тянул Мерлин: «...И возле Лежнева они встретили сэра Пеллинора, однако Мерлин сделал так, что Пеллинор не заметил председателя...»

— Сэр гражданин Мерлин, — сказал я. — Нельзя ли чуть потише? Я ничего не слышу.

Мерлин замолчал с видом человека, готового продолжать в любой момент.

— Алло, — снова сказал я в трубку.

— Кто у аппарата?

— А вам кого нужно? — сказал я по старой привычке.

— Вы мне это прекратите. Вы не в балагане, Привалов.

— Виноват, Модест Матвеевич. Дежурный Привалов слушает.

— Вот так. Докладывайте.

— Что докладывать?

— Слушайте, Привалов. Вы опять ведете себя, как я не знаю кто. С кем вы там разговаривали? Почему на посту посторонние? Почему, в нарушение трудового законодательства, в институте после окончания рабочего дня находятся люди?

— Это Мерлин, — сказал я.

— Гоните его в шею!

— С удовольствием, — сказал я. (Мерлин, несомненно подслушивавший, покрылся пятнами, сказал: «Гр-рубиян!» — и растаял в воздухе.)

— С удовольствием или без удовольствия — это меня не касается. А вот тут поступил сигнал, что вверенные вам ключи вы сваливаете кучей на столе, вместо того чтобы запирать их в ящик.

Выбегалло донес, подумал я.

— Вы почему молчите?

— Будет исполнено.

— В таком вот аксепте, — сказал Модест Матвеевич. — Бдительность должна быть на высоте. Доступно?

— Доступно.

Модест Матвеевич сказал: «У меня все», — и дал отбой.

— Ну ладно, — сказал Ойра-Ойра, застегивая зеленое пальто. — Пойду вскрывать консервы и откупоривать бутылки. Будь здоров, Саша, я еще забегу попозже.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Я шел, спускаясь в темные коридоры и потом опять поднимаясь наверх. Я был один; я кричал, мне не отвечали; я был один в этом обширном, в запутанном, как лабиринт, доме.

*_Ги де Мопассан_*

Свалив ключи в карман пиджака, я отправился в первый обход. По парадной лестнице, которой на моей памяти пользовались всего один раз, когда институт посетило августейшее лицо из Африки, я спустился в необозримый вестибюль, украшенный многовековыми наслоениями архитектурных излишеств, и заглянул в окошечко швейцарской. Там в фосфоресцирующем тумане маячили два макродемона Максвелла. Демоны играли в самую стохастическую из игр — в орлянку. Они занимались этим все свободное время, огромные, вялые, неописуемо нелепые, более всего похожие на колонии вируса полиомиелита под электронным микроскопом, одетые в поношенные ливреи. Как и полагается демонам Максвелла, всю свою жизнь они занимались открыванием и закрыванием дверей. Это были опытные, хорошо выдрессированные экземпляры, но один из них, тот, что ведал выходом, достиг уже пенсионного возраста, сравнимого с возрастом Галактики, и время от времени впадал в детство и начинал барахлить. Тогда кто-нибудь из отдела Технического Обслуживания надевал скафандр, забирался в швейцарскую, наполненную сжатым аргоном, и приводил старика в чувство.

Следуя инструкции, я заговорил обоих, то есть перекрыл каналы информации и замкнул на себя вводно-выводные устройства. Демоны не отреагировали, им было не до того. Один выигрывал, а другой, соответственно, проигрывал, и это их беспокоило, потому что нарушало статистическое равновесие. Я закрыл окошечко щитом и обошел вестибюль. В вестибюле было сыро, сумрачно и гулко. Здание института было вообще довольно древнее, но строиться оно начало, по-видимому, с вестибюля. В заплесневелых углах белесо мерцали кости прикованных скелетов, где-то мерно капала вода, в нишах между колоннами в неестественных позах торчали статуи в ржавых латах, справа от входа у стены громоздились обломки древних идолов, наверху этой кучи торчали

гипсовые ноги в сапогах. С почерневших портретов под потолком строго взирали маститые старцы, в их лицах усматривались знакомые черты Федора Симеоновича, товарища Жиана Жиакомо и других мастеров. Весь этот архаический хлам надлежало давным-давно выбросить, прорубить в стенах окна и установить трубки дневного света, но все было заприходовано, заинвентаризировано и лично Модестом Матвеевичем к разбазариванию запрещено.

На капителях колонн и в лабиринтах исполинской люстры, свисающей с почерневшего потолка, шуршали нетопыри и летучие собаки. С ними Модест Матвеевич боролся. Он поливал их скипидаром и креозотом, опылял дустом, опрыскивал гексахлораном, они гибли тысячами, но возрождались десятками тысяч. Они мутировали, среди них появлялись поющие и разговаривающие штаммы, потомки наиболее древних родов питались теперь исключительно пиретрумом, смешанным с хлорофосом, а институтский киномеханик Саня Дрозд клялся, что своими глазами видел здесь однажды нетопыря, как две капли воды похожего на товарища завкадрами.

В глубокой нише, из которой тянуло ледяным смрадом, кто-то застонал и загремел цепями. «Вы это прекратите, — строго сказал я. — Что еще за мистика! Как не стыдно!..» В нише затихли. Я хозяйственно поправил сбившийся ковер и поднялся по лестнице.

Как известно, снаружи институт выглядел двухэтажным. На самом деле в нем было не менее двенадцати этажей. Выше двенадцатого я просто никогда не поднимался, потому что лифт постоянно чинили, а летать я еще не умел. Фасад с десятью окнами, как и большинство фасадов, тоже был обманом зрения. Вправо и влево от вестибюля институт простирался по крайней мере на километр, и тем не менее решительно все окна выходили на ту же кривоватую улицу и на тот же самый лабаз. Это поражало меня необычайно. Первое время я приставал к Ойре-Ойре, чтобы он мне объяснил, как это совмещается с классическими или хотя бы с релятивистскими представлениями о свойствах пространства. Из объяснений я ничего не понял, но постепенно привык и перестал удивляться. Я совершенно убежден, что через десять-пятнадцать лет любой школьник будет лучше разбираться в общей теории относительности, чем современный специалист. Для этого вовсе не нужно понимать, как происходит искривление пространства-времени, нужно только, чтобы такое представление с детства вошло в быт и стало привычным.

Весь первый этаж был занят отделом Линейного Счастья. Здесь было царство Федора Симеоновича, здесь пахло яблоками и хвойными лесами,

здесь работали самые хорошенькие девушки и самые славные ребята. Здесь не было мрачных изуверов, знатоков и адептов черной магии, здесь никто не рвал, шипя и кривясь от боли, из себя волос, никто не бормотал заклинаний, похожих на неприличные скороговорки, не варил заживо жаб и ворон в полночь, в полнолуние, на Ивана Купала, по несчастливым числам. Здесь работали на оптимизм. Здесь делали все возможное в рамках белой, субмолекулярной и инфранейронной магии, чтобы повысить душевный тонус каждого отдельного человека и целых человеческих коллективов. Здесь конденсировали и распространяли по всему свету веселый, беззлобный смех; разрабатывали, испытывали и внедряли модели поведений и отношений, укрепляющих дружбу и разрушающих рознь; возгоняли и сублимировали экстракты гореутолителей, не содержащих ни единой молекулы алкоголя и иных наркотиков. Сейчас здесь готовили к полевым испытаниям портативный универсальный злободробитель и разрабатывали новые марки редчайших сплавов ума и доброты.

Я отомкнул дверь центрального зала и, стоя на пороге, полюбовался, как работает гигантский дистиллятор Детского Смеха, похожий чем-то на генератор Ван де Граафа. Только в отличие от генератора он работал совершенно бесшумно и около него хорошо пахло. По инструкции я должен был повернуть два больших белых рубильника на пульте, чтобы погасло золотое сияние в зале, чтобы стало темно, холодно и неподвижно, — короче говоря, инструкция требовала, чтобы я обесточил данное производственное помещение. Но я даже колебаться не стал, попятился в коридор и запер за собой дверь. Обесточивать что бы то ни было в лабораториях Федора Симеоновича представлялось мне просто кощунством.

Я медленно пошел по коридору, разглядывая забавные картинки на дверях лабораторий, и на углу встретил домового Тихона, который рисовал и еженощно менял эти картинки. Мы обменялись рукопожатием. Тихон был славный серенький домовик из Рязанской области, сосланный Вием в Соловец за какую-то провинность: с кем-то он там не так поздоровался или отказался есть гадюку вареную... Федор Симеонович приветил его, умыл, вылечил от застарелого алкоголизма, и он так и прижился здесь, на первом этаже. Рисовал он превосходно, в стиле Бидструпа, и славился среди местных домовых рассудительностью и трезвым поведением.

Я хотел уже подняться на второй этаж, но вспомнил о виварии и направился в подвал. Надзиратель вивария, пожилой реабилитированный вурдалак Альфред, пил чай. При виде меня он попытался спрятать чайник под стол, разбил стакан, покраснел и потупился. Мне стало его жалко.

— С наступающим, — сказал я, сделав вид, что ничего не заметил.

Он прокашлялся, прикрыл рот ладонью и сипло ответил:

— Благодарствуйте. И вас тоже.

— Все в порядке? — спросил я, оглядывая ряды клеток и стойл.

— Бриарей палец сломал, — сказал Альфред.

— Как так?

— Да так уж. На восемнадцатой правой руке. В носе ковырял, повернулся неловко — они ж неуклюжие, гекатонхейры, — и сломал.

— Так ветеринара надо, — сказал я.

— Обойдется! Что ему, впервые, что ли...

— Нет, так нельзя, — сказал я. — Пойдем посмотрим.

Мы прошли в глубь вивария мимо Конька-Горбунка, дремавшего мордой в торбе с овсом, мимо вольера с гарпиями, проводившими нас мутными со сна глазами, мимо клетки с Лернейской гидрой, угрюмой и неразговорчивой в это время года... Гекатонхейры, сторукие и пятидесятиголовые братцы-близнецы, первенцы Неба и Земли, помещались в обширной бетонированной пещере, забранной толстыми железными прутьями. Гиес и Котт спали, свернувшись в огромные уродливые узлы, из которых торчали синие бритые головы с закрытыми глазами и волосатые расслабленные руки. Бриарей маялся. Он сидел на корточках, прижавшись к решетке, и, выставив в проход руку с больным пальцем, придерживал ее семью другими руками. Остальными девяноста двумя руками он держался за прутья и подпирал головы. Некоторые из голов спали.

— Что? — сказал я жалостливо. — Болит?

Бодрствующие головы залопотали по-эллински и разбудили одну голову, которая знала русский язык.

— Страсть как болит, — сказала она. Остальные притихли и, раскрыв рты, уставились на меня.

Я осмотрел палец. Палец был грязный и распухший, и он совсем не был сломан. Он был просто вывихнут. У нас в спортзале такие травмы вылечивались без всякого врача. Я вцепился в палец и рванул его на себя что было силы. Бриарей взревел всеми пятьюдесятью глотками и повалился на спину.

— Ну-ну-ну, — сказал я, вытирая руки носовым платком. — Все уже, все...

Бриарей, хлюпая носами, принялся рассматривать палец. Задние головы жадно тянули шеи и нетерпеливо покусывали за уши передние, чтобы те не застили. Альфред ухмылялся.

— Кровь бы ему пустить полезно, — сказал он с давно забытым

выражением, потом вздохнул и добавил: — Да только какая в нем кровь — видимость одна. Одно слово — нежить.

Бриарей поднялся. Все пятьдесят голов блаженно улыбались. Я помахал ему рукой и пошел обратно. Около Кощея Бессмертного я задержался. Великий негодяй обитал в комфортабельной отдельной клетке с коврами, кондиционированием и стеллажами для книг. По стенам клетки были развешаны портреты Чингисхана, Гиммлера, Екатерины Медичи, одного из Борджиа и то ли Голдуотера, то ли Маккарти. Сам Кощей в отливающем халате стоял, скрестив ноги, перед огромным пюпитром и читал офсетную копию «Молота ведьм». При этом он делал длинными пальцами неприятные движения: не то что-то завинчивал, не то что-то вонзал, не то что-то сдирал. Содержался он в бесконечном предварительном заключении, пока велось бесконечное следствие по делу о бесконечных его преступлениях. В институте им очень дорожили, так как попутно он использовался для некоторых уникальных экспериментов и как переводчик при общении со Змеем Горынычем. (Сам З. Горыныч был заперт в старой котельной, откуда доносилось его металлическое храпение и взревывания спросонок.) Я стоял и размышлял о том, что если где-нибудь в бесконечно удаленной от нас точке времени Кощея и приговорят, то судьи, кто бы они ни были, окажутся в очень странном положении: смертную казнь к бессмертному преступнику применить невозможно, а вечное заключение, если учесть предварительное, он уже отбыл...

Тут меня схватили за штанину, и пропитой голос произнес:

— А ну, урки, с кем на троих?

Мне удалось вырваться. Трое вурдалаков в соседнем вольере жадно смотрели на меня, прижав сизые морды к металлической сетке, через которую был пропущен ток в двести вольт.

— Руку отдавил, дылда очкастая! — сказал один.

— А ты не хватай, — сказал я. — Осины захотел?

Подбежал Альфред, щелкая плетью, и вурдалаки убрались в темный угол, где сейчас же принялись скверно ругаться и шлепать самодельными картами.

Я сказал Альфреду:

— Ну хорошо. По-моему, все в порядке. Пойду дальше.

— Путь добрый, — отвечал Альфред с готовностью.

Поднимаясь по ступенькам, я слышал, как он гремит чайником и булькает.

Я заглянул в машинный зал и посмотрел, как работает энергогенератор. Институт не зависел от городских источников энергии.

Вместо этого, после уточнения принципа детерминизма, решено было использовать хорошо известное Колесо Фортуны как источник даровой механической энергии. Над цементным полом зала возвышался только небольшой участок блестящего отполированного обода гигантского колеса, ось вращения которого лежала где-то в бесконечности, отчего обод выглядел просто лентой конвейера, выходящей из одной стены и уходящей в другую. Одно время было модно защищать диссертации на уточнении радиуса кривизны Колеса Фортуны, но поскольку все эти диссертации давали результат с крайне невысокой точностью, до десяти мегапарсеков, Ученый совет института принял решение прекратить рассмотрение диссертационных работ на эту тему вплоть до того времени, когда создание трансгалактических средств сообщения позволит рассчитывать на существенное повышение точности.

Несколько бесов из обслуживающего персонала играли у Колеса — вскакивали на обод, проезжали до стены, соскакивали и мчались обратно. Я решительно призвал их к порядку. «Вы это прекратите, — сказал я, — это вам не балаган». Они попрятались за кожухи трансформаторов и принялись обстреливать меня оттуда жеваной бумагой. Я решил не связываться с молокососами, прошелся вдоль пультов и, убедившись, что все в порядке, поднялся на второй этаж.

Здесь было тихо, темно и пыльно. У низенькой полуоткрытой двери дремал, опираясь на длинное кремневое ружье, старый дряхлый солдат в мундире Преображенского полка и в треуголке. Здесь размещался отдел Оборонной Магии, среди сотрудников которого давно уже не было ни одной живой души. Все наши старики, за исключением, может быть, Федора Симеоновича, в свое время отдали дань увлечению этим разделом магии. Бен Бецалель успешно использовал Голема при дворцовых переворотах: глиняное чудовище, равнодушное к подкупу и неуязвимое для ядов, охраняло лаборатории, а заодно и императорскую сокровищницу. Джузеппе Бальзамо создал первый в истории самолетный эскадрон на помелах, хорошо показавший себя на полях сражений Столетней войны. Но эскадрон довольно быстро распался: часть ведьм повыходила замуж, а остальные увязались за рейтарскими полками в качестве маркитанток. Царь Соломон отловил и зачаровал дюжину дюжин ифритов и сколотил из них отдельный истребительно-противослоновый огнеметный батальон. Молодой Кристобаль Хунта привел в дружину Карлу Великому китайского, натасканного на мавров дракона, но, узнав, что император собирается воевать не с маврами, а с соплеменными басками, рассвирепел и дезертировал. На протяжении многовековой истории войн разные маги

предлагали применять в бою вампиров (для ночной разведки боем), василисков (для поражения противника ужасом до полной окаменелости), ковры-самолеты (для сбрасывания нечистот на неприятельские города), мечи-кладенцы различных достоинств (для компенсации малочисленности) и многое другое. Однако уже после первой мировой войны, после Длинной Берты, танков, иприта и хлора оборонная магия начала хиреть. Из отдела началось повальное бегство сотрудников. Дольше всех задержался там некий Питирим Шварц, бывший монах и изобретатель подпорки для мушкета, беззаветно трудившийся над проектом джинн-бомбардировок. Суть проекта состояла в сбрасывании на города противника бутылок с джиннами, выдержанными в заточении не менее трех тысяч лет. Хорошо известно, что джинны в свободном состоянии способны только либо разрушать города, либо строить дворцы. Основательно выдержанный джинн (рассуждал Питирим Шварц), освободившись из бутылки, не станет строить дворцов, и противнику придется туго. Некоторым препятствием к осуществлению этого замысла являлось недостаточное количество бутылок с джиннами, но Шварц рассчитывал пополнить запасы глубоким тралением Красного и Средиземного морей. Рассказывают, что, узнав о водородной бомбе и бактериологической войне, старик Питирим потерял душевное равновесие, роздал имевшихся у него джиннов по отделам и ушел исследовать смысл жизни к Кристобалю Хунте. Больше его никто никогда не видел.

Когда я остановился на пороге, солдат посмотрел на меня одним глазом, прохрипел: «Не велено, проходи дальше...» — и снова задремал. Я оглядел пустую захламленную комнату с обломками диковинных моделей и обрывками безграмотных чертежей, пошевелил носком ботинка валявшуюся у входа папку со смазанным грифом «Совершенно секретно. Перед прочтением сжечь» и пошел прочь. Обесточивать здесь было нечего, а что касается самовозгорания, то все, что могло самовозгореться, самовозгорелось здесь много лет назад.

На этом же этаже располагалось книгохранилище. Это было мрачноватое пыльное помещение под стать вестибюлю, но значительно более обширное. По поводу его размеров рассказывали, что в глубине, в полукилометре от входа, идет вдоль стеллажей неплохое шоссе, оснащенное верстовыми столбами. Ойра-Ойра доходил до отметки «19», а настырный Витька Корнеев в поисках технической документации на диван-транслятор раздобыл семимильные сапоги и добежал до отметки «124». Он продвинулся бы и дальше, но дорогу ему преградила бригада данаид в ватниках и с отбойными молотками. Под присмотром толстомордого Каина

они взламывали асфальт и прокладывали какие-то трубы. Ученый совет неоднократно поднимал вопрос о постройке вдоль шоссе высоковольтной линии для передачи абонентов хранилища по проводам, однако все позитивные предложения наталкивались на недостаток фондов.

Хранилище было битком набито интереснейшими книгами на всех языках мира и истории, от языка атлантов до пиджин-инглиш включительно. Но меня там больше всего заинтересовало многотомное издание Книги Судеб. Книга Судеб печаталась петитом на тончайшей рисовой бумаге и содержала в хронологическом порядке более или менее полные данные о 73619024511-ти человеках разумных. Первый том начинался питекантропом Аыуыхх. («Род. 2 авг. 965543 г. до н. э., ум. 13 янв. 965522 г. до н. э. Родители рамапитеки. Жена рамапитек. Дети: самец Ад-Амм, самка Э-Уа. Кочевал с трибой рамапитеков по Араратск. долин. Ел, пил, спал в свое удовольств. Провертел первую дыру в камне. Сожран пещерн. медвед. во время охоты».) Последним в последнем томе регулярного издания, вышедшем в прошлом году, числился Франсиско-Каэтано-Августин-Лусия-и-Мануэль-и-Хосефа-и-Мигель-Лука-Карлос-Педро Тринидад. («Род. 16 июля 1491 г. н. э., ум. 17 июля 1491 г. н. э. Родители: Педро-Карлос-Лука-Мигель-и-Хосефа-и-Мануэль-и-Лусия-Августин-Каэтано-Франсиско Тринидад и Мария Тринидад (см.). Португалец. Анацефал. Кавалер Ордена Святого Духа, полковник гвардии».)

Из выходных данных явствовало, что Книга Судеб выходит тиражом в 1 (один) экземпляр и этот последний том подписан в печать еще во время полетов братьев Монгольфье. Видимо, для того чтобы как-то удовлетворить потребности современников, издательство предприняло публикацию срочных нерегулярных выпусков, в которых значились только годы рождения и годы смерти. В одном из таких выпусков я нашел и свое имя. Однако из-за спешки в эти выпуски вкралась масса опечаток, и я с изумлением узнал, что умру в 1611 году. В восьмитомнике же замеченных опечаток до моей фамилии еще не добрались.

Консультировала издание Книги Судеб специальная группа в отделе Предсказаний и Пророчеств. Отдел был захудалый, запущенный, он никак не мог оправиться после кратковременного владычества сэра гражданина Мерлина, и институт неоднократно объявлял конкурс на замещение вакантной должности заведующего отделом, и каждый раз на конкурс подавал заявление один-единственный человек — сам Мерлин.

Ученый совет добросовестно рассматривал заявление и благополучно проваливал его — сорока тремя голосами «против» при одном «за».

(Мерлин по традиции тоже был членом Ученого совета.)

Отдел Предсказаний и Пророчеств занимал весь третий этаж. Я прошелся вдоль дверей с табличками «Группа кофейной гущи», «Группа авгуров», «Группа пифий», «Синоптическая группа», «Группа пасьянсов», «Соловецкий Оракул». Обесточивать мне ничего не пришлось, поскольку отдел работал при свечах. На дверях синоптической группы уже появилась свежая надпись мелом: «Темна вода во облацех». Каждое утро Мерлин, проклиная интриги завистников, стирал эту надпись мокрой тряпкой, и каждую ночь она возобновлялась. Вообще на чем держался авторитет отдела, мне было совершенно непонятно. Время от времени сотрудники делали доклады на странные темы, вроде: «Относительно выражения глаз авгура» или «Предикторские свойства гущи из-под кофе мокко урожая 1926 года». Иногда группе пифий удавалось что-нибудь правильно предсказать, но каждый раз пифии казались такими удивленными и напуганными своим успехом, что весь эффект пропадал даром. У-Янус, человек деликатнейший, не мог, как было неоднократно отмечено, сдержать неопределенной улыбки каждый раз, когда присутствовал на заседаниях семинара пифий и авгуров.

На четвертом этаже мне, наконец, нашлась работа: я погасил свет в кельях отдела Вечной Молодости. Молодежи в отделе не было, и эти старики, страдающие тысячелетним склерозом, постоянно забывали гасить за собой свет. Впрочем, я подозреваю, что дело здесь было не только в склерозе. Многие из них до сих пор боялись, что их ударит током. Они все еще называли электричку чугункой.

В лаборатории сублимации между длинных столов бродила, зевая, — руки в карманы, — унылая модель вечномолодого юнца. Ее седая двухметровая борода волочилась по полу и цеплялась за ножки стульев. На всякий случай я убрал в шкаф стоявшую на табуретке бутыль с царской водкой и отправился к себе в электронный зал.

Здесь стоял мой «Алдан». Я немножко полюбовался на него, какой он компактный, красивый, таинственно поблескивающий. В институте к нам относились по-разному. Бухгалтерия, например, встретила меня с распростертыми объятиями, и главный бухгалтер, скупо улыбаясь, сейчас же завалил меня томительными расчетами заработной платы и рентабельности. Жиан Жиакомо, заведующий отделом Универсальных Превращений, вначале тоже обрадовался, но, убедившись, что «Алдан» не способен рассчитать даже элементарную трансформацию кубика свинца в кубик золота, охладел к моей электронике и удостаивал нас только редкими случайными заданиями. Зато от его подчиненного и любимого ученика

Витьки Корнеева спасу не было. И Ойра-Ойра постоянно сидел у меня на шее со своими зубодробительными задачами из области иррациональной метаматематики. Кристобаль Хунта, любивший во всем быть первым, взял за правило подключать по ночам машину к своей центральной нервной системе, так что на другой день у него в голове все время что-то явственно жужжало и щелкало, а сбитый с толку «Алдан», вместо того чтобы считать в двоичной системе, непонятным мне образом переходил на древнюю шестидесятеричную, да еще менял логику, начисто отрицая принцип исключенного третьего. Федор же Симеонович Киврин забавлялся с машиной, как ребенок с игрушкой. Он мог часами играть с ней в чет-нечет, обучил ее японским шахматам, а чтобы было интереснее, вселил в машину чью-то бессмертную душу — впрочем, довольно жизнерадостную и работящую. Янус Полуэктович (не помню уже, А или У) воспользовался машиной только один раз. Он принес с собой небольшую полупрозрачную коробочку, которую подсоединил к «Алдану». Примерно через десять секунд работы с этой приставкой в машине полетели все предохранители, после чего Янус Полуэктович извинился, забрал свою коробочку и ушел.

Но, несмотря на все маленькие помехи и неприятности, несмотря на то, что одушевленный теперь «Алдан» иногда печатал на выходе: «Думаю. Прошу не мешать», несмотря на недостаток запасных блоков и на чувство беспомощности, которое охватывало меня, когда требовалось произвести логический анализ «неконгруэнтной трансгрессии в пси-поле инкуб-преобразования», — несмотря на все это, работать здесь было необычайно интересно, и я гордился своей очевидной нужностью. Я провел все расчеты в работе Ойры-Ойры о механизме наследственности биполярных гомункулусов. Я составил для Витьки Корнеева таблицы напряженности М-поля дивана-транслятора в девятимерном магопространстве. Я вел рабочую калькуляцию для подшефного рыбозавода. Я рассчитал схему для наиболее экономного транспортирования эликсира Детского Смеха. Я даже сосчитал вероятности решения пасьянсов «Большой слон», «Государственная дума» и «Могила Наполеона» для забавников из группы пасьянсов и проделал все квадратуры численного метода Кристобаля Хозевича, за что тот научил меня впадать в нирвану. Я был доволен, дней мне не хватало, и жизнь моя была полна смысла.

Было еще рано — всего седьмой час. Я включил «Алдан» и немножко поработал. В девять часов вечера я опомнился, с сожалением обесточил электронный зал и отправился на пятый этаж. Пурга все не унималась. Это была настоящая новогодняя пурга. Она выла и визжала в старых заброшенных дымоходах, она наметала сугробы под окнами, бешено

дергала и раскачивала редкие уличные фонари.

Я миновал территорию административно-хозяйственного отдела. Вход в приемную Модеста Матвеевича был заложен крест-накрест двутавровыми железными балками, а по сторонам, сабли наголо, стояли два здоровенных ифрита в тюрбанах и в полном боевом снаряжении. Нос каждого, красный и распухший от насморка, был прободен массивным золотым кольцом с жестяным инвентарным номерком. Вокруг пахло серой, паленой шерстью и стрептоцидовой мазью. Я задержался на некоторое время, рассматривая их, потому что ифриты в наших широтах существа редкие. Но тот, что стоял справа, небритый и с черной повязкой на глазу, стал есть меня глазом. О нем ходила дурная слава, будто он бывший людоед, и я поспешно пошел дальше. Мне было слышно, как он с хлюпаньем тянет носом и причмокивает за моей спиной.

В помещениях отдела Абсолютного Знания были открыты все форточки, потому что сюда просачивался запах селедочных голов профессора Выбегаллы. На подоконниках намело, под батареями парового отопления темнели лужи. Я закрыл форточки и прошелся между девственно чистыми столами работников отдела. На столах красовались новенькие чернильные приборы, не знавшие чернил, из чернильниц торчали окурки. Странный это был отдел. Лозунг у них был такой: «Познание бесконечности требует бесконечного времени». С этим я не спорил, но они делали из этого неожиданный вывод: «А потому работай не работай — все едино». И в интересах неувеличения энтропии Вселенной они не работали. По крайней мере, большинство из них. «Ан масс», как сказал бы Выбегалло. По сути, задача их сводилась к анализу кривой относительного познания в области ее асимптотического приближения к абсолютной истине. Поэтому одни сотрудники все время занимались делением нуля на нуль на настольных «мерседесах», а другие отпрашивались в командировки на бесконечность. Из командировок они возвращались бодрые, отъевшиеся и сразу брали отпуск по состоянию здоровья. В промежутках между командировками они ходили из отдела в отдел, присаживались с дымящимися сигаретками на рабочие столы и рассказывали анекдоты о раскрытии неопределенностей методом Лопиталя. Их легко узнавали по пустому взору и по исцарапанным от непрерывного бритья ушам. За полгода моего пребывания в институте они дали «Алдану» всего одну задачу, которая сводилась все к тому же делению нуля на нуль и не содержала никакой абсолютной истины. Может быть, кто-нибудь из них и занимался настоящим делом, но я об этом ничего не знал.

В половине одиннадцатого я вступил на этаж Амвросия Амбруазовича Выбегаллы. Прикрывая лицо носовым платком и стараясь дышать через рот, я направился прямо в лабораторию, известную среди сотрудников как «Родильный Дом». Здесь, по утверждению профессора Выбегаллы, рождались в колбах модели идеального человека. Вылуплялись, значить. Компрене ву?[13]

В лаборатории было душно и темно. Я включил свет. Озарились серые гладкие стены, украшенные портретами Эскулапа, Парацельса и самого Амвросия Амбруазовича. Амвросий Амбруазович был изображен в черной шапочке на благородных кудрях, и на его груди неразборчиво сияла какая-то медаль. На четвертой стене некогда тоже висел какой-то портрет, но теперь от него остался только темный квадрат и три ржавых погнутых гвоздя.

В центре лаборатории стоял автоклав, в углу — другой, побольше. Около центрального автоклава прямо на полу лежали буханки хлеба, стояли оцинкованные ведра с синеватым обратом и огромный чан с пареными отрубями. Судя по запаху, где-то поблизости находились и селедочные головы, но я так и не смог понять где. В лаборатории царила тишина, из недр автоклава доносились ритмичные щелкающие звуки.

Почему-то на цыпочках, я приблизился к центральному автоклаву и заглянул в смотровой иллюминатор. Меня и так мутило от запаха, а тут стало совсем плохо, хотя ничего особенного я не увидел: нечто белое и бесформенное медленно колыхалось в зеленоватой полутьме. Я выключил свет, вышел и старательно запер дверь. «По сусалам его», вспомнил я. Меня беспокоили смутные предчувствия. Только теперь я заметил, что вокруг порога проведена толстая магическая черта, расписанная корявыми каббалистическими знаками. Присмотревшись, я понял, что это было заклинание против гаки — голодного демона ада.

С некоторым облегчением я покинул владения Выбегаллы и стал подниматься на шестой этаж, где Жиан Жиакомо и его сотрудники занимались теорией и практикой Универсальных Превращений. На лестничной площадке висел красочный стихотворный плакат, призывающий к созданию общественной библиотеки. Идея принадлежала месткому, стихи были мои:

Раскопай своих подвалов
И шкафов перетряси,
Разных книжек и журналов
По возможности неси.

Я покраснел и пошел дальше. Вступив на шестой этаж, я сразу увидел, что дверь Витькиной лаборатории приоткрыта, и услышал сиплое пение. Я крадучись подобрался к двери.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Хочу тебя прославить,
Тебя, пробивающегося сквозь метель зимним вечером.
Твое сильное дыхание и мерное биение твоего сердца...

*_У. Уитмен_*

Давеча Витька сказал, что идет в одну компанию, а в лаборатории оставляет работать дубля. Дубль — это очень интересная штука. Как правило, это довольно точная копия своего творца. Не хватает, скажем, человеку рук — он создает себе дубля, безмозглого, безответного, только и умеющего, что паять контакты, или таскать тяжести, или писать под диктовку, но зато уж умеющего это делать хорошо. Или нужна человеку модель-антропоид для какого-нибудь эксперимента — он создает себе дубля, безмозглого, безответного, только и умеющего, что ходить по потолку или принимать телепатемы, но зато уж умеющего хорошо. Или самый простой случай. Собирается, скажем, человек получить зарплату, а времени терять ему не хочется, и он посылает вместо себя своего дубля, только и умеющего, что никого без очереди не пропускать, расписываться в ведомости и сосчитать деньги, не отходя от кассы. Конечно, творить дублей умеют не все. Я, например, еще не умел. То, что у меня пока получалось, ничего не умело — даже ходить. И вот стоишь, бывало, в очереди, вроде бы тут и Витька, и Роман, и Володя Почкин, а поговорить не с кем. Стоят как каменные, не мигают, не дышат, с ноги на ногу не переминаются, и сигарету спросить не у кого.

Настоящие мастера могут создавать очень сложных, многопрограммных, самообучающихся дублей. Такого вот супера Роман отправил летом вместо меня на машине. И никто из моих ребят не догадался, что это был не я. Дубль великолепно вел мой «Москвич», ругался, когда его кусали комары, и с удовольствием пел хором. Вернувшись в Ленинград, он развез всех по домам, самостоятельно сдал прокатный автомобиль, расплатился и тут же исчез прямо на глазах ошеломленного директора проката.

Одно время я думал, что А-Янус и У-Янус — это дубль и оригинал. Однако это было совсем не так. Прежде всего, оба директора имели

паспорта, дипломы, пропуска и другие необходимые документы. Самые же сложные дубли не могли иметь никаких удостоверений личности. При виде казенной печати на своей фотографии они приходили в ярость и немедленно рвали документы в клочки. Этим загадочным свойством дублей долго занимался Магнус Редькин, но задача оказалась ему явно не по силам.

Далее, Янусы были белковыми существами. По поводу же дублей до сих пор еще не прекратился спор между философами и кибернетиками: считать их живыми или нет. Большинство дублей представляли собою кремнийорганические структуры, были дубли и на германиевой основе, а последнее время вошли в моду дубли на алюмополимерах.

И наконец, самое главное — ни А-Януса, ни У-Януса никто никогда не создавал искусственно. Они не были копией и оригиналом, не были они и братьями-близнецами, они были одним человеком — Янусом Полуэктовичем Невструевым. Никто в институте этого не понимал, но все знали это настолько твердо, что понимать и не пытались.

Витькин дубль стоял, упершись ладонями в лабораторный стол, и остановившимся взглядом следил за работой небольшого гомеостата Эшби. При этом он мурлыкал песенку на популярный некогда мотив:

Мы не Декарты, не Ньютоны мы,
Для нас наука — темный лес
Чудес.
А мы нормальные астр`ономы — да!
Хватаем звездочки с небес...

Я никогда раньше не слыхал, чтобы дубли пели. Но от Витькиного дубля можно было ожидать всего. Я помню одного Витькиного дубля, который осмеливался препираться по поводу неумеренного расхода психоэнергии с самим Модестом Матвеевичем. А ведь Модеста Матвеевича даже сотворенные мною чучела без рук, без ног боялись до судорог, по-видимому инстинктивно.

Справа от дубля, в углу, стоял под брезентовым чехлом двухходовой транслятор ТДХ-80Е, убыточное изделие Китежградского завода маготехники. Рядом с лабораторным столом, в свете трех рефлекторов, блестел штопаной кожей мой старый знакомец — диван. На диван была водружена детская ванна с водой, в ванне брюхом вверх плавал дохлый окунь. Еще в лаборатории были стеллажи, заставленные приборами, а у

самой двери стояла большая, зеленого стекла четвертная бутыль, покрытая пылью. В бутыли находился опечатанный джинн, можно было видеть, как он там шевелится, посверкивая глазками.

Витькин дубль перестал рассматривать гомеостат, сел на диван рядом с ванной и, уставясь тем же окаменелым взглядом на дохлую рыбу, пропел следующий куплет:

В цел`ях природы обуздания,
В цел`ях рассеять неученья
Тьму
Берем картину мироздания — да!
И тупо смотрим, что к чему...

Окунь пребывал без изменений. Тогда дубль засунул руку глубоко в диван и принялся, сопя, что-то там с трудом проворачивать.

Диван был транслятором. Он создавал вокруг себя М-поле, преобразующее, говоря просто, реальную действительность в действительность сказочную. Я испытал это на себе в памятную ночь на хлебах у Наины Киевны, и спасло меня тогда только то, что диван работал в четверть силы, на темновых токах, а иначе я проснулся бы каким-нибудь мальчиком-с-пальчик в сапогах. Для Магнуса Редькина диван был возможным вместилищем искомого Белого Тезиса. Для Модеста Матвеевича — музейным экспонатом инвентарный номер 1123, к разбазариванию запрещенным. Для Витьки это был инструмент номер один. Поэтому Витька крал диван каждую ночь, Магнус Федорович из ревности доносил об этом завкадрами товарищу Демину, а деятельность Модеста Матвеевича сводилась к тому, чтобы все это прекратить. Витька крал диван до тех пор, пока не вмешался Янус Полуэктович, которому в тесном взаимодействии с Федором Симеоновичем и при активной поддержке Жиана Жиакомо, опираясь на официальное письмо Президиума Академии наук за личными подписями четырех академиков, удалось-таки полностью нейтрализовать Редькина и слегка потеснить с занимаемых позиций Модеста Матвеевича.

Модест Матвеевич объявил, что он, как лицо материально ответственное, не желает ни о чем слышать и что желает он, чтобы диван инвентарный номер 1123 находился в специально отведенном для него, дивана, помещении. А ежели этого не будет, сказал Модест Матвеевич грозно, то пусть все, до академиков включительно, пеняют на себя. Янус

Полуэктович согласился пенять на себя, Федор Симеонович тоже, и Витька быстренько перетащил диван в свою лабораторию. Витька был серьезный работник, не то что шалопаи из отдела Абсолютного Знания, и намеревался превратить всю морскую и океанскую воду нашей планеты в живую воду. Пока он, правда, находился в стадии эксперимента.

Окунь в ванне зашевелился и перевернулся брюхом вниз. Дубль убрал руку из дивана. Окунь апатично пошевелил плавниками, зевнул, завалился на бок и снова перевернулся на спину.

— С-скотина, — сказал дубль с выражением.

Я сразу насторожился. Это было сказано эмоционально. Никакой лабораторный дубль не мог бы так сказать. Дубль засунул руки в карманы, медленно поднялся и увидел меня. Несколько секунд мы смотрели друг на друга. Потом я ехидно осведомился:

— Работаем?

Дубль тупо смотрел на меня.

— Ну брось, брось, — сказал я. — Все ясно.

Дубль молчал. Он стоял, как каменный, и не мигал.

— Ну, вот что, — сказал я. — Сейчас пол-одиннадцатого. Даю тебе десять минут. Все прибери, выброси эту дохлятину и беги танцевать. А уж обесточу я сам.

Дубль вытянул губы дудкой и начал пятиться. Он пятился очень осторожно, обогнул диван и встал так, чтобы между нами был лабораторный стол. Я демонстративно посмотрел на часы. Дубль пробормотал заклинание, на столе появился «мерседес», авторучка и стопка чистой бумаги. Дубль, согнув колени, повис в воздухе и стал что-то писать, время от времени опасливо на меня поглядывая. Это было очень похоже, и я даже засомневался. Впрочем, у меня было верное средство выяснить правду. Дубли, как правило, совершенно нечувствительны к боли. Пошарив в кармане, я извлек маленькие острые клещи и, выразительно пощелкивая ими, стал приближаться к дублю. Дубль перестал писать. Пристально поглядев ему в глаза, я скусил клещами шляпку гвоздя, торчащую из стола, и сказал:

— Н-н-ну?

— Чего ты ко мне пристал? — осведомился Витька. — Видишь ведь, что человек работает.

— Ты же дубль, — сказал я. — Не смей со мной разговаривать.

— Убери клещи, — сказал он.

— А ты не валяй дурака, — сказал я. — Тоже мне дубль.

Витька сел на край стола и устало потер уши.

— Ничего у меня сегодня не получается, — сообщил он. — Дурак я сегодня. Дубля сотворил — получился какой-то уж совершенно безмозглый. Все ронял, на умклайдет сел, животное... Треснул я его по шее, руку отбил... И окунь дохнет систематически.

Я подошел к дивану и заглянул в ванну.

— А что с ним?

— А я откуда знаю?

— Где ты его взял?

— На рынке.

Я поднял окуня за хвост.

— А чего ты хочешь? Обыкновенная снулая рыбка.

— Дубина, — сказал Витька. — Вода-то живая...

— А-а, — сказал я и стал соображать, что бы ему посоветовать. Механизм действия живой воды я представлял себе крайне смутно. В основном по сказке об Иване-царевиче и Сером Волке.

Джинн в бутыли двигался и время от времени принимался протирать ладошкой стекло, запыленное снаружи.

— Протер бы бутыль, — сказал я, ничего не придумав.

— Что?

— Пыль с бутылки сотри. Скучно же ему там.

— Черт с ним, пусть скучает, — рассеянно сказал Витька. Он снова засунул руку в диван и снова провернул там что-то. Окунь ожил.

— Видал? — сказал Витька. — Когда даю максимальное напряжение — все в порядке.

— Экземпляр неудачный, — сказал я наугад.

Витька вынул руку из дивана и уставился на меня.

— Экземпляр... — сказал он. — Неудачный... — Глаза у него стали как у дубля. — Экземпляр экземпляру люпус эст...*

* Перефраз латинской поговорки «человек человеку волк».

— Потом он, наверное, мороженый, — сказал я, осмелев.

Витька меня не слушал.

— Где бы рыбу взять? — сказал он, озираясь и хлопая себя по карманам. — Рыбочку бы...

— Зачем? — спросил я.

— Верно, — сказал Витька. — Зачем? Раз нет другой рыбы, — рассудительно произнес он, — почему бы не взять другую воду? Верно?

— Э, нет, — возразил я. — Так не пойдет.

— А как? — жадно спросил Витька.

— Выметайся отсюда, — сказал я. — Покинь помещение.

— Куда?

— Куда хочешь.

Он перелез через диван и сгреб меня за грудки.

— Ты меня слушай, понял? — сказал он угрожающе. — На свете нет ничего одинакового. Все распределяется по гауссиане. Вода воде рознь... Этот старый дурак не сообразил, что существует дисперсия свойств...

— Эй, милый, — позвал я его. — Новый год скоро! Не увлекайся так.

Он отпустил меня и засуетился:

— Куда же я его дел?.. Вот лапоть!.. Куда я его сунул?.. А, вот он...

Он бросился к стулу, на котором торчком стоял умклайдет. Тот самый. Я отскочил к двери и сказал умоляюще:

— Опомнись! Двенадцатый же час! Тебя же ждут! Верочка ждет!

— Не, — отвечал он. — Я им туда дубля послал. Хороший дубль, развесистый... Дурак дураком. Анекдоты, стойку делает, танцует, как вол...

Он крутил в руках умклайдет, что-то прикидывая, примериваясь, прищуря один глаз.

— Выметайся, говорят тебе! — заорал я в отчаянии.

Витька коротко глянул на меня, и я присел. Шутки кончились. Витька находился в том состоянии, когда увлеченные работой маги превращают окружающих в пауков, мокриц, ящериц и других тихих животных. Я сел на корточки рядом с джинном и стал смотреть.

Витька замер в классической позе для материального заклинания (позиция «мартихор»), над столом поднялся розовый пар, вверх-вниз запрыгали тени, похожие на летучих мышей, исчез «мерседес», исчезла бумага, и вдруг вся поверхность стола покрылась сосудами с прозрачными растворами. Витька, не глядя, сунул умклайдет на стул, схватил один из сосудов и стал его внимательно рассматривать. Было ясно, что теперь он отсюда никуда и никогда не уйдет. Он живо убрал с дивана ванну, одним прыжком подскочил к стеллажам и поволок к столу громоздкий медный аквавитометр. Я устроился было поудобнее и протер джинну окошечко для обозрения, но тут из коридора донеслись голоса, топот ног и хлопанье дверей. Я вскочил и кинулся вон из лаборатории.

Ощущение ночной пустоты и темного покоя огромного здания исчезло бесследно. В коридоре горели яркие лампы. Кто-то сломя голову мчался по лестнице, кто-то кричал: «Валька! Напряжение упало! Сбегай в аккумуляторную!», кто-то вытряхивал на лестничной площадке шубу, и мокрый снег летел во все стороны. Навстречу мне с задумчивым лицом

быстро шел изящно изогнутый Жиан Жиакомо, за ним с его огромным портфелем под мышкой и с его тростью в зубах семенил гном. Мы раскланялись. От великого престидижитатора пахло хорошим вином и французскими благовониями. Остановить его я не посмел, и он прошел сквозь запертую дверь в свой кабинет. Гном просунул ему вслед портфель и трость, а сам нырнул в батарею парового отопления.

— Какого дьявола? — вскричал я и побежал на лестницу.

Институт был битком набит сотрудниками. Казалось, их было даже больше, чем в будний день. В кабинетах и лабораториях вовсю горели огни, двери были распахнуты настежь. В институте стоял обычный деловой гул: треск разрядов, монотонные голоса, диктующие цифры и произносящие заклинания, дробный стук «мерседесов» и «рейнметаллов». И над всем этим раскатистый и победительный рык Федора Симеоновича: «Эт' хорошо, эт' здо-о-рово! Вы молодец, голубчик! Но к-какой дурак выключил г-генератор?» Меня саданули в спину твердым углом, и я ухватился за перила. Я рассвирепел. Это были Володя Почкин и Эдик Амперян, они тащили на свой этаж координатно-измерительную машину весом в полтонны.

— А, Саша, — приветливо сказал Эдик. — Здравствуй, Саша.

— Сашка, посторонись с дороги! — крикнул Володя Почкин, пятясь задом. — Заноси, заноси!..

Я схватил его за ворот:

— Ты почему в институте? Ты как сюда попал?

— Через дверь, через дверь, пусти... — сказал Володя. — Эдька, еще правее! Ты видишь, что не проходит?

Я отпустил его и бросился в вестибюль. Я был охвачен административным негодованием. «Я вам покажу, — бормотал я, прыгая через четыре ступеньки. — Я вам покажу бездельничать. Я вам покажу всех пускать без разбору!» Макродемоны Вход и Выход, вместо того чтобы заниматься делом, дрожа от азарта и лихорадочно фосфоресцируя, резались в рулетку. На моих глазах забывший свои обязанности Вход сорвал банк примерно в семьдесят миллиардов молекул у забывшего свои обязанности Выхода. Рулетку я узнал сразу. Это была моя рулетка. Я сам смастерил ее для одной вечеринки и держал за шкафом в электронном зале, и знал об этом один только Витька Корнеев. Заговор, решил я. Всех разнесу. А через вестибюль все шли и шли покрытые снегом, краснолицые веселые сотрудники.

— Ну и метет! Все уши забило...

— А ты тоже ушел?

— Да ну, скукотища... Напились все. Дай, думаю, пойду лучше поработаю. Оставил им дубля и ушел...

— Ты знаешь, танцую я с ней и чувствую, что обрастаю шерстью. Хватил водки — не помогает...

— А если пучок электронов? Масса большая? Ну тогда фотонов...

— Алексей, у тебя лазер свободный есть? Ну давай хоть газовый...

— Галка, как же это ты мужа оставила?

— Я еще час назад вышел, если хочешь знать. В сугроб, понимаешь, провалился, чуть не занесло меня...

Я понял, что не оправдал. Не было уже смысла отбирать рулетку у демонов, оставалось только пойти и вдребезги разругаться с провокатором Витькой, а там будь что будет. Я погрозил демонам кулаком и побрел вверх по лестнице, пытаясь представить себе, что было бы, если бы в институт сейчас заглянул Модест Матвеевич.

По дороге в приемную директора я остановился в стендовом зале. Здесь усмиряли выпущенного из бутылки джинна. Джинн, огромный, синий от злости, метался в вольере, огороженном щитами Джян бен Джяна и закрытом сверху мощным магнитным полем. Джинна стегали высоковольтными разрядами, он выл, ругался на нескольких мертвых языках, скакал, отрыгивал языки огня, в запальчивости начинал строить и тут же разрушал дворцы, потом, наконец, сдался, сел на пол и, вздрагивая от разрядов, жалобно завыл:

— Ну хватит, ну отстаньте, ну я больше не буду... Ой-йой-йой... Ну я уже совсем тихий...

У пульта разрядника стояли спокойные немигающие молодые люди, сплошь дубли. Оригиналы же, столпившись около вибростенда, поглядывали на часы и откупоривали бутылки.

Я подошел к ним.

— А, Сашка!

— Сашенция, ты, говорят, дежурный сегодня... Я к тебе потом забегу в зал.

— Эй, кто-нибудь, сотворите ему стакан, у меня руки заняты...

Я был ошеломлен и не заметил, как в руке у меня очутился стакан. Пробки грянули в щиты Джян бен Джяна, шипя полилось ледяное шампанское. Разряды смолкли, джинн перестал скулить и начал принюхиваться. В ту же секунду кремлевские часы принялись бить двенадцать.

— Ребята! Да здравствует понедельник!

Стаканы сдвинулись. Потом кто-то сказал, осматривая бутылку:

— Кто творил вино?

— Я.

— Не забудь завтра заплатить.

— Ну что, еще бутылочку?

— Хватит, простудимся.

— Хороший джинн попался... Нервный немножко.

— Дареному коню...

— Ничего, полетит как миленький. Сорок витков продержится, а там пусть катится со своими нервами.

— Ребята, — робко сказал я, — ночь на дворе... и праздник. Шли бы вы по домам...

На меня посмотрели, меня похлопали по плечу, мне сказали: «Ничего, это пройдет», — и гурьбой двинулись к вольеру... Дубли откатили один из щитов, а оригиналы деловито окружили джинна, крепко взяли его за руки и за ноги и поволокли к вибростенду. Джинн трусливо причитал и неуверенно сулил всем сокровища царей земных. Я одиноко стоял в сторонке и смотрел, как они пристегивают его ремнями и прикрепляют к разным частям его тела микродатчики. Потом я потрогал щит. Он был огромный, тяжелый, изрытый вмятинами от ударов шаровых молний, местами обуглившийся. Щиты Джян бен Джяна были сделаны из семи драконьих шкур, склеенных желчью отцеубийцы, и рассчитаны на прямое попадание молнии. Все имеющиеся в институте щиты были изъяты в свое время из сокровищницы царицы Савской. Сделал это не то Кристобаль Хунта, не то Мерлин. Хунта об этом никогда не говорил, а Мерлин хвастался при каждом удобном случае, ссылаясь при этом на сомнительный авторитет короля Артура. К каждому щиту были обойными гвоздиками прибиты жестяные инвентарные номера. Теоретически на лицевой стороне щитов должны были быть изображения всех знаменитых битв прошлого, а на внутренней — всех великих битв грядущего. Практически же на лицевой стороне щита, перед которым я стоял, виднелось что-то вроде реактивного самолета, штурмующего автоколонну, а внутренняя сторона была покрыта странными разводами и напоминала абстрактную картину.

Джинна стали трясти на вибростенде. Он хихикал и взвизгивал: «Ой, щекотно!.. Ой, не могу!..» Я вернулся в коридор. В коридоре пахло бенгальскими огнями. Под потолком крутились шутихи, стуча о стены и оставляя за собой струи цветного дыма, проносились ракеты. Я повстречал дубля Володи Почкина, волочившего гигантскую инкунабулу с медными застежками, двух дублей Романа Ойры-Ойры, изнемогавших под тяжеленным швеллером, потом самого Романа с кучей ярко-синих папок из

архива отдела Недоступных Проблем, а затем свирепого лаборанта из отдела Смысла Жизни, конвоирующего на допрос к Хунте стадо ругающихся привидений в плащах крестоносцев... Все были заняты и деловиты.

Трудовое законодательство нарушалось злостно и повсеместно, и я почувствовал, что у меня исчезло всякое желание бороться с этими нарушениями, потому что сюда в двенадцать часов новогодней ночи, прорвавшись через пургу, пришли люди, которым было интереснее доводить до конца или начинать сызнова какое-нибудь полезное дело, чем глушить себя водкою, бессмысленно дрыгать ногами, играть в фанты и заниматься флиртом разных степеней легкости. Сюда пришли люди, которым было приятнее быть друг с другом, чем порознь, которые терпеть не могли всякого рода воскресений, потому что в воскресенье им было скучно. Маги, Люди с большой буквы, и девизом их было — «Понедельник начинается в субботу». Да, они знали кое-какие заклинания, умели превращать воду в вино, и каждый из них не затруднился бы накормить пятью хлебами тысячу человек. Но магами они были не поэтому. Это была шелуха, внешнее. Они были магами потому, что очень много знали, так много, что количество перешло у них, наконец, в качество, и они стали с миром в другие отношения, нежели обычные люди. Они работали в институте, который занимался прежде всего проблемами человеческого счастья и смысла человеческой жизни, но даже среди них никто точно не знал, что такое счастье и в чем именно смысл жизни. И они приняли рабочую гипотезу, что счастье в непрерывном познании неизвестного и смысл жизни в том же. Каждый человек — маг в душе, но он становится магом только тогда, когда начинает меньше думать о себе и больше о других, когда работать ему становится интереснее, чем развлекаться в старинном смысле этого слова. И наверное, их рабочая гипотеза была недалека от истины, потому что, так же как труд превратил обезьяну в человека, точно так же отсутствие труда в гораздо более короткие сроки превращает человека в обезьяну. Даже хуже, чем в обезьяну.

В жизни мы не всегда замечаем это. Бездельник и тунеядец, развратник и карьерист продолжают ходить на задних конечностях, разговаривать вполне членораздельно (хотя круг тем у них сужается до предела), а что касается узких брюк и увлечения джазом, по которым одно время пытались определять степень обезьяноподобия, то довольно быстро выяснилось, что они свойственны даже лучшим из магов.

В институте же регресс скрыть было невозможно. Институт предоставлял неограниченные возможности для превращения человека в

мага. Но он был беспощаден к отступникам и метил их без промаха. Стоило сотруднику предаться хотя бы на час эгоистическим и инстинктивным действиям (а иногда даже просто мыслям), как он со страхом замечал, что пушок на его ушах становится гуще. Это было предупреждение. Так милицейский свисток предупреждает о возможном штрафе, так боль предупреждает о возможной травме. Теперь все зависело от себя. Человек сплошь и рядом не может бороться со своими кислыми мыслями, на то он и человек — переходная ступень от неандертальца к магу. Но он может поступать вопреки этим мыслям, и тогда у него сохраняются шансы. А может и уступить, махнуть на все рукой («Живем один раз», «Надо брать от жизни все», «Ничто человеческое мне не чуждо»), и тогда ему остается одно: как можно скорее уходить из института. Там, снаружи, он еще может остаться по крайней мере добропорядочным мещанином, честно, но вяло отрабатывающим свою зарплату. Но трудно решиться на уход. В институте тепло, уютно, работа чистая, уважаемая, платят неплохо, люди прекрасные, а стыд глаза не выест. Вот и слоняются, провожаемые сочувственными и неодобрительными взглядами, по коридорам и лабораториям, с ушами, покрытыми жесткой серой шерстью, бестолковые, теряющие связность речи, глупеющие на глазах. Но этих еще можно пожалеть, можно пытаться помочь им, можно еще надеяться вернуть им человеческий облик...

Есть другие. С пустыми глазами. Достоверно знающие, с какой стороны у бутерброда масло. По-своему очень даже неглупые. По-своему немалые знатоки человеческой природы. Расчетливые и беспринципные, познавшие всю силу человеческих слабостей, умеющие любое зло обратить себе в добро и в этом неутомимые. Они тщательно выбривают свои уши и зачастую изобретают удивительные средства для уничтожения волосяного покрова. Они носят корсеты из драконьего уса, скрывающие искривление позвоночника, они закутываются в гигантские средневековые мантии и боярские шубы, провозглашая верность национальной старине. Они во всеуслышание жалуются на застарелые ревматизмы и зимой и летом носят высокие валенки, подбитые кожей. Они неразборчивы в средствах и терпеливы, как пауки. И как часто они достигают значительных высот и крупных успехов в своем основном деле — в строительстве светлого будущего в одной отдельно взятой квартире и на одном отдельно взятом приусадебном участке, отгороженном от остального человечества колючей проволокой под напряжением...

Я вернулся на свой пост в приемную директора, свалил бесполезные ключи в ящик и прочел несколько страниц из классического труда Я. П.

Невструева «Уравнения математической магии». Эта книга читалась как приключенческий роман, потому что была битком набита поставленными и нерешенными проблемами. Мне жгуче захотелось работать, и я совсем было уже решил начхать на дежурство и уйти к своему «Алдану», как позвонил Модест Матвеевич.

С хрустом жуя, он сердито осведомился:

— Где вы ходите, Привалов? Третий раз звоню, безобразие!

— С Новым годом, Модест Матвеевич, — сказал я.

Некоторое время он молча жевал, потом ответил тоном ниже:

— Соответственно. Как дежурство?

— Только что обошел помещения, — сказал я. — Все нормально.

— Самовозгораний не было?

— Никак нет.

— Везде обесточено?

— Бриарей палец сломал, — сказал я.

Он встревожился.

— Бриарей? Постойте... Ага, инвентарный номер 1489... Почему?

Я объяснил.

— Что вы предприняли?

Я рассказал.

— Правильное решение, — сказал Модест Матвеевич. — Продолжайте дежурить. У меня все.

Сразу после Модеста Матвеевича позвонил Эдик Амперян из отдела Линейного Счастья и вежливо попросил посчитать оптимальные коэффициенты беззаботности для ответственных работников. Я согласился, и мы договорились встретиться в электронном зале через два часа. Потом зашел дубль Ойры-Ойры и бесцветным голосом попросил ключи от сейфа Януса Полуэктовича. Я отказал. Он стал настаивать. Я выгнал его вон.

Через минуту примчался сам Роман.

— Давай ключи.

Я помотал головой.

— Не дам.

— Давай ключи!

— Иди ты в баню. Я лицо материально ответственное.

— Сашка, я сейф унесу!

Я ухмыльнулся и сказал:

— Прошу.

Роман уставился на сейф и весь напрягся, но сейф был либо заговорен, либо привинчен к полу.

— А что тебе там нужно? — спросил я.

— Документация на РУ-16, — сказал Роман. — Ну дай ключи!

Я засмеялся и протянул руку к ящику с ключами. И в то же мгновение пронзительный вопль донесся откуда-то сверху. Я вскочил.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Горе! Малый я не сильный;
Съест упырь меня совсем...

*_А. С. Пушкин_*

— Вылупился, — спокойно сказал Роман, глядя в потолок.

— Кто? — Мне было не по себе: крик был женский.

— Выбегаллов упырь, — сказал Роман. — Точнее, кадавр.

— А почему женщина кричала?

— А вот увидишь, — сказал Роман.

Он взял меня за руку, подпрыгнул, и мы понеслись через этажи. Пронизывая потолки, мы врезались в перекрытия, как нож в замерзшее масло, затем с чмокающим звуком выскакивали в воздух и снова врезались в перекрытия. Между перекрытиями было темно, и маленькие гномы, вперемежку с мышами, с испуганными писками шарахались от нас, а в лабораториях и кабинетах, через которые мы пролетали, сотрудники с озадаченными лицами смотрели вверх.

В «Родильном Доме» мы протолкались через толпу любознательных и увидели за лабораторным столом совершенно голого профессора Выбегалло. Синевато-белая его кожа мокро поблескивала, мокрая борода свисала клином, мокрые волосы залепили низкий лоб, на котором пламенел действующий вулканический прыщ. Пустые прозрачные глаза, редко помаргивая, бессмысленно шарили по комнате.

Профессор Выбегалло кушал. На столе перед ним дымилась большая фотографическая кювета, доверху наполненная пареными отрубями. Не обращая ни на кого специального внимания, он зачерпывал отруби широкой ладонью, уминал их пальцами, как плов, и образовавшийся комок отправлял в ротовое отверстие, обильно посыпая крошками бороду. При этом он хрустел, чмокал, хрюкал, всхрапывал, склонял голову набок и жмурился, словно от огромного наслаждения. Время от времени, не переставая глотать и давиться, он приходил в волнение, хватал за края чан с отрубями и ведра с обратом, стоявшие рядом с ним на полу, и каждый раз

придвигал их к себе все ближе и ближе. На другом конце стола молоденькая ведьма-практикантка Стелла с чистыми розовыми ушками, бледная и заплаканная, с дрожащими губками, нарезала хлебные буханки огромными скибками и, отворачиваясь, подносила их Выбегалле на вытянутых руках. Центральный автоклав был раскрыт, опрокинут, и вокруг него растеклась обширная зеленоватая лужа.

Выбегалло вдруг произнес неразборчиво:

— Эй, девка... эта... молока давай! Лей, значить, прямо сюда, в отрубя... Силь ву пле, значить...

Стелла торопливо подхватила ведро и плеснула в кювету обрат.

— Эх! — воскликнул профессор Выбегалло. — Посуда мала, значить! Ты, девка, как тебя, эта, прямо в чан лей. Будем, значить, из чана кушать...

Стелла стала опрокидывать ведра в чан с отрубями, а профессор, ухвативши кювету, как ложку, принялся черпать отруби и отправлять в пасть, раскрывшуюся вдруг невероятно широко.

— Да позвоните же ему! — жалобно закричала Стелла. — Он же сейчас все доест!

— Звонили уже, — сказали в толпе. — Ты лучше от него отойди все-таки. Ступай сюда.

— Ну, он придет? Придет?

— Сказал, что выходит. Галоши, значить, надевает и выходит. Отойди от него, тебе говорят.

Я, наконец, понял, в чем дело. Это не был профессор Выбегалло. Это был новорожденный кадавр, модель Человека, неудовлетворенного желудочно. И слава богу, а то я уж было подумал, что профессора хватил мозговой паралич. Как следствие напряженных занятий.

Стелла осторожненько отошла. Ее схватили за плечи и втянули в толпу. Она спряталась за моей спиной, вцепившись мне в локоть, и я немедленно расправил плечи, хотя не понимал еще, в чем дело и чего она так боится. Кадавр жрал. В лаборатории, полной народа, стояла потрясенная тишина, и было слышно только, как он сопит и хрустит, словно лошадь, и скребет кюветой по стенкам чана. Мы смотрели. Он слез со стула и погрузил голову в чан. Женщины отвернулись. Лилечке Новосмеховой стало плохо, и ее вывели в коридор. Потом ясный голос Эдика Амперяна произнес:

— Хорошо. Будем логичны. Сейчас он прикончит отруби, потом доест хлеб. А потом?

В передних рядах возникло движение. Толпа потеснилась к дверям. Я начал понимать. Стелла сказала тоненьким голоском:

— Еще селедочные головы есть...

— Много?
— Две тонны.
— М-да, — сказал Эдик. — И где же они?
— Они должны подаваться по конвейеру, — сказала Стелла. — Но я пробовала, а конвейер сломан...
— Между прочим, — сказал Роман громко, — уже в течение двух минут я пытаюсь его пассивизировать, и совершенно безрезультатно...
— Я тоже, — сказал Эдик.
— Поэтому, — сказал Роман, — было бы очень хорошо, если бы кто-нибудь из особо брезгливых занялся починкой конвейера. Как паллиатив. Есть тут кто-нибудь еще из магистров? Эдика я вижу. Еще кто-нибудь есть? Корнеев! Виктор Павлович, ты здесь?
— Нет его. Может быть, за Федором Симеоновичем сбегать?
— Я думаю, пока не стоит беспокоить. Справимся как-нибудь. Эдик, давай-ка вместе, сосредоточенно.
— В каком режиме?
— В режиме торможения. Вплоть до тетануса. Ребята, помогайте все, кто умеет.
— Одну минутку, — сказал Эдик. — А если мы его повредим?
— Да-да-да, — сказал я. — Вы уж лучше не надо. Пусть уж он лучше меня сожрет.
— Не беспокойся, не беспокойся. Мы будем осторожны. Эдик, давай на прикосновениях. В одно касание.
— Начали, — сказал Эдик.
Стало еще тише. Кадавр ворочался в чане, а за стеной переговаривались и постукивали добровольцы, возившиеся с конвейером. Прошла минута. Кадавр вылез из чана, утер бороду, сонно посмотрел на нас и вдруг ловким движением, неимоверно далеко вытянув руку, сцапал последнюю буханку хлеба. Затем он рокочуще отрыгнул и откинулся на спинку стула, сложив руки на огромном вздувшемся животе. По лицу его разлилось блаженство. Он посапывал и бессмысленно улыбался. Он был несомненно счастлив, как бывает счастлив предельно уставший человек, добравшийся наконец до желанной постели.
— Подействовало, кажется, — с облегченным вздохом сказал кто-то в толпе.
Роман с сомнением поджал губы.
— У меня нет такого впечатления, — вежливо сказал Эдик.
— Может быть, у него завод кончился? — сказал я с надеждой.
Стелла жалобно сообщила:

— Это просто релаксация... Пароксизм довольства. Он скоро опять проснется.

— Слабаки вы, магистры, — сказал мужественный голос. — Пустите-ка меня, пойду Федора Симеоновича позову.

Все переглядывались, неуверенно улыбаясь. Роман задумчиво играл умклайдетом, катая его на ладони. Стелла дрожала, шепча: «Что ж это будет? Саша, я боюсь!» Что касается меня, то я выпячивал грудь, хмурил брови и боролся со страстным желанием позвонить Модесту Матвеевичу. Мне ужасно хотелось снять с себя ответственность. Это была слабость, и я был бессилен перед ней. Модест Матвеевич представлялся мне сейчас совсем в особом свете, и я с надеждой вспоминал защищенную в прошлом месяце магистерскую диссертацию «О соотношении законов природы и законов администрации», где в частности доказывалось, что сплошь и рядом административные законы в силу своей специфической непреклонности оказываются действеннее природных и магических закономерностей. Я был убежден, что стоило бы Модесту Матвеевичу появиться здесь и заорать на упыря: «Вы это прекратите, товарищ Выбегалло!» — как упырь немедленно бы прекратил.

— Роман, — сказал я небрежно, — я думаю, что в крайнем случае ты способен его дематериализовать?

Роман засмеялся и похлопал меня по плечу.

— Не трусь, — сказал он. — Это все игрушки. С Выбегаллой только связываться неохота... Этого ты не бойся, ты вон того бойся! — Он указал на второй автоклав, мирно пощелкивающий в углу.

Между тем кадавр вдруг беспокойно зашевелился. Стелла тихонько взвизгнула и прижалась ко мне. Глаза кадавра раскрылись. Сначала он нагнулся и заглянул в чан. Потом погремел пустыми ведрами. Потом замер и некоторое время сидел неподвижно. Выражение довольства на его лице сменилось выражением горькой обиды. Он приподнялся, быстро обнюхал, шевеля ноздрями, стол и, вытянув длинный красный язык, слизнул крошки.

— Ну, держись, ребята... — прошептали в толпе.

Кадавр сунул руку в чан, вытащил кювету, осмотрел ее со всех сторон и осторожно откусил край. Брови его страдальчески поднялись. Он откусил еще кусок и захрустел. Лицо его посинело, словно бы от сильного раздражения, глаза увлажнились, но он кусал раз за разом, пока не сжевал всю кювету. С минуту он сидел в задумчивости, пробуя пальцами зубы, затем медленно прошелся взглядом по замершей толпе. Нехороший у него был взгляд — оценивающий, выбирающий какой-то. Володя Почкин непроизвольно произнес: «Но-но, тихо, ты...» И тут пустые прозрачные

глаза уперлись в Стеллу, и она испустила вопль, тот самый душераздирающий вопль, переходящий в ультразвук, который мы с Романом уже слышали в приемной директора четырьмя этажами ниже. Я содрогнулся. Кадавра это тоже смутило: он опустил глаза и нервно забарабанил пальцами по столу.

В дверях раздался шум, все задвигались, и сквозь толпу, расталкивая зазевавшихся, выдирая сосульки из бороды, полез Амвросий Амбруазович Выбегалло. Настоящий. От него пахло водкой, зипуном и морозом.

— Милай! — закричал он. — Что же это, а? Кель сетуасьен![14] Стелла, что же ты, эта, смотришь!.. Где селедка? У него же потребности!.. У него же они растут!.. Мои труды читать надо!

Он приблизился к кадавру, и кадавр сейчас же принялся жадно его обнюхивать. Выбегалло отдал ему зипун.

— Потребности надо удовлетворять! — говорил он, торопливо щелкая переключателями на пульте конвейера. — Почему сразу не дала? Ох уж эти ле фам, ле фам!..[15] Кто сказал, что сломан? И не сломан вовсе, а заговорен. Чтоб, значить, не всякому пользоваться, потому что, эта, потребности у всех, а селедка — для модели...

В стене открылось окошечко, затарахтел конвейер, и прямо на пол полился поток благоухающих селедочных голов. Глаза кадавра сверкнули. Он пал на четвереньки, дробной рысью подскакал к окошечку и взялся за дело. Выбегалло, стоя рядом, хлопал в ладоши, радостно вскрикивал и время от времени, переполняясь чувствами, принимался чесать кадавра за ухом.

Толпа облегченно вздыхала и шевелилась. Выяснилось, что Выбегалло привел с собой двух корреспондентов областной газеты. Корреспонденты были знакомые — Г. Проницательный и Б. Питомник. От них тоже пахло водкой. Сверкая блицами, они принялись фотографировать и записывать в книжечки. Г. Проницательный и Б. Питомник специализировались по науке. Г. Проницательный был прославлен фразой: «Оорт первый взглянул на звездное небо и заметил, что Галактика вращается». Ему же принадлежали: литературная запись повествования Мерлина о путешествии с председателем райсовета и интервью, взятое (по неграмотности) у дубля Ойры-Ойры. Интервью имело название «Человек с большой буквы» и начиналось словами: «Как всякий истинный ученый, он был немногословен...» Б. Питомник паразитировал на Выбегалле. Его боевые очерки о самонадевающейся обуви, о самовыдергивающе-самоукладывающейся в грузовики моркови и о других проектах Выбегаллы

были широко известны в области, а статья «Волшебник из Соловца» появилась даже в одном из центральных журналов.

Когда у кадавра наступил очередной пароксизм довольства и он задремал, подоспевшие лаборанты Выбегаллы, с корнем выдранные из-за новогодних столов и потому очень неприветливые, торопливо нарядили его в черную пару и подсунули под него стул. Корреспонденты поставили Выбегаллу рядом, положили его руки на плечи кадавра и, нацелясь объективами, попросили продолжать.

— Главное — что? — с готовностью провозгласил Выбегалло. — Главное, чтобы человек был счастлив. Замечаю это в скобках: счастье есть понятие человеческое. А что есть человек, философски говоря? Человек, товарищи, есть хомо сапиенс, который может и хочет. Может, эта, все, что хочет, а хочет все, что может. Нес па, товарищи? Ежели он, то есть человек, может все, что хочет, а хочет все, что может, то он и есть счастлив. Так мы его и определим. Что мы здесь, товарищи, перед собою имеем? Мы имеем модель. Но эта модель, товарищи, хочет, и это уже хорошо. Так сказать, экселент, эксви, шармант[16]. И еще, товарищи, вы сами видите, что она может. И это еще лучше, потому что раз так, то она... он, значить, счастливый. Имеется метафизический переход от несчастья к счастью, и это нас не может удивлять, потому что счастливыми не рождаются, а счастливыми, эта, становятся. Благодаря заботам и правильному к тебе отношению. Вот оно сейчас просыпается... Оно хочет. И потому оно пока несчастливо. Но оно может, и через это «может» совершается диалектический скачок. Во, во!.. Смотрите! Видали, как оно может? Ух ты, мой милый, ух ты, мой радостный!.. Во, во! Вот как оно может! Минут десять-пятнадцать оно может... Вы, там, товарищ Питомник, свой фотоаппаратик отложите, а возьмите вы киноаппаратик, потому как здесь мы имеем процесс... здесь у нас все в движении! Покой у нас, как и полагается быть, относителен, движение у нас абсолютно. Вот так. Теперь оно смогло и диалектически переходит к счастью. К довольству, то есть. Видите, оно глаза закрыло. Наслаждается. Ему хорошо. Я вам научно утверждаю, что готов был бы с ним поменяться. В данный, конечно, момент... Вы, товарищ Проницательный, все, что я говорю, записывайте, а потом дайте мне. Я приглажу и ссылки вставлю... Вот теперь оно дремлет, но это еще не все. Потребности должны идти у нас как вглубь, так и вширь. Это, значить, будет единственно верный процесс. Он ди ке[17], Выбегалло, мол, против духовного мира. Это, товарищи, ярлык. Нам, товарищи, давно пора забыть такие манеры в научной дискуссии. Все мы знаем, что

материальное идет впереди, а духовное идет позади. Сатур вентур, как известно, нон студит либентур[18]. Что мы, применительно к данному случаю, переведем так: голодной куме все хлеб на уме...

— Наоборот, — сказал Ойра-Ойра.

Некоторое время Выбегалло пусто смотрел на него, затем сказал:

— Эту реплику из зала мы, товарищи, сейчас отметем с негодованием. Как неорганизованную. Не будем отвлекаться от главного — от практики. Оставим теорию лицам, в ней недостаточно подкованным. Я продолжаю и перехожу к следующей ступени эксперимента. Поясняю для прессы. Исходя из материалистической идеи о том, что временное удовлетворение матпотребностей произошло, можно переходить к удовлетворению духпотребностей. То есть посмотреть кино, телевизор, послушать народную музыку или попеть самому и даже почитать какую-нибудь книгу, скажем, «Крокодил» или там газету... Мы, товарищи, не забываем, что ко всему этому надо иметь способности, в то время как удовлетворение матпотребностей особенных способностей не требует, они всегда есть, ибо природа следует материализму. Пока насчет духовных способностей данной модели мы сказать ничего не можем, поскольку ее рациональное зерно есть желудочная неудовлетворенность. Но эти духспособности мы сейчас у нее вычленим.

Угрюмые лаборанты развернули на столах магнитофон, радиоприемник, кинопроектор и небольшую переносную библиотеку. Кадавр окинул инструменты культуры равнодушным взором и попробовал на вкус магнитофонную ленту. Стало ясно, что духспособности модели спонтанно не проявятся. Тогда Выбегалло приказал начать, как он выразился, насильственное внедрение культурных навыков. Магнитофон сладко запел: «Мы с милым расставалися, клялись в любви своей...» Радиоприемник засвистел и заулюлюкал. Проектор начал показывать на стене мультфильм «Волк и семеро козлят». Два лаборанта встали с журналами в руках по сторонам кадавра и принялись наперебой читать вслух...

Как и следовало ожидать, желудочная модель отнеслась ко всему этому шуму с полным безразличием. Пока ей хотелось лопать, она чихала на свой духовный мир, потому что хотела лопать и лопала. Насытившись же, она игнорировала свой духовный мир, потому что соловела и временно уже ничего больше не желала. Зоркий Выбегалло ухитрился все-таки заметить несомненную связь между стуком барабана (из радиоприемника) и рефлекторным подрагиванием нижних конечностей модели. Это подрагивание привело его в восторг.

— Ногу! — закричал он, хватая за рукав Б. Питомника. — Снимайте ногу! Крупным планом! Ля вибрасьён са моле гош этюн гранд синь![19] Эта нога отметет все происки и сорвет все ярлыки, которые на меня навешивают! Уи сан дот[20], человек, который не специалист, может быть, даже удивится, как я отношусь к этой ноге. Но ведь, товарищи, все великое обнаруживается в малом, а я должен напомнить, что данная модель есть модель ограниченных потребностей, говоря конкретно — только одной потребности и, называя вещи своими именами, прямо, по-нашему, без всех этих вуалей — модель потребности желудочной. Потому у нее такое ограничение и в духпотребностях. А мы утверждаем, что только разнообразие матпотребностей может обеспечить разнообразие духпотребностей. Поясняю для прессы на доступном ей примере. Ежели бы, скажем, была у него ярко выраженная потребность в данном магнитофоне «Астра-7» за сто сорок рублей, каковая потребность должна пониматься нами как материальная, и оно бы этот магнитофон заимело, то оно бы данный магнитофон и крутило бы, потому что, сами понимаете, что еще с магнитофоном делать? А раз крутило бы, то с музыкой, а раз музыка — надо ее слушать или там танцевать... А что, товарищи, есть слушанье музыки с танцами или без них? Это есть удовлетворение духпотребностей. Компрене ву?

Я уже давно заметил, что поведение кадавра существенно переменилось. То ли в нем что-то разладилось, то ли так и должно было быть, но время релаксаций у него все сокращалось и сокращалось, так что к концу речи Выбегаллы он уже не отходил от конвейера. Впрочем, возможно, ему просто стало трудно передвигаться.

— Разрешите вопрос, — вежливо сказал Эдик. — Чем вы объясняете прекращение пароксизмов довольства?

Выбегалло замолк и посмотрел на кадавра. Кадавр жрал. Выбегалло посмотрел на Эдика.

— Отвечаю, — самодовольно сказал он. — Вопрос, товарищи, верный. И, я бы даже сказал, умный вопрос, товарищи. Мы имеем перед собою конкретную модель непрерывно возрастающих материальных потребностей. И только поверхностному наблюдателю может казаться, что пароксизмы довольства якобы прекратились. На самом деле они диалектически перешли в новое качество. Они, товарищи, распространились на сам процесс удовлетворения потребностей. Теперь ему мало быть сытым. Теперь потребности возросли, теперь ему надо все время кушать, теперь он самообучился и знает, что жевать — это тоже

прекрасно. Понятно, товарищ Амперян?

Я посмотрел на Эдика. Эдик вежливо улыбался. Рядом с ним стояли рука об руку дубли Федора Симеоновича и Кристобаля Хозевича. Головы их, с широко расставленными ушами, медленно поворачивались вокруг оси, как аэродромные радиолокаторы.

— Еще вопрос можно? — сказал Роман.

— Прошу, — сказал Выбегалло с устало-снисходительным видом.

— Амвросий Амбруазович, — сказал Роман, — а что будет, когда оно все потребит?

Взгляд Выбегаллы стал гневным.

— Я прошу всех присутствующих отметить этот провокационный вопрос, от которого за версту разит мальтузианством, неомальтузианством, прагматизьмом, экзистенцио... оа... нализьмом и неверием, товарищи, в неисчерпаемую мощь человечества. Вы что же хотите сказать этим вопросом, товарищ Ойра-Ойра? Что в деятельности нашего научного учреждения может наступить момент, кризис, регресс, когда нашим потребителям не хватит продуктов потребления? Нехорошо, товарищ Ойра-Ойра! Не подумали вы! А мы не можем допустить, чтобы на нашу работу навешивали ярлыки и бросали тень. И мы этого, товарищи, не допустим.

Он достал носовой платок и вытер бороду. Г. Проницательный, скривившись от умственного напряжения, задал следующий вопрос:

— Я, конечно, не специалист. Но какое будущее у данной модели? Я понимаю, что эксперимент проходит успешно. Но очень уж активно она потребляет.

Выбегалло горько усмехнулся.

— Вот видите, товарищ Ойра-Ойра, — сказал он. — Так вот и возникают нездоровые сенсации. Вы, не подумав, задали вопрос. И вот уже рядовой товарищ неверно сориентирован. Не на тот идеал смотрит... Не на тот идеал смотрите, товарищ Проницательный! — обратился он прямо к корреспонденту. — Данная модель есть уже пройденный этап! Вот идеал, на который нужно смотреть! — Он подошел ко второму автоклаву и положил рыжеволосую руку на его полированный бок. Борода его задралась. — Вот наш идеал! — провозгласил он. — Или, выражаясь точнее, вот модель нашего с вами идеала. Мы имеем здесь универсального потребителя, который всего хочет и все, соответственно, может. Все потребности в нем заложены, какие только бывают на свете. И все эти потребности он может удовлетворить. С помощью нашей науки, разумеется. Поясняю для прессы. Модель универсального потребителя, заключенная в этом автоклаве, или, говоря по-нашему, в самозапиральнике,

хочет неограниченно. Все мы, товарищи, при всем нашем уважении к нам, просто нули рядом с нею. Потому что она хочет таких вещей, о которых мы и понятия не имеем. И она не будет ждать милости от природы. Она возьмет от природы все, что ей нужно для полного счастья, то есть для удовлетворенности. Материально-магические силы сами извлекут из окружающей природы все ей необходимое. Счастье данной модели будет неописуемым. Она не будет знать ни голода, ни жажды, ни зубной боли, ни личных неприятностей. Все ее потребности будут мгновенно удовлетворяться по мере их возникновения.

— Простите, — вежливо сказал Эдик, — и все ее потребности будут материальными?

— Ну разумеется! — вскричал Выбегалло. — Духовные потребности разовьются в соответствии! Я уже отмечал, что чем больше материальных потребностей, тем разнообразнее будут духовные потребности. Это будет исполин духа и корифей!

Я оглядел присутствующих. Многие были ошарашены. Корреспонденты отчаянно писали. Некоторые, как я заметил, со странным выражением переводили взгляд с автоклава на непрерывно глотающего кадавра и обратно. Стелла, припав лбом к моему плечу, всхлипывала и шептала: «Уйду я отсюда, не могу, уйду...» Я, кажется, тоже начинал понимать, чего опасался Ойра-Ойра. Мне представилась громадная отверстая пасть, в которую, брошенные магической силой, сыплются животные, люди, города, континенты, планеты и солнца...

— Амвросий Амбруазович, — сказал Ойра-Ойра. — А может универсальный потребитель создать камень, который даже при самом сильном желании не сумеет поднять?

Выбегалло задумался, но только на секунду.

— Это не есть матпотребность, — ответил он. — Это есть каприз. Не для того я создавал своих дублей, чтобы они, значить, капризничали.

— Каприз тоже может быть потребностью, — возразил Ойра-Ойра.

— Не будем заниматься схоластикой и казуистикой, — предложил Выбегалло. — И не будем проводить церковномистических аналогий.

— Не будем, — сказал Ойра-Ойра.

Б. Питомник сердито оглянулся на него и снова обратился к Выбегалле:

— А когда и где будет происходить демонстрация универсальной модели, Амвросий Амбруазович?

— Ответ, — сказал Выбегалло. — Демонстрация будет происходить здесь, в этой моей лаборатории. О моменте пресса будет оповещена

дополнительно.

— Но это будет в ближайшие дни?

— Есть мнение, что это будет в ближайшие часы. Так что товарищам прессе лучше всего остаться и подождать.

Тут дубли Федора Симеоновича и Кристобаля Хозевича, словно по команде, повернулись и вышли. Ойра-Ойра сказал:

— Вам не кажется, Амвросий Амбруазович, что такую демонстрацию проводить в помещении, да еще в центре города, опасно?

— Нам опасаться нечего, — веско сказал Выбегалло. — Пусть наши враги, эта, опасаются.

— Помните, я говорил вам, что возможна...

— Вы, товарищ Ойра-Ойра, недостаточно, значить, подкованы. Отличать надо, товарищ Ойра-Ойра, возможность от действительности, случайность от необходимости, теорию от практики и вообще...

— Все-таки, может быть, на полигоне...

— Я испытываю не бомбу, — высокомерно сказал Выбегалло. — Я испытываю модель идеального человека. Какие будут еще вопросы?

Какой-то умник из отдела Абсолютного Знания принялся расспрашивать о режиме работы автоклава. Выбегалло с охотой пустился в объяснения. Угрюмые лаборанты собирали свою технику удовлетворения духпотребностей. Кадавр жрал. Черная пара на нем потрескивала, расползаясь по швам. Ойра-Ойра изучающе глядел на него. Потом он вдруг громко сказал:

— Есть предложение. Всем, лично не заинтересованным, немедленно покинуть помещение.

Все обернулись к нему.

— Сейчас здесь будет очень грязно, — пояснил он. — До невозможности грязно.

— Это провокация, — с достоинством сказал Выбегалло.

Роман, схватив меня за рукав, потащил к двери. Я потащил за собой Стеллу. Вслед за нами устремились остальные зрители. Роману в институте верили, Выбегалле — нет. В лаборатории из посторонних остались одни корреспонденты, а мы столпились в коридоре.

— В чем дело? — спрашивали Романа. — Что будет? Почему грязно?

— Сейчас он рванет, — отвечал Роман, не сводя глаз с двери.

— Кто рванет? Выбегалло?

— Корреспондентов жалко, — сказал Эдик. — Слушай, Саша, душ у нас сегодня работает?

Дверь лаборатории отворилась, и оттуда вышли два лаборанта, волоча

чан с пустыми ведрами. Третий лаборант, опасливо оглядываясь, суетился вокруг и бормотал: «Давайте, ребята, давайте я помогу, тяжело ведь...»

— Двери закройте, — посоветовал Роман.

Суетящийся лаборант поспешно захлопнул дверь и подошел к нам, вытаскивая сигареты. Глаза у него были круглые и бегали.

— Ну, сейчас будет... — сказал он. — Проницательный дурак, я ему подмигивал... Как он жрет!.. С ума сойти, как он жрет...

— Сейчас двадцать пять минут третьего... — начал Роман.

И тут раздался грохот. Зазвенели разбитые стекла. Дверь лаборатории крякнула и сорвалась с петли. В образовавшуюся щель вынесло фотоаппарат и чей-то галстук. Мы шарахнулись. Стелла опять взвизгнула.

— Спокойно, — сказал Роман. — Уже все. Одним потребителем на земле стало меньше.

Лаборант, белый, как халат, непрерывно затягиваясь, курил сигарету. Из лаборатории доносилось хлюпанье, кашель, неразборчивые проклятия. Потянуло дурным запахом. Я нерешительно промямлил:

— Надо посмотреть, что ли...

Никто не отозвался. Все сочувственно смотрели на меня. Стелла тихо плакала и держала меня за куртку. Кто-то кому-то объяснял шепотом: «Он дежурный сегодня, понял?.. Надо же кому-то идти выгребать...»

Я сделал несколько неуверенных шагов к дверям, но тут из лаборатории, цепляясь друг за друга, выбрались корреспонденты и Выбегалло.

Господи, в каком они были виде!..

Опомнившись, я вытащил из кармана платиновый свисток и свистнул. Расталкивая сотрудников, ко мне заспешила авральная команда домовых-ассенизаторов.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Верьте мне, это было самое ужасное зрелище на свете.

*_Ф. Рабле_*

Больше всего меня поразило то, что Выбегалло нисколько не был обескуражен происшедшим. Пока домовые обрабатывали его, поливая абсорбентами и умащивая благовониями, он вещал фальцетом:

— Вот вы, товарищи Ойра-Ойра и Амперян, вы тоже все опасались.

Что, мол, будет, да как, мол, его остановить... Есть, есть в вас, товарищи, эдакий нездоровый, значить, скептицизьм. Я бы сказал, эдакое недоверие к силам природы, к человеческим возможностям. И где же оно теперь, ваше недоверие? Лопнуло! Лопнуло, товарищи, на глазах широкой общественности и забрызгало меня и вот товарищей из прессы...

Пресса потерянно молчала, покорно подставляя бока под шипящие струи абсорбентов. Г. Проницательного била крупная дрожь. Б. Питомник мотал головой и непроизвольно облизывался.

Когда домовые прибрали лабораторию в первом приближении, я заглянул внутрь. Авральная команда деловито вставляла стекла и жгла в муфельной печи останки желудочной модели. Останков было мало: кучка пуговиц с надписью «фор джентльмен»[21], рукав пиджака, неимоверно растянутые подтяжки и вставная челюсть, напоминающая ископаемую челюсть гигантопитека. Остальное, по-видимому, разлетелось в пыль. Выбегалло осмотрел второй автоклав, он же самозапиральник, и объявил, что все в порядке. «Прессу прошу ко мне, — сказал он. — Прочим предлагаю вернуться к своим непосредственным обязанностям». Пресса вытащила книжечки, все трое уселись за стол и принялись уточнять детали очерка «Рождение открытия» и информационной заметки «Профессор Выбегалло рассказывает».

Зрители разошлись. Ушел Ойра-Ойра, забрав у меня ключи от сейфа Януса Полуэктовича. Ушла в отчаянии Стелла, которую Выбегалло отказался отпустить в другой отдел. Ушли заметно повеселевшие лаборанты. Ушел Эдик, окруженный толпою теоретиков, прикидывая на ходу минимальное возможное давление в желудке взорвавшегося кадавра. Я тоже отправился на свой пост, предварительно удостоверившись, что испытание второго кадавра состоится не раньше восьми утра.

Эксперимент произвел на меня тягостное впечатление, и, устроившись в огромном кресле в приемной, я некоторое время пытался понять, дурак Выбегалло или хитрый демагог-халтурщик. Научная ценность всех его кадавров была, очевидно, равна нулю. Модели на базе собственных дублей умел создавать любой сотрудник, защитивший магистерскую диссертацию и закончивший двухгодичный спецкурс нелинейной трансгрессии. Наделять эти модели магическими свойствами тоже ничего не стоило, потому что существовали справочники, таблицы и учебники для магов-аспирантов. Эти модели сами по себе никогда ничего не доказывали и с точки зрения науки представляли не больший интерес, чем карточные фокусы или шпагоглотание. Можно было, конечно, понять всех этих горе-корреспондентов, которые липли к Выбегалле, как мухи к помойке. Потому

что с точки зрения неспециалиста все это было необычайно эффектно, вызывало почтительную дрожь и смутные ощущения каких-то громадных возможностей. Труднее было понять Выбегаллу с его болезненной страстью устраивать цирковые представления и публичные взрывы на потребу любопытным, лишенным возможности (да и желания) разобраться в сути вопроса. Если не считать двух-трех изнуренных командировками абсолютников, обожающих давать интервью о положении дел в бесконечности, никто в институте, мягко выражаясь, не злоупотреблял контактами с прессой: это считалось дурным тоном и имело глубокое внутреннее обоснование.

Дело в том, что самые интересные и изящные научные результаты сплошь и рядом обладают свойством казаться непосвященным заумными и тоскливо-непонятными. Люди, далекие от науки, в наше время ждут от нее чуда и только чуда и практически не способны отличить настоящее научное чудо от фокуса или какого-нибудь интеллектуального сальто-мортале. Наука чародейства и волшебства не составляет исключения. Организовать на телестудии конференцию знаменитых привидений или просверлить взглядом дыру в полуметровой бетонной стене могут многие, и это никому не нужно, но это приводит в восторг почтеннейшую публику, плохо представляющую себе, до какой степени наука сплела и перепутала понятия сказки и действительности. А вот попробуйте найти глубокую внутреннюю связь между сверлящим свойством взгляда и филологическими характеристиками слова «бетон», попробуйте решить эту маленькую частную проблемку, известную под названием Великой Проблемы Ауэрса! Ее решил Ойра-Ойра, создав теорию фантастической общности и положив начало совершенно новому разделу математической магии. Но почти никто не слыхал об Ойре-Ойре, зато все превосходно знают профессора Выбегаллу. («Как, вы работаете в НИИЧАВО? Ну как там Выбегалло? Что он еще новенького открыл?..») Это происходит потому, что идеи Ойры-Ойры способны воспринять всего двести-триста человек на всем земном шаре, и среди этих двух-трех сотен довольно много членов-корреспондентов и — увы! — нет ни одного корреспондента. А классический труд Выбегаллы «Основы технологии производства самонадевающейся обуви», набитый демагогической болтовней, произвел в свое время заботами Б. Питомника изрядный шум. (Позже выяснилось, что самонадевающиеся ботинки стоят дороже мотоцикла и боятся пыли и сырости.)

Время было позднее. Я порядком устал и незаметно для себя заснул. Мне снилась какая-то нечисть: многоногие гигантские комары, бородатые,

как Выбегалло, говорящие ведра с обратом, чан на коротких ножках, бегающий по лестнице. Иногда в мой сон заглядывал какой-нибудь нескромный домовой, но, увидев такие страсти, испуганно удирал. Проснулся я от боли и увидел рядом с собою мрачного бородатого комара, который старался запустить свой толстый, как авторучка, хобот мне в икру.

«Брысь!» — заорал я и стукнул его кулаком по выпученному глазу.

Комар обиженно заурчал и отбежал в сторону. Он был большой, как собака, рыжий с подпалинами. Вероятно, во сне я бессознательно произнес формулу материализации и нечаянно вызвал из небытия это угрюмое животное. Загнать его обратно в небытие мне не удалось. Тогда я вооружился томом «Уравнений математической магии», открыл форточку и выгнал комара на мороз. Пурга сейчас же закрутила его, и он исчез в темноте. Вот так возникают нездоровые сенсации, подумал я.

Было шесть часов утра. Я прислушался. В институте стояла тишина. То ли все старательно работали, то ли уже разошлись по домам. Мне следовало совершить еще один обход, но идти никуда не хотелось и хотелось чего-нибудь поесть, потому что ел я в последний раз восемнадцать часов назад. И я решил пустить вместо себя дубля.

Вообще, я пока еще очень слабый маг. Неопытный. Будь здесь кто-нибудь рядом, я бы никогда не рискнул демонстрировать свое невежество. Но я был один, и я решил рискнуть, а заодно немного попрактиковаться. В «Уравнениях матмагии» я отыскал общую формулу, подставил в нее свои параметры, проделал все необходимые манипуляции и произнес все необходимые выражения на древнехалдейском. Все-таки учение и труд все перетрут. Первый раз в жизни у меня получился порядочный дубль. Все у него было на месте, и он был даже немножко похож на меня, только левый глаз у него почему-то не открывался, а на руках было по шести пальцев. Я разъяснил ему задание, он кивнул, шаркнул ножкой и удалился, пошатываясь. Больше мы с ним не встречались. Может быть, его ненароком занесло в бункер к З. Горынычу, а может быть, он уехал в бесконечное путешествие на ободе Колеса Фортуны — не знаю, не знаю. Дело в том, что я очень скоро забыл о нем, потому что решил изготовить себе завтрак.

Я человек неприхотливый. Мне всего-то и надо было, что бутерброд с докторской колбасой и чашку черного кофе. Не понимаю, как это у меня получилось, но сначала на столе образовался докторский халат, густо намазанный маслом. Когда первый приступ естественного изумления прошел, я внимательно осмотрел халат. Масло было не сливочное и даже не растительное. Вот тут мне надо было халат уничтожить и начать все сначала. Но с отвратительной самонадеянностью я вообразил себя богом-

творцом и пошел по пути последовательных трансформаций. Рядом с халатом появилась бутылка с черной жидкостью, а сам халат, несколько помедлив, стал обугливаться по краям. Я торопливо уточнил свои представления, сделав особый упор на образы кружки и говядины. Бутылка превратилась в кружку, жидкость не изменилась, один рукав халата сжался, вытянулся, порыжел и стал подергиваться. Вспотев от страха, я убедился, что это коровий хвост. Я вылез из кресла и отошел в угол. Дальше хвоста дело не пошло, но зрелище и без того было жутковатое. Я попробовал еще раз, и хвост заколосился. Я взял себя в руки, зажмурился и стал со всевозможной отчетливостью представлять в уме ломоть обыкновенного ржаного хлеба, как его отрезают от буханки, намазывают маслом — сливочным, из хрустальной масленки — и кладут на него кружок колбасы. Бог с ней, с докторской, пусть будет обыкновенная полтавская полукопченая. С кофе я решил пока подождать. Когда я осторожно разжмурился, на докторском халате лежал большой кусок горного хрусталя, внутри которого что-то темнело. Я поднял этот кристалл, за кристаллом потянулся халат, необъяснимо к нему приросший, а внутри кристалла я различил вожделенный бутерброд, очень похожий на настоящий. Я застонал и попробовал мысленно расколоть кристалл. Он покрылся густой сетью трещин, так что бутерброд почти исчез из виду. «Тупица, — сказал я себе, — ты съел тысячи бутербродов, и ты неспособен сколько-нибудь отчетливо вообразить их. Не волнуйся, никого нет, никто тебя не видит. Это не зачет, не контрольная и не экзамен. Попробуй еще раз». И я попробовал. Лучше бы я не пробовал. Воображение мое почему-то разыгралось, в мозгу вспыхивали и гасли самые неожиданные ассоциации, и, по мере того как я пробовал, приемная наполнялась странными предметами. Многие из них вышли, по-видимому, из подсознания, из дремучих джунглей наследственной памяти, из давно подавленных высшим образованием первобытных страхов. Они имели конечности и непрерывно двигались, они издавали отвратительные звуки, они были неприличны, они были агрессивны и все время дрались. Я затравленно озирался. Все это живо напоминало мне старинные гравюры, изображающие сцены искушения святого Антония. Особенно неприятным было овальное блюдо на паучьих лапах, покрытое по краям жесткой редкой шерстью. Не знаю, что ему от меня было нужно, но оно отходило в дальний угол комнаты, разгонялось и со всего маху поддавало мне под коленки, пока я не прижал его креслом к стене. Часть предметов в конце концов мне удалось уничтожить, остальные разбрелись по углам и попрятались. Остались: блюдо, халат с кристаллом и кружка с черной жидкостью,

разросшаяся до размеров кувшина. Я поднял ее обеими руками и понюхал. По-моему, это были черные чернила для авторучки. Блюдо за креслом шевелилось, царапая лапами цветной линолеум, и мерзко шипело. Мне было очень неуютно.

В коридоре послышались шаги и голоса, дверь распахнулась, на пороге появился Янус Полуэктович и, как всегда, произнес: «Так». Я заметался. Янус Полуэктович прошел к себе в кабинет, на ходу небрежно, одним универсальным движением брови ликвидировав всю сотворенную мною кунсткамеру. За ним последовали Федор Симеонович, Кристобаль Хунта с толстой черной сигарой в углу рта, насупленный Выбегалло и решительный Роман Ойра-Ойра. Все они были озабочены, очень спешили и не обратили на меня никакого внимания. Дверь в кабинет осталась открытой. Я с облегченным вздохом уселся на прежнее место и тут обнаружил, что меня поджидает большая фарфоровая кружка с дымящимся кофе и тарелка с бутербродами. Кто-то из титанов обо мне все-таки позаботился, уж не знаю кто. Я принялся завтракать, прислушиваясь к голосам, доносящимся из кабинета.

— Начнем с того, — с холодным презрением говорил Кристобаль Хозевич, — что ваш, простите, «Родильный Дом» находится в точности под моими лабораториями. Вы уже устроили один взрыв, и в результате я в течение десяти минут был вынужден ждать, пока в моем кабинете вставят вылетевшие стекла. Я сильно подозреваю, что аргументы более общего характера вы во внимание не примете, и потому исхожу из чисто эгоистических соображений...

— Это, дорогой, мое дело, чем я у себя занимаюсь, — отвечал Выбегалло фальцетом. — Я до вашего этажа не касаюсь, хотя вот у вас в последнее время бесперечь текёт живая вода. Она у меня весь потолок замочила, и клопы от нее заводятся. Но я вашего этажа не касаюсь, а вы не касайтесь моего.

— Г-голубчик, — пророкотал Федор Симеонович, — Амвросий Амбруазович! Н-надо же принять во в-внимание в-возможные осложнения... В-ведь никто же не занимается, скажем, д-драконом в здании, х-хотя есть и огнеупоры, и...

— У меня не дракон, у меня счастливый человек! Исполин духа! Как-то странно вы рассуждаете, товарищ Киврин, странные у вас аналогии, чужие! Модель идеального человека — и какой-то внеклассовый огнедышащий дракон!..

— Г-голубчик, да дело же не в том, ч-что он внеклассовый, а в том, что он п-пожар может устроить...

— Вот, опять! Идеальный человек может устроить пожар! Не подумали вы, товарищ Федор Симеонович!

— Я г-говорю о д-драконе...

— А я говорю о вашей неправильной установке! Вы стираете, Федор Симеонович! Вы всячески замазываете! Мы, конечно, стираем противоречия... между умственным и физическим... между городом и деревней... между мужчиной и женщиной, наконец... Но замазывать пропасть мы вам не позволим, Федор Симеонович!

— К-какую пропасть? Что за ч-чертовщина, Р-роман, в конце концов?.. Вы же ему при мне об-объясняли! Я г-говорю, Амвросий Амб-бруазович, что ваш эксперимент оп-пасен, понимаете?.. Г-город можно повредить, п-понимаете?

— Я-то все понимаю. Я-то не позволю идеальному человеку вылупляться среди чистого поля на ветру!

— Амвросий Амбруазович, — сказал Роман, — я могу еще раз повторить свою аргументацию. Эксперимент опасен потому...

— Вот я, Роман Петрович, давно на вас смотрю и никак не могу понять, как вы можете применять такие выражения к человеку-идеалу. Идеальный человек ему, видите ли, опасен!

Тут Роман, видимо по молодости лет, потерял терпение.

— Да не идеальный человек! — заорал он. — А ваш гений-потребитель!

Воцарилось зловещее молчание.

— Как вы сказали? — страшным голосом осведомился Выбегалло. — Повторите. Как вы назвали идеального человека?

— Ян-нус Полуэктович, — сказал Федор Симеонович, — так, друг мой, нельзя все-таки...

— Нельзя! — воскликнул Выбегалло. — Правильно, товарищ Киврин, нельзя! Мы имеем эксперимент международно-научного звучания! Исполин духа должен появиться здесь, в стенах нашего института! Это символично! Товарищ Ойра-Ойра с его прагматическим уклоном делячески, товарищи, относится к проблеме! И товарищ Хунта тоже смотрит узколобо! Не смотрите на меня, товарищ Хунта, царские жандармы меня не запугали, и вы меня тоже не запугаете! Разве в нашем, товарищи, духе бояться эксперимента? Конечно, товарищу Хунте, как бывшему иностранцу и работнику церкви, позволительно временами заблуждаться, но вы-то, товарищ Ойра-Ойра, и вы, Федор Симеонович, вы же простые русские люди!

— П-прекратите д-демагогию! — взорвался наконец и Федор

Симеонович. — К-как вам не с-совестно нести такую чушь? К-какой я вам п-простой человек? И что это за словечко такое — п-простой? Это д-дубли у нас простые!..

— Я могу сказать только одно, — равнодушно сообщил Кристобаль Хозевич. — Я простой бывший Великий Инквизитор, и я закрою доступ к вашему автоклаву до тех пор, пока не получу гарантии, что эксперимент будет производиться на полигоне.

— И н-не ближе пяти к-километров от г-города, — добавил Федор Симеонович. — Или д-даже десяти.

По-видимому, Выбегалле ужасно не хотелось тащить свою аппаратуру и тащиться самому на полигон, где была вьюга и не было достаточного освещения для кинохроники.

— Так, — сказал он, — понятно. Отгораживаете нашу науку от народа. Тогда уж, может быть, не на десять километров, а прямо на десять тысяч километров, Федор Симеонович? Где-нибудь по ту сторону? Где-нибудь на Аляске, Кристобаль Хозевич, или откуда вы там? Так прямо и скажите. А мы запишем!

Снова воцарилось молчание, и было слышно, как грозно сопит Федор Симеонович, потерявший дар слова.

— Лет триста назад, — холодно произнес Хунта, — за такие слова я пригласил бы вас на прогулку за город, где отряхнул бы вам пыль с ушей и проткнул насквозь.

— Нечего, нечего, — сказал Выбегалло. — Это вам не Португалия. Критики не любите. Лет триста назад я бы с тобой тоже не особенно церемонился, кафолик недорезанный.

Меня скрутило от ненависти. Почему молчит Янус? Сколько же можно? В тишине раздались шаги, в приемную вышел бледный, оскаленный Роман и, щелкнув пальцами, создал дубль Выбегаллы. Затем он с наслаждением взял дубля за грудь, мелко потряс, взялся за бороду, сладострастно рванул несколько раз, успокоился, уничтожил дубля и вернулся в кабинет.

— А ведь в-вас гнать надо, В-выбегалло, — неожиданно спокойным голосом произнес Федор Симеонович. — Вы, оказывается, н-неприятная фигура.

— Критики, критики не любите, — отвечал, отдуваясь, Выбегалло.

И вот тут наконец заговорил Янус Полуэктович. Голос у него был мощный, ровный, как у джек-лондоновских капитанов.

— Эксперимент, согласно просьбе Амвросия Амбруазовича, будет произведен сегодня в десять ноль-ноль. Ввиду того, что эксперимент будет

сопровождаться значительными разрушениями, которые едва не повлекут за собой человеческие жертвы, местом эксперимента назначаю дальний сектор полигона в пятнадцати километрах от городской черты. Пользуюсь случаем заранее поблагодарить Романа Петровича за его находчивость и мужество.

Некоторое время, по-видимому, все переваривали это решение. Во всяком случае, я переваривал. У Януса Полуэктовича была все-таки несомненно странная манера выражать свои мысли. Впрочем, все охотно верили, что ему виднее. Были уже прецеденты.

— Я пойду вызову машину, — сказал вдруг Роман и, вероятно, прошел сквозь стену, потому что в приемной не появился.

Федор Симеонович и Хунта, наверное, согласно кивнули головами, а оправившийся Выбегалло вскричал:

— Правильное решение, Янус Полуэктович! Вовремя вы нам напомнили о потерянной бдительности. Подальше, подальше от посторонних глаз. Только вот грузчики мне понадобятся. Автоклав у меня тяжелый, значить, пять тонн все-таки...

— Конечно, — сказал Янус. — Распорядитесь.

В кабинете задвигали креслами, и я торопливо допил кофе.

В течение последующего часа я вместе с теми, кто еще оставался в институте, торчал у подъезда и наблюдал, как грузят автоклав, стереотрубы, бронещиты и зипуны на всякий случай. Буран утих, утро стояло морозное и ясное.

Роман пригнал грузовик на гусеничном ходу. Вурдалак Альфред привел грузчиков — гекатонхейров. Котт и Гиес шли охотно, оживленно галдя сотней глоток и на ходу засучивая многочисленные рукава, а Бриарей тащился следом, выставив вперед корявый палец, и ныл, что ему больно, что у него несколько голов кружатся, что он ночь не спал. Котт взял автоклав, Гиес — все остальное. Тогда Бриарей, увидев, что ему ничего не досталось, принялся распоряжаться, давать указания и помогать советами. Он забегал вперед, открывал и держал двери, то и дело присаживался на корточки и, заглядывая снизу, кричал: «Пошло! Пошло!» или «Правее бери! Зацепляешься!». В конце концов ему наступили на руку, а самого защемили между автоклавом и стеной. Он разрыдался, и Альфред отвел его обратно в виварий.

В грузовик набилось порядочно народу. Выбегалло залез в кабину водителя. Он был очень недоволен и у всех спрашивал который час. Грузовик уехал было, но через пять минут вернулся, потому что выяснилось, что забыли корреспондентов. Пока их искали, Котт и Гиес

затеяли играть в снежки, чтобы согреться, и выбили два стекла. Потом Гиес сцепился с каким-то ранним пьяным, который кричал: «Все на одного, да?» Гиеса оттащили и затолкали обратно в кузов. Он вращал глазами и грозно ругался по-эллински. Появились дрожащие со сна Г. Проницательный и Б. Питомник, и грузовик наконец уехал.

Институт опустел. Была половина девятого. Весь город спал. Мне очень хотелось отправиться вместе со всеми на полигон, но, делать нечего — я вздохнул и пустился во второй обход.

Я, зевая, шел по коридорам и гасил везде свет, пока не добрался до лаборатории Витьки Корнеева. Витька Выбегалловыми экспериментами не интересовался. Он говорил, что таких, как Выбегалло, нужно беспощадно передавать Хунте в качестве подопытных животных на предмет выяснения, не являются ли они летальными мутантами. Поэтому Витька никуда не поехал, а сидел на диване-трансляторе, курил сигарету и лениво беседовал с Эдиком Амперяном. Эдик лежал рядом и, задумчиво глядя в потолок, сосал леденец. На столе в ванне с водой бодро плавал окунь.

— С Новым годом, — сказал я.

— С Новым годом, — приветливо отозвался Эдик.

— Вот пусть Сашка скажет, — предложил Корнеев. — Саша, бывает небелковая жизнь?

— Не знаю, — сказал я. — Не видел. А что?

— Что значит — не видел? М-поле ты тоже никогда не видел, а напряженность его рассчитываешь.

— Ну и что? — сказал я. Я смотрел на окуня в ванне. Окунь плавал кругами, лихо поворачиваясь на виражах, и тогда было видно, что он выпотрошен. — Витька, — сказал я, — получилось все-таки?

— Саша не хочет говорить про небелковую жизнь, — сказал Эдик. — И он прав.

— Без белка жить можно, — сказал я, — а вот как он живет без потрохов?

— А вот товарищ Амперян говорит, что без белка жить нельзя, — сказал Витька, заставляя струю табачного дыма сворачиваться в смерч и ходить по комнате, огибая предметы.

— Я говорю, что жизнь — это белок, — возразил Эдик.

— Не ощущаю разницы, — сказал Витька. — Ты говоришь, что если нет белка, то нет и жизни.

— Да.

— Ну, а это что? — спросил Витька. Он слабо помахал рукой.

На столе рядом с ванной появилось отвратительное существо, похожее

на ежа и на паука одновременно. Эдик приподнялся и заглянул на стол.

— Ах, — сказал он и снова лег. — Это не жизнь. Это нежить. Разве Кощей Бессмертный — это небелковое существо?

— А что тебе надо? — спросил Корнеев. — Двигается? Двигается. Питается? Питается. И размножаться может. Хочешь, он сейчас размножится?

Эдик вторично приподнялся и заглянул на стол. Еж-паук неуклюже топтался на месте. Похоже было, что ему хочется идти на все четыре стороны одновременно.

— Нежить не есть жизнь, — сказал Эдик. — Нежить существует лишь постольку, поскольку существует разумная жизнь. Можно даже сказать точнее: поскольку существуют маги. Нежить есть отход деятельности магов.

— Хорошо, — сказал Витька.

Еж-паук исчез. Вместо него на столе появился маленький Витька Корнеев, точная копия настоящего, но величиной с руку. Он щелкнул маленькими пальчиками и создал микродубля еще меньшего размера. Тот тоже щелкнул пальцами. Появился дубль величиной с авторучку. Потом величиной со спичечный коробок. Потом — с наперсток.

— Хватит? — спросил Витька. — Каждый из них маг. Ни в одном нет и молекулы белка.

— Неудачный пример, — сказал Эдик с сожалением. — Во-первых, они ничем принципиально не отличаются от станка с программным управлением. Во-вторых, они являются не продуктом развития, а продуктом твоего белкового мастерства. Вряд ли стоит спорить, способна ли дать эволюция саморазмножающиеся станки с программным управлением.

— Много ты знаешь об эволюции, — сказал грубый Корнеев. — Тоже мне Дарвин! Какая разница, химический процесс или сознательная деятельность. У тебя тоже не все предки белковые. Пра-пра-праматерь твоя была, готов признать, достаточно сложной, но вовсе не белковой молекулой. И может быть, наша так называемая сознательная деятельность есть тоже некоторая разновидность эволюции. Откуда мы знаем, что цель природы — создать товарища Амперяна? Может быть, цель природы — это создание нежити руками товарища Амперяна. Может быть...

— Понятно, понятно. Сначала протовирус, потом белок, потом товарищ Амперян, а потом вся планета заселяется нежитью.

— Именно, — сказал Витька.

— А мы все за ненадобностью вымерли.

— А почему бы и нет? — сказал Витька.

— У меня есть один знакомый, — сказал Эдик. — Он утверждает, будто человек — это только промежуточное звено, необходимое природе для создания венца творения: рюмки коньяка с ломтиком лимона.

— А почему бы, в конце концов, и нет?

— А потому, что мне не хочется, — сказал Эдик. — У природы свои цели, а у меня свои.

— Антропоцентрист, — сказал Витька с отвращением.

— Да, — гордо сказал Эдик.

— С антропоцентристами дискутировать не желаю, — сказал грубый Корнеев.

— Тогда давай рассказывать анекдоты, — спокойно предложил Эдик и сунул в рот еще один леденец.

Витькины дубли на столе продолжали работать. Самый маленький был уже ростом с муравья. Пока я слушал спор антропоцентриста с космоцентристом, мне пришла в голову одна мысль.

— Ребятишечки, — сказал я с искусственным оживлением. — Что же это вы не пошли на полигон?

— А зачем? — спросил Эдик.

— Ну, все-таки интересно...

— Я никогда не хожу в цирк, — сказал Эдик. — Кроме того: уби нил валес, иби нил велис[22].

— Это ты о себе? — спросил Витька.

— Нет. Это я о Выбегалле.

— Ребятишечки, — сказал я, — я ужасно люблю цирк. Не все ли вам равно, где рассказывать анекдоты?

— То есть? — сказал Витька.

— Подежурьте за меня, а я сбегаю на полигон.

— А что надо делать?

— Обесточивать, гасить пожары и всем напоминать про трудовое законодательство.

— Холодно, — напомнил Витька. — Мороз. Выбегалло.

— Очень хочется, — сказал я. — Очень все это таинственно.

— Отпустим ребенка? — спросил Витька у Эдика.

Эдик покивал.

— Идите, Привалов, — сказал Витька. — Это будет вам стоить четыре часа машинного времени.

— Два, — сказал я быстро. Я ждал чего-нибудь подобного.

— Пять, — нахально сказал Витька.

— Ну три, — сказал я. — Я и так все время на тебя работаю.

— Шесть, — хладнокровно сказал Витька.

— Витя, — сказал Эдик, — у тебя на ушах отрастет шерсть.

— Рыжая, — сказал я злорадно. — Может быть, даже с прозеленью.

— Ладно уж, — сказал Витька, — иди даром. Два часа меня устроят.

Мы вместе прошли в приемную. По дороге магистры затеяли невнятный спор о какой-то циклотации, и мне пришлось их прервать, чтобы они трансгрессировали меня на полигон. Я им уже надоел, и, спеша от меня отделаться, они провели трансгрессию с такой энергией, что я не успел одеться и влетел в толпу зрителей спиной вперед.

На полигоне уже все было готово. Публика пряталась за бронещиты. Выбегалло торчал из свежевырытой траншеи и молодецки смотрел в большую стереотрубу. Федор Симеонович и Кристобаль Хунта с сорокакратными биноктарами в руках тихо переговаривались по-латыни. Янус Полуэктович в большой шубе равнодушно стоял в стороне и ковырял тростью снег. Б. Питомник сидел на корточках возле траншеи с раскрытой книжечкой и авторучкой наготове. А Г. Проницательный, увешанный фото- и киноаппаратами, тер замерзшие щеки, крякал и стучал ногой об ногу за его спиной.

Небо было ясное, полная луна склонялась к западу. Мутные стрелы полярного сияния появлялись, дрожа, среди звезд и исчезали вновь. Блестел снег на равнине, и большой округлый цилиндр автоклава был отчетливо виден в сотне метров от нас.

Выбегалло оторвался от стереотрубы, прокашлялся и сказал:

— Товарищи! То-ва-ри-щи! Что мы наблюдаем в эту стереотрубу? В эту стереотрубу, товарищи, мы, обуреваемые сложными чувствами, замирая от ожидания, наблюдаем, как защитный колпак начинает автоматически отвинчиваться... Пишите, пишите, — сказал он Б. Питомнику. — И поточнее пишите... Автоматически, значить, отвинчиваться. Через несколько минут мы будем иметь появление среди нас идеального человека — шевалье, значить, сан пёр э сан репрош...[23] Мы будем иметь здесь наш образец, наш символ, нашу крылатую мечту! И мы, товарищи, должны встретить этого гиганта потребностей и способностей соответствующим образом, без дискуссий, мелких дрязг и других выпадов. Чтобы наш дорогой гигант увидел нас какие мы есть на самом деле в едином строю и сплоченными рядами. Спрячем же, товарищи, наши родимые пятна, у кого они еще пока есть, и протянем руку своей мечте!

Я и простым глазом видел, как отвинтилась крышка автоклава и беззвучно упала в снег. Из автоклава ударила длинная, до самых звезд,

струя пара.

— Даю пояснение для прессы... — начал было Выбегалло, но тут раздался страшный рев.

Земля поплыла и зашевелилась. Взвилась огромная снежная туча. Все повалились друг на друга, и меня тоже опрокинуло и покатило. Рев все усиливался, и, когда я с трудом, цепляясь за гусеницы грузовика, поднялся на ноги, я увидел, как жутко, гигантской чашей в мертвом свете луны ползет, заворачиваясь вовнутрь, край горизонта, как угрожающе раскачиваются бронещиты, как бегут врассыпную, падают и снова вскакивают вывалянные в снегу зрители. Я увидел, как Федор Симеонович и Кристобаль Хунта, накрытые радужными колпаками защитного поля, пятятся под натиском урагана, как они, подняв руки, силятся растянуть защиту на всех остальных, но вихрь рвет защиту в клочья, и эти клочья несутся над равниной, подобно огромным мыльным пузырям, и лопаются в звездном небе. Я увидел поднявшего воротник Януса Полуэктовича, который стоял, повернувшись спиной к ветру, прочно упершись тростью в обнажившуюся землю, и смотрел на часы. А там, где был автоклав, крутилось освещенное изнутри красным, тугое облако пара, и горизонт стремительно загибался все круче и круче, и казалось, что все мы находимся на дне колоссального кувшина. А потом совсем рядом с эпицентром этого космического безобразия появился вдруг Роман в своем зеленом пальто, рвущемся с плеч. Он широко размахнулся, швырнул в ревущий пар что-то большое, блеснувшее бутылочным стеклом, и сейчас же упал ничком, закрыв голову руками. Из облака вынырнула безобразная, искаженная бешенством физиономия джинна, глаза его крутились от ярости. Разевая пасть в беззвучном хохоте, он взмахнул просторными волосатыми ушами, пахнуло гарью, над метелью взметнулись призрачные стены великолепного дворца, затряслись и опали, а джинн, превратившись в длинный язык оранжевого пламени, исчез в небе. Несколько секунд было тихо. Затем горизонт с тяжелым грохотом осел. Меня подбросило высоко вверх, и, придя в себя, я обнаружил, что сижу, упираясь руками в землю, неподалеку от грузовика.

Снег пропал. Все поле вокруг было черным. Там, где минуту назад стоял автоклав, зияла большая воронка. Из нее поднимался белый дымок и пахло паленым.

Зрители начали подниматься на ноги. Лица у всех были испачканы и перекошены. Многие потеряли голос, кашляли, отплевывались и тихо постанывали. Начали чиститься, и тут обнаружилось, что некоторые раздеты до белья. Послышался ропот, затем крики: «Где брюки? Почему я

без брюк? Я же был в брюках!», «Товарищи! Никто не видел моих часов?», «И моих!», «И у меня тоже пропали!», «Зуба нет, платинового! Летом только вставил...», «Ой, а у меня колечко пропало... И браслет!», «Где Выбегалло? Что за безобразие? Что все это значит?», «Да черт с ними, с часами и зубами! Люди-то все целы? Сколько нас было?», «А что, собственно, произошло? Какой-то взрыв... Джинн... А где же исполин духа?», «Где потребитель?», «Где Выбегалло, наконец?», «А горизонт видел? Знаешь, на что это похоже?», «На свертку пространства, я эти шутки знаю...», «Холодно в майке, дайте что-нибудь...», «Г-где же этот Выб-бегалло? Где этот д-дурак?».

Земля зашевелилась, и из траншеи вылез Выбегалло. Он был без валенок.

— Поясняю для прессы, — сипло сказал он.

Но ему не дали пояснить. Магнус Федорович Редькин, пришедший специально, чтобы узнать наконец, что же такое настоящее счастье, подскочил к нему, тряся сжатыми кулаками, и завопил:

— Это шарлатанство! Вы за это ответите! Балаган! Где моя шапка? Где моя шуба? Я буду на вас жаловаться! Где моя шапка, я спрашиваю?

— В полном соответствии с программой... — бормотал Выбегалло, озираясь. — Наш дорогой исполин...

На него надвинулся Федор Симеонович.

— Вы, м-милейший, з-зарываете свой т-талант в землю. В-вами надо отдел Об-боронной Магии усилить. В-ваших идеальных людей н-на неприятельские б-базы сбрасывать надо. Н-на страх аг-грессору.

Выбегалло попятился, заслоняясь рукавом зипуна. К нему подошел Кристобаль Хозевич, молча меряя его взглядом, швырнул ему под ноги испачканные перчатки и удалился. Жиан Жиакомо, наспех создавая себе видимость элегантного костюма, прокричал издали:

— Это же феноменально, сеньоры! Я всегда питал к нему некоторую антипатию, но ничего подобного я и представить себе не мог...

Тут, наконец, разобрались в ситуации Г. Проницательный и Б. Питомник. До сих пор, неуверенно улыбаясь, они глядели каждому в рот, надеясь что-нибудь понять. Затем они сообразили, что все идет далеко не в полном соответствии. Г. Проницательный твердыми шагами приблизился к Выбегалле и, тронув его за плечо, сказал железным голосом:

— Товарищ профессор, где я могу получить назад мои аппараты? Три фотоаппарата и один киноаппарат.

— И мое обручальное кольцо, — добавил Б. Питомник.

— Пардон, — сказал Выбегалло с достоинством. — Он ву демандера

канд он ура безуан де ву[24]. Подождите объяснений.

Корреспонденты оробели. Выбегалло повернулся и пошел к воронке. Над воронкой уже стоял Роман.

— Чего здесь только нет... — сказал он еще издали.

Исполина-потребителя в воронке не оказалось. Зато там было все остальное и еще многое сверх того. Там были фото- и киноаппараты, бумажники, шубы, кольца, ожерелья, брюки и платиновый зуб. Там были валенки Выбегаллы и шапка Магнуса Федоровича. Там оказался мой платиновый свисток для вызова авральной команды. Кроме того, мы обнаружили там два автомобиля «Москвич», три автомобиля «Волга», железный сейф с печатями местной сберкассы, большой кусок жареного мяса, два ящика водки, ящик жигулевского пива и железную кровать с никелированными шарами.

Натянув валенки, Выбегалло, снисходительно улыбаясь, заявил, что теперь можно начать дискуссию. «Задавайте вопросы», — сказал он. Но дискуссии не получилось. Взбешенный Магнус Федорович вызвал милицию. Примчался на «газике» юный сержант Ковалев. Всем нам пришлось записаться в свидетели. Сержант Ковалев ходил вокруг воронки, пытаясь обнаружить следы преступника. Он нашел огромную вставную челюсть и глубоко задумался над нею. Корреспонденты, получившие свою аппаратуру и увидевшие все в новом свете, внимательно слушали Выбегаллу, который опять понес демагогическую ахинею насчет неограниченных и разнообразных потребностей. Становилось скучно, я мерз.

— Пошли домой, — сказал Роман.

— Пошли, — сказал я. — Откуда ты взял джинна?

— Выписал вчера со склада. Совсем для других целей.

— А что все-таки произошло? Он опять обожрался?

— Нет, просто Выбегалло дурак, — сказал Роман.

— Это понятно, — сказал я. — Но откуда катаклизм?

— Все отсюда же, — сказал Роман. — Я говорил ему тысячу раз: «Вы программируете стандартного суперэгоцентриста. Он загребет все материальные ценности, до которых сможет дотянуться, а потом свернет пространство, закуклится и остановит время». А Выбегалло никак не может взять в толк, что истинный исполин духа не столько потребляет, сколько думает и чувствует.

— Это все зола, — продолжал он, когда мы подлетели к институту. — Это всем ясно. Ты лучше скажи мне, откуда У-Янус узнал, что все получится именно так, а не иначе? Он же все это предвидел. И огромные

разрушения, и то, что я соображу, как прикончить исполина в зародыше...

— Действительно, — сказал я. — Он даже благодарность тебе вынес. Авансом.

— Странно, верно? — сказал Роман. — Надо бы все это тщательно продумать.

И мы стали тщательно продумывать. Это заняло у нас много времени. Только весной и только случайно нам удалось во всем разобраться.

Но это уже совсем другая история.

История третья ВСЯЧЕСКАЯ СУЕТА

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Когда бог создавал время, — говорят ирландцы, — он создал его достаточно.

*_Г. Бёль_*

Восемьдесят три процента всех дней в году начинаются одинаково: звенит будильник. Этот звон вливается в последние сны то судорожным стрекотанием итогового перфоратора, то гневными раскатами баса Федора Симеоновича, то скрежетом когтей василиска, играющего в термостате.

В то утро мне снился Модест Матвеевич Камноедов. Будто он стал заведующим вычислительным центром и учит меня работать на «Алдане». «Модест Матвеевич, — говорил я ему, — ведь все, что вы мне советуете, это какой-то болезненный бред». А он орал: «Вы мне это пр-р-рекратите! У вас тут все др-р-ребедень! Бели-бер-р-рда!» Тогда я сообразил, что это не Модест Матвеевич, а мой будильник «Дружба» на одиннадцати камнях, с изображением слоника с подъятым хоботом, забормотал: «Слышу, слышу», — и забил ладонью по столу вокруг будильника.

Окно было раскрыто настежь, и я увидел ярко-синее весеннее небо и почувствовал острый весенний холодок. По карнизу, постукивая, бродили голуби. Вокруг стеклянного плафона под потолком обессиленно мотались три мухи — должно быть, первые мухи в этом году. Время от времени они вдруг принимались остервенело кидаться из стороны в сторону, и спросонок мне пришла в голову гениальная идея, что мухи, наверное, стараются выскочить из плоскости, через них проходящей, и я посочувствовал этому безнадежному занятию. Две мухи сели на плафон, а третья исчезла, и тогда я окончательно проснулся.

Прежде всего я отбросил одеяло и попытался воспарить над кроватью. Как всегда, без зарядки, без душа и завтрака это привело лишь к тому, что реактивный момент с силой вдавил меня в диван-кровать и где-то подо мной соскочили и жалобно задребезжали пружины. Потом я вспомнил вчерашний вечер, и мне стало очень обидно, потому что сегодня я весь день буду без работы. Вчера в одиннадцать часов вечера в электронный зал

пришел Кристобаль Хозевич и, как всегда, подсоединился к «Алдану», чтобы вместе с ним разрешить очередную проблему смысла жизни, и через пять минут «Алдан» загорелся. Не знаю, что там могло гореть, но «Алдан» вышел из строя надолго, и поэтому я, вместо того чтобы работать, должен буду, подобно всем волосатоухим тунеядцам, бесцельно бродить из отдела в отдел, жаловаться на судьбу и рассказывать анекдоты.

Я сморщился, сел на постели и для начала набрал полную грудь праны, смешанной с холодным утренним воздухом. Некоторое время я ждал, пока прана усвоится, и в соответствии с рекомендацией думал о светлом и радостном. Затем я выдохнул холодный утренний воздух и принялся выполнять комплекс упражнений утренней гимнастики. Мне рассказывали, что старая школа предписывала гимнастику йогов, но йога-комплекс, так же как и почти ныне забытый майя-комплекс, отнимал пятнадцать-двадцать часов в сутки, и с назначением на пост нового Президента АН СССР старой школе пришлось уступить. Молодежь НИИЧАВО с удовольствием ломала старые традиции.

На сто пятнадцатом прыжке в комнату впорхнул мой сожитель Витька Корнеев. Как всегда с утра, он был бодр, энергичен и даже благодушен. Он хлестнул меня по голой спине мокрым полотенцем и принялся летать по комнате, делая руками и ногами движения, как будто плывет брассом. При этом он рассказывал свои сны и тут же толковал их по Фрейду, Мерлину и по девице Ленорман. Я сходил умылся, мы прибрались и отправились в столовую.

В столовой мы заняли свой любимый столик под большим, уже выцветшим плакатом: «Смелее, товарищи! Щелкайте челюстями! Г. Флобер», откупорили бутылки с кефиром и стали есть, слушая местные новости и сплетни.

Вчерашней ночью на Лысой Горе состоялся традиционный весенний слет. Участники вели себя крайне безобразно. Вий с Хомой Брутом в обнимку пошли шляться по улицам ночного города, пьяные, приставали к прохожим, сквернословили, потом Вий наступил себе на левое веко и совсем озверел. Они с Хомой подрались, повалили газетный ларек и попали в милицию, где каждому дали за хулиганство по пятнадцати суток. Чтобы остричь наголо Хому Брута, пришлось держать его вшестером, а лысый Вий при этом сидел в углу и обидно хихикал. Из-за того, что Хома Брут наговорил во время стрижки, дело передается в народный суд.

Кот Василий взял весенний отпуск — жениться. Скоро в Соловце опять объявятся говорящие котята с наследственно-склеротической памятью.

Луи Седловой из отдела Абсолютного Знания изобрел какую-то машину времени и сегодня будет докладывать об этом на семинаре.

В институте снова появился Выбегалло. Везде ходит и хвастается, что осенен титанической идеей. Речь многих обезьян, видите ли, напоминает человеческую, записанную, значить, на магнитофонную пленку и пущенную задом наперед с большой скоростью. Так он, эта, записал в сухумском заповеднике разговоры павианов и прослушал их, пустив задом наперед на малой скорости. Получилось, как он заявляет, нечто феноменальное, но что именно — не говорит.

В вычислительном центре опять сгорел «Алдан», но Сашка Привалов не виноват, виноват Хунта, который последнее время из принципа интересуется только такими задачами, для которых доказано отсутствие решения.

Престарелый колдун Перун Маркович Неунывай-Дубино из отдела Воинствующего Атеизма взял отпуск для очередного перевоплощения.

В отделе Вечной Молодости после долгой и продолжительной болезни скончалась модель бессмертного человека.

Академия наук выделила институту энную сумму на благоустройство территории. На эту сумму Модест Матвеевич собирается обнести институт узорной чугунной решеткой с аллегорическими изображениями и с цветочными горшками на столбах, а на заднем дворе, между трансформаторной будкой и бензохранилищем, организовать фонтан с девятиметровой струей. Спортбюро просило у него денег на теннисный корт — отказал, объявив, что фонтан необходим для научных размышлений, а теннис есть дрыгоножество и рукомашество...

После завтрака все разошлись по лабораториям. Я тоже заглянул к себе и горестно побродил около «Алдана» с распахнутыми внутренностями, в которых копались неприветливые инженеры из отдела Технического Обслуживания. Разговаривать со мной они не захотели и только угрюмо порекомендовали пойти куда-нибудь и заняться своим делом. Я побрел по знакомым.

Витька Корнеев меня выгнал, потому что я мешал ему сосредоточиться. Роман читал лекцию практикантам. Володя Почкин беседовал с корреспондентом. Увидев меня, он нехорошо обрадовался и закричал: «А-а, вот он! Познакомьтесь, это наш заведующий вычислительным центром, он вам расскажет, как...» Но я очень ловко притворился собственным дублем и, сильно напугав корреспондента, сбежал. У Эдика Амперяна меня угостили свежими огурцами, и совсем было завязалась оживленная беседа о преимуществах гастрономического

взгляда на жизнь, но тут у них лопнул перегонный куб и про меня сразу забыли.

В совершенном отчаянии я вышел в коридор и столкнулся с У-Янусом, который сказал: «Так», и, помедлив, осведомился, не беседовали ли мы вчера. «Нет, — сказал я, — к сожалению, не беседовали». Он пошел дальше, и я услышал, как в конце коридора он задает все тот же стандартный вопрос Жиану Жиакомо.

В конце концов меня занесло к абсолютникам. Я попал перед самым началом семинара. Сотрудники, позевывая и осторожно поглаживая уши, рассаживались в малом конференц-зале. На председательском месте, покойно сплетя пальцы, восседал завотделом магистр-академик, всея Белыя, Черныя и Серыя магии многознатец Морис-Иоганн-Лаврентий Пупков-Задний и благосклонно взирал на суетящегося докладчика, который с двумя неумело выполненными волосатоухими дублями устанавливал на экспозиционном стенде некую машину с седлом и педалями, похожую на тренажер для страдающих ожирением. Я присел в уголке подальше от остальных, вытащил блокнот и авторучку и принял заинтересованный вид.

— Нуте-с, — произнес магистр-академик, — у вас готово?

— Да, Морис Иоганнович, — отозвался Л. Седловой. — Готово, Морис Иоганнович.

— Тогда, может быть, приступим? Что-то я не вижу Смогулия...

— Он в командировке, Иоганн Лаврентьевич, — сказали из зала.

— Ах, да, припоминаю. Экспоненциальные исследования? Ага, ага... Ну хорошо. Сегодня у нас Луи Иванович сделает небольшое сообщение относительно некоторых возможных типов машин времени... Я правильно говорю, Луи Иванович?

— Э... Собственно... Собственно, я бы назвал свой доклад таким образом, что...

— А, ну вот и хорошо. Вот вы и назовите.

— Благодарю вас. Э... Назвал бы так: «Осуществимость машины времени для передвижения во временных пространствах, сконструированных искусственно».

— Очень интересно, — подал голос магистр-академик. — Однако мне помнится, что уже был случай, когда наш сотрудник...

— Простите, я как раз с этого хотел начать.

— Ах, вот как... Тогда прошу, прошу.

Сначала я слушал довольно внимательно. Я даже увлекся. Оказывается, некоторые из этих ребят занимались прелюбопытными вещами. Оказывается, некоторые из них и по сей день бились над

проблемой передвижения по физическому времени, правда, безрезультатно. Но зато кто-то, я не разобрал фамилию, кто-то из старых, знаменитых, доказал, что можно производить переброску материальных тел в идеальные миры, то есть в миры, созданные человеческим воображением. Оказывается, кроме нашего привычного мира с метрикой Римана, принципом неопределенности, физическим вакуумом и пьяницей Брутом, существуют и другие миры, обладающие ярко выраженной реальностью. Это миры, созданные творческим воображением за всю историю человечества. Например, существуют: мир космологических представлений человечества; мир, созданный живописцами; и даже полуабстрактный мир, нечувствительно сконструированный поколениями композиторов.

Несколько лет назад, оказывается, ученик того самого, знаменитого, собрал машину, на которой отправился путешествовать в мир космологических представлений. В течение некоторого времени с ним поддерживалась односторонняя телепатическая связь, и он успел передать, что находится на краю плоской Земли, видит внизу извивающийся хобот одного их трех слонов-атлантов и собирается спуститься вниз, к черепахе. Больше сведений от него не поступало.

Докладчик, Луи Иванович Седловой, неплохой, по-видимому, ученый, магистр, сильно страдающий, однако, от пережитков палеолита в сознании и потому вынужденный регулярно брить уши, сконструировал машину для путешествий по описываемому времени. По его словам, реально существует мир, в котором живут и действуют Анна Каренина, Дон-Кихот, Шерлок Холмс, Григорий Мелехов и даже капитан Немо. Этот мир обладает своими весьма любопытными свойствами и закономерностями, и люди, населяющие его, тем более ярки, реальны и индивидуальны, чем более талантливо, страстно и правдиво описали их авторы соответствующих произведений.

Все это меня очень заинтересовало, потому что Седловой, увлекшись, говорил живо и образно. Но потом он спохватился, что получается как-то ненаучно, понавешал на сцене схемы и графики и принялся нудно, чрезвычайно специализированным языком излагать про конические декрементные шестерни, полиходовые темпоральные передачи и про какой-то проницающий руль. Я очень скоро потерял нить рассуждений и принялся рассматривать присутствующих.

Магистр-академик величественно спал, изредка, чисто рефлекторно, поднимая правую бровь, как бы в знак некоторого сомнения в словах докладчика. В задних рядах резались в функциональный морской бой в банаховом пространстве. Двое лаборантов-заочников старательно

записывали все подряд — на лицах их застыло безнадежное отчаяние и совершенная покорность судьбе. Кто-то украдкой закурил, пуская дым между колен под стол. В переднем ряду магистры и бакалавры с привычной внимательностью слушали, готовя вопросы и замечания. Одни саркастически улыбались, у других на лицах выражалось недоумение. Научный руководитель Седлового после каждой фразы докладчика одобрительно кивал. Я стал смотреть в окно, но там был все тот же осточертевший лабаз да изредка пробегали мальчишки с удочками.

Я очнулся, когда докладчик заявил, что вводную часть он закончил и теперь хотел бы продемонстрировать машину в действии.

— Интересно, интересно, — сказал проснувшийся магистр-академик. — Нуте-ка... Сами отправитесь?

— Видите ли, — сказал Седловой, — я хотел бы остаться здесь, чтобы давать пояснения по ходу путешествия. Может быть, кто-нибудь из присутствующих?..

Присутствующие начали жаться. Очевидно, все вспомнили загадочную судьбу путешественника на край плоской Земли. Кто-то из магистров предложил отправить дубля. Седловой ответил, что это будет неинтересно, потому что дубли маловосприимчивы к внешним раздражениям и потому будут плохими передатчиками информации. Из задних рядов спросили, какого рода могут быть внешние раздражения. Седловой ответил, что обычные: зрительные, обонятельные, осязательные, акустические. Тогда из задних рядов опять спросили, какого рода _осязательные_ раздражения будут превалировать. Седловой развел руками и сказал, что это зависит от поведения путешественника в тех местах, куда он попадет. В задних рядах произнесли: «Ага...» — и больше вопросов не задавали. Докладчик беспомощно озирался. В зале смотрели кто куда и всё в сторону. Магистр-академик добродушно приговаривал: «Ну? Ну что же? Молодежь! Ну? Кто?» Тогда я встал и молча пошел к машине. Терпеть не могу, когда докладчик агонизирует: стыдное, жалкое и мучительное зрелище.

Из задних рядов крикнули: «Сашка, ты куда? Опомнись!» Глаза Седлового засверкали.

— Разрешите мне, — сказал я.

— Пожалуйста, пожалуйста, конечно! — забормотал Седловой, хватая меня за палец и подтаскивая к машине.

— Одну минуточку, — сказал я, деликатно вырываясь. — Это надолго?

— Да как вам будет угодно! — вскричал Седловой. — Как вы мне скажете, так я и сделаю... Да вы же сами будете управлять! Тут все очень просто. — Он снова схватил меня и снова потащил к машине. — Вот это

руль. Вот это педаль сцепления с реальностью. Это тормоз. А это газ. Вы автомобиль водите? Ну и прекрасно! Вот клавиша... Вы куда хотите — в будущее или в прошлое?

— В будущее, — сказал я.

— А, — произнес он, как мне показалось, разочарованно. — В описываемое будущее... Это, значит, всякие там фантастические романы и утопии. Конечно, тоже интересно. Только учтите, это будущее, наверное, дискретно, там должны быть огромные провалы времени, никакими авторами не заполненные. Впрочем, все равно... Так вот, эту клавишу вы нажмете два раза. Один раз сейчас, при старте, а второй раз — когда захотите вернуться. Понимаете?

— Понимаю, — сказал я. — А если в ней что-нибудь сломается?

— Абсолютно безопасно! — Он замахал руками. — Как только в ней что-нибудь испортится, хоть одна пылинка попадет между контактами, вы мгновенно вернетесь сюда.

— Дерзайте, молодой человек, — сказал магистр-академик. — Расскажете нам, что же там, в будущем, ха-ха-ха...

Я взгромоздился в седло, стараясь ни на кого не глядеть и чувствуя себя очень глупо.

— Нажимайте, нажимайте... — страстно шептал докладчик.

Я надавил на клавишу. Это было, очевидно, что-то вроде стартера. Машина дернулась, захрюкала и стала равномерно дрожать.

— Вал погнут, — шептал с досадой Седловой. — Ну ничего, ничего... Включайте скорость. Вот так. А теперь газу, газу...

Я дал газу, одновременно плавно выжимая сцепление. Мир стал меркнуть. Последнее, что я услышал в зале, был благодушный вопрос магистра-академика: «И каким же образом мы будем за ним наблюдать?..» И зал исчез.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Единственное различие между Временем и любым из трех пространственных измерений заключается в том, что наше сознание движется вдоль него.

Г. Дж. Уэллс

Сначала машина двигалась скачками, и я был озабочен тем, чтобы удержаться в седле, обвившись ногами вокруг рамы и изо всех сил цепляясь за рулевую дугу. Краем глаза я смутно видел вокруг какие-то роскошные призрачные строения, мутно-зеленые равнины и холодное, негреющее светило в сером тумане неподалеку от зенита. Потом я сообразил, что тряска и скачки происходят оттого, что я убрал ногу с акселератора, мощности двигателя (совсем как это бывает на автомобиле) не хватает, и машина поэтому двигается рывками, вдобавок то и дело натыкаясь на развалины античных и средневековых утопий. Я подбавил газу, движение сразу стало плавным, и я смог, наконец, устроиться поудобнее и оглядеться.

Меня окружал призрачный мир. Огромные постройки из разноцветного мрамора, украшенные колоннадами, возвышались среди маленьких домиков сельского вида. Вокруг в полном безветрии колыхались хлеба. Тучные прозрачные стада паслись на травке, на пригорках сидели благообразные седые пастухи. Все, как один, они читали книги и старинные рукописи. Потом рядом со мной возникли два прозрачных человека, встали в позы и начали говорить. Оба они были босы, увенчаны венками и закутаны в складчатые хитоны. Один держал в правой руке лопату, а в левой сжимал свиток пергамента. Другой опирался на киркомотыгу и рассеянно играл огромной медной чернильницей, подвешенной к поясу. Говорили они строго по очереди и, как мне сначала показалось, друг с другом. Но очень скоро я понял, что обращаются они ко мне, хотя ни один из них даже не взглянул в мою сторону. Я прислушался. Тот, что был с лопатой, длинно и монотонно излагал основы политического устройства прекрасной страны, гражданином коей являлся. Устройство было необычайно демократичным, ни о каком принуждении граждан не могло быть и речи (он несколько раз с особым ударением это подчеркнул), все были богаты и свободны от забот, и даже самый последний землепашец имел не менее трех рабов. Когда он останавливался, чтобы передохнуть и облизать губы, вступал тот, что с чернильницей. Он хвастался, будто только что отработал свои три часа перевозчиком на реке, не взял ни с кого ни копейки, потому что не знает, что такое деньги, а сейчас направляется под сень струй предаться стихосложению.

Говорили они долго — судя по спидометру, в течение нескольких лет, — а потом вдруг сразу исчезли, и стало пусто. Сквозь призрачные здания просвечивало неподвижное солнце. Неожиданно невысоко над землей медленно проплыли тяжелые летательные аппараты с перепончатыми, как у птеродактилей, крыльями. В первый момент мне показалось, что все они

горят, но затем я заметил, что дым у них идет из больших конических труб. Грузно размахивая крыльями, они летели надо мной, посыпалась зола, и кто-то уронил на меня сверху суковатое полено.

В роскошных зданиях вокруг меня начали происходить какие-то изменения. Колонн у них не убавилось, и архитектура осталась по-прежнему роскошной и нелепой, но появились новые расцветки, и мрамор, по-моему, сменился каким-то более современным материалом, а вместо слепых статуй и бюстов на крышах возникли поблескивающие устройства, похожие на антенны радиотелескопов. Людей на улицах стало больше, появилось огромное количество машин. Исчезли стада с читающими пастухами, однако хлеба все колыхались, хотя ветра по-прежнему не было. Я нажал на тормоз и остановился.

Оглядевшись, я понял, что стою с машиной на ленте движущегося тротуара. Народ вокруг так и кишел — самый разнообразный народ. В большинстве своем, правда, эти люди были какие-то нереальные, гораздо менее реальные, чем могучие, сложные, почти бесшумные механизмы. Так что, когда такой механизм случайно наезжал на человека, столкновения не происходило. Машины мало меня заинтересовали, наверное, потому, что на лобовой броне у каждой сидел вдохновенный до полупрозрачности изобретатель, пространно объяснявший устройство и назначение своего детища. Изобретателей никто не слушал, да они, кажется, ни к кому в особенности и не обращались.

На людей смотреть было интереснее. Я увидел здоровенных ребят в комбинезонах, ходивших в обнимку, чертыхавшихся и оравших немелодичные песни на плохие стихи. То и дело попадались какие-то люди, одетые только частично: скажем, в зеленой шляпе и красном пиджаке на голое тело (больше ничего); или в желтых ботинках и цветастом галстуке (ни штанов, ни рубашки, ни даже белья); или в изящных туфельках на босу ногу. Окружающие относились к ним спокойно, а я смущался до тех пор, пока не вспомнил, что некоторые авторы имеют обыкновение писать что-нибудь вроде «дверь отворилась, и на пороге появился стройный мускулистый человек в мохнатой кепке и темных очках». Попадались и люди нормально одетые, правда, в костюмах странного покроя, и то тут, то там проталкивался сквозь толпу загорелый бородатый мужчина в незапятнанно-белой хламиде с кетменем или каким-нибудь хомутом в одной руке и с мольбертом или пеналом в другой. У носителей хламид вид был растерянный, они шарахались от многоногих механизмов и затравленно озирались.

Если не считать бормотания изобретателей, было довольно тихо. Большинство людей помалкивало. На углу двое юношей возились с каким-то механическим устройством. Один убежденно говорил: «Конструкторская мысль не может стоять на месте. Это закон развития общества. Мы изобретем его. Обязательно изобретем. Вопреки бюрократам вроде Чинушина и консерваторам вроде Твердолобова». Другой юноша нес свое: «Я нашел, как применить здесь нестирающиеся шины из полиструктурного волокна с вырожденными аминными связями и неполными кислородными группами. Но я не знаю пока, как использовать регенерирующий реактор на субтепловых нейтронах. Миша, Мишок! Как быть с реактором?» Присмотревшись к устройству, я без труда узнал велосипед.

Тротуар вынес меня на огромную площадь, забитую людьми и уставленную космическими кораблями самых разнообразных конструкций. Я сошел с тротуара и стащил машину. Сначала я не понимал, что происходит. Играла музыка, произносились речи, тут и там, возвышаясь над толпой, кудрявые румяные юноши, с трудом управляясь с непокорными прядями волос, непрерывно падающими на лоб, проникновенно читали стихи. Стихи были либо знакомые, либо скверные, но из глаз многочисленных слушателей обильно капали скупые мужские, горькие женские и светлые детские слезы. Суровые мужчины крепко обнимали друг друга и, шевеля желваками на скулах, хлопали друг друга по спинам. Поскольку многие были не одеты, хлопанье это напоминало аплодисменты. Два подтянутых лейтенанта с усталыми, но добрыми глазами протащили мимо меня лощеного мужчину, завернув ему руки за спину. Мужчина извивался и кричал что-то на ломаном английском. Кажется, он всех выдавал и рассказывал, как и за чьи деньги подкладывал мину в двигатель звездолета. Несколько мальчишек с томиками Шекспира, воровато озираясь, подкрадывались к дюзам ближайшего астроплана. Толпа их не замечала.

Скоро я понял, что одна половина толпы расставалась с другой половиной. Это было что-то вроде тотальной мобилизации. Из речей и разговоров мне стало ясно, что мужчины отправлялись в космос — кто на Венеру, кто на Марс, а некоторые, с совсем уже отрешенными лицами, собирались к другим звездам и даже в центр Галактики. Женщины оставались их ждать. Многие занимали очередь в огромное уродливое здание, которое одни называли Пантеоном, а другие — Рефрижератором. Я подумал, что поспел вовремя. Опоздай я на час, и в городе остались бы только замороженные на тысячи лет женщины. Потом мое внимание

привлекла высокая серая стена, отгораживающая площадь с запада. Из-за стены поднимались клубы черного дыма.

— Что это там? — спросил я красивую женщину в косынке, понуро бредущую к Пантеону-Рефрижератору.

— Железная Стена, — ответила она, не останавливаясь.

С каждой минутой мне становилось все скучнее и скучнее. Все вокруг плакали, ораторы уже охрипли. Рядом со мной юноша в голубом комбинезоне прощался с девушкой в розовом платье. Девушка монотонно говорила: «Я хотела бы стать астральной пылью, я бы космическим облаком обняла твой корабль...» Юноша внимал. Потом над толпой грянули сводные оркестры, нервы мои не выдержали, я прыгнул в седло и дал газ. Я еще успел заметить, как над городом с ревом взлетели звездолеты, планетолеты, астропланы, ионолеты, фотонолеты и астроматы, а затем все, кроме серой стены, заволоклось фосфоресцирующим туманом.

После двухтысячного года начались провалы во времени. Я летел через время, лишенное материи. В таких местах было темно, и только изредка за серой стеной вспыхивали взрывы и разгорались зарева. Время от времени город вновь обступал меня, и с каждым разом здания его становились выше, сферические купола становились все прозрачнее, а звездолетов на площади становилось все меньше. Из-за стены непрерывно поднимался дым.

Я остановился вторично, когда с площади исчез последний астромат. Тротуары двигались. Шумных парней в комбинезонах не было. Никто не чертыхался. По улицам по двое и по трое скромно прогуливались какие-то бесцветные личности, одетые либо странно, либо скудно. Насколько я понял, все говорили о науке. Кого-то намеревались оживлять, и профессор медицины, атлетически сложенный интеллигент, очень непривычно выглядевший в своей одинокой жилетке, растолковывал процедуру оживления верзиле биофизику, которого представлял всем встречным как автора, инициатора и главного исполнителя этой затеи. Где-то собирались провертеть дыру сквозь Землю. Проект обсуждался прямо на улице при большом скоплении народа, чертежи рисовали мелком на стенах и на тротуаре. Я стал было слушать, но это оказалась такая скучища, да еще пересыпанная выпадами в адрес незнакомого мне консерватора, что я взвалил машину на плечи и пошел прочь. Меня не удивило, что обсуждение проекта сейчас же прекратилось и все занялись делом. Но зато, едва я остановился, начал разглагольствовать какой-то гражданин неопределенной профессии. Ни к селу ни к городу он повел речь о музыке. Сразу понабежали слушатели. Они смотрели ему в рот и задавали вопросы,

свидетельствующие о дремучем невежестве. Вдруг по улице с криком побежал человек. За ним гнался паукообразный механизм. Судя по крикам преследуемого, это был «самопрограммирующийся кибернетический робот на тригенных куаторах с обратной связью, которые разладились и... Ой-ой, он меня сейчас расчленит!..» Странно, никто даже бровью не повел. Видимо, никто не верил в бунт машин.

Из переулка выскочили еще две паукообразные металлические машины, ростом поменьше и не такие свирепые на вид. Не успел я ахнуть, как одна из них быстро почистила мне ботинки, а другая выстирала и выгладила носовой платок. Подъехала большая белая цистерна на гусеницах и, мигая многочисленными лампочками, опрыскала меня духами. Я совсем было собрался уезжать, но тут раздался громовой треск и с неба на площадь свалилась громадная ржавая ракета. В толпе сразу заговорили:

— Это «Звезда Мечты»!

— Да, это она!

— Ну конечно, это она! Это она стартовала двести восемнадцать лет тому назад, о ней уже все забыли, но благодаря эйнштейновскому сокращению времени, происходящему от движения на субсветовых скоростях, экипаж постарел всего на два года!

— Благодаря чему? Ах, Эйнштейн... Да-да, помню. Я проходил это в школе во втором классе.

Из ржавой ракеты с трудом выбрался одноглазый человек без левой руки и правой ноги.

— Это Земля? — раздраженно спросил он.

— Земля! Земля! — откликнулись в толпе. На лицах начали расцветать улыбки.

— Слава богу, — сказал человек, и все переглянулись. То ли не поняли его, то ли сделали вид, что не понимают.

Увечный астролетчик стал в позу и разразился речью, в которой призывал все человечество поголовно лететь на планету Хош-ни-Хош системы звезды Эоэллы в Малом Магеллановом Облаке освобождать братьев по разуму, стенающих (он так и сказал: стенающих) под властью свирепого кибернетического диктатора. Рев дюз заглушил его слова. На площадь спускались еще две ракеты, тоже ржавые. Из Пантеона-Рефрижератора побежали заиндевевшие женщины. Началась давка. Я понял, что попал в эпоху возвращений, и торопливо нажал на педаль.

Город исчез и долго не появлялся. Осталась стена, за которой с удручающим однообразием полыхали пожары и вспыхивали зарницы.

Странное это было зрелище: совершенная пустота и только стена на западе. Но вот, наконец, разгорелся яркий свет, и я сейчас же остановился.

Вокруг расстилалась безлюдная цветущая страна. Колыхались хлеба. Бродили тучные стада, но культурных пастухов видно не было. На горизонте серебрились знакомые прозрачные купола, виадуки и спиральные спуски. Совсем рядом с запада по-прежнему возвышалась стена.

Кто-то тронул меня за колено, и я вздрогнул. Возле меня стоял маленький мальчик с глубоко посаженными горящими глазами.

— Тебе что, малыш? — спросил я.

— Твой аппарат поврежден? — осведомился он мелодичным голосом.

— Взрослым надо говорить «вы», — сказал я наставительно.

Он очень удивился, потом лицо его просветлело.

— Ах да, припоминаю. Если мне не изменяет память, так было принято в Эпоху Принудительной Вежливости. Коль скоро обращение на «ты» дисгармонирует с твоим эмоциональным ритмом, я готов удовольствоваться любым ритмичным тебе обращением.

Я не нашелся, что ответить, и тогда он присел на корточки перед машиной, потрогал ее в разных местах и произнес несколько слов, которых я совершенно не понял. Славный это был мальчуган, очень чистенький, очень здоровый и ухоженный, но он показался мне слишком уж серьезным для своих лет.

За стеной оглушительно затрещало, и мы оба обернулись. Я увидел, как жуткая чешуйчатая лапа о восьми пальцах ухватилась за гребень стены, напряглась, разжалась и исчезла.

— Слушай, малыш, — сказал я, — что это за стена?

Он обратил на меня серьезный застенчивый взгляд.

— Это так называемая Железная Стена, — ответил он. — К сожалению, мне неизвестна этимология обоих этих слов, но я знаю, что она разделяет два мира — Мир Гуманного Воображения и Мир Страха перед Будущим. — Он помолчал и добавил: — Этимология слова «страх» мне тоже неизвестна.

— Любопытно, — сказал я. — А нельзя ли посмотреть? Что это за Мир Страха?

— Конечно, можно. Вот коммуникационная амбразура. Удовлетвори свое любопытство.

Коммуникационная амбразура имела вид низенькой арки, закрытой броневой дверцей. Я подошел и нерешительно взялся за щеколду. Мальчик сказал мне вслед:

— Не могу тебя не предупредить. Если там с тобой что-нибудь случится, тебе придется предстать перед Объединенным Советом Ста Сорока Миров.

Я приоткрыл дверцу. Тррах! Бах! Уау! Аи-и-и-и! Ду-ду-ду-ду-ду! Все пять моих чувств были травмированы одновременно. Я увидел красивую блондинку с неприличной татуировкой меж лопаток, голую и длинноногую, палившую из двух автоматических пистолетов в некрасивого брюнета, из которого при каждом попадании летели красные брызги. Я услыхал грохот разрывов и душераздирающий рев чудовищ. Я обонял неописуемый смрад гнилого горелого небелкового мяса. Раскаленный ветер недалекого ядерного взрыва опалил мое лицо, а на языке я ощутил отвратительный вкус рассеянной в воздухе протоплазмы. Я шарахнулся и судорожно захлопнул дверцу, едва не прищемив себе голову. Воздух показался мне сладким, а мир — прекрасным. Мальчик исчез. Некоторое время я приходил в себя, а потом вдруг испугался, что этот паршивец, чего доброго, побежал жаловаться в свой Объединенный Совет, и бросился к машине.

Снова сумерки беспространственного времени сомкнулись вокруг меня. Но я не отрывал глаз от Железной Стены, меня разбирало любопытство. Чтобы не терять времени даром, я прыгнул вперед сразу на миллион лет. Над стеной вырастали заросли атомных грибов, и я обрадовался, когда по мою сторону стены снова забрезжил свет. Я затормозил и застонал от разочарования. Невдалеке высился громадный Пантеон-Рефрижератор. С неба спускался ржавый звездолет в виде шара. Вокруг было безлюдно, колыхались хлеба. Шар приземлился, из него вышел давешний пилот в голубом, а на пороге Пантеона появилась, вся в красных пятнах пролежней, девица в розовом. Они устремились друг к другу и взялись за руки. Я отвел глаза — мне стало неловко. Поодаль, чуть смущаясь, индифферентно стоял какой-то старикан и ловил из аквариума золотых рыбок. Голубой пилот и розовая девушка затянули речь.

Чтобы размять ноги, я сошел с машины и только тут заметил, что небо над стеной непривычно чистое. Ни грохота взрывов, ни треска выстрелов слышно не было. Я осмелел и направился к коммуникационной амбразуре.

По ту сторону стены простиралось совершенно ровное поле, рассеченное до самого горизонта глубоким рвом. Слева от рва не было видно ни одной живой души, поле там было покрыто низкими металлическими куполами, похожими на крышки канализационных люков. Справа от рва у самого горизонта гарцевали какие-то всадники. Потом я заметил, что на краю рва сидит, свесив ноги, коренастый темнолицый

человек в металлических доспехах. На груди у него на длинном ремне висело что-то вроде автомата с очень толстым стволом. Человек медленно жевал, поминутно сплевывая, и глядел на меня без особого интереса. Я, придерживая дверцу, тоже смотрел на него, не решаясь заговорить. Слишком уж у него был странный вид. Непривычный какой-то. Дикий. Кто его знает, что за человек.

Насмотревшись на меня, он достал из-под доспехов плоскую бутылку, вытащил зубами пробку, пососал из горлышка, снова сплюнул в ров и сказал хриплым голосом:

— Хэлло! Ю фром зэт сайд?[25]

— Да, — ответил я. — То есть йес[26].

— Энд хау из ит гоуинг он аут зэа?[27]

— Со-со, — сказал я, прикрывая дверь. — Энд хау из ит гоуинг он хиа?[28]

— Итс о'кэй[29], — сказал он флегматично и замолчал.

Подождав некоторое время, я спросил, что он здесь делает. Сначала он отвечал неохотно, но потом разговорился. Оказалось, что слева от рва человечество доживает последние дни под пятой свирепых роботов. Роботы там сделались умнее людей, захватили власть, пользуются всеми благами жизни, а людей загнали под землю и поставили к конвейерам. Справа от рва, на территории, которую он охраняет, людей поработили пришельцы из соседствующей Вселенной. Они тоже захватили власть, установили феодальные порядки и вовсю пользуются правом первой ночи. Живут эти пришельцы — дай бог всякому, но тем, кто у них в милости, тоже кое-что перепадает. А милях в двадцати отсюда, если идти вдоль рва, находится область, где людей поработили пришельцы с Альтаира, разумные вирусы, которые поселяются в теле человека и заставляют его делать, что им угодно. Еще дальше к западу находится большая колония Галактической Федерации. Люди там тоже порабощены, но живут не так уж плохо, потому что его превосходительство наместник кормит их на убой и вербует из них личную гвардию Его Величества Галактического Императора А-у 3562-го. Есть еще области, порабощенные разумными паразитами, разумными растениями и разумными минералами, а также коммунистами. И наконец, за горами есть области, порабощенные еще кем-то, но о них рассказывают разные сказки, которым серьезный человек верить не станет...

Тут наша беседа была прервана. Над равниной низко прошло несколько тарелкообразных летательных аппаратов. Из них, крутясь и

кувыркаясь, посыпались бомбы. «Опять началось», — проворчал человек, лег ногами к взрывам, поднял автомат и открыл огонь по всадникам, гарцующим на горизонте. Я выскочил вон, захлопнул дверцу и, прислонившись к ней спиной, некоторое время слушал, как визжат, ревут и грохочут бомбы. Пилот в голубом и девица в розовом на ступеньках Пантеона все никак не могли покончить со своим диалогом, а индифферентный старикан, выловивши всех рыбок, глядел на них и вытирал глаза платочком. Я еще раз осторожно заглянул в дверцу: над равниной медленно вспухали огненные шары разрывов. Металлические колпаки откидывались один за другим, из-под них лезли бледные, оборванные люди с бородатыми свирепыми лицами и с железными ломами наперевес. Моего недавнего собеседника наскакавшие всадники в латах рубили в капусту длинными мечами, он орал и отмахивался автоматом. Вдоль рва прямо на меня полз, стреляя из пушек и пулеметов, огромный танк на трех гусеницах. Из радиоактивных туч снова вынырнули тарелкообразные аппараты...

Я закрыл дверцу и тщательно задвинул засов.

Потом вернулся к машине и сел в седло. Мне хотелось слетать еще на миллионы лет вперед и посмотреть умирающую Землю, описанную Уэллсом. Но тут в машине впервые что-то застопорило: не выжималось сцепление. Я нажал раз, нажал другой, потом пнул педаль изо всех сил, что-то треснуло, зазвенело, колыхающиеся хлеба встали дыбом, и я словно проснулся. Я сидел на демонстрационном стенде в малом конференц-зале нашего института, и все с благоговением смотрели на меня.

— Что со сцеплением? — спросил я, озираясь в поисках машины. Машины не было. Я вернулся один.

— Это неважно! — закричал Луи Седловой. — Огромное вам спасибо! Вы меня просто выручили... А как было интересно, верно, товарищи?

Аудитория загудела в том смысле, что да, интересно.

— Но я все это где-то читал, — сказал с сомнением один из магистров в первом ряду.

— Ну а как же! А как же! — вскричал Л. Седловой. — Ведь он же был в _описываемом_ будущем!

— Приключений маловато, — сказали в задних рядах игроки в функциональный морской бой. — Все разговоры, разговоры...

— Ну уж тут я ни при чем, — сказал Седловой решительно.

— Ничего себе — разговоры, — сказал я, слезая со стенда. Я вспомнил, как рубили моего темнолицего собеседника, и мне стало нехорошо.

— Нет, отчего же, — сказал какой-то бакалавр. — Попадаются любопытные места. Вот эта вот машина... Помните? На тригенных куаторах... Это, знаете ли, да...

— Нуте-с? — сказал Пупков-Задний. — У нас уже, кажется, началось обсуждение. А может быть, у кого-нибудь есть вопросы к докладчику?

Дотошный бакалавр немедленно задал вопрос о полиходовой темпоральной передаче (его, видите ли, заинтересовал коэффициент объемного расширения), и я потихонечку удалился.

У меня было странное ощущение. Все вокруг казалось таким материальным, прочным, вещественным. Проходили люди, и я слышал, как скрипят у них башмаки, и чувствовал ветерок от их движений. Все были очень немногословны, все работали, все думали, никто не болтал, не читал стихов, не произносил пафосных речей. Все знали, что лаборатория — это одно, трибуна профсоюзного собрания — это совсем другое, а праздничный митинг — это совсем третье. И когда мне навстречу, шаркая подбитыми кожей валенками, прошел Выбегалло, я испытал к нему даже нечто вроде симпатии, потому что у него была своеобычная пшенная каша в бороде, потому что он ковырял в зубах длинным тонким гвоздем и, проходя мимо, не поздоровался. Он был живой, весомый и зримый хам, он не помавал руками и не принимал академических поз.

Я заглянул к Роману, потому что мне очень хотелось рассказать кому-нибудь о своем приключении. Роман, ухватившись за подбородок, стоял над лабораторным столом и смотрел на маленького зеленого попугая, лежащего в чашке Петри. Маленький зеленый попугай был дохлый, с глазами, затянутыми мертвой белесой пленкой.

— Что это с ним? — спросил я.

— Не знаю, — сказал Роман. — Издох, как видишь.

— Откуда у тебя попугай?

— Сам поражаюсь, — сказал Роман.

— Может быть, он искусственный? — предположил я.

— Да нет, попугай как попугай.

— Опять, наверное, Витька на умклайдет сел.

Мы наклонились над попугаем и стали его внимательно рассматривать. На черной поджатой лапке у него было колечко.

— «Фотон», — прочитал Роман. — И еще какие-то цифры... «Девятнадцать ноль пять семьдесят три».

— Так, — сказал сзади знакомый голос.

Мы обернулись и подтянулись.

— Здравствуйте, — сказал У-Янус, подходя к столу. Он вышел из

дверей своей лаборатории в глубине комнаты, и вид у него был какой-то усталый и очень печальный.

— Здравствуйте, Янус Полуэктович, — сказали мы хором со всей возможной почтительностью.

Янус увидел попугая и еще раз сказал: «Так». Он взял птичку в руки, очень бережно и нежно, погладил ее ярко-красный хохолок и тихо проговорил:

— Что же это ты, Фотончик?..

Он хотел сказать еще что-то, но взглянул на нас и промолчал. Мы стояли рядом и смотрели, как он по-стариковски медленно прошел в дальний угол лаборатории, откинул дверцу электрической печи и опустил туда зеленый трупик.

— Роман Петрович, — сказал он. — Будьте любезны, включите, пожалуйста, рубильник.

Роман повиновался. У него был такой вид, словно его осенила необычная идея. У-Янус, понурив голову, постоял немного над печью, старательно выскреб горячий пепел и, открыв форточку, высыпал его на ветер. Он некоторое время глядел в окно, потом сказал Роману, что ждет его у себя через полчаса, и ушел.

— Странно, — сказал Роман, глядя ему вслед.

— Что — странно? — спросил я.

— Все странно, — сказал Роман.

Мне тоже казалось странным и появление этого мертвого зеленого попугая, по-видимому, так хорошо известного Янусу Полуэктовичу, и какая-то слишком уж необычная церемония огненного погребения с развеиванием пепла по ветру, но мне не терпелось рассказать про путешествие в описываемое будущее, и я стал рассказывать. Роман слушал крайне рассеянно, смотрел на меня отрешенным взглядом, невпопад кивал, а потом вдруг, сказавши: «Продолжай, продолжай, я слушаю», полез под стол, вытащил оттуда корзинку для мусора и принялся копаться в мятой бумаге и обрывках магнитофонной ленты. Когда я кончил рассказывать, он спросил:

— А этот Седловой не пытался путешествовать в описываемое _настоящее_? По-моему, это было бы гораздо забавнее...

Пока я обдумывал это предложение и радовался Романову остроумию, он перевернул корзинку и высыпал содержимое на пол.

— В чем дело? — спросил я. — Диссертацию потерял?

— Ты понимаешь, Сашка, — сказал он, глядя на меня невидящими глазами, — удивительная история. Вчера я чистил печку и нашел в ней

обгорелое зеленое перо. Я выбросил его в корзинку, а сегодня его здесь нет.

— Чье перо? — спросил я.

— Ты понимаешь, зеленые птичьи перья в наших широтах попадаются крайне редко. А попугай, которого только что сожгли, был зеленым.

— Что за ерунда, — сказал я. — Ты же нашел перо вчера.

— В том-то и дело, — сказал Роман, собирая мусор обратно в корзинку.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Стихи ненатуральны, никто не говорит стихами, кроме бидля, когда он приходит за святочным подарком, или объявления о ваксе, или какого-нибудь там простачка. Никогда не опускайтесь до поэзии, мой мальчик.

*_Ч. Диккенс_*

«Алдан» чинили всю ночь. Когда я следующим утром явился в электронный зал, невыспавшиеся злые инженеры сидели на полу и неостроумно поносили Кристобаля Хозевича. Они называли его скифом, варваром и гунном, дорвавшимся до кибернетики. Отчаяние их было так велико, что некоторое время они даже прислушивались к моим советам и пытались им следовать. Но потом пришел их главный — Саваоф Баалович Один, — и меня сразу отодвинули от машины. Я отошел в сторонку, сел за свой стол и стал наблюдать, как Саваоф Баалович вникает в суть разрушений.

Был он очень стар, но крепок и жилист, загорелый, с блестящей лысиной, с гладко выбритыми щеками, в ослепительно белом чесучовом костюме. К этому человеку все относились с большим пиететом. Я сам однажды видел, как он вполголоса выговаривал за что-то Модесту Матвеевичу, а грозный Модест стоял, льстиво склонившись перед ним, и приговаривал: «Слушаюсь... Виноват. Больше не повторится...» От Саваофа Бааловича исходила чудовищная энергия. Было замечено, что в его присутствии часы начинают спешить и распрямляются треки элементарных частиц, искривленные магнитным полем. И в то же время он не был магом. Во всяком случае, практикующим магом. Он не ходил сквозь стены, никогда никого не трансгрессировал и никогда не создавал своих

дублей, хотя работал необычайно много. Он был главой отдела Технического Обслуживания, знал до тонкостей всю технику института и числился консультантом Китежградского завода маготехники. Кроме того, он занимался самыми неожиданными и далекими от его профессии делами.

Историю Саваофа Бааловича я узнал сравнительно недавно. В незапамятные времена С. Б. Один был ведущим магом земного шара. Кристобаль Хунта и Жиан Жиакомо были учениками его учеников. Его именем заклинали нечисть. Его именем опечатывали сосуды с джиннами. Царь Соломон писал ему восторженные письма и возводил в его честь храмы. Он казался всемогущим. И вот где-то в середине шестнадцатого века он воистину _стал_ всемогущим. Проведя численное решение интегро-дифференциального уравнения Высшего Совершенства, выведенного каким-то титаном еще до ледникового периода, он обрел возможность творить _любое_ чудо. Каждый из магов имеет свой предел. Некоторые неспособны вывести растительность на ушах. Другие владеют обобщенным законом Ломоносова — Лавуазье, но бессильны перед вторым принципом термодинамики. Третьи — их совсем немного — могут, скажем, останавливать время, но только в римановом пространстве и ненадолго. Саваоф Баалович стал всемогущ. Он мог все. И он ничего не мог. Потому что граничным условием уравнения Совершенства оказалось требование, чтобы чудо не причиняло никому вреда. Никакому разумному существу. Ни на Земле, ни в иной части Вселенной. А такого чуда никто, даже сам Саваоф Баалович, представить себе не мог. И С. Б. Один навсегда оставил магию и стал заведующим отделом Технического Обслуживания НИИЧАВО...

С его приходом дела инженеров живо пошли на лад. Движения их стали осмысленными, злобные остроты прекратились. Я достал папку с очередными делами и принялся было за работу, но тут пришла Стеллочка, очень милая курносая и сероглазая ведьмочка, практикантка Выбегаллы, и позвала меня делать очередную стенгазету. Мы со Стеллой состояли в редколлегии, где писали сатирические стихи, басни и подписи под рисунками. Кроме того, я искусно рисовал почтовый ящик для заметок, к которому со всех сторон слетаются письма с крылышками. Вообще-то художником газеты был мой тезка Александр Иванович Дрозд, киномеханик, каким-то образом пробравшийся в институт. Но он был специалистом по заголовкам. Главным редактором газеты был Роман Ойра-Ойра, а его помощником — Володя Почкин.

— Саша, — сказала Стеллочка, глядя на меня честными серыми глазами. — Пойдем.

— Куда? — сказал я. Я знал куда.

— Газету делать.

— Зачем?

— Роман очень просит, потому что Кербер лается. Говорит, осталось два дня, а ничего не готово.

Кербер Псоевич Демин, товарищ завкадрами, был куратором нашей газеты, главным подгонялой и цензором.

— Слушай, — сказал я, — давай завтра, а?

— Завтра я не смогу, — сказала Стеллочка. — Завтра я улетаю в Сухуми. Павианов записывать. Выбегалло говорит, что надо вожака записать как самого ответственного... Сам он к вожаку подходить боится, потому что вожак ревнует. Пойдем, Саша, а?

Я вздохнул, сложил дела и пошел за Стеллочкой, потому что один я стихи сочинять не могу. Мне нужна Стеллочка. Она всегда дает первую строчку и основную идею, а в поэзии это, по-моему, самое главное.

— Где будем делать? — спросил я по дороге. — В месткоме?

— В месткоме занято, там прорабатывают Альфреда. За чай. А нас пустил к себе Роман.

— А о чем писать надо? Опять про баню?

— Про баню тоже есть. Про баню, про Лысую Гору. Хому Брута надо заклеймить.

— Хома наш Брут — ужасный плут, — сказал я.

— И ты, Брут, — сказала Стеллочка.

— Это идея, — сказал я. — Это надо развить.

В лаборатории Романа на столе была разложена газета — огромный девственно чистый лист ватмана. Рядом с нею среди баночек с гуашью, пульверизаторов и заметок лежал живописец и киномеханик Александр Дрозд с сигаретой на губе. Рубашечка у него, как всегда, была расстегнута, и виднелся выпуклый волосатый животик.

— Здорово, — сказал я.

— Привет, — сказал Саня.

Гремела музыка — Саня крутил портативный приемник.

— Ну, что тут у вас? — сказал я, сгребая заметки.

Заметок было немного. Была передовая «Навстречу празднику». Была заметка Кербера Псоевича «Результаты обследования состояния выполнения распоряжения дирекции о трудовой дисциплине за период конец первого — начало второго квартала». Была статья профессора Выбегаллы «Наш долг — это долг перед подшефными городскими и районными хозяйствами». Была статья Володи Почкина «О всесоюзном

совещании по электронной магии». Была заметка какого-то домового «Когда же продуют паровое отопление на четвертом этаже». Была статья председателя столового комитета «Ни рыбы, ни мяса» — шесть машинописных страниц через один интервал. Начиналась она словами: «Фосфор нужен человеку, как воздух». Была заметка Романа о работах отдела Недоступных Проблем. Для рубрики «Наши ветераны» была статья Кристобаля Хунты «От Севильи до Гренады. 1547 г.». Было еще несколько маленьких заметок, в которых критиковалось: отсутствие надлежащего порядка в кассе взаимопомощи; наличие безалаберности в организации работы добровольной пожарной дружины; допущение азартных игр в виварии (писал Конек-Горбунок, проигравший в железку недельный овсяной паек Кощею Бессмертному). Было несколько карикатур. На одной изображался Хома Брут, расхлюстанный и с лиловым носом. На другой высмеивалась баня — был нарисован голый синий человек, застывающий под ледяным душем.

— Ну и скучища! — сказал я. — А может, не надо стихов?

— Надо, — сказала Стеллочка со вздохом. — Я уже заметки и так и сяк раскладывала, все равно остается свободное место.

— А пусть Саня там чего-нибудь нарисует. Колосья какие-нибудь, расцветающие анютины глазки... А, Санька?

— Работайте, работайте, — сказал Дрозд. — Мне заголовок надо писать.

— Подумаешь, — сказал я. — Три слова написать.

— На фоне звездной ночи, — сказал Дрозд внушительно. — И ракету. И еще заголовки к статьям. А я не обедал еще. И не завтракал.

— Так сходи поешь, — сказал я.

— А мне не на что, — сказал он раздраженно. — Я магнитофон купил. В комиссионном. Вот вы тут ерундой занимаетесь, а лучше бы сделали мне пару бутербродов. С маслом и с вареньем. Или, лучше, десятку сотворите.

Я вынул рубль и показал ему издали.

— Вот заголовок напишешь — получишь.

— Насовсем? — живо сказал Саня.

— Нет. В долг.

— Ну, это все равно, — сказал он. — Только учти, что я сейчас умру. У меня уже начались спазмы. И холодеют конечности.

— Врет он все, — сказала Стеллочка. — Саша, давай вон за тот столик сядем и все стихи сейчас напишем.

Мы сели за отдельный столик и разложили перед собой карикатуры. Некоторое время мы смотрели на них в надежде, что нас осенит. Потом

Стеллочка произнесла:

— Таких людей, как этот Брут, поберегись — они сопрут!

— Что сопрут? — спросил я. — Он разве что-нибудь спер?

— Нет, — сказала Стелла. — Он хулиганил и дрался. Это я для рифмы.

Мы снова подождали. Ничего, кроме «поберегись — они сопрут», в голову мне не лезло.

— Давай рассуждать логически, — сказал я. — Имеется Хома Брут. Он напился пьяный. Дрался. Что он еще делал?

— К девушкам приставал, — сказала Стелла. — Стекло разбил.

— Хорошо, — сказал я. — Еще?

— Выражался...

— Вот странно, — подал голос Саня Дрозд. — Я с этим Брутом работал в кинобудке. Парень как парень. Нормальный...

— Ну? — сказал я.

— Ну и все.

— Ты рифму можешь дать на «Брут»? — спросил я.

— Прут.

— Уже было, — сказал я. — Сопрут.

— Да нет. Прут. Палка такая, которой секут.

Стелла сказала с выражением:

— Товарищ, пред тобою Брут. Возьмите прут, каким секут, секите Брута там и тут.

— Не годится, — сказал Дрозд. — Пропаганда телесных наказаний. Брут, прут, мнут, кнут... Все это телесные наказания.

— Помрут, — сказал я. — Или просто — мрут.

— Товарищ, пред тобою Брут, — сказала Стелла. — От слов его все мухи мрут.

— Это от ваших стихов все мухи мрут, — сказал Дрозд.

— Ты заголовок написал? — спросил я.

— Нет, — сказал Дрозд кокетливо.

— Вот и займись.

— Позорят славный институт, — сказала Стеллочка, — такие пьяницы, как Брут.

— Это хорошо, — сказал я. — Это мы дадим в конец. Запиши. Это будет мораль, свежая и оригинальная.

— Чего же в ней оригинального? — спросил простодушный Дрозд.

Я не стал с ним разговаривать.

— Теперь надо описать, — сказал я, — как он хулиганил. Скажем, так. Напился пьян, как павиан, за словом не полез в карман, был человек, стал

хулиган.

— Ужасно, — сказала Стеллочка с отвращением.

Я подпер голову руками и стал смотреть на карикатуру. Дрозд, оттопырив зад, водил кисточкой по ватману. Ноги его в предельно узких джинсах были выгнуты дугой. Меня осенило.

— Коленками назад! — сказал я. — Песенка!

— «Сидел кузнечик маленький коленками назад», — сказала Стелла.

— Точно, — сказал Дрозд, не оборачиваясь. — И я ее знаю. «Все гости расползаются коленками назад», — пропел он.

— Подожди, подожди, — сказал я. Я чувствовал вдохновение. — Дерется и бранится он, и вот вам результат: влекут его в милицию коленками назад.

— Это ничего, — сказала Стелла.

— Понимаешь? — сказал я. — Еще пару строф, и чтобы везде был рефрен «коленками назад». Упился сверх кондиции... Погнался за девицею... Что-нибудь вроде этого.

— Отчаянно напился он, — сказала Стелла. — Сам черт ему не брат. В чужую дверь вломился он коленками назад.

— Блеск! — сказал я. — Записывай. А он вламывался?

— Вламывался, вламывался.

— Отлично! — сказал я. — Ну, еще одну строфу.

— Погнался за девицею коленками назад, — сказала Стелла задумчиво. — Первую строчку нужно...

— Амуниция, — сказал я. — Полиция. Амбиция. Юстиция.

— Ютится он, — сказала Стелла. — Стремится он. Не бриться и не мыться...

— Он, — добавил Дрозд. — Это верно. Это у вас получилась художественная правда. Сроду он не брился и не мылся.

— Может, вторую строчку придумаем? — предложила Стелла. — Назад — аппарат — автомат...

— Гад, — сказал я. — Рад.

— Мат, — сказал Дрозд. — Шах, мол, и мат.

Мы опять долго молчали, бессмысленно глядя друг на друга и шевеля губами. Дрозд постукивал кисточкой о края чашки с водой.

— Играет и резвится он, — сказал я наконец, — ругаясь, как пират. Погнался за девицею коленками назад.

— «Пират» — как-то... — сказала Стеллочка.

— Тогда: сам черт ему не брат.

— Это уже было.

— Где?.. Ах да, действительно было.

— Как тигра полосат, — предложил Дрозд.

Тут послышалось легкое царапанье, и мы обернулись. Дверь в лабораторию Януса Полуэктовича медленно отворялась.

— Смотри-ка! — изумленно воскликнул Дрозд, застывая с кисточкой в руке.

В щель вполз маленький зеленый попугай с ярким красным хохолком на макушке.

— Попугайчик! — воскликнул Дрозд. — Попугай! Цып-цып-цып-цып...

Он стал делать пальцами движения, как будто крошил хлеб на пол. Попугай глядел на нас одним глазом. Затем он разинул горбатый, как нос у Романа, черный клюв и хрипло выкрикнул:

— Р-реактор! Р-реактор! Дер-ритринитация! Надо выдер-ржать!

— Какой сла-авный! — воскликнула Стелла. — Саня, поймай его...

Дрозд двинулся было к попугаю, но остановился.

— Он же, наверное, кусается, — опасливо произнес он. — Вон клюв какой.

Попугай оттолкнулся от пола, взмахнул крыльями и как-то неловко запорхал по комнате. Я следил за ним с удивлением. Он был очень похож на того, вчерашнего. Родной единокровный брат-близнец. Полным-полно попугаев, подумал я.

Дрозд отмахнулся кисточкой.

— Еще долбанет, пожалуй, — сказал он.

Попугай сел на коромысло лабораторных весов, подергался, уравновешиваясь, и разборчиво крикнул:

— Пр-роксима Центавр-р-ра! Р-рубидий! Р-рубидий!

Потом он нахохлился, втянул голову и закрыл глаза пленкой. По-моему, он дрожал. Стелла быстро сотворила кусок хлеба с повидлом, отщипнула корочку и поднесла ему под клюв. Попугай не реагировал. Его явно лихорадило, и чашки весов, мелко трясясь, позвякивали о подставку.

— По-моему, он больной, — сказал Дрозд. Он рассеянно взял из рук Стеллы бутерброд и стал есть.

— Ребята, — сказал я, — кто-нибудь раньше видел в институте попугаев?

Стелла помотала головой. Дрозд пожал плечами.

— Что-то слишком много попугаев за последнее время, — сказал я. — И вчера вот тоже...

— Наверное, Янус экспериментирует с попугаями, — сказала Стелла.

— Антигравитация или еще что-нибудь в этом роде...

Дверь в коридор отворилась, и толпой вошли Роман Ойра-Ойра, Витька Корнеев, Эдик Амперян и Володя Почкин. В комнате стало шумно. Корнеев, хорошо выспавшийся и очень бодрый, принялся листать заметки и громко издеваться над стилем. Могучий Володя Почкин, как замредактора исполняющий в основном полицейские обязанности, схватил Дрозда за толстый загривок, согнул его пополам и принялся тыкать носом в газету, приговаривая: «Заголовок где? Где заголовок, Дроздилло?» Роман потребовал от нас готовых стихов. А Эдик, не имевший к газете никакого отношения, прошел к шкафу и принялся с грохотом передвигать в нем разные приборы. Вдруг попугай заорал: «Овер-рсан! Овер-рсан!» — и все замерли.

Роман уставился на попугая. На лице его появилось давешнее выражение, словно его только что осенила необычайная идея. Володя Почкин отпустил Дрозда и сказал: «Вот так штука, попугай!» Грубый Корнеев немедленно протянул руку, чтобы схватить попугая поперек туловища, но попугай вырвался, и Корнеев схватил его за хвост.

— Оставь, Витька! — закричала Стеллочка сердито. — Что за манера — мучить животных?

Попугай заорал. Все столпились вокруг него. Корнеев держал его как голубя, Стеллочка гладила по хохолку, а Дрозд нежно перебирал попугаю перья в хвосте. Роман посмотрел на меня.

— Любопытно, — сказал он. — Правда?

— Откуда он здесь взялся, Саша? — вежливо спросил Эдик.

Я мотнул головой в сторону лаборатории Януса.

— Зачем Янусу попугай? — осведомился Эдик.

— Ты это меня спрашиваешь? — сказал я.

— Нет, это вопрос риторический, — серьезно сказал Эдик.

— Зачем Янусу два попугая? — сказал я.

— Или три, — тихонько добавил Роман.

Корнеев обернулся к нам.

— А где еще? — спросил он, с интересом озираясь.

Попугай в его руке слабо трепыхался, пытаясь ущипнуть за палец.

— Отпусти ты его, — сказал я. — Видишь, ему нездоровится.

Корнеев отпихнул Дрозда и снова посадил попугая на весы. Попугай взъерошился и растопырил крылья.

— Бог с ним, — сказал Роман. — Потом разберемся. Где стихи?

Стелла быстро протараторила все, что мы успели сочинить. Роман почесал подбородок, Володя Почкин неестественно заржал, а Корнеев

скомандовал:

— Расстрелять. Из крупнокалиберного пулемета. Вы когда-нибудь научитесь писать стихи?

— Пиши сам, — сказал я сердито.

— Я писать стихи не могу, — сказал Корнеев. — По натуре я не Пушкин. Я по натуре Белинский.

— Ты по натуре кадавр, — сказала Стелла.

— Пардон! — потребовал Витька. — Я желаю, чтобы в газете был отдел литературной критики. Я хочу писать критические статьи. Я вас всех раздолбаю! Я вам еще припомню ваше творение про дачи.

— Какое? — спросил Эдик.

Корнеев немедленно процитировал:

— «Я хочу построить дачу. Где? Вот главная задача! Только местный комитет не дает пока ответ». Было? Признавайтесь!

— Мало ли что, — сказал я. — У Пушкина тоже были неудачные стихи. Их даже в школьных хрестоматиях не полностью публикуют.

— А я знаю, — сказал Дрозд.

Роман повернулся к нему.

— У нас будет сегодня заголовок или нет?

— Будет, — сказал Дрозд. — Я уже букву «К» нарисовал.

— Какую «К»? При чем здесь «К»?

— А что, не надо было?

— Я сейчас умру, — сказал Роман. — Газета называется «За передовую магию». Покажи мне там хоть одну букву «К»!

Дрозд, уставясь в стену, пошевелил губами.

— Как же так? — сказал он наконец. — Откуда же я взял букву «К»? Была же буква «К»!

Роман рассвирепел и приказал Почкину разогнать всех по местам. Меня со Стеллой отдали под команду Корнеева. Дрозд лихорадочно принялся переделывать букву «К» в стилизованную букву «З». Эдик Амперян пытался улизнуть с психоэлектрометром, но был схвачен, скручен и брошен на починку пульверизатора, необходимого для создания звездного неба. Потом пришла очередь самого Почкина. Роман приказал ему перепечатывать заметки на машинке с одновременной правкой стиля и орфографии. Сам Роман принялся расхаживать по лаборатории, заглядывая всем через плечи.

Некоторое время работа кипела. Мы успели сочинить и забраковать ряд вариантов на банную тему: «В нашей бане завсегда льет холодная вода», «Кто до чистоты голодный, не удовлетворится водой холодной», «В

институте двести душ, все хотят горячий душ» и так далее. Корнеев безобразно ругался, как настоящий литературный критик. «Учитесь у Пушкина! — втолковывал он нам. — Или хотя бы у Почкина. Рядом с вами сидит гений, а вы не способны даже подражать ему... «Вот по дороге едет ЗИМ, и им я буду задавим...» Какая физическая сила заключена в этих строках! Какая ясность чувства!» Мы неумело отругивались. Саня Дрозд дошел до буквы «И» в слове «передовую». Эдик починил пульверизатор и опробовал его на Романовых конспектах. Володя Почкин, изрыгая проклятья, искал на машинке букву «Ц». Все шло нормально. Потом Роман вдруг сказал:

— Саша, глянь-ка сюда.

Я посмотрел. Попугай с поджатыми лапками лежал под весами, и глаза его были затянуты белесоватой пленкой, а хохолок обвис.

— Помер, — сказал Дрозд жалостливо.

Мы снова столпились около попугая. У меня не было никаких особенных мыслей в голове, а если и были, то где-то в подсознании, но я протянул руку, взял попугая и осмотрел его лапы. И сейчас же Роман спросил меня:

— Есть?

— Есть, — сказал я.

На черной поджатой лапке было колечко из белого металла, и на колечке было выгравировано: «Фотон», и стояли цифры: «190573». Я растерянно поглядел на Романа. Наверное, у нас с ним был необычный вид, потому что Витька Корнеев сказал:

— А ну, рассказывайте, что вам известно.

— Расскажем? — спросил Роман.

— Бред какой-то, — сказал я. — Фокусы, наверное. Это какие-нибудь дубли.

Роман снова внимательно осмотрел трупик.

— Да нет, — сказал он. — В том-то все и дело. Это не дубль. Это самый что ни на есть оригинальный оригинал.

— Дай посмотреть, — сказал Корнеев.

Втроем с Володей Почкиным и с Эдиком они тщательнейшим образом исследовали попугая и единогласно объявили, что это не дубль и что они не понимают, почему это нас так трогает. «Возьмем, скажем, меня, — предложил Корнеев. — Я вот тоже не дубль. Почему это вас не поражает?»

Тогда Роман оглядел сгорающую от любопытства Стеллу, открывшего рот Володю Почкина, издевательски улыбающегося Витьку и рассказал им про все — про то, как позавчера он нашел в электрической печи зеленое

перо и бросил его в корзину для мусора; и про то, как вчера этого пера в корзине не оказалось, но зато на столе (на этом самом столе) объявился мертвый попугай, точная копия вот этого, и тоже не дубль; и про то, что Янус попугая узнал, пожалел и сжег в упомянутой выше электрической печи, а пепел зачем-то выбросил в форточку.

Некоторое время никто ничего не говорил. Дрозд, рассказом Романа заинтересовавшийся слабо, пожимал плечами. На лице его было явственно видно, что он не понимает, из-за чего горит сыр-бор, и что, по его мнению, в этом учреждении случаются штучки и похлеще. Стеллочка тоже казалась разочарованной. Но тройка магистров поняла все очень хорошо, и на лицах их читался протест. Корнеев решительно сказал:

— Врете. Причем неумело.

— Это все-таки не тот попугай, — сказал вежливый Эдик. — Вы, наверное, ошиблись.

— Да тот, — сказал я. — Зеленый, с колечком.

— Фотон? — спросил Володя Почкин прокурорским голосом.

— Фотон. Янус его Фотончиком называл.

— А цифры? — спросил Володя.

— И цифры.

— Цифры те же? — спросил Корнеев грозно.

— По-моему, те же, — ответил я нерешительно, оглядываясь на Романа.

— А точнее? — потребовал Корнеев. Он прикрыл красной лапой попугая. — Повтори, какие тут цифры?

— Девятнадцать... — сказал я. — Э-э... ноль два, что ли? Шестьдесят три.

Корнеев заглянул под ладонь.

— Врешь, — сказал он. — Ты? — обратился он к Роману.

— Не помню, — сказал Роман спокойно. — Кажется не ноль три, а ноль пять.

— Нет, — сказал я. — Все-таки ноль шесть. Я помню, там такая закорючка была.

— Закорючка, — сказал Почкин презрительно. — Ше Холмсы! Нэ Пинкертоны! Закон причинности им надоел...

Корнеев засунул руки в карманы.

— Это другое дело, — сказал он. — Я даже не настаиваю на том, что вы врете. Просто вы перепутали. Попугаи все зеленые, многие из них окольцованы, эта пара была из серии «Фотон». А память у вас дырявая. Как у всех стихоплетов и редакторов стенгазет.

— Дырявая? — осведомился Роман.

— Как терка.

— Как терка? — повторил Роман, странно усмехаясь.

— Как старая терка, — пояснил Корнеев. — Ржавая. Как сеть. Крупноячеистая.

Тогда Роман, продолжая странно улыбаться, вытащил из нагрудного кармана записную книжку и перелистал страницы.

— Итак, — сказал он, — крупноячеистая и ржавая. Посмотрим... Девятнадцать ноль пять семьдесят три, — прочитал он.

Магистры рванулись к попугаю и с сухим треском столкнулись лбами.

— Девятнадцать ноль пять семьдесят три, — упавшим голосом прочитал на кольце Корнеев. Это было очень эффектно. Стеллочка немедленно завизжала от удовольствия.

— Подумаешь, — сказал Дрозд, не отрываясь от заголовка. — У меня однажды совпал номер на лотерейном билете, и я побежал в сберкассу получать автомобиль. А потом оказалось...

— Почему это ты записал номер? — сказал Корнеев, прищуриваясь на Романа. — Это у тебя привычка? Ты все номера записываешь? Может быть, у тебя и номер твоих часиков записан?

— Блестяще! — сказал Почкин. — Витька, ты молодец. Ты попал в самую точку. Роман, какой позор! Зачем ты отравил попугая? Как жестоко!

— Идиоты! — сказал Роман. — Что я вам — Выбегалло?

Корнеев подскочил к нему и осмотрел его уши.

— Иди к дьяволу! — сказал Роман. — Саша, ты только полюбуйся на них!

— Ребята, — сказал я укоризненно, — да кто же так шутит? За кого вы нас принимаете?

— А что остается делать? — сказал Корнеев. — Кто-то врет. Либо вы, либо все законы природы. Я верю в законы природы. Все остальное меняется.

Впрочем, он быстро скис, сел в сторонке и стал думать. Саня Дрозд спокойно рисовал заголовок. Стелла глядела на всех по очереди испуганными глазами. Володя Почкин быстро писал и зачеркивал какие-то формулы. Первым заговорил Эдик.

— Если даже никакие законы не нарушаются, — рассудительно сказал он, — все равно остается странным неожиданное появление большого количества попугаев в одной и той же комнате и подозрительная смертность среди них. Но я не очень удивлен, потому что не забываю, что имею дело с Янусом Полуэктовичем. Вам не кажется, что Янус

Полуэктович сам по себе прелюбопытнейшая личность?

— Кажется, — сказал я.

— И мне тоже кажется, — сказал Эдик. — Чем он, собственно, занимается, Роман?

— Смотря какой Янус. У-Янус занимается связью с параллельными пространствами.

— Гм, — сказал Эдик. — Это нам вряд ли поможет.

— К сожалению, — сказал Роман. — Я вот тоже все время думаю, как связать попугаев с Янусом, и ничего не могу придумать.

— Но ведь он странный человек? — спросил Эдик.

— Да, несомненно. Начать с того, что их двое и он один. Мы к этому так привыкли, что не думаем об этом...

— Вот об этом я и хотел сказать. Мы редко говорим о Янусе, мы слишком уважаем его. А ведь наверняка каждый из нас замечал за ним хоть одну какую-нибудь странность.

— Странность номер один, — сказал я. — Любовь к умирающим попугаям.

— Пусть так, — сказал Эдик. — Еще?

— Сплетники, — сказал Дрозд с достоинством. — Вот я однажды просил у него в долг.

— Да? — сказал Эдик.

— И он мне дал, — сказал Дрозд. — А я забыл, сколько он мне дал. И теперь не знаю, что делать.

Он замолчал. Эдик некоторое время ждал продолжения, потом сказал:

— Известно ли вам, например, что каждый раз, когда мне приходилось работать с ним по ночам, ровно в полночь он куда-то уходил и через пять минут возвращался, и каждый раз у меня создавалось впечатление, что он так или иначе старается узнать у меня, чем мы тут с ним занимались до его ухода?

— Истинно так, — сказал Роман. — Я это знаю отлично. Я уже давно заметил, что именно в полночь у него начисто отшибает память. И он об этом своем дефекте прекрасно осведомлен. Он несколько раз извинялся и говорил, что это у него рефлекторное, связанное с последствиями сильной контузии.

— Память у него никуда не годится, — сказал Володя Почкин. Он смял листок с вычислениями и швырнул его под стол. — Он все время пристает, виделся ты с ним вчера или не виделся.

— И о чем беседовали, если виделся, — добавил я.

— Память, память, — пробормотал Корнеев нетерпеливо. — При чем

здесь память? Не в этом дело. Что там у него с параллельными пространствами?..

— Сначала надо собрать факты, — сказал Эдик.

— Попугаи, попугаи, попугаи, — продолжал Витька. — Неужели это все-таки дубли?

— Нет, — сказал Володя Почкин. — Я просчитал. Это по всем категориям не дубль.

— Каждую полночь, — сказал Роман, — он идет вот в эту свою лабораторию и буквально на несколько минут запирается там. Один раз он вбежал туда так поспешно, что не успел закрыть дверь...

— И что? — спросила Стеллочка замирающим голосом.

— Ничего. Сел в кресло, посидел немножко и вернулся обратно. И сразу спросил, не беседовал ли я с ним о чем-нибудь важном.

— Я пошел, — сказал Корнеев, поднимаясь.

— И я, — сказал Эдик. — У нас сейчас семинар.

— И я, — сказал Володя Почкин.

— Нет, — сказал Роман. — Ты сиди и печатай. Назначаю тебя главным. Ты, Стеллочка, возьми Сашу и пиши стихи. А вот я пойду. Вернусь вечером, и чтобы газета была готова.

Они ушли, а мы остались делать газету. Сначала мы пытались что-нибудь придумать, но быстро утомились и поняли, что не можем. Тогда мы написали небольшую поэму об умирающем попугае.

Когда Роман вернулся, газета была готова, Дрозд лежал на столе и поглощал бутерброды, а Почкин объяснял нам со Стеллой, почему происшествие с попугаем совершенно невозможно.

— Молодцы, — сказал Роман. — Отличная газета. А какой заголовок! Какое бездонное звездное небо! И как мало опечаток!.. А где попугай?

Попугай лежал в чашке Петри, в той самой чашке и на том самом месте, где мы с Романом видели его вчера. У меня даже дух захватило.

— Кто его сюда положил? — осведомился Роман.

— Я, — сказал Дрозд. — А что?

— Нет, ничего, — сказал Роман. — Пусть лежит. Правда, Саша?

Я кивнул.

— Посмотрим, что с ним будет завтра, — сказал Роман.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Эта бедная старая невинная

птица ругается, как тысяча чертей,
но она не понимает, что говорит.

*_Р. Стивенсон_*

Однако завтра с самого утра мне пришлось заняться своими прямыми обязанностями. «Алдан» был починен и готов к бою, и, когда я пришел после завтрака в электронный зал, у дверей уже собралась небольшая очередь дублей с листками предлагаемых задач. Я начал с того, что мстительно прогнал дубля Кристобаля Хунты, написав на его листке, что не могу разобрать почерк. (Почерк у Кристобаля Хозевича был действительно неудобочитаем: Хунта писал по-русски готическими буквами.) Дубль Федора Симеоновича принес программу, составленную лично Федором Симеоновичем. Это была первая программа, которую составил сам Федор Симеонович без всяких советов, подсказок и указаний с моей стороны. Я внимательно просмотрел программу и с удовольствием убедился, что составлена она грамотно, экономно и не без остроумия. Я исправил некоторые незначительные ошибки и передал программу своим девочкам. Потом я заметил, что в очереди томится бледный и напуганный бухгалтер рыбозавода. Ему было страшно и неуютно, и я сразу принял его.

— Да неудобно как-то, — бормотал он, опасливо косясь на дублей. — Вот ведь товарищи ждут, раньше меня пришли...

— Ничего, это не товарищи, — успокоил я его.

— Ну граждане...

— И не граждане.

Бухгалтер совсем побелел и, склонившись ко мне, проговорил прерывающимся шепотом:

— То-то же я смотрю — не мигают оне... А вот этот в синем — он, по-моему, и не дышит...

Я уже отпустил половину очереди, когда позвонил Роман.

— Саша?

— Да.

— А попугая-то нет.

— Как так нет?

— А вот так.

— Уборщица выбросила?

— Спрашивал. Не только не выбрасывала, но и не видела.

— Может быть, домовые хамят?

— Это в лаборатории-то директора? Вряд ли.

— Н-да, — сказал я. — А может быть, сам Янус?

— Янус еще не приходил. И вообще, кажется, не вернулся из Москвы.

— Так как же это все понимать? — спросил я.

— Не знаю. Посмотрим.

Мы помолчали.

— Ты меня позовешь? — спросил я. — Если что-нибудь интересное...

— Ну конечно. Обязательно. Пока, дружище.

Я заставил себя не думать об этом попугае, до которого мне, в конце концов, не было никакого дела. Я отпустил всех дублей, проверил все программы и занялся гнусной задачкой, которая уже давно висела на мне. Эту гнусную задачу дали мне абсолютники. Сначала я им сказал, что она не имеет ни смысла, ни решения, как и большинство их задач. Но потом посоветовался с Хунтой, который в таких вещах разбирался очень тонко, и он мне дал несколько обнадеживающих советов. Я много раз обращался к этой задаче и снова ее откладывал, а вот сегодня добил-таки. Получилось очень изящно. Как раз когда я кончил и, блаженствуя, откинулся на спинку стула, оглядывая решение издали, пришел темный от злости Хунта. Глядя мне в ноги, голосом сухим и неприятным он осведомился, с каких это пор я перестал разбирать его почерк. Это чрезвычайно напоминает ему саботаж, сообщил он, в Мадриде в 1936 году за такие действия он приказывал ставить к стенке.

Я с умилением смотрел на него.

— Кристобаль Хозевич, — сказал я. — Я ее все-таки решил. Вы были совершенно правы. Пространство заклинаний действительно можно свернуть по любым четырем переменным.

Он поднял, наконец, глаза и посмотрел на меня. Наверное, у меня был очень счастливый вид, потому что он смягчился и проворчал:

— Позвольте посмотреть.

Я отдал ему листки, он сел рядом со мною, и мы вместе разобрали задачу с начала и до конца и с наслаждением просмаковали два изящнейших преобразования, одно из которых подсказал мне он, а другое нашел я сам.

— У нас с вами неплохие головы, Алехандро, — сказал наконец Хунта. — В нас есть артистичность мышления. Как вы находите?

— По-моему, мы молодцы, — сказал я искренне.

— Я тоже так думаю, — сказал он. — Это мы опубликуем. Это никому не стыдно опубликовать. Это не галоши-автостопы и не брюки-невидимки.

Мы пришли в отличное настроение и начали разбирать новую задачу Хунты, и очень скоро он сказал, что и раньше иногда считал себя

побрекито, а в том, что я математически невежествен, убедился при первой же встрече. Я с ним горячо согласился и высказал предположение, что ему, пожалуй, пора уже на пенсию, а меня надо в три шеи гнать из института валить лес, потому что ни на что другое я не годен. Он возразил мне. Он сказал, что ни о какой пенсии не может быть и речи, что его надлежит пустить на удобрения, а меня на километр не подпускать к лесоразработкам, где определенный интеллектуальный уровень все-таки необходим, а назначить меня надо учеником младшего черпальщика в ассенизационном обозе при холерных бараках. Мы сидели, подперев головы, и предавались самоуничижению, когда в зал заглянул Федор Симеонович. Насколько я понял, ему не терпелось узнать мое мнение о составленной им программе.

— Программа! — желчно усмехнувшись, произнес Хунта. — Я не видел твоей программы, Теодор, но я уверен, что она гениальна по сравнению с этим... — Он с отвращением подал двумя пальцами Федору Симеоновичу листок со своей задачей. — Полюбуйся, вот образец убожества и ничтожества.

— Г-голубчики, — сказал Федор Симеонович озадаченно, разобравшись в почерках. — Это же п-проблема Бен Б-бецалеля. К-калиостро же доказал, что она н-не имеет р-решения.

— Мы сами знаем, что она не имеет решения, — сказал Хунта, немедленно ощетиниваясь. — Мы хотим знать, как ее решать.

— К-как-то ты странно рассуждаешь, К-кристо... К-как же искать решение, к-когда его нет? Б-бессмыслица какая-то...

— Извини, Теодор, но это ты очень странно рассуждаешь. Бессмыслица — искать решение, если оно и так есть. Речь идет о том, как поступать с задачей, которая решения не имеет. Это глубоко принципиальный вопрос, который, как я вижу, тебе, прикладнику, к сожалению, не доступен. По-моему, я напрасно начал с тобой беседовать на эту тему.

Тон Кристобаля Хозевича был необычайно оскорбителен, и Федор Симеонович рассердился.

— В-вот что, г-голубчик, — сказал он. — Я н-не могу дискутировать с т-тобой в этом тоне п-при молодом человеке. Т-ты меня удивляешь. Это н-неп-педагогично. Если тебе угодно п-продолжать, изволь выйти со мной в к-коридор.

— Изволь, — отвечал Хунта, распрямляясь как пружина и судорожно хватая у бедра несуществующий эфес.

Они церемонно вышли, гордо задрав головы и не глядя друг на друга.

Девочки захихикали. Я тоже не особенно испугался. Я сел, обхватив руками голову, над оставленным листком и некоторое время краем уха слушал, как в коридоре могуче рокочет бас Федора Симеоновича, прорезаемый сухими гневными вскриками Кристобаля Хозевича. Потом Федор Симеонович взревел: «Извольте пройти в мой кабинет!» — «Извольте!» — проскрежетал Хунта. Они были уже на «вы». И голоса удалились. «Дуэль! Дуэль!» — защебетали девочки. О Хунте ходила лихая слава бретёра и забияки. Говорили, что он приводит противника в свою лабораторию, предлагает на выбор рапиры, шпаги или алебарды, а затем принимается а-ля Жан Маре скакать по столам и опрокидывать шкафы. Но за Федора Симеоновича можно было не беспокоиться. Было ясно, что в кабинете они в течение получаса будут мрачно молчать через стол, потом Федор Симеонович тяжело вздохнет, откроет погребец и наполнит две рюмки эликсиром Блаженства. Хунта пошевелит ноздрями, закрутит ус и выпьет. Федор Симеонович незамедлительно наполнит рюмки вновь и крикнет в лабораторию свежих огурчиков.

В это время позвонил Роман и странным голосом сказал, чтобы я немедленно поднялся к нему. Я побежал наверх.

В лаборатории были Роман, Витька и Эдик. Кроме того, в лаборатории был зеленый попугай. Живой. Он сидел, как и вчера, на коромысле весов, рассматривал всех по очереди то одним, то другим глазом, копался клювом в перьях и чувствовал себя, по-видимому, превосходно. Ученые, в отличие от него, выглядели неважно. Роман, понурившись, стоял над попугаем и время от времени судорожно вздыхал. Бледный Эдик осторожно массировал себе виски с мучительным выражением на лице, словно его глодала мигрень. А Витька, верхом на стуле, раскачивался как мальчик, играющий в лошадки, и неразборчиво бормотал, лихорадочно тараща глаза.

— Тот самый? — спросил я вполголоса.

— Тот самый, — сказал Роман.

— Фотон? — Я тоже почувствовал себя неважно.

— Фотон.

— И номер совпадает?

Роман не ответил. Эдик сказал болезненным голосом:

— Если бы мы знали, сколько у попугаев перьев в хвосте, мы могли бы их пересчитать и учесть то перо, которое было потеряно позавчера.

— Хотите, я за Бремом сбегаю? — предложил я.

— Где покойник? — спросил Роман. — Вот с чего нужно начинать! Слушайте, детективы, где труп?

— Тр-руп! — рявкнул попугай. — Цер-ремония! Тр-руп за бор-рт! Р-

рубидий!

— Черт знает что он говорит, — сказал Роман с сердцем.

— Труп за борт — это типично пиратское выражение, — пояснил Эдик.

— А рубидий?

— Р-рубидий! Резер-рв! Огр-ромен! — сказал попугай.

— Резервы рубидия огромны, — перевел Эдик. — Интересно, где?

Я наклонился и стал разглядывать колечко.

— А может быть, это все-таки не тот?

— А где тот? — спросил Роман.

— Ну, это другой вопрос, — сказал я. — Все-таки это проще объяснить.

— Объясни, — предложил Роман.

— Подожди, — сказал я. — Давай сначала решим вопрос: тот или не тот?

— По-моему, тот, — сказал Эдик.

— А по-моему, не тот, — сказал я. — Вот здесь на колечке царапина, где тройка...

— Тр-ройка! — произнес попугай. — Тр-ройка! Кр-руче впр-раво! Смер-рч! Смер-рч!

Витька вдруг встрепенулся.

— Есть идея, — сказал он.

— Какая?

— Ассоциативный допрос.

— Как это?

— Погодите. Сядьте все, молчите и не мешайте. Роман, у тебя есть магнитофон?

— Есть диктофон.

— Давай сюда. Только все молчите. Я его сейчас расколю, прохвоста. Он у меня все скажет.

Витька подтащил стул, сел с диктофоном в руке напротив попугая, нахохлился, посмотрел на попугая одним глазом и гаркнул:

— Р-рубидий!

Попугай вздрогнул и чуть не свалился с весов. Помахав крыльями, чтобы восстановить равновесие, он отозвался:

— Р-резерв! Кр-ратер Р-ричи!

Мы переглянулись.

— Р-резерв! — гаркнул Витька.

— Огр-ромен! Гр-руды! Гр-руды! Р-ричи пр-рав! Р-ричи пр-рав! Р-

роботы! Р-роботы!

— Роботы!

— Кр-рах! Гор-рят! Атмосфер-ра гор-рит! Пр-рочь! Др-рамба, пр-рочь!

— Драмба!

— Р-рубидий! Р-резерв!

— Рубидий!

— Р-резерв! Кр-ратер Р-ричи!

— Замыкание, — сказал Роман. — Круг.

— Погоди, погоди, — бормотал Витька. — Сейчас...

— Попробуй что-нибудь из другой области, — посоветовал Эдик.

— Янус! — сказал Витька.

Попугай открыл клюв и чихнул.

— Я-нус, — повторил Витька строго.

Попугай задумчиво смотрел в окно.

— Буквы «р» нет, — сказал я.

— Пожалуй, — сказал Витька. — А ну-ка... Невстр-руев!

— Пер-рехожу на пр-рием! — сказал попугай. — Чар-родей! Чар-родей! Говор-рит Кр-рыло, говор-рит Кр-рыло!

— Это не пиратский попугай, — сказал Эдик.

— Спроси его про труп, — попросил я.

— Труп, — неохотно сказал Витька.

— Цер-ремония погр-ребения! Вр-ремя огр-раничено! Р-речь! Р-речь! Тр-репотня! Р-работать! Р-работать!

— Любопытные у него были хозяева, — сказал Роман. — Что же нам делать?

— Витя, — сказал Эдик. — У него, по-моему, космическая терминология. Попробуй что-нибудь простое, обыденное.

— Водородная бомба, — сказал Витька.

Попугай наклонил голову и почистил лапкой клюв.

— Паровоз! — сказал Витька.

Попугай промолчал.

— Да, не получается, — сказал Роман.

— Вот дьявол, — сказал Витька, — ничего не могу придумать обыденного с буквой «р». Стул, стол, потолок... Диван... О! Тр-ранслятор!

Попугай поглядел на Витьку одним глазом.

— Кор-рнеев, пр-рошу!

— Что? — спросил Витька. Впервые в жизни я видел, как Витька растерялся.

— Кор-рнеев гр-руб! Гр-руб! Пр-рекрасный р-работник! Дур-рак р-

редкий! Пр-релесть!

Мы захихикали. Витька посмотрел на нас и мстительно сказал:

— Ойр-ра-Ойр-ра!

— Стар-р, стар-р! — с готовностью откликнулся попугай. — Р-рад! Дор-рвался!

— Это что-то не то, — сказал Роман.

— Почему же не то? — сказал Витька. — Очень даже то... Пр-ривалов!

— Пр-ростодушный пр-роект! Пр-римитив! Тр-рудяга!

— Ребята, он нас всех знает, — сказал Эдик.

— Р-ребята, — отозвался попугай. — Зер-рнышко пер-рцу! Зер-ро! Зер-ро! Гр-равитация!

— Амперян, — торопливо сказал Витька.

— Кр-ематорий! Безвр-ременно обор-рвалась! — сказал попугай, подумал и добавил: — Ампер-рметр!

— Бессвязица какая-то, — сказал Эдик.

— Бессвязиц не бывает, — задумчиво сказал Роман.

Витька, щелкнув замочком, открыл диктофон.

— Лента кончилась, — сказал он. — Жаль.

— Знаете что, — сказал я, — по-моему, проще всего спросить у Януса. Что это за попугай, откуда он, и вообще...

— А кто будет спрашивать? — осведомился Роман.

Никто не вызвался. Витька предложил прослушать запись, и мы согласились. Все это звучало очень странно. При первых же словах из диктофона попугай перелетел на плечо Витьки и стал с видимым интересом слушать, вставляя иногда реплики вроде: «Др-рамба игнор-рирует ур-ран», «Пр-равильно» и «Кор-рнеев гр-руб, гр-руб, гр-руб!». Когда запись кончилась, Эдик сказал:

— В принципе, можно было бы составить лексический словарь и проанализировать его на машине. Но кое-что ясно и так. Во-первых, он всех нас знает. Это уже удивительно. Это значит, что он много раз слышал наши имена. Во-вторых, он знает про роботов. И про рубидий. Кстати, где употребляется рубидий?

— У нас в институте, — сказал Роман, — он, во всяком случае, нигде не употребляется.

— Это что-то вроде натрия, — сказал Корнеев.

— Рубидий — ладно, — сказал я. — Откуда он знает про лунные кратеры?

— Почему именно лунные?

— А разве на Земле горы называют кратерами?

— Ну, во-первых, есть кратер Аризона, а во-вторых, кратер — это не гора, а скорее дыра.

— Дыр-ра вр-ремени, — сообщил попугай.

— У него прелюбопытнейшая терминология, — сказал Эдик. — Я никак не могу назвать ее общеупотребительной.

— Да, — согласился Витька. — Если попугай все время находится при Янусе, то Янус занимается странными делами.

— Стр-ранный ор-рбитальный пер-реход, — сказал попугай.

— Янус не занимается космосом, — сказал Роман. — Я бы знал.

— Может быть, раньше занимался?

— И раньше не занимался.

— Роботы какие-то, — с тоской сказал Витька. — Кратеры... При чем здесь кратеры?

— Может быть, Янус читает фантастику? — предположил я.

— Вслух? Попугаю?

— Н-да...

— Венера, — сказал Витька, обращаясь к попугаю.

— Р-роковая стр-расть, — сказал попугай. Он задумался и пояснил: — Р-разбился. Зр-ря.

Роман поднялся и стал ходить по лаборатории. Эдик лег щекой на стол и закрыл глаза.

— А как он здесь появился? — спросил я.

— Как вчера, — сказал Роман. — Из лаборатории Януса.

— Вы это сами видели?

— Угу.

— Я одного не понимаю, — сказал я. — Он умирал или не умирал?

— А мы откуда знаем? — сказал Роман. — Я не ветеринар. А Витька не орнитолог. И вообще это, может быть, не попугай.

— А что?

— А я откуда знаю?

— Это может быть сложная наведенная галлюцинация, — сказал Эдик, не открывая глаз.

— Кем наведенная?

— Вот об этом я сейчас и думаю, — сказал Эдик.

Я надавил пальцем на глаз и посмотрел на попугая. Попугай раздвоился.

— Он раздваивается, — сказал я. — Это не галлюцинация.

— Я сказал: сложная галлюцинация, — напомнил Эдик.

Я надавил на оба глаза. Я временно ослеп.

— Вот что, — сказал Корнеев. — Я заявляю, что мы имеем дело с нарушением причинно-следственного закона. Поэтому выход один — все это галлюцинация, а нам нужно встать, построиться и с песнями идти к психиатру. Становись!

— Не пойду, — сказал Эдик. — У меня есть еще одна идея.

— Какая?

— Не скажу.

— Почему?

— Побьете.

— Мы тебя и так побьем.

— Бейте.

— Нет у тебя никакой идеи, — сказал Витька. — Это все тебе кажется. Айда к психиатру.

Дверь скрипнула, и в лабораторию из коридора вошел Янус Полуэктович.

— Так, — сказал он. — Здравствуйте.

Мы встали. Он обошел нас и по очереди пожал каждому руку.

— Фотончик опять здесь? — сказал он, увидя попугая. — Он вам не мешает, Роман Петрович?

— Мешает? — сказал Роман. — Мне? Почему он мешает? Он не мешает. Наоборот...

— Ну, все-таки каждый день... — начал Янус Полуэктович и вдруг осекся. — О чем это мы с вами вчера беседовали? — спросил он, потирая лоб.

— Вчера вы были в Москве, — сказал Роман с покорностью в голосе.

— Ах... да-да. Ну хорошо. Фотончик! Иди сюда!

Попугай, вспорхнув, сел Янусу на плечо и сказал ему на ухо:

— Пр-росо, пр-росо! Сахар-рок!

Янус Полуэктович нежно заулыбался и ушел в свою лабораторию. Мы обалдело посмотрели друг на друга.

— Пошли отсюда, — сказал Роман.

— К психиатру! К психиатру! — зловеще бормотал Корнеев, пока мы шли по коридору к нему на диван. — В кратер Ричи. Др-рамба! Сахар-рок!

ГЛАВА ПЯТАЯ

Фактов всегда достаточно — не хватает фантазии.

Витька составил на пол контейнеры с живой водой, мы повалились на диван-транслятор и закурили. Через некоторое время Роман спросил:

— Витька, а ты диван выключил?

— Да.

— Что-то мне в голову ерунда какая-то лезет.

— Выключил и заблокировал, — сказал Витька.

— Нет, ребята, — сказал Эдик, — а почему все-таки не галлюцинация?

— Кто говорит, что не галлюцинация? — спросил Витька. — Я же предлагаю — к психиатру.

— Когда я ухаживал за Майкой, — сказал Эдик, — я наводил такие галлюцинации, что самому страшно становилось.

— Зачем? — спросил Витька.

Эдик подумал.

— Не знаю, — сказал он. — Наверное, от восторга.

— Я спрашиваю: зачем кому-то наводить на нас галлюцинации? — сказал Витька. — И потом, мы же не Майка. Мы, слава богу, магистры. Кто нас может одолеть? Ну, Янус. Ну, Киврин, Хунта. Может быть, Жиакомо еще.

— Вот Саша у нас слабоват, — извиняющимся тоном сказал Эдик.

— Ну и что? — спросил я. — Мне, что ли, одному мерещится?

— Вообще-то это можно было бы проверить, — задумчиво сказал Витька. — Если Сашку... того... этого...

— Но-но, — сказал я. — Вы мне это прекратите. Других способов нет, что ли? Надавите на глаз. Или дайте диктофон постороннему человеку. Пусть прослушает и скажет, есть там запись или нет.

Магистры жалостливо улыбнулись.

— Хороший ты программист, Саша, — сказал Эдик.

— Салака, — сказал Корнеев. — Личинка.

— Да, Сашенька, — вздохнул Роман. — Ты даже представить себе не можешь, я вижу, что такое настоящая, подробная, тщательно наведенная галлюцинация.

На лицах магистров появилось мечтательное выражение — видимо, их осенили сладкие воспоминания. Я смотрел на них с завистью. Они улыбались. Они жмурились. Они подмигивали кому-то. Потом Эдик вдруг сказал:

— Всю зиму у нее цвели орхидеи. Они пахли самым лучшим запахом, какой я только мог выдумать...

Витька очнулся.

— Берклеанцы, — сказал он. — Солипсисты немытые. «Как ужасно мое представленье!»

— Да, — сказал Роман. — Галлюцинации — это не предмет для обсуждения. Слишком простодушно. Мы не дети и не бабки. Не хочу быть агностиком. Какая там у тебя была идея, Эдик?

— У меня?.. Ах да, была. Тоже, в общем-то, примитив. Матрикаты.

— Гм, — сказал Роман с сомнением.

— А как это? — спросил я.

Эдик неохотно объяснил, что кроме известных мне дублей существуют еще матрикаты — точные, абсолютные копии предметов или существ. В отличие от дублей матрикат совпадает с оригиналом с точностью до атомной структуры. Различить их обычными методами невозможно. Нужны специальные установки, и вообще это очень сложная и трудоемкая работа. В свое время Бальзамо получил магистра-академика за доказательство матрикатной природы Филиппа Бурбона, известного в народе под прозвищем «Железная Маска». Этот матрикат Людовика Четырнадцатого был создан в тайных лабораториях иезуитов с целью захватить французский престол. В наше время матрикаты изготавливаются методом биостереографии а-ля Ришар Сэгюр.

Я не знал тогда, кто такой Ришар Сэгюр, но я сразу сказал, что идея о матрикатах может объяснить только необычайное сходство попугаев. И все. Например, остается по-прежнему непонятным, куда исчез вчерашний дохлый попугай.

— Да, это так, — сказал Эдик. — Я и не настаиваю. Тем более, что Янус не имеет никакого отношения к биостереографии.

— Вот именно, — сказал я смелее. — Тогда уж лучше предположить путешествие в описываемое будущее. Знаете? Как Луи Седловой.

— Ну? — сказал Корнеев без особого интереса.

— Просто Янус летает в какой-нибудь фантастический роман, забирает оттуда попугая и привозит сюда. Попугай сдохнет, он снова летит на ту же самую страницу и опять... Тогда понятно, почему попугаи похожи. Это один и тот же попугай, и понятно, почему у него такой научно-фантастический лексикон. И вообще, — продолжал я, чувствуя, что все получается не так уж глупо, — можно даже попытаться объяснить, почему Янус все время задает вопросы: он каждый раз боится, что вернулся не в тот день, в который следует... По-моему, я все здорово объяснил, а?

— А что, есть такой фантастический роман? — с любопытством спросил Эдик. — С попугаем?..

— Не знаю, — сказал я честно. — Но у них там в звездолетах всякие животные бывают. И кошки, и обезьяны, и дети... Опять же, на Западе существует обширнейшая фантастика, все не перечитаешь...

— Ну... во-первых, попугай из западной фантастики вряд ли станет говорить по-русски, — сказал Роман. — А главное, совершенно непонятно, каким образом эти космические попугаи — пусть даже из советской фантастики — могут знать Корнеева, Привалова и Ойру-Ойру...

— Я уже не говорю о том, — лениво сказал Витька, — что перебрасывать материальное тело в идеальный мир — это одно, а идеальное тело в материальный мир — это уже другое. Сомневаюсь я, чтобы нашелся писатель, создавший образ попугая, пригодный для самостоятельного существования в реальном мире.

Я вспомнил полупрозрачных изобретателей и не нашелся, что возразить.

— Впрочем, — благосклонно продолжал Витька, — наш Сашенция подает определенные надежды. В его идее ощущается некое благородное безумие.

— Не стал бы Янус сжигать идеального попугая, — убежденно сказал Эдик. — Ведь идеальный попугай даже протухнуть не может.

— А почему? — сказал вдруг Роман. — Почему мы так непоследовательны? Почему Седловой? С какой стати Янус будет повторять Л. Седлового? У Януса есть тема. У Януса есть своя проблематика. Янус занимается параллельными пространствами. Давайте исходить из этого!

— Давайте, — сказал я.

— Ты думаешь, что Янусу удалось связаться с каким-нибудь параллельным пространством? — спросил Эдик.

— Связь он наладил уже давно. Почему не предположить, что он пошел дальше? Почему не предположить, что он налаживает переброску материальных тел? Эдик прав, это матрикаты, это и должны быть матрикаты, потому что необходима гарантия полной идентичности перебрасываемого предмета. Режим переброски они подбирают, исходя из эксперимента. Первые две переброски были неудачны: попугаи дохли. Сегодня эксперимент, кажется, удался...

— Почему они говорят по-русски? — спросил Эдик. — И почему все-таки у попугаев такой лексикон?

— Значит, и там есть Россия, — сказал Роман. — Но там уже добывают рубидий в кратере Ричи.

— Сплошные натяжки, — сказал Витька. — Почему именно попугаи?

Почему не собаки и не морские свинки? Почему не просто магнитофоны, наконец? И опять же, откуда эти попугаи знают, что Ойра-Ойра стар, а Корнеев — прекрасный работник?

— Грубый, — подсказал я.

— Грубый, но прекрасный. И куда все-таки девался дохлый попугай?

— Вот что, — сказал Эдик. — Так нельзя. Мы работаем как дилетанты. Как авторы любительских писем: «Дорогие ученые! У меня который год в подполе происходит подземный стук. Объясните, пожалуйста, как он происходит». Система нужна. Где у тебя бумага, Витя? Сейчас мы все распишем...

И мы расписали все красивым Эдиковым почерком.

Во-первых, мы приняли постулат, что происходящее не является галлюцинацией, иначе было бы просто неинтересно. Потом мы сформулировали вопросы, на которые искомая гипотеза должна была дать ответ. Эти вопросы мы разделили на две группы: группа «Попугай» и группа «Янус». Группа «Янус» была введена по настоянию Романа и Эдика, которые заявили, что всем нутром чуют связь между странностями Януса и странностями попугаев. Они не смогли ответить на вопрос Корнеева, каков физический смысл понятий «нутро» и «чуять», но подчеркнули, что Янус сам по себе представляет любопытнейший объект для исследования и что яблочко от яблони далеко не падает. Поскольку я своего мнения не имел, они оказались в большинстве, и окончательный список вопросов выглядел так.

Почему попугаи за номером один, два и три, наблюдавшиеся соответственно десятого, одиннадцатого и двенадцатого, похожи друг на друга до такой степени, что были приняты нами сначала за одного и того же?

Почему Янус сжег первого попугая, а также, вероятно, и того, который был перед первым (нулевого) и от которого осталось только перо?

Куда девалось перо?

Куда девался второй (издохший) попугай?

Как объяснить странный лексикон второго и третьего попугаев?

Как объяснить, что третий знает всех нас, в то время как мы видим его впервые?

(«Почему и от чего издохли попугаи?» — добавил было я, но Корнеев проворчал: «Почему и от чего первым признаком отравления является посинение трупа?» — и мой вопрос не записали.)

Что объединяет Януса и попугаев?

Почему Янус никогда не помнит, с кем и о чем он беседовал вчера?

Что происходит с Янусом в полночь?

Почему У-Янус имеет странную манеру говорить в будущем времени, в то время как за А-Янусом ничего подобного не замечалось?

Почему их вообще двое, и откуда, собственно, пошла легенда, что Янус Полуэктович един в двух лицах?

После этого мы некоторое время старательно думали, поминутно заглядывая в листок. Я все надеялся, что меня вновь осенит благородное безумие, но мысли мои рассеивались, и я чем дальше, тем больше начинал склоняться к точке зрения Сани Дрозда: что в этом институте и не такие штучки вытворяются. Я понимал, что этот дешевый скептицизм есть попросту следствие моего невежества и непривычки мыслить категориями измененного мира, но это уже от меня не зависело. Все происходящее, рассуждал я, по-настоящему удивительно, только если считать, что эти три или четыре попугая — один и тот же попугай. Они действительно так похожи друг на друга, что вначале я был введен в заблуждение. Это естественно. Я математик, я уважаю числа, и совпадение номеров — в особенности шестизначных — для меня автоматически ассоциируется с совпадением пронумерованных предметов. Однако ясно, что это не может быть один и тот же попугай — тогда нарушался бы закон причинно-следственной связи, закон, от которого я совершенно не собирался отказываться из-за каких-то паршивых попугаев, да еще дохлых вдобавок. А если это не один и тот же попугай, то вся проблема мельчает. Ну, совпадают номера. Ну, кто-то незаметно от нас выбросил попугая. Ну, что там еще? Лексикон? Подумаешь, лексикон... Наверняка этому есть какое-нибудь очень простое объяснение. Я собрался было уже произнести по этому поводу речь, как вдруг Витька сказал:

— Ребята, кажется, я догадываюсь.

Мы не сказали ни слова. Мы только повернулись к нему — одновременно и с шумом. Витька встал.

— Это просто, как блин, — сказал он. — Это тривиально. Это плоско и банально. Это даже неинтересно рассказывать...

Мы медленно поднимались. У меня было такое ощущение, будто я читаю последние страницы захватывающего детектива. Весь мой скептицизм как-то сразу испарился.

— Контрамоция! — изрек Витька.

Эдик лег.

— Хорошо! — сказал он. — Молодец!

— Контрамоция? — сказал Роман. — Что ж... Ага... — Он завертел пальцами. — Так... Угу... А если так?.. Да, тогда понятно, почему он нас

всех знает... — Роман сделал широкий приглашающий жест. — Идут, значит, оттуда...

— И поэтому он спрашивает, о чем беседовал вчера, — подхватил Витька. — И фантастическая терминология...

— Да подождите вы! — завопил я. Последняя страница детектива оказалась написана по-арабски. — Подождите! Какая контрамоция?

— Нет, — сказал Роман с сожалением, и сейчас же по лицу Витьки стало ясно, что он тоже понял, что контрамоция не пойдет. — Не получается, — сказал Роман. — Это как кино... Представь себе кино...

— Какое кино?! — закричал я. — Помогите!!!

— Кино наоборот, — пояснил Роман. — Понимаешь? Контрамоция.

— Дрянь собачья, — расстроенно сказал Витька и лег на диван носом в сложенные руки.

— Да, не получается, — сказал Эдик тоже с сожалением. — Саша, ты не волнуйся: все равно не получается. Контрамоция — это, по определению, движение по времени в обратную сторону. Как нейтрино. Но вся беда в том, что если бы попугай был контрамотом, он летал бы задом наперед и не умирал бы на наших глазах, а оживал бы... А вообще-то идея хорошая. Попугай-контрамот действительно мог бы знать кое-что о космосе. Он же живет из будущего в прошлое. А контрамот-Янус действительно не мог бы знать, что происходило в нашем «вчера». Потому что наше «вчера» было бы для него «завтра».

— В том-то и дело, — сказал Витька. — Я так и подумал: почему попугай говорил про Ойру-Ойру «стар»? И почему Янус иногда так ловко и в деталях предсказывает, что будет завтра? Помнишь случай на полигоне, Роман? Напрашивалось, что они из будущего...

— Послушайте, а разве это возможно — контрамоция? — сказал я.

— Теоретически возможно, — сказал Эдик. — Ведь половина вещества во Вселенной движется в обратную сторону по времени. Практически же этим никто не занимался.

— Кому это нужно и кто это выдержит? — сказал Витька мрачно.

— Положим, это был бы замечательный эксперимент, — заметил Роман.

— Не эксперимент, а самопожертвование... — проворчал Витька. — Как хотите, а есть в этом что-то от контрамоции... Нутром чую.

— Ах, нутром!.. — сказал Роман, и все замолчали.

Пока они молчали, я лихорадочно суммировал, что же мы имеем на практике. Если контрамоция теоретически возможна, значит, теоретически возможно нарушение причинно-следственного закона. Собственно, даже не

нарушение, потому что закон этот остается справедлив в отдельности и для нормального мира, и для мира контрамота... А значит, можно все-таки предположить, что попугаев не три и не четыре, а всего один, один и тот же. Что получается? Десятого с утра он лежит дохлый в чашке Петри. Затем его сжигают, превращают в пепел и развеивают по ветру. Тем не менее утром одиннадцатого он жив опять. Не только не испепелен, но цел и невредим. Правда, к середине дня он издыхает и снова оказывается в чашке Петри. Это чертовски важно! Я чувствовал, что это чертовски важно — чашка Петри... Единство места!.. Двенадцатого попугай опять жив и просит сахарок... Это не контрамоция, это не фильм, пущенный наоборот, но что-то от контрамоции здесь все-таки есть... Витька прав... Для контрамота ход событий таков: попугай жив, попугай умирает, попугая сжигают. С нашей точки зрения, если отвлечься от деталей, получается как раз наоборот: попугая сжигают, попугай умирает, попугай жив... Словно фильм разрезали на три куска и показывают сначала третий кусок, потом второй, а потом уже первый... Какие-то разрывы непрерывности... Разрывы непрерывности... Точки разрыва...

— Ребята, — сказал я замирающим голосом, — а контрамоция обязательно должна быть непрерывной?

Некоторое время они не реагировали. Эдик курил, пуская дым в потолок, Витька неподвижно лежал на животе, а Роман бессмысленно смотрел на меня. Потом глаза его расширились.

— Полночь! — сказал он страшным шепотом.

Все вскочили.

Было так, точно я на кубковом матче забил решающий гол. Они бросались на меня, они слюнявили мои щеки, они били меня по спине и по шее, они повалили меня на диван и повалились сами. «Умница!» — вопил Эдик. «Голова!» — ревел Роман. «А я-то думал, что ты у нас дурак!» — приговаривал грубый Корнеев. Затем они успокоились, и дальше все пошло как по маслу.

Сначала Роман ни с того ни с сего заявил, что теперь он знает тайну Тунгусского метеорита. Он пожелал сообщить ее нам немедленно, и мы с радостью согласились, как ни парадоксально это звучит. Мы не торопились приступить к тому, что интересовало нас больше всего. Нет, мы совсем не торопились! Мы чувствовали себя гурманами. Мы не накидывались на яства. Мы вдыхали ароматы, мы закатывали глаза и чмокали, мы потирали руки, ходя вокруг, мы предвкушали...

— Давайте, наконец, внесем ясность, — вкрадчивым голосом начал Роман, — в запутанную проблему Тунгусского дива. До нас этой

проблемой занимались люди, абсолютно лишенные фантазии. Все эти кометы, метеориты из антивещества, самовзрывающиеся атомные корабли, всякие там космические облака и квантовые генераторы — все это слишком банально, а значит далеко от истины. Для меня Тунгусский метеорит всегда был кораблем пришельцев, и я всегда полагал, что корабль не могут найти на месте взрыва просто потому, что его там давно уже нет. До сегодняшнего дня я думал, что падение Тунгусского метеорита есть не посадка корабля, а его взлет. И уже эта черновая гипотеза многое объясняла. Идеи дискретной контрамоции позволяют покончить с этой проблемой раз и навсегда... Что же произошло тридцатого июня тысяча девятьсот восьмого года в районе Подкаменной Тунгуски? Примерно в середине _июля_ того же года в околосолнечное пространство вторгся корабль пришельцев. Но это не были простые, безыскусные пришельцы фантастических романов. Это были контрамоты, товарищи! Люди, прибывшие в наш мир из другой Вселенной, где время течет навстречу нашему. В результате взаимодействия противоположных потоков времени они из обыкновенных контрамотов, воспринимающих нашу Вселенную как фильм, пущенный наоборот, превратились в контрамотов дискретного типа. Природа этой дискретности нас пока не интересует. Важно другое. Важно то, что жизнь их в нашей Вселенной стала подчинена определенному ритмическому циклу. Если предположить для простоты, что единичный цикл был у них равен земным суткам, то существование их, с нашей точки зрения, выглядело бы так. В течение, скажем, первого июля они живут, работают и питаются совершенно как мы. Однако ровно, скажем, в полночь они вместе со своим оборудованием переходят не во второе июля, как это делаем мы, простые смертные, а в самое начало тридцатого июня, то есть не на мгновенье вперед, а на двое суток назад, если рассуждать с нашей точки зрения. Точно так же в конце тридцатого июня они переходят не в первое июля, а в самое начало двадцать девятого июня. И так далее. Оказавшись в непосредственной близости от Земли, наши контрамоты с изумлением обнаружили, если не обнаружили этого еще раньше, что Земля совершает на своей орбите весьма странные скачки — скачки, чрезвычайно затрудняющие астронавигацию. Кроме того, находясь над Землею первого июля в нашем счете времени, они обнаружили в самом центре гигантского Евразийского материка мощный пожар, дым которого они наблюдали в могучие телескопы и раньше — второго, третьего и так далее июля в нашем счете времени. Катаклизм и сам по себе заинтересовал их, однако научное их любопытство было окончательно распалено, когда утром тридцатого июня — в нашем счете времени — они заметили, что никакого

пожара нет и в помине, а под кораблем расстилается спокойное зеленое море тайги. Заинтригованный капитан приказал посадку в том самом месте, где он вчера — в его счете времени — своими глазами наблюдал эпицентр огненной катастрофы. Дальше пошло как полагается. Защелкали тумблеры, замерцали экраны, загремели планетарные двигатели, в которых взрывался ка-гамма-плазмоин...

— Как-как? — спросил Витька.

— Ка-гамма-плазмоин. Или, скажем, мю-дельта-ионопласт. Корабль, окутанный пламенем, рухнул в тайгу и, естественно, зажег ее. Именно эту картину и наблюдали крестьяне села Карелинского и другие люди, вошедшие впоследствии в историю как очевидцы. Пожар был ужасен. Контрамоты выглянули было наружу, затрепетали и решили переждать за тугоплавкими и жаростойкими стенами корабля. До полуночи они с трепетом прислушивались к свирепому реву и треску пламени, а ровно в полночь все вдруг стихло. И не удивительно. Контрамоты вступили в свой новый день — двадцать девятое июня по нашему времяисчислению. И когда отважный капитан с огромными предосторожностями решился около двух часов ночи высунуться наружу, он увидел в свете мощных прожекторов спокойно качающиеся сосны и тут же подвергся нападению тучи мелких кровососущих насекомых, известных под названием гнуса или мошки в нашей терминологии.

Роман перевел дух и оглядел нас. Нам очень нравилось. Мы предвкушали, как точно так же разделаем под орех тайну попугая.

— Дальнейшая судьба пришельцев-контрамотов, — продолжал Роман, — не должна нас интересовать. Может быть, числа пятнадцатого июня они тихо и бесшумно, используя на этот раз ничего не воспламеняющую альфа-бета-гамма-антигравитацию, снялись со странной планеты и вернулись домой. Может быть, они все до одного погибли, отравленные комариной слюной, а их космический корабль еще долго торчал на нашей планете, погружаясь в пучину времени, и на дне Силурийского моря по нему ползали трилобиты. Не исключено также, что где-нибудь в девятьсот шестом или, скажем, в девятьсот первом году набрел на него таежный охотник и долго потом рассказывал об этом приятелям, которые, как и следует быть, ни на грош ему не верили. Заканчивая свое небольшое выступление, я позволю себе выразить сочувствие славным исследователям, которые тщетно пытались обнаружить что-нибудь в районе Подкаменной Тунгуски. Завороженные очевидностью, они интересовались только тем, что происходило в тайге после взрыва, и никто из них не попытался узнать, что там было _до_. Дикси[30].

Роман откашлялся и выпил кружку живой воды.

— У кого есть вопросы к докладчику? — осведомился Эдик. — Нет вопросов? Превосходно. Вернемся к нашим попугаям. Кто просит слово?

Слово просили все. И все заговорили. Даже Роман, который слегка охрип. Мы рвали друг у друга листочек со списком вопросов и вычеркивали вопросы один за другим, и через какие-нибудь полчаса была составлена исчерпывающе ясная и детально разработанная картина наблюдаемого явления.

В тысяча восемьсот сорок первом году в семье небогатого помещика и отставного армейского прапорщика Полуэкта Хрисанфовича Невструева родился сын. Назвали его Янусом в честь дальнего родственника Януса Полуэктовича Невструева, точно предсказавшего пол, а также день и даже час рождения младенца. Родственник этот, тихий скромный старичок, переехал в поместье отставного прапорщика вскоре после наполеоновского нашествия, жил во флигеле и предавался ученым занятиям. Был он чудаковат, как и полагается ученым людям, со многими странностями, однако привязался к своему крестнику всей душой и не отходил от него ни на шаг, настойчиво внедряя в него познания из математики, химии и других наук. Можно сказать, что в жизни младшего Януса не было ни одного дня без Януса-старшего, и, верно, потому он не замечал того, чему дивились другие: старик не только не дряхлел с годами, но, напротив, становился как будто бы даже сильнее и бодрее. К концу столетия старый Янус посвятил младшего в окончательные тайны аналитической, релятивистской и обобщенной магии. Они продолжали жить и трудиться бок о бок, участвуя во всех войнах и революциях, претерпевая более или менее мужественно все превратности истории, пока не попали, наконец, в Научно-исследовательский институт Чародейства и Волшебства...

Откровенно говоря, вся эта вводная часть являлась сплошной литературой. О прошлом Янусов мы достоверно знали только тот факт, что родился Я. П. Невструев седьмого марта тысяча восемьсот сорок первого года. Каким образом и когда Я. П. Невструев стал директором института, нам было совершенно неизвестно. Мы не знали даже, кто первый догадался и проговорился о том, что У-Янус и А-Янус — один человек в двух лицах. Я узнал об этом у Ойры-Ойры и поверил, потому что понять не мог. Ойра-Ойра узнал от Жиакомо и тоже поверил, потому что был молод и восхищен. Корнееву рассказала об этом уборщица, и Корнеев тогда решил, что сам факт настолько тривиален, что о нем не стоит и размышлять. А Эдик слышал, как об этом разговаривали Саваоф Баалович и Федор Симеонович. Эдик был тогда младшим препаратором и верил вообще во все, кроме бога.

Итак, прошлое Янусов представлялось нам весьма приблизительно. Зато будущее мы знали совершенно точно. А-Янус, который сейчас занят больше институтом, чем наукой, в недалеком будущем чрезвычайно увлечется идеей практической контрамоции. Он посвятит ей всю жизнь. Он заведет себе друга — маленького зеленого попугая, по имени Фотон, которого подарят ему знаменитые русские космолетчики. Это случится девятнадцатого мая не то тысяча девятьсот семьдесят третьего, не то две тысячи семьдесят третьего года — именно так хитроумный Эдик расшифровал таинственный номер 190573 на кольце. Вероятно, вскорости после этого А-Янус добьется, наконец, решительного успеха и превратит в контрамота и самого себя, и попугая Фотона, который в момент эксперимента будет, конечно, сидеть у него на плече и просить сахарок. Именно в этот момент, если мы хоть что-нибудь понимаем в контрамоции, человеческое будущее лишится Януса Полуэктовича Невструева, но зато человеческое прошлое обретет сразу двух Янусов, ибо А-Янус превратится в У-Януса и заскользит назад по оси времени. Они будут встречаться каждый день, но ни разу в жизни А-Янусу не придет в голову что-либо заподозрить, потому что ласковое морщинистое лицо У-Януса, своего дальнего родственника и учителя, он привык видеть с колыбели. И каждую полночь, ровно в ноль часов ноль-ноль минут ноль-ноль секунд ноль-ноль терций по местному времени А-Янус будет, как и все мы, переходить из сегодняшней ночи в завтрашнее утро, тогда как У-Янус и его попугай в тот же самый момент, за мгновение, равное одному микрокванту времени, будет переходить из нашей сегодняшней ночи в наше вчерашнее утро.

Вот почему попугаи за номером один, два и три, наблюдавшиеся соответственно десятого, одиннадцатого и двенадцатого, были так похожи друг на друга: они были просто одним и тем же попугаем. Бедный старый Фотон! Может быть, его одолела старость, а может быть, его прохватил сквозняк, но он заболел и прилетел умирать на любимые весы в лаборатории Романа. Он умер, и его огорченный хозяин устроил ему огненное погребение и развеял его пепел, и сделал это потому, что не знал, как ведут себя мертвые контрамоты. А может быть, именно потому, что знал. Мы, естественно, наблюдали весь этот процесс как кино с переставленными частями. Девятого Роман находит в печке уцелевшее перо Фотона. Трупа Фотона уже нет, он сожжен завтра. Завтра, десятого, Роман находит его в чашке Петри. У-Янус находит покойника тогда же и там же и сжигает его в печи. Сохранившееся перо остается в печи до конца суток и в полночь перескакивает в девятое. Одиннадцатого с утра Фотон жив, хотя уже болен. Он издыхает на наших глазах под весами (на которых

он будет так любить сидеть теперь), и простодушный Саня Дрозд кладет его в чашку Петри, где покойник пролежит до полуночи, перескочит в утро десятого, будет найден там У-Янусом, сожжен, развеян по ветру, но перо его останется, пролежит до полуночи, перескочит в утро девятого, и там его найдет Роман. Двенадцатого с утра Фотон жив и бодр, он дает Корнееву интервью и просит сахарок, а в полночь перескочит в утро одиннадцатого, заболеет, умрет, будет положен в чашку Петри, в полночь перескочит в утро десятого, будет сожжен и развеян, но останется перо, которое в полночь перескочит в утро девятого, будет найдено Романом и брошено в мусорную корзину. Тринадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого и так далее Фотон, на радость всем нам, будет весел, разговорчив, и мы будем баловать его, кормить сахарком и зернышками перца, а У-Янус будет приходить и спрашивать, не мешает ли он нам работать. Применяя ассоциативный допрос, мы сможем узнать от него много любопытного относительно космической экспансии человечества и, несомненно, кое-что о нашем собственном, личном будущем.

Когда мы дошли до этого пункта рассуждений, Эдик вдруг помрачнел и заявил, что ему не нравятся намеки Фотона на его, Амперяна, безвременную смерть. Чуждый душевного такта Корнеев заметил на это, что любая смерть мага всегда безвременна и что тем не менее мы все там будем. И вообще, сказал Роман, может быть, он будет тебя любить сильнее всех нас и только твою смерть запомнит. Эдик понял, что у него еще есть шансы умереть позже нас, и настроение его улучшилось.

Однако разговор о смерти направил наши мысли в меланхолическое русло. Мы все, кроме Корнеева, конечно, вдруг начали жалеть У-Януса. Действительно, если подумать, положение его было ужасно. Во-первых, он являл собою образец гигантского научного бескорыстия, потому что практически был лишен возможности пользоваться плодами своих идей. Далее, у него не было никакого светлого будущего. Мы шли в мир разума и братства, он же с каждым днем уходил навстречу Николаю Кровавому, крепостному праву, расстрелу на Сенатской площади и — кто знает? — может быть, навстречу аракчеевщине, бироновщине, опричнине. И где-то в глубине времен, на вощеном паркете Санкт-Петербургской де Сиянс Академии его встретит в один скверный день коллега в напудренном парике — коллега, который вот уже неделю как-то странно к нему приглядывается — ахнет, всплеснет руками и с ужасом в глазах пробормочет: «Герр Нефструефф!.. Как ше это? Федь фчера ф «Федомостях» определенно писали, што фы скончались от удар...» И ему придется говорить что-то о брате-близнеце или о фальшивых слухах, зная и

прекрасно понимая, что означает этот разговор...

— Бросьте, — сказал Корнеев. — Распустили слюни. Зато он знает будущее. Он уже побывал там, куда нам еще идти и идти. И он, может быть, прекрасно знает, когда мы все помрем.

— Это совсем другое дело, — сказал грустно Эдик.

— Старику тяжело, — сказал Роман. — Извольте относиться к нему поласковее и потеплее. Особенно ты, Витька. Вечно ты ему хамишь.

— А чего он ко мне пристает? — огрызнулся Витька. — О чем беседовали, да где виделись...

— Вот теперь ты знаешь, чего он к тебе пристает, и веди себя прилично.

Витька насупился и стал демонстративно рассматривать листок со списком вопросов.

— Надо объяснять ему все поподробнее, — сказал я. — Все, что сами знаем. Надо постоянно предсказывать ему его ближайшее будущее.

— Да, черт возьми! — сказал Роман. — Он этой зимой ногу сломал. На гололеде.

— Надо предотвратить, — решительно сказал я.

— Что? — спросил Роман. — Ты понимаешь, что ты говоришь? Она у него уже давно срослась...

— Но она у него еще не сломана, — возразил Эдик.

Несколько минут мы пытались все сообразить. Витька вдруг сказал:

— Постойте-ка! А это что такое? Один вопрос у нас, ребята, не вычеркнут...

— Какой?

— Куда девалось перо?

— Ну как — куда? — сказал Роман. — Перенеслось в восьмое. А восьмого я как раз печку включал, расплав делал...

— Ну и что из этого?

— Да, ведь я же его бросил в корзинку... Восьмого, седьмого, шестого я его не видел... Гм... Куда же оно делось?

— Уборщица выбросила, — предположил я.

— Вообще об этом интересно подумать, — сказал Эдик. — Предположим, что его никто не сжег. Как оно должно выглядеть в веках?

— Есть вещи поинтереснее, — сказал Витька. — Например, что происходит с ботинками Януса, когда он доносит их до дня их изготовления на фабрике «Скороход»? И что бывает с пищей, которую он съедает за ужином? И вообще...

Но мы были уже слишком утомлены. Мы еще немного поспорили,

потом пришел Саня Дрозд, вытеснил нас, спорящих, с дивана, включил свою «Спидолу» и стал просить два рубля. «Ну дайте», — ныл он. «Да нет у нас», — отвечали мы ему. «Ну, может, последние есть... Дали бы!..» Спорить стало невозможно, и мы решили идти обедать.

— В конце концов, — сказал Эдик, — наша гипотеза не так уж и фантастична. Может быть, судьба У-Януса гораздо удивительнее.

Очень может быть, подумали мы и пошли в столовую.

Я забежал на минутку в электронный зал сообщить, что ухожу обедать. В коридоре я налетел на У-Януса, который внимательно на меня посмотрел, улыбнулся почему-то и спросил, не виделись ли мы с ним вчера.

— Нет, Янус Полуэктович, — сказал я. — Вчера мы с вами не виделись. Вчера вас в институте не было. Вы вчера, Янус Полуэктович, прямо с утра улетели в Москву.

— Ах да, — сказал он. — Я запамятовал.

Он так ласково улыбался мне, что я решился. Это было немножко нагло, конечно, но я твердо знал, что последнее время Янус Полуэктович относился ко мне хорошо, а значит никакого особенного инцидента у нас с ним сейчас произойти не могло. И я спросил вполголоса, осторожно оглядевшись:

— Янус Полуэктович, разрешите, я вам задам один вопрос?

Подняв брови, он некоторое время внимательно смотрел на меня, а потом, видимо вспомнив что-то, сказал:

— Пожалуйста, прошу вас. Только один?

Я понял, что он прав. Все это никак не влезало в один вопрос. Случится ли война? Выйдет ли из меня толк? Найдут ли рецепт всеобщего счастья? Умрет ли когда-нибудь последний дурак?.. Я сказал:

— Можно, я зайду к вам завтра с утра?

Он покачал головой и, как мне показалось, с некоторым злорадством ответил:

— Нет. Это никак не возможно. Завтра с утра вас, Александр Иванович, вызовет Китежградский завод, и мне придется дать вам командировку.

Я почувствовал себя глупо. Было что-то унизительное в этом детерминизме, обрекавшем меня, самостоятельного человека со свободой воли, на совершенно определенные, не зависящие теперь от меня дела и поступки. И речь шла совсем не о том, хотелось мне ехать в Китежград или не хотелось. Теперь я не мог ни умереть, ни заболеть, ни закапризничать («вплоть до увольнения!»), я был обречен, и впервые я понял ужасный

смысл этого слова. Я всегда знал, что плохо быть обреченным, например, на казнь или слепоту. Но быть обреченным даже на любовь самой славной девушки в мире, на интереснейшее кругосветное путешествие и на поездку в Китежград (куда я, кстати, рвался уже три месяца) тоже, оказывается, может быть крайне неприятно. Знание будущего представилось мне совсем в новом свете...

— Плохо читать хорошую книгу с конца, не правда ли? — сказал Янус Полуэктович, откровенно за мной наблюдавший. — А что касается ваших вопросов, Александр Иванович, то... Постарайтесь понять, Александр Иванович, что не существует единственного для всех будущего. Их много, и каждый ваш поступок творит какое-нибудь из них... Вы это поймете, — сказал он убедительно. — Вы это обязательно поймете.

Позже я действительно это понял.

Но это уже совсем-совсем другая история.

ПОСЛЕСЛОВИЕ И КОММЕНТАРИЙ

Краткое послесловие и комментарий и. о. заведующего вычислительной лабораторией НИИЧАВО младшего научного сотрудника А. И. Привалова

Предлагаемые очерки из жизни Научно-исследовательского института Чародейства и Волшебства не являются, на мой взгляд, реалистическими в строгом смысле этого слова. Однако они обладают достоинствами, которые выгодно отличают их от аналогичных по теме опусов Г. Проницательного и Б. Питомника и позволяют рекомендовать их широкому кругу читателей.

Прежде всего следует отметить, что авторы сумели разобраться в ситуации и отделить прогрессивное в работе института от консервативного. Очерки не вызывают того раздражения, которое испытываешь, читая восхищенные статьи о конъюнктурных фокусах Выбегаллы или восторженные переложения безответственных прогнозов сотрудников из отдела Абсолютного Знания. Далее, приятно отметить верное отношение авторов к магу, как к человеку. Маг для них — не объект опасливого восхищения и преклонения, но и не раздражающий кинодурак, личность не от мира сего, которая постоянно теряет очки, не способна дать по морде хулигану и читает влюбленной девушке избранные места из «Курса дифференциального и интегрального исчисления». Все это означает, что авторы взяли верный тон. К достоинствам очерков можно отнести и то, что авторы дали институтские пейзажи с точки зрения новичка, а также не просмотрели весьма глубокого соотношения между законами административными и законами магическими. Что же касается недостатков очерков, то подавляющее большинство из них определяется изначальной гуманитарной направленностью авторов. Будучи профессиональными литераторами, авторы сплошь и рядом предпочитают так называемую художественную правду так называемой правде факта. И, будучи профессиональными литераторами, авторы, как и большинство литераторов, назойливо эмоциональны и прискорбно невежественны в вопросах современной магии. Никак не возражая против опубликования данных очерков, я тем не менее считаю необходимым указать на некоторые конкретные погрешности и ошибки.

1. Название очерков, как мне кажется, не вполне соответствует

содержанию. Используя эту действительно распространенную у нас поговорку, авторы, видимо, хотели сказать, что маги работают непрерывно, даже когда отдыхают. Это в самом деле почти так и есть. Но в очерках этого не видно. Авторы излишне увлеклись нашей экзотикой и не сумели избежать соблазна дать побольше завлекательных приключений и эффектных эпизодов. Приключения духа, которые составляют суть жизни любого мага, почти не нашли отражения в очерках. Я, конечно, не считаю последней главы третьей части, где авторы хотя и попытались показать работу мысли, но сделали это на неблагодарном материале довольно элементарной дилетантской логической задачки (при изложении которой ухитрились допустить вдобавок достаточно примитивный логический ляп, причем не постеснялись приписать этот ляп своим героям. Что характерно). Кстати, я излагал авторам свою точку зрения по этому поводу, но они только пожали плечами и несколько обиженно объявили, что я отношусь к очеркам слишком серьезно.

2. Упомянутое уже невежество в вопросах магии как науки играет с авторами злые шутки на протяжении всей книги. Так, например, формулируя диссертационную тему М. Ф. Редькина, они допустили четырнадцать (!) фактических ошибок. Солидный термин «гиперполе», который им, очевидно, очень понравился, они вставляют в текст сплошь и рядом неуместно. Им, по-видимому, невдомек, что диван-транслятор является излучателем не М-поля, а мю-поля; что термин «живая вода» вышел из употребления еще в позапрошлом веке; что таинственного прибора, под названием аквавитометр, и электронной машины, под названием «Алдан», в природе не существует; что заведующий вычислительной лабораторией крайне редко занимается проверкой программ — для этого существуют математики-программисты, которых в нашей лаборатории двое и которых авторы упорно называют девочками. Описание упражнений по материализации в первой главе второй части сделано безобразно: на совести авторов остаются дикие термины «вектор-магистатум» и «заклинание Ауэрса»; уравнение Стокса не имеет к материализации никакого отношения, а Сатурн в описываемый момент никак не мог находиться в созвездии Весов. (Этот последний ляпсус тем более непростителен, что, насколько я понял, один из авторов является астрономом-профессионалом.) Список такого рода погрешностей и нелепостей можно было бы без труда продолжить, однако я не делаю этого, потому что авторы наотрез отказались что-либо исправлять. Выбросить непонятную им терминологию они тоже отказались: один заявил, что

терминология необходима для антуража, а другой — что она создает колорит. Впрочем, я был вынужден согласиться с их соображением о том, что подавляющее большинство читателей вряд ли окажется способным отличить правильную терминологию от ошибочной и что какая бы терминология ни наличествовала, все равно ни один разумный читатель ей не поверит.

3. Стремление к упомянутой выше художественной правде (по выражению одного из авторов) и к типизации (по выражению другого) привело к значительному искажению образов реальных людей, участвующих в повествовании. Авторы вообще склонны к нивелировке героев, и потому более или менее правдоподобен у них разве что Выбегалло и в какой-то степени Кристобаль Хозевич Хунта (я не считаю эпизодического образа вурдалака Альфреда, который получился лучше, чем кто-нибудь другой). Например, авторы твердят, что Корнеев груб, и воображают, будто читатель сможет составить себе правильное представление об этой грубости. Да, Корнеев действительно груб. Но именно поэтому описанный Корнеев выглядит «полупрозрачным изобретателем» (в терминологии самих авторов) по сравнению с Корнеевым реальным. То же относится и к пресловутой вежливости Э. Амперяна. Р. П. Ойра-Ойра в очерках совершенно бесплотен, хотя именно в описываемый период он разводился со второй женой и собирался жениться в третий раз. Приведенных примеров, вероятно, достаточно для того, чтобы читатель не придавал слишком много веры моему собственному образу в очерках.

4. Несколько слов об иллюстрациях.

Иллюстрации обладают высокой достоверностью и смотрятся весьма убедительно. (Я даже подумал было, что художник непосредственно связан со смежным НИИ Каббалистики и Ворожбы.) Это — лишнее свидетельство того, что истинный талант, даже будучи дезинформирован, не способен все-таки полностью оторваться от реальной действительности. И в то же время нельзя не видеть, что художник имел несчастье смотреть на мир глазами авторов, о компетентности которых я уже говорил выше. Однако, я надеюсь, что чувство юмора, присущее сотрудникам НИИКАВО, остановит их в стремлении возбудить литературно-критическое преследование за диффамацию, дискредитацию, дезинформацию и отрыв от.

Авторы попросили меня объяснить некоторые непонятные термины и

малознакомые имена, встречающиеся в книге. Выполняя эту просьбу, я встретился с определенными затруднениями. Естественно, объяснять терминологию, выдуманную авторами («аквавитометр», «темпоральная передача» и т. п.), я не собираюсь. Но я не думаю, что большую пользу принесло бы и объяснение даже грамотно употребляемых терминов, требующее основательных специальных знаний. Невозможно, например, объяснить термин «гиперполе» человеку, плохо разбирающемуся в теории физического вакуума. Термин «трансгрессия» еще более емок, и вдобавок разные школы употребляют его в разных смыслах. Короче говоря, я ограничился комментарием к некоторым именам, терминам и понятиям, достаточно широко распространенным, с одной стороны, и достаточно специфичным в нашей работе — с другой. Кроме того, я откомментировал несколько слов, не имеющих прямого отношения к магии, но могущих вызвать, на мой взгляд, недоумение читателя.

Авгуры — в Древнем Риме — жрецы, предсказывавшие будущее по полету птиц и по их поведению. Подавляющее большинство из них было сознательными жуликами. В значительной степени это относится и к институтским авгурам, хотя теперь у них разработаны новые методы.

Анацефал — урод, лишенный головного мозга и черепной коробки. Обыкновенно анацефалы умирают при рождении или несколько часов спустя.

Бецалель, _Лев_ _Бен_ — известный средневековый маг, придворный алхимик императора Рудольфа II.

Вампир — см. _вурдалак_.

Василиск — в сказках — чудовище с телом петуха и хвостом змеи, убивающее взглядом. На самом деле — ныне почти вымерший древний ящер, покрытый перьями, предшественник первоптицы археоптерикса. Способен гипнотизировать. В виварии института содержатся два экземпляра.

Вервольф — см. _оборотень_.

Вурдалак — см. _упырь_.

Гарпии — в греческой мифологии — богини вихря, а в действительности — разновидность нежити, побочный продукт экспериментов ранних магов в области селекции. Имеют вид больших рыжих птиц со старушечьими головами, очень неопрятны, прожорливы и сварливы.

Гидра — у древних греков — фантастическая многоголовая водяная змея. У нас в институте — реально существующая многоголовая рептилия,

дочь З. Горыныча и плезиозаврихи из озера Лох-Несс.

Гном — в западноевропейских сказаниях — безобразный карлик, охраняющий подземные сокровища. Я разговаривал с некоторыми из гномов. Они действительно безобразны и действительно карлики, но ни о каких сокровищах они понятия не имеют. Большинство гномов — это забытые и сильно усохшие дубли.

Голем — один из первых кибернетических роботов, сделан из глины Львом Бен _Бецалелем_. (См., например, чехословацкую кинокомедию «Пекарь императора», тамошний Голем очень похож на настоящего.)

Гомункулус — в представлении неграмотных средневековых алхимиков — человекоподобное существо, созданное искусственно в колбе. На самом деле в колбе искусственное существо создать нельзя. Гомункулусов синтезируют в специальных автоклавах и используют для биомеханического моделирования.

Данаиды — в греческой мифологии — преступные дочери царя Даная, убившие по его приказанию своих мужей. Сначала были осуждены наполнять водой бездонную бочку. Впоследствии, при пересмотре дела, суд принял во внимание тот факт, что замуж они были отданы насильно. Это смягчающее обстоятельство позволило перевести их на несколько менее бессмысленную работу: у нас в институте они занимаются тем, что взламывают асфальт везде, где сами его недавно положили.

Демон _Максвелла_ — важный элемент мысленного эксперимента крупного английского физика Максвелла. Предназначался для нападения на второй принцип термодинамики. В мысленном эксперименте Максвелла демон располагается рядом с отверстием в переборке, разделяющей сосуд, наполненный движущимися молекулами. Работа демона состоит в том, чтобы выпускать из одной половины сосуда в другую быстрые молекулы и закрывать отверстие перед носом медленных. Идеальный демон способен таким образом без затраты труда создать очень высокую температуру в одной половине сосуда и очень низкую — в другой, осуществляя вечный двигатель второго рода. Однако только сравнительно недавно и только в нашем институте удалось найти и приспособить к работе таких демонов.

Джинн — злой дух арабских и персидских мифов. Почти все джинны являются дублями царя Соломона и современных ему магов. Использовались в военных и политико-хулиганских целях. Отличаются отвратительным характером, наглостью и полным отсутствием чувства благодарности. Невежественность и агрессивность их таковы, что почти все они находятся в заключении. В современной магии широко используются в качестве подопытных существ. В частности, Э. Амперян на

материале тринадцати джиннов определял количество зла, которое может причинить обществу злобный невежественный дурак.

Джян _бен_ _Джян_ — либо древний изобретатель, либо древний воитель. Имя его всегда связано с понятием щита и отдельно не встречается. (Упоминается, например, в «Искушении святого Антония» Г. Флобера.)

Домовой — в представлении суеверных людей — некое сверхъестественное существо, обитающее в каждом обжитом доме. Ничего сверхъестественного в домовых нет. Это либо вконец опустившиеся маги, не поддающиеся перевоспитанию, либо помеси гномов с некоторыми домашними животными. В институте находятся под началом М. М. Камноедова и используются для подсобных работ, не требующих квалификации.

Дракула, _граф_ — знаменитый венгерский вурдалак XVII — XIX вв. Графом никогда не был. Совершил массу преступлений против человечности. Был изловлен гусарами и торжественно проткнут осиновым колом при большом скоплении народа. Отличался необычайной жизнеспособностью: вскрытие обнаружило в нем полтора килограмма серебряных пуль.

Звезда _Соломонова_ — в мировой литературе — магический знак в виде шестиконечной звезды, обладающий волшебными свойствами. В настоящее время, как и подавляющее большинство других геометрических заклинаний, потерял всякую силу и годен исключительно для запугивания невежественных людей.

Инкуб — разновидность оживших мертвецов, имеет обыкновение вступать в браки с живыми. Не бывает. В теоретической магии термин «инкуб» употребляется в совершенно другом смысле: мера отрицательной энергии живого организма.

Инкунабула — так называют первые печатные книги. Некоторые из инкунабул отличаются поистине гигантскими размерами.

Ифрит — разновидность _джинна_. Как правило, ифриты — это хорошо сохранившиеся дубли крупнейших арабских военачальников. В институте используются М. М. Камноедовым в качестве вооруженной охраны, так как отличаются от прочих джиннов высокой дисциплинированностью. Механизм огнеметания ифритов изучен слабо и вряд ли будет когда-либо изучен досконально, потому что никому не нужен.

Кадавр — вообще говоря, оживленный неодушевленный предмет: портрет, статуя, идол, чучело. (См., например, А. Н. Толстой, «Граф Калиостро».) Одним из первых в истории кадавров была небезызвестная

Галатея работы скульптора Пигмалиона. В современной магии кадавры не используются. Как правило, они феноменально глупы, капризны, истеричны и почти не поддаются дрессировке. В институте кадаврами иногда иронически называют неудавшихся дублей и дублеподобных сотрудников.

Кицунэ — см. _оборотень_.

Левитация — способность летать без каких бы то ни было технических приспособлений. Широко известна левитация птиц, летучих мышей и насекомых.

«_Молот_ _ведьм_» — старинное руководство по допросу третьей степени. Составлено и применялось церковниками специально в целях выявления ведьм. В новейшие времена отменено как устаревшее.

Оборотень — человек, способный превращаться в некоторых животных: в волка (_вервольф_), в лисицу (_кицунэ_) и т. д. У суеверных людей вызывает ужас, непонятно почему. В. П. Корнеев, например, когда у него разболелся зуб мудрости, обернулся петухом, и ему сразу полегчало.

Оракул — по представлениям древних, средство общения богов с людьми: полет птицы (у _авгуров_), шелест деревьев, бред прорицателя и т. д. Оракулом называлось также и место, где давались предсказания. «Соловецкий Оракул» — это небольшая темная комната, где уже много лет проектируется установить мощную электронно-счетную машину для мелких прорицаний.

Пифия — жрица-прорицательница в Древней Греции. Вещала, надышавшись ядовитых испарений. У нас в институте пифии не практикуют. Очень много курят и занимаются общей теорией предсказаний.

Рамапитек — по современным представлениям, непосредственный предшественник питекантропа на эволюционной лестнице.

Сэгюр _Ришар_ — герой фантастической повести «Загадка Ришара Сэгюра», открывший способ объемной фотографии.

Таксидермист — чучельник, набивщик чучел. Я порекомендовал авторам это редкое слово, потому что К. Х. Хунта приходит в ярость, когда его называют просто чучельником.

Терция — одна шестидесятая часть секунды.

Триба — здесь: племя. Решительно не понимаю, зачем издателям Книги Судеб понадобилось называть племя рамапитеков трибой.

«_Упанишады_» — древнеиндийские комментарии к четырем священным книгам.

Упырь— кровососущий мертвец народных сказок. Не бывает. В

действительности упыри (_вурдалаки_, _вампиры_) — это маги, вставшие по тем или иным причинам на путь абстрактного зла. Исконное средство против них — осиновый кол и пули, отлитые из самородного серебра. В тексте слово «упырь» употребляется везде в переносном смысле.

Фантом — призрак, привидение. По современным представлениям — сгусток некробиотической информации. Фантомы вызывают суеверный ужас, хотя совершенно безобидны. В институте их используют для уточнения исторической правды, хотя юридически считаться очевидцами они не могут.

А. Привалов

Рассказы

ПЕРВЫЕ ЛЮДИ НА ПЕРВОМ ПЛОТУ

На попутной машине Марков добрался до поворота на Сельцы, дал шоферу полтинник и выпрыгнул из темной кабины. Мороз был градусов пятнадцать. Марков сразу понял это, когда почувствовал, что слипаются ноздри. Он знал эту примету: если ноздри слипаются, значит ниже десяти. Грузовик заворчал, буксанул задними колесами в обледеневшей колее и ушел за поворот, оставив горький на морозе, едкий запах бензинового перегара. Марков остался один. Он очень любил эту минуту: попутка скрывается за поворотом, остается только тихий, заваленный снегом лес, да сугробы вокруг, да серое низкое небо над головой, а он один, с рюкзаком и ружьем за спиной, мороз пощипывает щеки, воздух восхитительно свеж и вкусен, а впереди – две недели охоты, целых две недели молчаливого леса, и следов на снегу, и тягучих зимних вечеров в теплом домике лесника, когда ни о чем можно не думать, а только радоваться здоровью, снегу, спокойным добрым людям и размеренному течению дней, похожих друг на друга.

Марков встал на лыжи, поправил за плечами рюкзак и, перебравшись через кювет, вошел в лес по невидимой, но знакомой тропинке, ведущей к дому лесника Пал Палыча. Некоторое время он еще слышал гудение грузовика, а потом и оно стихло, только поскрипывал и шелестел под лыжами наст да где-то вдалеке каркали вороны.

До домика было километров восемь. Следов было немного, но Марков знал, что Пал Палыч не оставит его милостями и все еще будет: и следы, и тетерева, с грохотом вылетающие из-под снега, и выстрелы, и то до боли острое, азартное ощущение, когда точно знаешь, что попал, и огромная птица тяжело ухает в сугроб, и кажется, что земля вздрагивает от удара.

Обычно дом Пал Палыча встречал Маркова приветливым шумом. Зычно гавкал, гремя на весь лес цепью, здоровенный Трезор. «Цыц, бешеный!» – грозно кричала на него бабка Марья, мать Пал Палыча; и вдруг ни с того ни с сего принимался орать петух. Но на этот раз все было тихо, и Марков даже подумал, что дал вправо, как вдруг открылась полянка и он увидел дом. Он сразу почувствовал, что случилась какая-то беда. Калитка была распахнута, двор пуст, и стояла тишина, странная и недобрая.

Он все еще не понимал, откуда это ощущение беды; а потом сразу понял: слишком много распахнутых дверей. Дверь в дом была раскрыта настежь, и дверца курятника была сорвана и валялась в стороне, и дверь

хлева тоже, и почему-то была раскрыта дверь на чердак. Одно из окон в доме разбито, будка Трезора перевернута, по всему двору разбросаны рыжие перья, а истоптанный снег забрызган красными пятнами. Сдерживая дыхание, Марков торопливо снял лыжи и пошел в дом. В доме все двери тоже были распахнуты, в разбитое окно тянуло морозом, но было еще тепло.

Марков позвал: «Эй, хозяева!», но никто не откликнулся, да он и не ждал, что откликнутся. В комнатах было, как всегда, чисто и прибрано, но в сенях валялся на полу большой тулуп. Марков вышел во двор, покричал, приставив ладони ко рту, и побежал вокруг дома. Из-под ног у него выскочил полосатый старухин кот Муркот и, надувши хвост, опрометью взлетел на крышу курятника. Марков остановился и позвал его, но кот посмотрел косо и, прижав короткие уши, так злобно и яростно затянул «уа-уа», что сразу стало ясно: кот тут видел такое, что не скоро успокоится и поверит в чьи-нибудь добрые намерения.

Обойдя вокруг дома, Марков встал на лыжи, сбросил рюкзак и перезарядил ружье. Патроны с «двойкой» он выбросил прямо в снег, а в стволы загнал «нулевку», самое солидное, что у него было. Он не сомневался, что совершено преступление, и, как ни дика была эта мысль, ничто другое не приходило ему в голову. Теперь он видел, что через калитку протащили по снегу что-то тяжелое, пачкающее кровью, и видел, что след этот тянется по поляне и исчезает за деревьями. Вокруг было множество следов, они показались Маркову какими-то странными, но не было времени разбираться. Он взял ружье на изготовку и пошел рядом с жуткой бороздой, где в развороченном снегу расплывались красные пятна. «Сволочи, – думал он с холодной ненавистью, – зверье...» Все ему было совершенно ясно: в свое время Пал Палыч задержал злостного браконьера, и тот, вернувшись после отсидки, явился с пьяными дружками отомстить, и они убили Пал Палыча и его мать, а потом, протрезвев, перепугались и уволокли трупы в лес, чтобы спрятать. Он отчетливо видел заросшие хари и налитые водкой глаза и думал, что стрелять будет не в ноги, а как на фронте.

У самых деревьев след разделился. Вправо потянулась цепочка странных следов, и когда Марков понял, что это такое, он остановился озадаченный. Это были следы босых ног. Там, где наст выдержал и не провалился, можно было отчетливо видеть отпечатки голых ступней. Это казалось необъяснимым, и некоторое время Марков колебался, не зная, что делать, но потом все-таки пошел дальше вдоль запачканной кровью борозды. Она тянулась, петляя между кустами, зеленые ветви елей над нею

выпрямились, освобожденные от снежных шапок. Иногда борозду пересекала цепочка следов босых ног. Потом Марков заметил впереди какое-то движение и остановился, судорожно сжав ружье.

Впереди в кустах кто-то был – кто-то живой, пестрый, яркий, словно раскрашенная кукла. Он сразу замер, и Марков не мог как следует рассмотреть его. Сквозь заснеженный лапник просвечивали желтые и красные пятна, и Маркову казалось, что он слышит тяжелое дыхание. Он шагнул вперед и хрипло крикнул: «Кто там? Стрелять буду». Никто не отозвался. Потом краем глаза Марков заметил какое-то движение слева и резко повернулся, выставив вперед ружье.

Прямо на него из-за деревьев выбежал удивительный человек. Если бы этот человек был в полушубке или в ватнике и держал бы в руках топор или ружье, Марков автоматически упал бы боком в снег, выбросив на лету перед собой двустволку, и хладнокровно расстрелял бы его. Но человек был гол, весь размалеван красным и желтым, а в руке у него была длинная заостренная палка. Марков, открыв рот, смотрел, как он бежит, с необыкновенной легкостью выдергивая ноги из снега. Затем человек замедлил бег, весь изогнулся и, дико крикнув, метнул в Маркова свое копье. Марков инстинктивно присел и, не удержавшись на скрещенных лыжах, опрокинулся набок. Он был очень удивлен и испуган, и тем не менее странный полет копья даже тогда поразил его. Брошенное с силой, оно отделилось от руки размалеванного человека и медленно поплыло по воздуху. Оно отстало от бегущего, а потом, все набирая скорость, обогнало его и пронеслось над головой Маркова с вибрирующим свистом. Марков еще слышал, как оно с треском врезалось в чащу, словно по кустам дали очередь разрывными пулями, но тут на Маркова навалились со всех сторон. Крепкие маленькие руки схватили его за лицо, опрокинули на спину, он почувствовал резкий неприятный запах, жестокий удар в подбородок, рванулся, и его оглушили.

Очнувшись, он обнаружил, что лежит в снегу под деревом. Слышались незнакомые голоса, какие-то неопределенные звуки, скрип. Неприятно и остро пахло. Он сразу все вспомнил и сел, опершись спиной о ствол. Перед ним была обширная поляна, и на ней – полно народу. У Маркова запестрело в глазах. Всюду сновали, крича во все горло, маленькие, голые, размалеванные яркими красками люди. Рядом с Марковым такой же человек кричал и размахивал копьем. А на другом конце поляны грузно лежало в снегу длинное серое сооружение, похожее не то на ковчег, не то на огромный, чуть расплывшийся огурец. Один конец сооружения был тупо срезан, как корма корабля. Другой был заострен и приподнят.

Марков зачерпнул снегу и потер лоб и щеки. Он был без шапки и без ватника, ружье куда-то пропало. Человек, стоявший рядом, повернулся к Маркову и что-то сказал, зябко шевеля губами. Вид у него был дикий и свирепый – широкое скуластое лицо, расписанное желтыми зигзагами, щетинистые желтые волосы, большие злые глаза. Видно было, что он сильно замерз и челюсти у него сводит от холода.

– Что вам надо? – сказал Марков. – Кто вы такие?

Человек снова что-то сказал злым гортанным голосом, затем ткнул Маркова копьем. Копье было тяжелое, тупое, без всякого наконечника. Марков с трудом встал на ноги. Его сразу затошнило, закружилась голова. Человек снова выкрикнул несколько слов и снова ткнул его копьем, не сильно, но очень решительно. Марков, стараясь выиграть время, пока перестанет мутить, послушно пошел вперед, а человек двинулся за ним по пятам, время от времени постукивая его копьем то справа, то слева, указывая направление. Он гнал Маркова, как вола, а Марков чувствовал себя совершенно разбитым и никак не мог собраться с мыслями. Отчаянно болела голова.

Возле галеры Марков остановился и, обернувшись, посмотрел на своего погонщика. Тот что-то проорал, погрозил копьем и отошел в сторону. Тут все на поляне разразились отчаянным воем, страшным визгом заверещала свинья, и Марков увидел, как ее волокут к борту галеры. Свинью подняли на руках и перевалили в узкую щель, которую Марков сначала не заметил. Люди на поляне перестали орать и размахивать копьями, сгрудились в толпу и тоже подошли к галере. Марков поймал себя на том, что пытается сосчитать их. Он насчитал три десятка маленьких размалеванных и еще четырех рослых людей с серой кожей. С рослыми обращались неуважительно: на них замахивались, кричали, то и дело подбегали к ним и толкали или пинали ногами, а те только, жмурясь, прикрывали лица и шли, куда их толкают. Это было тем более странно, что они как на подбор были здоровенные мужчины с огромными мускулами...

Гвалт стоял, как на вокзале во время эвакуации. Голова Маркова раскалывалась на части, так что он даже плохо видел. Он ощупал темя – там была огромная мягкая шишка, а влажные волосы слиплись и смерзлись.

Серокожих рослых медленно подогнали к галере и построили в ряд возле Маркова, и это ему очень не понравилось, тем более что десяток маленьких копейщиков столпились напротив них в нескольких шагах, крича друг на друга и тыча пальцами в Маркова и рослых. Марков поглядел на своих соседей. Вид у них был забитый и удрученный, так что надеяться

на них не приходилось. Тут Марков обнаружил свой ватник. Он был на одном из маленьких, пожалуй, на самом маленьком и размалеванном с головы до ног. Этот малыш кричал громче всех, яростно подпрыгивал, замахивался на других и пихался. Его слушались, но не очень. В конце концов он ударил кого-то древком по голове, подбежал к рослым, схватил одного за руку и потащил за собой. Тот слабо упирался, тихонько скуля. Все завопили, но потом разом смолкли и уставились на Маркова. Малыш в ватнике бросил рослого, подскочил к Маркову и схватил его за рукав. Марков рванулся и высвободился. Все заговорили, замахали руками и неожиданно полезли в галеру. У Маркова отлегло от сердца. Трое рослых забрались последними, с трудом протиснувшись в узкую щель.

Поляна опустела. Около галеры остались только малыш в ватнике, выбранный им верзила, стоявший понуро в тихом отчаянии, и Марков. Малыш обежал галеру кругом, посмотрел на небо, окинул взглядом поляну и верхушки деревьев и вдруг заорал диким голосом, уставив копье в грудь рослому. Тот стал пятиться, уперся спиной в борт, не сводя глаз с копья, а малыш все наступал на него, оттесняя к корме. Марков тоже попятился к корме. За кормой все остановились, и малыш снова принялся прыгать, бесноваться и орать во все горло. Марков никак не мог понять, чего он хочет.

– Чего ты орешь? – спросил он. Малыш заорал еще громче. Марков оглянулся на рослого. Рослый, расставив ноги, всем телом давил на широкую серую стену, нависавшую над ними. Видно, он пытался сдвинуть с места всю галеру, и это показалось Маркову таким же бессмысленным, как если бы он пытался передвинуть двухэтажный дом. Но рослый не видел в этом ничего бессмысленного: он натужно кряхтел, упираясь в корму грудью и напряженными руками. Тогда Марков тоже уперся в корму.

Корма возвышалась над головами метра на три. На ощупь она была не деревянной, скорее, она была сделана из какого-то минерала, серого, пористого, покрытого темными потеками. Малыш уперся копьем и тоже навалился. Все трое пыхтели от напряжения, толкая и упираясь, словно вытаскивая из грязи буксующую машину, и Марков хотел уже бросить эту дурацкую затею, как вдруг почувствовал, что корма подается. Он не поверил себе. Но корма подавалась, она уходила от него, и ему пришлось переступить, чтобы не упасть. У него было такое ощущение, словно он сталкивал в воду тяжелый плот. Малыш поднял копье и крикнул. Рослый остановился. Марков еще раз переступил и тоже остановился.

Это было необычайное зрелище: огромная неуклюжая галера медленно ползла на брюхе по снегу, воздух постепенно наполнялся

скрипом. Рослый, косясь на малыша, стал медленно обходить корму. Малыш прикрикнул на него и ударил Маркова древком по плечу. Марков отскочил и развернулся. Малыш тоже отскочил и выставил перед собой копье. Движения у него были стремительные и хищные. А рослый вдруг перестал красться и со всех ног пустился бежать за уползающей галерой. Галера ползла все быстрее.

Тогда малыш прыгнул в сторону и, обогнув Маркова, тоже помчался за галерой. Марков все еще не понимал, что происходит. Галера увеличивала скорость. Малыш обогнал рослого, подпрыгнул и ухватился за края щели. Навстречу ему потянулись руки, его схватили за руки, под мышки и потянули внутрь. Рослый взвизгнул, рванулся и ухватился за его ноги. Малыш ужасно заорал и выронил копье. Галера уже не ползла, она скользила по воздуху, и скорость ее стремительно нарастала. С шумом рухнуло дерево, стоявшее на пути. Марков смотрел вслед. Это было жутко и грандиозно: огромное неуклюжее сооружение, грубое и угловатое, уходило в небо, все круче задирая нос. Некоторое время ноги рослого еще болтались в воздухе, затем его тоже втянули в щель. Галера свечой уходила к тучам. Марков услышал ревущий свист, словно летел реактивный самолет, и она скрылась. Рев затих, и Марков остался один.

Он обвел глазами поляну. Растоптанный снег, красные пятна на снегу, широкий прямой овраг до самой земли... Он пощупал темя. Было очень больно, и он застонал. Надо было добираться до жилья, а он не знал, где находится, и даже не пытался сориентироваться, так у него все перемешалось в голове.

Пошел снег, стало темнее. Держась за голову и постанывая на каждом шагу, Марков побрел вдоль борозды, оставленной галерой. Он увидел копье, брошенное малышом, и поднял его, пытаясь рассмотреть, хотя от боли слезами застилало глаза. Копье было тяжелое, черное, шершавое. Опираясь на него, Марков пошел дальше. Снег падал все гуще, и все сильнее болела голова, и скоро Марков перестал соображать, куда он идет и зачем.

Пал Палыч с шумом допил чай из блюдца, подставил свою огромную расписную чашку под самовар и, повернув краник, смотрел, как закрученной струйкой бежит кипяток.

– Викинги, говоришь... – сказал он негромко.

Бабка Марья стучала топором, колола лучину для растопки. В доме было тепло, разбитое окошко заткнули тулупом. Марков сидел за столом, подперев рукой забинтованную голову.

– Плохо, брат, – сказал Пал Палыч. – Я как вернулся, увидел твой рюкзак, сразу подумал – плохо...

– Почему же плохо? – слабым голосом сказал Марков. – Наоборот! Открытие, Пал Палыч! Открытие!

– Н-да-а, – неопределенно прогудел Пал Палыч, отводя глаза и наливая в блюдце чай.

– Я думаю так, – продолжал Марков слабым голосом. – Прилетали они издалека, не знаю откуда, но есть у них там, наверное, дерево или какой-нибудь минерал с особенными свойствами. И стали они строить летающие корабли. Смелые, черти!.. – И он сморщился от тошноты.

Пал Палыч со стуком поставил блюдце на стол.

– Как это у тебя получается, Олег Петрович? – сказал он. – Не знаю, не знаю... Дикари голые, по воздуху летают и, значит, свиней воруют... Неувязочка! Брось ты про это думать, Олег Петрович. Выпей-ка ты еще чайку с малиной. Водки я тебе, пожалуй, больше не дам, пусть голова заживет, а чаек пей. Боюсь, не прохватило бы тебя...

Марков переждал, пока прошла тошнота.

– Надо немедленно сообщить в Москву, – сказал он. – Прямо в Академию наук. А что касается голых дикарей... Сто тысяч лет назад, Пал Палыч, наши предки, такие же вот дикари, сколотили первый плот и поплыли на нем вдоль берега. Они тоже не знали, почему плот плавает, почему дерево не тонет. Сто тысяч лет оставалось до Архимеда, да что там – многие не знают этого и сейчас. А предки плавали, строили плоты, потом лодки и – плавали. Ведь закон Архимеда понадобился только для тех, кто строил железные корабли, а деревянные прекрасно плавали и без закона. Так и эти... Им наплевать, почему этот материал летает по воздуху. Построили корабль, набились в него и пошли добычу искать.

– Н-да, – сказал Пал Палыч. – Ты, Олег, вот что... Не хотел я тебе говорить, да, видно, надо сказать. Бред это у тебя, померещилось тебе.

Марков непонимающе уставился на него.

– Как это – бред?

– Так вот. Лесиной тебя оглушило. В беспамятстве ты все с себя посрывал, в одной тельняшке по лесу бродил. Ружье где-то бросил, так я его и не нашел...

– Постой, постой, Пал Палыч, – сказал Марков. – А дом пустой как же? А кровь на снегу? А следы?.. Окно выбито, все двери открыты... И кот Муркот...

Пал Палыч крякнул и почесал в затылке.

– Надо же, – сказал он, глядя веселыми глазами. – Как это у тебя все

переделалось!.. Свинью я колол, Олег, свинью! А она у меня вырвалась и – с ножом – через двор да в лес! Я за ней, поскользнулся – в стекло въехал локтем... Понял? Трезора с цепи спустил, мать выскочила, тоже за свиньей побежала... Ведь верно, мать?

– Что это ты? – сказала бабка Марья.

– Свинью, говорю, колол! – заревел Пал Палыч.

– А?

– Свинью, говорю!

– Нет уж ее, – сказала бабка, качая головой. – Нет уж свинки...

– Ничего не понимаю, – сказал Марков.

– А тут и понимать нечего, – сказал Пал Палыч. – Академии наук тут не нужно. Вернулся я со свиньей, гляжу – твой рюкзак. Я по следу. Нашел сначала место, где тебя пришибло. Потом лыжи нашел. А потом уж к вечеру гляжу – сам идешь, за деревья держишься. Я было подумал, что обобрали тебя...

– Где это было? – спросил Марков.

– А километрах в пяти к северу, где мы с тобой в прошлом году зайца гоняли.

Марков помолчал, пытаясь вспомнить.

– А копье? – спросил он. – Было при мне копье?

Пал Палыч посмотрел на него, словно раздумывая.

– Ничего при тебе не было, – сказал он решительно. – Ни копья, ни ватника. Так что брось ты это, забудь...

Марков медленно закрыл глаза. Голова, успокоившаяся было, снова начала болеть. «А может, и правда – бред», – подумал он.

– Пал Палыч, – сказал он, – дай-ка ты мне еще водки. Боюсь, не засну теперь.

– Болит? – спросил Пал Палыч.

– Болит, – сказал Марков.

Летучий корабль... Летучие викинги... Не бывает такого и быть не может... Первые люди на первом плоту... Чепуха, поэзия.

Он кряхтя перебрался на лавку, где ему постелили.

Когда он заснул, Пал Палыч, накинув полушубок, прихватил инструмент и вышел во двор прилаживать дверцу курятника. За ночь снегопад кончился, солнце было яркое, снег во дворе сверкал девственной белизной. Пал Палыч работал со злостью и два раза стукнул себя молотком по большому пальцу, так что из-под ногтя выступила кровь. К нему подошла мать, пригорюнилась, подперла щеку рукой.

– Курей-то опять заводить будем, Пашенька? – сказала она.

– Заведем, – угрюмо ответил Пал Палыч. – И курей заведем, и свинью. Не впервой. У Москаленковых щенок хороший есть – надо взять... – Он встал и принялся отряхивать снег с колен.

– Чисто немцы – энти-то, – сказала бабка, всхлипнув.

– При немцах ты б в погребе не отсиделась, – сказал Пал Палыч. – Да и мне бы не уйти... Ты вот что, мать... Ты об этом никому ни слова, и особенно про палку, что я принес, а ты сожгла.

– Да я же не знала, Пашенька!.. Палка и палка.

– Ладно – сожгла и сожгла. А рассказывать все равно не надо. До Олега Петровича дойдет – очень обидится, а я его обижать не хочу. А чтобы он на тебя сердился, тоже не хочу. Поняла?

– Да поняла, – сказала бабка. – А палка-то, ох и красиво же она горела, эта палка! И красным, и синеньким, и зеленым – ну чисто изумруд!.. А кто же это были, Пашенька? Неужели опять немцы?

– Викинги! – сказал Пал Палыч сердито. – Викинги это были, дикие, понятно?

БЕДНЫЕ ЗЛЫЕ ЛЮДИ

Царь сидел голый. Как нищий дурак на базаре, он сидел, втянув синие пупырчатые ноги, прислонясь спиной к холодной стене. Он дрожал, не открывая глаз, и все время прислушивался, но было тихо.

В полночь он проснулся от кошмара и сразу же понял, что ему конец. Кто-то хрипел и бился под дверью спальни, слышались шаги, позвякивание железа и пьяное бормотание дядюшки Бата, его высочества: «А ну, пусти... А ну, дай я... Да ломай ее, стерву, чего там...» Мокрый от ледяного пота, он бесшумно скатился с постели, нырнул в потайной шкаф и, не помня себя, побежал по подземному коридору. Под босыми ногами хлюпало, шарахались крысы, но тогда он ничего не замечал и только сейчас, сидя у стены, вспомнил все: и темноту, и осклизлые стены, и боль от удара головой об окованные двери храма, и свой невыносимо высокий визг.

Сюда им не войти, подумал он. Сюда никому не войти. Только если царь прикажет. А царь-то не прикажет... Он истерически хихикнул. Нет уж, царь не прикажет! Он осторожно разжмурился и увидел свои синие безволосые ноги с ободранными коленками. Жив еще, подумал он. И б у д у жив, потому что сюда им не войти.

Все в храме было синеватое от холодного света лампад – длинных светящихся трубок, протянутых под потолком. Посередине стоял на возвышении Бог, большой, тяжелый, с блестящими мертвыми глазами. Царь долго и тупо смотрел, пока Бога не заслонил вдруг плюгавый служка, совсем еще сопляк. Раскрыв рот и почесываясь, он стоял и глазел на голого царя. Царь снова прикрыл глаза. Сволочь, подумал он, гаденыш вшивый, скрутить ублюдка – и собакам, чтобы жрали... Он сообразил, что не запомнил хама как следует, но служки уже не было. Сопливый такой, хлипкий... Ладно, вспомним. Все вспомним, дядюшка Бат, ваше высочество. При отце небось сидел в уголке, пил себе потихоньку да помалкивал, на глаза боялся попасть, знал, что царь Простяга подлого предательства твоего не забыл...

Велик был отец, с привычной завистью подумал царь. Будешь великим, если у тебя в советниках ангелы Божьи во плоти. Все знают, все их видели: лики страшные, белые как молоко, а одежды такие, что не поймешь, голые они или как... И стрелы у них были огненные, как бы молнии, кочевников отгоняли этими стрелами, и хотя метали в небо, половина орды покалечилась со страху. Дядюшка Бат, его высочество,

шептал как-то, пьяно отрыгивая, что стрелы те метать может каждый, нужны лишь особые пращи, которые у ангелов есть и которые у них хорошо бы взять. А он еще тогда сказал – тоже был пьяный, – что раз хорошо взять, то и надо взять, чего там... И вскоре после этого застольного разговора один ангел упал со стены в ров, поскользнулся, наверное. Рядом с ним во рву нашли дядюшкиного телохранителя с дротиком между лопаток. Темное это было дело, темное... Хорошо, что народ ангелов никогда не жаловал, страшно было на них глядеть, хотя и не понять, почему страшно, – ангелы были люди приветливые, веселые. Вот только глаза у них были страшные. Маленькие, блестящие, и все бегают да бегают... нечеловеческие глаза, немирные. Так народ и промолчал, хотя и дал ему отец, царь Простяга, такую волю, что вспомнить стыдно... и то сказать, отец до Переворота, говорят, шорником был. За такие разговоры я потом самолично глаза вырывал и в уши зашивал. Но помню, сядет он, бывало, под вечер на пороге Хрустальной Башни, примется кожу кроить – смотреть приятно. А я рядом примощусь, прижмусь к его боку, тепло, уютно... Из комнат ангелы поют, тихо так, слаженно, отец им подтягивает – он их речь знал, – а вокруг просторно, никого нет... не то что сейчас, стражников на каждом углу понатыкано, а толку никакого...

Царь горестно всхлипнул. Да, отец хороший был, только слишком долго не помирал. Нельзя же так при живом сыне... Сын ведь тоже царь, сыну тоже хочется... А Простяга все не стареет, мне уже за пятьдесят перевалило, а он все на вид моложе меня... Ангелы, видно, за него Бога просили... За него просили, а за себя забыли. Второго, говорят, прижали в отцовской комнате, в руках у него было по праще, но биться он не стал, перед смертью, говорят, кинул обе пращи за окно, лопнули они синим огнем, и пыли не осталось... Жалко было пращей... А Простяга, говорят, плакал и упился тогда до полусмерти – первый раз за свое царствование – искал все меня, рассказывают, любил меня, верил...

Царь подтянул колени к подбородку, обхватил ноги руками. Ну и что ж, что верил? Меру надо было знать, отречься, как другие делают... да и не знаю я ничего, и знать не желаю. Был только разговор с дядюшкой, с его высочеством. «Не стареет, – говорит, – Простяга». – «Да, – говорю, – а что поделаешь, ангелы за него просили». Дядюшка тогда осклабился, сволочь, и шепчет: «Ангелы, – говорит, – нынче песенки уже не здесь поют». А я возьми и ляпни: «Уж это верно, и на них управа нашлась, не только на человеков». Дядюшка посмотрел на меня трезво и сразу ушел... Я ведь ничего такого и не сказал... Простые слова, без умысла... А через неделю помер Простяга от сердечного удара. Ну и что? И пора ему было. Казался

только молодым, а на самом деле за сто перешел. Все помрем...

Царь встрепенулся и, прикрываясь, неловко поднялся на корточки. В храм вошел верховный жрец Агар, служки вели его под руки. На царя он не взглянул, приблизился к Богу и склонился перед возвышением, длинный, горбатый, с грязно-белыми волосами до пояса. Царь злорадно подумал: «Конец тебе, ваше высочество, не успел, я тебе не Простяга, нынче же свои кишки жрать будешь, пьяная сволочь...» Агар проговорил густым голосом:

– Бог! Царь хочет говорить с тобой! Прости его и выслушай!

Стало тихо, никто не смел вздохнуть. Царь соображал: когда случился великий потоп и лопнула земля, Простяга просил Бога помочь, и Бог явился с неба комом огня в тот же вечер, и в ту же ночь земля закрылась, и не стало потопа. Значит, и сегодня так будет. Не успел дядюшка, ваше высочество, не успел! Никто тебе теперь не поможет...

Агар выпрямился. Служки, поддерживавшие его, отскочили и повернулись к Богу спиной, пряча головы руками. Царь увидел, как Агар протянул сложенные ладони и положил на грудь Бога. У Бога тотчас загорелись глаза. От страха царь стукнул зубами: глаза были большие и разные – один ядовито-зеленый, другой белый, яркий, как свет. Было слышно, как Бог задышал, тяжело, с потрескиванием, словно чахоточный. Агар попятился.

– Говори, – прошептал он. Ему, видно, тоже было не по себе.

Царь опустился на четвереньки и пополз к возвышению. Он не знал, что делать и как поступать. И он не знал, с чего начинать и говорить ли всю правду. Бог тяжело дышал, похрипывая грудью, а потом вдруг затянул тихонько и тоненько – жутко.

– Я сын Простяги, – с отчаянием сказал царь, уткнувшись лицом в холодный камень. – Простяга умер. Я прошу защиты от заговорщиков. Простяга совершал ошибки. Он не ведал, что делал. Я все исправил: смирил народ, стал велик и недоступен, как ты, я собрал войско... А подлый Бат мешает мне начать завоевание мира... Он хочет убить меня! Помоги!

Он поднял голову. Бог, не мигая, глядел ему в лицо зеленым и белым. Бог молчал.

– Помоги... – повторил царь. – Помоги! Помоги! – Он вдруг подумал, что делает что-то не так и Бог равнодушен к нему, и совсем некстати вспомнил: ведь говорили, что отец его, царь Простяга, умер вовсе не от удара, а был убит здесь, в храме, когда убийцы вошли, никого не спросясь. – Помоги! – отчаянно закричал он. – Я боюсь умереть сегодня! Помоги! Помоги!

Он скрючился на каменных плитах, кусая руки от нестерпимого ужаса.

Разноглазый Бог хрипло дышал над его головой.

– Старая гадюка, – сказал Толя. Эрнст молчал.

На экране сквозь искры помех черным уродливым пятном расплылся человек, прижавшийся к полу.

– Когда я думаю, – снова заговорил Толя, – что, не будь его, Аллан и Дерек остались бы живы, мне хочется сделать что-то такое, чего я никогда не хотел делать.

Эрнст пожал плечами и отошел к столу.

– И я всегда думаю, – продолжал Толя, – почему Дерек не стрелял? Он мог бы перебить всех...

– Он не мог, – сказал Эрнст.

– Почему не мог?

– Ты пробовал когда-нибудь стрелять в человека?

Толя сморщился, но ничего не сказал.

– В том-то и дело, – сказал Эрнст. – Попробуй хоть представить. Это почти так же противно.

Из репродуктора донесся жалобный вой. «ПОМОГИ ПОМОГИ Я БОЮСЬ ПОМОГИ...» – печатал автомат-переводчик.

– Бедные злые люди... – сказал Толя.

КОММЕНТАРИИ К ПРОЙДЕННОМУ

1961 – 1963 гг.

«ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»

Эта небольшая повесть сыграла для нас огромную роль, она оказалась переломной для всего творчества ранних АБС. Сами авторы дружно считали, что «настоящие Стругацкие» начинаются именно с этой повести.

«Попытка...» это наше первое произведение, где пересеклись Прошлое, Настоящее и Будущее, и мы впервые поняли, насколько эффективно и продуктивно – в чисто литературно-художественном плане – такое пересечение.

Это первое наше произведение, где мы открыли для себя тему Прогрессоров, хотя самого термина этого не было еще и в помине, а был только вопрос: следует ли высокоразвитой цивилизации вмешиваться в дела цивилизации отсталой – даже и с самыми благородными намерениями? Вопрос, по тем временам, отнюдь не тривиальный, ибо любой идеологически подкованный гражданин СССР (включая братьев Стругацких, естественно) уверен был, что вмешиваться да, надо, и даже необходимо, и всегда был готов привести пример Монголии, «которая из феодализма, благодаря бескорыстной помощи СССР, перескочила прямо в социализм».

Далее, это первое наше произведение, в котором мы ощутили всю сладость и волшебную силу ОТКАЗА ОТ ОБЪЯСНЕНИЙ. Любых объяснений – научно-фантастических, логических, чисто научных или даже псевдонаучных. Как сладостно, оказывается, сообщить читателю: произошло ТО-ТО и ТО-ТО, а вот ПОЧЕМУ это произошло, КАК произошло, откуда что взялось – НЕСУЩЕСТВЕННО! Ибо дело не в этом, а совсем в другом, в том самом, о чем повесть.

И, наконец, это было первое наше произведение, к которому мы пришли через жесточайший кризис, который казался нам абсолютно непреодолимым целых десять мучительных часов.

Первые попытки разработать сюжет относятся к январю 1962 года. Далекая планета, население на уровне рабовладельческого строя, остатки техники, брошенные здесь неряшливой сверхцивилизацией в незапамятные времена (между прочим, похоже на «Пикник», не правда ли?). Попытки жрецов и «античных» ученых исследовать и применить эту технику. А потом – прибытие на планету землян-коммунаров (в сопровождении дружественных гуманоидов из системы Сириуса-А) и – война, страшная, беспощадная, бессмысленная война, когда с одной стороны применяется

сверхтехника, кое-как, методом тыка, освоенная невежественными жрецами, а с другой – не менее мощная техника землян и «сириусян», не понимающих, что происходит, но вынужденных отбиваться изо всех сил.

Черновик писался в феврале-марте 1962 года. Причем, помнится, поначалу мы не особенно даже спешили. Нам казалось, что план разработан вполне удовлетворительно, конец, правда, неясен пока, но разных эпизодов напридумано предостаточно, надобно только сесть и написать. Поэтому предварительно мы не спеша сделали рассказ под названием «Дорожный знак» (ставший впоследствии прологом к «Трудно быть богом»), а потом уже только перешли к повести.

У этой повести не было пока никакого названия, даже условно-кодового, и в рабочем плане ее теперь отсутствовали какие-либо сириусяне, а была там компания молодых ребят XXII века – два парня и девушка, – которые отправились на малоисследованную планету – поохотиться и вообще размять кости. С ними летел странный, скучный и диковатый дядька, напросившийся чуть ли не в последний момент. Этот дядька на самом деле был специалист по экспериментальной психологии, и намерен он был на протяжении всего путешествия тайно производить разнообразные психологические опыты над своими молодыми, ничего не подозревающими спутниками. Изюминка сюжета состояла как раз в том, что разные странные события на борту (эксперименты дядьки-психолога) плавно переходят в странные и страшные события на самой планете. Этот сюжетный ход мы, спустя десяток лет, не без успеха применили в фантастическом детективе «Дело об убийстве» («Отель У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА»). Здесь же ход не сработал. Почти сразу возник некий эмоциональный, а потом и логический тупик, писать стало трудно, вязко, тяжко, скучно. Написано было уже две или три главки, страниц двадцать, но ощущение тупика не проходило, оно усиливалось с каждой страницей. Стало ясно, что писать этот сюжет мы не хотим. Писать его неинтересно. Какое, черт побери, нам дело до всех этих молодых бездельников и до психологических над ними экспериментов? И при чем тут этот скучный зануда-дядька? И на кой черт нам вообще все эти войны, затеянные по недоразумению людьми, до которых нам нет никакого дела?.. Работа остановилась.

АН в отчаянии откупорил бутылку водки и хлопнул полстакана без всякой закуски. БН, как человек, к спиртному безразличный, мрачно бродил по комнате и садил сигарету за сигаретой. Оба молчали. Говорить было не о чем. И незачем. Это был тупик – абсолютный, замшелый, ледяной и тесный тупик. Первый настоящий тупик в нашей рабочей

биографии.

Конечно, нам и раньше приходилось сталкиваться с «сопротивлением материала». Еще бы! И не раз, и не два. Возникало как бы временное удушье, хотелось вырваться, продраться, пробиться, потому что там, за непроходимой чащей неподатливого эпизода был свет, видна была дорога, обрисовывалась ясная и привлекательная сюжетная цель. В таких случаях мы просто бросали работу над заупрямившимся эпизодом, огибали его и двигались дальше. Мы уже научились оставлять в тылу мелкие, несущественные очаги сопротивления. «Вперед! – восклицал обычно в таких случаях АН. – Вперед! Они уже выдыхаются!» (Он цитировал «Сталинградскую», кажется, «битву» – фильм, безусловно лакейский и лживый, но не без впечатляющих режиссерских находок.) И не было еще случая, чтобы такая вот тактика «танковых клиньев» давала осечку. Недобитый эпизод впоследствии либо без труда приводился в соответствие с основным текстом, либо отбрасывался вовсе, ибо смотрелся ненужным на фоне уже выстроенной вещи.

Однако на этот раз мы столкнулись с явлением, нам доселе незнакомым. Перед нами была стена – мрачная и абсолютно непроницаемая, и за этой стеной ничего не было видно. Это была УТРАТА ЦЕЛИ. Нам стало неинтересно все, что мы до сих пор придумали, и уже написанные 10 – 20 страниц никуда нас не вели и ни для чего не годились.

Ощущение безысходности и отчаяния, обрушившееся на меня тогда, я запомнил очень хорошо – и сухость во рту, и судорогу мыслей, и болезненный звон в пустой башке... Но совершенно не помню, кого из нас осенила эта гениальная идея: сделать дядьку-психолога пришельцем из прошлого. «...А как он туда попал, в XXII век?» – «А никак. Тошно ему здесь у нас стало, он и сбежал...» – «Правильно! Прямо с допроса сбежал!» – «Или из концлагеря!..» Непроницаемая стена рухнула, и как сразу сделалось ясно и светло вокруг, несмотря на глубокую уже ночь на дворе! Как стало нам снова интересно, как заработала фантазия, как предложения посыпались – словно из творческого рога изобилия! Весь план тут же, в ту же ночь, за несколько часов оказался вывернут наизнанку, выстроен заново и засверкал неописуемыми возможностями и перспективами... Великая вещь творческий кризис! Переживать его нестерпимо мучительно, но когда он пережит, ты словно заново рождаешься и чувствуешь себя, словно каменный питон Каа, сбросивший старую кожу, – всемогущим, великим и прекрасным...

Повесть написана была на одном дыхании – за две-три недели – и получила название «Возлюби ближнего», очень скоро, впрочем,

переделанное на «Возлюби дальнего». В первом варианте у нее вовсе не было эпилога, кончалась она расстрелом колонны равнодушных машин из скорчера (называвшегося тогда бластером) и отчаянием Саула, осознавшего, что нет на свете силы, способной переломить ход истории. Потом (когда повесть попала уже в редакцию) вдруг выяснилось, что «возлюби дальнего» – это, оказывается, цитата из Ницше. («Низ-зя!») Тогда мы придумали эпилог, в котором Саул Репнин бежит из СОВЕТСКОГО концлагеря и заодно переменили название на «Попытку к бегству». Этот номер у нас, впрочем, тоже не прошел – концлагерь пришлось все-таки переделать в немецкий (по настоятельному требованию начальства в «Молодой Гвардии»), но даже и после всех этих перемен и переделок повесть смотрелась недурно и оказалась способна произвести небольшую сенсацию в узких литературных кругах. Даже такой ревнитель строгой, без всяких вольностей, научной фантастики, как Анатолий Днепров, объявил ее, помнится, гениальной: так ему понравился необъяснимый и необъясненный сквозьвременной скачок героя, – скачок, не имеющий никакого внутреннего обоснования, кроме самого что ни на есть главного: сюжетно-смыслового.

«Можно нарушать любые законы – литературные и реальной жизни, – отказываться от всякой логики и разрушать достоверность, действовать наперекор всему и всем мыслимым-немыслимым предписаниям и правилам, если только в результате достигается главная цель: в читателе вспыхивает готовность к сопереживанию, – и чем сильнее эта готовность, тем большие нарушения и разрушения позволяется совершать автору». Так, или примерно так, сформулировали мы для себя итоговый опыт работы с «Попыткой...», и этот вывод не раз в дальнейшем позволял нам «выходить из плоскости обычных (в том числе и собственных) представлений» – как происходило это и в «Понедельнике», и в «Улитке», и в «Граде обреченном», и в «Отягощенных злом» много-много лет спустя...

«ДАЛЕКАЯ РАДУГА»

В августе 1962 года в Москве состоялось первое (и, кажется, последнее) совещание писателей и критиков, работающих в жанре научной фантастики. Были там идейно нас всех нацеливающие доклады, встречи с довольно высокими начальниками (например с секретарем ЦК ВЛКСМ Леном Карпинским), дискуссии и кулуарные междусобойчики, а главное – был там нам показан по большому секрету фильм Крамера «На последнем берегу».

(Фильм этот сейчас почти забыт, а зря. В те годы, когда угроза ядерной катастрофы была не менее реальна, чем сегодня угроза, скажем, повальной наркомании, фильм этот произвел на весь мир такое страшное и мощное впечатление, что в ООН было даже принято решение – показать его в так называемый День Мира во всех странах одновременно. Даже наше высшее начальство, скрепя сердце, пошло на этот шаг и показало «На последнем берегу» в День Мира в одном (!) кинотеатре города Москвы. Хотя могло бы, между прочим, и не показывать вовсе: как известно, нам, советским, чужда была и непонятна тревога за ядерную безопасность – мы и так были уверены, что никакая ядерная катастрофа нам не грозит, а грозит она только гниющим империалистическим режимам Запада.)

Фильм нас буквально потряс. Картина последних дней человечества, умирающего, почти уже умершего, медленно и навсегда заволакиваемого радиоактивным туманом под звуки пронзительно-печальной мелодии «Волсинг Матилда»... Когда мы вышли на веселые солнечные улицы Москвы, я, помнится, признался АН, что мне хочется каждого встречного военного в чине полковника и выше – лупить по мордам с криком «прекратите, ... вашу мать, прекратите немедленно!» АН испытывал примерно то же самое. (Хотя при чем тут, если подумать, военные, даже и в чине выше полковника? В них ли было дело? И что они, собственно, должны были немедленно прекратить?)

Разумеется, это было совершенно, однозначно и безусловно исключено – написать роман-катастрофу на сегодняшнем и на нашем материале, а так мучительно и страстно хотелось нам сделать советский вариант «На последнем берегу»: мертвые пустоши, оплавленные руины городов, рябь от ледяного ветра на пустых озерах, черные землянки, черные от горя и страха люди и – тоскливая мелодия-молитва над всем этим: «Летят утки, летят утки да два гуся...» Мы обдумывали все

возможные и невозможные варианты такой повести (у нее уже появилось название – «Летят утки»), строили эпизоды, рисовали мысленные картинки и пейзажи и понимали: все это зря, ничего не выйдет и никогда – при нашей жизни.

Почти сразу же после совещания мы поехали вместе в Крым и там наконец придумали, как все это можно сделать: просто надо уйти в мир, где нет ядерных войн, но – увы! – все еще есть катастрофы. Тем более, что этот мир у нас уже был придуман, продуман и создан заранее и казался нам немногим менее реальным, чем тот, в котором мы живем.

Первое документированное упоминание:

> 15.09.62 – АН: «Думаю насчет «Катастрофы». <...> ...придумал такой эпизод: к моменту возникновения Волны многие жители находятся в поле, на необозримых просторах планеты. Их бросаются разыскивать. И вот двое – он и она – кэмпуют где-то на берегу речки <...> узнав, в чем дело, возвращаться отказываются. Зачем? – говорят они. Мы здесь дождемся. Все равно не нам дадут место в ракете. А им напоминают, что в городе много работы по отправке и переоборудованию ракеты, каждая пара рук нужна. И вот проблема: возвращаться им тошно. Перед лицом неизбежной смерти человеком овладевает пассивность. Как им поступить?..»

БН тоже упорно размышлял на заданную тему. Сохранились заметки. Разнообразные варианты реакции различных героев на происходящее; готовые эпизоды; подробный портрет-биография Роберта Склярова; подробный план «Волна и ее развитие», любопытное «штатное расписание» Радуги:

> «500 человек:
> 100 детей (ясли, д/с, школа)
> 20 воспит<ателей>
> 40 ученых по нуль-проблеме
> 20 планетологов
> 50 строителей
> 50 пищевиков-ассенизаторов
> 20 административный аппарат, координация (включая связистов, инж<енеров> стат<истических> машин и пр.)
> 50 туристов без опр<еделенных> занятий

20 человек искусства (писатели, художники, композиторы, привлеченные тишиной и спокойствием)

20 летчиков-испытателей, изнывающих от безделья

10 врачей-профессионалов»

Почти все эти заметки позднее пошли в дело: мы были готовы писать, материала хватало, можно было начинать – и мы начали. Первый черновик «Далекой Радуги» начат и закончен был в ноябре-декабре 1962-го, но потом мы еще довольно долго возились с этой повестью – переписывали, дописывали, сокращали, улучшали (как нам казалось), убирали философские разговоры (для издания в альманахе издательства «Знание»), вставляли философские разговоры обратно (для издания в «Молодой Гвардии»), и длилось все это добрых полгода, а может быть, и дольше.

Потом было несколько ругательных статей в журналах и довольно много писем от читателей. В том числе – от ученика 4-го класса Славы Рыбакова, который был очень недоволен тем, что в повести все гибнут, и предлагал свой вариант концовки: «Припишите там что-нибудь, вроде: Вдруг в небе послышался грохот. У горизонта показалась черная точка. Она быстро неслась по небосводу и принимала все более ясные очертания. Это была «Стрела». Вам лучше знать. Пишите, пожалуйста, больше». Я привожу здесь цитату из этого письма по двум причинам. Во-первых, она демонстрирует типичное отношение части читателей к повести, а во-вторых, ученик 4-го класса Слава Рыбаков со временем вырос и превратился в знаменитого писателя Вячеслава Рыбакова, имя которого известно сейчас любому читателю фантастики.

Впрочем, главный вопрос, связанный с «Далекой Радугой», это вопрос о Горбовском. Погиб ли Горбовский в смертоносном пламени Волны или все-таки уцелел? Если уцелел, то как ему это удалось? Если погиб, то почему во многих последующих повестях он появляется как ни в чем не бывало? Существует несколько вариантов ответа на эти вопросы. Но правду следует искать в записи, которую АН делает в своем дневнике 23 ноября 1962 года, в пятницу. Там он упоминает «Радугу», как «нашу последнюю повесть о «далеком» коммунизме, которую мы пишем».

Я наткнулся сейчас на эту запись и вздрогнул. А ведь и верно! Ведь и на самом деле говорили мы тогда, в конце 62-го, друг другу: «Все! Хватит об этом. Надоело! Хватит о выдуманном мире, главное на Земле – даешь сугубый реализм!..» И ведь так (или почти так) оно и получилось: закончив ее, мы в течение долгих последующих лет не возвращались больше в Мир Полудня, – аж до самого 1970-го года.

Если, впрочем, не считать «Трудно быть богом» и «Обитаемого острова». Но можно ли считать эти романы произведениями о Светлом Будущем, да и вообще о будущем?

«ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ»

Можно ли считать этот роман произведением о Светлом Будущем? В какой-то степени, несомненно, да. Но в очень незначительной степени. Вообще, в процессе работы над ним этот роман претерпевал изменения весьма существенные. Начинался он (на стадии замысла) как веселый, чисто приключенческий, мушкетерский:

> 1.02.62 – АН: «...Ты уж извини, но я вставил <в детгизовский план 1964 года> «Седьмое небо», повесть о нашем соглядатае на чужой феодальной планете, где два вида разумных существ. Я план продумал, получается остросюжетная штука, может быть и очень веселой, вся в приключениях и хохмах, с пиратами, конкистадорами и прочим, даже с инквизицией...»

Сама по себе идея «нашего соглядатая на чужой планете» возникла, еще когда мы писали «Попытку к бегству». Там мельком упоминается некто Бенни Дуров, который как раз и работал таким соглядатаем на Тагоре. Идея промелькнула (не до того было), но не пропала бесследно. Теперь вот дошла очередь и до нее, хотя мы еще плохо себе представляли все возникающие здесь возможности и перспективы.

Почему название «Седьмое небо» отобрано было у ненаписанной повести о магах и оказалось передано ненаписанной же повести «о нашем соглядатае», становится ясно из письма АН, большой отрывок из которого я не могу удержаться, чтобы здесь не воспроизвести, дабы читатель мог на конкретном примере представить себе, насколько первоначальные авторские планы и наметки способны отличаться от окончательного воплощения идеи. Даты на письме нет, относится оно, видимо, к середине марта 1963.

> «...Существует где-то планета, точная копия Земли, можно с небольшими отклонениями, в эпоху непосредственно перед Великими географическими открытиями. Абсолютизм, веселые пьяные мушкетеры, кардинал, король, мятежные принцы, инквизиция, матросские кабаки, галеоны и фрегаты, красавицы, веревочные лестницы, серенады и пр. И вот в эту страну (помесь Франции с Испанией, или России с Испанией) наши земляне,

давно уже абсолютные коммунисты, подбрасывают «кукушку» – молодого здоровенного красавца с таким вот кулаком, отличного фехтовальщика и пр. Собственно, подбрасывают не все земляне сразу, а скажем, московское историческое общество. Они однажды забираются к кардиналу и говорят ему: «Вот так и так, тебе этого не понять, но мы оставляем тебе вот этого парнишку, ты его будешь оберегать от козней, вот тебе за это мешок золота, а если с ним что случится, мы с тебя живого шкуру снимем». Кардинал соглашается, ребята оставляют у планеты трансляционный спутник, парень по тамошней моде носит на голове золотой обруч с вмонтированным в него вместо алмаза объективом телепередатчика, который передает на спутник, а тот – на Землю картины общества. Затем парень остается на этой планете один, снимает квартиру у г-на Бонасье и занимается тасканием по городу, толканием в прихожих у вельмож, выпитием в кабачках, дерется на шпагах (но никого не убивает, за ним даже слава такая пошла), бегает за бабами и пр. Можно написать хорошо эту часть, весело и смешно. Когда он лазает по веревочным лестницам, он от скромности закрывает объектив шляпой с пером.

А потом начинается эпоха географических открытий. Возвращается местный Колумб и сообщает, что открыл Америку, прекрасную, как Седьмое Небо, страну, но удержаться там нет никакой возможности: одолевают звери, невиданные по эту сторону океана. Тогда кардинал вызывает нашего историка и говорит: помоги, ты можешь многое, к чему лишние жертвы. Дальше понятно. Он вызывает помощь с Земли – танк высшей защиты и десяток приятелей с бластерами, назначает им рандеву на том берегу и плывет на галеонах с солдатами. Прибывают туда, начинается война, и обнаруживается, что звери эти – тоже разумные существа. Историки посрамлены, их вызывают на Мировой Совет и дают огромного партийного дрозда за баловство.

Это можно написать весело и интересно, как «Три мушкетера», только со средневековой мочой и грязью, как там пахли женщины, и в вине была масса дохлых мух. А подспудно провести идею, как коммунист, оказавшийся в этой среде, медленно, но верно обращается в мещанина, хотя для читателя он остается милым и добрым малым...»

Не правда ли, это уже почти ТО, но притом же и не совсем, вроде бы, ТО, а в некотором смысле даже и вовсе НЕ ТО. Такого рода планы у АБС было принято называть «крепким основательным скелетом». Наличие подобного скелета было необходимым (хотя и недостаточным) условием начала настоящей работы. По крайней мере, в те времена. Позже появилось еще одно чрезвычайно важное условие: надо было обязательно знать, «чем сердце успокоится» – каков будет конец задуманного произведения, последняя пограничная вешка, к которой и надлежит тянуть линию сюжета. В начале 60-х мы еще не понимали, насколько это важно, а потому частенько рисковали и вынуждены были по ходу дела менять сюжет целиком. Как это и произошло с «Седьмым небом».

«Крепкий основательный скелет» романа, предложенный АН, был без всякого сомнения хорош и обещал замечательную работу. Но, видимо, уже на ранней стадии обсуждения между соавторами возникли какие-то различия в подходах, еще за стол они не сели, чтобы взяться за работу, а уже возникла дискуссия, деталей которой я, разумеется, не помню, но общий ход ее можно проследить по отрывкам из писем АН. (Письма БН вплоть до 63-го года включительно, напоминаю, утрачены – увы! – безвозвратно.)

> 17.03.63 – АН: «...Всю программу, тобою намеченную, мы выполним за пять дней. Предварительно же мне хочется сказать тебе, бледнопухлый брат мой, что я за вещь легкомысленную – это о «Седьмом небе». Чтобы женщины плакали, стены смеялись, и пятьсот негодяев кричали: «Бей! Бей!» – и ничего не могли сделать с одним коммунистом...»

Последняя фраза – слегка измененная цитата из любимой нами трилогии Дюма, а вообще-то речь идет, видимо, о том, в каком именно ключе работать новый роман. У БНа есть какие-то свои соображения по этому поводу. Какие именно, можно догадаться из следующего отрывка.

> 22.03.63 – АН: «...О «Наблюдателе» (так я переименовал «Седьмое небо»). Если тебя интересует бьющая кругом ключом жизнь, то ты будешь иметь полную возможность вывалить свои внутренности в «Дни Кракена» и в «Магов». А мне хотелось создать повесть об абстрактном благородстве, чести и радости, как у Дюма. И не смей мне противоречить. Хоть одну-то повесть без современных проблем в голом виде. На коленях прошу,

мерзавец! Шпаг мне, шпаг! Кардиналов! Портовых кабаков!..»

Вся эта переписка шла на весьма интересном внутриполитическом фоне. В середине декабря 1962 года (точной даты не помню) Хрущев посетил выставку современного искусства в московском Манеже. Науськанный (по слухам) тогдашним главою идеологической комиссии ЦК Ильичевым, разъяренный вождь, великий специалист, сами понимаете, в области живописи и изящных искусств вообще, носился (опять же по слухам) по залам выставки с криками: «Засранцы! На кого работаете? Чей хлеб едите? Пидарасы! Для кого вы все это намазали, мазилы?» Он топал ногами, наливался черной кровью и брызгал слюной на два метра. (Именно тогда и именно по этому поводу родился известный анекдот, в котором озверевший Никита-Кукурузник, уставившись на некое уродливое изображение в раме, орет не своим голосом: «А это что за жопа с ушами?» На что ему, трепеща, отвечают: «Это зеркало, Никита Сергеевич...»)

Все без исключения средства массовой информации немедленно обрушились на абстракционизм и формализм в искусстве, словно последние десять лет специально готовились, копили материал, того только и ждали, когда же им, наконец, разрешат высказаться на эту животрепещущую тему.

И это было еще только начало. «17 декабря в Доме приемов на Ленинских горах состоялась встреча руководителей Коммунистической партии и Советского правительства с деятелями литературы и искусства». Брежнев, Воронов, Кириленко, Козлов, Косыгин, Микоян, Полянский, Суслов, Хрущев и другие крупнейшие в стране литературоведы вперемежку с искусствоведами в штатском собрались в одном месте, чтобы «высказать свои замечания и пожелания по вопросам развития литературы и искусства».

Соображения были высказаны. Пресса уже не ревела, она буквально выла.

«КОМПРОМИССОВ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ»,

«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ХУДОЖНИКА»,

«СВЕТ ЯСНОСТИ»,

«ОКРЫЛЯЮЩАЯ ЗАБОТА»,

«ИСКУССТВО И ЛЖЕИСКУССТВО»,

«ВМЕСТЕ С НАРОДОМ»,

«НАША СИЛА И ОРУЖИЕ»,

«ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ, ЕСТЬ ТАКОЕ ИСКУССТВО!»,

«ПО-ЛЕНИНСКИ»,

«ЧУЖИЕ ГОЛОСА»...

Словно застарелый нарыв лопнул. Гной и дурная кровь заливали газетные страницы. Все те, кто последние «оттепельные» годы попритих (как нам казалось), прижал уши и только озирался затравленно, как бы в ожидании немыслимого, невозможного, невероятного возмездия за прошлое – все эти жуткие порождения сталинщины и бериевщины, с руками по локоть в крови невинных жертв, все эти скрытые и открытые доносчики, идеологические ловчилы и болваны-доброхоты, все они разом взвились из своих укрытий, все оказались тут как тут, энергичные, ловкие, умелые гиены пера, аллигаторы пишущей машинки. МОЖНО!

Но и это было еще не все. 7 марта 1963 в Кремле «обмен мнениями по вопросам литературы и искусства» был продолжен. К знатокам изящных искусств добавились Подгорный, Гришин, Мазуров. Обмен мнениями длился два дня. Газетные вопли еще усилились, хотя, казалось, усиливаться им было уже некуда.

«ВЕЛИЧИЕ ПОДЛИННОГО ИСКУССТВА»,

«ПО-ЛЕНИНСКИ!»

(уже было раньше, но теперь – с восклицательным знаком),

«ФИЛОСОФИЯ ЗАПАДНОГО ИСКУССТВА – ПУСТОТА, РАЗЛОЖЕНИЕ, СМЕРТЬ»,

«ВЫСОКАЯ ИДЕЙНОСТЬ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ МАСТЕРСТВО – ВЕЛИКАЯ СИЛА СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА»,

«НЕТ «ТРЕТЬЕЙ» ИДЕОЛОГИИ!»,

«ТВОРИТЬ ВО ИМЯ КОММУНИЗМА»,

«ПРОСЛАВЛЯТЬ, ВОСПЕВАТЬ, ВОСПИТЫВАТЬ ГЕРОИЗМ»,

«ТАК ДЕРЖАТЬ!»

(положительно, число восклицательных знаков нарастает),

«ПОИСКИ В ПОЭЗИИ, ПОДЛИННЫЕ И МНИМЫЕ»,

«СМОТРЕТЬ ВПЕРЕД!».

Солнце светит, но не греет, это не беда,
Разлилося половодье, полая вода.
К радости для каждого крупного скота
Оттепель настала, да не та!

Это Юлий Ким откликнулся – немедленно и как всегда ядовито и безукоризненно точно:

Полая вода, весенняя вода,
Мутная, беспутная, распутная вода...
Хватайте невода, бросайте кто куда, Тащите, братцы, рыбку из пруда!
МОЖНО!

Из всех магнитофонов, во всех интеллигентских кухнях звенели его куплеты, исполняемые нарочито приторным и даже ласковым голоском:

Ах, какое времечко! Не времечко – мечта!
Как раскукарекались повсюду кочета!
Ведь такого пения, какое на дворе,
Я не слышал даже в «Октябре»!

(Под кочетами здесь подразумеваются, безусловно, соратники и сподвижники В. Кочетова, тогдашнего главного редактора махрового просталинского журнала «Октябрь», отъявленного сталиниста, антисемита и мракобеса, которого даже начальству приходилось время от времени одергивать, дабы сохранить приличия «в глазах международного рабочего движения».)

Начали с художников-модернистов – с Фалька, Сидура, Эрнста Неизвестного, а потом, никто и ахнуть не успел, а уже взялись и за Эренбурга, за Виктора Некрасова, за Андрея Вознесенского, за Александра Яшина и за фильм «Застава Ильича». И уж все, кому не лень, прошлись ногами по Аксенову, Евтушенко, Сосноре, Ахмадулиной и даже – но вежливо, с реверансами! – по Солженицыну. (Солженицын все еще оставался в фаворе у Самого. Но вся остальная свита, боже ж мой, как все они его ненавидели и боялись! Милостив царь, да немилостив псарь.)

Во благовременье гнойная волна докатилась и до нашей околицы, до тихого нашего цеха фантастов. 26 марта 1963 состоялось расширенное совещание секции научно-фантастической и приключенческой литературы Московской писательской организации. Присутствовали: Георгий Тушкан (председатель секции, автор ряда приключенческих произведений и НФ-романа «Черный смерч»), А. П. Казанцев, Георгий Гуревич, Анатолий Днепров, Роман Ким (автор повестей «Тетрадь, найденная в Сунчоне», «Девушка из Хиросимы», «По прочтении сжечь»), Сергей Жемайтис (заведующий НФ-редакцией в «Молодой гвардии»), Евгений Павлович Брандис и многие другие. Вот характерный отрывок из подробного отчета АН по этому поводу:

> «...И вот тут началось самое страшное. Выступил Казанцев. Первая половина его выступления была целиком посвящена Альтову и Журавлевой. Вторую я уже не слушал, потому что мучился, не зная, как поступить. Вот тезисы того, что он говорил. Альтовское направление в фантастике, слава богу, так и не получило развития. И это не удивительно, потому что в массе советские фантасты – люди идейные. Альтов на совещании в 58 году обвинял «нас с Днепровым» в том, что мы (Днепров и он, Казанцев) присосались к единственной, всем надоевшей теме – столкновение двух миров. Нет, товарищ Альтов, эта тема нам не надоела, а вы – безыдейный человек (стенографистки пишут наперебой. Вообще все стенографировалось). В «Полигоне «Звездная река» Альтов выступает против постулата скорости

света Эйнштейна. Но в тридцатых годах фашисты мучали и преследовали Эйнштейна именно за этот постулат. Все вещи Альтова так или иначе играют на руку фашизму (стенографистки пишут! Не думай, я не преувеличиваю, мне самому казалось, что я во сне). Мало того, все вещи Альтова так далеки от жизни, настолько пусты и лишены жизненного содержания, что можно смело назвать его абстракционистом в литературе, это мазила, дегтемаз и прочее.

Дальше я не слушал. У меня холодный пот выступил. Все сидели, как мертвые, уставясь в стол, никто ни звука не проронил, и вот тогда я понял, что в первый раз в жизни столкнулся с Его Величеством Мстящим Идиотом, с тем, что было в 37-м и 49-м. Выступить с протестом? А если не поддержат? Откуда мне знать, что у них за пазухой? А если это уже утверждено и согласовано? Трусость мною овладела страшная, да ведь и не даром, я же боялся и за тебя. А потом я так рассвирепел, что трусость исчезла. И когда Казанцев кончил, я заорал: Разрешите мне! Тушкан, недовольно на меня поглядев, сказал: Ну что вам, ну говорите.

Стругацкий: При всем моем уважении к Александру Петровичу я решительно протестую. Альтова можно любить и не любить, я сам его не очень люблю, но подумайте, что вы говорите. Альтов – фашист! Это же ярлык, это же стенографируется, мы не в пивной сидим, это черт знает что, это просто непорядочно! (Это я помню, но я еще что-то нес, минут на пять.)

Секунда мертвой тишины. Затем железный голос Толи Днепрова: Я со своей стороны должен заявить, что не слыхал, чтобы Альтов обвинял меня в пристрастии к теме борьбы двух миров. Он обвинял меня в том, что действующие лица у меня не люди, а идеи и машины. Ким: И не абстракционист он никакой. Наоборот, когда был у меня и увидел картину такого-то, очень ее ругал.

Затем все зашумели, заговорили, Казанцев начал объяснять, что он хотел сказать, а я трясся от злости и больше ничего не слыхал. И когда все закончилось, я встал, выругался (матом, кажется) и сказал Голубеву: пойдем отсюда, здесь ярлыки навешивают. Громко сказал. Мы пошли вниз, в кабак, и там выдули бутылку настойки какой-то».

Вот теперь уже, кажется, всем без исключения сестрам было, наконец-то, выдано по серьгам.

Впрочем, никого не посадили. Никого даже не исключили из Союза Писателей. Более того, посреди гнойного потока разрешили даже построить две или три статьи с осторожными возражениями и изложением своей (а не партийной) точки зрения. Возражения эти тотчас же были затоплены и затоптаны, но факт их появления уже означал, что намерения бить насмерть у начальства нет.

И вот уже сам величайший советский драматург Анатолий Софронов (на коем пробы, извините, негде поставить) высокомерно успокаивает перепугавшихся: «Сейчас кое-кто высказывает опасения: как бы не было перегибов, как бы не «зажали» кого-то и т. д. Да не «зажмут», не надо бояться. У нас Советская власть добрая, партия у нас добрая, человечная. Работать надо честно, добросовестно, тогда будет все в порядке».

Но нам было не столько страшно, сколько тошно. Нам было мерзко и гадко, как от тухлятины. Никто не понимал толком, чем вызван был этот стремительный возврат на гноище. То ли власть отыгрывалась на своих за болезненный щелчок по носу, полученный совсем недавно во время Карибского кризиса. То ли положение в сельском хозяйстве еще более ухудшилось, и уже предсказывались на ближайшее будущее перебои с хлебом (каковые и произошли в 1963-м). То ли просто пришло время показать возомнившей о себе «интеллигузии», кто в этом доме хозяин и с кем он – не с Эренбургами вашими, не с Эрнстами вашими Неизвестными, не с подозрительными вашими Некрасовыми, а – со старой доброй гвардией, многажды проверенной, давным-давно купленной, запуганной и надежной.

Можно было выбирать любую из этих версий или все их вместе. Но одно стало нам ясно, как говорится, до боли. Не надо иллюзий. Не надо надежд на светлое будущее. Нами управляют жлобы и враги культуры. Они никогда не будут с нами. Они всегда будут против нас. Они никогда не позволят нам говорить то, что мы считаем правильным, потому что они считают правильным нечто совсем иное. И если для нас коммунизм – это мир свободы и творчества, то для них коммунизм – это общество, где население немедленно и с наслаждением исполняет все предписания партии и правительства.

Осознание этих простых, но далеко для нас не очевидных тогда истин было мучительно, как всякое осознание истины, но и благотворно в то же время. Новые идеи появились и настоятельно потребовали своего немедленного воплощения. Вся задуманная нами «веселая, мушкетерская»

история стала смотреться совсем в новом свете, и БНу не потребовалось долгих речей, чтобы убедить АНа в необходимости существенной идейной коррекции «Наблюдателя». Время «легкомысленных вещей», время «шпаг и кардиналов», видимо, закончилось. А может быть, просто еще не наступило. Мушкетерский роман должен был, обязан был стать романом о судьбе интеллигенции, погруженной в сумерки средневековья.

Из дневника АН:

> «...12 – 16 <апреля 1963> был в Ленинграде. <...> Составили приличный план «Наблюдателя» (бывш. «Седьмое небо»)...»
>
> 13.08.63: «...В июне написано «Трудно быть богом». Сейчас колеблемся, неизвестно, куда девать. В Детгиз не возьмут. М. б. попробовать в «Новый мир»?»

В «Новый мир» давать мы так и не попробовали, но вот в толстый журнал «Москва» – попытались. Безрезультатно. Рукопись была нам оттуда возвращена с рецензией, помнится, снисходительно-отрицательной – «Москва», оказывается, фантастики не печатает.

Вообще, роман вызвал разноречивые отклики у читающей публики. В особенности озадачены были наши редакторы. В этом романе все им было непривычно, и масса пожеланий (вполне дружеских, между прочим, а вовсе не злобно-критических) была высказана. По совету И. А. Ефремова мы переименовали министра охраны короны в дона Рэбу (раньше он у нас был дон Рэбия – анаграмма, слишком уж незамысловатая, по мнению Ивана Антоновича). Более того, нам пришлось основательно поработать над текстом и добавить целую большую сцену, где Арата Горбатый требует у героя молнии и не получает их. Поразительно, что роман этот прошел через все цензурные рогатки без каких-либо особых затруднений. То ли тут сыграл роль либерализм тогдашнего «молодогвардейского» начальства, то ли точные действия замечательного редактора нашего, Белы Григорьевны Клюевой, а может быть, дело было вовсе в том, что шел некий откат после недавней идеологической истерики – враги наши переводили дух и благодушно озирали вновь захваченные ими плацдармы и угодья.

Впрочем, по выходе книги реакция определенного рода последовала незамедлительно. Пожалуй, это был первый случай, когда по Стругацким ударили из крупных калибров. Академик АН СССР Ю. Францев обвинил авторов в абстракционизме и сюрреализме, а почтенный собрат по перу В. Немцов – в порнографии. К счастью, это были пока еще времена, когда

разрешалось отвечать на удары, и за нас в своей блестящей статье «Миллиарды граней будущего» заступился И. Ефремов. Да и политический градус на дворе к тому времени поуменьшился. Словом, обошлось. (Идеологические шавки еще иногда потявкивали на этот роман из своих подворотен, но тут подоспели у нас «Сказка о Тройке», «Хищные вещи века», «Улитка на склоне» – и роман «Трудно быть богом» на их фоне вдруг, неожиданно для авторов, сделался даже неким образцом для подражания. Стругацким уже выговаривали: что же вы, вот возьмите «Трудно быть богом» – ведь можете же, если захотите, почему бы вам не работать и дальше в таком ключе?..)

Роман, надо это признать, удался. Одни читатели находили в нем мушкетерские приключения, другие – крутую фантастику. Тинэйджерам нравился острый сюжет, интеллигенции – диссидентские идеи и антитоталитарные выпады. На протяжении доброго десятка лет по всем социологическим опросам роман этот делил первое-второе рейтинговое место с «Понедельником». На сегодняшний день (октябрь 1997 года) он вышел в России общим тиражом свыше 2 миллионов 600 тысяч экземпляров, и это – не считая советских изданий на иностранных языках и на языках народов СССР. А среди зарубежных изданий он до сих пор занимает прочное второе место сразу за «Пикником». По моим данным, он вышел за рубежом 34-мя изданиями в семнадцати странах. В том числе: в Болгарии (4 издания), Испании (4), ФРГ (4), Польше (3), ГДР (2), Италии (2), США (2), Чехословакии (2), Югославии (2) и т. д.

«ПОНЕДЕЛЬНИК НАЧИНАЕТСЯ В СУББОТУ»

Повесть о магах, ведьмах, колдунах и волшебниках задумана была нами давно, еще в конце 50-х. Мы совершенно не представляли себе сначала, какие события будут там происходить, знали только, что героями должны быть персонажи сказок, легенд, мифов и страшилок всех времен и народов. И все это – на фоне современного научного института со всеми его онерами, хорошо известными одному соавтору из личного опыта, а другому – из рассказов многочисленных знакомых-научников. Долгое время мы собирали шуточки, прозвища, смешные характеристики будущих героев и записывали все это на отдельных клочках бумаги (которые потом, как правило, терялись). Реального же продвижения не происходило: мы никак не могли придумать ни сюжета, ни фабулы.

А практически все началось с дождливого вечера на Кисловодской Горной станции, где дружно изнывали от скуки два сотрудника Пулковской обсерватории – м. н. с. Б. Стругацкий и старший инженер Лидия Камионко. На дворе стоял октябрь 1960 года. БН только что прекратил труды свои по поискам места для Большого Телескопа в мокрых и травянистых горах Северного Кавказа и теперь ждал, пока закончатся всевозможные формальности, связанные с передачей экспедиционного имущества, списанием остатков, оформлением отчета и прочей скукотищей. А Л. Камионко, приехавшая на Горную станцию отлаживать какой-то новый прибор, отчаянно бездельничала по причине полного отсутствия погоды, пригодной для астрономических наблюдений. И вот от скуки принялись они как-то вечером сочинять рассказик без начала и конца, где был такой же вот дождь, такая же тусклая лампа на шнуре и без абажура, такая же сырая веранда, заставленная старой мебелью и ящиками с оборудованием, такая же унылая скука, но где при всем при том происходили всякие забавные и абсолютно невозможные вещи – странные и нелепые люди появлялись из ничего, совершались некие магические действия, произносились абсурдные и смешные речи, и кончалась вся эта четырехстраничная, вполне сюрреалистическая абракадабра замечательными словами: «ДИВАНА НЕ БЫЛО!!!»

Домой БН возвращался через Москву с заездом к брату-соавтору и там, в кругу семьи, зачитал вслух эти брульоны, вызвавшие дружный смех и всеобщее одобрение. Впрочем, тогда все на том и закончилось, нам и в голову не пришло, что таинственно исчезнувший диван – это на самом деле

сказочный диван-транслятор, а разные странные типы, описанные там же, это маги, которые за названным транслятором гоняются. Все шло своим чередом, впереди был еще не один год размышлений и самонастройки.

Замечательно, но история написания «Понедельника...» совершенно вылетела из моей памяти. Вылетела до такой степени, что сейчас, перечитывая разрозненные строчки из писем и дневников, я ловлю себя на том, что не всегда понимаю, о чем там идет речь.

Письма:

> 19.03.61 – АН: «...Ты зря взялся сейчас за восьмое небо...»

(Странность номер один. «Восьмое небо» – это одно из самых ранних условных названий «Понедельника». Но неужели же я «взялся за него» так рано – в марте 61-го? Сегодня это представляется мне совершенно невозможным.)

> 23.07.61 – АН: «...что, если нам попробовать <...> добить «Магов»? Если не более 4-х листов – вышло бы очень неплохо...»

> 4.08.61 – АН: «...Соображения по магам. Не знаю. Это должна быть небольшая веселая вещица. Листа три от силы. Три части. Первая написана...»

(Странности номер два и три. Как так – «добить магов»?! Значит ли это, что у нас уже есть нечто готовое, которое остается теперь только «добить»? И в каком смысле – «первая написана»? По-моему, так ничего у нас тогда еще не было написано, даже в черновом варианте... Странно, странно...)

> «...Вторая. Герой уверен, что теперь его маги оставят в покое. Но весь день, куда бы он ни пошел, маги преследуют его а-ля секретарь Прыща. Они жалобно высовываются из стен и канализационных люков, делают ему непонятные знаки, мешают ему на свидании с девушкой и с тоскливым воем улетают, когда он начинает свирепеть. Серость и неграмотность их наводит изумление. Мага легко отличить от прочих людей, спросив таблицу умножения на семь. На Земле собрались маги со всех концов Вселенной. Им нужен Белый тезис, утраченный в незапамятные времена – его спрятали в какое-то дерево, потом он

> перешел в мастерской в диван, а потом в нашего героя...»

И так далее.

(Кто такой Прыщ? О чем вообще речь? Однако, написано у нас было к этому моменту что-нибудь или не было написано ничего, но ясно, что будущий «Понедельник» смотрелся в начале своем совсем иначе, чем в конце.)

> 1.11.62 – АН: «...Я вставил нас в план Детгиза на 64-й год под названием «Седьмое небо». Название пока не обязательное, но книжечку надо бы написать. Про магов. Легкомысленную. Веселенькую. Без затей. А? Мечта! А?»

> «...Выступал в Политехническом музее совместно с Андреевым, Громовой, Днепровым, Полещуком, Парновым и Емцевым. <...> Я с амвона как трахнул: «Нужно будет – про ведьм и колдунов напишем, нам наука не указ». Что тут было! Хохот, аплодисменты, негодование!..»

Я сильно подозреваю, что к этому моменту у нас всего-то и было в загашнике, что Кисловодский брульон, переработанный и развернутый до размеров будущей главки из «Суеты...». Но вот, наконец:

> Дневник АН, 6.09.63: «Приезжал Борис, кое-что переделали в ТББ, составили план на «Суету вокруг дивана» <...>».

> Дневник АН, 18.01.64: «26 декабря <1963> вернулся из Л-да. Написали «Суету вокруг дивана» <...>».

Наконец-то! Первая часть будущей повести образовалась – не прошло и трех лет. Однако до полного текста было еще далеко. Сохранилось довольно много заметок, набросков, хохмочек и идеек того времени.

> «Человек – это животное, которое может стать магом. Волк рождается волком и всю жизнь остается волком. Свинья рождается свиньей и всю жизнь остается ею. Человек рождается обезьяной, но вырасти он может волком, свиньей и магом».

> «Директор института – оборотень Кир Янус. Он может растраиваться. <...> Отец, сын и дух святой».

> «Контраст – заставляют магов заниматься ерундой: собрания, поездки в колхоз».
>
> «Бухгалтерия, где берегут копейку (а не миллионы и не время)».
>
> «Маги страшно хотят сделать всех людей счастливыми. Основная сюжетная линия – работа отдела «Счастья». ИДЕЯ: нельзя обрушить благосостояние на головы нынешних людей. А ДЛЯ НИХ ЭТО САМОЕ ЛЕГКОЕ».
>
> «Отдел «Счастья и довольства». Там все время получается не то, что задумано».
>
> «Отдел «Цирковой техники». Исторически институт сложился как НИИЦИРТЕХ. Об этом вспоминают с благоговением, и до сих пор образцом служит отдел «Циртех». (Аналогия с астрометрией.)».
>
> «Показать, как мешает работать догматическая, все подавившая официальная теория».

И так далее. «Понедельника...» еще нет, авторы только нащупывают пути к нему, но это – верные пути. Дело идет на лад. И идет быстро.

> Дневник АН, 25 июня 1964: «...Май провел в Л-де, где писали и написали остальные две части СВД – «Ночь перед рождеством» и «О времени и о себе»...»

Обратите внимание на чехарду с названиями. Авторы еще не знают, как должны называться части новой повести да и сама повесть тоже. А между тем, название «Понедельник начинается в субботу» к тому времени уже существовало. Это название имеет свою историю и довольно забавную.

Надо сказать, что начало 60-х было временем повального увлечения Хемингуэем. Никого не читают сейчас с таким наслаждением и восторгом, ни о ком не говорят так много и так страстно, ни за чьими книгами не гоняются с таким азартом, причем все – вся читающая публика от старшеклассника до академика включительно. И вот однажды, когда БН сидел у себя на работе в Пулковской обсерватории, раздался вдруг звонок

из города – звонила старинная его подруга Наташа Свенцицкая, великий знаток и почитатель (в те времена) Хемингуэя. «Боря, – произнесла она со сдержанным волнением. – Ты знаешь, сейчас в Доме Книги выбросили новый томик Хэма, называется «Понедельник начинается в субботу»...» Сердце БН тотчас подпрыгнуло и сладко замлело. Это было такое точное, такое подлинно хемингуэевское название – сдержанно грустное, сурово безнадежное, холодноватое и дьявольски человечное одновременно... Понедельник начинается в субботу, это значит: нет праздника в нашей жизни, будни переходят снова в будни, серое остается серым, тусклое – тусклым... БН не сомневался ни секунды: «Брать! – гаркнул он. – Брать сколько дадут. На все деньги!..» Ангельский смех был ему ответом...

Шутка получилась хороша. И не пропала даром, как это обычно бывает с шутками! БН сразу же конфисковал прекрасную выдумку, заявив, что это будет замечательное название для будущего замечательного романа о замечательно-безнадежной любви. Этот роман никогда не был написан, он даже никогда не был как следует придуман, конфискованное название жило в записной книжке своей собственной жизнью, ждало своего часа и через пару лет дождалось. Правда, АБС придали ему совсем другой, можно сказать, прямо противоположный, сугубо оптимистический смысл, но никогда потом об этом не жалели. Наташа тоже не возражала. По-моему, она была даже в каком-то смысле польщена.

Таким образом, историческая справедливость требует, чтобы было воздано по заслугам двум замечательным женщинам, бывшим сотрудницам Пулковской обсерватории, стоявшим у истоков самой, видимо, популярной повести АБС. Исполать вам, дорогие мои, – Лидия Александровна Камионко, соавтор знаменитой, сюжетообразующей фразы «ДИВАНА НЕ БЫЛО», и Наталия Александровна Свенцицкая, придумавшая этот бесконечно грустный, а может быть, наоборот, радостно оптимистический афоризм «Понедельник начинается в субботу»!

Вообще, «Понедельник» – в значительной степени есть капустник, результат развеселого коллективного творчества.

«Нужны ли мы нам?» – такой лозунг действительно висел в одной из лабораторий, кажется, ГОИ.

«Вот по дороге едет ЗИМ, и им я буду задавим» – гениальный стих моего старого друга Юры Чистякова, великого специалиста по стихосложению в манере капитана Лебядкина.

«Мы хотим построить дачу. Где? Вот главная задача...» – стишок из газеты «За новое Пулково».

И т. д., и пр., и т. п.

В заключение не могу не отметить, что цензура не слишком трепала эту нашу повесть. Повестушка вышла смешная, и придирки к ней тоже были смешные. Так, цензор категорически потребовал выбросить из текста какое-либо упоминание о ЗИМе. («Вот по дороге едет ЗИМ, и им я буду задавим».) Дело в том, что в те времена Молотов был заклеймен, осужден, исключен из партии, и автомобильный завод его имени был срочно переименован в ГАЗ (Горьковский автомобильный завод), точно так же как ЗИС (завод имени Сталина) назывался к тому времени уже ЗИЛ (завод имени Лихачева). Горько усмехаясь, авторы ядовито предложили, чтобы стишок звучал так: «Вот по дороге едет ЗИЛ, и им я буду задавим». И что же? К их огромному изумлению Главлит охотно на этот собачий бред согласился. И в таком вот малопристойном виде этот стишок издавался и переиздавался неоднократно.

Многое тогда нам не удалось спасти. «Министра государственной безопасности Малюту Скуратова», например. Или строчку в рассказе Мерлина: «Из озера поднялась рука, мозолистая и своя...» Еще какие-то милые пустячки, показавшиеся кому-то разрушительными...

Всё (или почти всё), некогда утраченное, в настоящем издании благополучно восстановлено, благодаря опять же дружным и самоотверженным усилиям «люденов», перерывшим кучу разных переизданий и черновиков. Света Бондаренко, Володя Борисов, Вадим Казаков, Виктор Курильский, Юрий Флейшман – спасибо вам всем!

> Дневник АН, 18.01.64: «26 декабря <1963> вернулся из Л-да. Написали «Суету вокруг дивана», «К вопросу о циклотации», «Первые люди на первом плоту», «Бедные злые люди»...»

Увы, почти ничего не помню про рассказ «К вопросу о циклотации». Там был, кажется, пришелец из будущего, и судьба его была печальна. И еще, кажется, он принес герою рассказа, нашему современнику, трагическую весть об изначальной обреченности человечества. В генах человечества, оказывается, заложена – еще при создании вида Homo sapiens sapiens прародителями нашими, учеными некоей сверхцивилизации – биологическая бомба, рассчитанная на «автоматический останов» в энном поколении... Что-то в этом роде. Сохранилось в архиве начало одного из черновиков. Чистовик пропал бесследно. Странно, не правда ли? Загадочная какая-то история. Тем более что, судя по письмам, этот рассказ посылался летом 1964-го в «Уральский следопыт» и был даже там, вроде

бы, принят благосклонно. Но был ли он там опубликован? По-моему, нет. Ей-богу, странная история.

«ПЕРВЫЕ ЛЮДИ НА ПЕРВОМ ПЛОТУ»

Один из последних рассказов АБС. Написан, скорее всего, в 1963 году. В письмах ни разу не упоминается. Первоначально он назывался «Дикие викинги» и был даже опубликован журналом «Костер» в 1968 году в составе этакого коллективного романа-буриме «Летающие кочевники». Название «Первые люди...» возникло позже, когда в начале 64-го рассказ был переписан начисто. Это строчка из любимой нами поэмы Н. Гумилева «Капитаны»:

...А вы, королевские псы, флибустьеры,
Хранившие золото в темном порту,
Скитальцы-арабы, искатели веры
И первые люди на первом плоту!

И все, кто дерзает, кто хочет, кто ищет,
Кому опостылели страны отцов...

«БЕДНЫЕ ЗЛЫЕ ЛЮДИ»

Я думаю, это последний рассказ АБС. После него мы рассказов более не писали. Никогда. Как и «Первые люди...», написан он в 63-м году (под кодовым названием «Молитва») и переписан начисто в 64-м, – уже, так сказать, на излете: авторам более не нравилось писать рассказы, но они как бы по инерции все еще продолжали над ними работать.

Рассказик этот интересен, на мой взгляд, прежде всего тем, что первоначально назван был «Трудно быть богом». Такими же словами он и заканчивался. Название это авторы впоследствии использовали для романа, а сам рассказ, ни разу нигде не опубликованный, так и пролежал в архивах до конца 80-х.

---

notes

Примечания

1

«Муж, упорный в своих намерениях» (*Гораций*).

2

Из «Переводов» С. Я. Маршака.

3

Выройте мне могилу, длинную и узкую, Гроб мне крепкий сделайте, чистый и уютный!.. (*Народная американская песня*)

4

Английская детская считалка.

5

Из «Переводов» С. Я. Маршака.

6

«И начинанья, взнесшиеся мощно, сворачивая в сторону свой ход, теряют имя действия» (*Шекспир*, *«Гамлет»*).

7

Не так ли? (*Франц.*) Выбегалло обожает вкраплять в свою речь отдельные словосочетания на французском, как он выражается, диалекте. Никак не отвечая за его произношение, мы взяли на себя труд обеспечить перевод. (*Примечание авторов.*)

8

В массе, у большинства (*франц.*).

9

Такова жизнь (*франц.*).

10

До свидания (*франц.*).

11

Господи! Ужель обычный путь тебе заказан, путь достойного человека?.. Сэр (*староангл.*).

12

Прошу прощения (*англ.*).

13

Понимаете? (*Франц.*)

14

Ну и дела! (*Франц.*)

15

Женщины, женщины!.. (*Франц.*)

16

Чудесно, превосходно, прелестно (*франц.*).

17

Говорят, что... (*Франц.*)

18

Сытое брюхо к учению глухо (*лат.*).

19

Дрожание его левой икры есть великий признак! (*Франц.*)

20

Разумеется (*франц.*).

21

«Мужские» (*англ.*).

22

Где ты ни на что не способен, там ты не должен ничего хотеть (*лат.*).

23

Рыцарь без страха и упрека (*франц.*).

24

Когда будет нужно, вас позовут (*франц.*).

25

Привет! Вы с той стороны? (*Англ.*)

26

Да (*англ.*).

27

Ну и как у вас там? (*Англ.*)

28

Ничего. А здесь? (*Англ.*)

29

Порядок (*англ.*).

30

Дикси (dixi) — Я сказал (*лат.*).